

Владимир (Зеев)
Жаботинский



ИНСТИТУТ ЖАБОТИНСКОГО В ИЗРАИЛЕ
(ТЕЛЬ-АВИВ)

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КОВЧЕГ»
(МОСКВА)

ВЛАДИМИР (ЗЕЭВ) ЖАБОТИНСКИЙ
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ





ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ. 1903

ВЛАДИМИР (ЗЕЭВ) ЖАБОТИНСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ

том третий



**ПРОЗА
ПУБЛИЦИСТИКА
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
1903**

МИНСК  2010

УДК 821.161.1-31 / - 32
ББК 84 (2 Рос=Рус) - 44
Ж12

**Издание осуществляется при спонсорской
поддержке Фонда Михаила Черного**

Редакционный совет:

Йоси АХИМЕИР, Ирина БЕРДАН, Михаил ВАЙСКОПФ,
Борух ГОРИН, Феликс ДЕКТОР (*главный редактор*),
Леонид КАЦИС (*научный редактор*), Вольф МОСКОВИЧ,
Арье НАОР, Дмитрий РАДЫШЕВСКИЙ (*председатель*),
Александр ФРИДМАН, Владимир ХАЗАН

Составление и общая редакция Феликса ДЕКТОРА
Послесловие Леонида КАЦИСА
Примечания Александра ФРЕНКЕЛЯ
(при участии Ирины БЕРДАН)

Жаботинский, Владимир (Зеев)

Ж12 Полное собрание сочинений в девяти томах. Т. 3 Проза.
Публицистика. Корреспонденции. 1903 / Владимир (Зеев) Жа-
ботинский. — Минск : МЕТ. — 2010. — 807 с.

ISBN 978-985-436-584-8.

В третий том ПССЖ вошли фельетоны, рассказы, очерки, эссе
и рецензии Владимира (Зеева) Жаботинского, опубликованные в 1903 году.

УДК 821.161.1-31 / -32
ББК 84 (2 Рос=Рус) -44

ISBN 978-985-436-584-8 (т. 3)
ISBN 978-985-436-550-3

© Дектор Ф., составление, 2010
© Кацис Л., послесловие. 2010
© ООО «МЕТ», оформление, 2010

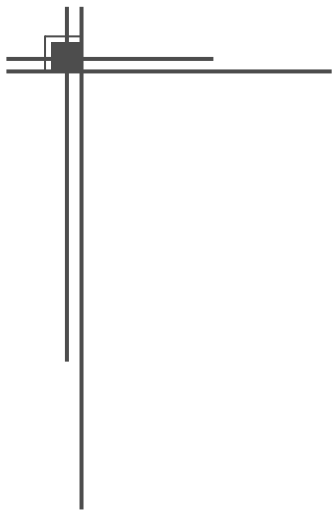
ОТ РЕДАКЦИИ

В третий том ПССЖ вошли все известные нам сегодня произведения Владимира (Зеева) Жаботинского, первая публикация которых относится к 1903 году (за исключением стихов, пьес и переводов, составляющих отдельный том).

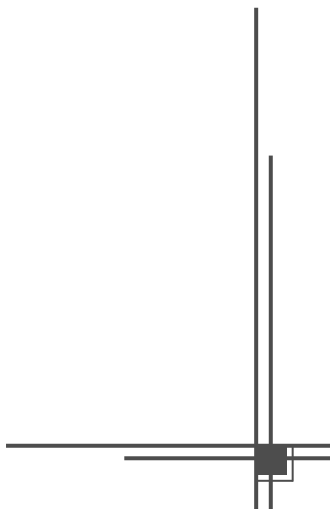
В конце каждого текста указаны имя автора, название газеты (журнала) и дата выхода в свет (по старому стилю для российских изданий, по новому — для зарубежных).

*Постраничные сноски автора и редакторов первой публикации отмечены знаком *; сноски, пронумерованные цифрами, принадлежат редакции ПССЖ.*

В Приложении собраны материалы, опубликованные под неизвестными ранее псевдонимами или без подписи в журнале «Освобождение» (найжены и атрибутированы Л. Кацисом).



ПРОЗА
ПУБЛИЦИСТИКА
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
1903





Вскользь

Будьте добры.

Может быть, на вас насело много разных неприятностей.

Но будьте добры.

И тогда вы распутаете все сети и выйдете на волю.

Никогда не опускайте рук.

Не уподобляйтесь человеку, который зимой, в степи, усталый и иззябший, садится, махнув на все рукой, в сугроб и добровольно отдается смерти.

Он говорит себе:

— Еще десять верст до жилья... Эх! Не стоит идти. Я слишком измучен. Лучше сяду и замерзну.

Но вы должны говорить себе:

— Еще десять верст до жилья? Что ж, пройдем еще десять верст.

Никогда не сдавайтесь, не бросайтесь на землю сами.

Пусть вьюга вас опрокинет, если может, но вы сами не ложитесь пред нею.

Много, может быть, неприятностей насело на иного из вас.

Пусть он будет добр.

Пусть он прежде всего разберется в этих неприятностях.

Нет ли в их числе таких, которые только потому неприятны, что ему угодно обращать на них внимание, а если пожать на них презрительно плечами, то сами собой разлетятся в пух и пыль?

Пожимать презрительно плечами — великая наука в жизни. Учитесь ей.

И когда вы таким путем отделите истинные неприятности и вычеркнете воображаемые — тогда обновите в себе бодрость и вооружитесь ею.

Расставьте все, что вам угрожает, в правильном порядке перед глазами.

И неустанно, шаг за шагом, побеждайте одного врага за другим.

Все может победить бодрый человек.

И нельзя победить бодрого человека.

Убить его можно, а пока он жив, никогда никто ему не скажет:

— Я тебя победил.

Потому что он улыбнется и ответит:

— Как же ты меня победил, когда я еще борюсь против тебя?

Будьте добры и не ленитесь.

Не останавливайтесь перед сложной задачей, не говорите:

— Это слишком сложно для меня.

Сложное состоит из множества простейших, расположенных в известном порядке.

Обдумайте этот порядок, а потом бодро и спокойно примитесь по порядку за простейшие.

Справьтесь с одним, перейдите к другому и третьему и уверенной поступью дойдите до последнего.

И вы победите самую сложную задачу.

Чтобы быть хорошим и полезным работником в жизни, вовсе не нужно ни ума, ни таланта, нужна только бодрость.

Бодрого человека любят и боги, и мужчины, и женщины.

Будьте бодры.



С Новым годом.

Знаете, чего я пожелаю вам и себе в новом году?

Я мог бы пожелать вам удачи во всем добром.

Но ведь удачи во всем добром я желаю вам ежедневно круглый год.

Нет смысла сказать:

— Желаю вам всего хорошего в 1903 году.

Почему именно в 1903-м? Не в 1903-м, а всегда надо желать человеку всего хорошего.

Нет. В первый день нового года я пожелаю вам и себе — *хорошего года*.

Такого года, который было бы потом чем вспомнить.

Славы и величия желаю, но не нам, а этому году.

Тускло живя нудный год за годом, давно уже мы ждем яркого года.

Давно уже мы тоскуем о таком годе, на который 31 декабря можно было бы оглянуться и сказать:

— Господа, мы прожили интересный и великий год.

Деда наши и старые отцы переживали такие годы, а нам еще не довелось.

Неужели обойдет нас судьба и не выпадет на нашу долю года великого и громкого?

Нет горшего позора для поколения, как прожить свою жизнь без такого года.

Поколение, прожившее без такого года, будет забыто и презрено.

Я верю, что наше поколение не будет презрено и забыто.

Я верю, что судьба нам пошлет такой год, о котором будет вспоминать потомок и говорить с благоговением:

— Как я завидую людям, жившим в то время!

Мы с вами, читатель, встречаемся каждый день, и, чтобы выразить друг другу добрые пожелания, нам не нужен первый день января месяца.

Но некто новый предстал нам в эту полночь, некто, с кем мы еще никогда не встречались: этот некто — новый год, и ему должны мы принести наши пожелания.

Здравствуй, новый год. Желаю тебе силы и блеска. Не пройди бесследно. Соверши великое.

Altalena

Одесские новости. 1.01.1903



Вскользь

Третьего дня благосклонный читатель прочел у меня в фельетоне:

«Будьте добры».

И, вероятно, сейчас же зевнул.

Я бы тоже зевнул.

Право, я в этом не виноват.

Это, что называется, «досадная опечатка».

Ибо я написал не «будьте добры», а «будьте бодры».

Бодры, понимаете?

Фразы: «будьте добры» — я ни за что бы не написал.

Я считал бы гражданским преступлением — проповедовать доброту.

Слишком много у нас и без того добрых людей.

И слишком много видов доброты.

Есть, например, такой — очень распространенный — вид доброты.

Идет по улице согбенный человек, а у согбенного человека на шее сидит другой человек.

— Согбенный, — спрашиваете вы, — отчего ты не сбросишь в преисподнюю сидящего на тебе верхом?

И отвечает согбенный:

— Жалко мне его. Уж так он удобно тут у меня на шее устроился. Как же это взять да лишить его удобного места?

Обдумайте вы этого согбенного человека.

И увидите вы, что он подобен французскому судну под немецким флагом.

Потому что он есть сосуд трусости, выступающей под флагом доброты.

И другой есть вид доброты.

В лазурных волнах моря один господин топит другого господина.

Третий господин сидит на берегу и закусывает бутербродами.

— Третий господин! — спрашиваете вы. — Почто нейдешь на помощь топимому?

— Жалко топимого, — отвечает, прожевывая, третий господин, — но и топящего жалко. Не подымается рука моя ни на того, ни на другого.

И сей подобен судну английскому под флагом персидским.

Ибо есть он сосуд эгоизма под флагом доброты.

Много дряни плавает по свету под флагом доброты.

И дряблость, и слабость, и попустительство, и предательство, и всякая подлость.

И особенно глупость.

Итальянцы даже так и выражаются о глупом человеке:

— E' tre volte buono. Он трижды добр.

Нет, господа, то была «досадная опечатка». Я не решился бы сказать вам:

— Будьте добры.

Уж если на то пошло, я сказал бы скорее:

— Будьте злы!

Ибо, наоборот, под флагом зла выступает много хороших вещей.

Например, зависть и мстительность.

Зависть, которая свята потому, что она есть противовес поруганному равенству.

И мстительность, которая есть ответ и рычаг оскорбленной справедливости.

— Будьте злы, — сказал бы я.

Когда видите, что равенство поругано и справедливость оскорблена, пусть злое чувство сделает ваше сердце жестким и твердым, как камень, и наполнит его завистью и местью.

И не давайте расплывчатой доброте согреть ваше отвердевшее сердце своей нездоровой теплотою и сделать из него вместо камня жидкую кашницу.

Будьте *богры*.



Вообще, всматриваясь в жизнь, я мало-помалу прихожу к убеждению, что в категории пороков записано многое, чему, собственно, место в категории доблестей.

Например, высокомерие.

Человек есть существо бестактное и развязное.

Заветнейшее желание его — это хлопнуть вас по плечу.

И он для этого пользуется всяким случаем.

Подойдет, хлопнет вас по плечу и спросит громко, чтобы все слышали, развязно и фамильярно:

— Ну! Как дела? Работаете? Работайте, работайте, это вам полезно.

И отойдет.

И, отойдя, скажет знакомым:

— Я с ним вот как! По плечу — и покровительственным тоном. Я с ним запросто. Пусть не думает, что он для меня важная птица!..

Вы, может быть, и не думаете вовсе, что вы для него важная птица, но с какой же стати получать Бог знает от кого хлопки по плечу?

Был я на днях в одном концертике.

Вижу, сидит дама и говорит мне:

— Здравствуйте.

Я говорю тоже:

— Здравствуйте.

Она говорит:

— А вы меня не узнаете?

Я говорю:

— Виноват, не узнаю. Я так близорук...

Она говорит:

— А я мадам такая-то.

— Ах, — говорю, — очень приятно.

— Теперь узнаете?

— Да, теперь как будто бы узнаю... Очень, очень приятно. Сколько лет, сколько зим. Pardon¹, я вам откланяюсь, меня ждут...

— Нет, подождите, я вас хотела спросить: вы не видели, где сидит Маничка?

— Маничка?

— Ну да, Маничка.

— Нет, pardon, не заметил. Я, знаете, так близорук...

— Ну, так я вас попрошу, разыщите ее, пожалуйста, и скажите, чтобы она села рядом со мною — здесь есть свободное место.

Знаете, я так растерялся, что еще минута — и, действительно, пошел бы разыскивать Маничку для этой дамы, о которой по сей день не могу припомнить — кто она такая?

К счастью, меня выручили приятели.

У меня с приятелями такой договор.

Когда кто-нибудь из нас, разговаривая со скучным собеседником, не знает, как от него «отшиться», другой его спасает.

Опытным взором он улавливает на лице у несчастного особенное выражение, означающее:

— Умираю. Вытаскивайте!

И тотчас же подлетает с озабоченным видом:

— Тысяча извинений. На пару слов. По очень важному и экстренному делу...

Или другой случай, иного фасону, но такой же категории.

Получаю письмо.

«Милостивый государь!

Зная вашу отзывчивость, просим вас не отказать выяснить с точки зрения общественной морали следующий вопрос:

Приличествует ли интеллигентной девице посещать театр "Декаданс" и тому подобные заведения?

Просим вас выяснить нам этот вопрос как принципиально вообще, так и в частности для Одессы».

Прочитал я это письмо и сказал себе:

— Нет спасения!

Ибо ведь ясно, что скоро меня уже и на черную работу будут употреблять.

Встречу в концерте даму, а она мне скажет:

— Вы меня не узнаете? Я мадам такая-то. Приходите к нам чистить башмаки.

Нет спасения.

¹ Извините (фр.).

Изобразите на вашем лице сколько угодно «собственного достоинства» — не поможет.

Собственное достоинство — духи тонкие: обоняние развязного человека даже не почувет их.

Нет, тут нужно было бы высокомерие.

Этакое славное, крепкое высокомерие.

Этакое умение так расправить бороду, так выпятить живот, чтобы развязный человек даже и пикнуть не смел.

А подойдет он к вам — подать два пальца и прищуриться.

Чтобы он, значит, моментально тут же обомлел и оглох.

Вижу я, с каждым днем все яснее вижу — плохо тому, у кого нет умения быть высокомерным.

Рано или поздно, а уж позовут его башмаки чистить.

Altalena

Одесские новости. 3.01.1903



Вскользь

Бедный читатель! Так-таки вы и не выиграли двухсот тысяч? Жаль.

Воображаю, чего бы вы только не наделали, если бы выиграли 200 000.

Воображаю потому, что представляю себе, чего только не наделал бы я, ежели бы выиграл двести тысяч.

Вот бы распорядился — мое почтение!

Долги бы заплатил, во-первых.

80 копеек в бакалейную лавочку.

Дворнику рубль по случаю Нового года.

Потом справил бы себе пару калош и большой черный зонтик.

Удобная штука зонтик: распустишь над головой и дождя не боишься.

Жене муфту, синишке теплые перчатки.

Потом купил бы пятьдесят листов шикарной бумаги для писем — толстой, серой, и пятьдесят таких же конвертов.

И написал бы любезные письма г-ну Маразли и г-ну Ашкинази, и обоим господам Бродским, которые в Киеве.

Чтобы, значит, знали, что и я тоже.

И портрет бы заказал г-ну Кузнецову: ему прекрасно удаются портреты людей нашего круга.

Потом взял бы жену и поехал бы с нею на шинах в «Декаданс».

Сели бы в отдельном кабинете и покушали бы изысканно: шампанское, зернистая икра, всякая там дичь де-воляй, петифуры и какао с молоком.

Потом велел бы подать счет.

Газетчикам, кажется, в этом учреждении любезно полагается скидка.

А я сказал бы строго:

— Не надо скидки.

И дал бы слуге полтора рубля на чай.

А жене велел бы вынуть сережку из уха (у нее есть бриллиантовые) и написать на зеркале:

— J'aime mon mari¹.

И когда приехали бы домой, сказал бы дворнику:

— Скотина!

Потом собственный театр завел бы. Я уж даже придумал: снял бы свадебный зал Двойриса и ставил бы спектакли.

Давал бы ход местным авторам. Г-на Митяя Гольдштейна поставил бы, г-на Писаревского поставил бы; читал недавно пьеску в стихках «Астра», тоже здешнего изделия, — и ту поставил бы в зале Двойриса.

Для дивертисмента выпустил бы какое-нибудь художественное трио из петербургских писателей.

Пусть читают.

— Вы нам, — попросил бы, — такое прочтите, чтобы мы тоже прослезились...



Еще письмо-последыш по вопросу о кормилицах.

«Милостивый государь!

Если вам угодно знать мое мнение, то оно в следующих строках:

*Кормить ребенка должна лишь мать,
Коль хочет быть уверена,
Что сыт, здоров и крепко спать
Ребенок будет до утра.*

С почтением Р. Ш., мать первого ребенка».

¹ Я люблю своего мужа (фр.).

Мы, смертные люди, в конце концов жалкие несовершенные создания.

И самое жалкое, несовершенное в нас — это наш язык.

Вот перед вами эта г-жа Р. Ш., мать первого ребенка.

Славный бутуз, вероятно, этот ее первый ребенок.

Пищит, наверное, слаще всякой музыки, а дрыгает ножками так грациозно, что просто прелесть.

Когда улыбнется — точно свечку засветит в темной комнате.

Г-жа Р. Ш., должно быть, безумно влюблена в этого милого ребенка.

Она, вероятно, уже находит, что у него умные, выразительные глазки.

Профессор будет.

А когда он «сыт, здоров и мирно спит», она, вероятно, любит красивым сном крошечного человечка и в эти минуты ясно чувствует, что ее материнская любовь прекраснее всего прекрасного и необъятнее вселенной.

И вдруг, когда г-жа Р. Ш. пытается высказать это глубокое чувство словами, то глядите, люди добрые, что получается.

— Холоден и жалок нищий наш язык, — сказал Надсон.

И г-жа Р. Ш. может быть вполне «уверена», что он имел в виду именно ее.

Интересна должна быть вообще психология обывателя, тяготеющего к стиху.

У меня как-то был один такой и читал свои произведения.

Это было нечто баснословное.

Господин в золотых очках, с бородою, вполне солидный, служащий в конторе не меньше как рублей за 50 в месяц, самым серьезным и убежденным голосом декламировал такие вещи:

*Живу-то я с моей Петровой
Спокойно, мирно-то, любовно,
Друзьями, год десятый уж,
Бездетный хоть, счастливец-муж.*

И все в этом роде.

Самые неожиданные комбинации слов, частиц и оборотов.

Это даже не было бездарно — это было прямо уж за пределами добра и зла.

Но ведь все это пахло потом кропотливого, каторжного высиживания.

Ведь занятой человек посвящал этим невероятным виршам свое время, потел над ними и тер себе лоб!

Что его побуждало? Что его толкало?

Странная загадка...

Вспоминается мне один знакомый, тоже страдавший этим раздражением стихотворного нерва.

Он был еще великолепно «счастливец-мужа»: он даже не в состоянии был постигнуть, что такое размер.

— В ваших стихах нет размера, — говорил я ему.

— Что это значит?

— Как вам объяснить... ну, они у вас неодинаковые, неровные...

— Вот тебе на! У Пушкина тоже неровные. Иной стих на всю строчку и даже перенести приходится, а другой коротенький...

И он писал, писал, писал на все случаи жизни и читал мне, грешному, а когда не бывало никаких случаев жизни, то брал Пушкина и перелагал «Сцены из рыцарских времен» в стихи такого стиля:

Сын говорит отцу:

— Отец, сердисься на меня за что?

Кажется, не сделал я ничего.

А отец отвечает:

— Да, га, га,

Вот то-то и беда,

Что не делаешь ты ни черта...

Altalena

Одесские новости. 4.01.1903



Вскользь

Из одного письма:

«Мне не понравился эпиграф к одному из ваших последних фельетонов: "Из столкновения мнений рождается истина".

Зная ваш образ мыслей, я был очень удивлен, что вы избрали для вашей статьи именно это motto¹, столь же старое, как и живое.

Никогда, милостивый государь, никогда в жизни истина не рождается из столкновения мнений.

Напротив, от столкновения мнений она становится ложью, затемняется, исчезает.

Истина всегда в вещах, а не в мнениях.

¹ Здесь: эпиграф (*итал.*).

Нам, смертным, истина открывается только в "молниеподобных появлениях" — по замечательному выражению Д'Аннунцио.

Но ни на мгновение не дается нам истина как следствие беседы или прений.

У каждого человека своя собственная истина: он ее любит, холит и нежит и ни за что не откажется от нее.

После спора люди расходятся раздраженными, нахмуренными, быть может, поссорившимися, но всегда каждый из них остается при своей истине — или, если угодно, при своем заблуждении.

Человек обожает своих богов или — как хотите — свои фе-тиши. Не так легко заставить его повернуть им спину.

Нужно, действительно, какое-нибудь "молниеподобное появление" истины для того, чтобы он —

*сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.*

Я настаиваю, милостивый государь: "столкновение мнений" часто вредно, всегда — бесполезно...»

Письмо подписано «A fool boy»¹.

Я не совсем согласен с г-ном Fool boy.

Действительно, человека убежденного — если он не тряпка — нельзя разубедить или переубедить.

Это — правило. Если из него бывают исключения, то уж это именно те «молниеподобные появления» истины, о которых, по словам г-на Fool boy, говорит Д'Аннунцио.

Я не только думаю, что убежденного человека нельзя переубедить, — я даже думаю, что убежденного человека почти никогда и не следует стараться переубедить.

Зачем? Пусть каждый остается при своих мнениях.

Надо дорожить разнообразием человеческих настроений: в нем залог движения.

И спорить надо вовсе не для того, чтобы принудить оппонента отказаться от своей точки зрения, а только для того, чтобы хорошо выяснить ему мою точку зрения.

Необходимо не то, чтобы люди все были согласны друг с другом, а то, чтобы они ясно понимали друг друга.

¹ Придурак (букв.: «глупый парень»; англ.).

И всякий спор стоит вести только до того момента, когда противнику станет ясна моя точка зрения, а мне — его точка зрения.

Спорить дальше — неблагоприятно. Расходитесь по домам каждый со своей собственной головой и своими собственными мнениями.

В этом смысле, действительно, из спора истина не выясняется, да и не должна выясняться.

Самим спорщикам спор не должен дать ничего, кроме прачки горла и освежающей гимнастики ума.

Но ведь при всяком споре присутствуют посторонние, нейтральные люди.

В них-то и все дело.

Для них-то и дается «столкновение мнений».

Чтобы они, пока нейтральные, глядя со стороны, могли выбрать из этих мнений то, которое для них — по индивидуальности каждого из них — представляет истину.

Вот что значит: «из столкновения мнений рождается истина».

Не тот человек, который, уже веруя в одну истину, должен после спора бросить ее и уверовать в другую, а тот человек, который еще не нашел своей истины, должен найти ее, прислушиваясь к «столкновению мнений».

И потому, когда является на свет новое или обновленное учение, оно не должно стремиться переубеждать убежденных.

Убежденный человек — это храм, где воздвигнут алтарь его убеждению.

Храмов не штурмуют. Не уподобляйтесь туркам, которые сбросили с собора Святой Софии крест и прицепили полумесяц.

Встретив убежденного сторонника старой веры, объясните ему толково вашу веру, но старайтесь не поколебать и не оскорбить его веры.

Ибо нехорошо зазывать чужого клиента в вашу лавочку. Ведь и другим лавочкам нужны клиенты.

Но всегда есть люди, еще не пристроившиеся ни к какой вере. Они знают старое учение, но равнодушны к нему и смутно ждуть чего-то нового.

Только в среде этой молодежи, на этой целине, еще не знавшей плуга, может всякое новое или обновленное течение вербовать своих поборников.

И когда новое течение громко спорит со старым, то не для того, чтобы старое сдалось и умерло.

А для того, чтобы свежие, нетронутые, только еще ждущие своей веры могли со стороны прислушаться к свободному столкновению мнений и выбрать из них себе по сердцу истину.

Altalena

Одесские новости. 5.01.1903



*Amoureuse trinité*¹

Что в этом прошлом? В чем его очарование?

Трудно было бы сказать. Ни крупных событий, ни возвышенных интересов ведь нет в этом прошлом.

Мелкие волнения, много ребячества, много бестактностей.

Но оттенок другой и аромат другой — не тот, которым окрашена теперь наша с вами жизнь и наша с вами среда.

Ничего мещанского, беззаботная искренность, свежее дыхание юности... словом, «что-то такое», чего теперь у нас с вами больше нет и не будет больше.

Нам остались воспоминания. Будемте же изредка вспоминать.



Мы тогда жили тоже на чердаках, Гоффредо и я.

У меня из окна был вид на весь Борго, где мы тогда жили, и на весь огромный седой Рим за рекою — тот самый вид, что в последнем действии «Тоски», только еще лучше.

У Гоффредо из окна был вид на равнину.

Равнина была темно-зеленая, почти синяя, величавая, скорбная; по ней редко стояли пинии, похожие на букву Т, и иногда проходили римские волы, тяжелые, огромные, тоже скорбные и величавые, — «благочестивые» волы, как назвал их поэт Кардуччи.

Был тогда конец зимы, и пальмы на Пинчо, и равнина были почти так же зелены, как летом, но по вечерам дула резкая трамонтана² и часто шли дожди.

И вот в эти дождливые вечера мы обыкновенно сидели с Гоффредо вдвоем у него на чердачке.

¹ Любовная троица (фр.).

² Северный ветер (от *итал.* tramontana).

Всегда у него, потому что я тогда зарабатывал до 27 рублей в месяц, а Гоффредо из дому получал больше, так что у него и убранство было лучше, и всякая нужная утварь имелась налицо.

Убранство у него было шикарное.

Он тогда недавно вернулся из Парижа, где кокетки научили его особенным образом драпировать ковры по стенам.

И он накупил дешевых плохеньких ковриков и устроил из них такую драпировку, что даже хозяйка, сора Ливия, вдова околоточного надзирателя — и та восхищалась.

Гоффредо покупал много книг, но не расставлял их на полочке, а развешивал на разноцветных лентах по задрапированным стенам.

Тут у него висели в красивом беспорядке Ницше, Д'Аннунцио, Стриндберг, два романа Гур и его собственные рукописи.

Между книгами были прибиты фотографические карточки нескольких его невест и тех парижских кокеток, что научили его драпировать комнаты.

Из утвари у него была машинка для чая, полдюжины приборов из дешевой лавки на Via Nazionale, где все продается по 48 сантимов, много стаканов и лампа, а у меня всего этого не было.

И еще у него была цитра.

Оттого мы и сидели всегда по вечерам у Гоффредо.

Он читал или писал, я читал или писал: я писал или корреспонденции, или пьесу, в которую вложил столько души и которую потом освистали; он писал или конспекты речей для одного депутата правой, который ни за что не хотел понижения хлебных пошлин, или тоже пьесу — драму «Нищие».

Я даже помню канву этой драмы.

Там была героиня Джулиана, которая прежде пела в опере, потом, в расцвете голоса, перешла в оперетку, а через год — в кафешантан.

И никто, и она сама не могли понять, что повлекло ее, с прекрасным голосом, из оперы в кафешантан.

Вдруг в одной газете появился о ней фельетон, предлагавший разгадку этой странной непоседливости — в слове:

«Женственность».

Джулиана, по мнению автора, инстинктивно искала той арены, где всего ярче могла проявить свою торжествующую женственность.

Джулиана прочла эту статью и была поражена. Автор заглянул ей в душу так глубоко, как она сама не умела.

Ей представили автора. Он оказался хилым и тоненьким литератором, с большим талантом и узкой грудью.

Однако Джулиана стала его любовницей, потому что он изумительно тонко мог говорить о любви и женственности.

Но скоро она поняла, что он, хорошо говоривший о любви, был чересчур слаб, чтобы уметь любить.

И ей захотелось бросить его, но она боялась убить этого хрупкого человека горем.

Тогда приехал друг его, красивый, сильный бретер, и победил Джулиану.

Я помню сцену, которую Гоффредо считал очень сильной и оригинальной, — где этот человек и Джулиана все время сидели в полутьме в разных концах большой комнаты и где он, не прикасаясь к ней, не подходя к ней, одними словами, одним лучистым пламенем своей страсти овладел Джулианой и в ее отдающемся взгляде взял в свою власть ее тело и душу.

На следующий день его ранили на дуэли с кем-то и обезобразили его лицо.

И тогда Джулиана ушла от обоих, от постылого слабого и от обезображенного сильного, и сказала им на прощанье:

— То, что идет не от сердца, а от жалости, то есть милостыня. Я слишком ценю вас обоих и не хочу, чтобы вы предо мною были нищими...

Гоффредо писал эту пьесу, а я строчил мои корреспонденции, где расправлялся, как мне было угодно, с министрами и генералами; но оба мы думали главным образом не о министрах и не о Джулиане, а о том, придет или не придет Диана.

И Диана приходила. Ударял ее бодрый и вместе с тем нежный стук медным кольцом в дверь.

И она показывалась на пороге, небольшая, стройная, с высокой каштановой прической на непокрытой голове, в простеньком красном лифе, без верхней кофточка, только с лисичкой на шее и под зонтиком.

— Добрый вечер! — говорила она весело, и нам всем троим становилось так хорошо, что не сиделось на месте.

Гоффредо говорил ей:

— Я уже думал, что тебе сегодня вечером не удастся ускользнуть из дому.

И она оживленно рассказывала:

— Нет, я сказала маме, что иду к Ольге доканчивать заказанную шляпку. А что если Ольга придет к нам? Пропала я тогда!

И мы смеялись.

— Гоффредо, у тебя страшный беспорядок. Разве так перемывают чашку?

— Дай сюда бутылку с керосином, я заварю чай. А сахар есть?

— А у вас все не пришита третья пуговица? Я всегда говорила, что вы неряха. Снимите пиджак, я пришью.

Я снимал пиджак и отдавал ей, если в этот вечер была очередь Гоффредо идти за хлебом и колбасою.

И мы оставались с нею вдвоем: она шила и болтала про то, что сегодня было в их мастерской, или пела римские песенки с такими ритурнеями¹:

*Природа ждет рассвета,
но не видать ей солнца,
покуда из оконца
не выглянула ты!*

Ей было восемнадцать лет; она немножко считалась невестой Гоффредо, хотя сама, я думаю, не верила, чтобы он, студент, драматург и бахвал с большими надеждами, женился на модисточке; она была с ним и со мной одинакова, и мы оба относились к ней одинаково платонически — ласково, тепло и шаловливо.

И вот она шила и болтала или пела, а я смеялся с нею и любовался ею и тем сверкающим римским акцентом, с которым она говорила и который я люблю лучше всякой музыки.

Пуговица была пришита, Диана отдавала мне спортуки и спрашивала:

— А что мне за это следует?

Я отвечал:

— Два поцелуя.

А она говорила:

— Нет, только один.

И, получив эту плату, она устраивалась у меня на коленях и дразнила:

— Вы меня не боитесь? Я вас не искушаю?

— Нет, — говорил я, — пока еще не так страшно.

— А какую сказку вы нам сегодня расскажете?

¹ Здесь: рефренами (от *итал.* ritornello).

— Хорошую.

— А что пишут ваши родные из России? Они все здоровы?

— Да, все здоровы, Диана, спасибо...

Стук.

— Тсс! — говорила тихо Диана. — Не отпирайте и затаим оба дыхание. Пусть Гоффредо научится ревновать.

Но Гоффредо знал эти штуки и начинал так стучать в дверь сапогами, что Диана первая бросалась отворять.

Он приносил с собой чудесный пресный хлеб, за который я теперь отдал бы все деликатесы Робина, и чудесную жирную колбасу, и пол-литра чудесного сладкого красного вина Гротта-Феррата.

И мы ужинали, с хохотом и песнями — римскими, неаполитанскими, сицилийскими, русскими, парижскими, — и пили вино, и запивали чаем.

Потом мы помогали Диане убрать и перемыть тарелки и чашки, мыли руки, утирались одним полотенцем.

И Гоффредо говорил:

— Теперь сказка.

Тогда я садился в кресло, Диана садилась на мягкой скамеечке у моих ног и клала мне голову на колени, а Гоффредо разваливался на диване и держал ее руки в своих.

Лампа тушилась, зажигался красный фонарик, оставшийся от фотографического аппарата, который был теперь в ломбарде.

И они оба стихали и слушали, увлекаясь, как дети, а я им рассказывал «Вия», или «Майскую ночь», или «Милу и Нолли».

Я держал руки близко у лица Дианы, и она беззвучно заигрывала и шалила с моими пальцами, лоя их в свои свежие губы и даже слегка прикусывая, когда сказка была страшная.

Кончалась сказка, и пора было идти домой.

Мы провожали ее оба. Она жила тут же в Борго, и надо было прятаться в тени, чтобы никто не заметил и не узнал ее.

Мы доводили ее до ступенек ее portone¹ в мрачном переулке, прорубленном в папской стене, и иногда, если в переулке было пустынно, на носочках подымались по темной лестнице до самой двери, за которой слышались голоса ее матери и сестер.

— У, если бы мама теперь вдруг отворила дверь!.. — шептала нам Диана, вся дрожа от беззвучного хохота.

¹ Подъезд (итал.).

И она прощалась с нами, целуя его и меня долгими ласковыми поцелуями, и иногда шептала нам:

— У нас дома так нехорошо... Я умерла бы, если бы у меня не было вас...

И мы оба тихонько спускались к выходу, а она стучалась, показывалась на мгновение в свете отпертой двери, небольшая, грациозная, и пропадала.

Altalena

Одесские новости. 6.01.1903

Печатается позднейший вариант по сборнику «В студенческой богеме» (Одесса, 1903)



Вскользь

Читатель простит больному человеку, что он ни о чем, кроме своей болезни, говорить не в силах.

Ведь не могу же я, простертый на ложе недуга, с повязкой на флюсе, компрессом на шее, компрессом на лбу, горчичником на груди и теплыми бутылками в ногах, — писать о мировых вопросах.

Что мне до мировых вопросов! Я болен и хочу беседовать о моей болезни.

Родные мои так огорчены, что даже не разворачивают газеты; поэтому я решаюсь сделать одно признание, в уверенности, что они его не прочтут:

— Люблю быть больным.

Уложат тебя среди бела дня в теплую постель и ухаживают. Супруга через каждые пять минут подходит и спрашивает:

— Тебе лучше, цыпочка?

Или:

— Тебе куриный бульон, цыпочка?

И говоришь ей слабым голосом:

— Ку-ри-ный.

Потом температуру измеряют.

Это я еще пуще люблю.

Лестно и отрадно.

Ибо, когда я здоров, никто моей температурой не интересуется.

Хотя следовало бы.

Ведь ежедневно, кто только в Бога верует, старается повысить во мне температуру.

Кто только не ленив, изо всех сил работает, чтобы довести меня до точки кипения.

И даже до белого каления.

Взгляну направо — и чувствую некоторый прилив горячности.

Взгляну налево — еще несколько калорий прибавится.

Ведь не мешало бы изредка измерять мне, и здоровому, температуру.

Скоро ли закиплю? Не лопну ли?

Лопну — это, конечно, для мира не потеря, но ведь осколками кого-нибудь можно поцарапать?

А вот, подите же, пока я здоров, не измеряют.

Так, значит, прямо и дают понять:

— Лопни, не лопни — нам все равно, и осколков твоих не боимся.

Обидно!

То ли дело, когда болен.

Тыкают в тебя термометром, сокрушаются и говорят:

— Ах, какая высокая температура. Попотей, цыпочка.

Лафа.

Потом — семья какая ласковая становится, когда болен.

Жена говорит:

— Цыпочка.

Детишки уже второй день в гимназию не хотят идти:

— Как же мы пойдём, когда папочка нездоров? А вдруг что-нибудь случится.

Правда, около 11 часов оба сынка пошли в гости к каким-то девочкам, а обе дочери в гости к каким-то мальчикам.

Но ведь, уходя, так и сказали:

— Мы на минутку.

Во всяком случае, к обеду вернутся.

А когда они в гимназии, то это еще далеко не гарантировано, вернутся ли к обеду.

Тетка вот тоже, старуха, как убивается.

Пришла с утра и сидит до сих пор, пьет чай и плачет.

— На кого ты нас, — говорит, — покидаешь!..

Такая добрая старушка.

И лежишь себе вот этак навзничь, чтобы не раздавить флюса, и тоже настраиваешься скорбно.

В самом деле: умереть во цвете лет! Как это грустно.

Жизнь, можно сказать, еще улыбается передо мною, а тут вдруг конец.

Ужасно жалко.
Положим, это ведь и красиво.

*Не рыдай так безумно над ним,
Хорошо умереть молодым...*

Интересно бы знать, какие будут похороны.
Сколько венков?

Пожалуйста, господа, побольше венков. Уж не откажите.
Чтобы вся колесница была загромождена.

А на самом видном месте прошу положить венок от редакции «Одесского листка» с надписью на черной ленте:

«Незабвенному».

Имени моего на ленте, конечно, не будет, ибо и в соответствующем номере этой газеты появится только такое сообщение мелким шрифтом:

«На днях скончался один из сотрудников одного из местных изданий».

Из остальных венков можно будет отобрать самую малость — этак штук 25, больше не надо — и тоже развесить на катафалке.

А что останется — взвáлите просто на извозчика и повезете сзади.

Жаль, что одного интересного венка не будет — от одесских шулеров.

В прошлом году я посвятил им несколько теплых строк и на другой день получил открытку, на коей был изображен кто-то, бивший кого-то, и следующее рукописное пояснение:

«Так будет и тебе за фельетон о шулерах».

А пониже, тоже рукописно:

«Дурак!»

Странная подпись. Верно, псевдоним.

Так что я наверняка мог рассчитывать на венок от шулеров, но беда в том, что все они недавно ездили в провинцию на гастроли и там попали на таких док, что, по слухам, вернулись в Одессу зайцами в товарных поездах.

Теперь у бедняг, при всем желании, и на венок не хватит.

А то добрые ребята, вероятно, и венок бы шикарный купили, и на руках несли бы до могилы мои безвременно угасшие останки...

Altalena

Одесские новости. 11.01.1903



Вскользь

ВЕЧЕР КУРСИСТОК

В Одессе гостят теперь столичные курсистки, приехавшие сюда к родным на праздники.

Завтра они устраивают в Благородном собрании семейный вечер.

Сбор пойдет тоже в пользу курсисток-одесситок, но, вероятно, не тех, которые устраивают вечер.

Потому что те курсистки-одесситки, в пользу которых устраивается вечер, вряд ли могли позволить себе такую роскошь — приехать к родным на Рождество.

Подождут уж до июня месяца, а тогда, Бог даст, в третьем классе, весьма умеренно по дороге кушая, доберутся до Одессы полюбоваться родными акациями.

А святки можно и в Петербурге провести.

Однако теперь и в Одессе вот какая погода.

В Петербурге, без сомнения, еще получше.

Холодно, я думаю, теперь там этим дочерям нашего города, приемлющим свет знания на высших курсах.

Квартирная хозяйка есть существо загадочное. Кто может поручиться, хорошо ли она топит комнату курсистки из Одессы?

А пойти погреться, посидеть в гостях — может быть, и некуда, — какие у южанки знакомства там, в этой гиперборейской земле?

Холодно, несытно и тоскливо.

Навидался я в Швейцарии этого житья-бытья «недостаточной студентки».

Такого навидался, что иногда меня охватывало злобное презрение к себе самому: как я смею брать в студенческой столовой ежедневно полную порцию за 40 сантимов, когда рядом со мною две барышни берут одну порцию пополам и только через день?

Если бы это еще были мужчины...

Но девушки? Все, что осталось рыцарского в душе у сегодняшнего человека, возмущалось и страдало при виде молодой женщины в лапах у такого отвратительного существа, как нужда.

А ведь в Швейцарии бесконечно теплее и все гораздо дешевле.

Я на днях только с лаской вспоминал о студенческой богеме, и, действительно, студенческая богема — чудесная вещь, особенно для воспоминаний.

Но для того чтобы выдержать характер богемы, вовсе не нужно ни холода, ни голода.

Ни у кого веселые воспоминания юности не стали печальнее от того, что он в то время каждый день обедал и не грел пальцев на свече, когда надо было писать...

Много есть общественных несправедливостей, но возмутительнее всех те, которые совершаются над молодостью.

Детством и молодостью надо было бы дорожить, обставлять их так уютно, чтобы потом человек в хороших воспоминаниях о детстве и молодости находил опору против шквалов жизни.

А у нас и детство испорчено, и молодость испорчена.

В воспоминаниях детства и отрочества первое место занимает серая латынь.

В воспоминаниях молодости — нужда, холод и, может быть, голод.

Извольте вспоминать и наслаждаться.

Если в минуту жизни трудную оглянешься назад — да и там, кроме горя, ничего не разглядишь, — плохое это будет утешение.

— И теперь плохо, и прежде было плохо, верно и впереди добра не будет. Один конец!

Можно было бы — не примириться — но, до поры до времени, извинить обществу почти все его неурядицы, если бы только оно позаботилось иначе обставить детство и молодость.

Потому что ведь это корни и первые ростки человеческого древа!

Пусть потом на выросшее дерево обрушатся морозы и бури, но дайте же ему вырасти в покое, но поливайте же корни и ростки свежей водою, а не горькой желчью.

Я думаю, что нет для общества заботы важнее этой заботы о молодежи.

Высокое дело — печься о благе меньшего брата, но еще выше — о благе сына и дочери.

Ибо в меньшем брате — наше сострадание, а в сыне и дочери — наша надежда.

Римляне говорили:

— Spes, ultima dea.

Надежда — последняя богиня. Когда надежда умерла, нет больше богов, небо стало пусто и человеку незачем более жить.

Не давайте же упасть последней богине. Поддерживайте надежду, нашу надежду.

Берите пример с нее: она сама себя поддерживает духом товарищества.

Часть могла приехать в Одессу на праздники, часть не могла; но приехавшие помнят о тех, которые не могли приехать, и хотят им помочь.

Обдумывают, вероятно, разные важные вещи: как убран зал, как привлечь итальянцев для пения и знаменитости для чтения, кому поручить летучую почту, кого посадить в киосках, кому дирижировать танцами...

Да ведь не в том вовсе дело.

Весело и хорошо у вас все равно будет — разве может быть иначе у курсисток и студентов?

Но не в том дело, не ради танцев, не для итальянцев повалит публика на такой вечер...

Altalena

Одесские новости. 12.01.1903



Вскользь

Несколько раз уже приходили ко мне служащие на здешних «фабриках» минеральных вод и просили заступиться.

Положение их нехорошее.

При слове «фабрика» возникает представление о чем-то солидном, большом и внушительном.

Но «фабрика» минеральных вод — это, собственно, маленькая лаборатория при маленькой лавочке, где публике отпускают зельтерскую с сиропом по три копейки стакан.

Таких «фабрик» в Одессе около 45.

Только на трех из них занято человек по двадцати или немногим больше.

На всех остальных обыкновенный штат — десять человек.

И то летом, в горячее время, когда чуть ли даже не собаки в Одессе дуют зельтерскую воду.

А зимой штат сокращается: шесть, семь служащих, нередко даже пять.

На тех трех «фабриках», что покрупнее, условия работы приближаются к обычным. По крайней мере, воскресенье не отрицается.

На всех остальных (за *двумя* исключениями) воскресенье отрицается.

По воскресеньям эти «фабрики» не только не закрываются, но даже не сокращают работы. Никакой разницы с буднями.

Крупным праздникам тоже делается строгий выбор.

Большинство, за незначительностью, отменяется, а остаются в силе только пять.

Итого *пять дней* в году, когда на этих «фабриках» нет работы.

Работа же вот какая: летом начинается в 6 часов утра и кончается около 12 ночи.

Зимой начинается тогда же, а кончается около 9 вечера.

Перерыв для обеда — это как Бог захочет.

Если время горячее, то служащим приходится и обедать наскоро тут же, среди копоти и запахов.

За сие плата — рублей 20–25 ежемесячно. А кто помоложе, берет и восемнадцать...



В конце концов, скверно быть больным.

Это надоедает.

И наконец, опасно.

Лойола во время болезни сделался иезуитом.

Не ровен час, и я тоже вдруг стану иезуитом?

Ведь когда лежишь и не спишь ночью, а вокруг тихо и слышно только, как мыши грызут в шкафу мой собственный пиджак, начинают лезть в голову такие все мистические мысли.

Настраиваешься покаянно.

Совість начинает бурчать.

Сначала кажется, что она говорит:

— Зачем вышел на прошлой неделе без калош?

Но мало-помалу, вслушиваясь, различаешь совсем иное:

— Зачем писал всякую ересь? На старичков как смел нападать?

И рисуется кошмар Страшного суда, как меня там за это самое горячими щипцами...

Ужас.

Долго не выдержу. Еще этак с недельку — и я, того гляди, отрекусь.

Скажу громко:

— Не хочу индивидуализма! Тьфу!

И стану общественником, самоотверженным, все для ближних жертвующим общественником, как г-н Лоэнгрин.

Куплю сочинения г-на Скабичевского и буду их читать, читать, читать, пока сам не выучусь писать, как г-н Скабичевский.

И начну тогда писать литературно-критические статьи.

Разберу «Детей Ванюшина» и выведу оттуда идею.

«В тумане» Андреева тоже разберу и оттуда тоже идею выколушаю.

Наловчусь в этом ремесле и тогда стану свиреп и фанатичен.

Засяду на большой дороге литературы.

И как только завяжу книжку — моментально на нее накинусь, ковырну, хлоп — и готово: выковырну идею...



Новое издание: еженедельная тетрадка «Сцены и музыки» г-на Мазаракия.

Нет ничего приятнее для меня, как увидеть новое одесское издание.

Первостепенного или второстепенного значения — это не так важно, как то, что все-таки количество печатной бумаги, предлагаемой нашим городом самому себе, увеличивается.

Он так привык получать печатную бумагу из чужих рук, этот бедный город.

Оттого он еще не скоро станет коситься на все местное в этой области, не скоро сознает, что ему должно, выгодно поддерживать всякий литературный росток одесского посева.

Добрый, конечно.

«Сцена и музыка» пока не блещет выдающимися качествами, но представляет, без сомнения, полезное издание.

Хотя одесская публика и погубила попытку художественного театра, и это непростительно, все-таки можно сказать, что в Одессе любят и интересуются всем, что относится к газетной рубрике «Театр и музыка».

Поэтому еженедельный обзор событий в этой области, считая и концерты, и вечера с литературно-музыкальными отделениями, может заинтересовать публику.

При условии, конечно, отзывчивости, разнообразия и понимающих дело сотруddников.

Altalena

Одесские новости. 15.01.1903



Вскользь

Не кажется ли вам, что дело Шафрова похоже на загадочную картинку?

На загадочной картинке изображаются обыкновенно разные простые фигурки в ясных, легко уловимых глазах контурах.

Но дело не в них, а в какой-то другой фигуре, которую надо отыскать и различить в самых неожиданных комбинациях линий.

Так и в деле Шафрова.

В этом деле сразу явственно видны фигуры действующих лиц: сам Шафров, его помощники, его клиенты и, в виде героини романа, увертливая госпожа Взятка.

Кажется, все просто и ясно: такой-то брал и вымогал взятки, следовательно, да будет ему капут.

Но подпишите под этой картиной вопрос:

— Где виноватый?

И вы сейчас же увидите, что это — загадочная картинка, на которой не так-то легко найти виноватого.

Потому что истинный виноватый — это не то что первый попавшийся стрелочник.

Вы говорите:

— Н. Н. виноват, а посему да будет ему капут!

Но после этого взгляните на результаты:

— Поражено ли то зло, за которое вы сделали капут этому Н. Н., или поражен только Н. Н., а зло продолжает жить да поживать?

Если поражено и зло, тогда вы правы, тогда Н. Н. — истинный виноватый.

Но если поражен только Н. Н., а зло осталось, — тогда вы ошиблись, и ваш виноватый есть не больше, как тот самый стрелочник, по вине которого случаются крушения поездов...

Кто же истинный виноватый в кронштадтском процессе?
Сам Шафров?

Попробуйте, вообразите, что Шафров уже наказан и устранен. А дальше?

Как вы думаете: с устранением этого одного человека будет ли устранено соответствующее зло?

Нет, в другом углу этой загадочной картинки надо искать истинного виноватого.

И если вы будете хоть немного внимательны, вы его найдете.
Истинный виноватый — обыватель.

Этот обыватель, который думает, что брать взятки нехорошо, но что давать взятки можно. И не понимает, что давать взятки — подло перед самим собой и перед ближними.

Дважды подло.

Вымогательство есть действие гадкое со многих сторон, но мздодательство еще гаже.

Мздодательство слагается из множества элементов — один гнуснее другого.

Основной элемент — трусость.

На фоне трусости — сложная мазня предательства.

Мздодатель предает закон.

— Знаем! — говорит он. — Закон есть звук пустой, а вот я лучше дам Иван Иванычу десять рублей — оно лучше всякого закона.

И этим самым он, мздодатель, предает своих ближних.

Ибо уже ничего не добиться тому ближнему, у которого нет для Иван Иваныча десяти рублей.

Есть и еще столь же хорошие элементы — но и этих двух, трусости и предательства, достаточно.

Если вдуматься — нет деяния гнуснее, чем мздодательство.

А обыватель между тем духом совершенно покоен, совесть имеет в порядке и, посмотрите, кушает с аппетитом.

И думает про себя:

— Наклеивается выгодное дельце, только вот беда — долгий ящик... Ну, да у нас есть средство. Дам Иван Иванычу пять рублей — и готово...

Извольте же при таком настроении карать вымогателя.

Разве это поможет?

Пусть на месте вымогателя после окажется честнейшей души господин — но и он в конце концов рискует испортиться, видя на каждом шагу полную готовность обывателя немедленно выложить десять рублей.

Недаром сказано:

— Не введи ближнего во искушение.

Сказавший это понимал, что в обстановке, полной соблазнов, никакая добродетель долго не выдержит.

И отсюда прямое следствие, что истинный виноватый — тот, кто предлагает соблазн.

И пока он не одумается и не исправится, до тех пор мы смело можем отложить всякую надежду.

Он, обыватель, первый и единственный виновник всех своих злоключений, должен стряхнуть с себя дух трусости и предательства.

Каждый раз, когда выплывают на свет Божий такие процессы, мздодатель почему-то является на сцену в виде угнетенной невинности.

— Вы дали такому-то взятку? — спрашивают его.

— Так точно, — докладывает он с сознанием собственного достоинства, — дал.

— А почему?

— Он меня угнетал! Он мне грозил! Он на меня рычал львиным рыканием!

И дамы, присутствующие на суде, говорят: ах, бедняжка! — тогда как очевидно, что настоящее имя этому человеку не бедняжка, а просто негодай.

За границей мздодательство называется подкупом и карается так же строго, как взяточничество.

Но я бы карал за мздодательство еще строже.

Именно потому, что мздодательство так распространено, что чуть ли не все мы повинны в этом грехе и даже привыкли его и за грех не считать, я бы именно поэтому карал обывателя за мздодательство с самой беспримерной жестокостью.

И, отправляя его в кутузку, напугствовал бы его так:

— Не подкупай, обыватель.

Ничем ты предо мною своего мздодательства не оправдаешь.

Тебя угнетали?

А ты бы сказал:

— Не угнетайте меня, потому что я вам все равно ни копейки не дам.

Тебе грозили? На тебя рычали? По-львиному?

Что же. Внемли рыканью, содрогайся, а взятку все-таки не давай.

Ибо дать взятку — есть трусость и предательство.

Отучись от трусости и предательства.

А пока ты не отвыкнешь от готовности во всякую минуту струсить и предать, до той поры не жди ничего хорошего.

Сам ты, обыватель, виноват во всех твоих бедах. А посему — за решетку.

Altalena

Одесские новости. 28.01.1903



Вскользь

О НАЦИОНАЛИЗМЕ

Газета «Отечество», имея в виду российских патриотов-охранителей, говорит:

«Многим из них кажется, что если люди не коренного русского происхождения выказывают горячую приверженность к своему родному краю, своей земле, к языку, Богом им данному, и ко всем особенностям своего родного быта и потребностей, то в этой преданности их инородческой особенности скрывается непременно какое-то злоумышление против России...»

Действительно, так смотрят на дело российские охранители.

И за такой взгляд на дело им часто достается от российских прогрессистов.

И вот, когда охранителям достается от прогрессистов по этому вопросу, мне всегда хочется сказать:

— Своя своих не познаша и побиша.

Ибо надо отдать справедливость российским прогрессистам: они в этом пункте мыслят совершенно так же, как российские охранители.

Полнейшее согласие.

Позвольте мне подменить в тираде газеты «Отечество» только два-три слова, и эту тираду, обращенную к охранителям, смело можно будет отнести по адресу либералов.

«Многим из них кажется, что если люди *известной народности* выказывают горячую приверженность к своему родному краю, своей земле, к языку, Богом им данному, и ко всем особенностям своего родного быта и потребностей, то в этой преданности их *национальной* особенности скрывается какое-то злоумышление против *прогресса...*»

Только подчеркнутые слова изменены — и из точки зрения рядового патриота-охранителя получилась точка зрения рядового прогрессиста.

Того самого рядового прогрессиста, который всюду настаивает, что идеалами порядочного человека должны быть идеалы общественные, а отнюдь не националистические, и что национализм — тьфу.

Я осведомился у этих рядовых:

— А нельзя ли, господа, как-нибудь этак сочетать националистические симпатии с вашими широкими общественными идеалами?

И рядовые качали головами и определяли:

— Никак нельзя.

И доказывали мне это следующим сопоставлением:

— Мы, прогрессисты, желаем, между прочим, чтобы не стало ни войн, ни национальных гонений, чтобы отдельные народности братски слились и забыли разделяющие их межи и границы. А националисты тормозят слияние, сиясь сохранить для каждой народности ее обособленность. Их идеал прямо враждебен нашему...

Оттого-то и хочется сказать: «своя своих не познаша», когда этот самый прогрессист через минуту обрушивается на охранителя за непочтение к инородцу.

Поскольку он защищает инородца, он, собственно, прав, но что за цена этой защите, когда она лишена естественной почвы, когда она зиждется не на уважении к национальным особенностям вообще, а на совершенно постороннем принципе?..

Славная вещь — российский прогрессизм, и славные люди — российские прогрессисты.

Но не люблю я в них одного качества — прямолинейности.

Им всегда кажется, что путь логики есть однообразная прямая линия.

Но путь логики есть линия сложная, извилистая, богатая неожиданностями.

Этот путь то поведет вас направо и там укажет вам точку истины, то перебросит вас налево и здесь тоже натолкнет вас на крупицу правды.

А прямолинейная близорукость, важно и раз навсегда шагая в направлении собственного носа, строго осудит вас за это и скажет:

— Вы сами себе противоречите!

Сакраментальная фраза, которой стреляют во всякого, кто решился снять с себя лошадиные наглазники и хорошенько оглянуться по всем сторонам жизни...

Я думаю, что можно быть сторонником широких общественных идеалов нашего времени, желать братства народов и в то же время оставаться завзятым националистом.

Российские прогрессисты весьма обильно употребляют слово «научность».

И это не мешает им смотреть на национальный вопрос как-то совсем по-детски.

Я не о том говорю, что будущее им представляется в розовом свете.

Это вполне законный оптимизм. Мне тоже будущее рисуется, сравнительно, в довольно приятном освещении.

Я тоже надеюсь, что в будущем устроится такой порядок, когда создастся та общественная почва, на которой человечество поздоровеет телом и духом.

И я тоже полагаю, что тогда не будет войны и не будет национальных гонений.

И что тогда, в какую глушь чужой страны я ни попал бы, всюду я почувствую себя среди добрых соседей и товарищей.

Но ведь для российского прогрессиста этого мало.

Он мечтает о большем.

Ему хочется, чтобы я, попав в эти будущие блаженные дни в чужую землю, не только не почувствовал враждебного отношения к себе, но даже не заметил вообще никакой разницы между тамошним людом и моими соотечественниками.

Чтобы я там оказался совершенно как у себя дома.

«Ни звука нового, ни нового лица: такой же толк у дам, такие же наряды...»

Словом, как будто и не выезжал из Одессы.

А национальные особенности?

— Басни! — говорит прогрессист. — Уже и теперь эти национальные особенности мало-помалу атрофируются под влиянием общей культуры. Интеллигентный русский уже и теперь больше похож на интеллигентного англичанина, чем на соплеменного ему русского же крестьянина. А со временем это еще усилится и наконец постепенно сведет ваши хваленые «национальные особенности» к незаметному *minimum*'у...

Вот образчик той упрощенной прямолинейности, о которой я говорю выше.

Ведь действительно, правда, что теперь между двумя интеллигентами разных наций гораздо больше общего, чем между двумя представителями разных общественных слоев одной и той же страны.

Русскому интеллигенту гораздо ближе и понятнее мысли и настроения интеллигента норвежского, испанского или какого угодно, чем мысли и настроения своего же русского деревенского простолюдина.

Но почему?

Потому, что в нашем обществе между отдельными классами лежит целая пропасть.

Потому, что народные массы вырастают и воспитываются далеко не в той улучшенной атмосфере, не в тех утонченных условиях, среди которых как-никак развиваемся мы с вами.

И потому, конечно, нам с вами не понять мужика и в то же время очень легко понять европейского интеллигента, который с детства спал на таких же матрасах, как и мы, посещал такие же театры и учился по таким же книгам.

И если бы так продолжалось и дальше, если бы пропасть между общественными слоями должна была все углубляться, то, действительно, «вертикальные» подразделения человечества, т. е. национальные различия, скоро совсем стусевались бы перед громадностью «горизонтальных» подразделений классовой дифференциации.

Но... но ведь, кажется, не в этом направлении катится фура прогресса, а как раз в обратном, и меньше всего пристало забывать об этом именно прогрессистам.

Человечество идет к тому, чтобы смягчить и мало-помалу совсем сгладить классовые перегородки.

Чтобы дать всем гражданам одинаково благоприятные условия для развития духа и тела.

Вот, по всему смыслу моей веры, направление истории.

И чем дальше пройдем мы по этому направлению, тем ближе духовно станут друг к другу интеллигент и мужик.

Пока наконец не очутятся рядом и не заговорят, как равный с равным, мыслями одного и того же диапазона.

Вся механика того, что мы называем прогрессом, направляется к устранению классового несходства.

И когда оно устранится — что же тогда получится?

И теперь русский интеллигент далеко не подобен французскому, немецкий — английскому.

Но их несходство так мало в сравнении с классовыми несходствами внутри одной и той же нации, что из-за громадности второго мы почти не замечаем первого.

Но когда классовые несходства исчезнут, именно тогда мы особенно ясно увидим несходства национальные.

Ибо ведь не устранит прогресс этих несходств.

Прогресс внушит нациям одинаково справедливые взгляды на общественные вопросы, прогресс даст им одинаково сильные технические средства для борьбы с природой.

Но прогресс не выкрасит итальянского неба в один цвет с небом Финляндии, не заведет в Швейцарии равнин и не превратит Россию в гористую страну.

Естественные факторы создают *расу*.

Сложная, кипучая путаница экономических факторов коверкает и видоизменяет расовые признаки до того, что влияние расы почти совершенно исчезает в историческом процессе. До того, что в наше время понятие расы почти игнорируется наукой.

Но если прогресс когда-нибудь урегулирует этот водоворот многообразных экономических интересов, сочетав их в одном синтезе, — именно тогда принцип расы, до тех пор заслоненный другими влияниями, выпрямится и расцветет.

Не только не сгладятся прогрессом национальные особенности, но, напротив, получают больший простор, большую свободу развиваться...

Так оно, по-моему, будет; и я нахожу, что тем лучше.

Чем разнообразнее состав оркестра, тем прекраснее симфония, потому что скрипка передает то, чего не передала бы флейта, и есть такие места, которые для кларнета не подходят и должны исполняться на арфе.

Для развития наук, искусств и поэзии, для всей этой симфонии творческого человеческого духа тоже нужен богатый оркестр, и чем полнее и разнообразнее, тем лучше.

У каждого инструмента есть свой тембр, и у каждой народности свой особенный духовный склад.

Надо дорожить этими тембрами наций, усовершенствовать их и не допускать, чтобы скрипка заиграла тромбоном, чтобы чех стал похож на француза.

Жизнь не в стрижке всех под одну мерку, а в разнообразии, в гармонии мириад несходных индивидуальностей.

Национализм — это индивидуализм народов.

Altalena

Одесские новости. 30.01.1903



Вскользь

«Казанский полицмейстер г-н Панфилов таскал в участки невинных девушек по подозрению в тайной проституции...»

Да-с, бывает.

Молодая женщина или девушка, возвращаясь домой из театра одна, может наткнуться на нахала.

Нахалу захочется «проводить» ее.

Она крикнет:

— Городовой!

Нахал не струсит и даже сам еще громче крикнет:

— Городовой!! Забери ее в участок — пусть там покажет, есть ли у нее билет.

И эту девушку или эту женщину — может быть, жену или сестру кого-нибудь из нас — могут потащить в участок.

Хорош вообще этот хваленый «надзор» за проституцией.

Особенно интересует меня в нем одна сторона.

Отчего для осмотра не назначаются женщины-врачи?

Ведь это, кажется, целиком бы зависело от городских дум.

Могут ответить:

— Глупо думать, что для женщин этой профессии такая мелочь может иметь значение. Рецидив стыдливости? Снявши голову, по волосам не плачут.

Обстановка, поздний час, наконец, то сознание, что посетитель проститутки — почти одного с нею поля ягода, позволяют несчастной не стесняться пред своим гостем.

Но холодная, грязная операция осмотра — это совсем другое дело. Это обнаженнее, циничнее всякого разврата.

Мне лично кажется, что сам разврат не в состоянии так глубоко втоптать в грязь душу женщины, как эта холодная процедура, периодически повторяющаяся.

Эта процедура особенно отчетливо доказывает ей, что она уже выброшена за борт человечества, что она приравнена к нечистому животному.

И если уж это необходимо, то хоть обставили бы вы это иначе: поручили бы осмотр женщине-врачу и производили бы его не в присутствии мужчин.

Я здесь не о стыдливости хлопочу, я вообще не считаю стыдливость добрым нравственным качеством и не вижу надобности заботиться о ее поддержании.

Но в этом случае, холодно и методически насилуя стыдливость женщины, мы тем самым искореняем в ней последние искры самоуважения.

Мы внушаем ей сознание, что для нее, как для вещи, не нужно уже никакого человеческого обращения.

И от этого мы же первые проигрываем.

Чем проститутка больше унижена, забита, втоптана в грязь, тем хуже для нас, потому что всякий удар, упавший на ее спину, рано или поздно отразится на нашей голове.

Вот была бы задача для обществ Святой Магдалины.

Вместо того чтобы сидеть с удочкой у моря разврата и ждать, не клонет ли какая-нибудь мелкая креветка, лучше было бы употребить свои силы и влияние на то, чтобы проститутку не так уж настойчиво превращали в животное.

И на первых порах — дали бы женщин-врачей.

Такая кампания была бы в прямых интересах обществ Святой Магдалины, потому что чем меньше будет задавлено в проститутке сознание человеческого достоинства, тем больше надежды, что ее наконец потянет вон из болота.



Оказывается, что у нас в Городском театре есть клака.

Ну и пусть будет.

Мне кажется, что клака — вещь весьма безопасная.

Мне давно уже казалось, что некоторые аплодисменты в нашем Городском театре — довольно странного происхождения.

Но никогда я не замечал, чтобы клака могла запугать или гипнотизировать одесскую публику.

Когда певец или певица плохи, наша публика хладнокровно осаживает неуместных аплодирующих — и инцидент исчерпан.

Значит, опасаться, что клака отучит нас различать между хорошими и скверными певцами, нечего.

Еще менее можно бояться того, что клака, в отместку за отказ или по чьему-либо подкупу, освищет хорошего певца.

Клакеров не может быть более человек 20—30, да и то вряд ли.

Где же им пересвистать аплодирующий полуторатысячный зал?

Пусть себе клака прозябает на здоровье: надо же людям кормиться.

Жаль только, что клакеры запугивают артистов суровостью нашей публики и *заставляют* их этим путем волей-неволей нанимать аплодисменты.

Это уже вымогательство.

Но тут, по-моему, должна позаботиться антреприза.

Просто, по-дружески, без всяких церемоний может она объяснить новичку, что публика ничуть не похожа на ту, какую рисуют ее клакеры.

Что она вовсе не сурова и ни против кого не предубеждена, — и в то же время, с другой стороны, кто ей не понравится, тому не поможет никакая клака.

А затем — пусть новичок поступает, как ему угодно.

Угодно — пусть нанимает клаку, неужгодно — прогонит: вольному воля, спасенному рай... а дурню поделом.

Altalena

Одесские новости. 2.02.1903



Вскользь

ПЯТЫЙ АКТ «МОННЫ ВАННЫ»

В одном письме за подписью «Lnz», где говорится о нашумевшем злободневном событии, сказано так:

«Какое счастье, что в "Монне Ванне" всего три акта.

Если бы Метерлинк написал и четвертый, ему пришлось бы показать в нем все унижения и невзгоды, которым подверглись Ванна и Принцивалле после ее бегства от мужа.

И тогда пришлось бы написать и пятый акт, а в пятом акте было бы поражение монны Ванны.

Смирятся, склоняя голову под старую колодку, покидая своего Джаннелло, в пятом акте монна Ванна возвратилась бы к мужу, униженная и растоптанная.

О, как ловко поступил Метерлинк: он рассказал только половину драмы, чтобы оставить нас охваченными горделивой радостью, с поднятыми головами.

Но ведь это ложь, ведь Метерлинк обманул нас, он скрыл от нас конец, потому что радость наша, если бы он рассказал все до конца, сменилась бы стыдом и унынием...»

Не в этой форме, но эти мысли я уже слышал от многих, особенно в последнее время.

Тем охотнее отвечу я на это письмо, отражающее сомнение многих.

Я думаю, что Метерлинк был прав и не обманул нас.

Правда, за пятый акт «Монны Ванны» никто не стал бы ругаться.

Может быть, в этом акте Ванна — снова победительница и госпожа своей жизни.

Но легко может быть и иначе.

Легко может быть и то, что в пятом акте Ванна оказалась бы не героиней, а обыкновенной смертной с малыми силами, истощившею весь свой порох в одной вспышке короткого полета.

Но что же нам до того?

Пусть так и будет.

И даже пусть доброе мещанство, посмотрев пятый акт, всемирно возликует и решит:

— Наша взяла!

Бедное слепое мещанство! Слишком поздно ему теперь ликовать.

История монны Ванны была могучей пощечиной мещанскому духу, и эта пощечина уже дана.

Чем бы теперь это дело кончилось — все равно.

Пусть монна Ванна смирится — что ж, одной слабой и несчастной женщиной больше. На свете так много слабых и несчастных женщин, что это даже будет незаметно.

— Неудача! — будет ликовать мещанство: оно привыкло все делать ради барыша и думает, что смысл всякой борьбы — только в удаче.

Смысл борьбы не в том, вовсе не в том.

Пока нет борьбы, новые принципы лежат без движения на земле. Люди знают, что есть где-то новые принципы, но воочию не видят их и не проникаются энтузиазмом.

И борьба нужна как пьедестал, с высоты которого новые принципы станут видны человеческой массе, нужна как мощная реклама новому духу.

О, какую рекламу новому духу создали первые три акта!

Пусть же теперь, в пятом акте, эта женщина окажется слабым и побежденным существом.

Тем хуже для нее, но тем больше чести духу времени, если он и слабому существу помог решиться на такой прыжок.

В трех актах дело сделано — и никаким клейстером раскаяния и примирения уже не замазать сделанного дела.

Многим тысячам женщин, закованных в такие же колодки, третий акт уже подсказал то слово, которое давно им было нужно.

Слово! Слово не воробей: вылетело — не поймаешь.

Пусть теперь в пятом акте сама героиня кается и мирится: слово уже сказано — скажутся и результаты.

Жаль будет, конечно, этой бедной и симпатичной Ванны, если так печально кончится ее «чудный сон», но не в ней дело.

Потому что значение всякой борьбы за «право на себя» — вовсе не в удаче, которая улыбнется одному данному лицу.

Значение и величие всякой борьбы за право на самого себя, на свои желания, на свою жизнь — в том плодотворном освободительном слове, которое она подсказывает человеческим массам.

И не сотрется и не обесценится это слово потому только, что глашатай его в пятом акте не выдержал и сдался.

Строитель Сольнес не мог удержаться на верхушке башни, им самим возведенной, и упал с высоты.

Но ведь башня устояла!

Altalena

Одесские новости. 4.02.1903



«На дне»

Не скоро увидим мы эту пьесу на сцене.

Прежде всего, надо, чтобы приехала драма.

Так что не скоро станет возможным по силе и единодушию рукоплесканий узнать мнение публики о последнем слове Горького.

Притом рукоплескания — способ всегда очень неопределенный. Рукоплескания могут относиться и к большей или меньшей сценичности пьесы. Но когда дело идет о Горьком, главное ведь не в сценичности.

Горький для русской публики бесконечно дороже как проповедник, чем как художник.

Поэтому главное — в вопросе:

— Что сказал он своей новой пьесой?

Как отвечает публика на *этот* вопрос — того аплодисменты не выяснят.

А хотелось бы выяснить.

Говорили и будут говорить об этой драме люди пишущие, меньшинство, — а большинству, людям читающим, для которых, собственно, и весь огород горожен, приходится в этих случаях обыкновенно помалкивать.

Странная аномалия.

По примеру прежних анкет, буду ждать от доброго читателя писем с его ответами на этот вопрос:

— Что сказал Горький своей новой драмой «На дне»?

Для ответа нет нужды видеть эту вещь на сцене — достаточно прочесть ее. Пусть она потом окажется сценичной, пусть окажется несценичной — разве это увеличит или уменьшит ее значение?

Ведь Горький-художник — повторяю — так маловажен для нас всех по сравнению с Горьким — учителем жизни.

Для всех, хотя многие не отдадут себе в этом отчета.

Эти многие ужаснулись, когда недавно г-н Маркевич в своем реферате указал на то, что быт босяков вернее изображен у г-на Кармена, чем у Максима Горького.

Им это показалось кощунством. Они еще духовно переживают то наивное время, когда Горького у нас взаправду приняли за бытописателя босяцкой среды.

Но теперь, мало-помалу, вдумчивые люди начинают уже понимать, что Горький ни с какой стороны не бытописатель.

Что босяки ему понадобились просто как *terra incognita*¹, нечто вроде сказочного тридевятого царства, о котором можно смело рассказывать небылицы, не опасаясь опровержений.

А вся суть и была именно в этих небылицах — в их возбуждающем и ободряющем влиянии.

И таким образом задача Горького была не в том, чтобы рассказать *правду* о житье-бытье пятого сословия, а в том, чтобы поведать ободряющую, живительную ложь.

Правда — и ложь...

Собирая мнения читателей о том, что сказал Горький своей новой драмой, могу ли я высказать и мой взгляд?

Вдумываясь в эти два слова — правда и ложь, — я все больше убеждаюсь, что в пьесе «На дне» Максим Горький говорит о себе самом — о Максиме Горьком — *Cicero pro domo sua*².

В сыром подвале ночлежки гниют вор, безработный рабочий, спившийся актер, мелкий шулер, падший барон и содержащая его проститутка.

Фон картины — побои, пьянство и разврат; на этом фоне рисуются еще неясные, но близкие к воплощению силуэты кровосмешения и убийства.

Любимые слова — брань и проклятия — на судьбу, на жизнь, друг на друга, на самих себя.

¹ Неизвестная земля (*лат.*).

² Цицерон в защиту себя (букв.: «за свой дом», *лат.*).

Однажды вечером у дверей этой клоаки стучится неведомый старичок.

— Ты кто такой?

— Я? Странник.

На насмешки он отвечает юмором. На суровость — лаской. Удивительный старичок.

Осмотрелся он вокруг себя — и с одного взгляду уже знает, что кому нужно.

И каждому из этих людей он говорит то, что тому нужно.

Жена безработного рабочего умирает от побоев мужа и вообще от собачьей жизни — и он ей говорит:

— На что тебе выздоравливать? На муку? Ты — с радостью помирай, без тревоги. Господь взглянет на тебя кротко-ласково и скажет: знаю я Анну эту! Жила она очень трудно, очень устала. Отведите ее, Анну, в рай! Дайте покой Анне...

Спившемуся актеру он говорит:

— Ты лечись. От пьянства нынче лечат. Бесплатно лечат — такая уж лечебница устроена...

— Где это?

— А это в одном городе... как его? Название у него эдакое... Да я тебе город потом назову, а ты пока готовься, возьми себя в руки. Человек все может, лишь бы захотел...

Вору Пеплу, тоскующему от воровской жизни, он говорит:

— Иди в Сибирь. Не на каторгу, а по доброй воле иди в Сибирь. Там ты себе можешь путь найти, там таких надобно. Хорошая сторона Сибирь! Золотая сторона! Кто в силе да в разуме, тому там — как огурцу в парнике!..

И говорит ему вор Пепел:

— Старик! Зачем ты все врешь?

— Это в чем же вру-то я?

— Во всем. Там у тебя хорошо, здесь хорошо... ведь врешь! На что?

Отвечает ему странник:

— А ты мне поверь, да поди — сам погляди. И... чего тебе правда больно нужна?.. Она, правда-то, может, обух для тебя...

И побеждает странный старичок: все ему поверили.

Анна ему поверила, что ей на том свете будет покой.

Актер ему поверил, что есть такой город, где пьяных лечат.

— Я теперь не пью. Я копить буду! Я пойду города искать!

Вор Пепел тоже поверил и хочет бросить воровскую жизнь и разврат, жениться на любимой девушке и, вероятно, уехать в золотую сторону Сибирь, где таких, как он, надобно...

Вдруг — удар грома, и все рассыпается в прах.

Вор Пепел убил содержателя ночлежки.

Пришла полиция, и странный старичок затерялся в толпе и исчез, потому что у него не было паспорта.

И вот вор Пепел сидит в тюрьме, его невеста лежит в больнице, актер повесился, а уцелевшие обитатели ночлежки спрашивают друг у друга:

— Зачем приходил старичок? Поманил куда-то, а сам дорогу не сказал...

И уже готовы решить:

— Старик шарлатан...

Но ударяет кулаком по столу один из них и говорит:

— Нет! Я понимаю старика. Он врал, но это из жалости к нам. Его ложь — вдохновенная и возбуждающая!

И все так же мрачно и сыро в подвале, и все так же грязны его жители, все так же грубы их слова и гадка их жизнь.

Но уже новая нота слышится в этом подвале:

— Хорошо это — чувствовать себя человеком! Я — арестант, убийца, шулер — ну да. Когда я иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика... и сторонятся... Но не в этом дело, барон. Я — человек. Че-ло-век: это звучит гордо и великолепно. Выпьем за человека, барон!..

Вот эта пьеса, и я слышу в ней Максима Горького, говорящего о себе самом.

Видно, часто спрашивали его другие, или сам он себя спросил:

— Зачем ты лжешь и рассказываешь то, чего не было, и показываешь таких людей, каких нигде нет? «Поманил куда-то, а сам дорогу не сказал...»

В этой драме — ответ Максима Горького.

Зачем пришел странник Лука в грязную ночлежку, зачем принес туда свои небылицы?

Никому он не помог, никого не спас и не выручил.

Ушел он — все осталось по-прежнему: грязь грязью и нищета нищетой.

Да, все осталось по-прежнему, потому что не жертвам подвала, привыкшим к смраду и копоти, стать творцами иной жизни. Осужденные погибают.

Но вдохновенная ложь всколыхнула тяжелый воздух подвала, и жители подполья вспомнили давно забытое слово:

— Я — человек.

Все так же скверно и душно в подвале, люди пьют водку и ругаются, но иногда новые звуки прорываются сквозь их безотрадную речь.

И зреет надежда.

— Какая надежда? — спрашивают хмурые люди. — На кого надежда? На этих осужденных бывших людей?

Нет, не на этих бывших, а на других людей — на завтрашних.

Для того сегодня промелькнул странник Лука и «поманил куда-то», чтобы к завтраму могли созреть лучшие люди.

— Для лучшего человека живут люди, — говорит Горький словами странника, — и думает всяк, что не для себя живет, а живет он *для лучшего человека*.

Altalena

Одесские новости. 6.02.1903



Вскользь

Три месяца тому назад ко мне пришел молодой человек лет двадцати пяти.

Он был очень бедно одет, без пальто, а на дворе было холодно.

В руках у него была истрепанная захолустная газетка.

В газетке было сказано, что на такой-то захолустной выставке публика останавливалась перед деревянной статуэткой, изображавшей Антокольского.

Статуэтку вырезал ножом самоучка Икс.

— Самоучка Икс — это я, — сказал мне молодой человек.

— Как же вы попали в Одессу?

— Я приехал в Одессу учиться. Я хочу быть скульптором.

— Но ведь надо будет много учиться, а у вас средств нет. И вы уже не так молоды, вам уже не 17 лет...

— Ничего. Если бы мне было даже сорок лет, я бы все-таки пошел учиться. Я хочу быть скульптором.

— Что же для этого нужно?

— Мне нужно, чтобы в какой-нибудь столярной мастерской мне позволили вырезать статуэтку. Я ее покажу вам, чтобы вы решили, стоит ли обо мне заботиться.

— А потом?

— Если статуэтка вам понравится, вы, может быть, выхлопочете мне возможность учиться рисованию и общеобразовательным предметам... Вы извините, ради Бога, что я пришел вас тревожить просьбами. Мне сказали, что вам это нетрудно, а... а я тут живу второй месяц впроголодь и не могу ничего добиться...

Я посмотрел ему в лицо: оно было красно от волнения и стыда. Человек, видно, не свикся с положением просящего.

— А заработок у вас есть?

— Нету... Я искал и не нашел.

У меня есть добрые знакомые среди художников.

Один из них сейчас же устроил этого молодого человека в столярной мастерской.

Зарботка ему там не нашлось, но ему дали ножи и кусок бравованного дерева.

Через неделю он принес ко мне статуэтку Максима Горького, сделанную по портрету на открытке.

Как он умудрился сделать статуэтку, не имея перед собой профиля, — это его секрет.

Работа была полна неправильностей, но когда я показал ее тем же добрым художникам, они в течение одной недели пристроили его в одну из школ рисования.

Нашелся и гимназист, который взялся давать ему уроки по предметам.

Но...

Но работы, заработка не нашлось.

Он начал было работать на фабрике, но фабрику пришлось бросить ради школы, так как и там и здесь — работа дневная.

Я обошел всех моих знакомых.

— Нет ли у вас в виду какого-нибудь места, ну, хоть приемщика на постройке или приказчика, или в этом роде? 15—20 рублей в месяц, лишь бы только с правом отлучаться ежедневно от 12 до двух в рисовальную школу?

— Мм... — говорили мои знакомые, — нет, ничего такого в виду не имеется. Ах, если бы вы знали, как это вообще теперь трудно — найти для кого-нибудь место!

«Если бы вы знали»!.. Я это узнал.

Вот уже полтора месяца, как я стараюсь найти ему место, это ничтожное место в 15 или 20 рублей, и не могу.

И он приходит ко мне каждую неделю, краснея, волнуясь, выслушивает «нету» и говорит:

— Извините...

И уходит.

И я себе ломаю голову над загадкой: что же это, в конце концов, значит?

Каким это образом, почему, с какой стати я не могу достать ничтожного заработка этому человеку, приехавшему в Одессу, чтобы стать скульптором?

Почему? Или у меня так мало знакомых? Или мои знакомые не любят меня?

Вероятно, попросить, как следует, не умею, не так прошу...

На прошлой неделе пришел ко мне юноша.

— Я от Икса. Ему пришлось оставить прежнюю квартиру и негде было ночевать. Так я и пригласил его к себе, хотя хозяйка ругается. А теперь он заболел, сам прийти не может и прислал меня узнать, что слышно относительно места...

Симпатичный такой юноша. Сам экстерн, дает, верно, уроки за четыре рубля в месяц, а моего Икса приютил — и хозяйка ругается.

— Чем же заболел Икс? — спросил я.

Опустил голову мой юноша.

— Нне знаю... Я думаю... от плохого питания.

На днях он — сам Икс — опять пришел ко мне.

Прежде он приходил красный от неловкости и смущения — теперь он пришел бледный и озлобленный.

— Относительно места ничего не слышно? — спросил он.

— Ничего, к сожалению, — сказал я.

— Если бы было лето, я пошел бы пешком на родину. Там у дяди есть лесопильный завод. Я поступлю к дяде на завод, и у меня будет на еду и ночлег.

— А скульптура?

Он ничего не ответил, но молчание было хуже проклятий.

— Я разбит и измучен, — сказал он потом, — я не могу больше. Я больше не могу.

— Слушайте, — сказал я, — подождите еще неделю. Я испробую последнее средство.

И вот я прибегаю к этому последнему средству.

Однажды оно помогло.

Ко мне пришла девушка, у которой мать умирала от рака на лице, а для операции нужно было 100 рублей.

Я рассказал об этом читателям — и через три дня деньги были у девушки, а через месяц она пришла сказать, что операция сошла счастливо.

Но теперь деньги не нужны.

Я не верю, чтобы в огромной Одессе не было места, этого жалкого места в 15 или 20 рублей, для человека, которому надо стать скульптором.

Не может не быть этого места. Оно есть, я только не умею найти его.

Отзовитесь же мне, кто в Бога верует, дайте мне это место, не допустите утонуть человеку.

Потому что я ему скажу: «утопайте». Если вы не поможете, то через неделю, когда он придет за последним ответом, я скажу ему:

— Ваше дело пропало. Утопайте.

Altalena

Одесские новости. 8.02.1903



Вскользь

В «Южном обозрении» г-н А. И. доказывает, что в Литературно-артистическом обществе немислимо читать доклады на отвлеченные темы и вести о них диспуты.

«Следовало бы ограничиться более простыми, житейскими, всем доступными вопросами», — говорит г-н А. И.

Дело в том, что на последнем четверге читался доклад г-на Чуковского о контрастах современности, и г-н А. И. усмотрел, что никто ничего не понял.

А посему —

«споры превратились в какое-то малоосмысленное перебрасывание словами — позитивизм, мистицизм, идеализм и проч.».

Что касается до термина «малоосмысленное», то сей термин я почтительно препровождаю на внимательное рассмотрение самого г-на А. И. и настоятельно ему рекомендую впредь более «осмысленно» выбирать употребляемые им прилагательные.

Но не в том дело.

Четверги при Литературно-артистическом обществе для того существуют, чтобы поддерживать нашу публику *au courant*¹ духовных интересов минуты.

Значит, нельзя и не следует обходить молчанием «отвлеченные темы», потому что эти отвлеченные темы теперь на очереди.

Книга «Проблемы идеализма», из-за которой, главным образом, и получилось у г-на А. И. впечатление ужасной «отвлеченности», благополучно и без вреда для желудка читается теперь в Одессе той самой интеллигенцией, для которой этот клуб устроен.

¹ В курсе (*фр.*).

А для лиц, которые сами книги прочесть не могут, тем полезнее ознакомиться с новым течением по небольшому реферату.

А кому скучно и кому больше хочется «житейского» — для тех, собственно, сей огород не горожен.

Ибо интеллигентному человеку прежде всего вменяется в обязанность помнить, что *intelligo* значит «понимаю».

И ежели кому «непонятно», то никто ему не запрещает выйти в читальную комнату и углубиться в «Южное обозрение», а Литературно-художественное общество все-таки должно отзываться на умственную жизнь текущего дня.

Но странно и любопытно то, что оба прекрасных доклада г-на Чуковского — первый об индивидуализме и второй теперь о контрастах — вызвали много скромных признаний:

— Не понимаю.

Г-н Чуковский, действительно, не Бог весть какой популяризатор.

Но, воля ваша, хоть убейте, ни в логических построениях, ни в языке его рефератов я не вижу ничего такого, что могло бы оправдать непонимание интеллигентного и вдумчивого слушателя.

Неужели они в жизни не одолели ни одной статьи на абстрактную тему, хотя бы из общелитературного журнала? Ведь язык г-на Чуковского — тот самый обычный язык, не проще и не замысловатее, которым только и можно серьезно говорить об отвлеченных вопросах.

Я никак не могу допустить такой неподготовленности, такой малой освоенности с обыкновенной манерой популярно-философского изложения.

Должен поэтому объяснить себе их «не понимаю» из другого источника.

Пробовали вы когда-нибудь спорить с умным и чутким стариком о том, что ему еще исстари дорого?

Будьте неопровержимы, как сама логика, и ясны, как сама арифметика, — вы его не переубедите.

Не из упорства: он просто и искренне не поймет вашей ясности и не проникнется вашей логикой.

Но заговорите с ним о чем-нибудь таком, в чем вы солидарны, — он, чуткий и умный, поймет вас с полувзвук.

Этому старику подобен всякий, кто пустил корни в одном определенном цикле идей.

Не исходя из этого цикла, вы можете заговорить с ним хоть по-китайски: он вас поймет.

Но только вы перешли в другую, ему несродную духовную плоскость, — кончено.

Популярничайте, говорите хоть детски понятным языком, разжевывайте и кладите ему в рот — он будет искренне сознаваться:

— Не понимаю.

С этим вы ничего не поделаете. Это непоправимо. Люди отжившего цикла пусть в оном и останутся; сеять надо на незасеянной почве, вербовать сторонников надо (не устану никогда повторять это) только среди молодежи.



XIX век выработал в людях привычку пускать корни в определенных циклах идей.

XIX век выбросил на сцену множество доктрин, отрицавших одна другую.

Стороннику одной доктрины приходилось быть противником другой и даже всех других.

Вот почему появился человек с ярлыком — это главное типическое действующее лицо на подмостках XIX века.

Человек с ярлыком уходил с головою в свою доктрину — и на вопрос: «ты кто такой?» — отвечал не именем и фамилией, а надписью ярлыка:

— Позитивист. Идеалист. Консерватор. И тому подобное.

И такой человек видел свою доблесть в том, чтобы подстричь себя до полного совпадения с ярлыком — сплющить себя так, чтобы ни одна сторона его природы не смела вылезть из-под ярлыка.

Доктрина давала человеку бутылочку с наклеенной этикеткой.

Человек влезал в эту бутылочку и старался высидеть в ней как можно дольше.

Если ему удавалось просидеть в одной и той же бутылочке до самой смерти, современники воздавали ему хвалу, говоря:

— Он оставался верен своим убеждениям.

Это все было тогда, без сомнения, очень полезно для прогресса.

Но теперь, очевидно, для прогресса нужно уже нечто другое.

И вот в последние годы бутылочки вдруг начали лопаться с удивительной быстротою.

Одни и те же люди стали менять ярлыки.

Сбросят старый, носят год-два новый, потом и этот бросят и ищут новейшего.

Что это значит?

Значит, что природа человека не захотела больше подстригаться и ищет такого ярлыка, под которым могла бы уместиться, не сплющиваясь.

Отсюда один шаг до того, чтобы признать наконец, что такого счастливого ярлыка нету и единственный и добрый исход — записаться в ряды человек без ярлыка и без клички, самих по себе, слишком высоких и широких для того, чтобы целиком уместиться в бутылочке одной доктрины.

Этот шаг еще не сделан.

Но я полагаю по всем признакам, что именно наше XX столетие сделает этот шаг: главным типическим действующим лицом станет человек без ярлыка, и доктриной его будет *синтез* всех доктрин.

Люди XIX века, пускавшие корни в своей умственной плоскости, не поддавались никакому вышибанию и не допускали примирения с другой плоскостью.

Для них примирение было халатным совместительством вопиющих противоречий.

Перед ними нельзя было сознаться:

— Я — одновременно и крайний индивидуалист, и добрый общественник.

— Как? — рассердились бы они. — Такие контрасты несовместимы!

Или:

— Я убежденный националист и в то же время сторонник космополитизма.

— Как?.. — и т. д.

Синтез всего того, что в XIX веке считалось противоречиями, — вот, по-моему, будет духовная работа нашего столетия.

С позитивизмом — в частности — будет то же самое.

Высшее выражение свое позитивизм получил в доктрине исторического материализма, которая в целом своем, по моему глубокому убеждению, не поколеблена, не будет поколеблена, не может быть поколеблена.

Но сторонники этой доктрины, по обыкновению XIX века, сочли своим долгом уйти в нее с головой и сделать себе из нее все: не только социологию, но и религию-этику.

Это оказалось немыслимым. Человек не может убедить себя, будто он, собственно, желает хорошего будущего для своих ближних только потому, что это хорошее будущее необходимо

должно наступить; человек не может не сознавать, что он желал бы этого хорошего будущего даже в том случае, если бы был уверен в его исторической несбыточности.

La plus belle fille du monde ne peut donner que ce que'elle a¹. Экономический материализм не может дать этики.

Этика должна исходить из другого центра, не извне, а из собственной глубины человека.

И вот самым ретивым сторонникам исторического материализма надоело сидеть без религии-этики, и они...

Расширили свою доктрину, примирили ее с независимостью материального самоопределения личности?

О, нет. Они поступили как настоящие эпигоны XIX века: надели новый ярлык, а старый сбросили.

Вместо того чтобы синтезировать материализм с идеалистической этикой, они ради прекрасных глаз этики произнесли «тьфу» по адресу материализма и затеяли пляску на его руинах — в сообщничестве даже с такими господами, которые, как кн. Евгений Трубецкой, безусловно, ни одной буквы не смыслят в материализме.

Ту же прямолинейность, которая так прискорбно отличала их во дни их материалистического *ci-devant*², господа Булгаков и П. Г. перенесли и на новое пепелище.

Один только г-н Бердяев — широкий, многосторонний, даровитый жизнеиспытатель — двумя головами возвышается над этой компанией, предлагающей нам потреблять новое вино из старых мехов.

Г-н Бердяев тоже не дает синтеза, но он хоть, по крайней мере, не выпясывает на якобы поверженном историческом материализме, — он целиком (в главных чертах) сохраняет эту незыблемую доктрину для социологии, утверждая только параллельное сожительство исторической необходимости и свободного морального самоопределения.

Это еще не синтез, но это уже терпимость, которая есть предчувствие синтеза.

Истинного синтеза нет и у г-на Чуковского: он доказал только то, что «контрасты», вроде декадентства, индивидуализма, идеализма, неомистицизма, — все исходят из одного и того же источника, — выражаясь упрощенно, из антимещанского настроения.

¹ Даже самая красивая девушка на свете не может дать больше чем у нее есть (*фр.*).

² Здесь: прошлого (*фр.*).

Но ведь это не синтез, который должен объединить противоречащие друг другу доктрины по существу их, а не по происхождению.

Полный и настоящий синтез еще впереди.

От этого синтеза мы ждем слияния идеализма с материализмом, или, вернее, ждем объяснения, каким образом чистейший этический идеализм свободно вытекает из единой и всеобъемлющей материалистической доктрины, — ждем (настаиваю на рискованной фразе) *научного* обоснования этического идеализма.

Этот синтез, который составит кульминационное духовное завоевание нашего молодого века, объединит контрасты, несколько их не обезличивая, примирит свободу морального творчества с детерминизмом, индивидуализм с «общественностью», национализм с космополитизмом, демократизацию с аристократизмом и вооружит человека мудрой, возвышенной, «сверхчеловеческой» широтой всеобъемлющего миропонимания.

Altalena

Р. S. Повторяю: молодому человеку, о котором я вчера писал, нужны не деньги (он их не принял бы), а место. Гг. Ю. и Я., любезно приславших мне 5 руб., прошу получить эту сумму обратно.

A.

Одесские новости. 9.02.1903



Вскользь

Г-н А. И., подписывающийся на этот раз г-ном А. С. Изгоевым, удивляется, как могла его заметка (где говорилось о «малоосмысленном перебрасывании» всякими «измами») обидеть меня, именно меня.

На сие отвечаю:

Обидеть она меня не могла, и не обидела, но произвела на меня неприятное впечатление именно словами «малоосмысленное перебрасывание» по адресу участников в прениях на последнем четверге.

Почему термин «малоосмысленное» вызвал возражение именно с моей стороны — это г-ну Изгоеву известно, и, значит, ему нет резона выражать по этому поводу недоумение.

Г-н Изгоев пишет:

— Вы не разубедите меня в том, что это перебрасывание не было «малоосмысленным»...

Pardon, это для меня не важно. Я ни в чем не желаю вас ни убеждать, ни разубеждать, — мне просто нужно вас опровергнуть, и basta.

Засим у г-на Изгоева следует строк 25 остроумия, о котором *nil nisi bene*¹, и совершенно неожиданный упрек, будто бы я — я, нижеподписавшийся! — занимаюсь «вербованием сторонников на четвергах».

Вот уже не ожидал напраслины.

Скажите сами, г-н Изгоев, на что бы мне, собственно, понадобились эти сторонники?

Что бы я с ними сделал?

Согласитесь, что мне сторонники ни на что не нужны; во всяком случае уже скорее нужны противники, чтобы хоть было мне с кем разговаривать...

И пишет далее г-н Изгоев, что несправедливо я обвиняю господ идеалистов, выкрестившихся из марксизма, в прямолинейности.

Ибо вот, мол, например, какой добрый г-н П. Г. — он не отказывается признавать, что «заслуги исторического материализма в области положительно научной весьма значительны» и даже что доктрина эта «дала новую, ясную и практическую публицистическую программу».

То, что г-да идеалисты, а в частности и главным образом г-н П. Г., остались более или менее верны старой практической программе, — ведомо всем и каждому, особенно теперь.

А если бы они вздумали отрицать всякое, даже в прошлом, научное значение исторического материализма, то мы с г-ном Изгоевым назвали бы это не прямолинейностью, а просто легкомыслием.

Г-да новоидеалисты, за малыми исключениями, легкомыслия не обнаруживают, но это не избавляет их от упрека в прямолинейности.

И решительно не понимаю, против чего тут спорит г-н Изгоев.

Не могу допустить, чтобы он не заметил и в иностранной, и в русской литературе вопроса возникновения того феномена, который я назвал пляской пигмеев на якобы поверженной доктрине материализма.

¹ Ничего, кроме хорошего (*лат.*).

Еще только вчера стояла доктрина на пьедестале, и эти самые пигмеи только ею и жили.

Свежий человек, бывало, заикнется:

— Да я, конечно, согласен, что доктрина эта универсальна, но все-таки нужно же принять во внимание и другую сторону...

Но правоверные пигмеи сейчас же накидывались на свежего человека и вопили:

— Ничего не нужно принимать во внимание! Нет Аллаха кроме Аллаха, и Магомет пророк его...

И цитировали том I, или том II, или том III.

И вдруг — моментальная перемена.

Доктрину стащили с пьедестала, и эти самые пигмеи уже, глядишь, и садятся на нее верхом, и перепрыгивают через нее, и похлопывают ее по плечу, говоря покровительственно и снисходительно:

— Нда, конечно, для своего времени ты была довольно удовлетворительна, ну, а для нас, понятно, ты уже того...

Я терпеть не могу ортодоксальности и из-за границы, насколько можно было, с удовольствием следил за благотворным брожением, которое несколько лет тому назад началось среди самих ортодоксов.

Я ожидал, что это брожение поможет расширить доктрину, прорубить в ней новые окна с видом на новые перспективы.

Но вместо этого получилась вакханалия маленьких людей, которые сочли себя вправе сгрести одну из колоссальнейших систем человеческого знания за шиворот и сказать ей:

— Ты, бабушка, отжила. Для своего времени ты была хороша, а теперь ты годишься только для мелкой работы.

Неужели г-н Изгоев не заметил этой вакханалии маленьких людей, заговоривших свысока?

В г-не Бердяеве я ценю то, что он говорит не свысока. В его тоне все время слышится глубокое уважение к «поверженной» доктрине — слышится как бы сознание того, что нынешняя идеалистическая реакция, может быть, не помешает скорому и уже окончательному восстановлению универсальности этой доктрины.

Ни у г-на Булгакова, ни у г-на П. Г. — воля ваша, г-н Изгоев, — я этого уважения не слышу, а слышу, напротив, в большей или меньшей степени тон свысока и снисходительное похлопывание по плечу со словами:

— В свое время... до известной степени... относительно не без пользы...

И мне кажется, что я прав, когда вижу во всем этом проявление застарелой прямолинейности, привыкшей так:

— Или ручку дозволейте поцеловать, или бац по физиономии...

И говорит далее г-н Изгоев:

— Что же касается «параллельного сожительства» (т. е. сожительства исторической необходимости со свободным моральным самоопределением), то его давно требовал и г-н Михайловский, и другие социологи того же типа...

Позвольте: это все так, но к чему вы это говорите?

Со взглядами русской школы социологов-субъективистов я, слава Богу, знаком без вашей помощи, а на внешнее сходство между учением этой школы и параллелизмом г-на Бердяева успел тоже без вашей помощи обратить внимание хотя бы уж потому, что об этом предмете довольно пространно говорит проф. Новгородцев в тех же «Проблемах идеализма», в статье «Нравственный идеализм в философии права».

Но к чему вы это заявляете? Против чего, собственно, сей довод? На что вы мне им возражаете? Ума не приложу.

Я говорю:

— Г-н Бердяев двумя головами выше своей компании, ибо он человек не узкий, а многосторонний.

А вы «возражаете»:

— «Параллелизм» г-на Бердяева внешне похож на субъективизм г-на Михайловского.

А в Киеве дядько?..

Но самый пикантный довод г-н Изгоев приберет к концу своей статьи.

Он пишет:

«Мой оппонент желает "синтезировать" (NB. *"Синтезировать" пишет г-н Изгоев, а я пишу "синтетизировать", ибо так оно правильнее; да и у г-на Изгоева оно, вероятно, вышло по вине наборщика*) материализм с идеалистической этикой", а "от этого синтеза ждет слияния идеализма с материализмом". Признаюсь, я не совсем понимаю эти фразы. По моему скромному мнению, идеалистическая этика одно, а идеализм — другое, во всяком случае, неизмеримо более широкое философское понятие. Если даже мы "синтезируем" (*опять тот наборщик!*) материализм с идеалистической этикой, то ждать, что от сего произойдет слияние двух философских концепций, идеализма и материализма, немного странно...»

Не одобряю, г-н Изгоев.

Не осмеливаюсь полагать, что вы спорите со мною о книге, не прочитав ее, но принужден думать, что вы, прочитав ее, не вникли.

Ибо до сих пор, слава Богу, еще не было речи о восстановлении идеалистической онтологии, а идет речь и большая речь — *только* о возрождении идеалистической этики.

То течение, которое теперь называется идеалистическим, ратует (по крайней мере, покамест, а за будущее не ручаюсь) *только* за идеалистическую этику.

И все это течение возникло именно в защиту прав *этики*, нарушенных или якобы нарушенных позитивизмом.

Только этике да связанным с нею вопросам о значении идей в истории и о естественном праве посвящены все статьи сборника, который, тем не менее, озаглавлен «Проблемы *идеализма*».

И под таким заглавием ничуть не погнушалось выпустить его в свет Московское психологическое общество, не менее г-на Изгоева компетентное в философских тонкостях.

Всего же любопытнее то, что в предисловии сборника прямо говорится:

«Та основная проблема, которая в наше время приводит к возрождению идеалистической философии, есть прежде всего проблема *моральная...*»

Ergo¹, не я первый ввел моду обозначать сокращенно словом «идеализм» одну идеалистическую этику с ее разветвлениями.

Вы не вникли, г-н Изгоев. Вы попробуйте вникнуть...

Не одобряю, г-н Изгоев, вообще не одобряю вас на этот раз.

Я обошел молчанием разные ваши выпады о «гимназистах не старше IV класса», о каких-то «нахохлившись петушках» — я постарался даже не понять этих выпадов, потому что очень уж не подходит такая манера к вашему писательскому облику, и вызвана она, очевидно, мимолетным, совершенно для меня необъяснимым раздражением.

Но на одной выходке не хочу не остановиться.

Вы мне советуете:

«Писать и говорить публично только о том, что он (т. е. — я) знает».

Никто, даже г-н Изгоев, не станет отрицать, что я всегда говорю своими, а не чужими словами и мыслями; чтобы заговорить о предмете своими мыслями, надо его продумать; чтобы его продумать, надо прежде его знать.

¹ Следовательно (*лат.*).

Никогда в жизни я не написал и не произнес ни одного слова о том, чего я не знаю.

Но я фельетонист. Я, собственно, обязан писать на местные злобы дня. И если я позволяю себе время от времени говорить о посторонних и более возвышенных предметах — характер моей рубрики велит мне делать это «живо» и «легко».

Оттого о многом таком, что я знаю, я не могу говорить во все, а если могу, то только фельетонным языком и с фельетонной поверхностностью.

Сюда присоединяется у меня личная моя антипатия к выпискам, цитатам и ссылкам и вообще мое полное неумение говорить о чем-либо иначе, как от собственного имени.

Благодаря этому нередко бывало, что первый встречный читательствующий обыватель, первый встречный экстерн от интеллигенции брал на себя храбрость обвинять меня в «ненаучности» и тому подобных пороках.

В этих случаях я пожимал плечами и проходил мимо, потому что вообще не считаю обывателя вправе становиться надмною судьей.

Но я не предполагал, что и вы, г-н Изгоев, рассуждаете по обывательски и что вы сквозь фельетонный стиль тоже не разглядите человека, не менее вас добросовестно и вдумчиво изучающего движение *scibilis humani*¹.

Не одобряю.

Altalena

Одесские новости. 11.02.1903



Вскользь

Иногда не верится, что г-жа Берленди — певица.

Даже в драме не часто попадают такие артистки.

Прежде чем решиться высказать это, я долго и осторожно присматривался к игре г-жи Берленди.

Старался разглядеть, не есть ли то, что мне сразу показалось выдающимся сценическим дарованием, — простая техника, осчастливленная приятной внешностью.

Ведь, собственно, оперному певцу так мало нужно для того, чтобы поразить нас своей игрой.

¹ Человеческое знание (*итал.*).

Мы так привыкли к обычной оперной мимике и жестикуляции — помахиванию руками, закатыванию глаз и так далее, что достаточно певцу возвыситься на вершок над этой рутинной — и мы уже довольны.

Но нет: я всмотрелся — и остаюсь при убеждении, что у г-жи Берленди, действительно, недюжинный драматический дар.

Помимо прекрасной техники, помимо изысканной пластики всех движений, помимо темперамента в г-же Берленди видно яркое присутствие того внутреннего «non so che»¹, которое называется талантом.

Третьего дня, в «Заза», несколько фраз, которые г-жа Берленди — как теперь часто делают в опере — не пропела, а произнесла говорком, поразили меня своими драматическими интонациями.

Эти интонации были так своеобразны и в то же время так хорошо угаданы, что положительно напомнили мне Комиссаржевскую — этого виртуоза интонации *par excellence*².

Обратите внимание в особенности на то место во втором акте, когда Заза, потрясенная вестью об измене Дюфрена, охваченная горем, и замешательством, отзывается на слова Каскара каким-то детски жалобным, «уничтоженным» тоном.

Или на признание в последнем акте: «Мне это сказала... Тото!» — где и тон, и мимика г-жи Берленди так артистически передают аккорд горя, нерешимости и вместе с тем доли любопытства:

— А как он отнесется к ее признанию?

Мимика г-жи Берленди — тоже нечто весьма тонкое, художественное и гибкое.

В арсенале этой мимики есть некоторая неполнота. Возьмите хотя бы финал второго действия «Манон» Пуччини, где нужно проявить бестолковую суетливость растерявшейся женщины: это место у г-жи Берленди совсем не выходит, особенно в мимическом отношении.

Но тонкие и сложные переходы ощущений — хотя бы в том же 2-м акте «Манон»: «Жаль! Оставить всю эту роскошь?..» — или моменты большого драматического подъема — например, убийство Скарпия — передаются с выразительностью, достигающей иногда силы настоящей иллюзии.

¹ «Что-то» (букв.: «не знаю что», *итал.*).

² Здесь: в высшей степени (*фр.*).

Говорят о том, что в манере г-жи Берленди много чрезмерной изысканности. Впрочем, о ком этого не говорят — говорили это и о прошлогодней премьерше Д'Арнейро, говорят часто и о Пасхаловой.

Дело в том, что этот род «изысканности», т. е. дразнящая преувеличенная женственность движений, действительно проник и на сцену, но проник из жизни и глубоко соответствует всему тону новейшей драмы и оперы.

Бороться с этой манерностью, во-первых, бесполезно, как бесполезно было бы бороться с модой в одежде, а во-вторых, зачем бороться, когда это красиво?..



15-го числа ученики художественного училища — мы их, по старой памяти, все еще называем «рисовальщиками» — устраивают у себя спектакль в пользу недостаточных товарищей.

У недостаточных товарищей нет средств на краски, холст, приборы, на многое другое, еще более необходимое...

Думаю, что на этот раз, однако, удастся пособить горю и доставить симпатичным барышням и юношам все, что нужно.

Перед долгим постом надо же вам, читатель, почтить масленицу — побывать где-нибудь на людях, где шумно и весело.

Большие балы в Бирже не всякому по карману.

Пойдите к рисовальщикам.

У них всегда хорошо и уютно — у них на вечеринках всегда бывает масса свежей и милой молодежи, которая умеет завить всякую тоску веревочкой.

Вам будет весело, и вы сделаете доброе дело — не маленькое, а важное и серьезное доброе дело, потому что далеко не малая часть наших надежд на всестороннюю культурную эмансипацию нашего юга покоится на этом художественном училище и его воспитанниках...



А мой скульптор пристроен.

Один из здешних фабрикантов дал ему занятие по граверной части.

Горячее спасибо добрым людям, которые так обильно откликнулись предложениями своего содействия.

Пусть же вспышка доброты и человеческой жалости не пройдет даром: есть много таких мечущихся в поисках

работы, только ведь обо всех не может написать фельетонист... Да и на что вам фельетонист — оглянитесь только вокруг, и вы увидите десятки тех, кому надо помочь.

А у моего скульптора навсегда останется воскресшее сознание, что свет не без добрых людей.

Не думайте, что это маловажно — воскресить веру в добрых людей как раз в ту минуту, когда человек уже готов был сдать себя перед могуществом людского равнодушия.

Примите глубокую, сердечную благодарность, добрые люди... Кстати.

Газета «Волынь» прислала в нашу редакцию письмо, где протестует против того, что я назвал ее, «Волынь», «захолустной газеткой».

Ее? Я?

Оказывается, в описанном мною г-не Иксе газета узнала лицо, о котором была заметка в «Волыни», и потому жестоко обиделась.

Уверяю газету «Волынь», что заметка была мне доставлена г-ном Иксом в виде вырезки, и я — грешен — не поинтересовался спросить, откуда взята эта вырезка.

Так что даже и теперь не знаю, была ли это точно газета «Волынь» или какая-нибудь другая.

Поэтому я не имел в виду ни «Волыни», ни какой бы то ни было другой газеты, когда написал, что г-н Икс «показал мне номер захолустной газетки», а имел в виду, собственно, одно то обстоятельство, что г-н Икс был на краю финала своей карьеры.

Я, конечно, не считаю «Волынь» захолустной газеткой, но признаюсь, несколько удивлен такой мелочностью: я пишу о человеке, которому, не говоря о прочем, хлеба нужно, а вы тут же обижаетесь за два слова, которые вовсе и не про вас писаны...

Altalena

Одесские новости. 13.02.1903



Вскользь

Нетерпеливому читателю, верно, уже очень надоел мой спор с г-ном Изгоевым.

Поэтому полагаю оному конец, тем более что во вчерашнем ответе г-н Изгоев, снова овладев обычной своей корректностью, заговорил уже совсем иное и совсем иным тоном.

Однако два слова.

Объясняя, почему я употребляю в этом случае слова «идеализм» и «идеалистическая этика» безразлично, я сослался на то, что сборник, посвященный целиком «идеалистической этике», назван самими авторами «Проблемы *идеализма*».

Г-н Изгоев в ответ приводит цитату из одной статьи сборника, где говорится о том, что для построения этики понадобится разрешение и онтологических проблем.

(Я мог бы привести еще с десятков таких цитат из этого сборника. Я именно их имел в виду, когда писал, что «за будущее не ручаюсь» — т. е. что завтра может явиться другой сборник, посвященный уже онтологии.)

Но обмолвиться пятью строчками (в очень толстой книге) на тему о предстоящем возрождении метафизической онтологии — еще не значит «вести речь» об онтологии.

Следовательно, цитата г-на Изгоева не мешает тому, что сборник все-таки остается книгой, исключительно посвященной этике и родственным с нею вопросам.

Да и не могу я допустить, чтобы г-н Изгоев сам не понимал, что «проблемы» сборника — чисто этические.

Зачем же было приводить цитату? Просто затем, чтобы чем-нибудь да возразить?..

А к чему был упомянут г-н Михайловский — того я паки и паки не понимаю.

Г-н Изгоев объясняет, что я, мол, восхвалял заслуги г-на Бердяева, а он, г-н Изгоев, указал мне, что г-н Михайловский говорил «то же самое» и, значит, не в этом заслуга г-на Бердяева и т. д.

Позвольте. Если бы я выхвалял преимущества г-на Бердяева над г-ном Михайловским, тогда, действительно, я должен был подчеркнуть разницу между взглядами одного и взглядами другого.

Но я противопоставлял г-на Бердяева не г-ну Михайловскому, а г-ну Булгакову и, значит, должен был указать разницу не между Бердяевым и Михайловским, а между Бердяевым и Булгаковым.

Бедный г-н Михайловский опять-таки понадобился здесь просто «так», лишь бы возразить...

В одном прав г-н Изгоев: г-на П. Г. нельзя ставить на одну доску с г-ном Булгаковым. Но... я ведь их и не ставил на одну доску.

Во взглядах г-на П. Г. я вижу порок прямолинейности, но не отрицаю, что г-н Булгаков еще гораздо прямолинейнее и что г-н П. Г. бесконечно глубже, вдумчивее г-на Булгакова.



Одна итальянка, студентка философского факультета в Риме, работающая над диссертацией «La pedagogia di Leone Tolstói»¹, просит меня прислать ей *список статей* (на русском или других языках), посвященных педагогическим идеям Л. Н. Толстого.

Я полный профан в этой области и, кроме «Десницы и шуйцы» да нескольких страничек у М. Гюйо, ничего не могу указать.

Прошу тех из читателей, кто знаком с педагогической литературой, не отказать прийти на помощь моему неведению.

Altalena

Одесские новости. 14.02.1903



Вскользь

Французский министр юстиции Валле оправдывается против обвинения в том, что он, Валле, ныне министр «милости и правосудия и хранитель государственной печати», в свое время был адвокатом одного заведомого ростовщика.

Во-первых, — говорит г-н Валле, — по этому пункту я никому не обязан давать отчета и отказываюсь от всякого объяснения.

Во-вторых, — говорит г-н Валле, — было бы странно, чтобы в то время как несуществующие лица (намек на Крауфордов) находили адвокатов для защиты их интересов в течение двадцати лет пред различными французскими судами, люди живые не имели бы возможности найти себе защитников.

А ведь это, господа, резонно.

Это, в конце концов, ссылка на среду.

Г-н Валле посмотрел вокруг себя и увидел, что целая куча его товарищей-адвокатов преспокойно и небезвыгодно для себя поддерживала интересы Крауфордов, хотя глас народа громко шептал, что Крауфордов никогда не существовало.

¹ «Педагогика Льва Толстого» (*итал.*).

И решил г-н Валле:

— Ведь у моего ростовщика хоть то огромное достоинство, что он есть лицо несомненно живое. Иду защищать ростовщика.

Ростовщик занимал добрым людям 200 франков и брал вексель на 300, а г-н Валле предъявлял этот вексель в суд и бил себя в перси:

— Прикажите этим людям вернуть моему клиенту 300 франков! Взываю к сокрытому в вас чувству священной собственности!

Затем г-н Валле получал исполнительный лист и производил у должников опись движимости и недвижимости.

— Картина художника Мейсонье, изображающая кавалериста, — говорил ему пристав.

— Размер? — спрашивал г-н Валле.

— 40×24 , итого 960 квадратных сантиметров, — отвечал пристав.

— Считая по су за каждые десять сантиметров, пишете: картина Мейсонье — 4 франка 80 сантимов, — говорил г-н Валле.

И теперь этот г-н Валле стал министром юстиции и чувствует себя великолепно...

А все-таки он прав, потому что сослался на среду.

Ссылка на среду, на то, что с волками жить — по-волчьи выть, — это большой и непобедимый резон.

Попробуйте жить с волками и не выть по-волчьи.

Не эксплуатировать прислуги, не сплетничать, когда все вокруг сплетничают.

Попробуйте, — хотя сплетня вам самим омерзительна, — вы увидите, как трудно воздержаться.

Чего же вы хотите от адвоката Валле?

Когда-то в России была мода приравнивать адвокатов к деятелям печати на том основании, что те и другие — служители гласности.

Уже Щедрин восстал против такого «единения».

Здесь огромная разница.

Журналист получает плату от своей газеты.

Если он заступает за Иванова, то Иванов не дает ему за это денег; если он нападает на Петрова, то не потому, что противник Петрова заплатил ему, журналисту, и приказал:

— Нападай.

Есть, конечно, продажные журналисты, но в России они — ничтожное исключение.

Журналист защищает и обвиняет по движению собственной совести и вполне независимо.

Адвокат — другое дело.

Человек, которого защищает адвокат, платит ему деньги.

Я не говорю, что функция адвоката безнравственна.

Сплошь и рядом адвокаты защищают людей, вполне достойных защиты.

Если бы адвокат не защитил такого человека — невиновный человек мог бы угодить на каторгу.

Следовательно, защитив неповинного человека, адвокат сделал важное общественно полезное дело.

Этой важности и пользы нисколько не уменьшает то обстоятельство, что за свою защиту адвокат получил гонорар от защищенного им лица.

Врач, спасший вашего ребенка, спокойно получает из ваших рук бумажку — и все-таки остается спасителем вашего ребенка.

Функция адвоката — важная и полезная не менее, чем функция журналиста.

Но на одну доску все же нельзя их ставить, и разница между ними огромная.

Это, конечно, не разница в личностях. Среди адвокатов, вероятно, столько же хороших людей и столько же нехороших, как среди журналистов.

Но это — разница в положениях.

Газета — тоже судебная трибуна.

Журналист, подвизаясь на этой трибуне, получает плату от нее же.

Защищая человека, он получает плату от трибуны; обвиняя человека, он получает плату опять-таки от трибуны.

Это создает ему независимость перед теми, кого он защищает или обвиняет.

Адвокат мог бы обладать такой же независимостью только в том случае, если бы платил ему не клиент, а суд.

Но о такой колоссальной реформе, которая прежде всего повела бы к сокращению вошедших в поговорку адвокатских заработков, нет смысла говорить в провинциальной газетной статейке, да еще короткими строчками.

Но вполне уместно — и давно пора — заговорить об этической стороне вопроса.

Положение адвоката — зависимое, и с этим надо считаться.

Но не настолько же «считаться», чтобы не делать никакого разбору.

— Мне заплатили — я защищаю.

Не настолько же «считаться», чтобы поддерживать интересы ростовщика.

— Это дело французское, — скажут мне.

Так я и поверю, что у нас никогда не бывало ростовщиков и что их «интересов» никогда не поддерживали соответствующие поверенные.

И хуже бывает. Недавно (не в Одессе) богач Елагин и его жена попались в истязании девочки-воспитанницы, и их громко защищал на суде адвокат Андреевский (литератор, не к чести нашей будь сказано).

Это дело оказалось слишком вопиющим, и по поводу его поднялись протесты.

Но к не столь вопиющим явлениям того же порядка мы так привыкли, что никому и не приходит в голову протестовать.

Иные адвокаты, положа руку на сердце, сознаются, что берут дела, не справляясь с этической стороной, — «берут и за стыд не считают».

Неужели это не срам?

Неужели этому не надо положить конец?

Неужели такие случаи не должны систематически публиковаться и комментироваться в печати?

Все это я пишу далеко не по поводу министра Валле, до которого нам с вами очень мало дела.

Я пишу по поводу одного возмутительного одесского казуса, распутыванием которого я в настоящее время занят.

Во благовремение казус этот мы выпустим наружу, и, может быть, хоть он напомнит здешней адвокатской корпорации о ее долге — следить за этикой...



Хотя г-жа Лубковская и потеряла 8 тыс. на опере, никто не станет отрицать видимого факта, что г-же Лубковской везет.

Сердечно желаю, чтобы г-же Лубковской и впредь везло в геометрической прогрессии, потому что антрепренерша нашего Городского театра, несомненно, доказала добросовестное желание послужить интересам населения.

Первый опыт не обошелся без ошибок, но это именно те ошибки, которые в фальшь не ставятся.

Г-жа Лубковская, по-видимому, прекрасно сознает, как важно в общественном отношении просветительское дело, доверенное ее рукам.

Да сопутствует успех всякому ее шагу, направленному этим сознанием.

Руководствуясь этим сознанием, г-же Лубковской, несомненно, удастся устранить все замеченные ошибки.

Из этих ошибок прежде всего теперь на очереди — ошибка с драмой.

Скоро труппа А. Н. Дюковой опять посетит нас, и мы имеем право надеяться, что на этот раз труппа не будет выезжать на двух именах — Пасхаловой и Соколовском — почти без всякого антуража.

Мы надеемся, что главные новинки сезона будут у нас поставлены после тщательных репетиций и с приличной перво-классному театру обстановкой.

Мы надеемся, что дешевой драмы больше не будет в нашем Городском театре, ибо г-жа Лубковская, по нашему убеждению, умеет ставить принципиальную сторону дела выше мелких выгод.

В этом убеждении еще раз посылаем г-же Лубковской искренние пожелания полного успеха.



Должен признаться, что письмами от публики по поводу «На дне» Горького я очень обескуражен.

Насколько ответы первых моих двух анкет были интересны и разнообразны, настолько эти — бесцветны и неоригинальны.

Тем не менее я оставляю за собой обязанность сделать им впоследствии сводку и привести те, которые менее неудачны.

В настоящую минуту мне кажется необходимым этот вопрос отложить и обратиться к читателю с другим вопросом, гораздо более животрепещущего значения.

Вам известно, что супруга Л. Н. Толстого высказалась в том смысле, что произведения Л. Андреева действуют на публику развращающе.

Очевидно, графиня имела в виду главным образом «Бездну» и «В тумане».

Л. Андреев, и по стилю своему, и по содержанию, представляется мне первым настоящим русским декадентом.

Настоящим — т. е. не нарочитым, не самого себя выдумавшим, а искренним и прирожденным декадентом.

И ко многим его произведениям, особенно к «Бездне» и «В тумане», подошло бы то общее заглавие, которое Бодлер дал своему первому сборнику.

«Цветы зла».

То, что Л. Андреев изображает, есть, несомненно, ядовитые цветы, выросшие на ржавом болоте зла.

Но весь вопрос в том, к чему ведет изображение «цветов зла»: к пропагандированию зла, к соращению во зло невинных — или к борьбе с этим злом, к предостережению?

Здесь всякое мнение наблюдателя будет голословным. Здесь более, чем когда-либо, необходим голос самой публики.

Публика — отцы и дети, женщины и мужчины, опытные и наивные, ученые и грамотные — должна сама ответить на вопрос о том, вредны ли писатели вроде Л. Андреева, рисующие «Цветы зла».

Поэтому прошу читателя искренно откликнуться мне ответом:

— Наблюдали ли вы на себе или на других развращающее влияние рассказов Леонида Андреева?

— Какого вы мнения о взгляде на этого писателя, выраженном графиней Толстой?

По примеру прежних анкет, прошу отмечать, кто пишет — не имя, а общественное положение и особенно пол и возраст.

Надеюсь на обилие ответов, потому что важно раз и навсегда наконец уяснить себе, насколько разумны эти все учащающиеся попытки опеки над читателем *à la lex Heinze*¹.

Altalena

Одесские новости. 16.02.1903



Вскользь

Из одного письма:

«Переписываться с журналистом по поводу его фельетонов казалось мне всегда такой нелепостью, что даже мысль об этом никогда не приходила мне в голову.

Тем не менее настоящее письмо вызвано вашим фельетоном об адвокатах и журналистах.

Но, Бог мой, вы пишете в нем такие вещи, что я считаю прямо необходимым возразить вам.

¹ На манер «закона Гейнце» (*фр., лат.*).

"Журналист, — пишете вы, — получает плату от своей газеты", а потому "защищает и обвиняет по движению собственной совести и вполне независимо".

Подумаешь, газета и вправду какое-то учреждение бескорыстное и беспристрастное.

Да ведь газета — это издатель с чадами и домочадцами, и то, что угодно издателю поместить на столбцах своей газеты, то и будет написано журналистами, получающими от него (а не от какой-то отвлеченной "газеты") плату построчно или помесечно.

А если не понравится издателю написанное журналистом, он это без церемонии выбросит.

И это еще в лучшем случае.

В худшем — заставит переделать: обвинителя посадит на скамью подсудимых, обвиняемого — обелит.

И будь журналист в своем фельетоне — сама справедливость, он все переделает, как укажет издатель.

Да и как не переделать, когда тут "авансик": если еще не взят, то обещан...

Да, вы правы — разница между журналистами и адвокатами огромная, но она — не в пользу журналистов.

В самом деле, если бы только высказанная вами мимоходом идея о казенном гонораре адвокатов прошла, адвокаты достигли бы идеала: кроме чувства справедливости и совести — *ничто* бы ими не руководило.

Ибо казна не стала бы вмешиваться в каждое дело и оказывать давление.

А между тем каждая строчка журналиста должна быть просмотрена и одобрена издателем.

Нет, пока газета находится в руках издателя, а не есть коллегиальное учреждение, до тех пор журналисты не могут мечтать о свободе и независимости выражения своих мнений.

Барышня».

Есть в этом письме и правда, но много и неверного.

Вы говорите:

— Прикажут — журналист перепишет статью начисто, причем похвалит того, кого начерно ругал.

Извините, барышня, — разные бывают журналисты.

Иные, может быть, и перепишут, но тогда они не журналисты, а просто газетная прислуга.

Средний, заурядный журналист, т. е. огромное, подавляющее большинство, ни за что не перепишет начисто.

Вы плохо знаете журналистов, барышня.

Вы принимаете за тип журналиста ту фигуру, которая вырисовывается при чтении столичных уличных газет.

Таких газет, барышня, пять или шесть, пусть даже десять, но люди, в них работающие, не суть журналисты.

Среднего, заурядного журналиста очень легко обезличить, обесцветить (да он, по большей части, уже обезличен и обесцвечен), но нельзя перелицевать в этом смысле.

Уверяю вас как человек, более вас знающий нашу среду.

А относительно адвокатов скажу вам вот что.

Иван Иванычей, которых отстаивает издатель, может быть штук, самое большее, двадцать, а журналисту приходится писать о сотнях лиц.

Значит, человек восемьдесят все-таки остается.

Об этих восьмидесяти журналист пишет по совести и независимо, ибо получает плату не от них, а помимо них.

С адвокатом этого никогда не бывает, разве когда он защищает по назначению.

Кроме случаев защиты по назначению, адвокат защищает всегда за деньги.

Это совсем не грешно и не стыдно в тех случаях, когда он защищает правого, честного, невинного.

Но когда он защищает неправого, обидчика, притеснителя, который заплатил ему куш, — тогда это стыдно.

О казенном гонораре, барышня, рано еще мечтать. Вы выйдете замуж, и у вас будут внуки: внуки, может быть, доживут на старости лет до казенного гонорара адвокатам.

Но пока нет казенного гонорара, а есть корпорация, которая должна была бы следить, чтобы адвокаты не брались за нечистые дела.

А она не следит.

И как это характерно, что на мою статью откликнулись вы, барышня, а из господ адвокатов никто не поинтересовался черкнуть словечко...

Altalena

Одесские новости. 20.02.1903



Вскользь

В письмах читателей по поводу Л. Андреева и графини Толстой, которые на днях опубликую, часто упоминается о новой книжке «Одна за многих» соч. «Веры».

Прочел и я эту книжку и удивился.

Женщины вообще пишут несколько наивно, а в таком вопросе (о добрачной чистоте мужчины) от дамы-автора и подавно следовало ждать большой наивности.

Оказалось — ничуть. Т. е. почти ничуть. Редко-редко промелькнет наивная строчка, да и то скорее похоже на смелость, чем на наивность.

Но общий тон обличает в авторе вполне современное строение ума и чуткую вдумчивость.

Нет пресного морализирования на тему:

— Что бы вам, мужчины, взять да исправиться?

Напротив, все время присутствует сознание, что вопрос очень глубок, что зло коренится в общественной почве, что «на болоте нельзя выстроить святого храма».

При этом поражает в такой маленькой книжке обилие оригинальных мыслей.

Оригинальная мысль не значит такая мысль, до которой никто прежде меня не додумался.

Есть господа, которые не могут услышать свежего слова без того, чтобы не воскликнуть:

— Еще Пифагор говорил то же самое!

И, действительно, Пифагор, оказывается, говорил то же самое, а если не Пифагор, то Аристотель, или поп Сильвестр, или кто-нибудь другой.

И это нисколько не мешает мысли быть оригинальной.

Если мысль родилась во мне, если она мною высмотрена из жизни, а не впитана с чужих слов, то она моя, она оригинальна, хотя бы все Пифагоры заявляли на нее *jus primae noctis*¹.

На такой мысли всегда лежит обязательная печать самородка, печать личности — и таких мыслей, своеобразно красиво выраженных, вы встретите, если умеете замечать, много на ста без малого страничках этого «дневника»...

А с идеей его я все-таки не согласен.

¹ Право первой ночи (*лат.*).

Немецкая барышня Вера, — говорится в этой книжке, — выросла в богатой обывательской обстановке, но сохранила гордый и самобытный характер.

Ей двадцать лет, и она чувствует с разных сторон, что все в жизни неладно.

Ее любит Георг, она любит его; он не богат, родители недовольны, но Вера, если родители не захотят, рассчитывает выйти за Георга без их согласия.

Впрочем, это устраивается: Георг получает «место», папа и мама благословляют, уже приискали даже квартиру — но несчастье приходит с другой стороны.

Барышня Вера узнает, что Георг до встречи с ней был несколько раз в связи с разными женщинами, что он не чист.

Барышня Вера и прежде знала, что молодые люди до брака развратничают, но ей не приходило в голову, что ее Георг такой же.

Когда ей стало ясно, что Георг такой же, она некоторое время пытается превозмочь обиду и отвращение, но это ей не удается — и она отказывается от жизни.

Умирает же она потому, что любит Георга и ей противно, когда любимый Георг оказался проституткой.

«Ибо, — говорит барышня Вера, — женщина, отдающая себя нелюбимому человеку, в нравственном отношении не выше проститутки, которая этим добывает себе пропитание.

А если мужчина вступает в связь то с одной женщиной, то с другой, меняя их, как галстуки, разве это не та же проституция?»

Не знаю, как думает читатель, я же думаю, что да, форменная проституция.

И этот Георг — форменная проститутка.

Он, этот Георг, довольно ясно выступает в дневнике — настолько ясно, что желтый билет на его лице виден даже издали.

Он, этот Георг, не *рассказал* барышне Вере о своих прежних связях — он ей *покаялся*.

Покаялся, как в чем-то грязном, и просил прощения и забвения.

Из его прежних любовниц не все были продажные женщины: была, например, одна жена его университетского товарища.

Значит, с нею был роман, т. е. любовь и ухаживание.

А теперь он, этот Георг, «кается», т. е. признает:

— Я валялся в грязи. Женщины, которые доньше отдавались мне даже по любви, — все грязь.

И закрепляет фразой:

— До тебя я никого не любил, Вера!..

О, да, этот Георг — проститутка.

Если бы он не был проституткой, он не так бы говорил Вере о своем прошлом.

Он, может быть, совсем промолчал бы, гордо сохранил свои секреты своими секретами; но если бы рассказал, то именно бы рассказал, а не каялся.

Он сказал бы Вере:

— Мое прошлое прошло. Я теперь твой, прежняя жизнь кончена.

Но я буду вспоминать эту жизнь без злобы и презрения, с теплой симпатией.

Среди женщин, которые мне принадлежали из любви, были такие милые и задушевные женщины. Они облегчили мне много нехороших минут.

А среди тех, которые принадлежали мне за деньги, была одна, в которой я увидел добрую душу; и одна, в которой я увидел искры самопожертвования; и одна, в которой я увидел тоску о лучшей жизни; и для меня вся их грязь этим очищена.

Я люблю тебя, Вера, одну тебя, я не хочу разлюбить тебя во веки, но никогда ради тебя я не стану презирать огулом женщин, которые принадлежали мне прежде.

Так бы сказал другой мужчина, не проститутка, не такой, который отдавался разным женщинам — и ни от одной не сохранил теплой точки в душе.

Он, этот Георг, как бродяга, долго ночевал по хижинам у лесников и рыбаков — и теперь, когда ему посчастливилось попасть на постой в богатый дом, вот как поминает их гостеприимство:

— Ну и грязь же была у этих скотов!..

Барышня Вера умирает с надеждой, что когда-нибудь выстроится «чудное здание будущей целомудренности», — и тогда, значит, женихи будут приходить к невестам чистыми и брать чистых невест.

На барышне Вере вообще, несмотря на всю ее независимость, отразилось настроение богатой обывательской немецкой семьи:

— «Свободная любовь»! — презрительно говорила она. — Призрак, очертаний которого никто не может уловить. Чистый, истинный брак — вот она, свободная любовь...

Из чего видно, в скобках, что и мещанство иногда, с отчаяния, говорит парадоксами...

Эта закваска мещанства — легкая, но невытравимая — приводит бедную барышню к требованию девственности от мужчины, вступающего в брак.

Так как она умна и не хочет дешево морализировать, то она и не требует этого идеала сейчас — вынь да положь, — она знает, что это дело долгого общесоциального прогресса, и умирает для того, чтобы стать «камешком для будущего чудного здания»...

Будем же надеяться, что это чудное здание ни в каком случае не окажется таким, как мечтала, умирая, барышня Вера.

Что в далеком светлом будущем два человека, встретившись на дороге любви, не станут опрашивать друг друга:

— Девственен ли ты, мужчина? Девственна ли ты, женщина?

Эти вопросы — оскорбление любви.

Потому что под ними понимается:

— Если ты уже любил, то ты нечист для меня.

Значит, любовь делает нечистым? Значит, любовь — клоака?

И, очевидно, требование девственности от любимого человека есть просто-напросто пакостное желанье вывалить в грязи моей клоаки совершенно чистенького, еще незабрызганного человека...

Нет, барышня Вера, в «чудном здании» грядущего иначе будут понимать любовь.

Встретившись и полюбив, два человека только спросят друг у друга:

— Чиста ли твоя душа?

И отпразднуют свою любовь, не заботясь о жалком розыске, кто сколько уже любил.

Барышня Вера тоже поняла бы это, пошли ей судьба не такого Георга.

Если бы любимый человек рассказал ей о своем прошлом с благородным умилением, она поняла бы, что и в своих прежних увлечениях, хотя бы мимолетных, он был и оставался человеком, а не скотом, и полюбила бы его еще теплее.

Но он оказался абсолютным животным. Он перед нею оплевал свое прошлое и доказал, что в этом прошлом для него не было ничего, кроме скотства; он развернул перед ней нечистую душу, и бедной девушке стало противно — противно до смерти.

Оттого она не поняла, что и мужчина от женщины, и женщина от мужчины должны требовать не девственности тела, *и даже не девственности души*, а благородства и чистоты души.

Не в том дело, имел ли он «прошлое», имела ли она, а в том, вышел ли он и вышла ли она из этого прошлого благородными и человечными.

Altalena

Одесские новости. 22.02.1903



Вскользь

Одесситы жестокий народ.

Ни за что не простят провинциалу того, что он провинциал.

Чуть что не так, — чуть он, например, только попробует сунуть палец в ноздрю или обойтись без носового платка, — одесситы сейчас подметят и скажут:

— Фи!

Нельзя же так, господа.

Надо же принять во внимание, что у него в Бендерах это вполне принято.

У него в Бендерах, может быть, ловко обойтись без носового платка — это такой же шик, как у нас в Одессе, например, подать руку при здорованьи локтем вверх.

Надо же считаться и с Бендерами!

Не дают шагу сделать провинциальному человеку.

Взъедаются на него:

— Не так ведет заседание!

— Самовольно сел на председательское кресло!

— Обрывал ораторов!

— Хотел поставить два ящика для баллотировки!

Возмутительная придирчивость.

Это все равно, что от новорожденного ребенка требовать:

— Скажи дяде «здравствуйте».

Не может же новорожденное дитя сказать дяде «здравствуйте»!

Не может же человек, приехавший недавно из деревни, сразу вести заседания по-городскому!

Нелепо и требовать.

Возмущаются, что вот, мол, пришел и без разговоров уселся на председательском месте.

Позвольте, да ведь он так привык.

У них в деревне всегда так делалось.

У них в деревне он был, вероятно, первая персона.

И когда он приходил, ему отдавали самый лучший топчан и даже, может быть, подкладывали подушечку.

И говорили:

— Усадьтесь на первом месте, сударь! Потому вы у нас в деревне, можно сказать, первейшая персона...

А он одобрительно крякал и говорил:

— Ммда-а-а...

И когда потом начинался общий разговор или обсуждение дел, то все смотрели ему в рот и старались угадать, что он думает.

И если замечали у него на лице печать вдохновения, то сейчас же кричали оратору:

— Тише, ты, неуч! Помолчи немножко. Они хотят что-то сказать.

И просили:

— Говорите, пожалуйста, ведь вы у нас в деревне самый ученый и самый умный человек.

И он, крякнув, развивал свои мысли, а прерванный оратор скромно ожидал.

Этаким путем человек мало-помалу и привык.

За что же вы его вините?

Пришел он в зал — смотрит: стоит отдельно кресло.

Ну, натурально, и подумал:

— Ага! Это, верно, для меня. Как у нас в деревне!

Крякнул и уселся.

Потом заговорили разные ораторы.

Не понравилось ему, что они говорили.

Ну, он, натурально, взял да остановил:

— Не говорите, мол, помолчите.

За что сердиться? Ведь он это без всякой злобы сделал — он просто думал, что тут тоже так, как у них в деревне...

Или — взять это недоразумение с двумя ящиками.

Вы сейчас подумали, будто это нарочно: чтобы, значит, видно было, кто за таксу, а кто против.

И вовсе нет.

Совсем не нарочно.

Он просто-напросто от чистого сердца думал, что и здесь так же, как у них в деревне.

У них в деревне всегда ставят два ящика.

Иначе нельзя.

Потому что у них в деревне, собственно, шаров для баллотировки еще не завели — так что вместо шаров употребляют картофелины.

Ну, а картошка, известное дело, фрукт крупный — одного ящика мало.

Вот и ставят два ящика.

Он думал, что у нас тоже баллотируют картошкой.

Вот и все. И никакого злого умысла тут не было.

Нехорошо со стороны одесситов проявлять такую мелочность: чуть провинциал не так повернется — уж и злой умысел.

Нехорошие эти одесситы, и не стоит с ними связываться провинциальному человеку.

Уже лучше провинциальному человеку взять да отряхнуть прах от ног своих на этих придирчивых людей.

Ведь на Одессе свет не клином сошелся.

Есть много других симпатичных городков: Голта, Змиев или Теофиполь.

Чем плох Теофиполь?

Право, мы от всего сердца рекомендуем город Теофиполь.

Это не Одессе чета.

Там можно себя чувствовать совсем как дома — совсем как в своей деревне.

Altalena

Одесские новости. 24.02.1903



Вскользь

Хотел уже сегодня дать сводку читательских писем об Андрееве и гр. Толстой, но так как вчера снова получил пачку ответов, откладываю эту сводку до четверга.

А сегодня сделаю маленькое предисловие, которое все равно пришлось бы предпослать.

Собственно, не предисловие, а небольшое pro domo mea¹ в ответ журналу «Образование».

В нескольких читательских письмах по поводу инцидента с Андреевым я прочел указание, что хроникер январской книжки «Образования» неодобрительно отзывался о наших здешних анкетах.

¹ В защиту моих взглядов, моих принципов; букв.: «в защиту моего дома» (лат.).

Это меня заинтересовало: я еще раз перелистал январскую книжку «Образования» — и нашел.

Г-н хроникер, действительно, говорит, между прочим, и о наших анкетах.

Он находит, что эти анкеты — плод провинциальной скуки.

От скуки, мол, люди посвящают много внимания пустякам и даже свирепо ругаются друг с другом из-за пустяков.

Только безысходной скукой, по мнению г-на хроникера, и можно объяснить, зачем я из-за какой-то «Монны Ванны» затеял плебисцит, а из-за плебисцита позволил себе так жестоко разбраниться с г-ном Знакомым.

Я ничего не имею против точки зрения г-на хроникера.

У нас, действительно, скучновато.

И если мы из-за пустяков так свирепо раздражаемся друг на друга, то это, действительно, потому, что уж очень мы озлобились от скуки.

Все это так, но все это ничуть не мешает г-ну хроникеру быть неправым с ног до головы.

Прежде всего, г-н хроникер не знает, в чем было дело, чем был вызван плебисцит.

А ведь был он вызван тем, что в здешней печати появилось указание, будто успех пьесы Метерлинка объясняется «пикантностью».

И нас заинтересовало, действительно ли такова наша публика.

И мы предложили публике вопрос:

— Что вас привлекает в этой пьесе?

И этот вопрос кажется г-ну хроникеру «Образования» настолько маловажным, что он даже удивляется:

— Стоило ли?

Да, конечно, есть вопросы и поважнее, и поинтереснее.

Но укажите, пожалуйста, где же они трактуются, эти более интересные вопросы?

Не в толстых ли журналах, вроде вашего «Образования»?

Месяц за месяцем вы печатаете длинные, нудные, бесцветные критические обозрения всего того, что пишут г-н Боборыкин, г-н Чириков, мадам Шапир.

Ни одной почти свежей буквы нету в этих статьях, ни одного проблеска жизни, никакого *raison d'être*¹.

Бездарная жвачка, которая никого уже не взволнует и не заденет за живое, никому не подскажет ответов на запросы души.

¹ Здесь: разумное основание; смысл (фр.).

И эту жвачку терпят, а нам говорят:

— Вы занимаетесь пустяками.

Я позволяю себе думать, что поднятый нами вопрос был безусловно интереснее и серьезнее этой жвачки.

Неужели, по мнению г-на хроникера, — сбежалась ли публика на похабщину, или почувствовала духовную красоту оригинальных ситуаций, — это совершенно безразлично и неинтересно с общественной точки зрения?

Нет, не верю, не может г-н хроникер искренне считать этот вопрос праздным и пустячным.

А дело в том, что г-н хроникер просто-напросто ничего этого не знал и не подозревал.

Не знал, какой такой плебисцит и кто такой г-н Знакомый, и кто такой я.

Все мы для г-на хроникера звук пустой.

Он просто выудил образчик резкой полемики — и приводит его как иллюстрацию той мысли, что вот, мол, от скуки люди на стены полезли.

А так как в этом же полемическом отрывке мимоходом упоминается и о плебисците — давай сюда и плебисцит, пусть и плебисцит окажется тоже пустым развлечением от скуки.

Ничего не разобрал, не осмыслил г-н хроникер, ничего не взвесил — и судит, рядит, «обозревает» и задает нам тон.

Да, образчик полемики, выуженный им у меня, есть, действительно, образчик весьма редкий и свирепый.

Но ведь для того, чтобы судить, надо прежде знать, как и откуда взялась эта свирепость.

Ничего этого г-н хроникер не рассмотрел и ни в чем не разобрался: он нашел полемический «перл» — и доволен, и больше ему ничего не надо...

Хороши эти наши «старшие братья», эти «обозреватели», следящие за провинциальной печатью.

Зорко и мудро следят они за нею.

Вспоминаю по этому поводу грустные строки, написанные недавно крымским журналистом Первухиным в одной крымской газете.

Г-н Первухин говорил как-то с г-ном Дорошевичем об одном даровитом молодом одесском беллетристе, причем заметил:

— Как жаль: сидит он в Одессе, и столицы о нем и не слышали.

А г-н Дорошевич ответил:

— Да, и пропадет, и никто ничего о нем не узнает, потому что столица эгоистка, столица знает только то, что в столице,

а все остальное для столицы — нуль и, значит, для всей остальной России тоже нуль...

Вот вам иллюстрация к словам г-на Дорошевича.

Пишет провинциальный журналист, изо всех сил пишет, вкладывает в свои писания весь свой жизненный опыт, всю искренность, всю душу.

Пишет, своя провинция его почитывает, — а столица даже не оглянется в его сторону.

И вдруг наконец оглянулась.

«Старшие братья» наконец заметили и отметили.

Что именно заметили и отметили? — Двадцать строчек резкой полемики.

Это, очевидно, самое главное. Это, очевидно, самое интересное изо всего, что бедный провинциал успел написать.

Больше, очевидно, ничего достойного внимания в его деятельности не нашлось.

Хороши они, эти старшие братья из толстопузых журналов столицы...

Я, впрочем, не разделяю пессимизма г-на Первухина и г-на Дорошевича.

Во-первых, в моих глазах — писать для Одессы и для ее района не значит пропадать в глуши, а значит беседовать с довольно чуткой аудиторией в пятьдесят тысяч человек, по крайней мере.

А во-вторых — не думаю, чтобы долго еще продолжалась та духовная централизация, при которой все, что не из столицы, для остальной России — нуль.

Не те времена.

Ненадолго еще хватит этой уродливой гегемонии.

Свежая молодежь провинции глядит вперед без всякого пессимизма и ничуть не рассчитывает «пропасть».

Можете быть убеждены, что она не дезертирует из родных углов в столицу, как сделали господа «старшие братья», которые ведь тоже почти все провинциалы, только беглые.

Она останется у себя, но не затем, чтобы «погибнуть» безвестно и бесславно, а затем, чтобы, по мере сил, помогать культурному росту провинции, и вместе с тем и себе пробьет дорогу и завоюет доброе имя.

Не бойтесь за будущее этой молодежи, ибо она сама — поверьте — ничуть за него не боится.

Altalena

Одесские новости. 25.02.1903



Вскользь

ЛИДОЧКИНЫ СОФИЗМЫ

На днях, в одном знакомом доме, Лидочка подошла ко мне и сказала:

— Вот что: старички сейчас сядут играть в карты. Хотите поболтать со мною?

— Весьма, — ответил я учтиво.

— Так забьемся в уголок.

И мы забились в уголок.

— У меня к вам просьба, — сказала Лидочка.

— Слушаю.

— Говорят много о новой книге «Одна за всех». Мне лень ее прочитать, а вы, я слышала, что-то такое написали об этой книжке. Значит, вы ее прочли. Расскажите вы мне, о чем там говорится. Я вам за то очищу апельсин.

Я рассказал ей содержание книжки, получил очищенный апельсин, положил ногу на ногу и спросил:

— Что же вы скажете, Лидочка?

Лидочка помолчала и потом заговорила:

— Это, действительно, неприятно, что вы, мужчины, такой дешевый народ.

— Дешевый? В каком смысле?

— В том смысле, в каком это слово применяется к женщинам нехорошей профессии.

— Почему?

— Да очень просто. Скажите: как вы смотрите на Иосифа Прекрасного?

— Гм... как бы вам сказать, Лидочка. У человека наклевывался случай состряпать роман с красивой женщиной — а он говорит «не хочу». Это неблагоразумно и... смешно.

— Ага! Вот видите!

— Что «вижу»?

— Что вы, мужчины, до того привыкли к своей дешевизне, что единственного недешевого мужчину, какой только известен в истории, считаете смешным глупцом.

— Лидочка, я вас не понимаю.

— Как же не понятно? Ведь вся разница между мужчинами и женщинами в том, что мы, женщины, дороги, а вы, мужчины, дешевы.

— В чем вы это видите?

Лидочка всплеснула руками.

— Какой вы тупица! Вам нужен наглядный пример. Ну, взгляните хоть на меня.

— Взглядываю и люблюсь.

— Мерси. Допустите при этом, что я уже замужем.

— Охотно допускаю.

— Когда я буду замужем, как вы думаете, будут ли за мной ухаживать разные господа?

— Несомненно.

— Ну, так скажите по совести, чего, собственно, будут они у меня добиваться?

— Гм... Затрудняюсь, Лидочка. Не нахожу выражения... Чего будут добиваться?.. Должно быть, полной взаимности.

— Да. А как я, по-вашему, буду относиться к их домогательствам?

— А кто вас знает, Лидочка! Это ваше дело.

— Да вы не стесняйтесь, голубчик, говорите откровенно.

— Если позволите откровенно, то я скажу. Вы... вы, по-моему, ежели домогающийся придется вам очень по сердцу, вы не будете с ним очень суровы.

— То есть уступлю?

— Oui¹.

— Я тоже думаю, что уступлю. Но ведь только тому из домогающихся, кто мне понравится?

— Да.

— Только тому, кто, так сказать, покорит мое сердце?

— Да.

— А что я сделаю, по-вашему, с теми из домогающихся, к которым буду равнодушна?

— Им вы скажете: строго воспрещается.

— Совершенно верно. И вот в этом-то и заключается наша женская дороговизна.

— В чем в этом?

— В том, что мы, женщины (кроме, конечно, тех, которые торгуют собою за деньги), уступаем себя *только* тому, кто нам понравился. Чтобы взять нас, надо нас покорить. Верно я говорю?

— Верно. Но злые языки говорят, что покорить вас очень легко. Так что слово «дороговизна» тут не подходит.

¹ Да (фр.).

— Легко или трудно покорять наши сердца, это второй вопрос, но главное в том, что покорить все-таки необходимо, что, не покорив сердца, нельзя от нас, женщин, ничего добиться. А вы, мужчины...

— А мы, женщины?

— Вы совсем другое дело. Вас не надо покорять. Любому из вас надо только шепнуть: «Monsieur такой-то, я буду вас ждать в 9 ч. вечера там-то», и он прибежит, хотя до того дня он обо мне, может быть, и не думал. Если бы он отказался, все бы над ним смеялись. Если бы он возразил: «Но я не увлечен ею!» — все бы загоготали: «Какой глупец! Женщина сама навязывает ему себя, а он отказывается! Стыдно! Да он не мужчина!» Так и скажут: он не мужчина. Ясно, значит, что у вас, мужчин, слово «мужчина» означает: человек, отдающий себя кому угодно по первому востребованию. То есть совершенно дешевый человек.

— Ну, извините. Если дама была некрасива, никто не станет смеяться над отказавшимся.

— Ах, да разве в красоте дело? А если она и хорошенькая? Madame Н. хорошенькая, и вы это признаете, но вы сами сто раз мне говорили: «Какая она несимпатичная!» Значит, она вам не по сердцу. А если бы эта самая, несимпатичная madame Н. дала вам знать, что она вас ждет, вы сочли бы верхом ridicule¹ — уклониться от такого счастливого случая и явились бы и уступили бы себя женщине, которая вам неприятна и об обладании которой вы никогда и не помышляли. Попробуйте спорить, что не явились бы?

— Н-да... отрицать не рискну... Делать нечего, пришлось бы явиться...

— Вот видите! А разве сплошь и рядом вы, мужчины, не начинаете увиваться за какой-нибудь женщиной только потому, что вам сказали: «Видишь вон ту дамочку? Она не особенно красива, но ее легко победить». И вы решаете: «Да, она не красавица, но нельзя же дать пропасть куску мяса, раз его можно стянуть». И идете, и отдаете себя только для того, чтобы не пропал даром кусок, хоть и совсем неважный. На свидания вы, мужчины, сплошь и рядом идете без охоты, зевая, — но не пойти нельзя, скажут: «Пропустил добычу! Не мужчина!» Дешевый народ вы, мужчины. Вы даже дешевле проституток: тем хоть надо заплатить, а вам и платить не надо, вы готовы отдаваться безвозмездно кому попало, лишь бы только согласились вас взять...

¹ Смешного, нелепого (фр.).

— Ой, Лидочка, пощадите, вы уж чересчур строги...

— Вовсе нет, я справедлива. Та девица из книжки «Одна за многих», вот та строга, а я нет. Я не требую, чтобы мужчина любил за всю жизнь одну женщину. Пусть любит, сколько угодно, но *любит* и отдается по любви, а не просто «так», без увлечения, по первому востребованию, только для того, чтобы «даром не пропадало». Пусть и мужчина, как женщина, требует, чтобы его прежде влюбили в себя, покорили. Пусть дорожит собой. Пусть не будет дешевым и общедоступным. Это противно.

— Лидочка, — сказал я, — вы мне наговорили столько кислого, что теперь вы должны мне очистить еще один апельсин.

Лидочка стала очищать мне второй апельсин, а я, подумав, заговорил:

— Ответьте мне искренно. После фельетона об «Одной за многих» я получил письмо, писанное женской рукой, где меня спрашивали: «Скажите откровенно, руководствуясь не разумом, а только чувством и сердцем: если бы у вас была невеста и она призналась бы вам, что прежде любила другого и принадлежала ему и вспоминает о нем до сих пор с теплым чувством, хотя любит теперь только вас; и если бы вы даже поверили, что теперь она любит только вас, и если бы даже признали, что душа ее осталась чистой и незапятнанной, — положила руку на сердце, скажите, назвали бы вы ее своей женой?»

— Что вы ответили?

— Я ответил: «Да, назвал бы своей женой без всякой борьбы с собой и без всякого колебания». Но не во мне дело. Меня здесь интересуете вы. Как бы вы поступили, если бы ваш жених сказал вам то же самое: что он не был никогда дешевым, он дорожил собой, а потому принадлежал только тем женщинам, которых любил, и будет всегда вспоминать о них с теплым чувством... Что бы вы сказали?

Лидочка разделила апельсин, половину дала мне, половину взяла себе и, поднося ко рту дольку, ответила:

— Я бы сказала, что это глупо.

— Что именно глупо?

— Зачем он мне все это рассказывает. Разве я спрашиваю?

— Как так?

— У моего любимого автора, у Марселя Прево, есть чудесное выражение: «*jardin secret*»¹. Он говорит, что у всякого человека есть свой *jardin secret*, куда он не должен и не может

¹ Укрытый уголок (букв.: «тайный сад», фр.).

никого допустить. Я всегда стою за то, что у порядочного человека должны быть свои секреты. Поверять все свои тайны даже лучшему другу — это нечистоплотно. Я считаю, что не имею права знать чужие секреты и никто не имеет права знать мои. У меня была в гимназии подруга, которая потом вышла замуж. В прошлом году ей пришлось обмануть мужа, и она жаловалась мне, что ей страшно совестно и больно лгать такому человеку, как ее муж.

— А он хороший человек?

— Очень хороший. Редкий человек. Я это знала, но я все-таки сказала ей: «Моя милая, очень жаль, что так оно сложилось, но ты не должна считать себя виноватой перед мужем. Ты ничуть не виновата, ты совершенно права. Раз у тебя в душе образовался твой *jardin secret*, твое право не допускать в него никого и защищать его всеми средствами, хотя бы ложью и лицемерием».

— Брр, Лидочка! Вы неразборчивы!

— Нет, я просто из двух зол выбираю меньшее. Лгать грязно, но еще грязнее — допустить другого ворваться в мой *jardin secret*. Для порядочного человека не может быть ничего более святого, чем его тайна...

В этом месте я слегка зевнул, прикрыв рот пальцами, но Лидочка это заметила и рассердилась.

На том и кончилась наша беседа.

Altalena

Р. С. Сводку читательских писем о Л. Андрееве вынужден опять отложить до субботы.

Одесские новости. 27.02.1903



Русский театр

«МОННА ДЖИОВАННА» МЕТЕРЛИНКА

Перевод г-жи Щепкиной-Куперник сделан почему-то стихами: благодаря этому некоторые отдельные места выиграли в красоте и выпуклости, но, с другой стороны, стихотворная форма послужила для всех исполнителей искушением — заметить естественную дикцию ходульной декламацией. Стихи на сцене — вообще нелепость, особенно же в России, где искусство читать стихи совсем еще не разработано.

Г-жа Яворская по внешности и костюмам была очень похожа на метерлинковский образ монны Ванны; по манерам — несколько менее; по читке роли — совсем непохожа, кроме разве 3-го акта. Свою решимость в 1-м действии монна Ванна должна облечь в формы краткой и тихой *résignation*¹, а этой ноты в порывистом эксцентрическом даровании г-жи Яворской нет. 2-й акт удался артистке несколько больше; собственно говоря, общий тон и здесь был совершенно не подходящий, но отдельные места г-жа Яворская недурно оттенила. Так, если бы не декламация, мы похвалили бы тот оттенок доверчивой детской беспечности, с которым артистка провела сцену воспоминаний детства; хорошо произнесла г-жа Яворская монолог Ванны о любви, внесла много выражения в фразу: «Если бы Гвидо не поверил...» и ярко передала волнение, охватившее Ванну после поцелуя Принцивалле. В третьем акте, дающем много простора порыву и темпераменту, г-жа Яворская была бы совсем хороша, если бы тверже знала роль. Здесь у артистки много подъема и увлечения. В этом акте недурны были и партнеры г-жи Яворской, особенно г-н Баратов, который провел роль Гвидо вполне прилично и был бы даже очень эффектен, если бы не неприятная манера подымать и опускать брови в такт стиха. Массовая сцена в этом действии задумана прекрасно и делает честь режиссеру: толпа все время участвует в действии, проявляет недоверие, вызванное первыми словами монны Ванны, негодует на Принцивалле, вообще живет. Об остальных исполнителях можно сказать, что г-н Семенов-Самарский играл скорее Стародума, чем Марко, г-н Ростов был совершенно незаметен в роли Тривульцио, а г-ну Романовскому, даже когда он выучит стихи наизусть, безусловно, нельзя давать роли Принцивалле. Не можем не выразить некоторого изумления по тому поводу, что г-да Баратов, Ростов, Самарский и Романовский хотя и члены петербургской труппы, несколько странно говорят по-русски: один произносит *блэдный*, другой *любофь* и все четверо упорно ставят ударение на частице *не*; всего этого делать «не» следует.

Зато «Мадмуазель Фифи» сошла безукоризненно. Переделка очень удачна, эффектна и трогательна; сыграли ее как концерт, не давая зрителю опомниться. В отличном ансамбле трудно выделить отдельных исполнителей. У г-жи Яворской роль, собственно, небольшая, но точно по ней скроенная, и сыграла ее

¹ Покорность судьбе; смирение (*фр.*).

артистка очень хорошо. Г-н Самарский был очень внушительным «отцом-командиром», г-н Ростов слегка декламировал свою роль аббата-патриота, г-н Романовский (поручик «Фифи») несколько шаржировал и как-то не увлекал своей резвостью.

Altalena

Одесские новости. 28.02.1903



Вскользь

ПУБЛИКА О ЛЕОНИДЕ АНДРЕЕВЕ

Вопрос был сформулирован так:

— Наблюдали ли вы на себе или других развращающее влияние рассказов Л. Андреева?

— Что вы думаете о письме графини Толстой?

Эта анкета дала особенный урожай писем. Ответов получилось гораздо больше, чем в предшествовавших наших плебисцитах.

Но все эти ответы очень похожи один на другой, и для того, чтобы познакомить вас со всеми письмами, достаточно будет привести выдержки из третьей части или даже меньше.

Во всяком другом случае такое однообразие было бы приискорбно как доказательство скудости оригинальных взглядов среди читающей публики.

Но в этом случае такое однообразие кажется мне очень приятным явлением.

Ибо мы здесь стоим перед очень старым обвинением, о котором один из моих корреспондентов совершенно справедливо говорит:

«Эта мода пошла еще со времен Сократа.

Его обвинили: отрицает старых богов, провозглашает новых, развращает молодежь.

С тех пор всякое обвинение против выдающегося мыслителя или писателя формулируется по этим трем или, скорее, двум пунктам: замена отживших ценностей новыми и развращение молодежи.

Теперь пришла пора г-на Андреева.

Суета сует, — заканчивает свое письмо этот корреспондент, скрывший свое имя под инициалами А. Д., подписчик «Одесского листка», — суета сует и всяческая суета. Русской

печати не стоило подымать столько шума из-за такого обветшавшего, банального обвинения, уже давно потерявшего всякий кредит и вес в глазах культурных людей».

Вот почему приятно констатировать, что на письмо гр. Толстой читающая публика, точно сговорившись, отзывается одними и теми же мыслями, почти одними и теми же словами.

Есть такие вопросы, которые *должны* быть спорными. Чем больше несходных мнений о них высказывается, тем лучше для культуры.

Но есть и такие вопросы, которые уже не должны быть спорными, которые должны уже раз навсегда войти в нашу морально-гражданскую таблицу умножения.

Можно только радоваться тому, что и вопрос, как относиться к обвинению, предъявленному еще Сократу, стал наконец для публики вопросом бесспорно решенным и что это обвинение встречает с ее стороны единодушный суровый отпор.



Справедливость, однако, требует отметить, что среди полученных мною писем есть четыре против Андреева.

Из остальных я воспользуюсь, как уже сказал, только одной третьей частью или даже меньше; но эти четыре все приведу — конечно, в выдержках.

Первое:

«Я не читал "В тумане" Андреева, писателя, несомненно, с дарованием.

Его "Бездна", однако, представляет собой такой извращенный порядок вещей, что поистине становится страшно за человека.

Думаю, что такое, можно сказать, художественное извращение правды ни для кого не полезно, и в наш век серых идеалов и угнетенных принципов оно звучит как бы попыткой смягчить вину разных рыцарей растления, весьма в последнее время умножившихся».

Подписано: «Врач, 47 лет».

Второе:

«...Писатели, вроде г-на Андреева, *вредны* потому, что рисуемые ими "цветы зла", поражая читателей (в особенности молодежь) своей наготой, оказывают на них развращающее влияние.

К тому же рассказы г-на Андреева сами по себе нереальны.

Что-то не верится, чтобы Немовецкий ("Бездна"), юноша образованный, за полчаса до катастрофы так чисто любивший, пал так низко...»

Подписано: «А., учащийся, 21 год».

Третье и четвертое ставят вопрос совсем на другую почву. Третье:

«Каюсь, что до сих пор не могу найти в произведениях Л. Андреева того, что заставляет многих признавать его крупным талантом...»

По моему мнению, г-н Андреев — даже не писатель в полном смысле этого слова, а прекрасный, искусный фразер.

Я прямо-таки недоумеваю, за какие заслуги попал г-н Андреев в литературные знаменитости.

О том или ином влиянии его на публику не может быть и речи: они слишком поверхностны, и в них так мало "корня", что, безусловно, нечего опасаться "отростков", ибо таковых не будет...

Вы предадите меня анафеме за мою ересь, но — вот мое мнение».

Подписано: «Григорий Шестин».

Г-н Шестин, собственно, не признает Андреева «вредным», но так как и его мнение есть мнение «против Андреева», я включаю его в эту рубрику «contra», тем более что и по поводу «Бездны», и о Л. Андрееве вообще намерен от себя сказать несколько слов в конце фельетона.

А вот четвертое письмо, которого не могу не рекомендовать вниманию читателя:

«Развращающего влияния Л. Андреева ни на себе, ни на других я не замечала...»

Однако — рискуя уклониться от поставленного вами вопроса — настаиваю на том, что г-н Андреев — писатель вредный.

Андреев — очень талантливый писатель: как бы ни были необыкновенны и несвойственны читателю описываемые душевные движения и положения — Андреев умеет заставить читателя проникнуться ими вполне.

Кто же — действующие лица в произведениях Андреева?

Все — большие той страшной, неизлечимой болезнью, которая уносит больше жертв, чем самые ужасные эпидемии, — большие нервами.

А знаете ли вы, вы, считающий свои знакомства, верно, сотнями (??), — десяток людей среди стариков и молодежи, которые обладали бы вполне здоровыми нервами?

А сколько среди нас таких, которые живут, потому что боятся огорчить смертью близких или ждут решительного толчка; сколько таких, которые уже по нескольку раз задумывались, не сумасшедшие ли они; сколько ипохондриков и меланхоликов, только без этикетки, наклеенной врачом; сколько этих тайных и явных страдальцев, для которых "смерть — желанный сон"?

И вот, все эти жертвы расстроенных нервов читают Андреева и в дополнение к своим душевным язвам проникаются и переживают муки героев "Мысли", "В тумане", "У окна" и "Молчания"...

Талантливый писатель мастерски играет на натянутых струнах наших больных нервов, а это — величайший вред, какой современный писатель может принести современным читателям».

Подписано: «Е. Б-нс, бывшая педагогичка, теперь счастливая мать и жена».

Вот все четыре письма contra.

Два из них, собственно, говорят совсем не о том, что было сказано в письме гр. Толстой, и выражают прямое несогласие с этим письмом.

Таким образом, на стороне представителей «сократовско-го» обвинения оказывается только *два* голоса.



Письма pro¹.

Мнение г-жи М. Х., замужней, со средним образованием:

«...Самый отвратительный из пороков, разврат, который больше всего нуждается в непрерывном, усиленном освещении в нашем обществе, заботливо прячется от дневного света.

Стоило появиться рассказу вроде "В тумане", и эпитеты "безнравственный", "развратитель молодежи" так и посыпались со всех сторон.

Что же так испугало в этом рассказе? Что, кроме глубокой жалости и сострадания, может вызвать история гибели молодой, хорошей жизни?

Я считаю этот рассказ одним из лучших и самых *полезных* произведений, какие знаю...»

Мнение «аптекарского ученика»:

«...Развращающего действия сочинений "Бездна" и "В тумане" я не заметил ни на себе, ни на своих знакомых.

¹ За; в защиту (*лат.*).

Второй из этих рассказов вызывает только протест против условий, порождающих такие явления, и показывает, в каком одиночестве мы воспитываемся, без связи с семьей и школой и в стороне от жизни.

Мы, люди нового поколения, совсем разучились краснеть и опускать глазки, когда говорят о "щекотливых" предметах.

Глупо и вредно разыгрывать младенческую невинность, когда вокруг все пропитано ложью и обманом.

Побольше правды, больше откровенности и простоты, тогда меньше будет грязи.

Спасибо Андрееву за то, что он так глубоко освещает жизнь»...

Мнение г-на Dixi, «врача 28 лет»:

«...Закрывать глаза на зло — значит потворствовать ему.

Надо рассеять туман...

Пусть дальше и дальше разбивают оковы лжи те, кто силен духом и мыслью.

Они делают великое и святое дело».

Мнение г-жи Н. П. — «23 года, профессия — служу в общественном учреждении»:

«...Помню, когда я в первый раз прочла "Бездну", меня охватил ужас.

Я поняла, что человеку еще много, колоссально много *надо поработать* над собой, чтобы иметь право называться человеком.

Относительно "В тумане" могу сказать только одно, что мальчик этот внушает мне глубокое сожаление.

Сколько должен был перестрадать этот ребенок, чтобы прийти к такому концу.

Вот мое мнение об этих двух рассказах Андреева. Такие произведения ни на кого не могут произвести развращающего действия».

Мнение г-жи Incognita:

«По-моему, заслуга таких писателей, как Л. Андреев, неизмеримо выше заслуги писателей-моралистов, потому что проповедовать с высоты своего Парнаса куда легче, чем спускаться в человеческое болото, разбираться в его грязи и таким образом предостерегать от нее.

...Возвратить на путь истинный соvrотившегося человека можно скорее бьющими в глаза яркими картинами ужаса, нежели книжными умствованиями».

Мнение г-на С. Т. — «20 лет, окончил среднее учебное заведение, живет в глуши, где дает бесплатные уроки своим односельчанам и читает с ними произведения Л. Андреева»:

«“Бездна” произвела на меня сильнейшее впечатление.

Я вижу, как многие, даже вполне интеллигентные, готовы, подобно трем босякам в этой повести, на всякую гнусность... оправдываясь тем, что “здесь, в деревне, редко перепадает”... И сам был готов пристать к их лагерю... совершать облавы...

Должен сознаться, что “Бездна” отрезвила меня, заставила, по крайней мере, серьезно призадуматься над этим.

...Произведения Андреева считаю в высшей степени назидательными...»

Этот взгляд на разные лады варьируется всеми письмами, и я останавливаюсь, чтобы перейти к другой категории писем, которую считаю особенно интересной.

Это — голоса той самой зеленой молодежи, за которую, собственно, и боится гр. Толстая.

Об этом завтра.

Altalena

Одесские новости. 2.03.1903



Вскользь

ПУБЛИКА О ЛЕОНИДЕ АНДРЕЕВЕ

«Мне вообще непонятно, — пишет г-н Л. Х., учащийся, 19 лет, — как может пожилая дама говорить о развращающем влиянии тех или иных книжек.

Об этом пусть предоставят высказаться нам, юношам.

Мы не ограничимся абстрактными рассуждениями, а можем вывести то или иное заключение из лично нами осознанных фактов».

То же самое говорит и «девушка 17 лет, ученица восьмого класса»:

«Едва ли бы я решилась ответить на поставленные вами вопросы, если бы не была убеждена, что на них и должны-то отвечать главным образом мы, учащаяся молодежь.

Ведь вопрос о развращающем влиянии Андреева не имеет никакого смысла по отношению к людям опытным, уже издававшим все в жизни: он существует лишь для нас».

И вот мнение этой корреспондентки:

«Наша нравственная чистота едва ли нуждается в такой защите, с какой выступили гг. Толстая и г-н Буренин; нам гораздо нужнее голос г-на Андреева, "Бездна" и "В тумане" которого служат нам своего рода *memento mori*¹.

Все мы ходим над бездной, все мы ходим в тумане — отрицать это могут лишь люди, смотрящие на действительность сквозь розовые очки.

И не г-н Андреев своими рассказами толкает нас в пропасть.

Напротив, честь и слава ему, что он не закрывает глаза на печальные явления, а рисует их такими, как они есть, а в рисунке его чувствуется понимание и злость...

Но я отклонилась от вашего вопроса; ответить же на него могу вот что: и подружки мои, и я, и мои знакомые (все из той же учащейся молодежи) читали оба инкриминируемых рассказа и увидели в них отражение хорошо знакомого нам порядка вещей, отражение, возбудившее в нас глубокое отвращение к оригиналу.

Неужели такое влияние можно назвать развращающим?»

Уже цитированный г-н Л. Х. предлагает целую теорию о том, что рискованная картина может повлиять в нежелательном смысле только тогда, когда она служила художнику *целью*: если же она была лишь *средством* для выражения идеи, то внимание наше естественно устремляется на идею, а сама картина как-то ступшевывается.

«В рассказах Андреева, — заключает г-н Л. Х., — ваше внимание поглощает не картина, а идея...»

Другой юноша, «ученик восьмого класса», рассказывает:

«...Товарищи мои втянулись в разврат. Я колебался... и среди этих колебаний случайно наткнулся на рассказы Андреева — "Бездна" и "В тумане".

Я понял, в какую бездну толкает "власть тела", царящая над зрячими и темными.

Андреев научил меня ценить те несколько крупиц человечности, которые, уцелев в грязи нашей души, влекут нас к разумному, доброму, вечному...»

Мнение г-жи Л. Р., «ученицы VII класса»:

«Рассказ "Бездна" возбудил во мне только сильное чувство ужаса, только ужаса вследствие своей реальности и правдивости.

¹ Напоминание; букв.: «помни о смерти» (лат.).

Прочитав "В тумане", я пришла к заключению, что со стороны писателей, отзывающихся на все людские нужды и направляющих на путь истины, является прямо нравственным долгом касаться изредка и подобных вопросов ввиду того, что если они, писатели, даже и обойдут их, сама жизнь сделает это за них и сделает гораздо грубее и чувствительнее...»

Мнение г-на И. С., пятнадцатилетнего «грамотного мальчика»:

«Рассказы Андреева не развращают, они отстраняют читателя от разврата.

Гр. Толстая при чтении "Бездны" и "В тумане" не чувствует того, что чувствует юный читатель — как гадко и отвратительно становится для него представление о звере в человеке.

Ей стыдно и неприятно при чтении его рассказов оттого, что правда глаза колет...»

Мнение молодого ремесленника, ювелирного ученика, 18 лет:

«Для того, чтобы извлечь из внутренностей человека выпитый им яд, доктора пользуются противоядием, а в сущности это противоядие тоже яд.

Так же и с нами: для того, чтобы извлечь из нас яд, писатели дают нам противоядие.

Неужели мы вправе порицать их за это?»

А вот что пишет из другого города г-н М. Ф., «сын нотариуса», 17 лет:

«Я испорчен с раннего детства: в моем мозгу уже очень давно "огненными буквами выжжено слово *женщина*".

Но при чтении этих рассказов Андреева я был совершенно спокоен и не нашел в них ничего соблазнительного.

Более чистых, более нравственных — в лучшем смысле слова — рассказов я никогда не читал.

Я расспрашивал своих знакомых: все говорят, и говорят чистосердечно, что рассказы Андреева не навяли на них никаких гадких представлений...»

Из остальных писем этой интересной категории приведу еще одно:

«Прочитав "Бездну", я в ужасе задала себе вопрос: как уничтожить возможность этого зла? — и так как я женщина, то ответ был: через воспитание.

Моих детей, — подумала я, — я воспитаю так, чтобы в них животное не подавляло человека.

Может быть, подобное решение вопроса очень неполно, но, во всяком случае, оно не доказывает вредного влияния Л. Андреева на публику "юную, неопытную, с неразвитым вкусом", к которой принадлежу и я — семнадцатилетняя девушка, окончившая восьмиклассную гимназию...

Я глубоко уважаю Андреева за то, что он мне не рисует идеалов, до высоты которых мне, по самому их определению, не подняться, а рисует мне людей, которыми наполнена жизнь и среда, где я вращаюсь; и за то еще, что он тем сильнее заставляет меня узнавать жизнь, проверяя ею же, и искать ответа на вопрос: как уничтожить возможность подобного?..»



Из всего этого легко представить себе отношение моих корреспондентов ко второму вопросу — «что вы думаете о письме гр. Толстой?»

Это — единодушный протест против непрошеной опеки, параллели насчет Lex Heinze, негодование по поводу того, что именно из Ясной Поляны, откуда мы привыкли слышать призывы к правде, раздалось теперь такое слово.

Первоначально я предполагал привести и эти выдержки, но мой фельетон так разросся, что я принужден был пожертвовать ими, тем более что тон их по большей части очень резок.

Скупясь на время и место, упомяну лишь о том, что в десяти письмах попадаются единогласные указания на то, что сцена «падения» Катюши в «Воскресении» гораздо соблазнительнее всего Андреева целиком.

Вот выдержка из одного письма:

«...Признаюсь вам, эта сцена донельзя беспокоила и меня, и некоторых моих знакомых, хотя мы впоследствии совершенно хладнокровно прочли "В тумане".

В искренней беседе с моей знакомой, девушкой лет двадцати (начальной учительницей), я узнал, что и ею сцена между Катюшей и Нехлюдовым принята не чисто. Она скорбела об этом, а когда я предложил ей прочесть вместе вновь то место, дабы стереть с себя грязь, она категорически отказалась.

Мы прочли с нею "Бездну", и его нравственная борьба, его падение не послужило поводом даже неловкости между нами...»

Уже цитированный подписчик «Листка» пишет по тому же поводу:

«...Это все факт, а ведь не может быть сомнения, что Л. Н. Толстой написал ту главу совсем не для того, чтобы нас прельстить.

Отсюда ясно, что, если взять на цугундер Андреева, как хочет графиня, то надо начать с Л. Н.; а гораздо проще и разумнее не брать на цугундер ни того, ни другого, а предоставить творчеству свободу и не кричать: караул...»



На этом я принужден остановиться, хотя передо мной еще два десятка писем, где я некоторые места подчеркнул, предполагая сделать выдержки...

Выскажу свое заключение.

Тот из моих корреспондентов, который полагает, что я его предам анафеме за отрицательное мнение о таланте Л. Андреева, очень ошибается: я вовсе не считаю г-на Андреева обладателем большого таланта.

Талант, конечно, незаурядный, но — по-моему — не выше средних размеров.

Я еще оставляю за собой право когда-нибудь подробно развить свое мнение о г-не Андрееве, а пока укажу, что значение (и крупное значение) этого писателя объясняется не размерами его дарования, а особенным освещением, которое он дает, особенным взглядом его на вещи.

Об этом пишет г-н Z. — «общественное положение — наблюдатель по преимуществу»:

«Если читатель достаточно чуток, он должен почувствовать, что Л. Андреев смотрит на все описываемое полными ужаса глазами».

Мистический ужас человека, во всем прозревающего тайну, бездну, стихию: вот основной тон г-на Андреева — тон, оправдывающий то сопоставление с другим певцом ужаса, с Эдгаром По, которое было сделано сейчас же при появлении первой книги интересного молодого писателя.

С мнениями господ врачей, уверяющих, что «Бездна» совершенно невероятна, я позволю себе, безусловно, не согласиться.

Но если и признать эту повесть невероятной с житейской точки зрения, то с высоты андреевского ужаса, как символ, как обнажение стихийной схемы, лежащей под всеми нашими *ges humanae*¹, — она глубоко правдива.

¹ Дела людские (*лат.*).

Л. Андреева вообще нелепо обсуждать с житейской точки зрения, ибо он вовсе не о житейском пишет и говорит.

Гр. Толстая впала в эту ошибку — в житейскую оценку писателя-символиста, — и мои любезные корреспонденты, возражая гр. Толстой, тоже впадают в эту ошибку.

Послушать гр. Толстую, г-н Андреев учит дурному.

Послушать моих корреспондентов, г-н Андреев предостерегает от дурного и учит хорошему.

Все это, конечно, не так, ибо г-н Андреев никого не учит ни дурному, ни хорошему.

Г-н Андреев ни к чему не привлекает, ни от чего не предостерегает.

Если он чему-либо «учит», то только своему особенному отношению ко всем явлениям, отношению мистическому, углубленному до последнего предела и не имеющему ни малейшего касательства ни к добру, ни к злу.

Но не для того ведь я обратился к публике, чтобы она верно объяснила мне, что такое г-н Андреев, а для того, чтобы узнать, присоединяется ли она к щепетильности Ясной Поляны.

Публика — и отчасти наиболее заинтересованная часть ее — отозвалась дружно:

— Нет.

И за то ей должен быть благодарен всякий, кому опротивело царящее над нами лицемерие.

Мне пишет из другого города г-жа Käthe, «вдова ротмистра, 44 лет»:

«Моей дочери 18 лет, и я бы не хотела, чтобы она прочла эти рассказы Л. Андреева.

Эта дочь у меня одна, и с первых лет я ей лгу: я ей не сказала, что такое любовь, и ей это сообщили подруги; я ей не сказала, что такое жизнь, и ей об этом тоже грубо сообщают другие.

Мы с дочерью живем душа в душу, но между нами всегда была и будет стена лжи и лицемерия.

Меня так воспитали, что "не все можно девушке знать", и я почему-то так же воспитала свою дочь и старалась, чтобы она "не все знала", т. е. чтобы не знала именно того, что для нас особенно важно.

Я часто думаю, что если бы моя дочь выросла, действительно ничего не зная, все считали бы, что это очень хорошо, а почему? Потому что тогда ее будущий муж получил бы приятную возможность взять ее, совершенно чистую, и целиком развратить, открыть ей самому все гадости и насладиться этими разговорами.

Когда я думаю об этом, я в отчаянии, мне хочется пойти к дочери в комнату и сказать ей, что я дурная мать, чтобы она меня прокляла, — но, конечно, этого я не сделаю.

Против Л. Андреева ничего не имею, но своей дочери я его не дам: ложь была до сих пор, пусть ложь будет и дальше...»

Ведь это вопль, господа, — так больше нельзя...

Altalena

Одесские новости. 3.03.1903



Вскользь

СТАРЫЕ ИСТИНЫ

Без уважения к принципу коллегиальности немислим правильный ход самоуправления.

Следовательно, принцип коллегиальности тесно связан с нашим общественным благополучием.

Следовательно, ко всякому проявлению своеволия отдельных лиц мы должны относиться беспощадно строго.

Ни в каком случае такое своеволие, как расшатывающее принцип коллегиальности, не должно быть одобряемо и поддерживаемо.

Все это — несомненно.

Отчего же иногда наши симпатии так резко противоречат этим несомненным и незыблемым аксиомам?

Иногда мы видим такие конфликты между коллегиальностью и своеволием, где, к ужасу нашему, наше сочувствие оказывается на стороне второго.

Непреоборимое сочувствие.

Мы говорим себе:

— Как можно сочувствовать своеволию? Ведь оно — подрыв коллегиальности!

Но ничего не можем поделать с сочувствием. Оно не сдается.

И, всматриваясь, мы начинаем в таких случаях понимать, почему оно не сдается.

Потому что ведь есть коллегиальность движения — и есть коллегиальность спячки.

И при коллегиальной спячке всякий, кто хочет соблюдать почтение к принципу коллегиальности, должен тоже спать.

Что же делать живому человеку, попавшему в такую коллегиальность?

Тоже спать?

Скажут:

— Пусть он попытается разбудить своих товарищей.

Хорошо. Он старается.

Толкнет под бок одного, толкнет другого. Не просыпаются.

Что же дальше?

Дальше — если дорожить коллегиальностью *quand même*¹ — остается только и живому человеку растянуться и заснуть.

Это будет коллегиально — но будет ли это хорошо?

Нет, будет нехорошо, потому что спать на общественной службе вообще не полагается, а особенно живому человеку.

Живому человеку подобает работать.

И вот он начинает работать. То есть, *adieu*² коллегиальность!

Третьего исхода нет. При спящей коллегии живому человеку остается или спать рядом с товарищами, или работать помимо товарищей.

И если он выбирает второе, как нам отнестись? Похвалить? Осудить?

Похвалить нельзя — похвалить значило бы поддержать разрушителя коллегиальности.

Осудить опять-таки нельзя — сочувствие не позволяет.

Получается такое положение: он, этот человек, неправ, но мы не можем не симпатизировать ему; напротив, его спящие коллеги внешне правы (ибо спят коллегиально, храпят хором дружно и согласоно) — а мы им не сочувствуем.

Нехорошее положение. Деморализующее положение, когда начинаешь путать правого с неправым и не знаешь, кому отдать свои симпатии.

Не должно быть такого положения.

А чтобы его не было — не должно быть почвы, на которой оно единственно может родиться, — не должно быть коллегиальной спячки.

Ибо спячка — еще больший подрыв принципа самоуправления, чем неколлегиальность отдельного лица.

Неколлегиальность отдельного лица колеблет этот принцип.

Спячка же есть его полное отрицание.

Спячка есть ужасный аргумент против этого принципа:

¹ Здесь: несмотря ни на что; вопреки всему (*фр.*).

² Прощай (*фр.*).

— На что вам самоуправление, когда вы им так сонно пользуетесь?

Оттого защитники самоуправления не могут удовлетвориться и успокоиться на том, что отдельного нарушителя коллегиальности не минет законная ответственность.

Этого слишком мало.

Эта ответственность не подымет престижа самоуправления.

Пусть сторонники последнего борются со своеволием, пусть требуют от исполнителей строго коллегиальной корректности.

Но пусть не забывают, что не это главное, что прежде всего и ожесточеннее всего надо бороться со спячкой, инерцией, равнодушием, робостью, низкопоклонничеством и самоуничтожением коллегий.

Altalena

Одесские новости. 5.03.1903



Вскользь

О ФАЛЬЦЕТЕ

Завтра мы прощаемся с г-жой Яворской; итак, несколько слов на прощанье.

В прошлом году я познакомился с одним молодым человеком приятной наружности, который очень мило пел.

У него не было никакого голоса. Стоило ему взять ноту как следует, грудью — выходило одно безобразие.

Но он и не пел грудью, а пел горлом, то есть фальцетом.

И у этого молодого человека был удивительный талант фальцета.

Его фальцет был сладок и нежен, и владел он им очень выразительно.

Иногда в его исполнении самые простые песенки приводили в восторг.

А голоса у человека все-таки не было.

Теперь на свете развелось множество людей, поющих фальцетом.

Не только в опере, но и в драме, и в литературе, и в живописи процветают многие, у которых вместо голоса фальцет.

То есть — не настоящий, чистокровный, полновесный талант, а особенный суррогат таланта, подделка под талант — часто очень изящная и интересная подделка.

Так изящна и интересна эта подделка, что даже многие, далеко не лишённые настоящего таланта, любят прибегать к этому фальцету.

И так изящна, так интересна и модна эта подделка, что публика сплошь и рядом увлекается фальцетом больше, чем настоящим талантом, и устраивает даже истинно талантливому человеку овации не за то, что даёт его талант, а за то, что даёт его фальцет.

Что же такое фальцет?

Это трудно определить. Фальцет — это все.

Хороший фальцет предполагает тонкий слух, изящный вкус, музыкальность, чуткость, чувство, понимание оттенков моды и умение тонко владеть ими; в хорошем фальцете часто выражается интересная индивидуальность, даже общая даровитость натуры; словом, все, все и все, кроме настоящего, стихийного и как золото неразложимого таланта.

У г-жи Яворской талант, конечно, есть, но этот талант сам по себе — среднего размера.

Настолько среднего, что если бы г-жа Яворская играла только талантом, она была бы совершенно заурядной актрисой.

Но г-жа Яворская — актриса не заурядная, а довольно интересная и довольно заметная.

Значит, г-жа Яворская берет чем-то кроме таланта, чем-то помимо таланта: берет своим «фальцетом».

Ибо «фальцет» у этой артистки (не голосовой, конечно, фальцет, а «фальцет» всей сценической манеры) — действительно интересный.

Ее «фальцет» — амальгама из разных приемов, ужимок, манерностей, ухищрений, составляющих сценический арсенал европейской *préciosité moderne*¹.

Не скажу, чтобы все это у г-жи Яворской было особенно тонко или представляло всегда самый что ни на есть последний всплеск моды.

Напротив, многое в ее *préciosité* носит отпечаток родимой суздальской аляповатости, преувеличенности, многое относится уже к прошлогодней моде; вообще видна не настоящая парижская искусница, а самоучка местного производства — этим объясняется то, что в Париже г-жа Яворская не имела никакого успеха, да и не могла иметь.

¹ Современная прециозность, манерность (фр.).

Но для российской публики, особенно для северной, все это пока довольно ново и занимательно и отвечает на некоторые вкусы и запросы текущего момента.

Этот фальцет дает г-же Яворской право на большее внимание, чем то, которое обыкновенно уделяется артисткам равного с нею таланта.

Большее — и совсем особенного рода внимание.

Внимание-любопытство.

Идя на «Монну Джиованну», я был убежден, что г-жа Яворская испортит 2-й акт.

Но шел все-таки с интересом и — скажу больше: даже смотрел с интересом, как г-жа Яворская портила 2-й акт.

Ибо, когда г-жа Яворская портит роли (а это бывает часто) — она их портит интересно.

Так точно в операх бывают сильнодраматические партии, которые прямо нелепо петь *mezza-voce*¹, но если у певца хорошее *mezza-voce*, мы говорим:

— Он провалил партию — но приятно было слушать, как он ее провалил...

Вот в чем (если оставить в стороне «бум» и другие посторонние искусству обстоятельства) лежит причина разногласицы о г-же Яворской.

Одни ее превозносят за «фальцет», другие хулят за дюжинность таланта.

Правы и неправы и те, и другие; а чтобы примирить их, надо принять формулу:

— Скромный талант с интересным «фальцетом».

Altalena

Одесские новости. 6.03.1903



Вскользь

НЕИНТЕРЕСНО

В приемной сидела барышня.

— Мое почтение. Чем могу служить?

— Я пришла рассказать вам возмутительный факт.

— И?..

— И просить, конечно, чтобы вы о нем написали в газете.

¹ Пение неполным звуком, букв.: «вполголоса» (*ital.*).

— Так-с. Я вас слушаю.

— Дело в том, что я служу в конторе страхового общества.

— Так.

— Служу три года и получаю 25 рублей в месяц.

— Так.

— Управляющий был всегда мною доволен и всегда мне говорил: О! вы заслуживаете в два раза большего жалования, чем то, которое получаете.

— Ну-с?

— Ну, а теперь, после трех лет службы, мне и дали прибавку... в 5 рублей в месяц.

— Так.

— Я пошла к управляющему и говорю: вы меня обидели такой ничтожной прибавкой, лучше бы ничего не прибавляли.

— Ну-с?

— А управляющий говорит: вы и этих пяти рублей не стоите.

— Так.

— Да, говорит, не стоите.

— Так. Ну-с?

— То есть как «ну-с»?

— То есть, что дальше?

— Дальше? Да ничего...

— А в чем же возмутительный факт?

— Ведь я вам рассказала?..

— Ах, да... Но, видите ли... Оно, конечно, прискорбно... явление, несомненно, печальное... но... как бы вам сказать... это нельзя назвать возмутительным фактом, о котором стоило бы писать в газете.

— Почему же?

— Потому, что это недостаточно исключительно. Это обыденно. Ежели бы, Боже сохрани, господин управляющий вас ударил или оскорбил, словом, сделал что-нибудь выходящее из ряда вон, — тогда другое дело. Можно написать. А то, знаете...

— Позвольте! Если бы оскорбил. Да разве он меня не оскорбил? Позвольте! Я работаю там три года, честно и усердно. Я интеллигентная девушка и вкладываю в мой труд, кроме добросовестного старания, еще и осмысленное понимание. И вдруг мне говорят: все ваше старание и понимание, да еще плюс ваша честность, не стоит и пяти рублей прибавки. Да помилуйте, если это не оскорбление, что же тогда есть оскорбление?

— Ну вот, в вашем голосе слезы. Зачем это? Вы не волнуйтесь, барышня. То, что вам сказали, действительно обидно. Но не так, чтобы можно было по этому поводу апеллировать к суду общественного мнения.

— Что же тогда есть настоящее оскорбление?

— Ну, например... если бы вам (Боже упаси) сказали: уберите... или заговорили с вами на «ты»... или наградили каким-нибудь эпитетом... Тогда другое дело! И точно так же: если бы вам, например, отказались заплатить причитающиеся вам деньги... Вот тогда был бы, действительно, факт, к которому кое-как можно было бы применить слово «возмутительный» — и написать о нем. Понимаете?

— Ничего не понимаю. Где же это слыхано, чтобы в крупной конторе не выплачивали служащим заработанных денег и кричали им: убирайся? Ведь вы берете исключительный пример!

— Вот именно, барышня. Исключительный, т. е. из ряда вон выходящий, т. е. интересный для публики.

— А мой случай неинтересен?

— К сожалению, нет. Он слишком зауряден.

— Но ведь именно потому и важен! Ведь от ваших исключительных случаев страдают только немногие, случайно попавшие под исключение, а в моем положении, обыденном и заурядном, находятся тысячи, десятки тысяч! Тысячи таких девушек, как я, отдают свою интеллигентность и усердие за 25 рублей в месяц! Разве это не ужасно — интеллигентность и усердие — за 25 рублей? И разве это не становится еще ужаснее оттого, что это заурядно? И разве эти тысячи не мечтают о прибавке, как я, а для многих из нас эта прибавка все равно что новая жизнь, — и разве не ужасно после трех лет обмануться в надежде и получить грубый отказ?

— Вот уже у вас опять слезы в голосе. Не надо этого, барышня. Вы успокойтесь, не волнуйтесь. То, что вы сказали, все верно... Но ведь нельзя писать о том, что совсем обыкновенно и каждому знакомо. Иначе публика скажет: «А завтра этот газетчик, того гляди, еще распишет портниху, которая другой барышне испортила сак!..» Нельзя, барышня.

— Значит, в газете можно писать только об исключительном?

— Не совсем так, но, во всяком случае, лишь о более выдающихся, более заметных явлениях, не столь ежедневных.

— То есть о более редких. Понимаю. Значит, именно о том, от чего массы людей тихо страдают изо дня в день, писать неинтересно, а важно и интересно именно то, что почти никогда ни с кем не случается?

— Гм... Вы немножко сгущаете краски, но в общем да, именно так.

— Ага... Ну что ж. Прощайте, извините, что помешала.

— О! Помилуйте,нисколько. Мое почтение.

Altalena

Одесские новости. 8.03.1903



Вскользь

Херсонская газета порицала деятельность г-на Кондорского, старшего врача богоугодных заведений.

Г-н Кондорский подал в суд.

На суде — насколько можно судить по напечатанному вчера у нас реферату — выяснилось, что газета была неправа.

Она дала себя ввести в заблуждение, поверила недостоверным свидетельствам и не проверила или недостаточно проверила свои обвинения.

За это редактор херсонской газеты присужден к аресту.

Ежели г-н Кондорский точно был несправедливо обвинен, то весьма отрадно, что он получил реабилитацию.

Жаль, конечно, что эта реабилитация покупается ценой ареста редактора, ибо редактор хоть и ошибался, ошибался, однако, *bona fide*¹, честно и беспристрастно.

Но что же делать? Журналисты никогда не требовали безнаказанности для своих ошибок.

Напротив, они всегда настаивали:

— Если мы неправы, привлекайте нас к суду. Суд разберет.

И наоборот, сам обиженный газетой обыватель любит отрещиваться от суда:

— Что суд! Суд газетчику мирволит, а мне только пуцая огласка...

С этой стороны г-на Кондорского даже надо похвалить: прекрасный пример и для обывателей свиной породы доказательство, что суд никому не мирволит и умеет правому сказать «да», а неправому «нет».

¹ Добросовестно, искренно (*лат.*).

Но и этот «неправый», этот редактор, внезапно попавший в клеветники, тоже наводит на размышления.

На грустные размышления.

Ибо ведь неоспоримо, что российский газетчик очень часто печатает непроверенные разоблачения.

То есть, pardon, разоблачения он вообще печатает весьма редко, но в числе тех немногих, которые ему приходится печатать, имеется очень высокий процент непроверенных или недостаточно проверенных.

А газетчик европейский, наоборот, печатает много разоблачений, но процент непроверенных у него очень мал.

И однако российский газетчик в массе гораздо честнее и беспристрастнее своего европейского собрата.

Как же так? Почему же российский газетчик позволяет себе так сравнительно часто обходиться без обстоятельной проверки обвинений?

Для вас, читатель, это, действительно, загадка, но для нас, журналистов, причина или, вернее, причины этой «небрежности» ясны, как день.

Приходит ко мне человек и сообщает:

— В таком-то учреждении допускаются такие-то злоупотребления.

Я, несомненно, обязан досконально проверить это заявление.

Но как же это сделать?

Отправиться к управляющему этого учреждения?

Он мне укажет на дверь, прибавив:

— Я вашему контролю не подлежу.

Расспросить служащих?

Служащие скажут:

— Боимся... как бы не влететь. Еще выкинут без рассуждений, а мы люди семейные...

Извольте при сих условиях проверять.

Ведь тут нужно искать третьих лиц, которые одновременно и знали бы все обстоятельства, и были бы совершенно независимы.

Но не везде есть такие третьи лица.

Собственно, только о больницах да тому подобных учреждениях и можно собирать справки у третьих лиц, а какие третьи лица, например, в банке?

Но и третьи лица, где они есть, часто так приучены сторониться от гласности и считать газетчика за человека неблагонамеренного, что и от них многого не добьешься.

Европейскому журналисту со всем этим не приходится встречаться.

Там вся публика иначе воспитана и в газете видит свою естественную защитницу.

Оттого там и управляющий не скажет:

— Вы мне не контролер.

И третьи лица не будут робеть:

— Ах, как бы чего не вышло... Подведет этот литератор, ой, подведет...

Оттого легко европейскому журналисту.

Он может проверить всякое слово, семь раз отмерить прежде, чем один раз отрежет.

И оттого трудно русскому газетчику, и оттого перед ним всегда великий соблазн — напечатать обвинение без достаточной проверки.

Великий соблазн, настолько великий, что иногда это даже не соблазн, а необходимость, обязанность, гражданский долг.

Мы не спорим против того, что печать, безусловно, *должна* проверять свои обвинения.

Но нельзя спорить и против того, что проверка часто *невозможна*.

А когда то, что *должно*, является в то же время и *невозможным*, тогда получается глубоко ненормальное положение, из которого ничего хорошего не может выйти.

Должное не должно быть невозможным. Должно сделать должное возможным.

Не было бы удивительно, если бы в небрежной проверке обвинений попался недобросовестный газетчик. От недобросовестного нечего и требовать.

Но когда и добросовестный газетчик принужден волей-неволей оставаться неосведомленным, когда ему предоставляется на выбор или обвинять без проверки, или вовсе молчать, и нет третьего, самого естественного выхода — обвинять после строгой проверки, — это поистине удивительно и ненормально.

Другое отношение общества к гласности, признание ее прав и значения — и добросовестной печати не придется жить в этом заколдованном круге, колеблясь между преступным молчанием и преступной клеветой, и она заговорит уверенно и правдиво.

Altalena

Одесские новости. 10.03.1903



Вскользь

Опять скандал в «очереди» с финалом у мирового судьи.
О, эта очередь!

Всему придет пора: и женский вопрос будет решен, и лиманы облагоображены, и Дрейфус когда-нибудь получит реабилитацию.

Но «очередь» есть проблема и такую пребудет вечно.

Еще как только приехал г-н Фигнер, ко мне пришла барышня с жалобой на разные couleurs locales¹ Театрального переулка.

— Напишите об этом, — просила она.

— Хорошо, — согласился я.

И до сего дня, как видите, молчу.

Барышня иногда заглядывает в редакцию и велит вызвать меня.

Я выхожу, смущенный и пристыженный.

— Что же это вы обещали, а не пишете?

Я бормочу разные извинения и объяснения, а правду не решаюсь сказать.

Правда же та, что мне просто не хочется.

Нет охоты, претит, и сам себе в конце концов не веришь, когда пишешь об этой проклятой очереди.

— К чему? — спрашиваешь себя. — Стоит ли лаять на ветер. Все равно ничего не выйдет.

Ведь писали, кричали, шумели — и ничего до сих пор.

Я тоже упражнялся.

Бранил кассира.

Кассир ко мне после этого пришел и просто и ясно изложил все обстоятельства.

— Виноват я? — спрашивает. — Скажите по совести: могу я тут что-нибудь поделать?

И я, вникнув и обдумав, развел руками и сознался:

— Да... действительно... Но отчего не вмешается председатель театральной комиссии?

— Эх! Вмешивался председатель театральной комиссии. Старался, добивался. Ничего не вышло и ничего не выйдет.

И мы расстались — они направо, я налево, — сказав друг другу на прощание назидательно:

¹ Здесь: местные особенности (фр.).

— Да-с, таковы-то дела...

Ergo¹, зачем же писать?

Нет смысла, согласитесь сами.

Как до нас было, так и внукам передастся, сохранно и неприкосновенно.

Нечего вольтеррианцам потрясать основы порядка: проблема «очереди» неразрешима.

И по-прежнему будет процветать «1-я одесская артель барышников», симпатичное учреждение, о котором даже не подозревает бедный г-н Левицкий.

Ныне, присно и во веки веков.



Коллега Теофраст Ренодо рассказывает, что в Луврском музее оказалась поддельная реликвия — золотая тиара, будто бы найденная на раскопках в Крыму, а на самом деле кем-то нарочно сфабрикованная.

Но кем?

Одни указывают на какого-то парижского искусника, другие — на одессита, ювелира Рахумовского.

Мой парижский коллега называет г-на Рахумовского «легендарным г-ном Рахумовским».

Но г-н Рахумовский вовсе не миф, а живой человек и одессит.

О нем не так давно писали в одесских газетах и печатали снимки с его ювелирных миниатюр: гроб со скелетом, какой-то барельеф и еще что-то.

Его ли рук дело, эта луврская тиара, или нет — но факт тот, что у нас под носом живет оригинальный и бесспорно талантливый художник-самоучка, «Одесский Бенвенуто Челлини», и...

И добрые девять десятых нашей публики даже имени его не знают.

В Европе такой человек жил бы в атмосфере всеобщего внимания.

Устраивались бы выставки его работ.

Публика ходила бы в его мастерскую, как ходят в картинную галерею.

Газеты писали бы:

— Он начал новый барельеф-миниатюру.

¹ Следовательно (*лат.*).

— Он закончил художественную солонку в виде девочки с передником.

В Одессе — ничего подобного.

Никто не слышал, никто не знает.

Да один ли г-н Рахумовский?

Один из лучших художников нашего города — виртуоз-акварелист г-н Л. — тоже представляет из себя на три четверти миф даже для той публики, которая уже научилась ходить на южнорусские и передвижные выставки.

Правда, есть в этом доля собственной вины: зачем самому художнику уклоняться от публики, от выставок?

Но в том-то и дело, что не Европа.

В Европе не допустили бы. Талант вырыли бы из земли, вытащили бы полунасильно в большую публику.

А у нас равнодушные. Покажут — посмотрим, не покажут — не любопытствуем.

Скверно...

Altalena

Одесские новости. 13.03.1903



Вскользь

Не читайте сегодня в отделе «Театр и музыка» репертуара гастролей Элеоноры Дузе.

Не читайте, чтобы не впасть в грех зависти, ибо эти гастроли состоятся в Петербурге, а в Одессе — ничего.

Ровно ничего.

В Одессу Дузе не заглянет.

Величайшей из артисток нашего времени мы не увидим.

Прозеваем случай, когда это «так возможно, так близко».

Скоро ли еще будет Элеонора Дузе в России?

Chi lo sa¹.

Может быть, скоро, может быть, никогда, а пока что — мы с вами ее не увидим.

И не потому, что Дузе не хотела к нам приехать, а потому, что мы не хотим ее пригласить.

Мы, одесситы, которым представляется такой редкий случай отдохнуть от г-жи Яворской, насладиться настоящим гением после всякого пыжашегося маргарина, — мы не хотим пригласить Дузе.

¹ Кто знает (*итал.*).

Профессиональные импресарио почему-то молчат — очевидно, проектируют вместо Дузе венскую оперетку.

И Бог с ними, с профессиональными. Неужели надо быть профессиональным антрепренером, чтобы пригласить в Одессу Дузе?

Изумительно мало предприимчивости и фантазии у одесских богачей.

Улька, да овес, да отрубь, да еще разве примесь из гранитных осколков — вот, кажется, и вся вековечная сфера их деловитости.

Интересную мину сделали бы они, ежели бы поднести им проект:

— Снимите для Дузе на пять спектаклей какой-нибудь из театров, гарантируйте сбор и привезите ее сюда. А?

Они бы, пожалуй, обиделись:

— Какая такая Дузе? Мы этим не торгуем. Охота рисковать.

Увы, сомнения нет: мы останемся без Дузе.

Без Дузе, которую поистине *vedi e poi tuoi* — «увидеть и умереть», — без Дузе, на спектакли которой мы были бы готовы сбежаться такой толпой, что самому жадному импресарио только осталось бы, что сиять и весело потирать руки...



Завтра Южнорусское музыкально-драматическое общество устраивает свой первый спектакль.

Интересная и важная попытка — это общество.

Уставом ему дана очень широкая программа действий — шире, чем, например, Литературно-артистическому обществу, — и всю эту программу инициаторы хотят использовать для блага и просвещения Молдаванки.

По «Заметкам» моего коллеги Я. читатель центра уже знает о культурном росте этой окраины города, сильно проявившемся в последнее время.

Через пять или десять лет Молдаванка во всех отношениях будет соперничать с центром.

Между тем все наши театры обслуживают центр, все публичные лекции и рефераты читаются для центра.

Какой духовной пищей живут интеллигентные люди на Молдаванке — это для меня непостижимая тайна.

Стоило бы выяснить ее, но ведь это выяснение потребует хоть небольшого труда.

Так уж лучше затратить труд не на выяснение тайны, а на ее устранение.

Молдаванке нужна духовная пища, и для этого ей необходима своя «духовная кухня».

Южнорусское общество поставило себе целью — быть этой кухней.

Понадобится много энергии.

Долгое неудовлетворение потребности — как физической, так и духовной — неминуемо ведет к ослаблению и заглушению ее.

Обществу предстоит задача — умелым и энергичным предложением пробудить уже существующий, но, быть может, усыпленный спрос.

Каждый спектакль, каждая лекция или концерт будет шагом к духовному оживлению огромного предместья, заслугой перед его населением и перед всей Одессой.

Чем шире раскинется по Одессе деятельность просветительных учреждений, не оставляя без своего влияния ни одного уголка, тем скорее население нашего города выделит из себя достаточно умственных сил, чтобы стряхнуть с себя наконец противоестественную духовную гегемонию столиц и зажечь собственной культурной жизнью.

Один маленький совет.

Обществу придется главным образом ставить спектакли и, значит, пользоваться любительскими силами.

Среди здешних любителей есть, бесспорно, люди способные, и при хорошей постановке дела с ними можно завоевать — мое глубокое убеждение — не одну только Молдаванку.

Но для хорошего спектакля нужно много репетиций, а репетиции отнимают много времени.

И любители душой рады будут жертвовать своим временем.

Но многим из них — людям трудящимся — это придется нелегко и доставит чувствительные неудобства.

Я полагаю, что никакого дела нельзя прочно поставить на даровом труде.

Южнорусскому обществу следовало бы подать первый пример новой и рациональной эксплуатации любительского труда.

Отчего бы не отчислять половину чистого сбора на вознаграждение участвующих и распределять ее между ними на марках?

Кое-кто из господ любителей, конечно, сочтет возможным отказаться от платы, и тогда ему представится полная возмож-

ность пожертвовать свой пай в пользу общества или какого-нибудь благотворительного учреждения.

Но как принцип — труд исполнителей должен быть платным.

Излишне говорить о том, насколько это будет удобнее и полезнее для всех трех сторон: для общества, для господ любителей и для публики.

Altalena

Одесские новости. 15.03.1903



Вскользь

ЧИТАТЕЛЬ О «НА ДНЕ»

Пользуюсь случаем — толками об интересном реферате г-на Богомольца, — чтобы разделаться с этим долгом перед публикой.

На вопрос: «Что сказал Горький своим "На дне"?» — получилось гораздо меньше ответов, чем в других наших «плебисцидах», — и эти немногочисленные ответы, как я уже писал, особенного интереса не представляют.

Я виню в этом всецело себя: я задал слишком старомодный и шаблонный вопрос.

Выколупывание «идеи» из художественного произведения — традиционная манера русской критики — есть занятие устарелое, для нашего времени бесполезное и потому неинтересное.

Очень остроумно говорил об этом г-н Лифшиц на последнем четверге.

Он рассказал, как некий Ганс подарил Амальхен прелестный свежий цветок, на котором еще сверкали утренние росинки.

Амальхен была очень рада — схватила цветок и стала обрывать лепесток за лепестком, гадая:

— Любит... не любит...

Вышло «любит»...

Но от прелестного цветка остался только безобразный стебелек.

И Ганс рассердился и ушел от Амальхен.

— И писатель, — сказал г-н Лифшиц, — приносит нам чудный цветок, а мы, вместо того чтобы наслаждаться его прелестью и ароматом, начинаем срывать с него лепестки, чтобы отгадать — нужно ли любить ближних или нет:

— Любит... не любит...

И от цветка ничего не остается.

Г-н Лифшиц совершенно прав.

Нельзя, впрочем, забыть, что у М. Горького центр тяжести всегда был не в художественных достоинствах произведения, а в проникающем его порыве.

Но этот порыв есть именно порыв, а не «идея», и восприниматься должен не анализом, а единым, неразложимым настроением.

Об этом пишет один из моих корреспондентов, г-н Д. З-ль: «Горький своей последней пьесой, как и прежними произведениями, будит в нас *не мысль*, а страсть и силу.

Мысль обывателя обретается в очень близком родстве с рассудком, а последний — раб всего того, что обывателя окружает.

Такая мысль вредна, и к ней Горький не обращается.

Страсть, порыв — вот нужные ему средства. Они не знают обывателей — они свойственны только человеку...»

Своим вопросом — каюсь — я потребовал именно анализа, шаблонного гаданья на лепестках.

На шаблонный вопрос и не могло получиться других ответов, кроме шаблонных.

Кое-что из этих ответов, однако, я приведу.

Все они, по основным точкам зрения авторов на цель М. Горького, распадаются на две категории.

Первая — меньшая — поддерживает тот взгляд, который так блестяще отстаивал в Литературно-артистическом клубе оппонент г-н Львов:

— «На дне» есть призыв о спасении канувших на дно.

Вот лучший из ответов этой категории, подписанный псевдонимом «Одинокий»:

«Погибающий попадает "на дно" и там окончательно гибнет, ибо это "дно" есть дно глубокой-глубокой ямы, со скользкими отвесными стенами: желающему выкарабкаться — не за что хватиться.

На "дно" попадают люди часто сильные, часто гордые, но бесконечно несчастные, изувеченные.

Человек в них замирает.

Но не погибает в них человек в самом возвышенном смысле этого слова.

Человека в жителях "дна" обнаружил нам человеколюбивый и мудрый Лука.

Но только обнаружил — вернуть со дна ему никого не удалось.

Слишком поздно пришел он со своей любовью.

Господа сытые, довольные, стоящие наверху!

На дне *люди* гибнут безвозвратно — поймите это! Вдумайтесь в это!..

Пробудите в себе здоровую любовь к людям — ту любовь, которая не допустит никого на дно...»

Вторая категория — большинство — видит в последней драме Горького апологию иллюзии.

Г-н «Фома» пишет:

«Не берусь я решить, что хотел сказать Горький в драме "На дне", но, мне кажется, общее направление его произведений таково, что к ним можно поставить эпитафю:

*Gospoga! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.*

Если истина не воодушевляет вас, не возвышает, не уравновешивает, не делает жизнеспособными, — создайте себе идеал, хоть иллюзию его, хоть даже сознательный обман, но обман возвышающий, дающий энергию жить и содержание жизни...»

Г-н «Caballero andante»¹, который пишет по-французски и (может быть, не без основания) называет «На дне» «*oeuvrte plutôt râtée*»², высказывается так:

«Что в пьесе действительно прекрасно, это идея о необходимости иллюзии (*oh! la grande déesse!*)³ в человеческой жизни.

Как прелестна эта легенда о маньяке лучшей земли!

Будь она чисто чувственная (вино — гашиш — женщины — карты), будь она духовная (любовь, величайшая и иллюзорнейшая из иллюзий, — искусство — дружба), будь она головная (головная любовь à la Бальзак и Леопарди — доктрина — философские увлечения) — но иллюзия всегда необходима нам, *raucres diables d'hommes*⁴, парадоксальным созданиям, в которых животное борется с божеством.

Мы счастливы только тогда, когда мы опьянены или влюблены.

¹ «Странствующий рыцарь» (исп.).

² «Довольно неудачным произведением» (фр.).

³ О! Эта великая богиня! (фр.)

⁴ Беднягам (фр.).

Но как редки эти мгновения счастья, как долга пустынная дорога, которую мы проходим без светоча и цели!

— Ищите иллюзий, любите их, уважайте их в ближнем вашем, — вот что сказал нам Горький в своей последней драме.

*Ainsi soit-il!*¹..»

Уже цитированный г-н Д. З-ль начинает свое письмо с сомнения, справедливо ли мнение, будто «Горький лжет».

«Мне кажется, — пишет г-н З-ль, — что нет.

Его босяки — безусловно, жизненные типы, но типы собирательные.

Как бы ни казались вымышленными все их речи — в них есть правда, и эта правда чувствуется сильно...

Но, — говорит г-н З-ль, — вы утверждаете, что Горький лжет.

Пусть.

Не мешайте такой лжи, а помогите, всеми зависящими от вас средствами помогите ему.

Эта ложь хорошая, нужная.

И результатом ее будет правда...»

И — чтобы закончить — к этим словам г-на Д. З-ль я прибавлю заключительные слова г-на Кабальеро:

— *Ainsi soit-il.*

Altalena

Одесские новости. 16.03.1903



Вскользь

Чудное стихотворение Федорова напечатано в «Журнале для всех».

У меня теперь этой книжки нет, а наизусть я не помню.

Но там говорится, что была снежная зима, и —

*Не верилось, что вновь придет весна,
Не верилось, чтоб дух усталый ожил...*

И рассказывает поэт:

— По утрам я выходил на крыльцо и, словно кормчий с корабля, зорко вглядывался: не сошли ли снега? Не показался ли крест на пригорке?

¹ Да будет так (*фр.*).

— И вот, снега осели немощно и хило, земля еще казалась мертва, но в ней уже предчувствие бродило.

— И наконец, сегодня я увидел крест на холме и холм, освобожденный от снега.

*Как богатырь, на солнце, не спеша,
Молился он, сняв шлем и панцирь белый.*

И восклицает поэт в трепете весны:

— Земля! Прими привет и ласку от родного — усталого согрей и укрепи.

— Земля! Земля! Ты слышишь ли мой голос?

*Я жавронок, затерянный в степи,
Я в плевелах запутавшийся колос...*

И умоляет поэт в жажде обновления:

— Земля! В недрах твоих мой отец, крестьянин, искал настоящего хлеба. Дай же насущный хлеб и моему сердцу, которое измучено сомнением.

— Яви торжественно твою живую мощь: ведь она в тебе, ведь я ее сердцем слышу в этой весенней грязи.

И заключает поэт, растворяя свою душу в природе, отдаваясь ей, как отдается грудное дитя матери или любовник любовнице:

*И ком земли, в несказанной любви,
Я прижимаю к сердцу и целую...*

Хорошие строки, господа читатели: каждое в них слово — отзвук душе.

*Я жавронок, затерянный в степи,
Я в плевелах запутавшийся колос...*

Кто из нас с вами не жаворонок, затерянный в степи, не колос, запутавшийся в плевелах?

Ой, не хорошо нам живется. Жизни своей не рады и самих себя не уважаем.

Бродим по гадким нашим улицам и спрашиваем друг у друга:

— Как бы это сделать, господин, чтобы жить было вкусно и себя можно было уважать?

И не можем ответить друг другу.

Разводим руками и говорим:

— Извините, господин, мне это неизвестно.

Спросили бы у неба, да разучились мы спрашивать у неба. Господа, не спрашивайте друг друга, не спрашивайте у неба... спросите у земли.

У нее спросите! Окликните ее.

— Земля! Земля! Ты слышишь ли мой голос?..

И не думайте, что она тоже промолчит. Она ответит — вы только умеете вслушаться в ее шум.

Вслушайтесь в ее мартовский гул и ропот.

Научитесь улавливать его в акации, мимо которой вы идете по улице, и в себе самих, в той шампанской игре крови, которую мы слышим теперь в себе самих.

Потому что, когда вы идете по городу и без слов шепчете спасибо за ласку новому солнцу и новому ветерку и вдруг вам покажется, что все мужчины и дамы на улице и дети в городском саду почему-то сегодня такие красивые, и жаль станет, что вам уже 22 года и неловко уже прыгать и играть в ловитки — поймите тогда, что это в вас земля рокочет, земля, которой вы дитя и частица.

И поймите хорошо, *что* рокочет земля, какое слово слагается из ее весеннего шороха.

Сколько живу, я мучительно гадал это слово и теперь знаю, что угадал. Это слово — старое слово *работа*.

Верьте мне, господа, ни в одном слове никогда не лежало для меня столько божественной глубины, сколько теперь в этом слове *работа*.

С тех лет, когда я только начал размышлять, под моим черепом угнездились вопросы, которым не было решения, и они раздражали меня, отравляли тоской.

Я теперь чую решение и примирение всех этих вопросов в могучем слове *работа*.

И в какой лабиринт ни швыряет меня иногда своевольная мысль, и я блуждаю там без Ариадны и без света, но в слове *работа* открывается мне непорываемая, несгораемая, нерушимая путеводная нить.

Как мы чувствуем и не можем не чувствовать, что наше *я* существует, и хотя бы все, кроме *я*, оказалось беспричинной иллюзией, но в существовании *я* мы не властны сомневаться — так я теперь стихийно чувствую и не могу не чувствовать и не властен сомневаться, что в слове *работа* — цель жизни, оправдание жизни, награда жизни.

И ведь я не один. Все ведь мы с вами, люди этого беспочвенного слоя, маемся и тоскуем от нашего безделья.

Надо нам прислушаться к земле. Надо нам «в несказанной любви» поцеловать землю и от нее научиться.

От нее, просыпающейся каждую весну для радостной работы.

Мы хотим смысла в жизни? Мы хотим радости? Мы хотим спасения? — Работа.

Нет другого ответа на земле, нет других лозунгов у нашей эпохи.

Не должно быть теперь на свете другого кумира, кроме этой богини.

Была сказка о живой воде, и я ей не верил, но теперь я верю, потому что живая вода — это работа.

Все мы, рахитики духа, подагрики чувства, сифилитики мысли, должны окунуться в работу, в этот кипучий лиман, богатая соль которого вольется в наши поры, и станут наши мускулы, как камень адамант.

Кто хочет исцеления, раздавите грязным каблуком себя прежнего, праздного, чтобы обновиться по-весеннему для работы.

И как итальянская женщина Ада Негри, сделайте исповеданием веры вашей вопрос:

— Работал ли ты?

И пытайте им без жалости всех и каждого: тех, с кем вы дружитесь днем, и тех, кого вы целуете ночью: пусть ответят.

И если скажут они «нет», опорочьте их вашим презрением и отгоните от себя.

Потому что неуместно человеку роднить себя с тем, что не есть человек.

Человек же есть то, что родится для творчества от творческой любви отца и матери, но праздный есть жалкий выкидыш похоти, рожденный для похоти.

Нам надо работать — для чего бы то ни было работать — для торжества ли собственной личности, или ради блага людям, или пусть даже ради зла, но работать, иначе мы сгнием.

Слушайте земли, будьте, как она, творцами.

Altalena

Одесские новости. 19.03.1903



Вскользь

Курьезнейшее письмо напечатал в «Южном обозрении» некто г-н Линецкий.

Г-н Линецкий выступает противником г-на Гудвана.

Г-н Гудван хочет улучшения быта служащих в аптеках; г-н Линецкий тоже хочет улучшения быта служащих в аптеках.

Но г-н Гудван называет аптекарских учеников «маленькими людьми», а г-н Линецкий настаивает, что аптекарские ученики вовсе не «маленькие люди».

Г-н Линецкий доказывает, что фармацевты суть весьма развитые и интеллигентные люди.

— Неужели, — пишет он, — этих представителей интеллигентной профессии, посвятивших себя служению страдающему человечеству, этих адептов науки (*excusez du peu!*) на общественной лестнице можно ставить рядом с категорией «маленьких людей», вроде магазинных приказчиков, почтово-телеграфных чиновников, конторщиков и т. п. представителей труда?

Хорошо сказано.

Если бы не эта фраза, пропустил бы я, собственно, без внимания всю эпистола г-на Линецкого.

Пусть, в самом деле, утешается человек и уверяет себя, что «мы» — адепты науки, суперфин-интеллигенты² и вообще мододцы. Бог с ним.

Но цитированная фраза бросилась мне в глаза. Эту фразу так оставить без внимания не подобает.

Тут уж не просто маленький человек ради своей утехи наступает другим маленьким людям на мозоль.

И посему тут с таким маленьким человеком и разговор нужен особый.

Видите, г-н Линецкий, никто из нас ничего не имел бы против того, чтобы господа аптечные труженики были, действительно, людьми вполне интеллигентными.

О, мы даже были бы очень рады.

Но, к сожалению, это не так.

¹ Уж не взыщите! (*фр.*)

² Особо тонкие интеллигенты (от *фр.* *superfin* — тончайший).

К сожалению, фармацевты повсюду в обществе пользуются прочной репутацией совсем иного рода.

И — опять-таки к сожалению — эта репутация имеет большие основания.

Ибо господа аптечные труженики суть, конечно, труженики честные и полезные, но, в огромном большинстве, малоинтеллигентные и малоразвитые.

Взять хотя бы вас, г-н Линецкий.

Я вас совсем не знаю — что вы такое, аптекарский ученик, или провизор, или магистр фармации? — но ваше письмо — это удивительно типичное письмо аптекарского ученика.

Его стиль таков, что кому ни покажите, сейчас определит: — Это писал аптекарский ученик.

В вашем письме столько курьезной витиеватости, столько желания выразиться пофасонистей, показать «развитие», к каждому слову приделать глубокомысленный эпитет, что нельзя, прочитав его, не сказать:

— Бедный! Он так старается.

Вы стараетесь, г-н Линецкий.

Вы напрягли все силы, чтобы написать письмо, со всех сторон интеллигентное, а ведь у настоящего интеллигента это выходит просто, само собою, без натуги.

Вы пишете:

«Достаточно только бросить беглый взгляд на наши (гм?) победы в области научной фармации, служащей связующим звеном между медициной, центром которой считается человек со всеми проявлениями его материального и духовного естества, чтобы убедиться, насколько несправедливо огульное обвинение всей нашей корпорации в невежестве».

Г-н Линецкий, разберитесь вы не спеша в этой фразе.

Я уже не говорю о том, что она немножко бессмысленна: фармация служит у вас «связующим звеном между медициной». Как это так — «между медициной»? Между медициной — и еще чем? У вас не сказано. Но не в этом дело.

Вы вчитайтесь, г-н Линецкий, в самый тон этой вашей фразы, где не пропущен ни один случай ввернуть заковыристое словечко ни к селу ни к городу — «медицина, центром которой считается человек со всеми проявлениями его материального и духовного естества...»

Так пишут гимназисты пятого класса.

— В наше время, когда, — пишут они, — наука, это великое изобретение человечества, все больше и больше подвигает вперед прогресс, со всеми его духовными и материальными проявлениями...

Но ведь гимназисты пятого класса — дети.

А из взрослых — таким стилем, стараясь в простое письмо непременно напихать весь свой багаж, «все проявления своего духовного естества», — таким стилем пишут, г-н Линецкий, только аптекарские ученики.

Все это, г-н Линецкий, неприятные истины, но истины.

Я не стал бы огорчать вас ими.

Но вы сами вызываете на это.

Вы влезаете на подставочку и оттуда третируете «маленьких людей»: приказчиков и конторщиков.

Они все, мол, «представители труда», а вы, аптекарские ученики, — «адепты науки».

Ничего подобного, г-н Линецкий.

Вы, аптекарские ученики, не имеете никакого отношения к науке.

Маляр смешивает краски, а вы смешиваете специи; он знает пропорцию, и вы знаете пропорцию. Это еще не наука.

Вы — такие же представители труда, как и приказчики, и конторщики, и нет вам причины считать себя выше их.

И если бы вы, г-н Линецкий, были интеллигентным человеком, вы бы это понимали.

И не только это, но и вообще понимали бы, почему всякий труд равно почтенен и почему нет этической разницы между трудом врача, журналиста, аптекаря, приказчика, сапожника и золоторотца.

Все мы «маленькие люди», и одного над другим возвышает не профессия, ибо все честные профессии равны, а личные качества.

Вовсе не позорно быть даже камердинером, но, будучи камердинером, презирать поваренка — вот что позорно.

Это все прописные истины, г-н Линецкий, интеллигентным людям они известны, но вам, г-н Линецкий, их еще только приходится внушать.

Слезьте же с подставочки, г-н Линецкий.

И фармацевты люди, и приказчики люди; и тем и другим хочется быть просвещенными; и те и другие улучают всякую

свободную минуту для самообразования; и те и другие равно далеки от идеала интеллигентности.

И, значит, задача в том, чтобы доставить всем вам, честным приказчикам лавок, аптек или контор, полную возможность удовлетворять вашей честной жажде просвещения.

Но стремитесь же к этому дружно, не оскорбляя друг друга, не заносясь один перед другим только потому, что я продаю касторку, а он — носовые платки.

Altalena

Одесские новости. 20.03.1903



Перелом журналистики

Изложение реферата, читанного в Литературно-артистическом клубе 20 марта

Обыкновенно считается неудобным и даже неблагоприятным — порицать огулом передовую российскую журналистику.

— Во-первых, — говорят порицающему, — это не великодушно. Во-вторых, — это даже грешно, ибо передовая журналистика есть единственный оплот прогрессивных практических стремлений лучшей части русского общества.

Все это правда, но нельзя упускать из виду, что в России орган печати не привык и не должен быть только оплотом практических стремлений.

Российская журналистика привыкла быть не простой выразительницей и истолковательницей преобразовательных требований, а прежде всего учительницей и вдохновительницей общества. Идеальный орган печати в России привык играть роль *руководителя*.

Из двух функций русской передовой журналистики — быть, во-первых, оплотом практических стремлений и, во-вторых, давать обществу идейное одухотворяющее руководство — главной и драгоценной является, несомненно, вторая.

Не в первой, а в этой второй задаче заключается высший момент и высшая миссия русской журналистики, центр ее тяжести, причина той необычайной родственной любви, которой связаны в России интеллигенция и журнал.

Оттого упадок этой второй функции глубоко нежелателен, глубоко прискорбен и в высшей степени вреден.

Такой упадок замечается теперь.

Да, практическая функция поддерживается по-прежнему стойко и честно. Русская передовая журналистика настойчиво и твердо продолжает быть оплотом прогрессивных стремлений. Поскольку она есть «поваренная книга», русская передовая журналистика держится на прежней высоте.

Но как «коран» — она упала. Она, несомненно, утратила свое руководящее значение. Она больше не повелительница чувств и дум, она не зажигает сердца, не объединяет настроений. Того энтузиазма к себе, того религиозного внимания к своему слову, какие она некогда встречала, уже она не встречает теперь.

Она осталась практическим лидером, но перестала быть руководительницей духа.

Конечно, сегодняшним поколением нельзя было бы руководить на старый лад, руководить в смысле указки и помочей. Но отзываться, точно по безмолвному уговору, на все, что волнует ум; говорить нам сегодня о том, о чем мы сами мучительно думали вчера; быть для нас тем собеседником, о котором мы говорим:

— Он с нами согласится или нет, но он нас и мы его пойдем с полунамека, ибо между нашими душами есть непрерывный симпатический ток взаимной чуткости.

Одним словом, откликаться нашему настроению — все равно pro или contra, но непременно попадая нам в тон, — вот какое руководство возможно и над сегодняшним поколением, и не только возможно, а даже нужно, и... и его нет...

Современная передовая журналистика не попадает в тон современному передовому поколению, не говорит его душе, не звенит его настроением.

Чехов говорит нашей душе, Горький одно время говорил ей, Андреев отчасти говорит ей, но это все отдельные лица, произведения которых подаются нам в журналах как стакан на подносе, как нечто постороннее, а не сам журнал как нечто цельное и само по себе важное.

В прежние дни журнал для интеллигентного человека был точно дружеский кружок, куда стоило пойти когда угодно, ибо там всегда будет уютно и будет беседа по душе.

Теперь журнал сделался гостиной, где бывает скучно или весело в зависимости от того, есть ли хороший «гвоздь», интересный гастролер или нет. Когда в этой гостиной устраивают зва-

ный вечер с итальянцами, гости проводят время очень интересно, но ведь это интерес итальянцев, а сама по себе гостиная с ее постоянным кружком остается, как была, чуждой нам по духу.

Почему же передовая журналистика стала чуждой по духу передовому поколению? Почему она больше не попадает ему в тон?

Потому, что тон поколения — сегодняшний, а тон журналистики — вчерашний.

Сорок лет тому назад открылась в России арена для гражданина. Понадобился гражданин. Задача воспитать гражданина упала на печать.

Печать доблестно исполнила это дело. Она сумела взяться за него именно так, как следовало.

Для *первых* шагов человека, в какой бы то ни было области, необходимо дать ему самую простую и прямолинейную схему поведения.

Так, малому дитяти говорят:

— Слушайся няни.

Так, впервые севшего на велосипед учат:

— Смотрите прямо перед собой и не снимайте рук с руля.

Но скоро приходит время, когда нет больше смысла ребенку слушаться няни, ибо он подрост, и эта схема послушания стала слишком узка для его расширившейся жизни; и точно так же скоро наступает день, когда велосипедисту смело можно и глядеть по сторонам, и снимать руки с руля без всякого риска, ибо он уже научился.

Упрощенные схемы нужны и понятны только при первых шагах, в самом начале воспитания. Зрелому человеку они не по плечу.

Журналистика честного старого времени дала своим воспитанникам упрощенную схему убеждений.

Она приучила их к строго размеренному, строго централизованному мировоззрению. Она внушила им то, что называется «выдержанностью направления», и для этой цели сама добросовестно ошлифовала себя в строго выдержанное направление.

Эта шлифовка принесла ущерб ширине личности, но ущерб далеко покрывается той пользой, которую шлифовка принесла как воспитательное средство.

Упрощенная схема «выдержанного направления» самой своей узостью облегчила первые шаги нарождавшегося гражданина. И если теперь гражданин уже вырос и образовался — мы тем обязаны этой схеме...

Но гражданин вырос и образовался, и упрощенная схема выдержанного направления больше не нужна.

Гражданин вырос. У него нет случая доказать это практически, но это видно по его идейной физиономии. Она говорит, конечно, еще не о полной зрелости, но, во всяком случае, о наступлении такого возраста, когда уже нельзя жить по разуму няни.

Нынешний интеллигент тяготеет к упрощенной схеме. Он позволяет себе уклоняться от «направления». Как опытный велосипедист, он начинает отстаивать свое право глядеть не только прямо перед собой, но и по сторонам.

— Я хочу себе выбирать дорогу по своему вкусу, — говорит он. — Захочу — поеду вашей дорогой, захочу — сверну в проселок. Я ручаюсь, что не собьюсь и не попаду в болото. Я вырос, я имею право действовать по собственной воле под собственной ответственностью.

Поколение, стоящее теперь на поприще жизни, не может и не должно более шлифовать себя во славу ярлыка. Оно стремится к многострунной ширине личности, жаждет проникнуться всеми разнозвучающими нотами современности, отозваться на каждый звон, потрепетать в ответ каждому веянию, не заботясь о том, вписано ли сие в катехизис «направления» или нет.

Таково поколение. Но не такова журналистика.

В ноябре 1901 года в Петербурге праздновали юбилей г-на Скабичевского. На юбилейном обеде присутствовали разные хорошие передовые люди. Записался на этот обед и г-н Вольнский. Но когда он явился в ресторан «Медведь», ему было распорядителями сказано:

— Для вас тут места нет и не может быть.

Ему пришлось уйти.

Что такое г-н Вольнский? Реакционер? Нет, его практические убеждения вполне прогрессивны. Или продажный писак? Нет, его страстную убежденность признают и враги.

Но г-н Вольнский мыслил и писал по-своему, отрицал позитивизм и без преклонения рассуждал о больших русских публицистах. И за это ему «не могло быть» места в ресторане «Медведь».

Этот глупый случай ребяческой мелочности не стоил бы внимания, если бы, к сожалению, не был слишком типичен для передовой журналистики. Эта журналистика до сих пор еще продолжает юбилейный обед г-на Скабичевского.

До сих пор старается она поддержать, насколько возможно, строгость «выдержанного направления», до сих пор щеголяет (хотя уже, конечно, не с прежним совершенством) тщательной шлифовкой мировоззрения, тесно подогнанного под ярлык. До сих пор противится она допущению несогласно мыслящего на свою трибуну, и человеку, заговорившему по-своему, стереотипно отвечает:

— Вы не подходите к нашему направлению, и мы не можем дать вам высказаться.

— Где же мне высказаться?

— Это нас не касается. Обратитесь в орган другого направления.

Но «других направлений» есть пять, шесть, десять — а куда же пойти человеку одиннадцатого направления, т. е. самого свежего и молодого? Некуда. У человека одиннадцатого направления нет трибуны. Ему благородно и корректно зажимают рот, как зажали рот этому самому г-ну Вольинскому. Он писатель и честный, и даровитый, но с тех пор как закрылся «Северный вестник», ему негде писать. Он принужден молчать — и журналисты «выдержанного направления» думают, что это очень хорошо и что это с их стороны большая заслуга, а не большой грех.

Конечно, время все-таки берет свое и сквозь «выдержанность» изредка прорываются еретические страницы. И тогда читатель оживляется и на миг снова ощущает симпатический ток между своей душой и своим журналом. Но это — миг, это — исключение, это — гастролер, это — мимолетный интересный итальянец на званом вечере в уютной чужой гостиной.

Не может такая журналистика попасть в тон многострунному поколению. Не любит она его и не умеет зацепить его душу. Из тех слов, которыми оно теперь интересуется, о которых оно думает и между собой говорит, почти ни одного не встречается оно в любимых и чутких когда-то журналах; если же и допускают туда залетом такое слово, то почти всегда с холодной брезгливостью, с непониманием, даже с насмешкой.

Необходима новая журналистика, в унисон новому поколению. Необходима такая журналистика, в которой находило бы отклик все многообразие наших настроений, наше «да» рядом с нашим «нет», ибо и в душе нашей они стоят рядом — наши сомнения, наши колебания, наши противоречия. Чтобы перед читателем рассыпался тысячецветный kaleidoscope несходных мнений и ответов, чтоб это кипение постоянно будило и драз-

нило его мысль к самостоятельной работе. Чтобы не усыпляла человека однообразная регламентация истины, а чтобы тут же, на страницах журнала, вечно кишашая сутолока разноголосых возгласов и порывов самим своим беспокойным разнообразием подмывала его шевелиться и жить.

Такая журналистика необходима, и потому она роковым образом, неотвратимо должна, сейчас или после, явиться.

И когда она явится, ее встретят тремя опасениями.

Скажут, во-первых:

— Если давать читателю калейдоскоп мнений, без «шлифовки», то ведь читатель может выбрать из них именно то, которое неверно, и пойти по неверной дороге.

Ужаснутся, во-вторых:

— Но ведь, преподнося читателю «калейдоскоп», где «да» будет поставлено рядом с «нет», мы приучим его противоречить себе на всяком шагу!

И, в-третьих, вознегодуют:

— Такая журналистика рискует обратиться в сбыт парадоксов!

Вдумаемся в каждое из этих возражений.

Читатель может выхватить неверное мнение и пойти по неверной дороге...

Старая песня. Кто знает, какая дорога верная, какая нет? Никто никогда не был прав. Величайшие мудрецы оставили нам величайшие книги, и по этим книгам последующие мудрецы доказывали, что авторы их неправы. Что же из того? Неужели поэтому их величие ложно, и мы должны их развенчать?

Не в том главное, чтобы быть «правым» и стоять «на верной» дороге, а в том, чтобы стремиться, кипеть, действовать. Действовать вправо или влево, это все равно — всякое действие пойдет в итоге на благо прогресса, — только *застой* не пойдет на благо прогресса.

Не заботьтесь же ревниво о том, чтобы все были «правы» и работали с вами и по-вашему — пусть работают против вас, пусть работают по-другому, — дорожите только тем, чтобы работали, а не гнили в бездействии.

Неразумно зазывать всех в свой лагерь, а чужие лагеря предавать анафеме. Жизнь огромна — для работы над нею нужно сто лагерей...

А второе возражение? Боязнь «противоречий»?

Надоевшее, назойливое, узкотрусливое слово. Кого им не пугают? Какому великому мыслителю нельзя указать двух мест в его книге и воскликнуть:

— Здесь вы противоречите тому, что написали там.

Подойдите внимательно к народным пословицам. Ведь они — кристаллы стихийной мудрости, очистившиеся путем векового стихийного естественного подбора, и потому ничего не может быть мудрее, метче и вернее их. И, тем не менее, нет пословицы, которой не противоречила бы другая пословица.

— Был дождик, будет и ведро, — утешает одна пословица, а рядом другая пессимистически отзывается ей:

— Пришла беда — отворяй ворота...

— Смелость города берет! — бодро торжествует одна пословица, поощряя отвагу и дерзновение, но тут же другая наставительно возражает:

— Семь раз отмерь — один раз отрежь...

Неужели вы не понимаете, что в самой жизни лежат противоречия, что на разные сочетания действующих в ней сил и мысль наша должна откликаться разными, непохожими ответами?

Байрон говорит:

*— Когда б вполне логичен был поэт,
Как ухитрился б он воспеть на лире
Весь тот сумбур, что существует в мире?*

Нет такой идеи, хотя бы самой верной, самой святой, которая целиком покрывала бы все множество явлений освещаемого ею круга. Рано или поздно жизнь докажет, что она всегда шире одного афоризма, и потребует создания контрафоризма. И добрые люди закричат:

— Караул! Противоречие!

Может быть, усидчивому человеку и удалось бы кропотливой работой так изложить идею, чтобы в ней были все оговорки, все условия, все «хотя», «но» и «все-таки». И тогда он закричал бы радостно:

— Вот идея, которая годится раз навсегда! Вот идея, которая не оставит надобности в противоречиях!

Но когда вы взглянете в эту идею, одаренную иммунитетом от противоречий, вы увидите, что схема ее такова:

— Смелость города берет... за исключением тех случаев, когда сему имеются препятствия.

То есть весь смак, весь блеск, все жизненно-двигательное значение идеи вытравила бы эта операция «предохранительной прививки противоречий».

Предохранительная прививка есть палка о двух концах. Спросите врачей. Если бы можно было привить человеку все болезни, он стал бы, действительно, невосприимчив к болезням, но потерял бы и вообще всякую нормальную восприимчивость и превратился бы в ходячий истукан, бесполезный для жизни.

Наконец, третья великая опасность — парадокс.

Есть два рода парадоксов. Есть парадоксы машинного производства — прямо по рецепту, еще Тургеневым указанному: возьми общее место, переверни его наизнанку — и готово. Во фразе: «миллионер богаче нищего» — надо только переставить существительные, и перед нами парадокс машинного производства: «нищий богаче миллионера». Остается только пришить более или менее остроумный хвост ловкой аргументации.

Такие парадоксы, нарочитые и искусственные, представляют, конечно, не что иное, как дешевый разврат пустопорожней мысли.

Но есть и другие парадоксы, вырывающиеся подчас из глубины человеческой искренности и подкрепленные верой и энтузиазмом. Такой парадокс — уже не разврат. С таким парадоксом надо считаться. Посчитаемся же с ним.

Ребенок просит няньку:

— Расскажи новую сказку.

И нянька рассказывает ему сказку, которую он слушает с глубоким вниманием. Эта сказка его захватывает и волнует. Но...

Но через неделю под эту самую сказку он уже будет засыпать, и няня, когда ей понадобится утомонить непоседу, сама начнет рассказывать ему ту же сказку, зная, что он под нее скорее уснет.

Всякая сказка, вначале захватывавшая и волновавшая, становится в конце концов усыпительным средством.

Благороднейшая, неопровержимейшая истина, при появлении своем всколыхнувшая удивленный мир, чрез несколько десятилетий превращается в пропись. И тогда, каково бы ни было ее содержание, повторять ее снова — значит говорить людям:

— Баю-баюшки-баю.

Этим — в скобках сказать — очень склонна заниматься нынешняя русская передовая журналистика, и нельзя не заметить, что такое монотонно-усыпительное хотя бы и ценных, но старых и всем известных истин представляет собою большой тормоз тому оживлению людей, которое в последнее время замечается вокруг. Потому что просыпающемуся особенно

нужны свежие утренние звуки; если вы над ухом просыпающегося затынете привычную, сто раз петую песенку, вы рискуете убаюкать его снова и отдалить момент пробуждения...

И вот когда старая истина из средства возбуждающего к жизнедеятельности превращается в средство усыпительное, — тогда появление искреннего парадокса, ниспровергающего эту старую правду, можно только приветствовать.

Парадокс сам по себе не есть, конечно, истина. Но в то время как устаревшая истина усыпляет, искренний парадокс невольно приковывает внимание, дразнит, будит, шевелит, вызывает на самостоятельную работу мысли. И для этой роли будильника ему необходимо нужна его резкая, крайняя форма. Ему необходимо быть громким, ярким, острым, чтобы насильно привлечь даже ленивые умы, насильно подвигнуть их на самостоятельную критику устарелого мирозерцания, насильно поставить их на дорогу, которая приведет их уже не к парадоксу, а к настоящей новой истине.

Старая правда кончает застоєм; парадокс будит от застоя; пробуждение приводит к новой правде. Это роль парадокса. Он не есть истина, но в свои моменты он важнее и полезнее истины.

Вспомните Боккаччо. Его «Декамерон» — резкий и крайний парадокс. Смысл этой книги:

— Да здравствует веселый грех!

И во славу этого девиза Боккаччо нередко возвышается до какого-то апофеоза распутства. Неужели же он «прав»? Неужели нравственная чистота есть предрассудок, ни на чем не основанный, а не требование, вытекающее из самых фундаментов природы?

Нет, Боккаччо не «прав»; его парадокс — не истина; истина — в нравственной чистоте. Но эта нравственная чистота к тому времени выродилась в одностороннюю догму умерщвления плоти и греховности всякого живого наслаждения, выродилась в орудие и лицемерный девиз всех тогдашних гасителей света. И Боккаччо, вступая с ними в борьбу, должен был прежде всего подорвать уважение к их истине — и для этого ему необходимо пришлось прибегнуть к парадоксу, к этой яркой форме антитезиса, и провозгласить *evviva*¹ веселому разврату.

Парадокс Боккаччо не был истиной, но в свой момент он оказался полезнее истины, которая устарела, выродилась и тормозила...

¹ Ура, да здравствует (*итал.*).

Нечего бояться парадоксов, нечего бояться противоречий и разномыслия; только застой опасен, всякая же *искренняя* работа принесет в конце концов плоды благие.

Искренность — вот единственный критерий для новой журналистики, единственный мыслимый в наше время паспорт для идеи. Помимо требования искренности, никакая регламентация, никакая шлифовка под «направление», никакое «равнение направо» не должно будет применяться к талантливой мысли.

Только в одном отношении такое «равнение» не может не быть желательным: в практическом, то есть лишь постольку, поскольку орган печати является выразителем практических стремлений — не «кораном», а «поваренной книгой».

Да, но есть ли необходимость хлопотать и беспокоиться об этом? Вспомните, что вся лихорадочная смена «веяний» последних лет прошумела резкими разногласиями только в теоретических сферах, но в практическом отношении не принесла ни одного неокрепостника, ни одного апологета намордников. Старые еще живы и здоровы, но новые не нарождаются. Ибо, очевидно, почва уже их не родит — эта почва, на три сажени в глубину под ними успевшая пропитаться жаждой прогресса.

Будем ждать без опасений прихода этой новой журналистики. Она сделает соседями позитивиста и кантианца, реалиста и декадента, неомистика и позитивиста, но плодотворное теоретическое разномыслие не помешает им быть стойкими и единодушными ратоборцами прогресса.

Владимир Жаботинский

Одесские новости. 22.03.1903



Вскользь

Письмо из трактира:

«Милостивый государь!

На Екатерининской есть трактир "Франция".

И с некоторого времени стал заходить туда один молодой человек, окончательно потерявший зрение...

Мы, как посетители, ежедневно посещающие трактир, обратили внимание на этого человека.

Из расспросов нам удалось узнать биографию его печальной болезни: оказывается, что он был нанят в пекарню

по изготовлению мацы сроком на 5 недель по 5 рублей в неделю. Работа в сутки продолжается 16 часов.

Однажды он сильно вспотел — по распоряжению старшего рабочего дверь была открыта — и приказал также открыть окно.

Но один из рабочих, предчувствуя, что может простудиться, просил, чтобы закрыть окно; но на приказ старшего рабочего его просьба не повлияла.

Результатом чего он, рабочий, простудился и окончательно потерял зрение.

Мы просим вас покорнейше не отказать нам в нашей просьбе и все вышеизложенное описать.

Фамилия пекарни, в которой он работал, — имярек, помещается там-то.

Фамилия молодого человека — Григорий Виренец. Он пробовал обращаться в лечебницы — и отказ, в больницах — отказ, повсюду отказ.

Спрашивается, что делать теперь ему, несчастному, брошенному на произвол судьбы?

Мы сами люди небогатые, чем можем мы ему помочь, а именно: куском хлеба и больше ничем, но эта помощь, как капля воды в море...»

И так далее.

Подписано: Мануил Розанов, Я. Г. Славский, С. Рабин, Тригут, Семен Павлов, С. Подкапаев.

О, добрые люди Розанов, Славский и другие, я хорошо знаю вашего слепого.

Каждый день в три часа дребезжит у меня звонок, и я уже знаю, что пришел ваш слепой.

Он приходит в разных видах.

Иногда он старик, иногда мальчик, иногда мужчина, иногда женщина.

Он не всегда слеп: иногда он не слеп, а хром; иногда у него и глаза на месте, и ноги как следует, но семья его сидит «дома» без хлеба и сам он со вчерашнего дня ничего не жевал.

Каждый день приходит он ко мне и спрашивает:

— Нельзя ли мне помочь? Найти работу? Доставить фунт хлеба моим голодным деткам?

И я ему стереотипно и холодно отвечаю:

— К сожалению, никак нельзя. В настоящую минуту не могу.

Если он сейчас же уходит, я на радостях учтиво провожаю его до дверей; если же он пробует настаивать, я делаю свирепое лицо и говорю:

— Виноват, я очень занят... Меня ждут...

Нехорошо, скажете вы?

Ну так посоветуйте. Вы, добрые люди, обратились ко мне, а я сам обращаюсь к вам и прошу: посоветуйте, научите, как мне быть с этим вашим слепцом, который ежедневно в разных видах звонит у моей двери.

Когда он впервые пришел ко мне в виде старика, я пытался помочь ему. Он сказал «спасибо» и ушел.

Но на другой день он явился ко мне уже в виде молоденькой девушки. И я опять попытался.

Он пришел на третий день в виде женщины с оторванной рукой и на четвертый день в виде голодного отца голодной семьи.

И на пятый день он тоже явился — в виде юноши, который сказал:

— Я хочу учиться, а мне нечего есть.

И я развел перед ним руками и стоял в задумчивости, глядя в потолок.

Ибо я решительно не знал, что мне теперь делать.

Куда обратиться? Откуда взять копейку? С кого еще сорвать после того, как я со всех моих немногих знакомых уже четыре раза сорвал?

И тут я впервые произнес слова:

— К сожалению, не могу.

С тех пор эта фраза сделалась моим девизом. Каждый день ваш слепой приходит, и каждый день я говорю ему:

— Не могу, сударь. Не могу, барышня.

Несколько раз еще, правда, мне удавалось помочь ему. Тогда он бывал очень рад. Но на другой день я уже не бывал рад.

Потому что на другой день, когда он опять являлся в новом виде, мне приходилось опять отвечать ему:

— К сожалению...

И тогда он хмуро допрашивал меня:

— Вы, однако, помогли тому бесприютному, в лице которого я приходил к вам вчера. Отчего ему, а не мне?

Я молчал. Мне ясно было, что он не прав, что он несправедлив, но я не находил слов объяснить ему это.

И вот, не находя слов, я сначала в тоске и стыде опускал перед ним глаза, а потом, мало-помалу, по привычке и выучился смотреть на него холодно и отвечать ему сухо:

— К сожалению, в настоящую минуту...

Я стал, как могильщик, которого уже ни гробы, ни слезы не трогают.

Трите слишком долго нежную кожу на суставе пальца, и получится жесткая мозоль. Так из сострадания родится жестокость.

Что мне до вашего слепого, добрые люди Славский, Розанов и др.? Передайте ему от моего имени:

— К сожалению...

И запомните хорошо все это, зарубите у себя в душе, как трудно помочь упавшему человеку.

Все мы проводим жизнь в борьбе с нуждой и с бедой; все мы стараемся одолеть нужду и беду и не дать им одолеть нас; но вот человек, ваш слепой, которого нужда и беда опрокинули.

Стисните же зубы, будьте же мужественны и стойки; лучше сгореть живьем, чем дать опрокинуть себя нужде и беде. Пуще смерти берегитесь упасть, как этот слепой, чтобы не пришлось вам просить помощи у нас, оглохших.

Altalena

Одесские новости. 23.03.1903



Вскользь

Прочитав вчера одесские газеты, я вдруг заснул и увидел сон.

Снилось мне, что теперь еще масленица и что я на маскараде. Я был в костюме капюшина, с веревочным ножом и с сумой. Капюшон опустил, так чтобы была видна лысина, а лицо прикрыл маской с багровым носом.

Мне было очень весело. Сначала меня интриговали, потом я других интриговал.

Первым подошел ко мне г-н Навроцкий.

— Я тебя знаю, маска! — обратился он ко мне.

Я расшаркался и выразил, что весьма польщен.

Пошли в буфет, выпили по маленькой, поболтали по душам. Приятнейший собеседник.

Остались очень довольны друг другом.

Г-н Навроцкий только слегка пожурил меня на прощанье.

— Чего никогда не заглянете ко мне в убежище для инвалидов печати?

— Знаете ли, занят ужасно, — сказал я, — но, конечно, я с удовольствием.

— Да, понятно, заезжайте, голубчик, а я потом ваш портретик в субботнем приложении напечатаю...

И г-н Навроцкий ушел, а я решил, что непременно надо будет поехать в убежище и осмотреть...

И снилось мне дальше, что, так как меня больше никто не подходил интриговать, я пошел выбирать, с кем бы завести беседу.

Минуты не искал и нашел.

В уголочке сидела очаровательная маска.

Я никогда не видел ничего более трогательно-прелестного.

На ней был костюм бебе¹, совершенно белый, и белая атласная маска.

И костюм бебе удивительно шел ко всей ее фигурке, дышавшей девственной чистотой и невинностью.

В довершение сходства с настоящим бебе эта фигурка так мило болтала беленькими туфельками под стулом, что я не мог не сказать себе:

— Какое прелестное дитя!

И, подойдя к ней, спросил басом:

— Откройся мне — кто ты, прелестное дитя?

Она оглянулась и вскрикнула.

Уверяю вас, голосок ее был похож на хрустальный звон.

И при одном звуке этого голоска становилось ясно, как чиста и прозрачна должна быть душа, одаренная такой музыкой.

— Чего ты испугалось, дитя мое? — спросил я.

— Ах! — сказала она. — Твой костюм напомнил мне об одной петербургской истории, и мне стало страшно за мою невинность.

— О! Нет, милое дитя, — сказал я, — верь мне, я не таковский — я с честными намерениями. Веришь ли ты мне?

— Ах! — сказала малютка, трепеща. — Сердце мое колеблется. Мне хочется верить, и в то же время я колеблюсь. Поклянись мне, что ты не погубишь моей невинности.

— Чем поклясться? Приказывай.

— Клянись, — сказала очаровательное дитя, и под щеями белой маски голубые глаза мечтательно подернулись дымкой, — клянись мне лунной и идеалом.

Я поклялся лунной и идеалом, и мы пошли танцевать.

— Ах! — сказала она в трогательном смущении. — Я не танцую этих новых танцев. Мне чудится в них что-то греховное и безнравственное.

— Какие же танцы ты танцуешь, моя маленькая эльфа?

¹ Маленький ребенок (от фр. *bébé*).

— Мама научила меня танцевать старый вальс в два па...

Я обхватил ее воздушный, невинный стан, и мы понеслись.

Она танцевала вальс в два па, а я венский, и так как не толкаться при этом нельзя было, то я старался хоть не попадать ей по тем суставам мизинцев, где обыкновенно бывают мозоли.

После одного тура она шепнула замирающим голоском:

— Мерси...

— Неужели? — взмолился я. — Хоть еще полтура...

— Ах, нет, — шептала она в очаровательной робости, — это кружит мне голову... Я не привыкла...

И я заметил в ее глазах мимолетное выражение ужаса.

И я понял: в самом деле, этой невинной, едва распускающейся душе всякое дыхание мирской суеты должно было бес- сознательно казаться отравой и соблазном...

Поэтому я повел ее в буфет, усадил в нише и угостил, по моим средствам, чаем с лимоном.

— Дорогое дитя мое, — шептал я ей, — я полюбил тебя за этот час.

— Ах, — лепетала она, и ушки ее нежно розовели, — мне стыдно...

— Я полюбил тебя, и когда мы расстанемся, я буду вечно мечтать о тебе и о том, как было бы сладостно, если бы ты... подарила мне поцелуй...

— О, нет, — затрепетала она, — не говори так, мне страшно, я никогда еще ни от кого не слыхала таких речей...

В эту минуту звонок и торжественно пробило два часа.

За соседними столами, смеясь и кокетничая, дамы начали сбрасывать маски.

— Дорогая, — сказал я, — дорогое, чистое, кристальное дитя мое! Дай мне увидеть твоё невинное, девственное личико. Сними маску!..

— Мне стыдно... — шептала она, опуская головку.

И в этой опущенной головке, в этом «мне стыдно» было столько нетронутой девической наивности, что и мне на мгновение показалось святотатством — лишить ее маски...

Но уже она сама решилась. С милой неловкостью отвязала она ленты и... и вскочил, как ошпаренный.

Как мог я не узнать ее!? Это был г-н Лоэнгрин.

Удивительные бывают сны...

Altalena

Одесские новости. 24.03.1903



Вскользь

«Такой второстепенный, хотя и не лишенный таланта поэт, как А. М. Федоров...» — пишет г-н Оболенский в «Одесском листке».

Обычное дело.

Такой второстепенный, хотя и лишенный, безусловно, всякого таланта писатель, как г-н Оболенский, имеет полное право и возможность судить и рядить, казнить и миловать, поощрять и пресекать.

На то он критик.

О, эта критика! Толстой был слишком резок, когда выразился, будто критика сводится к тому, что глупые судят умных.

Это слишком сильно сказано.

Но поистине, в большинстве случаев она сводится к тому, что бездарности расставляют отметки талантливым людям.

И так как первых много, а вторых мало, вторые остаются побежденными и осужденными.

Иногда бывает такой случай, когда публика почему-либо не разглядела, не раскусила таланта.

Вот тут бы и следовало, чтобы талантливый критик открыл публике глаза и научил ее ценить то, что она привыкла не замечать.

Ибо у читателя чуткость не особенно тонка, а у талантливого критика она развита до высокой степени.

Но вместо талантливого критика является г-н Оболенский — литературная эманация читательской нечуткости, — и готово. Суждение бездарности о таланте получает престиж печатного станка и вдруг приобретает вес...

Литературная судьба г-на Федорова ярче всего доказывает, что в России нет настоящей критики.

Г-н Федоров — лучший из теперешних поэтов.

Г-н Бунин утонченнее и аристократичнее его, но г-н Бунин более односторонен, холоден и менее даровит. Г-н Бунин — фонарь из более тонкого стекла, но меньшей силы света.

Господа Минский и Фофанов были бы выше Федорова, если бы их выдающиеся таланты не увяли так непоправимо от какого-то странного ядовитого ветра.

Г-н Бальмонт никогда не был, по-моему, поэтом; г-н Межковский был, но уже не будет.

Г-жи Гиппиус и Лохвицкая заражены тем же органическим пороком, что и Минский, и Фофанов, и Мережковский, и Бальмонт: все их поэтические эмоции рождаются в голове и головой кончаются; глаза их не умеют смотреть непосредственно в жизнь, и ни одному впечатлению жизни нет доступа в их поэзию.

Г-н Федоров — лучший из современных русских поэтов: чуткий, искренний, естественный, богатый красками и теплою, пренебрегающий стихотворным вольтижерством и очерпающий весь свой огонь из жизни, а не из бледных насильственных фантазмагорий собственного воображения.

И вот подите же: большая публика ничего этого не знает, и многие, может, читая эти строки, пожимают плечами:

— Куда хватил! Федоров у него оказался первым поэтом.

Ибо настоящей критики почти совсем не имеется, а г-н Оболенский имеется, печатается и торжествует*.



Всю неделю толковали об орфографии и о том, как она неудобна.

Жаловались, что нелепая сложность правописания, черт знает для чего, обременяет и нас, и наших детей постоянной непродуманной затратой энергии.

Утверждали, что, если бы сесть да вычислить, сколько этой самой энергии поглотила русская орфография за один только XIX век, то мы бы только ахнули.

Слушая эти толки, я все время сознавал, что так-то оно так, но разве орфография виновата?

Орфография есть ерунда чисто отвлеченная. Собственной силы она не имеет, заставить никого не может.

Ни вреда здоровью, ни судебной ответственности ее неприменение за собою не влечет.

Зачем же мы сами, спрашивается, придерживались и придерживаемся этой утомительной и сложной нелепости?

Отчего мы сами, спрашивается, упорно пишем письма и печатаем книги и газеты со всеми этими ятями и ерами?

Сами себя бьем, сами ерунде даем власть над собою, а потом жалуемся.

* Редакция, очень ценя поэтическое дарование А. М. Федорова, никак не может, однако, согласиться с автором в его классификации нынешних русских поэтов. — *Рег.*

И держится нелепый, бессмысленный, ни для кого не полезный предрассудок только на подставках нашей собственной глупости.

Встряхнуться бы нам только и раз навсегда выбросить яти да еры из наших частных писем — и орфография перестала бы для нас существовать, а лет через пять после того, даст Бог, повывелась бы, с надлежащего разрешения, и в школах.

А то протестуем, жалуемся, негодуем, а потом садимся к столу и пишем «хлѣбъ» через ять наперекор всякой логике.

Удивительно мы косные и несамостоятельные люди. Во всяком пустяке, от нас только и зависящем, мы ждем непременно приказа.

— Пусть упразднят орфографию!

Курьезное требование.

Комический вид являл бы законодательный акт, серьезным тоном повелевающий отмену твердого знака.

Блестящую фразу сказал как-то г-н Дорошевич:

— Мы даже от предрассудков наших хотим избавиться не иначе, как через участок.

Это мне напоминает «вопрос» об одежде.

Мужские наряды в наше время довольно-таки безобразны, особенно фрак, которого средний обыватель до того терпеть не может, что влезает в него со скрежетом зубным:

— Нелепый костюм! — говорим мы. — Черт знает, на что его изобрели.

И, однако, на все балы ходим в этих самых идиотских фраках и сделали бы строгую мину, если бы кто-нибудь посмел туда затесаться в пиджаке.

Не носите фрака, и его не будет; пишите без ятей, и не надо будет вам плакаться на орфографию.

Altalena

Одесские новости. 25.03.1903



Вскользь

Г-н Знакомый (один из сотрудников издающейся здесь газеты «Одесский листок») пишет о новом Обществе взаимного вспоможения на случай смерти.

Пишет, по обычаю своему, как-то боком: то укорачиваясь, то удлинняясь, то порицая, то замата следы, — вообще всячески извиваясь.

Так что в деталях этого сочинения много разнообразия.

Зато общий тон строго выдержан в стиле маленькой сплетни. Пишет г-н Знакомый:

«При входе в зал членов общества, лицам, приносившим с собою готовые списки, предупредительно предлагали заметить их заранее заготовленными записками с именами излюбленных кандидатов и опускать в ящик».

Еще пишет г-н Знакомый:

«Баллотировка предложенных кандидатов производилась орешками. У некоторых избирателей были в карманах запасные орешки, которые они частью тут же щелкали, частью, *вероятно*, бросали в ящики вместе с подававшимися им орешками...»

Ниже пишет г-н Знакомый:

«При указанной системе выборов не приходится удивляться их результатам и тому, что громадное большинство голосов получили никому неведомые господа такие-то.

Даже врачом общества выписан из другого города врач такой-то — как будто в Одессе нет сведущих врачей.

Ведь от правильной оценки здоровья вновь принимаемых членов зависит весь материальный успех общества».

И прибавляет г-н Знакомый:

«Уже и теперь называют нескольких не вполне здоровых членов, которые попали вследствие небрежного медицинского осмотра».

Еще дальше пишет г-н Знакомый:

«...оповещалось, что все шесть групп уже функционируют, имея по 50 человек в каждой.

На поверку оказывается, что функционирует всего одна группа, так что в случае смерти кого-либо из членов пяти групп осиротелые семьи ничего не получают».

И еще ниже пишет г-н Знакомый, сопоставляя одесское общество с другими, преуспевающими:

«Впрочем, и то сказать! Харьковское и белостокское общества находятся в надежных руках, и уполномоченными состоят видные местные деятели, пользующиеся общим доверием. Есть такие деятели и в одесском обществе, но их там немного: раз, два и обчелся!»

Тут следует заметающий взмах хвостиком:

«А жаль. Общество вспоможения на случай смерти — симпатичное по своим целям и задачам общество и...»

А тут опять заключительный переход к основному тону:

«...и заслуживает лучшей участи, чем та, которая ждет его при нынешнем порядке ведения дел».

Все это неправда.

Из шести групп общества функционирует не одна, а пять; не функционирует только вторая, четырехтысячная, по той простой причине, что в нее никто еще не записался.

Поэтому в случае смерти кого-либо из членов общества нечего опасаться, что бедная осиротелая семья придет умолять г-на Знакомого:

— Помогите нам вашим талантливым пером.

Неправда, конечно, и история с орешками.

Вся эта тирада о том, что у членов в карманах были орешки, которые они щелкали и, «вероятно»(!), бросали в баллотировочные ящики, — сплошная небылица.

Удивляюсь, как мог допустить ее тот самый г-н Знакомый, который всегда, наоборот, так хорошо осведомлен во всяких интимных делах — кто кому шурин или сват, что у кого варится, кто что кушает и что у кого в карманах.

Нельзя же, г-н Знакомый, так небрежно относиться к предмету своей единственной специальности.

Что касается инсинуации по адресу врача, будто бы допускающего в общество больных, то и ей легко определить цену после вышесказанного.

Доктор Аренков, бывший земский врач, ничем еще не заслужил обвинения в небрежности. И г-ну Знакомому, без всякого сомнения, никто никаких больных членов не «называл», а просто сам он их избрал из собственного духа...

Не люблю я писать о страховых обществах — не мое это дело и не хотелось бы мне больше ссориться с г-ном Знакомым.

Но что же прикажете делать, когда вот, извольте, такая выходка?

В нее надо вникнуть.

Общество взаимного вспоможения на случай смерти есть дело в некотором роде принципиальное.

Принципиальное оно потому, что оно есть союз обывателей, гражданская самопомощь, а не гешефт для обогащения тунеядцев-акционеров.

Именно поэтому такие общества всегда окружены сильными врагами, норовящими подставить ножку.

Если честная печать может заниматься такими обществами взаимопомощи, то исключительно в смысле поддержки.

Конечно, поддержка бывает двоякая: с одной стороны — поощрение, с другой — доброжелательное указание ошибок.

Но не сплетня и не намек.

Г-н Знакомый мог просто и благородно обратить внимание на те или иные ошибки.

И все бы с г-ном Знакомым согласились и сказали бы:

— Вот человек, искренно желающий обществу блага.

Но когда г-н Знакомый кивает, намекает, толкает, сочиняет, извращает, выворачивает членские карманы, сокрушенно вздыхает и каркает о горькой «участи, которая ждет общество при нынешнем порядке ведения дел», — тогда... тогда, воля ваша, мы не можем не сказать:

— Вот человек, жестоко чем-то разобиженный.

В Одессе есть еще одно полезное учреждение — 2-е Кредитное общество.

Оно буквально освободило от когтей ростовщика целую армию тружеников — учителей, репортеров, служащих, ремесленников.

А интересно почитать, как пишет г-н Знакомый об этом обществе, как он ни одного случая не пропустит, чтобы не позвать, не покачать сокрушенно головой:

— Ох, мол, боюсь, как бы не вышло плохого конца... при нынешнем порядке ведения дел...

И опять приходится спросить себя:

— Видно, не пожелали выбрать в уполномоченные?..

Неприятно мне во всем этом копать и разбираться, но неужели молчать?

Неужели мириться, когда рядом со мною почтенный конфрер¹ делает Бог знает что из той самой печати, к рядовым которой принадлежу и я?

Хорошее дело брезгливость, но два полезных общества все-таки дороже брезгливости.

Г-н Знакомый, конечно, может мне возразить:

— Зачем вам нападать на меня? Я человек небольшой, недаровитый, незаметный; разве я в состоянии повредить двум обществам? Пишу я или не пишу — не все ли это равно?

Нет, г-н Знакомый.

Возьмите вы первый попавшийся предмет: полено.

Полено есть простой неотесанный кусок дерева, и больше ничего. Что такое полено в сравнении с поездом железной дороги?

Но положите полено поперек рельса, и выйдет крушение.

¹ Собрат, коллега (от *фр.* confrère).

От самых ничтожных причин, г-н Знакомый, иногда получают большие неприятности.

«Пишу я или не пишу — не все ли это равно?»

О, г-н Знакомый, вы слишком скромны, вы несправедливы к себе.

Это далеко не все равно.

Ибо если бы вы не писали, было бы гораздо лучше.

Altalena

Одесские новости. 27.03.1903



Вскользь

Г-н N. N. пишет:

«Милостивый государь!

В своем фельетоне от 26 марта вы выказали себя ревностным противником настоящей русской орфографии; но — странное дело — вы говорите, говорите, смеетесь над какими-то обычаями во фраках, а сами — ни с места.

Что может быть для вас легче, как подтвердить свои слова делом?

Долой яти и еры! Один ваш пример сделает больше, чем десять ваших же статей по этому поводу.

Поговорите с вашими confreres и общими усилиями возьмитесь за дело.

Вам и наборщик спасибо скажет — алфавит его уменьшитсЯ одной буквой, и, с другой стороны, строка делается более поместительной...»

Нет никакого сомнения, что г-н N. N. прав.

Что касается буквы ъ, то, конечно, вряд ли какой-нибудь издатель решится выбросить ее. Газета приобрела бы слишком уж необычайный вид, и читатель, чего доброго, возроптал бы.

Но что касается «ера», то поистине нет нам никакой причины дорожить им.

Взбросив его раз навсегда, мы публики этим ничуть не испугаем и не оттолкнем от себя.

Публика сама давно его осудила...

Разбираясь в материале нашего последнего «плебисцита» о Л. Андрееве, давшего мне особенно много писем, я невольно обратил внимание на то, что около 40% из них были написаны без еров.

Да и вообще по всем доходившим до меня в разное время письмам из публики от представителей самых разнообразных слоев — кроме, конечно, высшего света, который со мной не переписывается, — я получил впечатление, что сорок не сорок, но 25% из нашей публики пишут без еров.

25% — этого достаточно для того, чтобы не бояться нововведения, тем более что оно совсем не так необычайно: газета «Русский Туркестан», например, благополучно печатается совсем без твердого знака, а в «Новом времени» эта дурацкая сверхшгатная буква упразднена в некоторых отделах.

Выбросив ер, мы читателя не оттолкнем, а себе принесем значительную пользу...

Каждая хорошо поставленная газета буквально завалена материалом до того, что даже срочные вещи постоянных сотрудников иногда задерживаются.

Я только что произвел маленький подсчет, воспользовавшись нашей же газетой.

В ней — считая только вторую и третью страницы — 16 столбцов.

В каждом столбце от 250 до 300 еров.

Значит, на двух страницах текста рассыпано от четырех до четырех с половиной тысяч этих совершенно бесполезных значков.

Ведь это — около 125 строк, ежедневно исчезающих без всякого толку.

За неделю это составит свыше 800 строк, т. е. два больших нижних фельетона, ради которых теперь часто приходится выпускать, с крупными затратами, добавочный полулист.

Заметьте, что я считал только вторую и третью страницы, но ведь и на первой и четвертой, т. е. в объявлениях, особенно мелких, в справочном отделе и т. д. ер так же бессмысленно поглощает ежедневно очень внушительное количество строк.

Спрашивается: стоит ли он того?

Рекомендую этот вопрос просвещенному вниманию моих коллег, одесских журналистов.

Право, кому-кому, а уж нам, людям печати, совсем неприлично, особенно в таком деле, ждать почина извне.



Г-н Линецкий, о котором я недавно писал, автор письма о различии между фармацевтами и «маленькими людьми» вроде приказчиков, прислал мне письмо.

«Я вполне соглашаюсь с вами, — пишет он, — что не имел нравственного права третировать целую почтенную категорию представителей других отраслей труда, противопоставляя ее, как низшую, той корпорации, к которой сам принадлежу.

И если бы вы возмутились только этим, мне осталось бы только упрекнуть себя за случайно вырвавшуюся у меня неудачную фразу.

Но мне в высшей степени прискорбно то, что на основании одного небольшого письма, не зная меня ни лично, ни в качестве сотрудника "Фармацевтического вестника", вы сочли возможным настаивать, что я — человек совершенно неинтеллигентный.

Я думаю, что для таких резких суждений одного письма недостаточно...»

Раз г-н Линецкий сознается, что его отношение свысока к честным труженикам других отраслей было несправедливо, я получаю возможность заговорить с ним совсем другим тоном.

Дело в том, что его письмо в редакцию действительно возмутило меня.

Право, я никогда не читал ничего столь обидного для скромного трудящегося люда, как этот пинок ногой от своего же брата.

Добро бы кто-нибудь другой, но свой, товарищ, такой же труженик, страдающий от тех же причин и стремящийся к тем же правам, решается вдруг с высоты своей аптеки заявить своим коллегам из лавок или контор:

— Вы с нами не равняйтесь. Вы люди маленькие, а мы интеллигенты.

На это оскорбление не могло и быть другого ответа, кроме самого едкого и жестокого.

И так как письмо в «Южном обозрении» было, действительно, в стилистическом отношении тоже очень неудачно, то я им широко воспользовался для этого жестокого ответа и не каюсь.

Но после того как ответ написан и правосудие, так сказать, удовлетворено, дело принимает совсем другой оборот.

И я вовсе не желаю, да и не могу настаивать на своем отрицательном суждении о г-не Линецком.

Напротив — уж одно то, что он без ложного стыда признает свою неправоту, рекомендует его с хорошей стороны как человека рассудительного и корректного.

Точно так же, из одной статьи г-на Линецкого в «Фармацевтическом вестнике», которую я нарочно раздобыл, я вынес опять-таки то впечатление, что автор — человек довольно развитой и мыслящий.

Мне остается только порадоваться, что злосчастное письмо оказывается ни в каком отношении не характерным для г-на Линецкого и инцидент исчерпан.

Altalena

Одесские новости. 29.03.1903



Вскользь

Доктор Л. А. Вильдерман пишет в «Одесском листке»:

«...Считаю своим нравственным долгом заявить здесь, что все (!), изложенное в "Откликах" г-на Знакомого о характере выборов в уполномоченные одесского Общества взаимного вспоможения на случай смерти, сообщено ему мною письмом и вполне согласно с действительностью».

Относительно «согласия с действительностью» — это особь статья, но признание весьма любопытное.

Сейчас же напрашивается маленькая справка.

Г-н Знакомый писал:

«Вот и сейчас лежит передо мною целая литература писем, авторы которых трактуют о нетерпимых явлениях в только что возникшем новом обществе...»

Это, черт возьми, лестно для д-ра Вильдермана. Написать одно письмо — и вдруг узнать, что за этим письмом признано значение «целой литературы»!

Завидный успех для начинающего писателя. В такой степени даже М. Горькому не везло.

И уж, конечно, я и не помышляю осуждать г-на Знакомого за то, что он из одного письма сделал «литературу».

Невинная ошибка. Нельзя же требовать таких тонкостей, как понимание разницы между литературой и письмами в редакцию, — от человека, не имеющего к литературе никакого касательства.

Да и не в том дело.

Главное то, что великодушные д-ра Вильдермана, к сожалению, пропадет втуне.

Он пытается защитить г-на Знакомого.

Заговорили о том, что в «Откликах» нашли приют сплетни и инсинуации по адресу нового общества, и д-р Вильдерман заявляет:

— Г-н Знакомый тут ни при чем. Это все из моего письма!

Благородно, д-р Вильдерман, но вотще.

Напрасно вы стараетесь самоотверженно снять вину с г-на Знакомого и взвалить ее на себя.

Ибо г-н Знакомый не ребенок и знает, что надо все проверять, прежде чем обличать.

На первое попавшееся письмо нельзя полагаться.

Раз вы, д-р Вильдерман, настаиваете, что извращенные сведения о выборах исходили от вас, я не смею спорить. Я соглашусь. Я допускаю, что сплетня пущена именно вами.

Но это ваше личное дело.

А зачем г-н Знакомый дал ей печатный приют? Это уже далеко не личное дело.

Однако — уже не в осуждение, а так просто, для характеристики — позвольте нам все-таки принять к сведению ваше письмо.

— Все, изложенное г-ном Знакомым, сообщено мною, — заявляете вы.

Гм... Примите наши искренние поздравления по сему случаю, д-р Вильдерман.

Так это были вы? Это вы, а не г-н Знакомый, навели справки у членов об орешках?

Ага. Очень, очень приятно. Продолжайте, продолжайте.

И вот что еще любопытно.

Сообщено ли вами г-ну Знакомому «все о характере выборов» или вообще *все*, изложенное в «Откликах»?

Это весьма пикантный вопрос.

Ибо у г-на Знакомого сорвался кивок по поводу «небрежного медицинского осмотра» новых членов врачом, т. е. вашим коллегой Аренковым.

Это из какого источника? Из того же? Также «сообщено» вами, д-р Вильдерман?

Не откажите откликнуться и объяснить, ведь это так интересно.

Это, правда, крошечная деталь, но важно и над этим i поставить точку — или, как пишет г-н Знакомый:

«Maitre le points sur l'i¹».

Факт. Буквально так.

¹ «Поставить все точки над i» (фр.).

И даже два раза:

«Видит Бог, что я хотел бы всегда maitre le points sur l'i...»

И, ниже, опять:

«Впрочем, может быть, и удастся когда-нибудь maitre le points...»

Что же, дай вам Бог. Пусть удастся. Ставьте точку над i, да и вообще подучитесь орфографии.

Могу вам даже помочь. Угодно?

Извольте:

— Добрый читатель!

Не откажите принять участие в благотворительном деле.

Поднесемте в складчину г-ну Знакомому учебник Марго в хорошем переплете с тисненой надписью:

«Maitr'у Знакомому на добрую память в качестве точки над i».

Помогите, добрый читатель.

Ведь это далеко не пустяк.

Ведь г-н Знакомый — это и есть та самая буква i, которой уже давно необходима точка.

Давно уже, натываясь ежедневно на эту плоскую, как пенек под ногами, торчащую букву, люди пожимают плечами и спрашивают:

— Когда же наконец поставят ему окончательную точку?

Поддержите, добрый читатель. Авось наше подношение окажется спасительной точкой для этого i...

Altalena

Одесские новости. 30.03.1903



Вскользь

Когда говорят о проституции, даже самые серьезные и солидные господа, мне всегда хочется вставить:

— Вы не с того конца.

Вот, например, господа врачи.

Ведь кажется — им и книги в руки.

А на деле, взгляните — и они не с того конца подходят.

Спорят о том, нужна ли регламентация или не нужна, как и кому производить осмотры, и под этими спорами все время вы чувствуете:

— Как бы этак погуманнее, но и покрепче прижать, притиснуть проституцию, чтобы от нее поскорее и следа не осталось...

Думаю и уверен, что никогда и ничего таким путем не выйдет.

Это стремление притиснуть проституцию — самый ложный путь.

Проституция — гадкий прыщ на общественном теле.

Но врачи должны знать, как лечить прыщи.

Только невежда способен насильно вдавить назревающий прыщ обратно и думать, что он излечился. А прыщ назавтра вырастет еще пышнее.

Лечение прыщей и нарывов есть лечение «покровительственное».

Им дают назреть. Их развитию помогают, стараются ускорить и облегчить его.

И только тогда, когда развитие это перейдет за свою кульминационную точку, приступают к операции; и такая операция будет окончательной и поистине целительной.

Проституции нужно то же.

Раз навсегда надо оставить дамски-утопическое мнение, будто проституцию можно вывести из употребления или даже хотя бы только сократить.

Проституция — болезненный, но неизбежный корректив, ядовитое противоядие ядовитым несовершенствам строя современного человеческого общества.

Как ни хлопочите, проституция пребудет, пока пребудет несовершенство.

Следовательно, остается только примириться с нею.

— «Примириться с проституцией!» Какое малодушное слово, — скажете вы.

Нет, не малодушное, потому что примириться не значит оставить все по-прежнему.

Примириться с фактом существования, но не с формой, в которой это существование проявляется.

Так как проституция есть нарыв, задержать который нельзя, надо применить к ней «покровительственное» лечение.

Надо дать ей удобство развития. Надо окружить ее комфортом, ибо, чем хуже живется нарыву на нашем теле, тем больнее мучит он нас.

Из этого вытекает та точка зрения, которая есть единственная основа для единственного разрешения вопроса.

— Проституция есть прискорбная, но при современном строе необходимая и потому полезная социальная функция.

В настоящее время эта полезная социальная функция действует в отвратительных и вредных условиях.

Значит, надо бороться не с ней, полезной, хотя и с при-
скорбной функцией, а с ее несовершенствами.

А с несовершенствами борются путем постепенного совер-
шенствования.

Следовательно, задача трезвого общества и трезвого зако-
нодателя есть усовершенствование проституции.

Но единственным путем к усовершенствованию какой бы
то ни было функции признается в наше культурное время
поднятие материального и духовного уровня представителей
этой функции. Зажиточный мужик и обеспеченный фабричный
работают лучше голяков, грамотные скорее безграмотных: это
теперь уже стало избитой прописью.

Следовательно, чтобы упорядочить проституцию, надо начать
не с прямых выгод общества, а с прямых выгод проститутки.

Проститутка должна быть признана представительницей
социальной функции.

Она должна быть защищена от сверхнормальной эксплуа-
тации.

Ей должно быть обеспечено гражданское равноправие.

Ей должно быть привито и внушено сознание ее прав и че-
ловеческого достоинства.

Ей должна быть разрешена и облегчена организация взаимо-
помощи.

Все то уважение и доброжелательство, которые культурные
законодательства теперь вынуждены вносить в свое отношение
к рабочему, должны быть внесены и в отношение их к прости-
тутке, ибо ее функция не так почтенна, но не менее ответ-
ственна.

И все это непременно законодательным путем, ибо закон
не должен бездействовать перед явлением, которое ежедневно
приносит человечеству больше вреда (и почти непоправимого),
чем, быть может, все другие крупные несовершенства нашего
быта, взятые вместе, способны создать в течение целого года.

Вам это кажется преувеличением?

Слепые люди. Ваш сын, юноша, сегодня вечером, быть мо-
жет, забредет с товарищами *туда*.

И если он там заразится, то за один час, проведенный им
там, ваши праправнуки, прямые и боковые, в 2103 году все
еще будут расплачиваться всеми видами вырождения!

Altalena

Одесские новости. 1.04.1903


Вскользь

Г-н Сиг писал недавно о том, как живетса девушкам, служащим в кофейнях.

Погано живетса барышням, служащим в кофейнях.

С публикой надо быть приветливыми, не то откажут от места.

А публика бывает разная и разно понимает слово «приветливость».

Но свет на кофейнях не клином сошелся.

Есть и пивные.

И не одни только гости странно иногда понимают слово «приветливость».

Подчас это странное понимание проявляют и хозяева.

Есть, например, тут одна пивная, а в ней управляющий.

Принял он на службу девицу Анюту Ч.

Принял и стал во всех отношениях одобрять.

— Хорошо работает Анюта! — ставил он в пример другим и приказывал:

— Слушаться во всем Анюты! Я ее над вами ставлю начальством. Что она велит, то и делайте. Велит вам скрипеть дверьми — скрипите дверьми.

Так и пошло: он заведовал, девица Ч. заправляла, а все остальные служащие скрипели дверьми.

Однажды говорит:

— Верная слуга моя Анюта! Иди в подвал и набери меру пива.

Говорит девица Ч. :

— Иду.

— А я тоже.

— Да я и одна справлюсь.

— Нет уж... хе-хе... я уже помогу.

Пошли.

Девица Ч. стала наливать, а г-н управляющий стал вдруг проявлять совершенно новые качества.

Любезность, обходительность и даже пылкость нрава.

И взамен настойчиво требовал «приветливости».

Чтобы ему, значит, тут же в подвале и сию же минуту оказали эту приветливость.

Девица Ч., не помня себя от стыда и обиды, вырвалась и выскочила из подвала.

— Берегись, — услышала она вдогонку, — это тебе даром не пройдет. Насколько я до сих пор был к тебе хорош, настолько отныне буду свиреп!

Наверху девицу Ч. спросили:

— Что вы такая красная?

— Ничего...

На третий день девицу Ч. зовут:

— Получи расчет. Не надобна. Плохо работаешь.

— Как же плохо, если вы сами меня поставили здесь старшей?!

— А теперь не надобна. Получай и уходи.

Получила и ушла, и сказке конец.



Сегодня в заседании городской санитарной комиссии решится окончательно — быть или не быть крысоловам.

Вопрос представляет две стороны.

Одна сторона весьма несложна: денег нет.

Другая гораздо сложнее.

Теперь весна.

Деятельность всяких бактерий в теплое время усиливается.

И вместе с тем весною крысы плодятся.

Старые пасюки с трудом поддаются заразе, но молодые очень восприимчивы.

А в крысиных норах, изобилующих коридорами и кладовыми, всегда находили массу всякой наворованной рухляди: тряпки, подошвы, огрызки бумаги — грязный хлам, без сомнения, обильно заселенный бактериями.

Можно ли поручиться, что среди всех этих бактерий нет ни одной колонии чумных?

Слишком мало времени прошло с последней эпидемии; а в накоплении этого хлама, хранящегося у крыс по кладовым, участвовали в свое время, быть может, и больные крысы.

При таких условиях, особенно весной, когда бактерии, так сказать, просыпаются, а крысы в лице своего молодого поколения легче им поддаются, вряд ли целесообразно упразднить организацию, которая неусыпно следила за очагами заразы.

Насколько этот надзор действителен — видно из того, что феноменально скорым прекращением чумы в Одессе мы, несомненно, обязаны и отряду крысоловов.

Расходы?

Это, конечно, трудная загвоздка.

Необходимо, однако, хорошо вооружить Одессу и для того, чтобы вся Россия чувствовала себя в безопасности.

Altalena

Одесские новости. 2.04.1903



Вскользь

НА ПОРОГЕ ТЕМНОТЫ

На конверте были немецкие марки, и из него, кроме письма, выпала какая-то бумага с печатью.

В бумаге Augenarzt¹ Dr. F. Schanz из Дрездена удостоверял, что Негг Иван такой-то опасно болен глазами, а полиция одного университетского немецкого городка свидетельствовала, с приложением печати, о подлинности документа.

И на меня сразу повеяло от письма запахом человеческого горя, и я уже понял, о чем будет речь в письме.

Взял и прочел. Так и есть. Молодой человек слепнет.

Он кончил здесь реальное училище, а потом два года репетиторствовал.

Скопил несколько сот грошей и поехал за границу.

И вот он студент-технолог.

Чудное золотое время студенческого молодого разгула:

— Можно ли, — пишет он, — видеть и сознавать что-либо светлое при вечно пустом желудке, когда всякое развитие даже и незатейливой мысли останавливается чувством... голода?

И тут он начал слепнуть.

— Я не обратил было внимания, — пишет он, — но болезнь вдруг обострилась и оторвала меня от занятий.

— Стоит посидеть над книгой полчаса, и особенно над чертежами, как глаза воспаляются, и я испытываю страшную резь, нестерпимую боль не то глаз, не то мозга.

— Я обратился к дрезденскому специалисту с именем; в своем лечении он бросает меня от одного сильнодействующего средства к другому, но понапрасну...

И теперь осталось одно только последнее средство: поступить в клинику профессоров Гиршберга или Шелера в Берлине. Так посоветовал специалист.

¹ Окулист (нем.).

— Да, — пишет Иван такой-то, — все это хорошо и, несомненно, принесло бы хорошие последствия (я еще не потерял веры в это, иначе к чему жить?) — но у меня нет денег.

— Уже три последних месяца я веду невыносимую жизнь, хотя русские друзья кое-как помогают мне. А тут нужно целых 200 рублей.

— Я понимаю, что вы мне ответите. Я читал недавно фельетон, где вы писали почти о таком же случае, о слепом человеке, и отвечали просившим о нем: ничего не могу сделать.

— Но ведь тот был слепой, а я только слепну!

— Я почти боюсь написать это слово, которого всегда избегаю суеверно, но нельзя же лгать себе самому, когда я стою на пороге пропасти и еще месяц — стану слепцом, не буду ничего видеть, вычеркнусь из списка людей как бесполезное, убитое судьбою существо.

— Если бы вы знали, как больно сознавать, при здоровом теле, расцвете души и лет, эту гнетущую мысль.

— Поймите мой вопль, скажите людям, чтобы они помогли мне.

— Ведь не можете вы бояться встретить холодный ответ читателя на горе человека на чужбине.

— Я не могу поверить всей моей свежей молодостью и любовью к людям, чтобы они спокойно прошли, дав погибнуть человеку.

— Помогите мне почетной помощью журналиста.

— Не печатайте моей фамилии и места, где я учусь, — довольно уже вынесло мое самолюбие за последние месяцы, довольно...

— Я пишу нескладно и грубо, но у меня такое состояние, как будто я лечу с моста и сейчас должен разбиться о камни, и кричу, зову отчаянно и не могу выбирать выражений. Поддержать меня — спасусь, не поддержать — и вот-вот, сейчас, через несколько месяцев, надо мной произойдет что-то такое ужасное, о чем я день и ночь думаю, но не могу вообразить и постичь.

Мой читатель, если бы вы были теперь на моем месте и перед вами лежало бы это письмо, верьте, вы ломали бы руки и в отчаянии говорили бы:

— Что сделать? Как быть?

Потому что как-то свыклись и пригляделись мы к горю и уже зеваем, глядя на него, но иногда станет оно перед нами

лицом к лицу — такое осязательное и страшное, что весь мир в нашем сознании вдруг заливаётся совсем другим, особенным, зловещим светом.

И мы вдруг *вникаем* в то, что в обычное время только *знали*, — в ужас человеческого страдания, и спрашиваем себя, замирая как будто перед чем-то новым и никогда неслыханным:

— Что это? Неужели такое бывает в жизни и есть люди, над которыми это жестоко свершается?

Вдумайтесь в этот панический ужас: сегодня видишь, а завтра будешь широко раскрывать глаза, и щурить, и выпучивать, и напрягать, и рвать на себе волосы, и хрипеть от бешенства, — и будет день! — и ничего не увидишь.

Правду пишет студент Иван такой-то: об этом можно думать, но вообразить это бессилён человек.

Мой читатель, мы с вами плетемся по трудной дороге, и на каждом ее верстовом столбе написано большими буквами:

— Горе.

И мы с вами проходим дальше, не останавливаясь, и нельзя нас винить, ибо что же делать?

Но есть столбы, к которым прибита еще одна надпись:

— Не пройди мимо. Остановись.

Мой читатель, мы дошли до такого столба. Не пройдите мимо.

В воскресенье будет Пасха. Студент Иван такой-то, быть может, неверующий, но в Светлый праздник всякий, кто когда-то родился христианином, вспоминает что-то особенное, проникается чем-то небудничным.

В воскресенье студент Иван такой-то припомнит в чужом немецком городе свои детские писанки и крашенки и все, что с ними связано, улыбнется душою — и вдруг подумает:

— А мне что до этого? Ведь я слепну.

Люди, не попустите.

Сделайте так, чтобы в это воскресенье он, приговоренный к темноте, получил телеграмму с вестью о помиловании.

Я не печатаю его фамилии, но всякому, кто потребует, покажу — уверенный в молчании — и письмо, и свидетельство д-ра Шанца; но не попустите, не пройдите мимо.

Altalena

Одесские новости. 3.04.1903



Вскользь

СПЛЕТНЯ ПО ПУНКТАМ

Г-н Знакомый продолжает настаивать, что в Обществе взаимного вспоможения на случай смерти — нечисто.

Золотая рыбка — хрустальное перышко, имя которой г-н Лознгрин, тоже называет это Общество «болотом».

Я достаточно ознакомился с вопросом, чтобы с полной уверенностью вторично заявить:

— Г-н Знакомый пишет неправду, а г-н Лознгрин ошибается.

Побеседуем по пунктам.

Пункт первый:

г-н Знакомый спрашивает доктора Аренкова:

— Откуда вы, живя в Одессе без году неделю, узнали, что я сплетнями занимаюсь?

Странный вопрос.

Неужели г-н Знакомый не знает, что это всей Одессе известно?

Д-р Аренков прочитал его выходку и опечалился.

— Почему вы печальны? — спрашивали его встречные.

— Меня расписал литератор Знакомый.

— Вот тебе на! — отвечали в один голос встречные. — Да ведь г-н Знакомый...

И так далее.

И если д-р Аренков из этого единогласия вывел соответствующее заключение, то виноват не он, а римляне, сочинившие пословицу:

— *Vox populi, vox Dei*¹.

Пункт второй: г-н Знакомый утверждает, что он обличил в обществе «кумовство».

Г-н Лознгрин тоже что-то щебечет о «родственниках» и о «таинственной» букве Б., которая наводнила общество своими родичами.

Разберемся.

«Кумовство» означает предоставление теплых мест родным человекам преимущественно пред чужими, вопреки достоинствам и, следовательно, в ущерб делу.

¹ Глас народа — глас Божий (*лат.*).

Другого определения кумовства я не знаю и не могу себе представить.

Посмотрим же, какое в этом случае было кумовство.

Г-н Лоэнгрин пишет:

— Передо мной бегут фамилии уполномоченных: Аренков один, Аренков другой, Аренков третий.

И все это, мол, родичи «таинственной» буквы Б. Буква Б., мол, посадила своих родственников.

Но ведь это — уполномоченные.

Ведь это не директора, не кассиры, не бухгалтеры.

Звание уполномоченного не есть теплое место. Жалованья не полагается, никаких выгод с ним не связано, а связаны только хлопоты и беспокойство.

Значит, кумовство тут ни при чем.

Это, во-первых.

А во-вторых — во-вторых, прошу любезного совета у самих господ Знакомого и Лоэнгрин.

Раз уж вы, господа, такие блюстители, то не откажите в добром наставлении.

Дело обстояло так.

В Одессе не было Общества взаимного вспоможения на случай смерти — «учреждения, в принципе симпатичного», как признает и г-н Знакомый.

Инициатива учредить его принадлежит г-ну Б.

Видите ли, г-н Знакомый, вам, конечно, никогда никакая инициатива не приходила в голову, но вы сделайте любезность, поднатужьте и вообразите себе, что у вас, г-на Знакомого, возникла инициатива взаимного общества.

Вам, естественно, пришлось бы вербовать сторонников для ее осуществления.

Так позвольте же узнать: среди кого стали бы вы вербовать сторонников?

Ловили бы незнакомых людей на улице?

Нет, этого бы даже и вы не сделали, а сделали бы так, как единственно и можно поступать в таких случаях: вербовали бы членов для нового общества среди ваших родных, друзей и знакомых.

Г-н Б. сделал то же самое, и иначе и быть не могло.

И вот в день выборов собрались все члены нового общества: сто шестьдесят человек.

Этим ста шестидесяти, по уставу, из своей среды надо было избрать 80 уполномоченных.

Вы, г-н Лознгрин, обличитель родных человечков, пожалуйста на сцену.

Проявите мудрость: разрешите задачу, как из 160 человек выбрать закрытой баллотировкой 80 — и чтобы при этом не оказалось «родственников»?

Ну-тка! А в ожидании вашего ответа мы перейдем к пункту третьему.

Г-н Знакомый опять говорит о злоупотреблениях на выборах.

«Злоупотребления»: так и написано.

Этих злоупотреблений в первом своем фельетоне он указал два.

Первое — будто членам совали в руки списки желательных кандидатов.

Второе — будто у членов были в карманах орешки, которые они грызли и тут же бросали в баллотировочные ящики, а так как вместо шаров были тоже орешки, то и вышла путаница.

Больше ничего не указывал г-н Знакомый.

Вдумайтесь в эти два обвинения, ибо я, право, не знаю, что тут ответить.

Совать в руки списки желательных кандидатов — да ведь это общепринятый и корректнейший прием выборной агитации!

Где вы слышали, г-н Знакомый, чтобы *это* называли «злоупотреблением»? Или вы, может быть, как-нибудь иначе понимаете слово «злоупотребление»? Уж не обладаете ли вы — о maître¹ Знакомый! — такими же познаниями в русском языке, какие на днях проявили во французском?

Ну-с, а что касается орешков, то... то в этом вопросе слово за г-ном Знакомым.

Ибо я уже раз имел удовольствие заявить г-ну Знакомому печатно, что эти орешки — вздор.

На какое заявление с оной стороны последовало молчание.

Что ж это вы, maître? Отзовитесь! Мы обращаемся к вам *ad audiendum verbum*². Изреките слово! Реабилитируйте вашу карманно-ботаническую осведомленность. Мы ждем, а пока позволяем себе остаться при убеждении, что д-р Аренков был прав.

¹ Мэтр; учитель, наставник (*фр.*).

² Букв.: «чтобы выслушать слово» (*лат.*).

Кстати, о д-ре Аренкове, ибо д-р Аренков и представляет из себя пункт четвертый.

— Зачем пригласили платного врача из другого города, когда некоторые местные врачи из членов общества предлагали свои услуги даром?

Г-н Лоэнгрин по этому поводу констатирует, что д-р Аренков тоже родич буквы Б.; ergo¹, опять предполагается «кумовство» и т. д.

Рассмотрим.

— Может быть, — иронизирует г-н Лоэнгрин, — г-на Аренкова выписали потому, что одесские врачи хотели работать безвозмездно? Правление общества не хотело эксплуатировать их труд? Эдакие благодетели...

О, г-н Лоэнгрин, золотая рыбка — хрустальное перышко, надо обладать вашей девственной неопытностью, чтобы не знать, что бесплатный труд окончательно осужден практикой — и не с точки зрения «благодетелей», а с точки зрения холодного расчета и выгоды.

Есть еще некоторый смысл в бесплатной службе по выборам — хотя и против этого очень основательно спорят. Но бесплатная служба по найму? Что это за абсурд, за *contradictio in adiecto*²?

Бог с вами, г-н Лоэнгрин. Примите на ночь салицилки и вытрите уксусом.

Врач нужен был платный, это бесспорно.

Значит, обвинение сводится к тому, зачем Аренков, а не другой врач.

— Кумовство! — ликует г-н Знакомый.

Стоп, г-н Знакомый: держитесь ближе к русскому языку — вы опять сбились.

Что есть кумовство? Кумовство есть предпочтение родственника чужим вопреки достоинству.

Но вот что пишет о д-ре Аренкове не кто иной, как ваш союзник, ваш помощник, ваша неожиданная правая рука — г-н Лоэнгрин:

«Знающие его отзываются о нем как об опытном и честном враче, долго служившем земству. Его медицинский формуляр безукоризнен...»

Так извольте же объяснить, в чем тут грех. Где кумовство.

¹ Следовательно (*лат.*).

² Противоречие в определении (*лат.*).

Надо было пригласить честного врача — и пригласили честного врача.

Но так как общество всем своим существованием обязано г-ну Б. и так как «опытный и честный» врач оказался среди его родственников, то это место и было предоставлено г-ну Аренкову.

В этом ни я, ни вы не можете указать ничего дурного. Позорно покровительствовать негодным родичам в ущерб хорошим чужим, но когда родственник есть лицо опытное и честное, самый корректный Аристид не поколебался бы оказать ему предпочтение.

Укажите мне хоть одно платное невыборное место, на которое люди — самые честные, самые опытные — попадали бы без протекции какого-нибудь родственника. И никто не думает и не может восставать против этого, ибо вполне естественно помогать родному, и мы требуем только того, чтобы не оказывалось преимущество дурному перед хорошим или обеспеченному перед нуждающимся...

Вот и весь обвинительный акт г-на Знакомого. Пусть судит беспристрастный читатель, сколько в нем правды.

Мне никого не нужно защищать. Мне нет никакого дела до одесских финансовых воротил, ибо с той общественной точки зрения, на которой я стою, я считаю их вредными наростами и — если бы мог дожить — был бы рад тому дню, когда их больше не будет.

Но я нашел в газете сплетню, вредную для общества взаимопомощи. С той общественной точки зрения, на которой я стою, я считаю полезными общества взаимопомощи — и не желаю сплетнических газет. Поэтому я вытащил сплетню наружу и поступил с нею так, как она заслуживает; и пока сплетня не замолчит, не замолчу и я.

Удивляюсь коллегам из «Киевской газеты», которые в этом конфликте не нашли ничего отметить, кроме моей резкости и «благородной сдержанности» г-на Знакомого.

Моя резкость! Вам, коллеги из «Киевской газеты», неизвестно, сколько усилий было здесь за кулисами потрачено на то, чтобы установить более благородные отношения между одесскими газетами; вам неизвестно, как всякая попытка в этом направлении расшибалась о нравы «Одесского листка» и как при этом накапливалось капля за каплей раздражение.

Коллеги из «Киевской газеты» цитируют мое обвинение г-на Знакомого в увертках и намеках — и приводят ответ сего

литератора, где он трагически ссылается на «условия, которые вообще заставляют журналиста говорить недомолвками».

Ни одна профанация так не возмущала меня, как это надругательство над заветнейшей скорбью российского журналиста, которую хотят употребить для скрытия грязных пальцев.

Вас? Вас «условия» заставляют говорить недомолвками? Где? Почему? Когда? Тогда ли, когда г-н Финн пишет о винной лавке Британова? Или тогда, когда г-н Будилин писал о съестной лавке Дубинина? Или тогда, когда вы, г-н Знакомый, писали о ресторане Корони — вы, намекающий на чью-то «торговлю оптом и в розницу печатным словом».

Моя резкость! Коллеги из «Киевской газеты», я — маленький, грешный, виноватый человек, а Христос был Богом кротости и прощения, но и Он однажды схватил плеть. Припомните, по какому случаю.

Altalena

Студенту-технологу Ивану *** вчера выслано 250 рублей. Таким образом нужная ему сумма (200 р.) покрыта с избытком.

Alt.

Одесские новости. 5.04.1903



Летучий

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Я тогда попался в краже со взломом и уже второй месяц смотрел на свет Божий сквозь решетку.

Пасха тогда наступила поздняя и теплая. На дворе перед моим окошком еще ничего, кроме травки, не зазеленело, но все-таки было хорошо. Пахло весной так сильно, что голова кружилась и томительно хотелось в город, двигаться, бегать, работать, любоваться на барышень, которые весной хорошеют; а вместо того моя камера была голая, чистая, казенная, на хмуром асфальтовом полу стояли серая параша, серый стол и серый табурет, в углу выбеленной стены на серой полочке висела медная посуда, и поверх железной решетчатой койки лежал большой серый мешок с соломой. Простыня на этом тюфяке была моя собственная, белая и свежая, но постель все же казалась неопрятной, потому что солома внутри была прежде туго обвязана веревкой, а веревка мне понадобилась для приспособления,

которое мы называли телефоном, и я ее вытащил, и солома оттого разрыхлилась и лежала беспорядочно буграми и ямами. Скверно было у меня в камере.

Соседи мои частью спали в ожидании вечерней каши, частью, сидя на окнах, разговаривали разговоры, одни вслух, другие, у кого были секреты, молча. Разговаривать молча могли те, что сидели друг против друга, и притом только грамотные с грамотными, и для этого применяли ту самую азбуку, которой зимою, когда окна закрыты, перестукивались. Эта азбука такая:

а б в г д
 е ж з и к
 л м н о п
 р с т у ф
 х ц ч ш щ
 ы ю я . .

Они выставляли из-за решетки руку с деревянной ложкой и взмахивали ею, например, три раза и потом два, и это значило: третья строка, вторая буква, то есть «м»; и делали это так быстро, что со стороны нельзя было уследить и не спутаться.

А Летучий распелся. Летучий сидел против меня; это было не совсем против, потому что корпуса пересекались под прямым углом, но я жил во втором окне от угла в нижнем этаже моего корпуса, а его решетка в их корпусе была первая от угла, но во втором этаже; так что, сидя на широких подоконниках, мы хорошо видели друг друга, я снизу, он сверху.

Летучий пропустил ноги сквозь решетку наружу и распелся так грустно, как даже на воле не поют.

— Папу я зарезал, маму загубил, ципку-невесту в море потопил... Погиб я, мальчишечка, погиб я навсегда — годы за годами, пройдут все годы...

Не знаю, какой северянин обучил его петь эту песню, но он всегда выговаривал не «навсегда» и не «года», а «навсегда» и «годы», и оттого оно как будто выходило еще грустнее.

— Две пары портянок да пара котов, — и тут голос Летучего внезапно повеселел, — полбашки обрито: я в Сибирь готов! Погиб я, тьфу, мальчишечка, эхма, да навсегда, — годы за годами...

Тут у меня знакомым звуком брякнуло окошечко, проделанное в толстой деревянной двери, и беззаботный тенорок прокричал:

— Шампанское!

Наш коридорный Петуля был веселый парень: и себя называл «граф Петуля», и когда разносил по камерам воду, то утром величал ее «мараскин» или «бенедиктин», а вечером «клик» или в этом роде.

Я соскочил с окна, подставил свою большую медную кружку и спросил:

— Что нового, граф Петуля?

Петуля под бульканье воды ответил складной прибауточкой:

— Рассказал бы очень много, да начальство смотрит строго. А курительного нема?

Я дал ему табаку и попросил — так как надзирателя близко не было — оставить мое окошечко открытым. Он пошел дальше, а я высунул голову в окошечко и загляделся.

Наша тюрьма внутри была красива какой-то изумительной, религиозной красотой: стройная, величественная, высокая, звонкая от железных лесенок и галерей, от кирпичной кладки, от блестяще натертого пестрого цементного пола, вся пронизанная светом из огромных узких окон в отлете каждого корпуса. Мне нравилось бесцельно любоваться ее холодной и легкой величавостью и в рассеянном спокойствии ловить ее звуки — возгласы коридорных, шаги надзирателей, доносившиеся обрывки из разговоров соседей, что сидели на подоконниках, и во всем этом я научился находить своеобразную пленительную музыку. Но все-таки хотелось туда, в город.

Прошел надзиратель и затворил окошечко. Я вернулся на подоконник.

Летучий дотягивал, уже опять печальным тоном:

— Гляжу в люминатор, а там сестра стоит; горько она плачет и так мне говорит:

— Погиб ты, мальчишечка, погиб аж навсегда...

Здесь Летучий остановился, помолчал, потом присвистнул легонько сквозь зубы, точно рукой махнул, и совсем тихо закончил:

— Годы за годами, пройдут все годы...

Я позвал:

— Летучий.

— Жебрик? — отозвался он моей воровской кличкой.

— Что так сумно поете?

— А что? Меланхолию напускаю?

Он вообще знал много интеллигентных слов и умел читать и писать.

— Да, как будто бы и напускаете.

— Как думается, так и поется.

— Бросьте думать, Летучий. Индюки думают.

— А? Не слышу.

Время подходило к каше — все соседи были уже у окон и на сто голосов перекликались друг с другом, так что и нам даже вблизи подчас трудно было разобрать, кто что сказал.

— Индюки думают, говорю. Не стоит думать.

— Думку из головы — вы меня слышите, Жебрик? — и за хвост не вытащишь.

Я промолчал, потому что знал, о ком его думка.

Стали разносить кашу; Петуля брякнул моим окошечком и закричал:

— Майонез!

Я положил на подоконник шерстяной платок, на платок подушку, вылез туда с ногами и стал есть, закусывая сочным и душистым тюремным черным хлебом и глядя, как чистое небо постепенно бледнело, точно умирая.

— Слышите, Жебрик?

— Что, Летучий?

— Вы сегодня против женского корпуса гуляли?

— Да.

— А? Да или нет?

— Да-а!

— Видели Марусю?

— Ее не было у окна...

Он оставил кашу, прижался лицом к решетке и помолчал, а потом сказал:

— Слышите, Жебрик? Верно, лежит больная ради Светлого праздника.

— Так ее ж бы взяли в больницу.

— Да и возьмут скоро. Всегда кашляла. А теперь весна.

— Ешьте кашу, Летучий, каша стынет.

— Не хочу каши.

Он просунул чашку наружу, перевернул, и каша, звонко ляпнув, шлепнулась во двор.

— Слышите, Жебрик? Мерзавец я из людей. Что я сам вор, так это мое дело, а зачем ее — вы меня слышите? — зачем ее за собой потащил? Шляпки делала, двенадцать рублей получала, а теперь вот что...

Небо гасло и, темнея, становилось как будто глубже. Засвистел вдали протяжно паровик, увозящий свободных людей из города на дачу или наоборот.

Послышалось согласное пение молитвы: певчие, из своих же заключенных, стояли обыкновенно кружком в центре тюрьмы и сосредоточенно выводили ноты, следя за рукой дилетанта-регента из несостоятельных должников. И пение слышно было во всех камерах и звучало стройно и красиво.

— Летучий, — спросил я после молитвы, — вас поведут к всенощной?

— Подследственных не берут, — ответил он и прибавил: — Мерзавец я, Жебрик. Ее зачем погубил? Больную!

В это мгновение у меня в дверях что-то «жжикнуло», и из отверстия над окошечком — мы называли это отверстие «волчок» — влетела свернутая бумажка.

Я сорвался с подоконника, схватил записку и спрятал, а из «волчка» послышался шепот:

— Передайте. Только осторожно!

У меня страшно забилося сердце. В нашей жизни такая записка — по-тамошнему «лимон» — была важным событием. От кого? Кому? «Передайте» — значит, не для меня, но все-таки страшно интересно. Только прежде чем развернуть, нужно дожидаться вечерней поверки, а тогда уж безопасно — никто не войдет.

И, волнуясь в ожидании, я заходил по камере наискось, гадая и вслушиваясь в отголоски колокольной симфонии города, которая долетала к нам смягченная, легкая, воздушная...

— Жжик! — сделал «волчок». Это была поверка. Сиплый голос сказал из-за двери:

— Пора зажечь лампу.

Я засветил лампочку, обождал несколько минут — небо вырезалось у меня в окне ярким черно-фиолетовым квадратом, на нем была уже звезда, — потом, стараясь не спешить, сел у стола спиной к двери, достал бумажку и разгладил.

Было написано:

«Передать Летучему».

Я очутился на подоконнике. «Их корпус» темнел на фоне вечера, и окна светились рядами оранжевых пятен.

— Летучий, — позвал я сдержанно.

В оранжевом пятне вырос черный силуэт.

— Летучий, — сказал я среди треска скрещивающихся переключений, — Летучий, посылайте ко мне телефон.

— А что такое?

— Посылайте телефон.

— Чего ради?

Я понизил голос — но он расслышал — и сказал ему:
— «Лимон».

Он расслышал, и его гибкий голос сразу зазвучал иначе.

— Для меня? Кто передал?

— «Веник».

Это значило: коридорный.

— Сейчас, — крикнул он и исчез из окна, и через секунду он опять вынырнул.

— Держите, — окликнул он меня.

— Держу.

Я выставил руку далеко наружу.

Я видел, как он раскачал и завертел конец веревки с привязанным грузилом из ломтя хлеба, потом его отпустил, и веревка — Летучий у нас лучше всех владел «телефоном» — зацепилась за мою руку.

— Есть?

— Есть.

Я сунул «лимон» в пустую коробку из-под спичек, привязал ее к телефону и сдержанно крикнул:

— Готово.

Телефон осторожно пополз у меня по руке, ускользнул из нее; коробочка на миг застучала по камням двора.

— Осторожно, Летучий, — сказал я, вглядываясь, — не зацепите за фонарь. Что? Не идет?

— Не идет, черт... — сосредоточенно отозвался он, и силуэт его вдруг изменил положение, словно Летучий всматривался.

— Что такое?

Летучий не сразу ответил. Он рванул еще раза два, выругался сквозь зубы, завозился на окне, остался на миг неподвижен и вдруг сказал:

— Пропало.

— Как так?

— Зацепил за фонарь. Чертов фонарь стоит перед носом! Пропало!

— Рваните!

— Нейдет. Я уже знаю — там крючок. Пропало.

— Что же теперь делать?

Летучий всматривался и молчал.

— Ведь утром увидят и снимут? Как тут быть?

А Летучий вдруг отозвался хмуρο и резко:

— Ну вас и с этой дрянью вместе к чертовой бабушке.

И исчез с окна.

Вечер углублялся, смутно колеблемый далекими колоколами; звезды роились с каждым мигом все гуще и богаче; где-то восходил месяц, и менялись от него понемногу ночные краски. Соседи все реже и ленивее перекликались; стал внятен раковинный гул отдаленной жизни города, моря и дач, и удалым протяжным свистом засвистал паровик.

И стало мне вдруг от его свиста еще грустнее, чем до того. Страшно вдруг повеяло на меня от этого свистка и от всего теплого лунного вечера ласковым запахом прошлых дней, которые не вернуться, юности и отрочества.

Этот паровик, что свистит, и меня сколько раз увозил на дачу. И там я слушал оркестр на станции, и гулял по бульвару над морем, и катался на лодке большой оравой, и все пели хором, и смеялись, и рассыпались по берегу парочками, и целовали друг друга так просто и тепло, как только в те годы умеют...

Вспомнились стихи, где-то вычитанные:

— Зарницы бегали — на несколько мгновений полнеба искрилось в серебряном огне, — и вы с доверчивым кокетством на колени склонили голову ко мне...

— И были хороши бенгальские зарницы, валы холодные — валы и облака, — и прикрывала вам пушистые ресницы моя горячая рука.

— И вы задумались. Холодный ветер сзади под белой кисеей вам косу распускал, и эти мягкие каштановые пряди я тихо гладил и ласкал...

Да... Славно было. А думала ли, гадала ли она, эта девочка, имени которой уж я не помню, думала ли тогда, что я попадусь в краже со взломом?

Отчего люди не умирают в детстве... Как это сказано в тех стихах?

— ...И если б в лучшее из тех святых мгновений сверкнула молния, зеленая змея, и мертвой пали бы ко мне вы на колени, — о, как бы радовался я, — что вы ушли от нас нетронуты, невинны, полны поэзии четырнадцати лет, — что прелесть грустная безвременной кончины так дивно прервала ваш ласковый расцвет!..

Кто вы были, девочка, облетевший лепесток моей жизни? И как было ваше имя, и куда вас теперь умчало? И живы ли? И помните ли меня? И дошла ли до вас, полузабытая подруга полузабытых дней, весть о том, что я теперь и где я теперь?

Зачем это все было? И если уж было, почему прошло? Почему прошло, и жизнь стала мукой, и в божнице нашей, быть может, не осталось ни одной иконы, кроме воспоминаний?

Так хоть вспоминайте же! Помните ли? — как это дальше в тех стихах?

— ...И все склонялися ко мне вы на колени, и вашу косу я ласкал, и с воем прыгала седеющая пена перед извилинами скал;

— и ветер гнал валы и тучек вереницы, и пел и ликовал все громче и звучней, — и осыпали нас бенгальские зарницы снопом серебряных огней...

— Жебрик.

Уже вся тюрьма спала, только я и Летучий оставались на окнах.

— Думаю я, значит, от кого бы это, Жебрик, было? Не иначе, как от нее.

— От Маруси?

— От Маруси. Она грамотная. От нее. И висит вот тут под носом, и я не могу достать. О-о!..

— Да... Утром заметят и заберут. Пропало.

— Пропало. И чего этот болван Петуня не передал прямо мне через нашего «веника»?

— Да разве вашему «венику» можно довериться?

— И то правда. Эх!.. пропало. Тут, рядом — и пропало...

— Говорите тише, — прервал я. — Кто-то подходит.

В полосе тени под стеной медленно, почти незаметно, приближалась к нам фигура, и, взглядевшись, я различил бурку и ружье.

— Часовой, — тихо сказал Летучий, — сейчас будет морочить голову, чтобы лягали спать. Обругаю ж я его зато, мое почтение!

Это и был часовой. Он подходил осторожно и с остановками и, судя по движениям ружья, поворачивался и оглядывался.

— Чего он вертится? — встревожено проронил Летучий, и меня тоже охватила тревога. В самом деле, зачем он к нам подбирался? Что ему нужно было?

Он пошел решительнее, хотя все же медленно, и вдруг стал молча и неподвижно в десяти шагах от моего окна. Он был весь в тени, лица я не видел, только острие штыка попало под лунный свет и блесло.

Мы оба ждали, насторожившись и затаив дыхание, — так был необычно странным этот часовой, подкрадвшийся к нам ночью и остановившийся неподвижно перед нашими окнами, — и меня охватило напряженное внимание, точно я ждал, что сейчас он произнесет сокровенное и важное.

И вот он всколыхнулся и заговорил робко и просто:

— Не спите, землячки? Со Светлым праздником вас. Христос воскрес. Вон как в городе колокола гуляют — слышно вам?

— Воистину воскрес, землячок, — отозвался Летучий тоже просто и робко, — и вас с праздником.

Часовой медленно огляделся, потоптался, опустил приклад к земле, повел плечами и сказал:

— Звездочек сколько набежало. Все на параде. Разукрасил Господь Бог небеса на эту ночь, чтобы уж оно, значит, было как следует быть.

— Да, — отозвался я, — ночь хорошая.

И опять он повел плечами, потоптался, кашлянул тихо и, вскидывая ружье и оглядываясь, проговорил:

— Пойду... Еще увидят. Прощения просим, землячки, — чтобы вам, значит, Христовой милостью поскорее отсюда выбраться...

— погоди, милый, — тихо остановил Летучий. — Сослужи службу. У меня телефон застрял на фонаре: жаль, хороший был телефон. Отцепи, братец, штыком и передай ему. А?

Часовой, почти не шевелясь, огляделся по всем сторонам, потом всмотрелся в фонарь, подошел, осторожно ступая, и поднял ружье. Стекло тихонько звякнуло.

— Держите.

Веревка очутилась у меня в руке, и я мгновенно втянул к себе коробочку.

— Спасибо, земляк, — почти прошептал Летучий, словно задыхаясь, — дай тебе Бог всего хорошего.

— Просим прощенья...

И бурка с силуэтом ружья на плече медленно и осторожно стала уходить в черную тень высокого корпуса.

— Жебрик?

— Я.

— Читайте, что там.

Я стал читать. Это было написано палочкой из свинцовой чайной бумаги на засаленном клочке:

«Митя, родимый!

Может, и пропадет это письмо, только я весь день как шальная буду от надежды, что дойдет до тебя. Хорошего мало, кашляю теперь хуже и получаю молоко, полкружки в день. В больницу не хочется. Попросись на прогулку против нашего корпуса; если я тебя буду видеть каждый день, и кашлять забуду. А ты здоров? Закрывай окошко на ночь. Я тут шью синюю

рубаху; кончу, попрошу, чтоб позволили передать тебе. Поздравляю тебя с праздником; помнишь, как мы в прошлом году в это время яйца красили для хозяйкиных барышень? Не горюй, желанный, мы еще молодые, и не думай за меня, потому все равно, где ты, там и я должна. Целую тебя. Скажи соседу, который гуляет против нас, чтоб крикнул мне завтра, или дошла до тебя записка.

Твоя Маруся по гроб жизни».

Я прочел, и сложил письмо, и сунул опять в коробочку, и спрятал в подушку. А Летучий не отзывался.

Я спросил нерешительно:

— Летучий?

Силуэт его шелохнулся, но он не ответил.

Мне видно было, как он сидел, скорчившись в оранжевом квадрате окна, пропустив руки наружу и сцепившись пальцами.

Ночь прибывала, напоенная мягкими отзвуками перезвона, вся как будто влажная лунным светом; гудел город, и море где-то шумело, и все же было так тихо, что еще мгновение — казалось мне — и к нам вот-вот донесется слабый треск — кашель Маруси...

Altalena

Одесские новости. 6.04.1903



Вскользь

АПОКРИФ

Тогда пришел к апостолу молодой человек и сказал:

— Побори, о господин, сомнение мое.

И сказал апостол:

— Говори.

И сказал юноша:

— Вот, в законе Синая повелено о чужеродцах: не будьте, как они.

А Учитель наш преподавал: нет эллина и нет иудея.

И возроптало во мне сомнение мое; ибо, если одно, то не другое, и если второе, то не первое.

Как же сказал Учитель наш, говоря: Я пришел не уничтожить закон, а исполнить?

И сказал апостол ученику:

— Вижу меч на перевязи бедра твоего.

И был ответ юноши:

— Так, отец мой из римских граждан, и я сын его и жены его, госпожи.

И было к нему слово апостола:

— Прости меч твой.

И повиновался спешно и, извлекши, простер.

И сказал апостол:

— Что видишь?

И сказал ученик:

— Вижу острие от меня и рукоять в пальцах моих ко мне.

И повелел ему апостол обратить, и сказал:

— Теперь что видишь?

И ответил:

— Вижу рукоять от меня, а острие в руке моей ко мне.

И сказал апостол:

— Подобен ты, вопрошающий, нелепому, который подумал бы в сердце своем: вот, была к нему рукоять меча, а ныне к нему острие; не другой ли меч?

Изложу тебе притчу о Мире и Мирре.

Был человек в земле мидийской, и две жены его.

И умастила тело свое шафраном Мира, жена его, и сказала Мирре, жене его, говоря: чем умастишь тело свое? Не шафраном ли?

И сказала Мирра: не шафраном, а тмином тело мое умащу для возлюбленного супруга нашего, господина.

И возгорелся гнев Миры на Мирру; и, преклонясь, коварно спросила человека того:

— Любишь ли некую больше из рабынь твоих?

И ответил супруг: не велел того бог; и равны для меня Мира и Мирра.

И, возликовав, сказала женщина: повели же непокорной омыть масти тминные и принять масти шафранные, ибо равны должны быть пред тобою Мира и Мирра.

И сказал, опечалясь, господин: лукаво сердце женщины в персях ее.

Тмин ли лучше шафрана? Шафран ли благовоннее?

Благоуханию шафрана говорит душа моя: люблю и жажду, и благоуханию тмина говорит: жажду и люблю.

Да сохранит Мирра, жена моя, тело тминные; а ты умащай, Мира, жена моя, тело твое мастями шафранными; ибо равны в глазах моих Мира и Мирра.

Воистину сказал Господь на горе Синайской: чужеродцы вокруг тебя; и не будь, как они.

Да пребудет чужеродец, как отцы и деды его; и ты, народ мой Израиль, сохрани предания твои...

Ибо рад отец сыну резвому за резвость его и сыну тихому за кротость его.

Тебя ли предпочту чужеродцу? Чужеродца ли возлюблю паче тебя, народ мой, проповедавший величие Мое, и скажу ли: да станет подобен Амалеку?

Истинно говорю тебе: не будь как они; и им не быть как ты, ибо равны предо мною все народы.

Се постигай, о юноша римский, слова Христа, Сына Божия: элин навек элином, вечно иудеем иудей — ибо нет элина и нет иудея предо Мною.

Altalena

Одесские новости. 6.04.1903



Вскользь

ЭРМЕТЕ НОВЕЛЛИ

Не обинуясь, беру на себя смелость сказать, что Эрмете Новелли — величайший из артистов нашего времени.

Итальянская школа из всех драматических школ, бесспорно, лучшая.

В ней нет и следа той ходульности, которая так неприятно поражает в французских актерах.

По простоте, правде и жизненности своей итальянская школа сильно приближается к русской — или, вернее, русская к итальянской.

Но, конечно, между русским и итальянским артистом та разница, что русский талант лишен тех вековых традиций, той выработанности стиля, на которые опирается итальянец.

Не говоря уже о том, что при всей даровитости своих лучших актеров русская сцена все же не дает таких колоссов и гениев, каких легко создает благословенная Италия.

Такой колосс — Новелли.

Мы теперь думаем, что новшество Московского Художественного театра есть нечто весьма крупное и небывалое.

И конечно, это новшество — явление приятное и полезное, но далеко не так оно громадно, как это сразу показалось.

В конце концов, суть станиславщины, т. е. то, что от нее войдет навсегда в школу искусства, есть усовершенствование техники, а не переворот в самой сущности.

Веризм Станиславского является только последним завершением переворота — обращения к реализму, — и этот переворот был произведен впервые итальянской школой.

Из Италии пошел лозунг сценической правды, и лучшие результаты он принес в Италии.

А Эрmete Новелли есть в настоящее время могучий и почти безупречный классик этого лозунга.

Классик сценического реализма.

Томмазо Сальвини уже покинул сцену, но если бы он еще играл, Новелли соперничал бы с ним гениальностью и победил бы великого трагика изумительной многосторонностью своего дара.

Эта же всеобъемлющая многогранность, от трагедии до фарса, возвышает его над Элеонорой Дузе.

Только, может быть, молодой Сальвини когда-нибудь выработается в равного ему: это еще вопрос будущего.

Но про другого Эрmete, про Дзаккони, имя которого так часто противопоставляется имени Новелли, даже и вопроса такого не существует.

Дзаккони — большой талант, но — как говорит г-жа Комиссаржевская в роли Клерхен — «Новелли — вот, а Дзаккони — вот».

Дзаккони — новатор, «специалист по нервным болезням», и как у всякого новатора, у него много неровностей, бестактностей, преувеличений; Новелли — классик в полном смысле этого слова, т. е. нечто образцовое, гармоническое, воплощение художественного чувства меры.

Внешняя разница между обоими Эрmete всего ярче бросается в глаза, когда посмотришь одного и другого в «Семье преступника».

Дзаккони глотает стрихнин.

Затем он, подавая реплики, все время точно прислушивается к себе: не началось ли?

И вот началось. Дзаккони начинает вздрагивать, поджимать кисти рук, ерзать.

Ерзание переходит в судорогу, судорога в корчи.

Дзаккони вскакивает, вытягивается как-то невероятно в струнку — и вдруг, в одно мгновение, он уже лежит на полу, сжавшись, скрючившись спиралью: Коррадо умер.

Новелли пренебрегает всем этим.

Новелли изменил для себя конец драмы: Коррадо не отравляется, но умирает от горя и отчаяния.

«Смерть от горя». Нечто такое, чему мы не верим:
— Разве от горя умирают?

И вот перед артистом задача: заставить нас поверить, что от горя можно умереть. Задача потруднее, чем изобразить клиническую картину корчей от стрихнина.

У нас пойдет «Семья преступника», и вы увидите, как справляется Новелли с этой задачей.

Новелли — виртуоз всех орудий: голоса, смеха, жеста, мимики.

Новелли — виртуоз всех родов: он только что потряс нашу душу Шейлоком, заставил ненавидеть в нем ненавидящего и сострадать в нем страдающему и бесправному — и через минуту он, этот самый Новелли, выходит к вам в пиджаке и перед опущенным занавесом рассказывает, просто и наивно, какой-нибудь из своих *monologhi* — жанр, в котором он един и неподражаем, — и вы опять то слушаете, как очарованный, то смеетесь, не хохотом, а хорошей художественной *hilarité*¹.

Посмотрите его в «*Papa Lebonnard*».

Трехактная комедия, которую француз Jean Aicard когда-то написал — и сам, кажется, уже забыл, что написал; комедии не повезло.

И вдруг она полюбилась Эрмете Новелли.

Перед вами скромный, смешной, добродушный старичок.

Когда-то он был бедным часовщиком — теперь он богат, у него жена с шикарными претензиями и такой же сын; и сын этот носит его имя, но рожден от измены.

Среди шика и приличий, окружающих его теперешнюю жизнь, папа Лебонар остался прежним добродушным человеком: он по-старому любит возиться с часами, и весь он на фоне своей новой обстановки довольно-таки смешон.

Не по себе старику в этой новой воде, но он все терпит, пока не наступает слишком уж тяжелая минута.

У него есть дочь — настоящая дочь его крови — славная девушка, влюбленная в небогатого врача; в семье врача разыгрывается скандал — он оказывается незаконным сыном, и строгая *madame* Лебонар требует от мужа и дочери отставки этому жениху; и того же требует от отца и сестры сын папá Лебонара, потому что его невеста, аристократка, иначе грозит ему отказать.

Лебонар давно простил жене измену, Лебонар любит сына, носящего не по праву его имя и ничего не знающего о своем

¹ Веселость (*фр.*).

происхождении, но больше всего на свете Лебонар дорожит счастьем своей дочери.

И папа Лебонар вдруг вырастает в трагическую фигуру. Ради счастья своей дочери он одним ударом разметаёт всю гору лжи, загромоздившую его жизнь, говорит жене: ты — изменница, — и сыну: ты не мой сын.

Страшная, потрясающая сцена — но едва произнесено последнее слово, Лебонар-мститель, Лебонар-герой вдруг мгновенно исчезает, и перед вами снова тот же папа Лебонар, мягкий и смешной старичок: вот он стоит, прижавшись к стене, и по-старчески плачет, раскрыв рот и содрогаясь, и словно сам пугается того, что сделал.

Но гроза грянула — и очистила воздух. После катастрофы все стало как-то яснее, проще и лучше.

Сына этим ударом перевернуло. Он стал иным. Он расстается со своей аристократкой и едет в отдаленный край — пробивать себе дорогу собственными плечами.

И папа Лебонар любовно благословляет его и целует поцелуем прощения свою смирившуюся жену, и опять в его доме воцаряется улетучившаяся было атмосфера хорошего, тихого семейного мира.

И все это сделал папа Лебонар — кроткий, смиренный старичок, простая душа, любитель старинных часов с кукушками.

Посмотрите Новелли в этой пьесе. Это будет одно из тех впечатлений, которые потом во всю жизнь не забудутся...

Эрмете Новелли приехал не по-гастролерски: он привез сюда свою постоянную труппу.

Если это — полный состав его постоянного театра в Риме — Casa di Goldoni¹, мы можем вдвойне поздравить себя: мы увидим один из лучших европейских ансамблей.

Новелли поступил в этом как настоящий артист, которому дорог не только свой личный успех.

А на фоне образцового антуража, богатого меньшими, но все же видными талантами, не только не умалится блеск гения Эрмете Новелли, но еще усугубится.

Altalena

P. S. Ответ г-ну Лоэнгрину, ввиду некоторых обстоятельств, откладываю до завтра.

Одесские новости. 9.04.1903

¹ Дом Гольдони (итал.).


Вскользь

В пасхальном номере газеты «Южное обозрение» было напечатано два фельетона г-на Лоэнгрин. В одном говорилось о сострадании, о христианской любви к ближнему, а в другом было, между прочим, написано так:

«Не перепелся ли он (г-н Altalena) с этой буквой в такие дружеские объятия, в такое кружево любви и взаимной поддержки (*я тебя, например, буду поддерживать материально, ты меня духовно...* всякие есть кружева), что трудно и различить, где кончается г-н Altalena и где начинается буква Б.»

Во вчерашнем номере той же газеты тот же г-н Лоэнгрин дает по поводу этой фразы такие объяснения:

«В городе (??), насколько мне стало известно, этим моим строчкам придали смысл, какого я совсем не имел в виду. Говорили, на "основании" этих строк, что я намекаю на какое-то материальное вспомоществование г-ну Altalen'e со стороны таинственной буквы. Если вылавливать отдельные строки, можно придать моему фельетону такой характер, какой мне был совершенно чужд. Весьма возможно и понятно, что у каждого работника печати в разгаре его ежедневной работы попадают резкие и неудачные строки, которые жадная к сплетням толпа ловит и придает им клеветническое значение. Зная лично и по прежним фельетонам г-на Altalen'у, я далек от подобных обвинений по его адресу. *Я категорически заявляю, что у меня и в мыслях не было возводить на него такого рода обвинения.*

Но вместе с тем я не могу не выразить своего глубокого сожаления по поводу того, что его перо выступает в защиту таких лиц. Вы, г-н фельетонист, вы, который ставили всегда искренность сердца своим журнальным принципом, в силу именно этой искренности и только искренности, не поддержанной доводами разума, впали в ошибку и защищали неправое и нехорошее. Сознаете ли вы эту ошибку? *Я сознаю ошибку своей фразы и каюсь в этом невольном прегрешении.* Но вы? Сознаете ли вы ошибку всего своего фельетона и продолжаете ли вы и теперь признавать таинственную букву идеалом добродетели и нравственной чистоты?»

Не понимаю, какое другое значение можно было придать той фразе г-на Лоэнгрин, кроме самого для меня оскорбительного, но, во всяком случае, раз сам г-н Лоэнгрин берет ее назад

и «кается», я снова получаю возможность беседовать с ним печатно и ответить на остальные ругательства его пасхального фельетона, ибо до «покаяния» я имел намерение всякие разговоры с г-ном Лоэнгрином прекратить и инцидент предложить на рассмотрение суда чести.

Итак, мы беседуем.

Г-н Лоэнгрин спрашивает, признаю ли я свою ошибку так же точно, как он признает свою.

Отвечаю: г-н Лоэнгрин прекрасно делает, что сам признает свою неправоту, ибо иначе таковую установил бы, с большим конфузом для г-на Лоэнгрина, суд чести. Но что касается меня, то я никакой ошибки за собой не сознаю и не признаю.

Г-н Лоэнгрин решается утверждать, будто я каких-то дельцов считаю идеалами добродетели и нравственной чистоты.

Конфрер¹ и единомышленник г-на Лоэнгрина г-н Знакомый тоже пишет (не смея, по обыкновению, назвать меня по имени), будто я «заявляю всенародно о полной моей солидарности с дельцами».

Почтенные единомышленники оба говорят неправду, ибо в субботнем фельетоне у меня сказано было:

— Я никого не защищаю, и всякие финансовые воротилы с той общественной точки зрения, на которой я стою, представляются мне вредными наростами, и — если бы мог дожить — я был бы рад тому дню, когда их не станет.

Эта фраза означает «идеализацию» дельцов и «солидарность» с ними? Эта фраза есть комплимент?

Оставляя пока в стороне г-на Лоэнгрина, скажу, что если *это* комплимент, я могу преподнести такой же и г-ну Знакомому в том смысле, что некоторых журналистов я считаю вредными наростами и, если доживу, буду рад тому дню, когда они наконец сменят чернильницу на какую-нибудь более подходящую посуду.

Но это между прочим, а по существу дела считаю достаточно выясненным то обстоятельство, что ни с какими дельцами я не солидарен и никаких дельцов не защищаю.

И nepотизма тоже не защищаю, ибо под куомовством понимаю — как я уже заявил — предпочтение своему перед чужим *вопреки* их достоинствам, следовательно, в ущерб делу.

Но в данном случае этого предпочтения *вопреки* достоинствам не было, потому что врача Аренкова сам г-н Лоэнгрин

¹ Собрат, коллега (от *фр.* confrère).

печатно провозгласил опытным и честным врачом с незапятнаным формуляром.

Опытному и честному врачу не следовало оказать преимущества только потому, что он — родственник одного из заправил? Так вы находите, господа Лоэнгрин и Знакомый?

Много же лицемерия на этом свете.

Каждый из нас ежедневно произносит фразы вроде следующей:

— Икс директор завода, а племянник его бедствует с семьей. Какой эгоист этот Икс: неужели он не может пристроить бедного родственника на завод? Добро бы племянник был мерзавец, а то ведь человек честный и опытный...

Каждому из нас приходилось обращаться к сильным мира сего:

— Доставьте место Игреку! Честный, опытный человек и нуждается.

И никому никогда не приходило в голову стыдиться:

— Как я могу хлопотать за честного и опытного человека, когда он мой родственник? Не лучше ли мне, несмотря на всю его честность и опытность, оттолкнуть его и предпочесть ему чужого?

Никто никогда не стыдился того, что у него есть честный и толковый родственник, а стыдился бы только в том случае, если бы родственник был человек грязный, а он, из кумовства, выдавал бы его за человека чистого.

И если г-н Знакомый и г-н Лоэнгрин скажут мне, что они в жизни всегда при случае нарочно оказали бы предпочтение чужому перед *честным* и *опытным* родственником, то я себе позволю ответить, положа руку на сердце:

— Не верю.

Но послушайте, что они поют в газете! Какие спартанцы!

— Родственники? Да ка-ак? Да почему? Да где это слыхано?!

Лицемерие лицемерий и всяческое лицемерие. Громить в газете обыденнейшее явление, как будто сам ежедневно не улыбаешься приветливо этому же явлению в жизни.

Мне доставили точно проверенную справку, из которой явствует:

— что когда во 2-м кредитном обществе директором был Л. И. Левенсон, то в банке служил сын его В. Л. Левенсон, а членом совета (т. е. *контролирующего* учреждения) состоял Г. М. Бейленсон, близкий директорский родственник;

— что в Городском кредитном обществе членом наблюдательного комитета состоит мещанский староста г-н Доброволь-

ский, а оценщиком его зять г-н У-ко, а уполномоченными — его шурин г-н М. и четыре подчиненных г-на Добровольского по меццанской управе: товарищ старосты г-н И-о, столоначальник г-н П-в и выборные господи П-ко и У.;

— что в том же обществе есть директор г-н Черепенников и, в числе уполномоченных, его брат и его тесть г-н Бирюков; а также председатель наблюдательного комитета И. Г. Тиктин и уполномоченный С. Г. Тиктин, брат его; а также уполномоченные три брата Яловиковы и шурин их г-н Мельников;

— что, наконец, в одесском 1-м обществе взаимного кредита, учреждении старинном и почтенном, есть директор г-н Чаушанский и уполномоченные — два его брата г-да Чаушанские; и директор г-н Драго и уполномоченный г-н Драго, брат первого; и член совета г-н Кононович и уполномоченный г-н Кононович, брат его; и уполномоченные два брата Кирхнеры, два брата Урсати и три брата Брун...

Среди перечисленных мною есть самые почтенные имена нашего города, и если вы мне скажете, что все это поборники кумовства, то это будет просто даже неумно.

Но никто этого и не скажет; и сам г-н Знакомый, когда говорит о г-не Тиктине, о г-не Левенсоне и даже о г-не Добровольском, то всегда делает книксен и прибавляет «почтенный», и уж одно это доказывает, что на Общество взаимного вспоможения на случай смерти г-н Знакомый обрушился вовсе не из гражданского негодования против родственников, а по каким-то своим таинственным и личным причинам.

А послушать его, г-на Знакомого, — так он смелый борец и обличитель, а я заступник дельцов; и г-н Лознгрин приходит к нему на помощь и покрывает меня в пасхальном номере грубейшими ругательствами, говоря (я исключаю ту инсинуацию, в которой он «раскался») о «помойной яме», которую я будто бы стараюсь замаскировать «компромиссом самого неприятного запаха» и «неприкрытым нахальством фразы».

Ладно, г-н Лознгрин.

До сих пор я всегда делал разницу между вами и г-ном Знакомым, но так как теперь вы сами подали ему руку и пожелали стать с ним наравне, — ладно. Я ничего не имею против вашего союза — против этого нового Общества взаимного вспоможения на случай бездарности. Я признаю ваш двойственный союз и отныне буду с вами обоими, когда придется, разговаривать одинаковым тоном и с одинаковым уважением.

«Я с вами никогда не сойдуся, — писали вы, — потому что привык дорожить своими идеями и никогда в жизни не поведу эти идеи на компромисс к помойной яме».

Я, г-н Лоэнгрин, у вас никогда никаких идей не замечал, но так как речь здесь не о вас, а обо мне, то могу вас уверить, что и я в угоду какому угодно пишущему обывателю никогда в жизни не струшу перед своим мнением.

И вот мое мнение по данному делу — мнение, с которого я начал и от которого не отступлюсь:

— во-первых, я никаких дельцов не знаю и не защищаю, а отстаиваю полезное учреждение от несправедливой сплетни;

— во-вторых, я вполне извиняю предпочтение, оказываемое родственнику перед чужим, при непременно условии — чтобы это предпочтение не было совершено вопреки справедливости и пользе дела;

— в-третьих, я утверждаю, что все порядочные люди смотрят на предпочтение *честных* родственников чужим так же, как и я, и что утверждать противное есть лицемерие;

— в-четвертых, я все-таки обращаю внимание читателя на то, что о манипуляциях с баллотировочными орешками г-н Знакомый, в ответ на мои опровержения, паки и паки молчит — следовательно, расписывается в сплетне;

— в-пятых, я заявляю, что в этом столкновении, где мои противники позволили себе слишком много, я считаю долгом моего достоинства оставить последнее слово за собой и потому — хотя вообще не в моем вкусе долго топтаться на одном и том же сюжете — я повторяю: пока не замолчит сплетня, не замолчу и я.

Посмотрим. Хорошо посмеется тот, кто посмеется последний.

Altalena

Одесские новости. 10.04.1903



Вскользь

Г-н Лоэнгрин извиняется перед своими читателями, что занимает их в течение нескольких дней своей полемикой со мною, «в то время как есть другие темы, более жгучие, интересные, влекущие к себе внимание, требующие посильного разрешения».

На этом основании весь свой фельетон г-н Лоэнгрин посвящает, в качестве жгучей и интересной темы, оперетке и г-ну Северскому, а со мной объясняется не в «Зигзагах», но в особом письме в редакцию.

Там г-н Лоэнгрин между прочим пишет, будто на его вопрос о том, считаю ли я г-на Б. идеалом добродетели и нравственной чистоты, я ответил уверткой, заговорив о «каких-то дельцах» вообще.

Неверно. Ибо еще прежде, чем г-н Лоэнгрин задал мне этот вопрос, я уже успел написать:

«Я никого не защищаю, а финансовых воротил считаю вредными наростами».

Поэтому добросовестный противник не должен был и спрашивать меня, как я смотрю на г-на Б., но так как г-н Лоэнгрин все-таки спросил, то я и сослался на то самое, что заявил с первого начала в качестве лучшего и категорического ответа. Ясно?

В фельетоне от третьего дня г-н Лоэнгрин приводит полемическое письмо г-на М. Г. — очевидно, третьего члена в этом новом Обществе взаимного вспоможения на случай бездарности.

Г-н М. Г. так излагает мою мысль:

«Я, мол, инициатор, а потому и назначаю своих родичей и друзей уполномоченными и врачом общества».

На это отвечаю г-ну М. Г., что, во-первых, уполномоченные не назначены, а избраны. Обучитесь прежде правильно говорить по-русски, а потом уже приходите полемизировать. А во-вторых, назначение врача производится тоже не единолично властью инициатора, а постановлением всего правления. Ознакомьтесь прежде с азбукой дела, а потом уже будете спорить.

Но, помимо всего этого, моя мысль у г-на М. Г. выражена неточно.

Моя мысль, на которой я со спокойной совестью продолжаю настаивать, такова:

— Так как все невыборные платные места этого рода всегда и всюду заполняются по протекции и помимо протекции никто никогда нигде на такое место не попадал, то справедливее оказать предпочтение протеже инициатора, чем оказать его протеже других лиц — при условии, конечно, чтобы протеже инициатора был человек честный, дельный и нуждающийся в заработке.

Впрочем, г-н М. Г. не считает г-на Б. инициатором, так как г-н Б. ничего сам не выдумал, а заимствовал идею общества

из Харькова и Белостока. Очевидно, г-ну М. Г. не вполне ясно значение слова «инициатор». Научитесь прежде понимать иностранные слова, а потом пишите письма в редакцию.

И еще пишет г-н М. Г.:

«Сила и преуспевание харьковского и белостокского обществ именно и основаны на крайней экономии и на безвозмездном служении не только выборных представителей, но даже бухгалтера и врачей-консультантов».

И в тон ему подпекает г-н Знакомый:

«Белостокское общество пользуется даровыми врачебными услугами целой коллегии врачей».

Неправда.

Харьковское общество, которое так хвалят за экономию, в начале своей деятельности — в 1893–94 годах — насчитывало 331 члена и тратило на расходы по управлению 5336 рублей (привожу эти цифры по печатной выписке из годовичных отчетов харьковского общества); одесское общество считает пока 196 членов, а в его смете на расходы по управлению значится 1920 рублей в год. То есть в харьковском расходы по управлению около 17 рублей на одного члена, в одесском — около 10 рублей. Если вы к этим 10 рублям прибавите в конце года агентские проценты с первых взносов, то не забудьте и о том, что общество существует всего два месяца и что к концу года членов будет не 196, а больше, так что норма расходов на управление относительно, может быть, еще понизится.

Это — об экономии, а теперь — о безвозмездной службе.

Выборные представители служат бесплатно и в одесском обществе; но относительно невыборных могу заявить, что в белостокском обществе, например, управляющий получает 2100 рублей в год, а врачебные осмотры вознаграждаются по 3 рубля за каждый. Соберите прежде сведения, а потом будете рассуждать...

Остановимся немного подробнее на врачах и на г-не Знакомом.

Пишет г-н Знакомый:

«Сажать своих никому не ведомых родственников на платные места, *отклоняя безвозмездные услуги людей, вполне достойных...*»

Уже несколько раз г-н Знакомый упорно повторял, будто какие-то врачи предлагали свои услуги новому обществу совершенно даром, — столько повторял, что я заинтересовался и послал в правление общества письмо с просьбой сообщить мне, так ли это было.

Публикую ответ:
«Милостивый государь!

Вследствие просьбы, изложенной в письме вашем от 10 се-го апреля, правление одесского Общества взаимного вспоможе-ния на случай смерти считает своим долгом сообщить вам, что никто из врачей своих услуг обществу безвозмездно не предла-гал, а наоборот, все врачи, домогавшиеся быть назначенными при обществе, хлопотали о службе исключительно платной.

С совершенным почтением: председатель правления А. Швенднер, члены правления: А. Барановский, В. Брахман, С. Фельдштейн».

Достаточно?

И тут читатель позволит мне сказать несколько слов а parte¹ г-ну Знакомому.

Я утверждаю, что вы, г-н Знакомый, спорите со мною недо-бросовестно и нечестно.

Вы писали о каких-то манипуляциях с орешками; я три ра-за печатно заявил, что этих манипуляций с орешками *не было*, что вы их выдумали, а теперь вы пишете:

«Я не предполагал, что г-да защитники дойдут до такой цинической откровенности и станут доказывать, что... ничего зазорного нет в выборных махинациях со списками и ореш-ками...»

Это — нечестная передержка; и я утверждаю, что в вашей полемике со мною по этому вопросу вы недобросовестно упо-требили против меня много нечестных передержек.

Я не только утверждаю это — я *обвиняю* вас в этом, г-н Зна-комый, и вызываю вас за эту недобросовестную и нечестную полемику на третейский суд.

Вот мои условия.

Если третейский суд признает, что вы в этом споре не допу-стили по моему адресу ни одной недобросовестной или нечест-ной выходки, я лишаюсь на год права писать в одесских изда-ниях под каким бы то ни было псевдонимом.

Если третейский суд признает, что недобросовестные или нечестные выходки по моему адресу были вами допущены, вы лишаетесь на год права писать в одесских изданиях под каким бы то ни было псевдонимом.

Карты на стол, г-н Знакомый, довольно вилять. Если вы чувствуете себя правым, принимайте вызов. Если вы его не

¹ Отдельно (*итал.*).

примете — вы тем самым распишетесь в недобросовестных и нечестных передержках.

И без возражений. Вы можете сказать, что если вы уйдете из «Листка», вас никуда больше не примут; но я этого и хочу. Неприятно быть журналистом, когда знаешь, что вы тоже журналист.

А теперь ваша очередь, г-н Лоэнгрин.

Вам тоже хочется суда чести. Вы пишете:

«Если у вас было намерение все это "столкновение" предложить на рассмотрение суда чести, отчего вы свое намерение не приведете в исполнение?»

«Отчего»? У вас короткая память, г-н Лоэнгрин.

Позвольте вам напомнить, что после вашей пасхальной статьи во вторник 8-го текущего месяца вас посетили двое из моих товарищей по редакции, любезно принявшие на себя обязанность передать вам мой вызов на суд чести.

Вы ответили моим коллегам, что не имели в виду очернить меня и готовы письмом в редакцию исправить свою несправедливую фразу; вечером того же дня вы, действительно, предъявили одному из этих моих коллег черновую письма в редакцию, которое, с его одобрения, было помещено в «Южном обозрении» 9 апреля и перепечатано мною 10-го.

То есть суд чести не состоялся «оттого», что вы предпочли без суда печатно «покаяться».

Но если вы хотите суда — извольте. Заодно с вашим confrerom¹ г-ном Знакомым вызываю и вас на суд чести.

Предложим суду чести четыре вопроса:

1) Признаются ли корректными и добросовестными нападки г-на Лоэнгринна на общество en question².

2) Признается ли корректным и добросовестным мое заступничество за это общество.

3) Признается ли корректной и добросовестной полемика г-на Лоэнгринна против меня.

4) Признается ли корректной и добросовестной моя полемика против г-на Лоэнгринна.

Затем:

1) Решение суда чести как г-н Лоэнгрин, так и я обязуемся немедленно привести точно, целиком и без всяких комментариев в рубриках «Зигзаги» и «Вскользь».

¹ Собратом, коллегой (от *фр.* confrère).

² Упомянутое выше (*фр.*).

2) Если действия одного из нас будут признаны судом чести некорректными или недобросовестными, или же сразу и некорректными, и недобросовестными, то осужденный обязуется напечатать за своей обычной подписью извинение перед противником, текст которого должен быть предварительно одобрен судом чести.

3) Если редакция газеты, где участвует эвентуальный осужденный, откажется напечатать его извинение, он обязуется представить это извинение для напечатания в газету противника.

Жду ответа — и не будем откладывать дела в долгий ящик, и избавим читателя от этой скучной материи...



А сегодня вечером я увижу Эрмете Новелли.

Когда-то, ребенком, выхлопотав у инспектора «разрешение на предмет посещения театрального представления», я весь день проводил в каком-то экстазе.

Мне все казалось, что мы опоздаем.

Я еще в половине седьмого натягивал свой старый мундирчик и ссорился с сестрами, которые ужасно медленно одевались.

Когда же наконец мы уже сидели на своих местах и ждали оркестра, у меня сердце напоследок билось все тревожнее и тревожнее.

Потому что мне все еще не верилось, что я такой счастливец, что сейчас подымется занавес и я увижу представление, — и все время казалось, что вот-вот должен выйти господин и заявить:

— По случаю болезни тенора г-на Джианнини спектакль отменяется...

И только тогда, когда занавес наконец взвивался, я забывал беспокойство для наслаждения.

Признаюсь, смущенно признаюсь, что сегодня я буду снова весь день переживать это наивное ребяческое волнение.

Весь день буду чувствовать, что меня ждет вечером что-то важное, особенное, и не будет мне верить, что дождусь, и все будет казаться:

— А вдруг отложат?

И только тогда, когда на сцену выйдет старик с большим носом и страшными глазами и я узнаю знакомое под гримом лицо, я вздохну успокоенно и отдамся наслаждению.

Эрмете Новелли.

Для меня в этом имени не только воспоминание о тех славных днях, когда я раз в неделю пробирался за одну лиру на галерку театра Valle, — о тех днях, когда я был еще корреспондентом и писал — о, где ты, счастье? — не о г-не Знакомом и не о г-не Лоэнгрине, а все о министрах и кардиналах...

Не только это.

С именем Новелли для меня связаны чистейшие из пережитых когда-либо художественных волнений.

Кто слишком привык к театру, того редко взволнует артист.

Театрал по ремеслу — поневоле оценивает все только головой, и когда он пишет:

— В этой роли актер нас тронул, — то вы читайте:

— В этой роли актер тронул бы нас, если бы мы были не так привычны к театру.

И только редко-редко выдается момент, когда пораженный театрал внезапно почувствует, что его судилище из головы вдруг переместилось в сердце, что он на мгновение перестал наблюдать и весь растворился в эстетической эмоции.

Эрмете Новелли — один из тех немногих, которые властны взволновать и старого воробья, зачаровать и травленого волка, заставить забыть и с головой уйти в иллюзию.

Это драгоценно, драгоценно на вес золота.

Эта иллюзия заставит вас пережить то большое горе, то большую радость, то огромную ненависть, то огромную любовь.

Вместо тех мизерных огорчений и удовлетворений, тех грошовых злб и сочувствий, которыми мы пробаваемся в жизни...

Слава великим артистам уже за то одно, что они на миг уносят от всего этого.

Altalena

Одесские новости. 12.04.1903



Вскользь

Если не я за себя, то кто же?

Древнее изречение

Перечитал «На дне», чтобы как следует подготовиться к будущему вторнику, когда эта пьеса пойдет на сцене.

Читалось, верно, в особенном каком-нибудь настроении, потому что особенно как-то глубоко чувствовалось и переживалось каждое слово.

Плачет Анна — и мне становилось грустно, утешает Анну Лука — и мне становилось обнадеживающе легко.

Потянуло вора Пепла в другую жизнь — и меня потянуло, обварили кого-то кипятком — и у меня по ногам пробежала боль.

Каждой строчке драмы моя душа отзывалась:

— Правда!

И так дочитал я почти до конца, и вдруг вся моя душа возмутилась и возопила:

— Неправда!

Это было в том месте, где пьяный Сатин говорит:

— Человек! Это звучит великолепно.

Всему в этой пьесе откликалась душа моя словами:

— Верю и сочувствую!

Но этой строке нахмурилась душа, отвернулась и сказала:

— Не сочувствую и не верю.

Человек... это звучит великолепно...

Ложь и обман.

Великолепно звучит молитва в храме и песня в театре, но не великолепно, а жалко и чуждо звучала бы молитва на рынке — и слово «человек!» в подвале ночлежки.

Жалко и гадко стало это слово, произнесенное там и такими устами.

— Человек! Все мы человеки! — говорит ходячая гуманность.

Что это значит: все мы человеки?

Если это значит, что у нас есть у всех и руки, и ноги, и прочее, что полагается, то уж очень это мудро.

А если это значит, что всякий, у кого имеются руки и ноги и все прочее, уже тем самым есть человек, — тогда это неправда.

Руки и ноги у каждого, а человеков мало.

И меньше всего Сатин человек, и те, с кем он там беседует, меньше всего человеки.

Кто он, Сатин? Глухонемой? Увечный?

Нет, не глухонемой и не увечный.

Почему же он на дне, а не в ярусах жизни, где место всем тем, у кого есть плечи и язык?

Потому, что он там не удержался.

Не постоял за себя.

Что именно было в его жизни, что его сшибло, мы не знаем, но, очевидно, налетела на него когда-то беда, и он не постоял за себя.

Обидела его судьба, а он ей поддался.

Повредили ему злые люди, а он им уступил.

Жизнь — это ратоборство; он не выдержал его до конца и струсил.

Так разве он человек?

Разве он человек и разве имя человек, произнесенное им в этой обстановке, свидетельнице его трусости, может звучать великолепно?

Как напыщенный оратор велеречиво и громогласно выкрикивает эффектный конец широковещательной речи, и вдруг ни одного хлопка не дарит ему холодная или не захваченная публика, — так громкое слово Сатина должно прозвучать в этой обстановке фальшивым диссонансом, и не будет на него сочувственного отклика.

Ибо не свои слова говорит Сатин, и все говорит их.

Что ему человек, что он человеку?

Сатин падший, Сатин труп. Труп и человек — как Северный полюс и Южный, и нет такой точки, где бы они слились.

Не может быть человек на дне.

Если жизнь есть море, то пловец, упавший за борт, барахтается в воде, борется, кричит, хватается за соломинку.

Но не идет на дно.

Ибо когда он пошел на дно, он уже, значит, захлебнулся и задохнулся, он уже умер, он уже не пловец, а труп.

Живые не идут на дно, а лежат на дне только мертвые.

— Человек! Это звучит великолепно!

О да, это звучит великолепно, но потому великолепно, что человек не значит падший и труп не значит человек!

Великолепно звучит слово «человек», настоящее слово «человек», потому что великолепно его значение.

Борец — его значение!

Великолепно звучит слово «человек», раздаваясь в храме борьбы, потому что его раскаты вещают мужество и стойкость.

Не обманывайтесь! Нельзя пасть на дно и оставаться человеком.

Нельзя дать себя победить — людям ли, судьбе ли — и остаться человеком.

Человек не должен быть побежден.

Человек или борется, или уже мертв. Третьего состояния нет для человека.

Человек не сдается, не ждет милости, пощады, поддержки со стороны.

Человек из пальцев и зубов делает себе оружие и стоит, не робея, с кликом:

— Если не я за себя, то кто же?

Люди стали теперь думать, что человек есть сан дешевый, сан, всякому доступный.

Что человеками люди родятся.

Мещанами можно родиться, но сан человека надо заслужить.

Кто не сдается, не трусит, не предательствует бездействием, кто стоит за себя и за ближнего до последней искры жизни, — только тот человек.

Altalena

Одесские новости. 13.04.1903



Вскользь

Умеете ли вы благоговеть?

Новелли, минутами, заставляет благоговеть.

Минутами то, что делает на сцене он, этот изумительный гений из тех, которые рождаются веками, бросает в оцепенение, воцаряет невероятную, сказочную тишину в зрительном зале.

И все словно замирают и сами себе не верят:

— Спим ли? Или наяву видим, и в самом деле возможно, чтобы смертный человек воплощал такие чары?

Потому что у Новелли есть поистине сверхъестественные мгновения.

Без всякого напряжения со своей стороны, легко, свободно, правдиво, одною нотой голоса, одним небольшим жестом внезапно охватить зрителя всего и сжать его в тисках своего настроения — это кажется чудом, этому не верится со стороны, — да и через минуту после того, как вы это сами на себе испытали, тоже не верится.

Каждое слово незнакомого языка становится точно родным, давно с детства заученным и только временно забытым, но теперь воскресшим в памяти с новой силой — так ярко насквозь освещено каждое слово у Новелли мимикой, выражением голоса, тысячью средств, которых со стороны и не определишь.

Давно не видела Одесса таких артистов и не скоро увидит.

Великий грех перед самим собою примет на душу тот, кто пропустит и не увидит теперь.

Такие впечатления не забываются потом во всю жизнь.



От студента Ивана N. N.:

«...В жизни бывают мгновения, когда не находишь более слов.

То, что над тобой совершается в такие минуты, так громадно и необычайно, что все слова бледнеют и теряют свою силу.

Я был на краю пропасти и потерял последнюю надежду, и вдруг меня спасли.

Теперь я не ослепну. Я завтра же еду в клинику.

Передайте добрым людям всю мою невыразимую воскресшую радость и мою благодарность, которую мне хотелось бы прокричать на весь мир.

Пришлите мне подробный отчет, который напечатаете, чтобы я знал все их имена. Может быть, когда-нибудь встретимся.

Я понимаю свой долг и не забуду его, и когда-нибудь и я подам руку другому погибающему так же отзывчиво, как эти люди мне...»



Г-н Лоэнгрин принял мой вызов на суд чести, но потребовал другой формулировки вопросов.

Согласен: это будет выработано в переговорах.

А г-н Знакомый от третейского суда отказался: комментарии не нужны.

Altalena

Одесские новости. 14.04.1903



Вскользь

Не могу согласиться с Корнеем Чуковским в его мнении о пьесе «На дне».

«Распоряжайся истиной, как тебе вздумается, как тебе будет удобнее; не ты должен служить ей, а она пусть послужит тебе.

Главное в мире не она, не истина, а счастье, благополучие».

Это, по мнению г-на Чуковского, мораль Луки.

Ничего подобного Лука не говорит и не думает.

Нигде он не является сторонником благополучия и удобства, да и странно было бы, чтобы бесприютный бродяга, сам счастливый своим бродяжничеством, отстаивал благополучие и удобство.

Г-н Чуковский совершенно верно замечает, что Горький всегда был идеалистом и пел «гимн во славу самоопределяющегося мира», но я ни в Луке, ни в Ниле не вижу ничего, что противоречило бы этому гимну.

Когда появились «Мещане», г-н Чуковский встревожился, что Горький сбился с пути и вместо гимна чистой бесцельности, вместо проповеди энергии ради энергии затащил старую песню про энергию ради таких-то и таких-то целей.

Я вглядывался в Нила и не замечал этого.

Правда, прежние «сильные» у Горького случайно были почти все из жуликов, а Нил — порядочный человек (по крайней мере, по замыслу), борец за общественные задачи.

Но ведь это случайность. Не все ли равно, ради чего энергия?

Даже в «Мещанах», пьесе насквозь неудачной, чувствовалось, что Горькому по-прежнему дорога главным образом энергия Нила, а не его цели — момент побочный и аксессуарный.

А Лука?

Из того, что Лука говорит: «Во что веришь, то и правда», совсем не следует, что Лука, так сказать, не признает общеобязательности императива и подчиняет его интересам брэнного благоустройства. Напротив. «Во что веришь, то и правда» — это ведь самый что ни на есть кантовский лозунг, потому что никакой императив немислим, если он не исходит свободно из индивидуальности, если Ивану не предоставлено самоопределяться по-ивановски, а Петру по-петровски.

Не то важно, какой императив, а то важно, чтоб был у человека императив.

И проповедь Горького, которого г-н Чуковский справедливо, но не совсем точно называет «скорее резонером, чем художником»: правильнее было бы сказать «художественный резонер» — проповедь Горького всегда была проповедью императива.

Он застал русское общество зевающим и ноющим именно потому, что у общества были нужды и потребности, но не было желания и стремления, — было готовое содержание для императива, но не было самого императива.

Горький стал будить в обществе то, чего нам не доставало, то есть именно способность желания, кипучесть энергии, властность императива.

А оружием в этой благородной задаче послужила ему благородная ложь — сказки-небылицы о какой-то Мальве, которой никогда на свете не бывало.

Разве Лука делает не то же самое?

Лука приходит в ночлежку, где все зевают и ноют.

Ни в ком нет энергии.

Лука бросает каждому в руки по небылице, и все на миг оживают и чувствуют прилив энергии, повышение жизнедеятельности!

Ведь это и нужно было.

Нужно было пробудить в людях императив, если не настоящий — этический императив, то хоть какой-нибудь стимул, чтобы машина шла, чтобы вода не застоялась.

Лука это сделал.

Разве Лука хочет благополучия? Нигде это не сказано.

Лука приносит не благополучие, а надежду, ибо у кого нет надежды, у того нет жизни, тот мертв. Лука зовет к жизни, а не к удобству.

Лука повторяет и поясняет то, что Горький повторял с первого своего появления в литературе.

Конечно, силы Челкаша, Мальвы, Сокола — уж нет у Луки, но это потому, что Максим Горький вообще пошел на убыль, а не потому, что Лука изменил Челкашу. Оба они братья по духу и по проповеди и зовут к одному и тому же, только говорят они на разных языках и разными притчами.

Горький как художник много раз предавал сам себя, слушаясь чужих влияний и советов, но как мыслитель, или, по Чуковскому, резонер, он ни разу не изменил себе, ни разу не отверг того лозунга, с которым вышел на поприще.

Странно и великолепно сложилась эфемерная судьба этого человека.

Смены общественных настроений идут из глубины, но если возможна иллюзия волшебного воздействия одного человека на целое общество, то никогда она не являлась более правдоподобной, чем на примере Максима Горького.



Вчера г-н Лоэнгрин поместил еще одно чье-то письмо по тому же вопросу.

Оно плохо изложено, так что я ничего не понял, кроме одной фразы:

«Даже *подмену* списков они в "Одесских новостях" открыто называли корректным способом аттестации на выборах».

Это неверно, потому что я писал следующее:

«Совать в руки списки желательных кандидатов — да ведь это общепринятый и корректнейший прием выборной агитации!»

Ни о какой «подмене» списков я никогда не слышал и не писал.

Но дело не в этом, а в том, что я не знаю, как мне быть.

Я слышал, что раз назначается суд чести, то газетный спор должен прекратиться.

Ибо судьям мы должны представить раз навсегда законченный материал, а не пополнять его каждый день новыми фельетонами.

Вчера мой представитель уже собирался начать переговоры, как вдруг нашел в «Южном обозрении» сей документ — и пришел в некоторое недоумение.

Как же так?

Надеюсь, что г-н Лознгрин согласится с этими резонами и отложит дальнейшую полемику, согласно принятому у культурных людей обычаю, до постановления суда чести.

Altalena

Одесские новости. 16.04.1903



Гастроли Эрмете Новелли

ЛЮДОВИК XI

После первой гастроли Э. Новелли у некоторых ценителей получилось впечатление, что наш высокодаровитый гость чистый жанрист, который в настоящей трагедии должен был бы чувствовать себя не в своей тарелке. Это мнение показалось мне ошибочным; мои воспоминания о Новелли настойчиво говорили мне, что он, напротив, артист изумительно всесторонний и во всех родах искусства всегда равный сам себе. «Людовик XI» подтвердил мое мнение: Новелли такой же великий трагик, как и жанрист. Но трагизм его — особенный.

Это — не львиная мощь старика Сальвини, а нечто другое. Томмазо Сальвини давал в трагедии прежде всего мощную, сверхчеловеческую индивидуальность, необыкновенной силы человека — и показывал, как страдают необыкновенные люди. И это страдание было трагически ужасно именно потому, что слишком колоссальное существо в воплощении артиста

являлось носителем страдания; зритель, сознавая себя жалким и маленьким, видел перед собою полубога, *героя*, все переживания которого в сто раз глубже и грознее наших, и проникался трагическим ужасом не перед самой болью, но перед могучей личностью, которая способна испытывать эту боль в таких нечеловечески колоссальных размерах.

Сцена в прежние дни вообще была поприщем героев и полубогов. На ней царем считался не настоящий человек — руда, в которой субстанция металла спутана с чуждыми примесями, но человек очищенный, углубленный, усиленный, увеличенный, освещенный более яркими огнями. Сцена в прежние дни была романтична; и трагизм Томмазо Сальвини явился высшей точкой ее развития. Трагизм старого Сальвини был велик, гениален — и отжил свое время. Теперь я слежу по газетам за прощальными вечерами последнего могикана героической сцены — в Италии, в миланском театре *Lirico*. Критики почтительно пишут о нем: *è un'arte che non è più la nostra* — это искусство уже не *наше* искусство.

Героическому, нечеловеческому трагизму Т. Сальвини — Эрмете Новелли принес на смену реальный человеческий трагизм. У Сальвини герой был всегда существо не нашего порядка, существо титаническое; у Новелли герой всегда человек, всем нам понятный и близкий. И когда Новелли передает крайние пределы страдания, наш трагический ужас формулируется уже не словами: «о, как ужасно страдают *полубоги*», — но словами: «о, как ужасно бывает *страдание*». У Сальвини страдали не мы, смертные, а кто-то другой, большой и могучий, и нам все время казалось, что именно в силу своей мощи он страдает так ужасно и что мы, смертные, на его месте то же страдание переживали бы не так глубоко. У Новелли страдаем вы, я, т. е. понимаем, что ужас и величие трагического страдания лежит в колоссальности самой боли, а не в особенной трагической организации той личности, которая является носительницей боли. Могут возразить, что это не трагедия, а просто драма, что для трагического страдания безусловно необходима сверхчеловеческая индивидуальность. Но когда Новелли в «Людовике XI», в сцене исповеди, мало-помалу раскрывает перед зрителями всю бездну своей души, в которой не осталось ни одного клочка, не сжигаемого страданием и ужасами, мы, все время сознавая, что душа Людовика есть душа обыкновенного человека, в то же время чувствуем, что страдание его чересчур громадно, что оно далеко перевалило за предел драматической

палитры, что ему другого имени нет, кроме трагизма. И тем поразительнее искусство Новелли, что он обыкновенную человеческую душу силой гения пригвождает к таким вершинам ужаса, до которых, казалось прежде, был открыт доступ только титану Прометею.

Не могу согласиться и с тем мнением, что Новелли больше удается статика чувства, чем динамичная сторона — постепенное нарастание чувства; и опять тот же «Людовик XI» является лучшим аргументом против этого мнения. Та же сцена исповеди — это полная, тонкохроматическая гамма нарастания ужаса и отчаяния: на глазах у нас вырываются первые проблески этих чувств, прячутся, борются с обнажающей их волей, толпятся, усиливаются, одолевают и наконец прорываются ревушим потоком, разрушая все плотины и торжествуя без преграды.

Я говорю все время об одной только сцене и умалчиваю о других. Но моя цель — доказать, что Эрmete Новелли артист, так сказать, спектральный, одинаково великий во всех тонах и регистрах, одинаково богатый и для драмы, и для трагедии, и для статики, и для динамики. Для этой цели одной сцены исповеди Людовика вполне достаточно; говорить же об остальных моментах пьесы значило бы анализировать непостижимо сложную, неуловимо тонкую интеллектуальную и художественную работу — задача для меня, не присяжного рецензента, совершенно непосильная*.

За одесскую публику стыдно до сраму. Если бы все театры пустовали, этому факту было бы объяснение в настроении, но вчера в Городском театре был полный сбор по не позво-

* Глубоко и душевно скорблю, что исключительные обстоятельства лишили меня возможности быть на этом спектакле, по общему отзыву действительно выдающемся. Быть может, я и изменил бы свое первоначальное мнение, на котором я пока и не настаиваю, так как оно сложилось у меня под впечатлением лишь двух ролей, сыгранных великим артистом. Думаю, однако, что, во-первых, «Людовик XI» сам по себе не дает для категорического в этом смысле суждения достаточно надежного материала, — и в этом отношении решающее слово должно принадлежать скорее исполнению Новелли роли Отелло. Во-вторых, сама характеристика автором трагизма Т. Сальвини, в противовес кажущемуся ему трагическим в исполнении Новелли, представляется мне совершенно ошибочной. Никто, быть может, из великих трагиков не был так близок к трагедии души человеческой, вне условий времени и места, как Сальвини. И если бы Новелли при своем таланте жанриста хоть в какой-либо манере приблизился к этому трагизму, он должен был бы быть признан действительно величайшим артистом нашего времени.

тельно высоким ценам. Значит, никакого «настроения» нет, кроме обычного мещанского расположения духа. И если наша публика не ходит смотреть Эрмете Новелли и благодарит его вниманием за честь, оказанную Одессе его посещением, это объясняется только захолустной некультурностью. Если бы Новелли побывал уже в Петербурге и Москве и там его бы похвалили, тогда и одесситы, без сомнения, не стали бы жалеть свои целковые. Но великий артист по ошибке принял нашу лужу за самостоятельную умственную точку и вообразил, что у нее хватит смелости признать себя первым и независимым судьей, — и ошибся. Мы, очевидно, не доросли до собственного мнения, мы все еще хотим щеголять непременно в тех обноскох, которые уже использовали наши умственные дядьки — Петербург и Москва. Жалок и трусоват провинциал...

Altalena

Одесские новости. 16.04.1903



Гастроли Эрмете Новелли

ПАПА ЛЕБОННАР

Новелли недаром считает эту роль своим *cavallo di battaglia*¹: в ней он имеет полную возможность проявить почти все лучшие стороны своего дара. Прежде всего, безукоризненная обрисовка типа. В первом акте Лебоннара спрашивают:

— Вы — свободомыслящий?

— Нет, — отвечает Лебоннар, — я не свободный мыслитель, я свободный мечтатель!

И с первого слова, с первого движения Новелли на сцене вы уже знакомы с этим мечтателем, вам уже ясно и его прошлое, и его настоящее: ясно, что он родился честным ремесленником и таким умрет, несмотря на богатство; ясно, что он законы сердца ставит выше законов ума, что он и мягок, и добр, и кроток, сколько угодно, но за то, в чем его святыня, сумеет постоять горюю. И когда он, с места в карьер, заявляет доктору Андрэ: «Любите вы мою дочь? Она вас любит», — зрителя это не поражает, не кажется оригинальным — до того оно естест-

¹ Конёк; букв.: «боевой конь» (*итал.*).

венно и понятно вытекает из типа. Все подчинено типу: в бешеной вспышке третьего акта вы, даже содрогаясь от сильного волнения, все же узнаете того самого рара Лебоннара, который в первых двух действиях с таким юмором подтрунивал над своим положением Pantoffelheld¹. Кажется, будто для Новелли каждая новая роль — особый инструмент — сегодня скрипка, завтра флейта — и он, всеми одинаково виртуозно владея, на каждом из них исполняя и мажорные, и минорные вещи, всегда оттеняет основной характер, особенный тембр каждого инструмента.

Лучшим актом у Новелли был четвертый, где после грозы в доме Лебоннара наступает снова вёдро. Артист проявил здесь много прелестного старческого лиризма, трогательного в своей всепрощающей примиренности.

Труппа Эрмете Новелли удивляет прекрасным ансамблем. Даже более слабые артисты никогда не режут глаз, не делают диссонанса; кроме того, в труппе есть хорошие силы. Г-жа Ольга Джаннини дала со своей стороны хорошо обрисованный тип m-me Лебоннар, высокомерной, самовластной; некоторая холодная аффектированность, свойственная этой эффектной артистке, очень шла к данной роли. Г-н Саббатини (сын Лебоннара) придавал достаточно типичности этому птенцу с адвокатским дипломом, франту, спортсмену, свысока смотрящему на мешковатого отца. Роль Жанны, дочери Лебоннара, довольно бесцветна; г-жа Кьянтони сделала из нее все, что можно было. Это артистка еще очень молода и обещает в будущем выработать в нечто очень ценное, особенно если отрешится от некоторой формальной рутинности приемов.

В заключение отвечу несколько слов на вчерашнее примечание г-на Старого Театрала. С тем, что Т. Сальвини передавал «душу человеческую вне условий места и времени», нельзя не согласиться. Но нельзя, по-моему, не признать и того, что Сальвини, романтик, играл титана, а Новелли, реалист, человека, что трагизм Сальвини был трагизмом личности, а у Новелли трагизм самой жизни.

Altalena

Одесские новости. 17.04.1903

¹ Подкаблучник; муж, находящийся под башмаком у жены (нем.).


Вскользь**БЕСЕДА С ЭРМЕТЕ НОВЕЛЛИ**

— Commendatore¹, — сказал я, — вы сделали одну попытку, которая особенно интересна для нас, обитателей русской провинции. Я говорю о вашем опыте первого постоянного театра в Риме — о вашей Casa di Goldoni².

— Не совсем постоянного, — поправил Эрмете Новелли, — мы там проводили только пять месяцев зимнего сезона, с тем чтобы весной и в начале осени кочевать по Италии и немного за границей.

— Совершенно верно. То есть с вашей стороны это была попытка поставить театральное дело и в Италии так, как оно поставлено в этом отношении в России. В России почти все лучшие актеры сосредоточены в столицах; там они остаются весь зимний, т. е. главный, сезон, а к нам приезжают на недельку в каникулярное время. Так?

— Так.

— В Италии всегда было иначе. Лучшие артисты Италии всегда кочевали по стране, равномерно останавливаясь в каждом выдающемся городе, и оттого вся Италия знает своих лучших артистов. Ваш опыт с Casa di Goldoni доказывает, что вы этим порядком недовольны. Не откажите же объяснить две вещи: во-первых, что руководило вами в этой попытке, во-вторых, что вы вынесли из этого опыта.

— Извольте. Руководили мною исключительно интересы искусства. Кочевая труппа никогда не может достигнуть совершенства. Расходы переездов так велики, что приходится сокращать персонал; в театрах никогда не находишь всех нужных приспособлений; ничего нельзя обставить, как следует. Для оседлой труппы всего этого не существует: она может спокойно и не торопясь совершенствоваться. Я мечтал дать Риму такой национальный театр, чтобы мы могли не завидовать Парижу и Берлину.

— А что выяснил опыт?

¹ Командор (почетное звание в Италии).

² Дом Гольдони (итал.).

— Опыт выяснил многое. Прежде всего, я рассчитывал на содействие со стороны правительства и муниципалитета, но ничего не дождался ни от правительства, ни от муниципалитета. Только тогда, когда я, просядив все свои деньги, заработанные упорным трудом в долгие годы скитаний, решил отказаться от непосильного предприятия, тогда они вспомнили обо мне и стали меня чествовать задним числом...

При этих словах я вспомнил то, что довелось читать об этом чествовании, действительно беспримерном. По правую руку Новелли на этом банкете сидел Саракко, президент сената, по левую Бьянкери, президент палаты, — два 80-летних старца, которые даже при дворе никогда не показываются. Министры, депутаты, ученые, телеграмма от короля... И мне вспомнилась добрая римская поговорка:

*Troppo tardi, sor Nicola!*¹

— Но, — продолжал Новелли, — если бы меня вовремя поддержали, дело кончилось бы иначе. Я даже не говорю о поддержке материальной. Тут нужна была моральная поддержка; нужно было, чтобы король, палата, синдик², управа публично показали, что признают мою попытку делом национального достоинства. Это повлияло бы и на публику. Без этого римская публика сразу почувствовала себя в положении балованного ребенка, которому навсегда подарили понравившуюся игрушку. Прежде, когда я приезжал на месяц, все торопились побывать в театре, и каждый вечер давал полный сбор; но когда я сделался не гостем, а постоянным артистическим гражданином Рима, стали рассуждать так: сегодня я занят, пойду в театр завтра — ведь они не уезжают... Но все же я могу сказать с чувством удовлетворения, что с художественной стороны я кое-что сделал. Директор Сент-Джемского театра видел у меня «Шейлока» и пришел в восторг, потому что это была настоящая Венеция. Мне удалось усовершенствовать ансамбль и обстановку до такой степени, какая была бы недостижима для кочевой труппы.

— Значит, вы по-прежнему стоите за оседлые труппы?

— По-прежнему. Моя попытка не удалась, и другой я не предприму, но думаю, что оседлая труппа в интересах искусства гораздо желательнее кочевой.

¹ Слишком поздно, синьор Никола! (*итал.*)

² Мэр (*итал.*).

— Но публика других городов, одинаково со столичной культурная, неужели она должна довольствоваться звездами второй величины или летними гастрольями, в то время как избалованным столицам отдается все лучшее?

— Видите ли, — сказал Новелли, — я говорил только об Италии. У нас достаточно хороших артистов, хватит и на Рим, и на Милан, и на Неаполь. Но все это, конечно, не может относиться к стране, которая гораздо обширнее Италии и в то же время беднее артистами. Тут, конечно, вряд ли справедливо отдавать все лучшее столицам. Тут следовало бы равномернее распределять блага искусства между важнейшими городами севера и юга, запада и востока...

Я перевел разговор на театр Станиславского.

— Я думаю, — сказал Новелли, — что вполне возможно примирить прекрасный ансамбль и стройность режиссерской части с личным творчеством отдельных артистов. Я, как режиссер, стараюсь сочетать эти два принципа так, чтобы один дополнялся другим. Я указываю тон, объясняю характер эпохи, требую исторической и психологической правды от каждого исполнителя, но затем даю ему свободу проявлять на свой лад свою индивидуальность... Что же касается обдуманной правдивости обстановки, то я всецело на стороне Станиславского. Иллюзия в театре необходима. Небрежная постановка там, где есть возможность обставить пьесу правдиво, непростительна.

Я могу, в самом деле, констатировать, что постановки в театре Casa di Goldoni поражали бытовой и исторической правдой. Впрочем, об этом можно судить и в Одессе — по костюмам.

— Верность эпохе, расе, типу — прежде всего, — продолжал Новелли. — Знаете, как я понимаю «Отелло»? Это не есть драма ревности. Это — драма ревности мавра, черного и дикого существа. Вся психология Отелло — это психология дикаря. И не думайте, что это — мой собственный домысел: это прямо и ясно показано самим Шекспиром. Шекспир не ждет комментаторов: он сам себя объясняет. В «Отелло» первые три акта, с точки зрения фабулы, не нужны. Действие все в четвертом и пятом. Зачем же тогда первый, второй и третий? Для того именно, чтобы объяснить, кто такой Отелло. Первые три акта целиком посвящены характеристике Отелло. Стоило только вникнуть в эту авторскую характеристику, чтобы понять, что Отелло — прежде всего мавр, дикарь, и из этого вытекают все его достоинства и недостатки.

— Мне известно, — заметил я, — что вы вообще относитесь с особенным вниманием к расовым оттенкам. Я это помню по вашему «Шейлоку».

— Да, да. Между прочим, читал я как-то Гейне — о знаменитом Кине в этой роли. Гейне восторгался Кином; но по тому описанию игры Кина, которое он дает, я вижу, что Кин ни по внешности, ни по замыслу не приблизился к типу средневекового итальянского еврея, и особенно испанского. Странно, что Гейне этого не понял — тот самый Гейне, который впервые так остроумно и справедливо указал на то, что Шейлок — жертва юридического насилия, неправосудия, пристрастия, что формальное право — на его стороне, а его противники — крючкотворы. Странно, что эта тонкость суждения не помогла Гейне обратить внимание на то, что Шейлок Кина был очень мало похож на еврея... Надо знать, чем были тогда евреи в Венеции. Они преследовались, считались отверженными; их обязывали носить головные уборы позорного желтого цвета; чтобы скрывать свои дела от христиан, всегда к ним враждебных, им приходилось говорить между собою по-еврейски: это придавало их произношению гортанный и жалобный оттенок, которого вы и следов уже не найдете у современного итальянского еврея. Затем у евреев того времени вследствие употребления в пищу гусяного сала и вследствие сидячей жизни под старость опухали ноги: отсюда у Шейлока неверная, переваливающаяся поступь. Движения тогдашнего еврея, всегда опасавшегося задеть или толкнуть кого-либо, никак не могли быть широкими и свободными: жесты Шейлока сжаты, мелки, осторожны...

В заключение я предложил Новелли еще один вопрос, и он мне ответил целой маленькой лекцией, которую я рекомендовал бы вниманию русских актеров с эпиграфом: «Вот как работают великие артисты».

— Почему, — спросил я, — вы изменили конец «Семьи преступника» и ваш Коррадо умирает не от яда, а от разрыва сердца?

— Я в вопросах искусства немного то, что у нас называется *codino* (человек с «косичкой», т. е. консерватор). Искусство, по-моему, должно быть красиво. Каким же ядом можно отравиться на сцене? Во-первых, мышьяком, но смерть от мышьяка сопровождается коликами в кишках, которых нельзя перенести на сцену, так как они слишком уж неэстетичны. Во-вторых, каким-нибудь опиатом: но опиаты действуют на

мозг и вызывают предсмертное помешательство, а Коррадо до последнего момента должен сохранить полное сознание, чтобы слышать, как дочь называет его «padre mio»¹. В-третьих, каким-нибудь из ядов, действующих мгновенно, например кураре, но в этой роли нужна не мгновенная, а медленная смерть. Остается стрихнин, которым пользуется Дзаккони. Но стрихнин вызывает столбняк. Спросите врачей, и всякий вам скажет, что при tetanus² получается мгновенно непреодолимое сжатие челюстей, так что нет никакой возможности произнести хотя бы слово, а Коррадо должен говорить. Следовательно, яды здесь не у места... Что же касается смысла драмы, то я не нахожу, чтобы самоубийство Коррадо было необходимо для выяснения идеи. Настоящее заглавие этой драмы — «Гражданская смерть» — оправдывается и без самоубийства. Разве не ясно сразу, что Коррадо граждански умер, что ему нет места в жизни? Так не все ли равно, сам ли он себя убивает или умирает естественной смертью?..

Altalena

Одесские новости. 17.04.1903



Вскользь

Из одного письма:

«На днях я прочитал в одном из ваших фельетонов о некоем управляющем некоей пивной, который имел поползновение обойтись чересчур ласково с одной из служащих девишечек, Анютой Ч.

Могу вас уверить, что это — факт довольно заурядный.

Но сомневаюсь, окажет ли ваш фельетон какое-нибудь действие.

Вы пишете об "одном" таком господине, не называя места происхождения.

Следовательно, о "нем" самом никто ничего подлинно не знает; он же позлится, позлится на вас, затем посмеется — и так как никто ни в чем его не уличил, не остановится и воспользуется ближайшим случаем, чтобы совершить такую же гнусность.

А о тех господах, на которых вы в данном случае даже не намекали, и говорить нечего: они и не подумают остановиться на своем пути.

¹ Отец мой (*итал.*).

² Столбняк (*лат.*).

Чтобы обличение произвело свое действие, надо, по-моему, предавать огласке имена таких господ.

Этого они боятся, очень боятся. Родственники, знакомые, посетители пивной и многие другие узнают... Хуже этого наказания для них нельзя придумать.

Мне кажется, что лишь таким путем можно сколько-нибудь помочь делу.

Если гласить, то все!

Каждый вредный человек должен быть пригвожден к позорному столбу.

Пусть все видят его и сторонятся.

Если вы убеждены в справедливости сообщенного вами факта, назовите имя этого управляющего.

Обличайте без утайки.

Я считаю гласность наилучшим средством, но тогда, когда эта гласность полна, когда мы знаем, *кто* что сделал, *кого* мы должны презирать, на *кого* указывать как на врага.

Надеюсь в одном из ближайших фельетонов ваших увидеть имя и фамилию этого управляющего».

Все это, конечно, весьма резонно.

Тем не менее, как сказано у баснописца:

— Не надейся по-пустому...

Altalena

Одесские новости. 19.04.1903



Вскользь

*Ceci tuera cela*¹.

В нижнем фельетоне г-на Слово-Глаголя вы найдете интересный вопрос.

В самом деле, юноша в литературе стал что-то очень похож на юношу в жизни.

Говоря строго, это даже не есть несходство, а просто односторонность.

Юноша в современной русской литературе или развратничает, как у г-на Андреева, или пьет водку и крадет деньги, как у г-на Найдёнова, или кончает самоубийством, как у г-на Дымова.

Отрицать правдивость этих типов нельзя.

¹ «Это убьет то» (*фр.*) — цитата из романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Трудно не узнать в них, действительно, наших знакомцев, что рыщут, переодетые, по всяким скверным местам, дуются в орла и решетку и крутят любовь с горничными.

Так что в этом отношении картина верна.

Но... а другая половина?

Юноша развратничает и пьянствует, юноша играет в карты и иногда даже нечисто играет, но ведь не в этом все, ведь не за это славна Россия своей молодежью, не за это завидуют России другие земли, когда говорят о российском юношестве.

Где другая половина?

О ней не говорят и не рассказывают писатели. Говорят лишь о первой.

И хотя об этой первой говорят правду, но так как правда эта половинчатая, то она больше похожа на ложь.

Но вдумайтесь глубже.

Осмотрите внимательнее хотя бы этого самого Алешу Ванюшина.

Да, он украл у отца шестьдесят рублей, он связался с хористкой, он погрузился в болото.

Но ведь глаза его наконец открылись, он понял все, ужаснулся, встряхнулся и стал другим.

Он бросает разлагающийся дом Ванюшиных и едет в Петербург — на войну с жизнью.

Кто же знает, чем стал Алексей Ванюшин в Петербурге?

Кто знает, пошел ли он и там по скверным местам или по хорошим?

В Алеше сочетались оба полюса: молодежь бильярда и молодежь подвига.

Победит ли первая вторую, победит ли вторая первую?

Не мое дело дать ответ: жизнь даст ответ на этот вопрос.

Да и теперь уже дает — для того, кто всматривается.

И кто хорошо всмотрится и увидит то, что происходит, и потом обернется и взглянет на литературу, тот, быть может, уже не изумится:

— Почему здесь все юноши, как на подбор, такие, а не другие?

Для него, может быть, весь этот подбор вдруг получит другое, особое значение, и он станет серьезен лицом и снимет шапку, как человек, пришедший на панихиду.

Ибо он увидит другой смысл во всей этой литературе, где герой — неврастеник, а сюжет — помешательство.

Смысл отходной молитвы, смысл последнего напутствия вымирающим.

И тогда поймет, почему столько места отвели этому неврастенику на столбцах литературы и почему молчат о другой половине.

Потому отвели столько места юношеству нездоровому и безвольному, что теперь именно идет его агония.

Эта литература — бюллетень его умирания; и после многих бюллетеней будет еще много некрологов.

Ибо всегда много пишут об умерших, между тем как не всегда пишут о живых; но нельзя из того заключать, что живые мертвы, а умирающие и умершие живы.

Умирает юноша без догмата, оживает юноша подвига; пусть же совершаются равно благословенные процессы возрождения одного и гибели другого.

Когда я написал о том, что «на дне» нет человека, а есть только труп, мне прислали несколько писем с протестами против этой безжалостной теории.

Я же думаю, что это есть теория большой жалости.

Ради жалости строится армия спасения; ради жалости для нее вербуют стойких людей; ради жалости говорят дряблым людям:

— Прочь!

Чтобы их присутствие не ослабило армии спасения.

Быть на дне значит не только спать в ночлежном приюте; всякая апатия есть дно.

И подобно тому, как на дне воды неподвижно не может лежать человек, а только труп, так и тот, кем овладела апатия, уже не человек, а труп.

Я не верю в болезни всех этих неврастеников.

Нервы их нездоровы, но ни у кого в наше время нет здоровых нервов.

Но у кого есть что-нибудь за душой, кроме нервов, у кого есть догмат — для того святое волнение догмата заслоняет жалкое ворчание нервов.

Кто без догмата, без стремления — только для того нервы на первом плане.

Тот тип, в котором видят теперь юношу-неврастеника, есть на самом деле юноша без догмата и стремлений.

Это он теперь вешается, топится, отравляется; это он теперь вымирает.

И пусть. Жалко — но не все ли равно трупу: лежать на поверхности земли или под землею?

Пришло такое время, когда нужна энергия; и мы все это чувствуем.

В такое время всякой энергии — хотя бы и хромой, и кривой, мы говорим:

— Добро пожаловать.

Ибо хромого можно посадить на плечи кривому, и хромой будет указывать дорогу, а кривой пойдет по ней.

Только из одной апатии ничего, кроме дурного балласта, не сделаешь.

Жалейте о тех, которые ошибаются, и о тех, которые на всем скаку налетели на стену и разбились, но не жалейте о тех, у кого апатия.

Пусть вымирают.

*Пусть поклонятся рассвету,
восходящему в лазури:*

*— Ave, Caesar Imperator,
te salutant morituri!*¹

Altalena

Одесские новости. 20.04.1903



Вскользь

В письме г-на Нилуса мне особенно понравилась заключительная фраза.

— Мы, мол, отвечали *только* на заявление старшин.

Сиречь: не подумайте, будто мы отвечаем на то, что писали о конфликте в Литературно-артистическом обществе газетчики.

Нет. Газетчикам, мол, мы не стали бы отвечать. Мы с этими людьми в разговоры не вступаем.

Так говорит правление общества, которое называется литературным.

Со всяким моим уважением берусь изъяснить г-ну Нилусу и всему правлению нашего клуба, что они весьма ошибаются.

Если бы они состояли в правлении банка или кредитного общества, то игнорирование газетчика было бы с их стороны вполне понятно: там — традиция, там — прячут концы в воду, там — газетчик неудобен.

Но в литературное общество, милостивые государи, вступают с другими критериями.

¹ Здравствуй, Цезарь император, // идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.)

Член общества, именуемого литературно-артистическим, а особенно член правления должен понимать, как надо относиться к голосу газеты.

Особенно здесь, в Одессе.

Наше Литературно-артистическое общество очень многим обязано газетам.

Газеты его поддерживали, печатали и обсуждали его четверговые рефераты, оповещали мир о его музыкальных субботах; одесские газеты любили это общество и заботились о нем.

Посему не мешало бы, хоть из простой благовоспитанности, усвоить другой тон, другое отношение к критике одесской печати.

Правление такого общества нравственно обязано отчитываться главным образом перед общественным мнением, и потому к голосу печати должно прислушиваться с уважением и вниманием.

Так должно поступать правление общества, именуемого литературно-артистическим, и так оно будет поступать, независимо от того, пожелает ли этого нынешний состав правления или не пожелает.

Я никогда не был против допущения нелитераторов и неартистов в члены этого общества.

Напротив, я всегда думал, что задача этого общества — не только одно сближение между здешними журналистами, художниками, актерами, но также (и главным образом) привлечение к интересам литературы и искусства наибольшего числа интеллигентных обывателей.

По-моему — милости просим в члены клуба всякого, кто интересуется духовными течениями наших дней, какова бы ни была его профессия.

Но тон общества, его направление должны быть строго литературными, строго артистическими — иначе незачем и существовать Литературно-артистическому обществу.

Так оно и было до сего времени, потому что главную роль в деятельности общества играли четверги.

Общество знали по четвергам. О нем говорили благодаря четвергам.

И эти четверги устраивались исключительно старшинами литературной секции.

Г-н Нилус пишет, что старшины были простыми помощниками правления по устройству литературных собеседований.

Да — настолько, насколько управляющий домом является «помощником» хозяина, когда хозяин уехал за границу.

От правления никто и не требовал, чтобы оно отказалось от своей обязанности — контролировать деятельность старшин.

Но вся работа принадлежала старшинам. Они, часто с большим трудом, добывали рефераты; они обсуждали, допустить или не допустить данный реферат; они председательствовали на четвергах.

Правление, особенно если не считать ушедшего И. А. Смирнова, пальцем о палец не ударило для четвергов. Я за это не виню правление — так и следовало, для того секция и выбрала более компетентных старшин, чтобы они вместо правления руководили наиболее важной функцией общества.

Я не отрицаю права правления приостановить четверги, если есть основательные причины, но тогда в заседание надо было пригласить старшин и посоветоваться с ними, которые столько поработали.

Правление общества, носящего столь просветительский характер, должно подавать примеры корректности, благодарности и гражданской благовоспитанности, а не наоборот.

Собрались и сочли себя вполне компетентными, дабы постановить:

— Отменяем литературу.

Вот как? Ну, это мы еще посмотрим.

До скорого свидания.



Пользуюсь этим случаем, чтобы высказать несколько соображений.

Все, кому приходится сравнивать наш город с другими, например с Киевом, утверждают, что в Киеве жизнь куда интереснее.

А между тем *внешние* проявления духовной жизни гораздо ярче у нас: взять хотя бы одесскую прессу, несомненно, более живую, или это самое Литературно-артистическое общество, играющее такую видную роль в умственной деятельности Одессы.

Но беда наша в том, что все внешнее оживление, проявившееся в последнее время, так внешним и осталось и не прошло вглубь.

В Киеве приезжий не найдет «четвергов», получит несколько старомодную газету, но зато первый же знакомый введет его в небольшой оживленный кружок, где живут общими интересами и оживляют друг друга.

У нас в Одессе внутри публики нет кружков, нет этих милых и уютных группировок из 15 или 20 человек теплой молодежи, женщин и мужчин, которые часто сходились бы, вместе бы читали, или спорили, или пели, или плясали, или ездили бы ловить рыбу на Фонтан, или что угодно, лишь бы вместе, семьей.

Мы в Одессе живем каждый отдельно; у каждого — своя пара знакомых, с которыми давным-давно не о чем разговаривать; остальное — скучные визиты к посторонним людям.

Если бы то оживление, которое создано в Одессе Литературно-артистическим обществом и газетами, разлилось вглубь, то нам было бы гораздо веселее и интереснее жить, и молодежь не так часто стояла бы, разинув рот, и не так часто спрашивала бы с тоскою:

— Что делать? Где найти удовлетворение? На каком суку повеситься?

Altalena

Одесские новости. 29.04.1903



Вскользь

Лекция г-на Волинского, de omni re scibili et quibusdam aliis¹, объяла сразу все уголки человеческого духа — от Мопассана до иконы «Ширшая небес».

Вот уж подлинно лекция, ширшая небес.

Думаю, что в ней г-н Волинский чересчур быстро коснулся чересчур многого.

Особенно если принять во внимание, что действие происходило в нашем безграмотном городе.

Я готов держать пари, что большая часть публики так и не поняла, «что такое идеализм», несмотря на всю отчетливость построенной лектора.

Но не в том дело, в конце концов.

Я того мнения, что оно, собственно, весьма не важно — понимает ли публика, что такое идеализм, или не понимает.

Публика не бывает ни идеалисткой, ни материалисткой: она бывает только или пассивной, или активной.

Пассивной — в годы отлива, и тогда она бездействует и не отстаивает правды.

¹ Обо всех вещах, доступных познанию, и о некоторых других (*лат.*).

Активной в годы прилива, когда она кипит жаждой дела и стоит за правду.

Не ей, публике, нужна окраска идеализма или материализма, но ее учителям и руководителям.

Но толпе, но вожакам ее, для того чтобы они могли воодушевиться и воодушевлять других, необходима та или другая цельная, в один резкий цвет окрашенная система убеждений.

Поэтому — если поняли немногие — это не беда, ибо и поняли-то именно те, кому понять надлежало.

Все дело только в одном: есть ли данная система как раз та, которая в настоящую минуту была бы способна одушевлять?

Я лично этого не думаю об идеализме: глубоко чувствуя во многом законность и необходимость этого течения, я, однако, твердо уверен, что не оно явится камертоном того активного настроения, которое нам, очевидно, предстоит ныне пережить.

Но не принимать, что идеалистическое течение есть одна из благороднейших попыток найти этот камертон, один из честнейших порывов к освобождению и прогрессу, — не понимать этого могут лишь господа Оболенские, эти последние тучи расеянной бури в стакане воды.

Да... Как посравнить да посмотреть: век нынешний и век минувший...

Теперь господа Оболенские поредели: раз, два, и обчелся; и когда они вопят о г-не Волынском старую сплетню: «реакционер!», то глас их теряется в пустыне глубокого невнимания.

А ведь еще только пять лет тому назад господа Оболенские были в большинстве, и Волынский считался ретроградом, мракобесом и на Волынского кричали:

— Улюлю! Ату его!

Выходило что-то непостижимое. Человек глубоко европейского настроения, пламенный мечтатель о лучшем будущем, враг безобразия, именуемого произволом и надругательством, был ославлен на всю Россию чуть ли не соумышленником г-на Грингмута.

— Что же он написал такого ужасного? — спрашивал тогда недоумевающий.

— Он? Он оплевал Чернышевского, Добролюбова и Писарева в своей книге «Русские критики»! — отвечали господа Оболенские.

— А! — говорили люди, испуганно мотая себе на ус, и потом передавали друг другу:

— Знаете ли, Волынский оплевал Чернышевского.

А между тем в этой толстой книге «Русские критики» не было ни одной страницы, которая не дышала бы уважением к великим заслугам славной плеяды; и, выясняя ее философскую слабость, г-н Волинский указывал на ее талант, искреннюю веру, отвагу, самоотвержение.

Но сплетня росла. Книга была всем доступна; она была в витринах лавок, в каталогах библиотек: было так легко заглянуть в нее и проверить, правда ли, что Волинский «оплевал».

Что же это был за гипноз, убедивший всех в такой неправде, которую ничего не стоило опровергнуть? Что дало такую силу глупой клевете?

Свежо предание, а верится с трудом...

Жалкие господа были эти люди 90-х годов.

Бездельничая и умничая, они сидели на своих завалинках, клевали носом и время от времени, восторженувшись, строго опрашивали друг друга:

— Эй! Верен ли ты по-прежнему прогрессивным убеждениям?

— Верен.

— А шестидесятые годы по-прежнему чтить?

— Чту.

— То-то! А теперь можешь опять баиньки.

И засыпали.

Ни шерсти, ни молока не было нам от этих людей, но они были верны убеждениям и чтили эпоху и потому считали себя весьма достойными почтения.

И вдруг выступил человек и сказал:

— Господа, а не мешало бы устроить небольшой пересмотр наследия шестидесятых годов...

Тогда они все восторженулись, оживились и закричали:

— Ату его! Это ретроград! Гоните его прочь!

Что же, загнать одного человека было не трудно: ему зажали рот, его лишили печатной трибуны. Незыблемость заветов великой эпохи была доблестно защищена!

И, защитив ее, эти господа опять уселись по своим завалинкам и заклевали носами...

Жалкое время, бесполезные люди — как хорошо, что оно уже прошло и они сходят со сцены.



Одесса, кажется, совсем не знает Артура Шнитцлера ни как новеллиста, ни как драматурга.

Должен покаяться, что я в этом отношении вполне одесит: Шнитцлер мне знаком только по двум сборникам одноактных пьесок — трилогии и тетралогии, да вот сегодня рассчитываю посмотреть его «Сказку».

По тому немногому, что знаю, настроение этого венского еврея представляется мне своеобразно похожим на настроение Леонида Андреева.

Шнитцлер — кажется мне — тоже глядит на мир глазами, широко раскрытыми от мистического ужаса, тоже чувствует под видимой внешностью жизни словно шуршание какой-то незримо свершающейся тайны.

Это — один из учителей нового, более углубленного «религиозного» отношения к жизни, которое теперь так сильно называется всюду, которое привело к возрождению идеализма, которое всегда неслышно и своеобразно присутствует у Чехова, которому, наконец, не чужда последняя вещь В. Г. Короленко — «Не страшное».

Посмотрим, что скажет «Сказка»; и — так как это бенефис г-жи Пасхаловой — простимся радушно на год с любимой артисткой, в которой мы теперь увидели и добрую гражданку.

Простимся радушно и пожелаем ей успеха в Москве; и в особенности пожелаем ей свободы творчества, свободы развивать свой талант.

Бывает часто, что артисту приходится играть не для себя, а для антрепризы, то есть не те роли, в которых его истинная дорога, а те, которые дают антрепренеру лишнюю сотню сбору.

Пожелаем всякому артисту, и сегодняшней бенефициантке в частности, — освободиться от этого ярма и добиться наконец для себя строго *своего* репертуара.

Altalena

Одесские новости. 2.05.1903



Вскользь

В Тифлисе г-жа Яворская пользуется большим успехом. Тамошняя печать, по крайней мере, совсем в восторге. А уж о компетентности тамошних рецензентов никаких сомнений быть не может.

Народ понимающий. Тонкий народ.

Вот, например, рецензент газеты «Кавказ».

Солидный мужчина. Пишет солидно и, так сказать, зычно.

«Я уже не раз писал, что я совсем не согласен с мнениями некоторых людей, мнящих себя рецензентами, об исполнении г-жой Яворской заглавной роли пьесы "Орленок", — гласят его строки.

Тон внушительный. Без сомнения, все эти людишки, мнящие себя рецензентами, должны быть уничтожены одним этим тоном.

Но автор умеет не только карать и подавлять. Он, кому нужно, и улыбнуться умеет, и погрустить умеет.

Например:

«Еще два дня, и тифлисы должны будут расстаться с доставившей им так много удовольствия знаменитой нашей русской актрисой Л. Б. Яворской».

Вот уж подлинно: сказал — как рублем подарил. Наша знаменитая актриса должна быть очень польщена.

А тут тон вдруг меняется и сразу становится презрительным:

«На смену ей прибывает труппа под управлением являющегося чуть не ежегодно в Тифлис г-на Правдина».

Это называется — убить, одним словом убить. Сила таланта! Г-н Правдин еще не приехал, а уже убит.

Но автор еще не удовлетворен и продолжает убивать г-на Правдина и дальше.

«В *пустом* (ага!) театре Артистического общества наступит скука *от разных "Гамлетов" и "Отелло"* и чрезвычайно плохого репертуара, *с позволения сказать, невозможных пьес...*»

Одессита, который имел удовольствие в прошлом году целый сезон подряд читать в «одной из местных газет» рецензии г-на Ефа, ничем, конечно, не удивишь, но, господа, это, знаете ли, в своем роде не хуже г-на Ефа.

«И не будем больше видеть такого чудного г-жою Яворской исполнения таких ролей, как, например, "Орленка"».

Прелестно.

«Чудного г-жою Яворской исполнения...»

Словно цитата из исходящей бумаги:

«...для немедленного вашим благородием приведения в исполнение...»

Какое *чуждое* сочетание стилей поэтического с канцелярским!

«Такое разумное исполнение *чуждой* роли...»

«Как *чуждо* была проведена последняя картина...»

Г-жа Яворская должна быть очень, очень, очень польщена.

Но кто будет польщен больше всех — это мой коллега г-н Старый Театрал.

Ибо наибольшую честь тифлисский рецензент оказал именно ему, подписавшись его псевдонимом.

Так-таки взял и подписался: «Старый Театрал».

Приятное совпадение.

Оно, однако, наводит на размышления и догадки.

Стиль заимствован у одесского рецензента Ефа, псевдоним у другого рецензента — тоже из Одессы...

Может быть, этот тифлисец сам из Одессы? Может быть, неровен час, это и есть сам г-н Еф, пропавший было с горизонта и ныне вон где вынырнувший?

Ау! Г-н Еф! Вы или не вы? Отзовитесь!..

Altalena

Одесские новости. 3.05.1903



Вскользь

Смейся, паяц!

То есть чего мне теперь весело — даже рассказать вам не сумею.

На днях какой-то доброжелатель написал мне сочувственное письмо, где говорилось:

«Мне бы хотелось, чтобы вы знали, что все мы в эти дни понимаем ваши страдания, страдания бедного молчаливого журналиста...»

Страдания? Мои? Какие страдания?..

Я и не думаю страдать. Мне очень весело.

И почему это я — молчаливый журналист?

Разве я молчу?

Клевета. Я не молчу, я пишу, я исполняю мой гражданский долг. Я, например, вчера писал о том, что в газете «Кавказ» есть один смешной театральный рецензент.

Успокойтесь и не волнуйтесь, г-н Доброжелатель: я, поверьте, вовсе не страдаю, а напротив, провожу время с приятностью.

Встаю в десять часов, умываюсь, одеваюсь, пью чай со сдобными булочками.

Сдобных булочек съедаю иногда две, иногда три. Вообще, люблю разнообразие.

Часов около двенадцати, просмотрев газеты, надеваю котелок, беру в руку тросточку и выхожу на бульвар.

Гуляю, дышу воздухом, люблюсь весенними барышнями.

Изредка, если барышня одна, без кавалеров и если близко никого нет, я, проходя мимо, учтиво говорю ей:

— Цыпочка.

Иногда на бульваре встречаюсь с кем-нибудь из приятелей.

Среди них есть славные ребята. Можно прекрасно провести время.

Многих из них я даже ужасно люблю. Такие милые! Как сойдемся, да как начнем рассказывать похабные анекдоты, так и за целый час не кончим. Целое море похабных анекдотов, один смешнее другого!

Иногда же встречаюсь с кем-нибудь из журналистов, и тогда мы ведем разговоры серьезные.

Чаще всего об индивидуализме.

Собеседник обыкновенно против индивидуализма и за общественность.

— Я, — говорит он, — того мнения, что ради общего блага человек должен жертвовать не токмо своим личным счастьем, но даже и жизнью.

Я человек примирительный и резких мнений не люблю, а потому всегда снисходительно отвечаю:

— Да, конечно, не спорю, отчего не пожертвовать жизнью? Пожертвовать жизнью — это похвально.

И мы одушевленно беседуем на тему о том, как сладостно умереть за отечество.

Между тем уже половина второго, а у меня обед в два часа.

Покупаю для жены за десять копеек букетик сирени и иду домой.

По дороге, когда встречаю нищего, даю копейку. Люблю творить добро.

Дома у меня благодать. Скатерть беленькая, посуда чистенькая, суп аж дымится.

Преподношу жене сирень и получаю безешку. Вкусно шалунья целуется.

Потом, закусив селедочкой, кушаю.

Люблю покушать.

За обедом жена рассказывает смешные выходки детишек, я — смешные выходки взрослых, и нам очень весело.

После кофе я зажигаю папиросочку, а жена читает «Листок».

Жена для этого нарочно выписывает «Листок».

Докурив папироску, я сажусь писать фельетон.

— О чем бы написать? — говорю жене. — Как назло, ни одной темы. Решительно ни одной темы. Жизнь удивительно монотонна.

— Знаешь что? — говорит жена. — Напиши что-нибудь о конке. Я вчера хотела сесть, а кондуктор говорит: занято, нельзя. Распиши этих нахалов, как следует.

— Можно, — говорю я и берусь за работу.

Пишу и стараюсь. Все способности, какие мне Бог дал, всю эрудицию, какую успел собрать, всю опытность, весь огонь гражданского негодования стараюсь вложить в этот фельетон о кондукторе.

Пишу и сам чувствую, что доволен. Хлестко выходит. Весело писать хлесткие вещи. О, черт возьми! Как правы те, которые утверждают, что высшее наслаждение — в борьбе за свои принципы!

Кончив фельетон, несу его в редакцию.

В редакции остаюсь поболтать часок с коллегами, повторить им анекдоты, которые слышал на бульваре.

Иногда оказывается, что они тоже были утром на бульваре и тоже могут поделиться со мною несколькими анекдотами. И мы очень смеемся.

Против наших окон работают девицы, и мы, между анекдотом и анекдотом, перемигиваемся с ними и опять смеемся.

Вообще весело.

Потом иду к Фанкони. Сажу под навесом, читаю «Neue Freie Presse», попиваю чай с сухариками.

Так подходят сумерки.

Сумерки...

Сумерки мне всегда были не по сердцу.

Неприятная пора. Не день и не ночь. Не знаешь, где ты находишься, и вообще чувствуешь себя выбитым из колеи.

И вот в сумерки, действительно, я немножко хандрю.

Я ухожу домой, запираюсь у себя в комнате и хожу из угла в угол.

Но это ерунда и ничего не доказывает. Момент, и больше ничего. Горничная стучится, вносит лампу — и я опять как ни в чем не бывало, мне опять весело, и я смеюсь. Люблю посмеяться!

Вечером я в театре. Так приятно посидеть в театре, который сверху донизу битком набит публикой, охваченной веселым весенним настроением!

После каждого акта умеренно хлопаю артистам, в антрактах закусьваю в буфете и делаю визиты по ложам.

В ложах болтаю, острою, смешу и смеюсь.

После четвертого акта, заглянув мимоходом в клуб, медленно иду домой и спокойный, довольный, убогатворенный полнотой жизни — ложусь спать. Люблю поспать.

Вот и весь мой день. И прошу покорно не распространять нелепых слухов о каких-то моих молчаливых страданиях. Мне очень весело, я смеюсь и того же вам желаю.

Altalena

Одесские новости. 4.05.1903



Новые книги

«ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ» ГРЕЦА*

Г-да Инбер и Гибш печатают в Одессе выпусками знаменитую историю евреев Генриха Греца. Передо мною лежит первый выпуск; всех предполагается до восьмидесяти.

Ясно, что успех такого крупного предприятия зависит от того, поддержит ли публика. Ясно также, что предприятие, безусловно, заслуживает успеха: огромные достоинства «Истории» Греца всем известны, перевод читается легко. И мне кажется, что теперь именно тот момент, когда все предприятия такого рода могут всего более рассчитывать на сочувствие и поддержку публики.

Евреи не знают истории еврейства, а между тем она им нужна. Пред евреями явно выступила железная необходимость — или самим заботиться о себе, или сдать ее и исчезнуть с лица земли, но смысл древнего изречения: если не я за себя, кто же за меня? Только подъемом национального самосознания могут евреи оздоровить и возродить себя. Все их усилия — без ущерба для задач общечеловеческой культуры — должны быть направлены на это возрождение, на воспитание в себе самих и особенно в юношестве справедливого национального самолюбия и осмысленной любви к своей народности. Ни одно средство для этого самовоспитания не должно быть забыто, если евреи не хотят, чтобы когда-нибудь было забыто само имя этого

* Д-р Генрих Грец. История евреев от древнейших времен до настоящего. Пер. с нем. под ред. О. Инбера и А. Гибша. Изд. книжн. маг. Шермана.

народа. И на всякое начинание, ведущее к этой цели самовоспитания, евреи в настоящий момент должны смотреть как на дело национального интереса.

Нет сомнения, что теперь многие из еврейского юношества и даже зрелого возраста с жаром обратятся к изучению всего, что касается еврейства и его роли на земле; и особенно дадут себя чувствовать крупные пробелы в сведениях об истории евреев. Для пополнения их есть только один труд, сочетающий капитальное содержание с прекрасным общедоступным изложением: «История» Греца. От самой публики будет зависеть, чтобы русское издание этого труда было доведено до конца.

Altalena

Одесские новости. 5.05.1903



Вскользь

Начиная приблизительно с 1898 года, министерство внутренних дел заметно заинтересовалось вопросом о самопомощи рабочего класса.

От правящих сфер не укрылось, что этот класс является в настоящий момент одним из чувствительнейших нервных центров общественного организма — и, следовательно, от благосостояния этого класса, несмотря на его сравнительную малочисленность, зависит во многом благосостояние всей страны.

Но государство и не может, и вовсе не призвано создавать собственноручно благосостояние населения или отдельных групп его.

Задача государства — давать населению или его группам возможность, руководство и средства к тому, чтобы эти группы *сами*, свободно и закономерно, устраивали свое благосостояние.

Задача государства не в том, чтобы взвалить на себя все заботы о быте населения, а в том, чтобы урегулировать самостоятельность этого населения в целях ее наибольшего гармонического развития.

На эту совершенно справедливую точку зрения и стало министерство внутренних дел и, начиная с 99-го года, предприняло в этом направлении предварительные опыты.

В Москве, в северо-западном крае, а в последнее время и на юге под особым покровительством министерства стали возникать среди рабочих общества взаимопомощи, потребительные

и т. п.; устраивались дозволенные собрания рабочих, разрешалось и поощрялось чтение лекций по общеобразовательным и специальным предметам.

Но развитие этих благих начинаний тормозилось до сих пор одним обстоятельством: отсутствием гласной законодательной санкции.

Все, совершающееся без гласной законодательной санкции, неизбежно поселяет против себя предубеждение.

Совершаясь до сих пор не в силу общего, для всех равного закона, а в силу особого покровительства министерства, эти в сущности своей полезные опыты вызывали к себе со стороны многих предубежденное отношение, особенно потому, что состояли как бы в ведении учреждений, законом предназначенных к отправлению функций совершенно иного порядка.

С настоящего момента эту ненормальность можно считать устранившейся.

В законопроекте о выборных старостах рабочих, находящемся теперь на рассмотрении государственного совета, должно видеть первый шаг к законодательной санкции самопомощи и закономерного самоуправления рабочего класса.

Этот первый шаг, в ожидании дальнейших, нельзя не приветствовать как доказательство правильного взгляда на путь промышленного развития, который предстоит теперь пройти России, и на роль, которую призваны будут сыграть в этом развитии представители труда.



Дозвольте, господа, умеренно похвалить свое сословие.

Хороший народ литераторы.

Литераторы да студенты — это, кажется, последние вымирающие могикане старой богемы, безалаберной, вечно нуждающейся, но отзывчивой и великодушной.

Как поется:

*Ни кола, ни угла,
В голоде да стуже, —
А ты знай-помогай
Тем, кому похуже.*

Кто теперь еще способен взять у себя необходимое и отдать «тем, кому похуже»?

Никто, кроме юноши — и кроме литератора.

Сюда недавно приехал один писатель.

Честный, даровитый, фанатик своей идеи, из-за нее разошедшийся со всеми редакциями и ныне лишенный права голоса в той самой печати, в которой работают столько господ нефанатичных, недаровитых и даже нечестных.

Для писателя не печататься значит в материальном отношении то же, что для учителя остаться без уроков, для служащего лишиться службы.

И этот писатель приехал сюда издалека, прочел здесь, побольной, длинную лекцию, выручил за нее тысячу рублей — и весь этот валовой сбор отдал в пользу бедных, отказался отделить для себя хотя бы и малую часть этой суммы, сел в вагон и уехал обратно.

И не хочу умолчать об одном любопытном обстоятельстве.

К этому писателю никто не явился с приветом и благодарностью за бедных, которым он так великодушно и выше всякой меры щедро помог.

Никто не вспомнил сделать хотя бы минутный визит человеку, проехавшему для доброго дела полторы тысячи верст, выразить ему признательность, написать ему хотя бы письмо в этом смысле, заглянуть хотя бы на вокзал к его отъезду.

Полное невнимание. Приехал, пожертвовал, уехал — ну и Бог с тобой.



Любопытную брошюру напечатал доктор М. Чернихов.

Называется она «Гнойная язва на общественном теле» и дает картину жизни современной девушки.

Не подумайте, что автор неучтиво называет «язвой» современную девушку: «язва» — это «неврастения», болезнь века, от которой «должны родиться преступление и помешательство — крайние формы духовного вырождения».

В оригинальной, привлекательно старомодной форме, напоминающей стиль какого-нибудь древнего Эразма Роттердамского или Рейхлина, д-р Чернихов рассказывает сначала о семье, в которой родилась Неврастения, — обыкновенной семье, где муж живет делами, а жена — «улицей», т. е. нарядами и флиртом.

От этих родителей рождается девочка, имя которой Неврастения; и автор последовательно и подробно проводит ее через возрасты детства, отрочества, юности, отмечая на каждом шагу печальные этапы нравственной порчи и разложения.

Много читательниц узнают в оригинальной героине д-ра Чернихова себя или своих дочерей и не смогут не признать, что почти каждая строка в этой книжке — прискорбная правда.

За одно только можно упрекнуть автора: он стоит почти исключительно на точке зрения моралиста — он как будто все время стыдит и укоряет людей за то, что они не хотят «взять» да исправиться.

Не спорю, моральную точку зрения бывает очень полезно применить для понукания, для побуждения.

— Стыдно заниматься пустяками! Занимайся делом!

Но при этом, безусловно, необходима основная точка зрения — общественная, т. е. отчетливое понимание внешних причин, заставляющих человека направлять энергию на вредные пустяки, а не на полезное дело. Этой стороны д-р Чернихов коснулся слишком незаметно. Впрочем, *chi lo sa?*..¹

За вычетом этого пробела, быть может невольного, брошюра д-ра Чернихова попадает прямо в цель, тем более что своеобразная, приятно старинная манера изложения придает какому-то особенную, дедовскую внушительность его обличениям.

Из метких замечаний этой брошюры приведу одно:

«Задержанная в детстве энергия вырывается наружу в зрелом возрасте бурным потоком и производит сильные опустошения: самый большой разврат всего чаще замечается именно у молодых людей, которые были воспитаны по системе запретов и ограничений, на строгих началах светских приличий».

Трогательно звучат юношеские воспоминания автора:

«Я наталкиваю на дороге воспоминания о студенческом житье-бытье нашего времени, на эти бесконечные споры при тусклой свече, которые нередко затягивались до зари, споры, доводившие нас часто до вдохновения, граничившего с восторгом.

На какую только высоту мы тогда ни взбирались, каких только идеалов мы тогда ни развивали, и немало нам доставило это время честных людей, которые носили эти идеалы до порога смерти и уносили их с собою в могилу, чтобы, с ними обнявшись, заснуть.

Когда мы в спорах истощали наши силы и нам требовалось подкрепление, тогда добровольцы между нами вооружались большими палками и уходили, иногда в проливной дождь, за горячими «франзолями»². И сколько бы ни приносили они этих франзолей, мы все их истребляли с коровьим маслом, вырывая их друг у друга и оглашая воздух нашим смехом.

¹ Как знать?.. (*итал.*)

² Французскими булками (*огесский диалект*).

И пробужденный от сна хозяин считал за лучшее принять участие в нашем пиру.

Смейся, молодой человек, — я по несколько дней, бывало, сажу дома, потому что товарищ унес мою шинель.

Но я на него не сержусь, я ему давно простил, я ему простил в тот самый час, когда он ее унес...»

После этого лирического отступления еще больше грусти слышится в словах:

«...И мы замечаем у нашей молодежи полнейшее отсутствие лиризма, того душевного настроения, которое образовалось в нас в юношеском периоде нашей жизни из самых чистых остатков энергии, из самого нежного ее филтраты.

Лиризм — это тончайший звук человеческой души, отголосок всего сущего в его наилучшем виде; это божий дар, который обогащает человека и дает ему возможность видеть невидимое, понять непонятное.

Человек без лиризма — это все равно, что роза без запаха, пеолия без аромата; его действия бесцветны, логика суха, мысль неполна, жизнь без жизни.

И его нет у нашей молодежи, его нет потому, что наша молодежь не имеет юношеского возраста, возраста возвышенных стремлений и великодушных порывов, возраста неясных ощущений и безотчетных волнений.

Вот почему молодые люди играют теперь в винт с присыпкой и с гвоздем, занимаются флиртом, увлекаются спортом и мечтают об узких носках.

Мне жаль молодых людей...»

Мне тоже, д-р Чернихов, но... но ведь есть и другие.

Altalena

Одесские новости. 6.05.1903



Вскользь

Из дела г-на Когана, слушавшегося вчера в съезде, может быть только один вывод.

Одесская публика провела весь XIX век, жалуясь на не порядки в очереди и на барышников.

С теми же жалобами вступила она и в XX столетие.

Не бывает недели в сезоне, чтобы к любому одесскому журналисту не явился какой-нибудь молодой человек или какая-нибудь барышня с такими словами:

— Распишите.

И нет такого одесского журналиста, который, хотя б десять раз, не писал о барышниках, очереди и тому подобных проблемах.

И все это помогает, как мертвому кадило.

Есть только одно средство помочь горю публики: дать ей совет, чтобы она сама себе помогала.

Вот дело г-на Когана.

Он, стоя в очереди у малой кассы, видел, как Мелех Рехтман перелез через решетку и поместился уютно за его спиною.

За его спиною. Следовательно, лично г-ну Когану Мелех Рехтман не мог помешать получить билет; но за дверью стоял еще длинный хвост ожидающих, у которого Рехтман незаконно отнимал один билет.

Г-н Коган заступился за этих ожидающих и потребовал, чтобы Рехтмана убрали из-за решетки.

Рехтмана не убрали.

Тогда г-н Коган объявил, что не пропустит Рехтмана к кассе.

И не пропустил.

И съезду мировых судей пришлось решить вопрос:

— Было ли в данном случае нарушение порядка?

Если человек тонет и вы бросаетесь к нему на помощь, силой расталкивая толпу, — то ведь это есть тоже, строго говоря, нарушение порядка.

Но, тем не менее, спасти утопающего все-таки надо.

То же и здесь.

Публика имеет право требовать, чтобы очередь соблюдалась правильно.

Раз эта правильность нарушена, должно ее восстановить.

Но уж это будет не нарушение порядка, а напротив — восстановление порядка.

Деяние, достойное всяческого одобрения, а не кары.

Так посмотрел на это съезд — и оправдал г-на Когана.

А вы сделайте вывод и намотайте себе его на ус.

И поймете, что, если у вас под носом барышники овладевают множеством билетов, то нечего вам пенять за это на других, ибо вы сами виноваты.

Altalena

Одесские новости. 9.05.1903



Вскользь

Из одного письма:

«Вы говорите о том, что у нас в Одессе, по всем отзывам, жизнь гораздо менее оживлена, чем, например, в Киеве.

Это правда, и это, действительно, странно, когда подумаешь, что в Киеве нет ни одесских литературных "четвергов", ни одесской прессы — прихрамывающей, часто сбивающейся с тона, но все же значительно поднимающейся над провинциальным уровнем.

Вы, по-моему, правильно указали на то, что в Киеве оживление проникло вглубь, тогда как в Одессе оно все застряло снаружи, в газетах и в одном клубе; и что поэтому Киев кишит оживленными тесными дружескими кружками, а в Одессе всякий живет и скучает одиноко.

Но меня удивило, что на этом вы как-то обрезали и не сделали вывода, не высказали вашего мнения о том, как же быть, что предпринять для того, чтобы провести и у нас оживление из клубов и газет в самую середину обывательской жизни».

Да ведь вывод ясен.

Еще в книге Бытия сказано: не хорошо быть человеку одному.

Пожилой господин, увидавший теперь Одессу после долгого отсутствия, говорил мне недавно:

— В мое время жизнь в этом городе была куда интереснее.

— В чем это выразалось?

— Да во всем. У вас теперь человеку негде вечер по душе провести, кроме театра или, в крайнем случае, литературного клуба. Не то сиди дома, один-одинешенек, или ступай зевать или играть в карты к соседу. А в наше время жили тесно, дружно, жили кружками. День поработаешь, а вечером у кого-нибудь из своей братии собираешься — человек восемь или десять теплой, спевшейся молодежи. И уютно, и интересно. Книги вместе читали, спорили, пели, дурачились, любительские спектакли проваливали, — но все сообща, вместе. Оттого и не хандрили. А мудрено ли хандрить, когда вокруг тебя вместо своего дружеского кружка одни только г-да знакомые! Нельзя человеку жить одному.

Вывод сам напрашивается.

Скука, на которую жалуются и коренные одесситы, и приезжие, заключается именно в том, что вне клуба и театра негде провести интересно вечер.

«Интересно» — значит так, чтобы и чувствовать себя уютно, по-домашнему. И в то же время — потолковать с живыми людьми, послушать неглупые речи, скромно «помузицировать», напиться чаю или хоть похохотать в кругу симпатичных людей.

Но для этого нужен прежде всего кружок.

Надо жить не в разбивку, а кружками.

Каждый вечер в каждой одесской квартире сидят, поодиночке или по два, симпатичные и неглупые молодые люди обоего пола и скучают изо всех сил.

А ведь если бы они собрались, хоть бы в числе семи-восьми, все вместе вокруг одного стола, то у них и лампа горела бы светлее, и самовар шумел бы лучше, и разговоры шли бы живее и разумнее.

Чтобы мамаша не сердилась за шум, могли бы собираться поочередно друг у друга; чтобы папаша не гневался за расход, могли бы покупать чай и бублики в складчину.

В складчину выписывали бы любимый журнал, в складчину брали бы ложу в театре.

В настоящее время приезжий говорит:

— Ужасная тоска. Вчера был у Ивановых — сидят втроем и сквернословят, зевая в руку. Третьего дня был у Петровых — тоже втроем сидят и мешают ложечками сахар в стаканах.

Но попробуйте зажить дружескими кружками — и физиономия жизни в городе резко изменится.

— Был вчера у Петровых, — скажет приезжий, — славная у них компания была. Один замолчит, другой рассказывает. Интересно время провел. А третьего дня был у Ивановых — так те собирались к Семеновым и меня потащили. У Семеновых — тоже славная компания была: один только дух перевести захочет, а уж другой и сам заговорил. Интересно жить в этом городе!



По поводу фельетона, в котором я писал о том, что литераторы — хороший народ, я получил оскорбительное письмо, где говорится, что хорошие литераторы действительно есть,

но я не принадлежу к их числу, ибо у меня не то дурные принципы, не то вовсе нет принципов.

Что же, очень может быть, я и не хороший литератор, и принципы у меня дурные.

Но дурные или нет, а они есть.

Они есть, и надо плохо читать по печатному — особенно провинциальную печать, — чтобы не видеть, что они есть.

Они есть, они во мне выработаны всем моим существом, и я не отказываюсь от них, хотя бы другие люди по недоразумению сердились за них на меня, — не отказываюсь потому, что не могу отказаться.

И вот они, эти мои дурные принципы.

Я думаю, что все, что естественно растет и крепнет, должно расти и крепнуть под покровительством закона, для всех равного и этому росту благоприятствующего.

А не под случайным покровительством заинтересованных покровителей.

Ибо заинтересованные покровители всегда развращают и сбивают с толку.

А единственный покровитель, который не развращает и не сбивает с толку, есть закон, равный для всех.

И потому я — враг заинтересованных покровителей и считаю глупыми тех, кто отдает себя под их покровительство.

Но я призываю для всего, что естественно крепнет и растет, единое покровительство закона.

И когда я вижу что-нибудь, что кажется мне первым шагом в этом направлении, я приветствую этот шаг за его направление.

Я могу ошибаться. Может быть, этот шаг только мне кажется таким, а на самом деле направлен он совсем в обратную сторону?

Возможно. Все иногда ошибаются.

Но на ошибку должно возражать доводами. А тем, кто возражает мне оскорблениями, я со своей стороны могу ответить только пожиманием плеч.

Altalena

Одесские новости. 10.05.1903



Без патриотизма

*Пожалейте меня, ибо
я не люблю.*

Л. Стеккетти

Лишь тогда хорошо кипит у человека работа на пользу страны или народа, когда он горячо любит эту страну или народ. Честные люди все служат общим, вселенским идеям, но каждый хочет служить им в своей любимой среде; ковать железо на потребу широкому миру, но ковать его у себя в кузне, где легче и уютнее работать, потому что каждый уголок дорог и близок; и он прав, ибо крепче и легче работается, когда знаешь, что плодами работы воспользуются твои любимые, а не те, к кому ты равнодушен.

Патриотизм удешевляет силу идейной работы, придает ей теплоту и увлечение. Но у нас, интеллигентных евреев, нет патриотизма, нет полной и цельной любви к нашему народу; оттого так часто наша идейная работа лишена теплоты и увлечения и отравлена изнутри болезненным разладом.

Почти нет интеллигентного человека на земле, который в настоящее время не томился бы жаждой дела. Все мечтают об увлекательной работе. Хандра, тоскливые чеховские настроения, заполнившие жизнь, — все это зуд энергии, которая рвется из нас и жаждет применения. Десятилетия бездействия проползли; наступает хорошая пора, когда понадобятся рабочие руки; эту близкую пору предчувствуют все и говорят себе: скоро найдется для нас дело по сердцу! Но мы, интеллигенты-евреи, на пороге наступающего десятилетия работы стоим не в трепете радости, а в мучительном колебании. И в нас есть энергия, и рвется наружу, и нам страстно хочется работать. Но мы не знаем, для кого нам работать.

Отдать свои силы на благо той земли, где мы живем, и этим удовлетвориться? Так поступают из нас многие, потому что все мы поистине, сознавая или не сознавая, нежной любовью любим эту страну — любим, несмотря ни на что, народ, в ней живущий, и язык, на котором он говорит. Но ведь эта любовь — неразделенная, и потому горько обидная самолюбию. Ведь это — навязывание своей дружбы тем, кто не просит о ней, страстные признания пред красавицей, которая равнодушна. Эта земля сама богата духовными силами, наших услуг она не

просит; и когда мы сами во что бы то ни стало хотим служить ей, то на нас невольно смотрят с холодным удивлением, пожимая плечами, и говорят:

— Для чего эти люди заботятся о нас? Странная охота — быть непременно ходатаями по чужим делам.

Добрые люди будут вас утешать и скажут:

— Погодите, вот придет время, когда люди поумнеют и поймут, что не то важно, есть ли у человека родина, а то важно, есть ли у него совесть, и перестанут коситься на человека без родины; ибо уразумеют, что всюду можно быть полезным гражданином, и потому родина так же мало нужна человеку, как та бесполезная тень, которую вы от себя бросаете по земле. Есть эта тень или нет ее — не все ли равно?

Покачайте тогда печально головою и скажите в ответ:

— Нет, не все равно. Есть уже у немецкого поэта Шамиссо такая сказка о тени — о бесполезной тени Петера Шлемия. Там говорится о том, как Петер Шлемиль продал дьяволу свою тень, свою бесполезную тень и ничего более, и как после того Петеру Шлемию не стало житья на земле, потому что люди кричали ему:

— Где тень твоя, Шлемиль?

Петер Шлемиль кочевал из города в город и всюду делал добро; но люди не смотрели на его добро, а смотрели ему под ноги, которые не отбрасывали тени, и кричали:

— Где твоя тень, Шлемиль?

— На что вам моя тень? — умолял их Петер Шлемиль. — Ведь она никому не нужна, ни мне, ни вам; никто не пришел бы укрыться в моей тени от палящего солнца. Что же вам до моей тени? Зачем вы требуете моей тени?

Но люди не слушали и кричали:

— Где твоя тень, Шлемиль?

И не было Петеру Шлемию покоя и мира на земле.

Если даже придет время, когда своя родина станет бесполезнее тени, то все же людям, у которых есть родина, непреодолимо будет колоть глаза человек без родины, и во всех взглядах он прочтет молчаливую насмешку.

— Где тень твоя, Шлемиль?

Я прочел однажды у философа Канта, что не прощается человеку неполнота. Если недостает ему чего-нибудь такого, что есть у всех, то невольно этот пробел будет болезненно привлекать взоры людей и раздражать их. Такова человеческая природа, не терпящая диссонансов в общей гармонии...

Время не поможет. Сотни лет пробегут, и если новые века снова застанут нас среди чужого поля, то снова предстанем мы им как навязывающие нашу дружбу тем, кто не просит о ней, и снова на нашу пламенную, любовью проникнутую службу чужой родине люди посмотрят с холодным изумлением, пожимая плечами, и повторят, как теперь:

— Странная охота — быть непременно ходатаями по чужим делам...

Больно писать о том, насколько все это унижительно; и жалко того, кто не чувствует, как оно унижительно. Лучше не жить вовсе, чем жить без *самолюбия и гордости*. Но и тому из нас, кто не пожелал унижения и решил отдать свои силы на благо нашей еврейской народности, — и тому нет полного удовлетворения, и тот не может с полным увлечением броситься в работу. Потому что полное увлечение дается только патриоту; но мы, интеллигенты-евреи, и народности нашей не любим полною любовью патриота; и в этом наш горший позор и горшая мука.

Если бы мы совсем не любили еврейства и нам было бы все равно, есть оно или погребло, уж это было бы лучше. Мы не томимся бы таким разладом, как теперь, когда мы наполовину любим свою народность, а наполовину гнушаемся; и отвращение отравляет любовь, а любовь не позволяет совести примириться с отвращением. В еврействе есть дурные стороны; но мы, интеллигенты-евреи, страдаем отвращением не к дурному и не за то, что оно дурно, а к еврейскому и за то, что оно именно еврейское. Все особенности нашей расы, этически и эстетически безразличные, т. е. ни хорошие, ни дурные, — нам противны, потому что они напоминают нам о нашем еврействе. Арабское имя Азраиль кажется нам очень звучным и поэтическим; но тот из нас, кого зовут Израиль, всегда недоволен своим *некрасивым* именем. Мы охотно примиримся с испанцем, которого зовут Хаймэ, но морщимся, произнося имя Хаим. Одна и та же жестикация — у итальянца нас пленяет, у еврея раздражает. Певучесть еврейского акцента некрасива, но южные немцы и швейцарцы тоже неприятно припевают в разговоре; однако против их певучести мы ничего не имеем, тогда как у еврея она кажется нам невыносимо вульгарной. Каждый из нас будет немного польщен, если ему скажут: вы, очевидно, привыкли говорить дома по-английски, потому что у вас и русская речь звучит несколько на английский лад. Но пусть ему намекнут только, что в его речи слышится еврейский оттенок, и он изо всех сил запротестует. Кто из нас упустит случай

«похвастать»: «я только понимаю еврейский жаргон, но совсем не умею на нем говорить...» Все еврейское нам, евреям-интеллигентам, неприятно и в мелочах, и в крупном; наши журналисты, выводя пламенные строки в защиту нашего племени, тщательно пишут о евреях «они» и ни за что не напишут «мы»; наши ораторы в то самое мгновение, когда говорят о любви к своему народу и к его расовой индивидуальности, усердно следят за собою, чтобы эта расовая индивидуальность не проскочила как-нибудь у них в акценте, жестах или в оборотах речи. До чего это мучительно, знает тот, кто испытал; то есть знаем мы все.

И ведь вместе с тем мы любим нашу народность. Ведь мы умеем замирать от восторга перед ее историей, умеем ценить несокрушимую силу духа, которая в ней; мы горды, когда вспоминаем, сколько семян разума разбросали мы по всем нивам мира, так что нет народа, который не был бы нам обязан долей своей культуры; и ведь мы же, наконец, любим сам наш народ, самих этих изможденных людей, с круглыми глазами, — мы *на днях только*, в момент невыносимой скорби, поняли, как мы любим их и как мы с ними близки.

Любим — и гнушаемся. У Гейне есть в одном стихотворении рыцарь, который страстно любит бесчестную женщину. Он должен презирать ту, которая дорога его сердцу; он должен стыдиться как позора собственной любви. Он мог бы явиться на турнир и вызвать рыцарей на арену: пусть выходит на бой, кто осмелится в чем-либо упрекнуть мою даму! И тогда все бы промолчали, — но не промолчало бы его собственное страдание, и ему пришлось бы направить копьё против собственного сердца... Этот рыцарь похож на нас, интеллигентных евреев; но нам еще хуже, потому что он, по крайней мере, презирал ту, которую любил, за ее пороки; мы же, любя, презираем нашу народность не за пороки, а за ее несчастье. Вдумайтесь: это ужас, которого нет ужаснее.

Все, что осталось живого теперь в интеллигентном еврее, вся жажда кипучей, увлекательной работы, пробужденной в нем рассветом двадцатого века, все бунтует против этого разлада, против этого нелепого, неестественного сплава любви и отвращения; и тоска современного интеллигента-еврея есть тоска о патриотизме. Он готов работать; но он хочет беззаветно любить, а не гнушаться тех, для кого будет работать, ему страстно хочется вырвать вон, затоптать ногами это бессмысленное рабское отвращение. Нам нужно, несказанно мучитель-

но нужно стать *патриотами нашей народности*; патриотами, чтоб любить за достоинства, корить за недостатки, но не гнушаться, не морщить носа как городской холоп — выходец из деревни — при виде мужицкой родни...

Да, холоп. Это чувство холопское. Мы, интеллигенты-евреи, хлебнув барской культуры, впитали в себя заодно и барскую антипатию к тому, чем мы сами недавно были. Как рабы, которых плантатор вчера стегал плетью, а сегодня произвел в надсмотрщики, мы с радостью и польщенным самолюбием взяли в руки эту самую плеть и с увлечением изощраемся. Гнусно-мелочный антисемитизм, которым без исключения все мы, интеллигенты-евреи, мучительно заражены, эта гнилая духовная проказа, отравляющая все наши порывы к страстной патриотической работе, — это есть свойство холопа, болезнь нахлебника; и тогда только бесследно пропадет она, когда мы перестанем быть холопами и нахлебниками чужого дома, а будем хозяевами под нашу кровлю, господами нашей земли.

Мир закис в мещанской инертности. Интеллигенты всех стран и народов в один голос молят у неба одной благодати: дела, применения для энергии, рвущейся наружу. Это есть тоска по работе. Она стала для всех теперь лозунгом. Только для интеллигента-еврея тот же лозунг звучит иначе: тоска о патриотизме. Но нахлебник не может быть патриотом: *нужна родина*. Оттого наша тоска о патриотизме так мощно превратилась ныне в тоску по родине.

Говорят, что это мечта, которая не сбудется. Робкие, близорукие люди, вскормленные мещанства, которым не дано понимать, что самая смелая фантазия есть только слабое предчувствие завтрашнего факта. Если бы люди не мечтали, они не достигали бы; мечта, подобно Авроре, всегда предшествовала восходу солнца, настоящего, пламенного, животворящего солнца. И у нас, народа, который после колоссальнейшего из исторических путей в последний раз стоит теперь над пропастью; которому завтра, если не найдется убежища, грозит вырождение, послезавтра — исчезновение с лица земли и который уже сегодня начинает гнушаться самим собою и себя оплевывать, — у нас нет третьего выбора: или мечта... или ничто.

Владимир Жаботинский

Южные записки. Одесса, 1903. № 17 (16 мая)

Печатается позднейший вариант по сборнику «Недругам Сиона» (Одесса, 1903)



Вскользь

НЕ О ЮБИЛЕЕ ПЕТЕРБУРГА

Вчера в Петербурге праздновали юбилей, и поэтому во всей России, вероятно, много думали и говорили о Петербурге.

Это дает мне право не писать сегодня о Петербурге, а писать о других городах и, в частности, о нашем городе.

Ибо, в самом деле, что сказать о Петербурге? Город-молodeц, нечего и говорить.

В Костроме, в Умани, в Богородске явились на свет умные или даровитые люди, съезжались в Петербург, и выходило так, что ум и талант исходили не из Умани или Богородска, а как будто бы из Петербурга.

И так оно шло благополучно двести лет.

Двести лет Россия со всех концов отправляла свои лучшие соки в одно место, и получалось такое впечатление, что это место весьма богато соками. Вот и все.

Двести лет такой карьеры — счастье не из дюжинных. Есть с чем поздравить.

И поздравляем от всего сердца.

Но к поздравлению иные прибавляют и пожелания:

— Дай, мол, Бог, чтобы и впредь так же...

А иные не прибавляют пожелания.

Как думаете вы, одесситы, прибавите ли к поздравлению пожелание «и впредь того же»? Сомневаюсь...

Но я, собственно, хотел писать о нашем городе.

Позавчера выпали довольно ясный день и недурная звездная ночь.

Я много гулял и усиленно вдыхал запах акации.

Я родился и вырос в Одессе. Место, где мы родились, не всегда есть наша родина. Моя истинная родина не на этих берегах; но я всегда очень любил Одессу и даже когда покину ее, не разлюблю.

Четыре года подряд я не слышал запаха акации; и когда он случайно доносился до меня из-за ограды какого-нибудь сада, я вспоминал Одессу и умилялся душой.

Однажды я даже купил за два франка бутылочку духов «Акация» и каждое утро брызгал себе в платок и вспоминал Одессу.

Третьего дня, наконец, после четырех лет, я снова досыта надышался ароматом акаций и, вдыхая его, вдруг почувствовал и вспомнил в полном объеме всю мою любовь к Одессе, всю любовь, которую события заслонили, но не задушили.

Вспомнил любовь и замечтался о будущем этого города.

Я часто мечтаю о будущем его. И прежде мечтал, и теперь — хотя и жду нетерпеливо мгновения покинуть его — тоже мечтаю.

Петербург, конечно, умный город, хороший город. Пошли ему судьба всякое благо, и пусть он навеки будет умным и хорошим городом.

Но пусть платит за это из своего кармана, а не из вашего. Не отдавайте ему больше ваших хороших и умных людей.

Оставляйте их у себя.

Двести лет ублажали, баста. Теперь не грех уже провинции опомниться и позаботиться о себе.

Вокруг Одессы огромный район величиной с доброе государство Западной Европы. Этот район тяготеет к ней и видит в ней свой естественный центр.

Этот район достаточно огромен для того, чтобы требовать себе центра первоклассного, заправского, а не второстепенного, с обстановкой второго сорта.

Ему нужен университет с громкими именами, с первоклассными научными силами.

Ему нужен театр с первоклассными силами артистическими.

Ему нужна литература и пресса с лучшими именами литературы и прессы.

Ему нужны специальные институты, высшая школа для женщин, академия, консерватория; ему, этому району, нужно все первоклассное и настоящее, потому что он достаточно для этого огромен, богат и полон духовных сил.

Большой и богатый район имеет право требовать, чтобы в его естественном районном центре людям подавалась свежая и полновесная пища, а не объедки с табльдота столицы.

Провинциальным центрам пора опомниться, и честь и слава будут тому из них, который опомнится первый и покажет пример другим.

Провинция должна уметь уцепиться за каждого местного человека, способного на что-нибудь доброе, и удержать его на своей ниве.

Провинция должна дорожить местными силами и лелеять их, чтобы не потерять.

Провинция должна страстно поддерживать все, что хоть на йоту повышает культурную деятельность района.

Провинциальные деятели — гласные, журналисты, благотворители — жалуются на мелкоту интересов:

— разбираться в том, урезал или не урезал домовладелец Кукиш пол-аршина городской земли...

— писать о том, что Петров с Ивановым потаскали друг друга за волосы или давать рецензию о третьестепенной труппе...

— распределять носовые платки между уличными мальчишками, которые все равно не станут утирать нос...

Да, все это скучновато.

Но осветите все это одной идеей, и оно оживится и блеснет совсем иначе.

Осветите ваше дело идеей эмансипации провинциального центра.

Скажите себе:

— Не должны мы быть пригородом у столицы, а должны быть сами по себе!

И вы почувствуете почву под ногами и добрую глину в руках.

Журналист увидит перед собой дорогу трудную, но заслуживающую труда.

До сих пор он писал о новооткрытых фельдшерских курсах потому, что не было другой темы.

Теперь он пишет о них потому, что они — шаг к его цели, драгоценное зерно на ниве, которую он озолотит богатым посевом.

Оттого тогда он писал вяло и скучно, а теперь напишет с огнем и увлечением.

До сих пор он говорил в газете о художнике таком-то потому, что брат художника — ему приятель.

Оттого не вникал в дело и не старался быть справедливым.

Но теперь для него этот самый художник стал дорог, как рабочий в его собственной мастерской; и оттого он пишет о нем иначе, и вникает, и разбирается, и дает хорошие советы.

Скучно, в самом деле, писать рецензии о третьестепенной труппе; но взгляните на эту труппу с высоты той же руководящей идеи:

— Способствует или нет?

Если нет, если эти актеры только безнадежно портят вкус вашей публики, прогоните их без жалости насмешками, обнажите напоказ их бездарность.

Но если есть надежда, что они могут принести хоть крупицу пользы для вашей цели, — поддержите их, укажите достоинства и недостатки.

Отметьте нарождающееся дарование, помогите ему и советом, и добрым вниманием.

Окружите всякое начинание, полезное для вашей цели, атмосферой общего внимания и одобрения. Это во власти журналиста. Выбивайтесь для этого из сил, лезьте из кожи вон, трезвоньте, рекламируйте доброе начинание: ваша цель этого требует.

Только с этой точки зрения, и ни с какой другой, смотрите на все, что возникает перед вами.

Новая газета, новое книгоиздательство, новый театр — все это для их хозяев, может быть, только выгодные предприятия; но для вас это не предприятия, а плюсы или минусы на пути к культурной эмансипации.

Поэтому окружайте их напряженным вниманием. Говорите о них утром и вечером. Умейте втоптать их в грязь, если они не годятся, и поддержать их наперекор стихиям, если они хороши.

Не бойтесь сильных средств, не бойтесь быть смешными, обрушивая свои громы на какое-нибудь полное ничтожество. Так и надо. Ваша цель огромна, и нельзя не прийти в ярость, когда ничтожества тормозят к ней дорогу.

И благотворителем быть тоже скучно; но осветите благотворительность той же идеей, и вы увидите разницу.

Не давайте уличным детям носовых платков; но умейте высмотреть среди них одного, из которого может выйти толк для вашего города, и помогите ему учиться.

«Много гениев бегают по берегам Волги босиком».

Сплошь и рядом юноши с задатками талантов хиреют в борьбе с нищетой. Ловите их и поддерживайте вместо того, чтобы раздавать нищим по копейке.

О муниципале, у которого в руках городские деньги, нечего и говорить. Осветите пред ним его деятельность этой точкой зрения, — и уж он не согласится вычеркнуть кредит на школы и на городской ломбард, и на эти деньги ремонтировать каланчу...

Жалуются люди, что нечего делать в провинции.

Смешно.

Дело есть, завидное и большое дело, достаточно трудное и достаточно прекрасное для того, чтобы мог его себе облюбовать энергичный человек; но беда, что людей мало, что большинство робеет или ленится, предпочитая плестись без усилий, куда ноги несут.

Только была бы энергия да поняли бы вы, провинциалы, что глупо невыразимо, глупо жить в постоялом дворе, когда можно — и все средства есть — устроить перворазрядный отель.

Не учиться у столицы, не брать ее примером, а соперничать с нею независимо и самостоятельно.

Пусть себе навеселится вдосталь город Петербург своим вторым столетним юбилеем; *vivat, crescat, floreat*¹; но уж третьего юбилея такой исключительной, такой уродливой гегемонии над духовной жизнью России — не праздновать ему вовеки.

Баста.

Altalena

Одесские новости. 17.05.1903



Вскользь

«Im wunderschönen Monat Mai...»²

Около того времени когда-то у меня кончались экзамены.

После последнего экзамена мы отправлялись не домой, а на Ланжерон.

Тогда на Ланжероне было хорошо.

Мы были ниже ростом, и трава поэтому казалась нам выше.

Пунцовые головки репейника — мы называли их «турками» — были почти одного роста с нами; и когда мы, сняв пояса, бляхами ловко сбивали эти головки со стеблей, нам почти вправду казалось, что это настоящие противники.

Ноги были короче, туловище меньше; когда мы валялись на спинах, задрвав подметки вверх, нам казалось, что мы целиком утопаем в душистой траве.

Мы тогда ловили ящериц. Я тогда знал, что ящерица — прелестный зверек: она так ярко и красиво раскрашена в зеленый, золотистый и багряный цвет. Теперь я уже давным-давно не видел ящерицы и не понимаю, что в ней красивого, и даже полагаю, что она весьма похожа на лягушку.

Вообще теперь все пошло иначе. Теперь никому не придет в голову, что на Ланжероне водится какой-нибудь другой зверь, кроме воробья. Но мы тогда умели вглядываться и находить в расселинах красной глины и ужа, и ежа.

По-вашему, там и фрукт никакой не растет; а мы там рвали грушу-дичок, крупную, как дуля взрослого человека. Когда был холерный год и нам дома не давали ни черешен, ни яблок, мы зато наедались на Ланжероне дичками до того, что потом зубы

¹ Пусть живет, растет, процветает (*лат.*).

² «Чудесным светлым майским днем» (*нем.*) — цитата из стихотворения Г. Гейне.

по два дня скрипели от оскомины; и никто из нас от этого тогда не умер, хотя, может быть, лучше бы сделал, если бы умер тогда.

Теперь Ланжерон весь как на ладони; а тогда мы умели находить укромные местечки, совсем необитаемые, — какие-то пещеры, долины, ущелья. Тоже, вероятно, потому, что мы тогда были меньше ростом и тоньше в плечах и особенно в животе.

Мы снимали башмаки, и подкатывали парусиновые брюки, и лазили по камням, торчавшим из воды; и мы называли эти камни скалами.

И когда мы срывались и падали в воду по пояс и платье промокало насквозь, то мы очень смеялись и трусили только потому, что дома мама забранит; а ведь теперь, если бы кто-нибудь из нас испортил себе платье, то не мать, а он сам разбил бы себя. О, какая это огромная разница!

Рыбак бросил на берегу старую дверь от куреня, и мы сдвинули из нее плот и катались, мокрые, от мыса до мыса.

Мы играли в пираты, играли в войну, побивали друг друга; и между тем упал ясный вечер и короткая ночь, и мы разводили костер в какой-нибудь из тех долин, что умели тогда находить, и пекли в золе картошку.

Тогда было хорошо на Ланжероне. Я думаю, что теперь там уже не то; впрочем, ведь я уже давным-давно не видел Ланжерона.

Теперь мы выросли и стали общественными деятелями.

Одни стали адвокатами и выселяют по исполнительному листу неисправных жильцов из подвального этажа.

Другие стали врачами и ищут практики.

Третьи служат в банкирских конторах и, когда говорят о содержателе, называют его:

— Шеф.

Четвертые пишут в газетах о том, что и почему на свете нехорошо, и публика читает и думает:

— Собака лает, ветер уносит.

То есть так думает заурядная публика; но та, которая «потоньше» и «поумнее», думает иначе.

— Получил взятку, — думает она, читая.

И теперь, когда мы, прежние, сходимся по праздникам у Корони, нам неловко смотреть друг на друга.

Потому, что прежде по праздникам мамы надевали на нас все чистое, а теперь на нас все грязное.

Наши сорочки покрыты на груди пятнами, потому что много на них осело цепкой клеветы, так что уже не разберешь, сам ли он грязен или от клеветы.

Мы сидим, пьем пиво и жалуемся друг другу, и все говорим одно и то же.

Что нас оттолкнули и вышутили.

Что на наши страстные речи ответили зевком.

На мучительные порывы к неведомой правде отозвались ругательствами.

За смелое слово отмстили обвинением в продажности.

Сделали все, чтобы оскорбить нашу любовь, оплевать мечты, подколоть веру, задушить энтузиазм.

Так жалуемся мы друг другу, и одни из нас говорят:

— Я махнул рукой, я сдаюсь и буду, как все.

Но другие еще сжимают кулаки и хмурятся, говоря:

— А мы еще повоюем.

Еще повоюем, еще запас оружия не вышел.

Только надо пополнить арсенал — приобрести еще одно оружие.

Оружие холодного презрения.

Оно необходимо тому, кто не хочет отречься от любви к тварям человеческого племени.

Ибо надо, чтобы служить любви, затаить ее глубоко и не показывать, а работать с суровостью и презрением.

Встретится добрый человек, скажет доброе напутствие — мы ему отзовемся:

— Спасибо.

Но через минуту он разочаруется и станет нас упрекать; и тогда мы обдадим его презрением и пойдем дальше, своей дорожкой.

Хотя бы он был искренен, и честен, и свеж, как вода дождевая, — но если он послал нам укор за ту дорогу, которую мы выбрали, мы обдадим его холодным презрением и поведем дальше нашу линию.

Надо вести свою линию, прежде всего свою линию, наперекор и злым, и добрым людям, и честным, и бесчестным.

Кто сегодня сочувствовал, завтра будет клеветать; поэтому презираем и клевету, и сочувствие.

Так у поэта сказано:

— Многого желаю, не на многое надеюсь, ни о чем не прошу.

Будем вести свою линию, и бить будем, и рыдать будем; а смерть придет — помирать будем, — но на своей линии.

Altalena

Одесские новости. 18.05.1903


Вскользь

Что в имени тебе моем?

Мой приятель сдавал недавно экзамен по статистике и по этому случаю ни о чем ином, кроме нравственной статистики, не желает говорить.

Идем мы по улице — он вдруг нагибается и подбирает окурок.

— Что ты? — ужасаюсь я. — Студент — и «бычки» подбираешь?

— Это, — говорит, — вовсе не «бычок», а показатель культурного уровня.

— Как так?

— Очень просто. Человек некультурный бросает «бычок» тогда, когда он начинает жечь пальцы. Человек культурный считает вообще неудобным докуривать коротенькую папиросу и потому бросает ее гораздо раньше, чем она может обжечь ему пальцы.

— Ну?

— Значит, ежели бы заняться этим вопросом и собрать массу «бычков», то по их средней длине можно было бы установить уровень культуры...

Едва я успеваю отмахнуться от этого рассуждения рукой, как он уже переходит к новой идее.

— Ты заметил, — говорит он, — как весною хочется жить и шевелиться?

— Заметил.

— Весна приносит огромное оживление энергии внутри людей, но как-то не видно, чтобы эта энергия вырывалась наружу, проявлялась внешней активностью больше весною, чем в другое время года. В апреле и мае люди довольствуются тем, что просто говорят: «Так и хочется побегать!» — и на том и успокаиваются, и не только бегать не станут, но и вообще не проявят никакого повышения жизнедеятельности...

— Ну?

— Я к тому веду, что ежегодно весною в каждом из нас даром пропадает большое количество не утилизированной энергии. Помножь это количество на число всех людей, переживающих весенний прилив, а потом число весен, прожитых человечеством, — получится колоссальная уйма энергии, полезной, работоспособной, но пропавшей без цели и без вести...

— Ну?

— Вот ежели бы произвести этот подсчет и определить: за период, скажем, *post Christum natum*¹ человечество израсходовало непроизводительно столько-то лошадиных сил энергии, да если бы тут же вычислить, сколько энергии, средним счетом, тратит человечество на весь культурный прогресс, совершаемый в течение одного десятилетия...

— Ну?

— Если бы все это вычислить, тогда можно было бы определить, на сколько десятилетий (а то и столетий) ушли бы мы уже теперь в культурном отношении вперед, если бы весенние приливы энергии утилизировались. И это, может быть, побудило бы Эдисона (ведь он такой умный) изобрести прибор, который каждую весну извлекал бы из людей излишек энергии и обращал его на какую-нибудь производительную работу... вроде как утилизируется сила Ниагары...

Впрочем, на экзамене по статистике мой приятель едва получил тройку; но это его нисколько не обескуражило.

Вчера у него родилась маленькая племянница, и по этому случаю он битых два часа ходил со мною по улицам и ломал себе голову:

— Какое имя посоветовать дать новорожденной?

Видя, как человек мучается и ломает голову, я стал его уговаривать и привел цитату:

«Что в имени тебе моем?»

— Глупая фраза, — рассердился он. — Лермонтов был необразованный юнкер и не понимал, что имя человека играет огромную роль в его жизни. Оно влияет на склад его характера и на всю его судьбу.

— Что-о?

— Безусловно. И я могу тебе это доказать.

— Докажи.

— Можно. Здесь недавно шла новая опера Джордано, где героиня — русская аристократка по имени Федора. Это, конечно, ерунда: русскую аристократку не могут звать Федорой. Но допусти на миг, что по чьему-либо капризу девочку, рожденную в аристократической семье, действительно нарекли Федорой. Допусти это и потом проследи внимательно ее жизнь. Ты согласишься?

— Слежу.

¹ После рождества Христова (*лат.*).

— Когда она сама еще несмышлениш, все гости тамап треплют ее по щечкам и говорят: «Ах, какое милое дитя. А как ее зовут?» И тут тамап, с особенной неловкой улыбкой, скороговоркой отвечает: «Имя немножко оригинальное. Федора...» И среди гостей — удивление и чувство неловкости. «В самом деле, — заметит кто-нибудь, — странное имя. Зачем вы ей дали такое имя?» Тогда тамап начнет рассказывать, как и почему, и выйдет так, как будто она извиняется. И это будет повторяться каждый раз, и девочка так и вырастет под тем впечатлением, что все находят ее имя странным, так что тамап даже приходится извиняться и оправдываться за это имя. Девочка невольно привыкает видеть в своем имени нечто неудобное, мешающее. Теперь вообрази ее среди подруг. У тех у всех такие прелестные имена — Лидия, Елена, Зинаида, — а ее зовут Федора! Тут еще она где-нибудь прочтет или услышит поговорку: велика Федора да дура. И ей будет казаться, что все, глядя на нее, думают о ее необычном имени и про себя повторяют эту поговорку. Это ужасно! Такая девочка вырастает застенчивой, завистливой, озлобленной; поэтому в жизни она будет несчастна и отравит жизнь своему мужу. Да еще и найдется ли муж, найдется ли аристократ, который согласится взять в жены девицу с таким ужасным именем! Нет, судьба этой бедняжки разбита, и все потому, что ей дали имя Федора; и всего этого не было бы, если бы ее называли Клавдией. Верно?

— Гм...

— Подожди. Вот тебе пример еще ярче. Возьми двух барышень, одинаково одаренных от природы, из интеллигентной среды, и вообрази, что одну из них, по чьему-то капризу, зовут Фекла, а другую — Тамара. Фекла сознает, что у нее безобразное, вульгарное имя; Тамара знает, что у нее имя красивое и даже поэтическое. Фекла поневоле будет стусевываться и робеть в обществе; Тамара будет выдвигаться и блистать. Фекла будет избегать общего внимания, чтобы люди как можно реже вспоминали о ее некрасивом имени; Тамара будет с удовольствием называть свое имя и выслушивать обычный ответ: ах, какое у вас прелестное имя! Тамара будет кокетлива; Тамаре будет приятно наводить беседу на свое красивое имя, поэтому она будет чаще говорить о себе и привыкнет считать себя центром. Тамара станет эгоисткой, если она глупа, и индивидуалисткой, если она из умных. Понимаешь? Ведь это значит, что имя влияет не только на характер и на судьбу, но и на склад убеждений. В то же время Фекла, инстинктивно избегая всего,

что может напомнить ей или другим о ее некрасивом имени, привыкнет отвлекаться от себя, умерять свою индивидуальность. Фекла будет общественником. Фекла пойдет на курсы и будет земским врачом. Это бесспорно. Покажи мне ребенка и скажи мне, как его зовут, а я берусь предсказать тебе всю его будущую жизнь.

— Да, как Демчинский погоду.

— Нет. Да вот постой. Спросим этого гимназистика. Э... виноват, коллега. Будьте любезны, скажите, как ваше имя? Не фамилия, а имя?

Гимназистик был удивлен; но слово «коллега» ему очень польстило, и он ответил:

— Исаак.

— Благодарю. Больше ничего. Ну, чего стоишь? Пшел вон! Адье. Ну-с, его зовут Исаак. Очевидно, еврей. Учится, верно, хорошо. Значит, кончит и гимназию, и университет. Вместе с тем мальчик хорошенький и одет шпаком. По-видимому, из зажиточных. Может, значит, вращаться в обществе и иметь успех у дам. Будет любезничать, шептать барышням сладкие вещи на ушко, забываться в райских грезах — и вдруг кто-нибудь его окликнет: Исаак! Такое плебейское, неприятное, обидное имя: Исаак! Он, может быть, только что говорил об опере или о поэзии — и вдруг ему говорят: Исаак. Положение неприятное. Положение хуже губернаторского. Помяни мое слово: этот малый впоследствии или возненавидит все еврейское за то, что у него некрасивое еврейское имя, или, наоборот, станет сионистом, чтобы показать назло всем, что он своим именем весьма доволен. Это по-немецки называется: *aus der Not eine Tugend*¹. Это опять разительный пример того, как имя человека влияет на выработку его убеждений. Но это еще не все. Ведь имя отчасти определяет и наследственность.

— А это каким образом?

— Весьма натуральным. Ведь не сам этот малый дал себе свое имя. Исааком его нарекли родители. А почему нарекли Исааком? Почему не назвали его Владимиром или Александром? Тогда бы он, пожалуй, вырос ассимилятором. Но если его назвали именно Исааком, это значит, что в этом библейском имени отразилось известное фанатическое или, во всяком случае, националистическое настроение родителей. Имя сына помогает нам понять родителей и установить вероятную наслед-

¹ Возводить нужду в добродетель (*нем.*).

ственность! И вот тебе еще один пример. У меня есть знакомая девочка Дина, то есть Дионисия. Ее мать объяснила мне так: «Когда она родилась, мужу как раз сильно везло в делах, мы были совсем опьянены счастьем и назвали ее Дионисией в честь Вакха». Понимаешь? Имя этой девочки говорит, что она родилась в счастье. Мать если не зачала, то донашивала ее в счастье и кормила грудью в счастье. Разве это может не отразиться на ее характере, на ее судьбе? Ergo¹, резюмирую: имя человека влияет на его нрав, на его жизнь и убеждения — во-первых, как показатель настроения среды, в которой он родился; во-вторых, как самостоятельный воспитательный фактор, и к этому выводу мы пришли по всем правилам логики.

— Логика — женщина легкого поведения, — сказал я, — ловкому кавалеру она позволит сделать с собою все, что угодно.

— Пусть. Но тогда можно проверить это индуктивным путем. Статистикой! Устроить опрос, вроде переписи. Предложить, например, имя Тамара, и пусть каждый изложит характеристику всех Тамар, которых он знает или знал. А потом вывести общий тип Тамары! Или еще один опыт: три ласкательных от имени Мария — Маша, Маня и Маруся. Опросить огромное число людей и получить точные сведения, какую разницу каждый из них находил между Машами, Манями и Марусями. Как бы разница ни была микроскопична в каждом отдельном случае, но из массового опроса умелый статистик получил бы три определенных разновидности типа Марии: Машу, Маню и Марусю...

— М-да, — сказал я. — Кстати, а не пора ли тебе домой — подзубрить к энциклопедии права! До свидания.

Altalena

Одесские новости. 20.05.1903



Вскользь

Думаю, однако, что за будущее Литературно-артистическое общества опасаться нечего.

Правда, в его составе есть субъекты, подбрасывающие не любимым кандидатам по девять черных шаров сразу.

Но это не беда.

У нас в обществе почти полторы тысячи членов.

¹ Следовательно (лат.).

Что удивительного, если в их числе найдутся даже карточные шулера или специалисты по части составления писем такого стиля:

«Милостивый государь! Не откажите занять мне месяца на три 450 руб. Предупреждаю вас, что в случае вашего отказа...»

Тем более возможны такие сравнительно невинные шутки, показывающие фокусы даже не картами, а невинными баллотировочными шариками.

Но неужели по этому поводу огорчаться?

Я не разделяю пессимизма многих лиц относительно нашего общества.

Говорят:

— Напустили туда в члены полторы тысячи обывателей, посторонних для литературы и искусства, а теперь они, того и гляди, сплотятся и упразднят и литературу, и искусства, и учинят такое баккара, что небу станет жарко...

Ничего подобного.

Правда, огромное большинство членов совершенно не причастны к литературе и искусству.

Но взгляните на них, так сказать, исторически.

Что привлекло в общество за последние два года такую массу новых членов?

Четверги.

Этим я не хочу сказать, что все новые члены — любители и посетители четвергов.

Напротив. Многие из них, верно, ни разу и не заглянули.

Но ведь как распространялась популярность общества?

Иванов говорил Петрову:

— Вы не член? Ах, да как же можно! Там такие интересные четверги. Я вас предложу в члены.

— Да ведь я ходить не буду.

— А все-таки. Авось случится заглянуть. Там такие интересные четверги! Так я вас предложу.

И через месяц Петров получает извещение о своем избрании.

— А! — припоминает он. — Это то самое общество, где четверги. Ладно.

И давал десять рублей.

Все эти Петровы, может быть, самой литературой не интересуются, но им твердо известно, что наше общество — это «там, где четверги».

Для них, как и для всей Одессы, общество сводится не к картам, не к шулерам, не к авторам «стильных» писем, а исключительно к четвергам и их руководителям.

Поэтому поднять таких Петровых походом против литературы — немислимо.

Не пойдут. Нет им никакого интереса пойти против литературы.

— Как так? — удивятся они. — Да мы же туда и в члены попали только потому, что все кричали: четверги да четверги. А вы вдруг хотите побоку.

Короче: главная масса членов общества создана четвергами, следовательно, она всегда будет за четверги, а потому и за литературный элемент в правлении.

Ясно, как божий день, что вообще врагов «литературного» направления в обществе нет и не может быть, кроме небольшой кучки типов, движимых исключительно соображениями амбиции, зависти и личной злобы.

Но считаться с этой горстью микроорганизмов было бы просто смешно. При мало-мальской солидарности литературной секции эта маленькая культура картежных бацилл не в состоянии выдвинуть против нее даже приличного меньшинства, не говоря уже о большинстве.

Только нужна солидарность и настойчивость и нужно умение дать этим субъектам отпор, если они опять попытаются помочь себе какой-нибудь школьнической выходкой.

Прекрасно поступил председатель, что признал выборы действительными.

Иначе все эти господа, перенесшие свои престиждитаторские таланты из «баккарной» комнаты в избирательный зал, получили бы полное удовлетворение.

Их игра удалась бы: выборы были бы сорваны, и лица, им негодные, не прошли бы.

Нельзя потакать таким выходкам. Их можно только игнорировать.

А если они заслуживают внимания, то лишь с одной стороны: раз эти молодцы пошли на такие средства, значит, уж очень плохи у них дела.

Что и требовалось доказать. И литературная секция и на втором собрании без всякого труда сотрет эту плесень, и общество останется литературным и артистическим, как было до сих пор, и в правлении будут художники, литераторы, артисты, а «престиждитаторов» не будет.

Altalena

Одесские новости. 22.05.1903



Вскользь

Разорился на 20 копеек и приобрел книжку г-на М. Полякова «Сионизм и евреи».

Г-н Поляков — заклятый враг сионизма, не хуже г-на Бикермана, и большой поклонник «научности», тоже не хуже г-на Бикермана.

Причем так же, как и г-н Бикерман, на научное мышление г-н Поляков смотрит преимущественно с той точки зрения, что оно — вещь, мол, дешевая и даже бездарностям доступная.

Что и дает ему, г-ну Полякову, ничуть не меньшее, чем г-ну Бикерману, право орудовать научным мышлением от собственной головы, — и надо ему отдать справедливость, — с не меньшими, чем г-н Бикерман, результатами.

Ибо у г-на Полякова, как у г-на Бикермана, эта научность целиком выражается в следующей фразе:

«Нет! История цивилизованных народов такого "возрождения" народа не ведает».

Глубокомысленный довод, при помощи которого можно отрицать даже существование железной дороги: так как до изобретения оной «история» никогда ее «не ведала», то ясно, что железная дорога не могла и возникнуть; ergo¹, ее и нет: а если вам кажется, что вы сами по ней ездили, то вы себе не верьте: это ненаучная галлюцинация...

— История не ведает.

Хорошо. Но вот вопрос: «ведает ли» г-н Поляков историю? Вопрос спорный.

Ибо у г-на Полякова во главе всякого национального возрождения стоят всегда «герои бескорыстья», «готовые положить жизнь свою за свой народ».

И в доказательство г-н Поляков приводит Гарибальди и Мадзини.

Но если бы г-н Поляков «ведал» историю, то он вспомнил бы, что итальянское Risorgimento проведено не двумя, а тремя людьми.

И имя третьего — граф Камилло Бенсо Кавур. Слышали про Кавура, г-н Поляков?

Граф Камилло Бенцо Кавур никогда не проявлял «готовности положить жизнь свою за свой народ».

¹ Следовательно (лат.).

Он был просто-напросто ловким дипломатом. И вся Италия свято чтит его память, ибо он сыграл огромную роль в ее национальном возрождении.

А почему сыграл? Потому что для освобождения этой страны, в силу условий места и времени, нужно было не одно только восстание, а нужна была и искусная дипломатия.

Если бы г-н Поляков «ведал» историю, не пришлось бы объяснять ему все эти простые вещи.

Если бы г-н Поляков не был в отношении научного мышления таким же импотентом, как г-н Бикерман, то он знал бы, что всякое общественное дело может быть создано только теми средствами, которых требуют исторически сложившиеся условия места и времени.

А так как для того, чтобы добиться для евреев Палестины, нужна не воинская сила, а только деньги и согласие султана и держав, то ясно, что во главе сионизма должны стать не герои, «готовые положить жизнь», а дипломаты, обладающие необходимым денежным фондом.

Добро бы г-н Поляков находил, что г-н Герцль плохой дипломат. Но этого он не говорит, а указывает только на то, что г-н Герцль — «автор комедий и драм ниже среднего уровня, из тех, которые сотнями проваливаются и сейчас же забываются...»

О, г-н Поляков, если бы вы знали, каких два скверных романа написал Гарибальди! Но это не помешало ему быть великим полководцем.

Вообще странный аргумент. Сионизм плох потому, что г-н Герцль неважный драматург.

Кому-кому, а уж не г-ну Полякову рассуждать таким образом. Ибо что тогда сказать об антисионизме, глашатаями которого выступают г-да Поляков и Бикерман?

Я допускаю на минуту, что г-н Герцль в литературном отношении полная бездарность, но ведь и в этом случае он все же даровитее г-д Полякова и Бикермана...

Очень понравилось мне место брошюры, где г-н Поляков протестует против возрождения древнего еврейского языка.

— Читателей древнееврейской литературы, — говорит он, — можно насчитать лишь *десятками тысяч*, а ведь евреев в одной лишь России *свыше пяти миллионов*.

Резонно. А большой ли процент *русского* населения является читателем *русской* литературы? Не думаю. Но следует ли из того, что русская литература не должна существовать?

Это соображение, однако, не приходит в голову г-ну Полякову, и он горячо настаивает на том, что еврейский язык надо бросать, а приналечь на русский.

Что же, приналечь на русский язык — дело хорошее. Я тоже горячо его рекомендую, особенно г-ну Полякову.

Подзаймитесь русским языком, г-н Поляков, подзаймитесь усердно.

Тогда вы будете знать, что читателей можно или «считать десятками», или «насчитать десятки», но никак нельзя «насчитать *десятками*».

И тогда вы не будете писать таких вещей:

«Им, этим нравственным отребьям (т. е. "разбойникам пера"), евреи обязаны усиленному развитию и распространению антисемитских понятий...» (с. 13).

Или:

«...надеясь найти в сионизме то, чего в нем нет и не может быть: высокой бескорыстной идеи...» (с. 16).

Или:

«Если бы последние были бы менее дипломатичны...» (с. 22).

Видите ли, г-н Поляков, вы — очень типичный господин.

Вы по-русски писать не умеете, вы по-русски пишете так, что русский человек не удержится от улыбки, а свой национальный язык третируете презрительно.

В этом отношении вы очень типичный господин.

Ибо и вы, и много ваших единомышленников — все вы изо всех сил навязываете коренному населению непрошенное братство.

Вы кричите: «Мы — настоящие русские», — но у вас при этом получается гортанное «р», и коренное население невольно улыбается, а вы продолжаете дальше.

Вы — люди, лишённые элементарной гордости, скопцы самолюбия; к себе, г-н Поляков, и к своим единомышленникам можете смело применить следующие строки вашей брошюры:

«Подневольное состояние благоприятствует выработке холотских инстинктов и привычек».

Совершенно верно!

Altalena

Одесские новости. 23.05.1903



Вскользь

Опять дворники на сцене.

Напали втроем на какого-то пекаря-татарина и избili средь бела дня и на людной улице.

За что избili — неизвестно, да и не важно; важно, что избili днем и на улице, потому что, очевидно, считали себя вправе бить.

Оригинальное явление — эти одесские дворники.

Пойдите, например, к домовладельцам, у которых эти три башибузука служат по вольному найму, и спросите:

— Как вам нравится то, что ваши дворники избili человека?

И домовладельцы, несомненно, выразят негодование.

И ругаюсь вам за то, что негодование будет вполне искреннее.

Не потому, конечно, чтобы домовладельцы особенно крепко стояли за неприкосновенность татарина-пекаря.

Но эти самые дворники, избивающие татарина, обходятся, без сомнения, почти так же любезно и с жильцами.

Бить, может быть, не бьют или редко бьют, но третируют жильцов en canaille¹ — это несомненно.

Да и с самим домовладельцем особенно, я думаю, не церемонятся.

Так что у домовладельца нет никакого основания сочувствовать дворнику, избивающему татарина, и тысяча одно основание негодовать.

Ибо у домовладельца сейчас же возникает такое соображение:

— Вчера он побил татарина, а завтра отколотит меня.

Что же, господа домовладельцы, это соображение совсем не лишено оснований.

Дело возможное.

Я ничуть, господа домовладельцы, не изумлюсь, когда прочту в газете, что кого-нибудь из вас дворник избил по физиономии.

Ничуть не изумлюсь, а только скажу:

— Ведь вы сами этого хотели.

¹ Как чернь (фр.).

Повторяю, изумительный феномен представляют эти одесские дворники.

Служит человек по вольному найму, подметаает двор и отпирает ворота, а между прочим пользуется всяким случаем, чтобы наругать и жильцам, и их гостям, и самому хозяину.

И — странное дело — жильцы терпят и хозяин терпит.

Пусть попробует наругать хозяину другой служащий, например управляющий.

Моментально прогонит со службы.

А дворник держится.

Жильцы злятся и жалуются хозяину, а хозяин в ответ:

— Ах, и не говорите. самого меня вчера так обругал, что я со злости целый день кушать не мог. Ужасный грубьян!..

Бедный мученик. Кушать не мог. Шутка ли!

А между тем проще всего было бы «грубьяна» сейчас же рассчитать и выселить, а потом покушать с аппетитом.

Станный взгляд на вещи у господ домовладельцев.

Если вдруг будет признано полезным держать при каждом доме обязательно собаку, то, конечно, собаку придется завести.

Но это не значит, что одного пса нельзя вышвырнуть и заменить другим, если этот пес ведет себя безобразно.

Между дворником и собакой, понятно, большая разница.

Собака может жить в конуре, а дворнику нужно человеческое помещение.

Вот если бы домовладельцы подумали о том, чтобы дворник имел сносное, просторное и светлое жилище вместо теперешней ямы и получал не гроши, а приличное жалование, тогда бы мы эту нежность к дворнику очень похвалили.

Но держать у себя башибузука? С какой стати?

В каждом доме должен быть дворник. Хорошо. Но если Сидор груб, кто может вам помешать заменить его Карпом?

Скажите на милость, господа домовладельцы — городские избиратели, — скажите ваше мнение: вы или не вы хозяева у себя в доме?

Очевидно, не вы.

Сидит у вас и у жильцов ваших «в печенках» какой-то рыцарь белого передника, рисуется, дерется, даже отбивает у вас, бедных, аппетит, а вы терпите и не решаетесь сказать ему:

— Пошел вон.

Черт знает, до чего дошло: раболепствовать перед метлою...

Altalena

Одесские новости. 24.05.1903



Национализм и прогресс

ПО ПОВОДУ ОДНОЙ КНИГИ И ОДНОЙ БРОШЮРЫ

Некто С. Великовский в Вильне назначил премию в 300 рублей за лучшее популярное сочинение о сионизме. Премия досталась одесситу, доктору И. Б. Сапиру. Книга его, отпечатанная в Вильне довольно изящно и необычайно дешево (25 копеек за 200 с лишком страниц), озаглавлена: «Сионизм. Научно-популярное изложение сущности и истории движения». Первое издание, появившееся в начале текущего года, уже разошлось; выпущено второе. Книга эта, действительно, заслуживает широкого распространения. Она не блещет самобытными достоинствами, но представляет работу добросовестную, толковую, проникнутую гуманными и просветительными тенденциями. Читается легко и дает ясное представление о целях сионизма и о его современной организации. Эту книгу с пользой прочтет и сторонник, и особенно противник; последнего она, быть может, не переубедит, но научит относиться к сионистскому движению без того странного озлобления, которое так бросается в глаза теперь,

Странное озлобление. Можно относиться недоверчиво к тому, что находишь несбыточным; но негодование против чужого идеала понятно только тогда, когда этот чужой идеал есть идеал насилия, порабощения, надругательства. Между тем какова бы ни была судьба сионизма в будущем, он несет во всяком случае благородный идеал эмансипации. Откуда же это озлобление, эта ярость, и не со стороны чужих или реакционеров, а со стороны братьев по крови и людей, кичащихся передовым образом мыслей?

Есть одно только объяснение этой странной ярости. Перечитайте у Щедрина в «Господах Головлевых» то место, где племянницы Иудушки от «веселой жизни» решают покончить с собою. Младшая выпила яд. Но старшая в последнюю минуту отказалась: инстинкт жизни победил в ней отчаяние. И тогда младшая пришла в страшное бешенство. Вся обида за удары жизни вдруг превратилась в ненависть против этой старшей сестры, которая осмелилась остаться, когда она, младшая, уже бросила борьбу, сдалась и канула на дно...

Здесь мы видим то же. Младший брат не выдержал борьбы, махнул рукою на все и выпил яд национальной смерти. И вот теперь, когда он видит, что старший брат еще не сдался, что он еще хочет и смеет жить, — вся горечь, накипевшая в самоубийце за годы страданий, выливается в бешенстве против упряма-старшего. Судорожный, животный эгоизм утопающего, который обхватил руками шею пловца и душит его, словно затем, чтобы и его увлечь за собою — на дно.

Больше нечем объяснить всю страстную несправедливость нападок на сионизм как на движение «реакционное», «мракобесническое» — и всю грубость той клеветы, которая так обильно разносится по адресу евреев-националистов, никого, конечно, не убеждая, никого даже не задевая за живое, но внося в атмосферу спора что-то неприятное и некультурное...

В книге д-ра Сапира такой противник нашел бы следующие строки:

«Сионизм стремится не только к экономическому и политическому, но и к духовному возрождению еврейского народа и всегда остается на почве современной культуры, завоеваниями которой он дорожит...» (Резолюция IV конгресса сионистов, с. 149).

«Если еще теперь, — говорит Гефдинг, — грозит опасность национальным особенностям каких-либо народов, то это происходит гораздо более вследствие того, что на свете еще слишком много варварства, чем вследствие того, что на свете уже довольно культуры. Ни одна нация еще не постигла по настоящему того, как необходимо, чтобы существовали и другие нации. Прогрессирующая культура не только открывает нам особенности различных народов, но и предоставляет отдельным народам большую возможность внести в *общее* развитие *своеобразный* вклад... Это обстоятельство не препятствует развитию "общечеловеческого"; наоборот, оно делает это развитие более богатым по содержанию и более разносторонним» (с. 150). «Космополитизм... является протестом человеческой души, но не против национальности вообще, а против национального эгоизма — там, где последний переступает свои границы и распространяется за счет другого. Лозунг космополитизма — не единство, а объединение всех наций и народов...» (с. 151). В последней фразе следовало бы только прибавить одно слово: лозунг *истинного* космополитизма. К сожалению, сплошь и рядом космополитизм понимается в наивной форме полного

нивелирования в будущем эскимоса с португальцем — и в этой своей ходячей форме вполне заслуживает того определения, которое дал ему г-н Корней Чуковский в предыдущем номере «Южных записок»: программа застоя...

Против сионизма часто выставляется довод, гласящий, что движение это есть движение отраженное, а не самостоятельное, что с исчезновением антисемитизма исчезнет и еврейский национализм. Довод — не совсем понятный, ибо ведь всякое движение будет до известной степени отраженным: разве стремление к равномерному распределению богатств не является следствием неравномерного распределения богатств? Без тезиса нет антитезы, — и одно это соображение служило бы достаточным ответом на вышеприведенный аргумент, даже если бы он был фактически верен — если бы сионизм действительно был вызван к жизни только антисемитизмом. Но так ли оно? Похожа ли на правду эта теория происхождения сионистского движения? На эти вопросы добросовестный противник нашел бы в книге д-ра Сапира не лишенный убедительности ответ. Говоря о палестинофильских статьях Бен-Иегуды, автор прибавляет (с. 83): «Статьи Бен-Иегуды были навеяны известными событиями 1878 года. *Освобождение* сербов, болгар и румын навело евреев на мысль, что возрождение еврейской нации и Святой земли — дело не только осуществимое, но и необходимое. *Эти же события* оказали влияние и на образ мышления д-ра Пинскера*, который писал: "Если национальные стремления некоторых на наших глазах возродившихся народов находили внутреннее оправдание, то может ли возникнуть вопрос, принадлежит ли такое же право и евреям?" *События на Балканском полуострове* направили и М. Л. Лилиенблюма ("еврейского Писарева") в сторону возрождения Сиона. Все вышеуказанное поэтому дало право д-ру Генриху Заксу заметить, что "не антисемитизм, не рабство, а *идеи эмансипации* более всего вызвали к жизни сионизм" ...»



В Одессе на днях вышла в свет брошюра г-на Сига «Паволакый Крушеван». В предисловии к этой брошюре г-н Ал. Вознесенский высказывает такие взгляды на национализм:

* Автор известной брошюры «Автоэмансипация», посвященной вопросу о еврейском государстве.

«Национализм всегда неестественно знаменовал возврат к эпохе варварства и, расцветая на такой почве, сопровождался безобразными, дикими симптомами атавизма... Национализм не дал и не мог дать ничего хорошего культурному миру. Когда личность дарила человечеству какое-либо культурное благо, что-либо культурно великое, нация никогда не играла важной и истинной роли, хотя всегда играла жалкую маклерскую роль в этом деле. Гений никогда не нуждался в нации, как в почве...»

Все это, безусловно, неверно.

Ульрих фон Гуттен, светлейшая личность гуманизма, был пламенный националист немецкой народности. Он проповедовал великое обновление культуры, освобождение науки и искусства — но все это во имя *немецкой* идеи. «Рим хозяйничает у вас, — укорял он своих соотечественников. — Как вам не стыдно жить по указке чужого народа. Будьте немцами!» И вся эта эпоха была сплошным пожаром национализма; но она вела не к варварству, как уверяет г-н Вознесенский, а к реформации, к возрождению духа.

А Италия?

Джузеппе Джустини писал:

Мы всё хотим свободы и доверья, —
Доверья к нам, — *а немцев не хотим;*
Хотим с ворон сорвать павлиньи перья,
Идти вперед, — *а немцев не хотим;*
Хотим унять народные страдания,
А немцев не хотим. И — до свиданья...

А в гимне Гарибальди, который до сих пор служит любимой национальной песней в стране, есть такой припев: «Прочь из Италии, прочь, ибо время настало, прочь из Италии, о иноземец!» И Гарибальди был великий герой и прозван «рыцарем человечности», а не поборником варварства; и Джузеппе Джустини был честный поэт-гражданин, каких повсюду было мало до него и после.

А Кошут? А Петефи?

«В наше время, — пишет г-н Вознесенский, — национализм не имеет ничего, кроме язв!»

Изумляюсь, как можно было написать эту фразу именно в «наше время». Ведь на днях еще была англо-бурская война, и несчетные тысячи великомучеников Трансвааля умерли геройской смертью за свою национальную независимость. Или эта беспримерная оборона тоже была «язвой» в глазах г-на Вознесен-

ского? И филиппинское восстание тоже «язва»? И познанские протесты тоже «язва»? И македонец Делчев, отдавший жизнь за родину, тоже «язва»?

Г-н Вознесенский сделал большую ошибку. Он принял г-на Крушевана за образец националиста. Но какой же г-н Крушеван националист? Разве он борется за чье-нибудь возрождение? Разве он призывает какую-нибудь народность к освобождению от чужеземного ига? Г-н Крушеван является в печати представителем не национальной, а какой-то особой экономической группы. Он стоит за интересы резешей¹, кулаков-однодворцев, хищно скупающих земли обнищавшего бессарабского помещика. В этой купле у резеша только один конкурент — еврей: оттого резеш ненавидит еврея. Сын резеша, г-н Крушеван впитал с детства эту ненависть и стал ее барабанщиком. Но резеши не нация, и г-н Крушеван не националист. Истинный же национализм, напротив, всегда выдвигал великих героев, от еврейских братьев Маккавеев до тагала Агинальдо...

Г-н Вознесенский пишет:

«На каждый шорох национализма невольно и немедленно подымается искренний и энергичный разум личности, заглушая его злобно умирающий голос сердечным криком: "Неправда! Я люблю всех равно"». Это уже совсем из области фантазии. Никакая здоровая личность нигде и никогда не кричала: «Я люблю всех равно!» Ибо здоровой личности свойственно любить свою возлюбленную больше, чем чужую возлюбленную, свою мать больше, чем чужую мать, и свою народность больше, чем чужую народность. И так оно есть, и так оно должно быть, и так оно всегда будет.

Есть два национализма: один наступательный, другой оборонительный. Первый стремится навязать слабому соседу свою физиономию. Против него протестуйте всеми силами, и вы будете правы. Но второй национализм, оборонительный, — это и есть национализм того самого *слабого соседа*, которому хотят навязать чужую физиономию и который защищает свою самобытность. Выше и священнее *этого* национализма нет ничего на свете. Тот, кто честно служит *этому* национализму, может не краснеть перед борцами за величайшие идеалы человечества: он их равный товарищ.

Владимир Жаботинский

Южные записки. Одесса, 1903. № 18 (24 мая)

¹ Собственники земли в Молдавском княжестве и Бессарабской губернии XVI—XIX веков.



Вскользь

Прекрасная идея.

Торговкам на вокзале велено прикрывать фрукты и овощи кисеей или белым чистым покрывалом.

Это очень хорошо.

Я весьма доволен.

Ибо до сих пор было страшно неудобно.

Пройдешь по базару пять раз (я всегда сам хожу на базар — жена любит утром поспать) — пять раз пройдешь по всему базару и не решаешься купить полфунта черешен.

Не то что дорого. Дерут, положим, эти торговки ужасно: конец мая, а меньше 10 копеек за фунт черешен не хотят.

Но меня это не останавливает. Я человек не скупой, семью свою очень люблю, и потратить для нее что 4 копейки, что 5 — мне это безразлично.

Меня не это останавливает.

Останавливают гигиенические соображения: грязно.

К какой торговке в корзину ни заглянешь, ни ковырнешь пальцем — палец выходит наружу липкий и грязный, так что даже обсасываешь его с некоторым отвращением.

А когда купишь, принесешь домой и высыпешь черешни в тарелку с водою, то вода в ту же секунду становится такая черная, что горничная потом всегда ворчит:

— Опять вы, барин, калоши в тарелке мыли!

А теперь будет кисея. Теперь будет чисто.

Я очень, очень рад. Весьма рад. Я ужасно люблю полезные реформы и всегда готов их почтительно приветствовать.

Однако не без некоторых сомнений.

Кисея, конечно, дело хорошее.

Прекрасное дело кисея. Тонкое, прозрачное.

Прикрыть черешни кисеей — это хорошая идея. Сверху как будто прикрыто, а на самом деле все, как есть, видно.

Это будет очень пикантно. Этак корзины на базаре будут как две капли воды похожи на барышень, которые гуляют по бульвару.

Но меня все-таки берет сомнение.

Я что-то себе этого не представляю.

Ну, допустим, подхожу я к базарной разносчице и говорю:

— Покажите черешни.

Она останавливается и показывает. Мы торгуемся. Я покупаю. Она отвешивает, дает мне — и идет дальше.

Говоря строго, она не должна сразу идти дальше, а должна раньше снова прикрыть черешни кисеей.

Но ведь это немыслимо.

Потому что на углу уже показался «базарный» в зеленых кантах.

И моя торговка должна идти дальше.

Ибо моя торговка находится в положении Агасфера.

Ей сказано:

— Иди!

И она должна идти, идти вечно и нескончаемо, нигде — в пределах базара — не останавливаясь.

Как же быть с кисеей?

На ходу кисеей трудно орудовать.

Предложите барышне, которая гуляет по бульвару и тоже прикрыта кисеей, прикрыть себя этой кисеей на ходу.

— Нет! — скажет она. — Это невозможно. Я раньше прикроюсь кисеей, а потом пойду.

Если так ответит барышня, то чего же требовать от неодушевленных черешен?

Нельзя прикрывать черешни кисеей на ходу.

А останавливаться тоже нельзя, ибо «базарный» сейчас подскочит.

— Чтоб не останавливалась. Иди!

Как тут быть?

С одной стороны, как будто и есть кисея, а с другой, как будто и нету кисеи!

Задача!..

Но это не все. Есть еще один вопрос.

Кисея для чистоты.

Великолепно.

Ерго¹, кисея и сама должна быть чистая?

Несомненно.

Но тогда, скажите, как же быть в те дни, когда «базарный» не в духе?

Ибо заведено, что, когда «базарный» не в духе, он подходит, дает сапогом «леща» по корзине и вываливает на мостовую черешни, а ежели на черешнях будет кисея, то и кисею.

А мостовая на базаре грязная. Испачкаются и черешни, и кисея.

¹ Следовательно (лат.).

Как же тогда быть?

Неудобно.

Я думаю, что тут не иначе как придется издать еще два постановления.

Первое — чтобы каждая торговка умела на ходу натягивать кисею на черешни.

А второе — чтобы торговки следили за чистотою мостовой на базаре.

Чтобы у каждой был веник и чтобы, идя, подметали.

Тогда, если «базарный» даст по корзине «леща» сапогом и вывалит все на мостовую, то ни черешни, ни кисея не испачкаются, а ежели и испачкаются, то самую малость.

И будет благополучно и гигиенично.

Вообще не следует останавливаться на подороге. Нововведения, так уже нововведения.

Раз уж торговкам придется покупать кисею, так пусть заодно купят и веники.

Altalena

Одесские новости. 25.05.1903



Вскользь

Открытое письмо

Госпожа!

В вашем письме особенно остановили мое внимание следующие строки:

«Чем больше я над этим вопросом размышляю, тем яснее становится мне одно: что я не имею права трудиться.

На прошлой неделе мне представился случай принять кондичию в деревню на все лето. Мне страшно хотелось поехать, но я пересилила себя и отказалась.

В гимназии у меня было много подруг, которым чуть ли не с пятого класса приходилось помогать семье уроками. Я прекрасно помню, как они жаловались, что найти урок очень трудно.

Поэтому я пришла к убеждению, что мне, обеспеченной, живущей у родителей на всем готовом, грешно было бы отбивать хлеб у тех, которые нуждаются сами и помогают родным: я не имею права трудиться.

А между тем мне страшно хочется самостоятельной жизни, не говоря уже о том, что деньгами родителей все-таки нельзя так

распоряжаться, как своими, и приходится во многом себе отказывать, даже во многом таком, что, я чувствую, мне необходимо.

Мне уже 22 года, у меня много желания работать, но сознание того, что я несамостоятельна, сковывает мне руки, и я чувствую, что пока будет это сознание, до тех пор я не смогу жить по-настоящему; а в то же время стать самостоятельной — совесть не позволяет.

Оттого я живу, как все другие барышни из зажиточного дома: даю бесплатные уроки в одном училище и ничего не делаю.

Если бы я была очень красива и очень умна, то отдала бы красоту и ум за то, чтобы иметь право трудиться и каждое утро пить чай, купленный за мои деньги...»

Скромное желание, госпожа, и нет ничего легче, как дать ему исполнение.

Слово «нуждаться» значит: испытывать нужду.

Так как вы всей душою ощущаете нужду в самостоятельной жизни, то есть в заработке, то никто не может отрицать, что вы в нем нуждаетесь.

Этого и вы сами не станете отрицать.

Но вы находите, что другие нуждаются больше вас.

Другие нуждаются больше вас, и потому вы отдаете им свое право на труд.

Вам предлагают работу, и вы отвечаете так:

— Я нуждаюсь в работе, но есть такие, которые нуждаются больше и серьезнее меня. Я не приму этой работы. Поищите другую, которая больше меня нуждается.

Хорошее слово, госпожа, сказано Толстым.

— Люди не знают, — сказано у него, — какое дело самое важное. А самое важное то дело, которое в эту минуту пред тобою.

Вы берете в руку монету и выходите на улицу, чтобы подать монету нищему.

И вот на углу стоит нищий с протянутой рукой.

Но вы колеблетесь и спрашиваете себя:

— А, может быть, на другом углу есть другой нищий, которому помощь нужнее?

У этого нищего, что перед вами, вывернуты ноги, на плечах рубище и дома двое голодных деток. Но вы говорите себе:

— А, может быть, на том углу есть другой нищий, совсем безногий, и не в рубище, а в лохмотьях, и дома у него ребятишки не просто голодные, а даже больные?

И говорите себе:

— Этому, который предо мною, помощь нужна, и помочь ему есть важное дело. Но, может быть, на том углу меня ждет дело более важное?

Ибо, действительно, всякому человеку свойственно желание отдать свою монету на самое важное дело; и в том только беда, что мы никогда не знаем, какое дело самое важное.

Потому что на том углу вы в самом деле найдете другого нищего; но ведь и перед ним вы остановитесь и спросите себя:

— А, может быть, на третьем углу?..

Для того, госпожа, и сказал Толстой:

— Самое важное дело есть то дело, которое в эту минуту перед вами.

Чтобы не метался человек от угла к углу, не зная, кому отдать свою монету.

Чтобы не бегал по берегу, разглядывая утопающих и выбирая, кого из них важнее спасти.

Ибо не дорог нищий и не дорог утопающий столько, сколько дорого мое желание помочь и спасти; и чтобы не остыло и даром не пропало желание, протяните руку первому, который попадется.

И тогда верьте, что вы поистине сделали самое важное дело, потому что сделали то, которое в эту минуту было перед вами.

То же говорю вам и о праве на труд, госпожа.

Я вас не знаю; но думаю, что ваша тоска по работе и самостоятельности указывает на присутствие сил, только сил заглушенных; и думаю, что если бы силы ваши не заглушались, а росли вольно, вы стали бы добрым слагаемым в сумме жизни.

Значит, вы нуждаетесь. Вы — тоже нищий с протянутой рукою.

Но когда случай хочет подать вам почетную милостыню труда, вы одергиваете руку и говорите:

— Нет: на том углу есть другой нищий, который больше меня нуждается

И случай проходит мимо вас; и вы остаетесь на своем углу, нищая, бесполезная и бесплодная, — нуль в счете жизни.

Но почему же вы отослали милостыню на тот угол, а не дальше?

Правда, вы считаете, что там нуждаются больше вас; но ведь есть, без сомнения, тысячи углов, где нуждаются еще больше.

Вы полагаете, что помощь должна быть оказана тому, кто всех больше нуждается. Но тогда прежде отыщите того, кто всех больше нуждается!

Я же думаю, что помощь нужна не тому, кто больше всех нуждается, а тому, кто первый встретится.

Altalena

Одесские новости. 28.05.1903



Вскользь

А мы с доктором Любомудровым старые знакомые.

Как-то я сидел в одном доме за обедом или ужином — не помню, — и хозяин дома вдруг подавился костью.

Поднялся переполох.

— Зовите врача! Кто тут есть поблизости?

Кто-то ответил:

— Ближе всех д-р Любомудров. Он в соседнем доме.

— Бегите за ним.

Побежали. Пропадали четверть часа и вернулись с другим врачом.

Другой врач дал хозяину тумака по затылку, хозяин выздоровел мгновенно, и все кончилось хорошо.

Когда все кончилось хорошо и врач отправился домой, кто-то спросил у посланного:

— А вы доктора Любомудрова не застали?

— Нет, застал.

— Отчего же он не пришел?

— Отказался.

— Как так?

— Не пойду, говорит, и баста.

— Да он, может, думал, что бесплатно?

— Нет, когда я увидел, что он не хочет идти, я ему сказал, что размер платы за визит будет зависеть от его собственного усмотрения.

— А он что?

— А он говорит: не пойду.

Теперешний случай, о котором рассказывает сегодня в письме в редакцию г-н Савельев, еще лучше.

Там хоть все-таки нужно было выйти из своего дома и пойти в соседний, — значит, нужно было надеть шапку, набросить пальто, спустаться и подыматься по лестницам.

Но для того, чтобы попасть в квартиру г-на Савельева, доктору Любомудрову следовало только сбежать по своей лестнице этажом ниже.

Ни шапки, ни пальто, ни калош для этого не нужно. Сборов никаких. Сбежал, помог, взбежал обратно. Не больше пяти минут.

Сделать это было бы так же легко, как ударить пальцем о палец.

Но д-р Любомудров, очевидно, не захотел и пальцем о палец ударить.

А между тем тут человек исходил кровью.

Очень, очень странно...

Д-р Любомудров, очевидно, представляет из себя совсем особый тип.

Есть такие врачи, которые не идут, когда не рассчитывают получить гонорар.

Эти, может быть, и не так ужасно неправы.

Но д-р Любомудров, как мы видели, отказывается иногда помочь больному даже за плату.

Это уж нечто особенное.

Это уже, очевидно, «принцип».

— Принимаю в часы приема! А в остальное время желаю быть свободным человеком.

Гм... Мы, конечно, ничего не имеем против желания д-ра Любомудрова быть свободным человеком.

Кто же этого не желает?

И если врача ночью поднимают с постели и тащат куда-то за тридевять земель, то нельзя отказать врачу в праве взбунтоваться и запротестовать:

— Я тоже человек!

Но это — ежели ночью и за тридевять земель.

А вот ежели не ночью, а утром, и не за тридевять земель, а в том же доме, по той же лестнице, только одним этажом ниже?

Это уже будет совсем другая разница, как говорят приказчики в Одессе. Отказаться можно и тут, но уж не под тем предлогом, что «я — человек».

Ибо отказаться в подобном случае значит поступить уже не по-человечески, а по...

Виноват. Чуть было не сорвалось теплое словечко.

Ах, нехорошо, доктор Любомудров, нехорошо.

Ну что за смысл так упорно отказываться от всякой сверхурочной практики?

Смотрите, до чего вы себя довели.

Вам пришлось отказать в помощи больной, исходившей кровью, потому что у вас — по собственному признанию — «нет инструментов».

Но ведь это, доктор, ужасно. Не иметь даже тех «инструментов», которые нужны для того, чтобы остановить кровь из носу! Видите, до какого разорения вы себя довели.

Нельзя же так. Пожалейте себя, доктор. Этак у вас через полгода не окажется и того «инструмента», при помощи которого лечат объевшегося человека?

Ужас! Сердце у меня так и скрипит от жалости к доктору Любомудрову, который так геройски разоряется ради «принципа».

Бедный доктор Любомудров...

Altalena

Одесские новости. 3.06.1903



Вскользь

Тоже литератор.

По крайней мере — человек, живущий творчеством своего пера.

Некий отрок подал на днях к мировому на другого отрока, требуя гонорара за «сочинения».

Первый отрок писал эти «сочинения», а второй отрок подавал их учителю и получал четверки.

И вот первый отрок теперь требует гонорара, а второй не дает.

Впрочем, мировой судья тоже отказал литератору в гонораре, так как нашел, что его «сочинительство» носило характер содействия не то подлогу, не то мошенничеству, а за такие дела денег не платят и вообще по головке не гладят.

Признаюсь, узнав об этом приговоре, я сильно покраснел и впал в угрызения совести.

Ибо и я, господа, грешен.

И я был отроком. И я содействовал подлогу и мошенничеству.

Но как содействовал!

Больно сознаться, но я в своей жизни натворил штук двести подлогов и мошенничеств.

Я написал трактатов сорок на тему:

«О пользе железных дорог».

Трактатов пятьдесят «О значении просвещения» и до ста под заглавием «Как я провел (или провела) лето».

И какую дьявольскую изобретательность проявлял в этой пруступной деятельности — уму непостижимо.

Я не повторялся.

Одному я писал, что железные дороги полезны потому, что облегчают перевозку скоропортящихся продуктов.

Другому писал, что железные дороги полезны на случай войны.

Третьему писал, что железные дороги, давая возможность учащимся в городе ездить на праздники в деревню к родным, укрепляют семейные узы.

Но лучше всего выходило у меня летнее времяпровождение.

Я умел тогда варьировать это времяпровождение на тысячу ладов — и при этом соблюдать две категории: как «провел» — и как «провела».

В категории «провел» писалось так.

Солидно:

«Приготовив каникулярные работы, я с разрешения матери отправился поудить...»

Поэтично:

«Под зеленеющим обрывом нашей дачи расстилалось беспредельное синее море, на могучей поверхности которого плавали взад и вперед белокрылые корабли-лебеди, пуская сзади дым, подобно молнии...»

Глубокомысленно:

«Сидя на суку, я иногда невольно переставал рвать яблоки и глядел на достоинства природы, размышляя о том, как велик должен быть Творец, Который...»

В категории «провела» тон и стиль был совсем иной.

«После вечернего чая m-me Павлова устроила танцы, и меня попросили сыграть вальс. Я сначала отказывалась, но потом сыграла вальс, кажется, довольно недурно. Потом за фортепиано села моя милая подруга Катя. Мы веселились почти до половины десятого. Я никогда не забуду впечатлений этого чудного вечера и радушной, истинно русского гостеприимства доброй m-me Павловой...»

Одного только я не умел. Не умел писать «на отметку».

Были виртуозы, писавшие наверняка на всякую отметку.

Одного из них я знал.

Он, бывало, говорил:

— Вам на какую отметку?

— Так, на три с плюсом или на четыре с минусом.

— Что значит «или»? Вы скажите прямо. На три с плюсом одно, на четыре с минусом совсем другое.

— Ну, на четыре с минусом.

— Можно. А у вас кто учитель?

— Такой-то.

— Ага, знаю. Ему надо писать так, чтобы выказать общее развитие. Завтра будет готово.

— На четыре с минусом?

— Не более и не менее.

Я этого не умел. Писал, как удавалось; метил на пятерку, а получалась тройка с плюсом.

Помню особенно один случай.

У меня был соученик по прозвищу Каин, которому я давно мечтал отомстить.

Дело в том, что он меня еще в первом классе однажды жестоко подвел.

Меня вызвали в такой день, когда я не ждал этой пакости и потому не знал ни слова из латинского перевода.

Каин сидел рядом со мною.

— Каин, подсказывай!

Первая фраза в переводе была такая:

— *Dominus amat ancillas, ancillae amant dominum.*

Это надо было перевести так:

— Господин любит прислужниц, прислужницы любят господина.

А Каин мне подсказал так:

— Хозяин любит горничных, горничные любят хозяина.

Меня тогда выгнали из класса и чуть не поставили 4 за поведение в четверти!

Я три года подряд мечтал отомстить Каину.

Наконец, уже в четвертом классе он попросил меня написать для него сочинение на тему:

«О пользе чтения».

— Ты постарайся, — просил он, — а то у меня будет 2 в четверти.

Я постарался. Я написал самое глупое сочинение, какое только мог нарочно состряпать. Глупость так и была из каждой буквы.

Но учитель поставил Каину 4 с плюсом и написал снизу.

«Скромно и хорошо».

Так, значит, и я был наказан за содействие подлогу и мошенничеству...

Altalena

Одесские новости. 5.06.1903



Вскользь

Когда была чума в Одессе, несколько крыс из Александрии тайком высадились на Карантинный мол, потом пробрались в город и поселились в доме Жуся.

Тогда, как известно, лафа была крысам в Одессе.

Им даром разбрасывали по норам хлебный мякиш: они ели с аппетитом и даже, говорят, полнели.

На таких хлебах александрийским крысам жилось в доме Жуся очень хорошо.

Туземцы, одесские пасюки, сначала косились на пришельцев.

Но потом, увидев, что александрийские крысы живут благородно, а дарового мякиша на всех хватает с избытком, порешили:

— Пусть живут в доме Жуся.

Время шло. Пришельцы ели хлебный мякиш, полнели, устраивали браки и размножались.

И размножились до того, что стало им тесно в доме Жуся.

Тогда начали они семействами переходить на Толчок и занимать там свободные норы.

Тут всполошились одесские пасюки.

— Если этак пойдет дело дальше, — говорили они, — то александрийские крысы захватят все норы в городе.

И объявили александрийским крысам, чтобы жили смирно в доме Жуся и не смели приобретать норы вне дома Жуся.

Тогда огорчились александрийские крысы.

Но была из них одна, старая и мудрая; та не огорчилась, а усмехнулась.

— Глупые вы крысы! — сказала она. — Вы ни своей выгоды не понимаете, ни чужой не цените.

Разве одесские норы существуют для александрийских крыс? Одесские норы существуют для одесских пасюков.

А если александрийской крысе нужна нора, то пусть выбирает сама: или в доме Жуся, или в Александрии.

Я же, крыса старая и бывалая, нахожу, что в доме Жуся тесно и неудобно.

Поэтому, если у кого есть средства завести себе нору, пусть заведет ее в Александрии.

Ибо довольно мы тут гастролировали. Пора домой; из Александрии мы приехали и в Александрию должны вернуться.

Александрийские крысы послушались и уехали в Александрию.

Иногда крысы бывают умнее людей.



ЧУЖИЕ СТИХИ

I

Г-н О. Б. прислал мне стихотворение «Песня узника».

*Я хотел бы рыдать,
Но нет слез у меня:
Я могу лишь плясать,
Кандалами звеня.
Иссушила тоска
Мое сердце давно.
Гробовая тоска
Или жизнь — все равно.
Я б хотел улететь —
Но, оковы влача,
Должен я умереть
Под рукой палача.
Я б хотел знать любовь —
В сердце зло лишь горит —
То убитого кровь
Мою душу томит.
Я б хотел быть титаном —
Я кроток и слаб.
Я б хотел быть тираном —
И жалкий я раб.*

Атта Троль

II

*Когда я умру, подкошенный недугом,
Измученный тяжелой борьбой —
Не плачьте над искренним братом и другом
Несчастных, забитых нуждой:
Оплакал я сам свою горькую долю,
Когда эти песни слагал;
Убитый трудами, с мучительной болью
Я к свету им путь пролагал.
И выросли вестники горя-печали,
Мои дорогие птенцы,
И скорбь наболевшей души рассказали,*

Земли облетевши концы...
 Вы с тихой молитвой меня схороните
 Среди позабытых могил
 И словом приветным порой помяните:
 «Он родину свято любил».
 Поставьте на насыпи крест к изголовью;
 Не надо решеток и плит —
 Его оградите вы братской любовью,
 И долго он так простоит.
 Пусть ивы склоняют над ним свои сени,
 Шумя изумрудной листвой;
 В них птишек залетных услышите пенье,
 Жужжанье пчелы золотой.
 Пускай сторожат меня мать-природа,
 Которую так я любил,
 И семьи могилки простого народа,
 С которым я горе делил...

Ив. Никифоров



Еще одна анкета.

В последнее время мне случается часто читать произведения начинающих.

Большая половина, конечно, совершенно свободна от всяких признаков таланта.

Но есть рукописи, над которыми останавливаешься.

Умение излагать — несомненное. Даже литературный навык.

Иногда — художественные строчки. В одной из этих рукописей я нашел такие описания природы, какие и печатная бумага не часто показывает.

Наконец, я помню два или три прямо талантливых произведения, оригинальных, сильных, почти глубоких.

Но — нигде ни искры фантазии.

Утверждаю, что во всей той кипе рукописей начинающих авторов, которую я за полтора года прочитал, не было *нигде* ни проблеска фантазии.

Было часто хорошее воображение. Но воображение есть простая способность представить себе какой-нибудь отдельный момент в виде более или менее яркого образа.

А фантазия есть способность разнообразить эти отдельные моменты, группировать их в сложные, пестрые сочетания, делать богатый узор, выдумку, фабулу. Этой способности я и следа не заметил.

В самых удачных, даже в талантливых рукописях чувствовалось упорное бессилие фантазии.

Чувствовалось, что автор как будто и хотел бы рассказать чудесные, сказочные, неслыханные небылицы, но не мог. Не вышло. И он, себе в утешение, не найдя оригинальной фабулы, постарался взять оригинальничанием в манере изложения, в мыслях и чувствах героев.

Я и прежде, конечно, знал это явление бессилия фантазии, этот *decay of lying*¹, применяя выражение Уайльда. Оно и прежде ярко бросалось мне в глаза при чтении Д'Аннунцио, а по-русски — господ Мережковского, Бальмонта, Гиппиус и братии.

Но почему-то только теперь, когда я проследил то же явление на целом ворохе юношеских рукописей, оно особенно поразило меня, и я особенно ясно почувствовал, что в нем есть нечто тяжелое и болезненное.

Я стал размышлять. У меня возникло сопоставление этого литературного явления с аналогичными явлениями в жизни: не стало больше интересных собеседников. Мы живем в интересное время, события грохочут одно за другим с головокружительной быстротой, а разговоры наши в обществе тусклы и незначительны. Встречаясь, мы просим друг друга: расскажите что-нибудь интересное! Но никого не хватает даже на то, чтобы интересно поврать. *Decay of lying!*

Среди читателей найдутся, верно, такие, которые сами уже останавливали свое внимание на этом упадке фантазии — на болезни, охватившей одно из самых ценных и полезных свойств человеческого духа.

Эти читатели не откажут передать мне свое мнение в ответ на вопросы:

— Какие замечены вами в литературе, искусстве или жизни проявления бессилия фантазии современного человека?

— В чем видите вы причины этого общеевропейского бессилия фантазии?

— Характерна ли эта болезнь для одного лишь капиталистического общества с его головокружительными контрастами и головокружительной техникой или может, по-вашему, проявиться по случайным причинам на любой ступени развития общества?

¹ Упадок искусства лжи (англ.).

Вопросы довольно трудные, и я не рассчитываю на многочисленные ответы; но, с другой стороны, время летнее, каникулярное, и, кому не лень, на досуге может обдумать и высказаться...

Altalena

Одесские новости. 7.06.1903



Kadimah

Я знаю три возражения против сионизма. Первое ходит под ярлыком научности и гласит:

— До сих пор государства создавались естественным путем, а искусственным путем не возникло еще ни одно государство до сего дня.

Я считаю это возражение безусловно несерьезным и отвечаю на него обыкновенно тоже несерьезно:

— Есть многое на свете, друг Горацио, что не снилось нашим мудрецам; и цыплята прежде создавались только естественным путем, но это не помешало человеку в один прекрасный день вывести цыпленка искусственно...

Другое возражение гласит:

— Осуществимо ли это?

Я считаю это возражение серьезным и отвечаю на него тоже серьезно:

— Кто не надеется, тот умирает; но только тот имеет право сказать «невозможно», кто уже пытался. Я же верю твердо и незыблемо в изречение, которое записано в старых книгах нашего народа: «Если тебе скажут: я старался, но не достиг цели, — то не верь». Ибо нельзя не достигнуть цели тому, кто старался и напрягал усилия, кто боролся и добивался. Я напрягаю усилия, я борюсь и добиваюсь, и верю в победу, потому что не верю в бесплодность энергии.

Третье возражение гласит:

— Ваше движение зовет людей назад, к фанатизму, к человеконенавистничеству, к вражде племен.

Это возражение я считаю озлобленным и на него обыкновенно не отвечаю, а умолкаю и скорбно гляжу на того, кто мне бросил эту неправду, и дивлюсь, опечаленный, его озлоблению.

Странное озлобление. Можно относиться недоверчиво к тому, что находишь несбыточным; но негодование против чужого

идеала понятно только тогда, когда этот чужой идеал есть идеал насилия, порабощения, надругательства. Между тем, какова бы ни была судьба сионизма в будущем, он несет во всяком случае благородный идеал эмансипации. Откуда же это озлобление, эта ярость, и не со стороны чужих или реакционеров, а со стороны братьев по крови и людей, кичащихся передовым образом мыслей?

Есть одно только объяснение этой странной ярости. Перечитайте у Щедрина в «Господах Головлевых» то место, где племянницы Иудушки от «веселой жизни» решают покончить с собою. Младшая выпила яд. Но старшая в последнюю минуту отказалась: инстинкт жизни победил в ней отчаяние. И тогда младшая пришла в страшное бешенство. Вся обида за удары жизни вдруг превратилась в ненависть против этой старшей сестры, которая осмелилась остаться, когда она, младшая, уже бросила борьбу, сдалась и канула на дно...

Здесь мы видим то же: младший брат не выдержал борьбы, махнул рукою на все и выпил яд национальной смерти. И вот теперь, когда он видит, что старший брат еще не сдался, что он еще хочет и смеет жить, вся горечь, накипевшая в самоубийце за годы страданий, выливается в бешенстве против упрямца-старшего. Судорожный, животный эгоизм утопающего, который обхватил руками шею пловца и душит его, словно затем, чтобы и его увлечь за собою — на дно...

Больше нечем оправдать всю страстность этих несправедливых нападок; потому что с нашей стороны мы ничем их не заслужили, и всегда были и сознавали себя честными друзьями прогресса, свободы духа и братства; и с того момента, как возникло наше движение в просвещенной среде, стало девизом его слово *Kadimāh*, прекрасное и глубокое слово, которое значит «к востоку» и в то же время «вперед»...

Как создалось это слово с его обоюдным значением?

Психологический процесс возникновения этой омонимии был, вероятно, таков: все живущее тянется к свету; отсюда — священное значение востока, где свет рождается; оттого к востоку обращены лица молящихся, на восток глядят во храмах алтари; сознание мало-помалу свыкается с тем, что во все религиозно-торжественные моменты жизни человека перед ним восток, и создается представление, что восток всегда впереди; и два эти понятия мало-помалу уживаются в одном и том же

слове *Kadimàh*, и получается прекрасный, глубокий термин, словно созданный нарочно для символа и девиза.

И в самом деле, это слово должно стать истинным *гевизом сионизма*. Разве для нас не слиты неразрывно оба понятия: «на восток» — лозунг исхода, и «вперед» — лозунг прогресса? Мы для того хотим уйти на восток, чтобы там свободно двинуться вперед, наравне с другими народами, — может быть, впереди других; вне востока для нас нет и прогресса, вне востока нас ожидают разложение и национальная смерть; «восток» и «вперед» — это для нас одно и то же, одно без другого неосуществимо, и в нашем стремлении оба понятия сплавлены так же плотно, как они слиты в слове *Kadimàh*.

Но у нас оспаривают право на этот девиз. Нам говорят:

— Ваше движение не возникло ни из какого положительно-го стремления. Оно вызвано антисемитизмом: так как евреям тяжело в диаспоре, вы хотите увести их в Палестину. Значит, все это затеяно совсем не ради того, чтобы создать новое гнездо культуры. Ваша цель отрицательная, а не положительная: бегство, а не стремление. Вам нужно прежде всего убежище, богадельня, крепость, где бы вас укрыли от злобы, а не фабрика для производства новых ценностей. Вами движет сострадание, а не порыв творческих сил. Изберите же для себя какой угодно девиз: «жалость», «заступничество» — но только не слово «вперед». Бегство никогда не было движением вперед.

Что ж, это верно. Бегство никогда не было движением вперед. Бегство есть движение назад. Бегство есть последняя уступка. Кто бежит, тот уже сдался. Кто бежит, тот уже тем самым говорит: я отказываюсь от борьбы. Я больше не отстаиваю того, что я взялся отстаивать. Я уступаю вам то, что я хотел считать моей собственностью.

Бегство есть движение назад и ничем иным быть не может, потому что в нем заключена уступка именно того принципа, за который велась борьба. Это главное. Без элемента уступки нет и бегства. Если я ошибся дверью и попал в чужую квартиру, то, заметив ошибку, я извиняюсь и ухожу; но это не есть бегство, потому что у меня не было намерения овладеть этой чужой квартирой. Но если бы я нарочно ворвался в нее затем, чтобы овладеть ею, и был бы вынужден отказаться от этой цели и уйти, — тогда мой уход был бы настоящим бегством; ибо тот беглец, кто, уступая перед силой, отказывается от принципа, за который он ратовал.

Но евреи не затем пришли в земли диаспоры, чтобы овладеть ими или утвердиться в них. Мы даже не пришли — нас в эти земли втиснули. Девятнадцать веков нашей истории повествуют не о том, что мы делали, а о том, что с нами делали другие. Другие втиснули нас в Испанию, из Испании вытеснили и втиснули на восток Европы; мы шли, куда нас толкали, и останавливались, когда прекращалась инерция толчка. Одни остановились в Голландии, другие только в Румынии; но ни те, ни другие не пришли туда нарочно с целью захвата или оседлости. Падая от усталости на румынскую почву, они не говорили себе: здесь я хочу и буду жить! Они говорили: дальше я не в силах идти; останусь здесь — может быть, здесь меня не станут так мучить, как в земле Сефарад...

Мы пришли в страны диаспоры, не имея цели утвердиться. В нашем передвижении тогда вообще не было цели — была только *причина*.

И теперь мы видим, что ошиблись дверью и не туда попали, где наше место, и хотим уйти. Это не бегство, потому что никакой цели, придя в эти земли, мы с собою не принесли, и ни от какой цели теперь не должны отказаться.

Впрочем, нет. Одну цель мы принесли с собою: сохранение нашей национальности, которая тогда для нас символизировалась в религии. Испания предлагала нам равноправие за веротступничество; но мы предпочли пытки и изгнание. Значит, исходя из Испании, мы хотели остаться евреями. Это была наша единственная цель. Эту единую цель мы пронесли сквозь огонь и воду нашей долгой истории. И от этой цели мы не отказываемся: мы верны ей сегодня больше, чем когда-либо: мы для того и хотим уйти навсегда из чужих городов, чтобы остаться евреями!

Мы не сдались и не уступили в том, что есть и было целью нашей исторической борьбы; поэтому наш поход будет не бегством, а триумфом. Но беглецами назовутся те, которые уступили и сдались, те, которые не вынесли стеснений и перестали быть евреями; проповедь отречения, призывы к отступничеству, приглашения смириться духом и стать немцами или французами, раз оставаться евреями трудно, — вот что воистину клеймится именем малодушия и бегства.

И вот мы дошли до главного пункта — до отступничества. Бегство — это отступничество. *И если бы нам нужно было только бегство, то мы проповедовали бы не сионизм, а отступничество.*

Массы под влиянием нынешнего воздействия всегда направляются по пути наименьшего сопротивления. Антисемитизм представляет сильное внешнее давление, но, чтобы спастись от него, нет нужды колонизировать Палестину. Есть путь гораздо менее сложный — путь отступничества. Для бегства — это и есть путь наименьшего сопротивления. Перемените веру, и вы сегодня же приобретете все права перед законом, а завтра или послезавтра при помощи смешанных браков будете признаны за своих и обществом. Если для этого слияния и понадобится время, то, во всяком случае, оно дастся вам легче, нежели выкуп заброшенной земли и создание новой родины на развалинах.

Антисемитизм не мог породить сионизма. Антисемитизм мог породить только стремление бежать от гонений по пути наименьшего сопротивления — то есть отступничество. Но для того, чтобы вместо проповеди отступничества зазвучал призыв к национальному само[со]знанию и возрождению, нужно было нечто помимо антисемитизма — нужен был внутренний стимул, внутренний и положительный императив. Этот императив заключается в животворящем инстинкте национального самосохранения, который дал нам силу пройти сквозь строй истории.

Араб заснул под кустом. На заре его укусила блоха. От укуса он проснулся, увидел зарю и сказал:

— Спасибо этой блохе. Она меня разбудила; теперь я совершу омовение и возьмусь за работу.

Но когда он стал совершать омовение, блоха укусила его вторично. Тогда араб ее поймал и задушил, сказав:

— Видно, ты возгордилась тем, что я похвалил тебя; и действительно, ты помогла мне проснуться; но не твоим понуканием буду я молиться и работать...

Вот роль антисемитизма в сионистском движении. Мы не отрицаем, что он помог нам проснуться. Но и только. Если же, проснувшись, мы выпрямились, умылись свежей водою и взяли за работу, то не ради жалкого насекомого, которое нас разбудило, а ради того инстинкта жизни, который в нас заложен.

Если бы мы хотели бегства, мы призывали бы к отступничеству; если бы нам нужна была богадельня, мы призывали бы к отступничеству, потому что отступничество легче и скорее всего спасло бы наши шкуры. Но не мы, а наши противники проповедуют этот легкий путь отречения; мы, сионисты, отвергаем капитуляцию и зовем к нелегкой *работе созидания*.

Мы зовем еврейскую народность к *историческому творчеству*. Указуя на восток, мы не говорим народу: бегите, спрячьтесь от гонений в эту нору; мы указуем на восток и провозглашаем «вперед»: *Kadimàh!*

Владимир Жаботинский

*Южные записки. Одесса, 1903. № 19 (7 июня)
Печатается позднейший вариант
по сборнику «Недругам Сиона» (Одесса, 1903)*



Вскользь

Куй железо.

Все надо делать умеючи — даже отчеты издавать.

Приятно смотреть на отчет Общества санаторных колоний; и не потому приятно, что он выпущен брошюрой чистенькой и аккуратной.

Когда едешь по Швейцарии, то в окно вагона видно, что по склонам гор не оставлено ни одного уголка нераспаханным, незасеянным. Всякий клочок утилизирован и дает хлеб человеку.

И на это приятно смотреть, ибо видишь, что тут живут серьезные, порядочные люди, умеющие ценить всякий клочок места.

Оттого приятно смотреть и на этот отчет о санаторных колониях.

Видно, что люди отнеслись к своему делу серьезно и добросовестно до самого конца и, печатая отчет, заботились не только о том, чтобы этой брошюрой «отчитаться», но также о том, чтобы и этой брошюрой, насколько можно, подвинуть свое дело вперед.

Эта брошюра больше похожа на агитационное издание, чем на отчет.

Всякий клочок места утилизирован для этой цели.

На обложке воспроизведена известная картина Филдеса, где врач задумался над нищенской постелью больного ребенка, словно размышляя о том, что в этой нищенской обстановке — грош цена всем лекарствам; на остальных трех страницах обложки напечатан «противотуберкулезный катехизис» — маленький трактат в вопросах и ответах о вреде бугорчатки и мерах борьбы с нею; внизу каждой страницы отчета жирно отпечатаны афоризмы в таком роде:

— В России умирают от чахотки ежедневно свыше тысячи человек.

— Тяжелые антисанитарные условия жизни недостаточных классов населения создают наилучшую почву для распространения туберкулеза во всех слоях общества.

— Туберкулез предотвратим.

— Туберкулез излечим.

— Для борьбы с туберкулезом нужен настоящий крестовый поход правительства и всех слоев общества.

— Воспитание детей в любви к природе и сельскохозяйственному труду составляет одну из могущественных предупредительных мер по борьбе с туберкулезом.

— *Nemo paedagogus nisi medicus; nemo medicus nisi paedagogus*¹.

— Уча — лечи, леча — учи.

Все это, конечно, мелочи; но они важны и отрадны как показатели энергии.

Они заставляют думать невольно, что заправила общества работают не спуска рукава.

В наши дни, когда все и всюду делается спустя рукава, лишь бы отвязаться, такое усердие даже умиляет.

Потому что вообще для нашего времени нет ничего более завидного, чем энергия. Это — последняя богиня, на которую нам осталось надеяться, которой мы должны, для нашего спасения, служить и в больших делах, и в малых.

Когда приходит к вам человек и жалуется, что ему хочется работать, да нет подходящего дела, — вы ему не верьте. Очевидно, у него только обманчивый зуд в руках, а дайте ему настоящую работу — он сейчас соскучится и осрамится и потом пойдет уверять:

— Работа была не настоящая, не та, которой жаждет душа...

Ибо тот, у которого зуд в руках не обманчивый, а взаправду, тот не вытерпит, бросится на первое попавшееся дело и отдастся ему страстно и серьезно, как прилично порядочному человеку.

Искать дела не надо. Всякий нищий мальчишка на улице есть уже огромной важности дело, потому что за ним стоит голодная семья и десять голодных семей, а перед ним будущность порока и распутства. Ребенок вашего соседа, которого поколотила мачеха или родная мать, — огромной важности дело, пото-

¹ Нет учителя лучше врача, нет врача лучше учителя (*лат.*).

му что вы можете вмешаться и выручить, если не струсите, и предотвратите на будущее время, если не поленитесь. Утонувший Легантини есть большой важности дело, потому что утонувший Легантини доказывает, что в яхт-клубе нужно завести новые порядки; ergo¹ — заведите их. Чья натура всерьез требует работы, тому дело найдется на каждом шагу; надо не трусить и не лениться, там настаивать, тут добиваться, там стучать, тут кричать, лишь бы все делать страстно и серьезно.

Нет большого и малого дела; и нет того, чтобы большое дело удовлетворяло, а малое не удовлетворяло. Есть только работа двоякого качества: энергичная и неэнергичная. Первая, независимо от цели, удовлетворяет, вторая нет. Пусть вам удастся перевернуть горы, но если это удалось вам случайно, без крупной затраты вашей энергии, удача не даст вам удовлетворения. Но насыпьте хоть небольшой холмик, зато вашим упорным трудом, и вы почувствуете спокойную радость того, кто честно поработал и по праву доволен собою.

В этом самом, например, Обществе санаторных колоний — ведь такой простор для работы!

Учащиеся живут в колонии, прибавляют в весе, розовеют, веселеют; результаты прекрасные, но воспитанников всего 131 человек и израсходовано всего 4500 рублей.

Разве летняя колония нужна только ста тридцати учащимся в Одессе? Этой учащейся бедноты, рахитичной, золотушной и слабогрудой, такое множество в вашем городе. Нужна не одна такая колония, а три, пять, сколько можно.

Чем не работа для того, кто хочет работать? Добывайте средства, хлопочите, настаивайте. Не поленитесь собрать справки, нет ли где богача, владеющего подходящим участком земли; не поленитесь поехать к нему и добиться, чтобы он уступил эту землю под колонию безвозмездно; не захочет — не поленитесь отыскать другого; не оставьте ни одного средства неиспользованным. Энергия — это такой капитал, который не может не дать большой прибыли. Пусть каждый сочувствующий вложит много энергии, и вы создадите две, три, пять колоний, поставите на ноги чуть не целое поколение в городе...

Одно практическое замечание.

Санаторная колония — мера прекрасная и радикальная; но если бы даже колоний и вакансий было достаточно, ими далеко не все могли бы воспользоваться.

¹ Следовательно (лат.).

Множество учащихся дают летом уроки или помогают в работе домашним и не могут жить в колониях; а между тем без преувеличения можно сказать, что все они очень нуждаются в гигиено-диетическом воспитании.

Кроме колоний, кроме проектируемой амбулатории, обществу следовало бы создать в черте города какое-нибудь промежуточное санаторное учреждение, менее радикальное, чем колония, но более гибкое, более доступное: что-нибудь вроде садика или площадки с приспособлениями для физических работ, игр, упражнений, с руководителем, дежурными врачами, бесплатной раздачей хлеба и молока.

Таким учреждением могли бы пользоваться все нуждающиеся в колониях общества, особенно в том случае, если бы поместить его вблизи района Молдаванки.

В Одессе столько пустырей. Если поискать как следует, не может не найтись доброго человека, который уступил бы обществу для этой цели пустырь, все равно не приносящий дохода.

Советы печати обыкновенно во внимание не принимают. Печать обыкновенно советует, а читатель продолжает в том же духе.

Но Общество санаторных колоний, судя по нескольким фразам отчета, привыкло иначе относиться к печати. Может быть, оно обсудит это предложение и осуществит его.

Altalena

Одесские новости. 10.06.1903



Вскользь

На днях мне показывали театр г-на Сибирякова.

Работа, очевидно, близка уже к окончанию: из путаницы левых досок, всякого мусора начинает уже выясняться обычный рисунок театра.

Критиканствуя, я заметил некоторые будущие недостатки: зрителям задних лож будут немного мешать колонны — хотя все-таки в этих двух-трех ложах будет видно лучше, чем в доброй трети бельэтажа Городского театра; затем, потолок над амфитеатром слишком низок — хотя, впрочем, в театре устроена хорошая вентиляция, и если бы она и не была устроена, я все-таки предпочел бы этот амфитеатр всем боковым и верхним местам Русского театра.

Остальное хорошо. При театре сад; сцена — средней величины, удобная и для оперы, и для драмы; занавес будет раздвижной, как у порядочных людей; уборные, около полусотни, находятся в особом флигеле; нет той массы коридоров, фойе и вообще пустого пространства, которая в Городском театре так безбоянно поглощает звук.

Резонанс? Говорят, что резонанс будет хороший.

Впрочем, я решительно не знаю, что значит хороший резонанс.

Когда выстроили зал «Унион», все говорили:

— Ах, там чудный резонанс! Каждое слово слышно.

А после лекции г-на Вольнского мне жаловались:

— Возмутительный резонанс! Сзади ничего не слышно.

Когда выстроили новую биржу, говорили то же самое:

— Дивный резонанс!

Оказалось — клевета.

Мне говорили:

— В римском театре Costanzi отличный резонанс.

В римском театре Costanzi резонанс такой же, как в нашем Городском театре, только с одной разницей: там еще хуже.

Где же ты, резонанс? Ау!

Это был бы прекрасный сюжет для меланхолической баллады: юный певец, который отправился в поиски хорошего резонанса, поседел и в конце концов нашел, что лучший резонанс — в гробу.

Ибо в гробу, действительно, как тихо ни шепните, но внутри гроба не найдется никого, кто бы не услышал, — если, конечно, еще способен слышать...

Итак, в Одессе будет настоящий драматический театр. Драматический театр. Весь сезон драма. Драма, от которой можно будет требовать *conditio sine qua non*¹: чтобы давали и постановку, и обстановку, и новый репертуар, и чтобы роли знали наизусть, и чтобы вообще спектакли не были похожи на репетиции, как до сих пор...

А ведь г-н Сибиряков, собственно, легко мог бы отказаться от постройки этого театра.

Ему, по крайней мере, добрые люди советовали:

— Не стоит.

Добрые люди всегда таковы.

Затейте фабрику, кафешантан, ресторан, даже публичный дом — они согласятся:

¹ Непременное условие (*лат.*).

— Что же, это дело выгодное.

Но затейте что-нибудь культурное, и вы услышите:

— Ай-ай-ай, плакали ваши денежки...

Кто только мог, старался отсоветовать г-ну Сибирякову, накаркать ему, напророчить, отбить охоту, сбить энергию...

Почему?

Просто так. Добрые люди считают, что в этом признак их опытности.

Добрый совет, господа: никогда не советуйтесь с опытными людьми.

Опытные люди никогда не применяют своего опыта для того, чтобы подкрепить вас, поддержать вашу деятельность.

Они употребляют свой опыт только на то, чтобы как-нибудь поязвительнее убедить вас, что все ваши проекты — фантазия, а самый большой умник тот, который сидит с руками в кармане и ничего не затевает.

Все, что было когда-нибудь на свете сделано полезного, было сделано фантазерами или помимо опытных людей, или прямо наперекор им.



Умейте чтить великие нации и в первом их ряду Германию.

Немецкая земля драгоценна для человечества. В этой земле находится точка опоры, вокруг которой вращаются рычаги прогресса.

Мы часто бываем неправы перед немцами: когда мы говорим о них, мы имеем в виду Познань.

Есть, действительно, Познань. Есть такая страна, граничащая с Пруссией и принадлежащая полякам.

И немцы, действительно, хозяйничают и бесчинствуют в этой земле, но ведь это только Познань, и нельзя думать, что в Познани вся Германия.

Германия не в Познани. Германия так же мало в Познани, как Познань в Германии.

Познань сама по себе, и Германия сама по себе. Познанские бесчинства пройдут и забудутся, а величие Германии не забудется вовек.

Она давно стала учительницей народов...

Давно уже каждое слово, там произнесенное, почтительно подхватывается миром.

Давно уже идут из этой земли величайшие откровения, из этой земли, которая за сто лет дала такое сказочное мно-

жество гениальных философов, гениальных ученых, гениальных поэтов, гениальных композиторов, гениальных деятелей.

Голова кружится от изумительного величия этой страны. Эта страна есть истинная сказочная страна, чудесный Märchenland¹, о котором так хорошо рассказано в немецких легендах.

Никогда не забудутся подвиги этого народа, в котором заложено такое богатство духовных сил, — нации, состоящей из миллиардеров духа!

Ее величие выше зависти. Чужие народы празднуют триумфы германского духа, как будто свои праздники, и посылают великой стране свой привет.

Altalena

Одесские новости. 13.06.1903



Вскользь

Адвокат обошелся грубо с одним маленьким человеком; тот пошел к другому адвокату и попросил его повести дело против обидчика. Второй адвокат отказался.

— Против коллеги? О! — сказал он, вероятно, внушительным тоном. — За кого вы меня принимаете?

И потом, вероятно, весь день этот второй адвокат был весьма доволен собою и за обедом хвастал перед женою:

— А я сегодня отстоял достоинство нашей корпорации...

Хорошо отстоял.

Я хотел бы познакомиться с этим адвокатом, чтобы почтительно доложить ему некоторые мои соображения со стороны.

Они у меня возникли в то время, когда я присматривался к адвокатуре в Одессе.

Я сказал бы ему так:

— Вы не отстоите достоинства корпорации тем, что будете взаимно покрывать нехорошие выходки друг друга.

Это путь неверный.

Но цель прекрасная. Поддержать достоинство корпорации, даже прямо *поднять* его — о, это следовало бы. Очень следовало бы.

В высшей степени следовало бы!

Но для этого нужны другие средства.

¹ Сказочная страна (нем.).

Для этого нужно прежде всего установить — или, скорее даже, восстановить добрый старый принцип.

— Адвокат должен быть разборчив.

Ежели, например, богатый человек причинил бедному человеку убыток, и бедный человек требует с него по суду возмещения убытка, то нельзя адвокату защищать богатого.

Нельзя выкапывать всякие юридические зацепки для того, чтобы бедный не мог добиться куска хлеба, который у него отняли.

Нельзя-с. А между тем стоит богатому человеку только клич кликнуть — и сколько ваших коллег в ту же секунду предстанут, расшаркиваясь, с предложением услуг!

И еще больше нельзя отказывать в помощи несчастному человеку, когда он просит у вас поддержки против человека влиятельного.

А между тем вы отказываете. Вас считают помощниками правосудия, которое нелицеприятно, а вы сплошь и рядом зрите на лица, прежде чем взять на себя даже самую честную, заманчиво благородную защиту.

Есть анекдот про патера, которому барышня на исповеди созналась, что с нею был грех.

— О! — сказал патер. — Трепещи, преступница!.. А кто же был соучастник твоего греха?

— Ах, отче, это был монсиньор такой-то, ваш начальник...

— А! — сказал патер. — Но тогда другое дело. Это очень лестно. Вы должны быть даже рады такому вниманию!

Ваши коллеги сплошь и рядом подобны этому патеру.

— Вас обидели? — говорят они бедному смертному. — О, мы им покажем, как обижать бедного человека. А кто же, собственно, ваш обидчик?

— Такой-то.

— Ах, такой-то... Ну, нет, извините, это другого рода дело. Да и обиды вовсе никакой нет. И, словом, я принципиально за такие дела не берусь. Прощайте.

Так нельзя. Надо быть гражданами, а не просто зарабатывать деньги.

Надо вносить в профессию свет принципа, а не делать из профессии ремесло.



Пишут, что в предстоящем драматическом сезоне у нас будет играть г-жа Белла Горская.

В Одессе это имя неизвестно, но в Петербурге г-жа Горская не раз овладевала вниманием публики.

Овладевала вниманием, почти не выступая на сцене.

И не выступала на сцене, хотя и числилась в Александринской труппе.

Дело в том, что г-жа Горская — чешка.

Она выросла в Чехии и играла на чешском языке.

Несколько лет тому назад она переселилась в Россию, выучилась русскому языку и дебютировала на казенной сцене.

У нее оказалась благодарная внешность, молодой и сильный темперамент, может быть, и талант, но — с примесью чешского акцента.

Г-жа Горская была оставлена в труппе Александринского театра и, не выступая, продолжала учиться русскому произношению.

Недавно она опять дебютировала, при полном театре.

И опять блеснула молодостью, внешностью, темпераментом и вызвала шумные аплодисменты.

Но легкий оттенок чешского выговора все же остался.

Казенная сцена не могла с этим примириться. Чувствуя, как видно, что во всем остальном дело ее швах, казенная сцена хоть в отношении чистоты русского языка хочет остаться образцовой.

И вот г-жа Горская едет попытать счастья на юг.

Я думаю, что если она только талантлива, счастье не заставит себя ждать.

Южане не так придирчивы. В Киеве и Одессе очень любят одного крупного артиста, который до сих пор не отделался от польского акцента.

В старину требовали от актера кроме таланта еще и внешности, и красивого голоса, и Бог еще знает чего... Теперь, в конце концов, требуют одного таланта, и это гораздо умнее.

Сюда недавно приезжал с одной труппой горбатый актер, и горб не мешал ему прекрасно играть некоторые роли, и публика даже аплодировала ему среди действия.

И если г-жа Яворская посредственность, то не потому, что у нее хриплый голос, а потому, что Бог ей не дал таланта.

Пусть только у г-жи Горской окажется талант, и южане охотно простят ей чешский акцент и даже найдут его симпатичным, и через месяц, того и гляди, дамы станут еще подражать ее выговору...

Altalena

Одесские новости. 14.06.1903



Вскользь

И это среди бела дня!

— За номер 120 рублей, постель 3 руб., электрическое освещение 13 р. 50 к., не пела 4 дня — 26 р. 70 коп... и т. д., а в итоге 456 р. 15 копеек.

А жалованья г-жа Тесс-Тесс получает 200 рублей. Таким образом, она же еще должна хозяйке Гранд-отеля 256 рублей 15 копеек. И это среди бела дня!

Интересно бы посмотреть этот номер, которому цена 4 рубля в день без освещения и без постельного белья.

Я думаю, ужасно шикарный номер.

Да и электричество, обходящееся в тринадцать с половиной в месяц, — тоже, я думаю, особенное электричество.

Горит, вероятно, лучше всякого солнца. Вроде как фонарь у Городского театра.

Хорошо должно житься в таком номере при таком освещении.

Даже слишком хорошо для г-жи Тесс-Тесс, которая в конце концов получает ведь только 200 рублей в месяц.

Эти певички — легкомысленные создания. Сущие бабочки.

Получать 200 рублей в месяц — и платить такую уйму денег за номер и электричество.

Нехорошо быть такой расточительной.

Собственно говоря, г-же Кизовской следовало бы, на правах мамы этого заведения, пожурить г-жу Тесс-Тесс за такое мотовство.

Следовало бы, но г-жа Кизовская этого, понятно, не сделает, потому что г-жа Кизовская тоже человек и тоже хочет есть.

Будем же справедливы: г-жа Кизовская имеет право на свой кусок хлеба с маслом.

Нельзя отказать ей в праве нарезать ломтей из трех сестер Анджели в качестве хлеба и намазать их сверху соками, выжатыми из г-жи Тесс-Тесс, в качестве масла.

Ибо, если вы вырвете у г-жи Кизовской сестер Анджели, вы лишите эту бедную женщину хлеба.

А если вырвете из ее рук г-жу Тесс-Тесс, вы лишите эту бедную г-жу Кизовскую и масла.

И ей придется довольствоваться салом, которое в таком изобилии культивируется у нее в заведении...

Впрочем, я человек сердобольный и вхожу в положение г-жи Кизовской; но ведь не все на свете люди сердобольные и не все пожелают войти в печальное положение г-жи Кизовской, которая хочет хлеба с маслом.

Иные, пожалуй, скажут:

— Обойдется г-жа Кизовская и без хлеба с маслом. А если проголодается, то пускай пососет свой собственный палец.

Ежели бы нашелся такой жестокий человек, то я бы представил ему следующие практические соображения.

Намного улучшить положение кафешантаных артистов пока нельзя. Но некоторые облегчения возможны и осуществимы даже в порядке простого административного надзора.

Почему кафешантанные певицы обязаны жить и получать стол непременно при том же заведении, где подвизаются на сцене?

Цель ясна и ребенку: для того, чтобы можно было представлять им грабительские счета и драть с них по две шкуры.

Даже больше, чем по две. Певица, во-первых, привлекает зрителей; во-вторых, платит 120 рублей за номер; в-третьих, заставляет себя угощать из хозяйского буфета; затем есть еще разные в-четвертых и в-пятых, но мы их обойдем тропом умолчания.

Следовательно, надо было бы устроить прежде всего так, чтобы певицы по контракту не были обязаны жить и обедать у содержателя кафешантана, а имели бы право скромно проживать где-нибудь на стороне.

И чтобы, во-вторых, контракт не обязывал их после исполнения своих номеров непременно являться в публику и ловить покупателей.

Но так как уследить за контрактами невозможно, то следовало бы просто установить, что эти два условия, несмотря ни на какие контракты, считаются недействительными.

Но, конечно, от такого платонического правила сами певицы, невежественные, запуганные и к тому же чаще всего иностранки, не знающие ни слова по-русски, — выиграли бы очень мало.

Тут нужен надзор.

За границей для таких заведений есть род специальной инспекции, агенты от городского управления, которые проверяют контракты и без церемонии выбрасывают из них грабительские параграфы.

За кулисами кафешантанов и во всех уборных вывешивается, за подписью этого агента, извещение такого содержания:

«Содержатели не могут обязывать артистов и артисток жить или получать стол в определенном месте; всякие контракты, включающие такое обязательство, признаются в этих пунктах недействительными».

Такого же извещения о необязательности выходить в публику я, правда, еще нигде не видел и, конечно, зная здешний климат, не мечтаю, чтобы из Одессы пошла инициатива.

Да и вообще не мечтаю даже о том, чтобы у нас завели хотя бы тот надзор за кафешантанами, какой уже введен за границей.

И если я все это написал, то, само собой, не в той надежде, что кто-нибудь меня послушается.

Все, кроме г-жи Кизовской, согласятся:

— Он совершенно прав. Следовало бы.

И никто пальцем о палец не ударит.

Так оно всегда бывает. Я это знаю и давно привык.

Если я написал обо всем этом, то просто потому, что мне жалко.

Среди кафешантанных бабочек иногда попадаются симпатичные девушки.

— Ах, вы едете в Италию? — спрашивают они.

И вдруг на лице у них является выражение беспокойства.

— Скажите, вам не случится попасть в Горгонцолу?

— В Горгонцолу? Да, конечно, нет. Разве туристы ездят в Горгонцолу? Я даже не слышал о таком городе.

У них вздох облегчения.

— Это не город, а местечко, — объясняют они, — чудесное местечко. Какой у нас сыр! Лучше рокфора. Так вы туда не заедете? Ага. Но все-таки... если бы вы случайно попали в Горгонцолу...

— Так что же?

— Видите ли... Там у нас брат. Славный мальчишка. Он уже в лицее. Но... он не знает, что мы в кафешантане. Он не знает, как мы добываем те деньги, которые идут на его учение. Он думает, что служим в оперном хоре. Вы, ради Бога, если встретите его, не проговоритесь! Самое лучшее — не говорите ему вовсе, что знаете нас...

Больно, что сбережения этих тружениц уходят черт знает куда — на масло для г-жи содержательницы...

Altalena

Одесские новости. 15.06.1903



Вскользь

Есть одна область, на которую отмена плети не распространится.

Плеть признана слишком ужасной.

Каторжника, убившего пару теток, закон больше не велит бить плетью.

А ребенка? Ребенка, никого не убившего и на каторгу не сосланного, но живущего под крылышком у родной семьи? Его-то можно бить плетью или нельзя?

Об этом ничего не сказано в законе.

В законе сказано:

— Каторжника плетью не бить.

— Лозою не бить.

— К тачке не приковывать.

Но все это про каторжника, а про ребенка ничего. Как будто не бьют на Руси ребенка.

Бьют на Руси ребенка, даже на тысячу ладов.

Бьют руками, лозами, веником, плеткой, качалкой, кочергою, хлыстом, тростью и каблуками от сапога.

Бьют тем, что попало под родительскую руку. Попала кастрюля — кастрюлей. По голове кастрюлей — так, чтобы кастрюля загудела от удара и можно было состричь:

— Пустая голова гудит!

К тачке не привязывают, потому что тачки нет.

Но привязывают к ножке кровати, к дверной ручке, к стенному крюку.

К чему попало.

Нет ни числа, ни правила всем тем истязаниям, которым подвергается на Руси ребенок — малый ребенок, никого не убивший и на каторгу не сосланный, а живущий в родимом гнездышке у папы с мамой.

Но вы не подумайте, что закон это игнорирует.

Напротив. Закон определенно говорит:

— Бить — бей, а истязать воспрещается.

И за этим учреждено строгое наблюдение.

Строжайшая классификация детских синяков.

Как только представят на суд детский синяк — сейчас вызываются эксперты и над синяками учиняется химический анализ.

Чтобы, значит, определить, от чего синяк: от битья или от истязания.

Если окажется, что синяк от истязания, тогда — взбучка.

Но если окажется, что было просто битье, а не истязание, тогда взбучки никакой нет и родитель с миром отпускается:

— Иди в свой дом и продолжай в том же духе, ибо ты в своем праве; гляди только, чтобы не вышло увечья. Бить можешь, только истязать не полагается.

И пойдет родитель домой, и будет продолжать. Истязать не станет, увечья не сделает, но колотить будет по-прежнему и розгой, и плетью, и качалкой, и по плечам, и по голове.

А ежели особенный любитель, то сначала поколотит, а потом битое мясо солью посыплет. Бывали и такие случаи. Ведь от этого увечья не делается?

Такова теперь в этом вопросе роль общества — терпеть равнодушно мучительство и следить только за тем, чтобы мучительство не перешло в «истязание».

Унизительная, тяжелая роль.

Если бы вас назначили суперэкзекутором и поручили вам считать удары: раз, два, три, — пока не дойдет до пятидесяти, и только на пятидесятом ударе сказать: стоп, больше нельзя, — то вы бы отказались от этого поручения, потому что оно позорно.

Как же может общество в лице своих драгоценнейших учреждений — закона и суда — мириться с ролью, которой погнушался бы отдельный частный человек?

Трудно понять, в силу какого грустного предрассудка законодательства словно конфузятся прямо вмешаться в эту мрачную область семейной идиллии.

Неужели современная совесть еще оправдывает детское мучительство, хотя бы только «в известных пределах»?

Здесь не может быть никаких количественных ступеней, никакого лукавого мудрствования о том, что не всякое битье есть истязание и истязание не есть битье.

Все это абсурд.

Побой всегда преступление. Побои, нанесенные ребенку, должны быть вдвойне преступлением как насилие большого человека над малым; и если побои нанесены родителями детям, то преступление тем отвратительнее и противоестественнее.

Не может просвещенное сознание мириться с разрешением «умеренных» побоев над детьми. Побои *не могут* быть дозволенными. Дозволенные побои — это вопиющая бессмыслица,

законодательный недосмотр, нечто невероятное, перед чем будущие историки нашего времени широко раскроют глаза и скажут в изумлении:

— Не понимаем!

Рано или поздно цивилизованные государства должны будут безусловно запретить всякие побои над детьми, без исключений, без каких бы то ни было оговорок.

Я не питаю якобинской веры во всемогущество закона; но закон, по крайней мере, освободит общество от унижительной роли.

Закон, по крайней мере, избавит судью от неприятной обязанности копаться в синяках детского тела, исследуя вопрос: в меру бит или сверх меры бит?

И не будет для черни того соблазна, который теперь создает ся каждым оправдательным приговором по такому делу.

Мы почувствуем себя на твердой почве перед этим уродливым пережитком варварства только в тот день, когда отец, ударивший ребенка хотя бы всего лишь один раз, будет отдан под суд наравне со всяким другим буяном и дебоширом.

Но *когда* это будет — вот в чем вопрос.

И если во всем дожидаться закона, то иным, быть может, слишком долго покажется.

Надо самим действовать, самим себе помогать, не дожидаясь, чтобы совет воссиял из участка.

Есть семьи, где старшие дети уже взрослые юноши и девушки, а младших детей папа и мама колотят у них на глазах.

Разве это прилично для взрослого юноши или девушки — глядеть на такое безобразие и молчать?

Не допускайте.

Ведь если бы родитель полез в петлю, старшие дети силой удержали бы его от самоубийства.

Но тем скорее надо хотя бы силой удержать его, когда он покушается на преступление не над самим собой, а над ребенком, да еще над собственным.

А соседи?

Одна моя знакомая жила рядом с семьей, в которой чуть ли не каждый день колотили девочку лет двенадцати, а та отчаянно плакала.

Моя знакомая собрала еще трех жильцов и с ними явилась в эту квартиру.

— Что угодно?

— У вас девочку часто бьют, и она плачет. Это, во-первых, беспокойство, а во-вторых — грех.

— Ну?

— Если будет продолжаться, заявим прокурору, а от хозяина дома потребуем, чтобы вас выселили.

— Какое вы право имеете вмешиваться в семейные дела?

— Полнейшее. Когда один бьет другого, это дело не семейное, а публичное. Мы просим все это прекратить, а то худо будет.

Больше девочка не кричала. Впрочем, ей, может быть, стали затыкать рот?

Как раз на днях мой приятель, киевский студент, рассказал мне еще более простой случай.

Он зашел в лавочку за папиросами; продавала лавочница, а в другой комнате изо всех сил вопил мальчишка.

Студент, не расспрашивая, пошел за перегородку и увидел картину: лавочник драл десятилетнего сына сложенной подтяжкой.

Мой приятель — человек рослый — забрал у него подтяжку, высвободил мальчика, посмотрел на лавочника внушительно и сказал:

— Морду побью.

Форма угрозы, конечно, немного резкая, и опять-таки остается вопросом, насколько эта угроза помогла.

Я думаю, не особенно. Студент на каникулы уехал, а мальчика, верно, бьют хуже прежнего.

Но потому и бьют, что студент уехал, что некому заступиться.

Оттого важен принцип. Важно, чтобы никто честный не проходил мимо такого избиения, не заступившись.

Тут не у места никакая щепетильность, потому что насилие не может быть «семейным» делом, да и не в щепетильности главная загвоздка.

Вовсе не потому мы увиливаем от заступничества, что нам неловко, а потому, что пороку не хватает.

Душою мы коротки. Есть у нас такая местная гражданская добродетель, о которой в стишках написано:

«Трусоват был Ваня бедный...»

Altalena

Одесские новости. 19.06.1903



Вскользь

О. ПЕТРОВ И НИЦШЕ

Вышла книжка священника о. Г. Петрова «Братья-писатели», где говорится о том, что человек есть лебедь с подстреленным крылом, которому хочется на юг, да нельзя, — и об искании Бога, о мещанстве духа и аристократизме духа, о назначении писателя; и где по многим вопросам высказаны мысли, как всегда у о. Петрова, довольно примитивные, но искренние, простые и в устах священника очень приятные.

Основная точка зрения о. Петрова та, что нынешние люди совсем неудовлетворительны: они ноют и мудрствуют, а дела не делают; а вывод из этого положения, по мнению о. Петрова, таков:

«Нам в жизни для радостного и любовного устройства личного и общественного существования не хватает Бога, не хватает Христа, не хватает Его евангельской правды и всеобъемлющей любви».

Поэтому о. Петров думает, что долг писателя — распахнуть сердца человеческие так широко, чтобы мог войти в них Светлый Гость, и сотворилось бы чудо превращения мещан духа в аристократов духа, подобное чуду Каны Галилейской, где всем на радость вода превратилась в вино.

Светлого Гостя о. Петров понимает очень широко, как просвещенный человек, и в числе провозвестников доброго слова называет и Гомера, и Сенеку, и Гете, и Льва Толстого.

Но эта широта есть широта, а не беспринципность.

О. Петров очень строг к художнику и говорит так:

«Он (художник) своею божественной кистью *не смеет* будить в зрителе грубые чувства».

И приводит такой пример.

На выставке картин в Берлине видел он двух симпатичных мальчиков, лет 15—16, очевидно, из провинции.

«Румяные, с чистым лицом, со светлыми голубыми глазами, они были воплощением свежей, сильной и чистой юности».

Но на выставке была неприличная картина «Юпитер и Ио», копия с Корреджио.

Когда мальчики подошли к неприличной картине, у них «с лица сбежала светлая улыбка», в глазах «загорелся скверный огонек», и мальчики стали похожи на «маленьких сатиров».

«Мне стало обидно за искусство, — говорит о. Петров, а дальше прибавляет, — художник призван подымать читателя до себя, а не самому опускаться до уровня массы».

И не одобряя тех, которые опустили до уровня массы и потому стали мелко плавать, о. Петров не одобряет и Ницше и повторяет о нем слова Владимира Соловьева:

«Он мелко плавает».

В качестве же литературного примера о. Петров берет «ницшеанские» типы у Горького — Мальву и снохача в «На плотях» — и говорит о них так:

«Мальва — это молодая и сильная степная красавица-кобылица, которая носится по степи наперегонки с ветром и свободно дарит ласками то одного, то другого красавца из табуна. Это не женщина, а самка. Не человек, тем менее "сверхчеловек", это — "подчеловек"...

Возьмите теперь рассказ "На плотях". Сын, хилый, болезненный парень, с работником плывут сзади, а его жена, молодая, красивая и сильная баба, с отцом, еще крепким, как матерый дуб, стариком, правят плотом впереди. Старик отец почти открыто, грубо ласкает сноху, а та, недовольная своим кисляем мужем, в истоме жметя к дубовому кряжу. А парень, по своей хилости и забитости, не имеет силы даже сердиться.

Что это такое? Какой тут силе поется гимн? И кто этот старик?

Если Мальва, по-вашему, не человек, а молодая красивая степная лошадь, то старик-пловщик будет не сверхмузиком, а диким и дюжим старым кабаном; вся же история "На плотях" — одним сплошным свинством...»

Крепко сказано.

Можно было бы даже поспорить.

Можно было бы возразить, что на меня, на нас и на многих других эта история на плотях вовсе не производит такого отвратительного впечатления.

Что для сильного и здорового существа гораздо естественнее льнуть к матерому дубу, чем к дохлomu кисляю.

Что, если матерый дуб и здоровое существо, льнущее к нему, оказываются свежком и невесткой, то это, конечно, очень противоестественно и гадко, но было бы не менее противоестественно и гадко, если бы сильное и здоровое существо от всего сердца льнуло к бессильному, болезненному кисляю.

Ибо тогда ясно было бы, что у сильного и здорового существа ненормальный вкус, свидетельствующий о вырождении,

и что это существо есть, собственно, не сильное и не здоровое, а извращенное и ненормальное существо.

И на плоту вместо одного болезненного человека оказалось бы два; а тут уже радоваться было бы решительно нечему.

Но не будем спорить о таких пустяках и поспешим даже на минуту согласиться с о. Петровым.

Пусть вся история «На плотях» будет одним сплошным свинством.

Возмутительным свинством. Такого рода свинством, перед которым нельзя молчать, а надо вопиять и громить грешников.

И признавая все это, перечитаем еще раз то, что говорит по этому поводу о. Петров, и остановимся на фразе:

«А парень, по своей хилости и забитости, не имеет силы даже сердиться».

Как же так? Это странно.

Ежели история «На плотях» — свинство, то почему же парень не сердится? Почему не вопиет и не громит, хотя это грешное дело ближе всех касается именно его?

Оттого не сердится парень, что у него нет силы сердиться.

И потому он не будет ни вопиять, ни громить не только тогда, когда перед ним совершится свинство, но даже и тогда, когда перед ним разыграется зверство.

Он знает, что отец и жена грешат, но у него нет силы сердиться.

И никогда у него не будет силы сердиться, и на глазах у него злые люди всегда натворят и свинств, и зверств, и черт знает чего, а он все допустит и не сможет даже рассердиться..

Что же *это* такое? Человек или сверхчеловек?

Я думаю, что этот парень именно и есть настоящий *подчеловек*, но подчеловек, сходящий за человека.

А за человека сходит он потому, что все мы теперь стали такие, как этот парень; и так как все мы называемся людьми, то этот дохлый и кислый парень тоже назовется человеком.

Но ведь это только имя, а не сущность; в сущности же и о. Петров прекрасно понимает, что парень этот не человек, а слизь, негодная для жизни.

Ибо недостаточно одного умения сознать грех и осудить его; нужна решимость восстать против греха и разрушить его. Нужна сила.

Всегда нужна человеку сила, и чем ее у него меньше, тем больше она ему нужна.

И когда приходит такое время, в которое человек, утомленный и выродившийся, живет на свете только по инерции и не чувствует в себе никакой силы, никакой воли, никакой отваги, тогда сила становится его *idée fixe*¹.

Так людям, среди пустыни томящимся от жажды, все снятся по ночам озеро, реки, потоки, ручейки и лужи; а когда жажда доходит до апогея, им начинает искрэнно казаться, что высшее счастье — это утонуть. Захлебнуться и умереть, но в *воде*, в свежей и вкусной воде.

Таков нынешний человек.

Слишком уже ему невыносима стала эта жизнь по инерции, если так велика в нем жажда силы, если он мечтает даже о силе ради силы, даже о силе в грехе, если ему счастьем кажется даже захлебнуться в водовороте силы, умереть под лавиной, как Майя и Ульфгейм.

Но возьмите того человека, что среди пустыни грезит о блаженстве утонуть в воде, и бросьте его внезапно в глубокое озеро.

Пойдет ли он ко дну?

Нет, он прежде всего радостно наглотается воды, а тогда в нем сейчас же воскреснет здоровый инстинкт жизни, заглушенный прежде жаждой, и он станет барахтаться и выплывет на берег, хотя раньше и мечтал утонуть.

Так и мы, жаждущие силы.

Тоскуя о ней, мы теперь как будто готовы в обмен за нее отдать все, даже наше познание добра и зла.

Но пусть только сойдет на нас эта желанная сила и напряжит свежими соками наш одрябнувший дух — и в тот же миг мы проснемся, все поймем и не захотим затонуть бесплодно в водовороте силы, а понесем ее на те нивы, которые ждут пахаря.

Вот для чего хороша проповедь силы ради силы, и вот почему обаятельна Мальва и матерый старик на плоту: это — галлюцинации, в которых воплотилась священная жажда нашего поколения; отнимите эти галлюцинации, и вы отнимете последнюю надежду.

Оттого хороша и картина Корреджио.

Конечно, у мальчиков от нее засветились в глазах скверные огоньки.

Но это не укор для картины.

Потому что у о. Петрова на странице 128 так описана эта картина:

¹ Идея фикс, навязчивая идея (*фр.*).

«Передо мной была совершенно голая, чуть ли не живая Ио. От ее тела веяло зноем. Казалось, дотроньтесь до полотна, и вы почувствуете теплоту и упругость девичьего тела. Так мастерски все было написано. Около Ио было какое-то темное существо. Оно обхватило лапами Ио, и она в объятиях его мле-ла, лицо ее горело таким сладострастием, что, казалось, она вся горит грубым животным огнем...»

Я бьюсь об заклад, что из читателей о. Петрова у доброй половины при этих строках нехорошо заблестят глаза, но разве о. Петров за это ответственен?

Мальчики, которых видел перед картиной о. Петров, были, конечно, очень славные и чистые мальчики, но они были воспитаны, как все мы воспитываемся, в глубоком лицемерии, и им было, без сомнения, с детства внушено, что голое тело есть плод запретный; и вот, увидев запретный плод, они почувствовали прилив нечистого, вороватого любопытства.

Так ведь это же вина уродливого воспитания, а не Корреджио, потому что для Корреджио женское тело было не запретным плодом, а прекрасным созданием природы, которое он, художник, любил той же чистой любовью, какой дарил все прекрасное в природе: речку, небо и лес!

И земная страсть, которой дышит лицо Ио, была для Корреджио не секретным пороком, которым можно любоваться только из-за угла, как сатир, — а свободным и полноправным влечением, творческим дыханием жизни, достойным того же преклонения, какое воздается всякому другому здоровому проявлению творчества жизни.

Оттого хороша Ио: она сильна и прекрасна, а ее зрители слабы и уродливы; она горит, а они только млеют и чадят; она в страсти искренна и отважна, а они в своих страстишках лукавы и трусливы.

Все то дорого, что есть призыв к природе, здоровью и силе.

— Нам, — говорит о. Петров, — не хватает Христа. Его правды и любви.

Это правда. Нам не хватает Бога в самом широком значении этого слова.

Но Бог не есть только «правда» и «любовь».

Бог есть правда, любовь и сила.

Христос был полон кротости с жалкими и несчастными, но для сатаны у Него нашлось проклятие, а для торгашей в храме — плеть; и за свое признание Христос сумел принять пытку и казнь мужественно и спокойно. Говорите о любви и кротости Христа, но не забывайте, что у Христа была мощь.

Нам не хватает Бога, это правда, но не те Его атрибуты нам всего нужнее, которые называет о. Петров, не «любовь», и не «правда».

Потому что и любовь, и правду мы давно уже вызубрили наизусть и давно уже все на память знаем, что любить, что любить ближнего, мол, необходимо и что полезно было бы нам сделать ради ближнего то-то и то-то, а сами сидим сложа руки и ноем.

Ибо не хватает нам третьего атрибута Божьего, о котором забыл о. Петров, но не забыл Фридрих Ницше: *силы*, которая лишь одна властна оживить любовь и правду.

Altalena

Одесские новости. 21.06.1903



Вскользь

ВИКТОРИЯ ПАВЛОВНА

Под этим заглавием вышла в свет повесть А. В. Амфитеатрова, которая прежде печаталась в одной газете и тогда называлась «Именины».

Г-н Амфитеатров очень даровитый журналист; именно журналист, а не беллетрист. Но так как истинный журналист должен быть на все руки мастер, то г-н Амфитеатров и беллетрист очень интересный.

То есть, говоря строго, не беллетрист, а рассказчик.

У заправского беллетриста — художественная наблюдательность; у г-на Амфитеатрова — бойкая наблюдательность способного и образованного репортера. У беллетриста — художественность изложения; у г-на Амфитеатрова — изложение умного, вполне литературного, бывалого собеседника, одаренного вкусом и знающего, что как сказать.

За всем тем три четверти русских заправских беллетристов ни за что не написали бы такой интересной и умной повести, как «Виктория Павловна»; просто, толково, не без изящества, но без всяких утомительных, новомодных вычур в изложении; а поэтому — не все ли нам равно, есть ли автор настоящий беллетрист или только журналист-рассказчик.

Виктория Павловна — девушка лет 28, красивая, здоровая, умная и веселая. Живет она у себя в имении, в полуразрушенном барском доме, где зимой нельзя сидеть без шубки. Она

«гола, как ласточка», и нередко неделями сидит «на сквозном чаю». Живет одна со своей бывшей нянькой — бабой пожилой, но еще сочной, властной, жестокой и рассудительной: тип отчасти вроде Матрены из «Власти тьмы».

Викторию Павловну ненавидят все уездные дамы, но без памяти любят их мужья. К именинам ее эти мужья, старые и молодые, ускользая из-под бдительного надзора жен, съезжаются в ее усадьбу Правослу и запросто привозят с собою кто две четверти телятины, кто двадцать фунтов чаю, кто повара; все это поступает в распоряжение к няньке Арине Федотовне. Виктория Павловна относится к этому просто и беззаботно: она понимает, что иначе гостям же пришлось бы у нее голодать.

Виктория Павловна вообще ко всему относится просто и беззаботно. Уездные дамы называют ее Мессалиной; но среди ее гостей, которые все так или иначе влюблены в нее, нет ни одного, кто мог бы чем-нибудь похвалиться. Напротив, некоторые из них покушались, но неудачно, и она же первая, простив их великодушно, никогда не пропускает случая открыто при всех подразнить сплеховавших донжуанов этими попытками.

Большинство гостей, особенно те, что постарше, понимают ее хорошо и ездят к ней без всяких задних мыслей, просто как к доброму и женственно красивому товарищу, у которого можно прожить свободно денька три и в дружеской беседе отвести душу. Но среди молодежи есть поклонники настойчивые, ревнивые и, главное, красивые, интересные и даже готовые жениться. Однако Виктория Павловна и им не поддается, так что наконец является вопрос: зачем ей самой эта неприступность, соединенная с товарищеской простотой и вольностью в обращении? Как примирить эту неприступность с ее сильным темпераментом еще молодой, но уже расцветшей и созревшей женщины? Очевидно, тут есть секрет.

Автор открывает нам этот секрет — открывает исподволь, сначала интригуя читателя загадкой, потом мало-помалу с недужинным мастерством выдавая одну тайну Виктории Павловны за другой. В результате оказывается, что Виктория Павловна, действительно, Мессалина. Но никто из ее друзей и поклонников никогда не был ее любовником; а счастливицами оказываются какие-то совершенно незаметные ничтожества, о которых никто бы этого не подумал и не поверил. Виктория Павловна — развитая, интеллигентная, начитанная — пренебрегает жемчугом ради ярмарочных стеклянных бус и медных колечек.

Причину этой странной разборчивости объясняет и сама Виктория Павловна в тексте повести, и автор в своем послесловии.

Жизнь Виктории Павловны сложилась несчастливо: в раннем детстве ее продали какому-то купчине, и хотя все это осталось в глубокой тайне, но сильно отразилось на ее характере. Когда она потом, молоденькой девушкой, полюбила хорошего человека, сознание своей «загрязненности» не позволило ей принять его предложение. Она уехала в столицу, бросилась в кутежи, была и актрисой, и *demi-vierge*¹, и конторщицей, и гувернанткой; на всех поприщах женского труда ей платили гроши и в то же время ясно давали понять, что с ее красотой и рысаков иметь нетрудно. Любили ее, впрочем, не только гаденькие сладострастники; любило ее много хороших, честных, симпатичных людей, любила и она их, но ни одному из них не отдалась, а отдавалась, когда находил на ее сильное тело «запой» темперамента, черт знает кому — подлецам, пошлякам, ничтожествам, отдавалась надрывом, «через отвращение», и сама злорадно хохотала над собой.

А хорошим людям — которые о ее «запоях» ничего не знали — говорила с обычной своей искренностью и откровенностью так:

— Ну, шепни я вам сейчас на ухо: Мишель, довольно нам ломать комедию; приходите попозже в беседку, и я ваша. Счастье вам даст это? Спервоначалу-то, конечно, вот так вспыхнете — обрадуетесь... А потом и грустно станет, скучно и пусто: вот, мол, было между нами шесть лет что-то милое, особенное, чего у меня с другими женщинами не бывало, а теперь это светлое погасло, и она для меня — как все... И щемило бы у тебя сердце, что знались мы и любились столько времени, а вот одной минутой все это светлое равенство уничтожили, и стали друг для друга мужик да баба...

Дело ясное: Виктория Павловна хочет быть с теми, кто ей по сердцу, человеком, а не женщиной; когда же в ней просыпается самка, она идет к тем, которых презирает. Жизнь, устроенная, как она устроена теперь, приучила ее видеть в этой стороне любви одну только грязь. А раз этот инстинкт есть инстинкт грязный, — она и отдает его грязи. Тем людям, которые были бы достойны стать избранниками ее сердца, она дает совершенно

¹ Девушка легкого поведения (*фр.*).

чистую, сестринскую любовь, теплое женственное сочувствие, мягкую родную душу, а развратничает — с илотами.

Виктория Павловна поступает, как мужчины: среди порядочных людей она хочет быть чиста, а для кутежа берет уличные создания — только мужского пола.



Я не встречал нигде такой Виктории Павловны и не особенно верю, чтобы и г-н Амфитеатров на самом деле видел в жизни такую женщину.

Но нет сомнения, что многое из настроений Виктории Павловны очень знакомо хорошим женщинам и девушкам нашего времени.

Все они, без сомнения, успели почувствовать, что любовь, доведенная до своего естественного физического выражения, создает что-то тяжелое и неприятное между мужчиной и женщиной. Женщины почувствовали опытом, девушки — предчувствием.

Девушек особенно жаль. Это предчувствие заранее разочаровывает в любви; девушки в наше время ждут первой любви уже не с тем беззаветным ожиданием, как прежде: их ожидание уже подмочено сознанием, что в этой неизведанной любви, о которой так хорошо пишут в книгах, очень многое неладно и нечисто.

Конечно, волей-неволей потом с этим неладным и нечистым приходится примириться; но противный осадок остается, и здоровая свежесть здоровой любви навсегда уничтожена. Мы, делать нечего, терпим и несвежую любовь, но сознаем, что «это не то», и так как мы все вообще живем не настоящими элементами, а суррогатами, то суррогат любви под конец даже не особенно коробит нас.

Но это потом, с течением времени, когда притупляется чуткость и когда человеку от разных забот становится вообще не до тонкостей, а вначале, при первом столкновении, примирение не так легко дается.

В ту раннюю пору, когда впервые возникает предчувствие, что от любви остается мутный осадок, всякая девушка думает про себя:

— Как хорошо было бы, если бы все любили, как братья и сестры, если бы влюбленные были друзьями и стремились только к сближению душ...

Но в то же время, произнося мысленно эти «если бы», она, если она начитанна и разумна, понимает, что это несбыточно, так как есть на свете нечто ей пока неизвестное, но очень властное и непобедимое, чему имя — инстинкт продолжения рода человеческого.

И так остается девушка в колебании между мечтательным пожеланием платонизма и трезвым сознанием власти природы.

И в этом колебании проходит вся жизнь, и до конца дней своих она, уже мать семейства, будет убежденно повторять, что победить природу, конечно, нельзя, но лучше было бы, если бы можно было жить братьями и сестрами тех, кого любишь.

Ведь от этого очень обычного рассуждения, собственно, один шаг до Виктории Павловны.

Она тоже хочет быть только другом того, кто ей по сердцу, и в то же время сознает непреодолимость природы.

Только она не колеблется, не шатается между тем и другим, не смешивает, к взаимной порче, темперамент и дружбу, а резко разграничивает две области.

Дружбу, то есть духовную сторону любви к мужчине, она ставит бесконечно выше. Для этой дружбы она привлекает к себе хороших и чутких людей, и чем эти люди лучше, тоньше и дороже ей, тем ревнивей и упорнее следит она, чтобы дружба осталась чистой дружбой и не смешивалась с мясным чувством.

Это чувство она презирает. И когда находит на нее запой, она ускользает именно от тех, кто ей дорог, чтобы не грязнить товарищеских отношений, и убегает потаенно в грязную Субуру, как воистину Мессалина.

Виктории Павловны еще в действительности нет, или, по крайней мере, она еще не выдвинулась, не стала распространенным типом; но не будет ничего удивительного, если то девичье и женское колебание между «побратимством» и властью темперамента, о котором я говорил, скоро выльется именно в эту или подобную форму сознательного и упорного разграничения друга сердца от друга тела.

Когда это случится, радоваться будет нечему. И теперь плохо, а тогда будет еще хуже.

Но не умны будем мы тогда, если разразимся упреками против народившейся Виктории Павловны и примемся морализировать на тему:

— Стыдно! Исправьтесь!

Ибо Виктория Павловна будет только той формой, в которую отольется женское недовольство; но это недовольство порождено нами, обществом, и нами же, обществом, подсказана и форма.

Потому что общественным строем, а не природой созданы те грязные очки, сквозь которые мы принуждены смотреть на здоровую, творящую любовь, от природы благословенную, а от нас презираемую; и пока будет в нас презрение к ней, мы не станем нравственными, чистыми людьми, потому что всегда будет у нас душа засорена и будем уступочками примирять вожделеннице с отвращением. А поздороваем мы и научимся просто, благородно и стихийно сочетать влечение духа с влечением тела без обиды для того и другого — только тогда, когда... когда вообще все устроится по-другому.

Мы с вами, конечно, до того дня не добредем. Мы живем в развратное время, а до того будут для нас и наших внуков периоды еще большего разврата, пока все не уладится и не уложится в строгий чин устойчивого равновесия.

Кто-нибудь заметит:

— Уладится, уложится само собой. А нам же пока что делать? Мириться с тем, что живем в разврате и должны пройти через стадию еще худшего разврата, и сидеть сложа руки и не отбиваясь?

Конечно, не сидеть сложа руки, а отбиваться и вести кампанию. Миром правит стоногая Причина, но орудие ее — человек и его творческое сознание. Она только намечает краску, в которую должна быть выкрашена эпоха, но добыть краску, натереть ее и красить предоставлено воле человека, свободной в предопределении. Оттого нельзя сидеть сложа руки.

Но не так надо вести кампанию против разврата, как ведут ее гувернантки: не через законы Гейнце, не через борьбу с декольте и балетными юбочками.

Кампания против разврата должна быть кампанией оздоровления, и вести ее надо не орудием укрывательства и замалчивания, а орудиями открытой правды, смелого доверия, дерзкой ненависти ко всякому лицемерию.

Никогда не присоединяйтесь к гейнцевскому протесту против красоты, но учите любить и ценить творчество природы во всяком проявлении — в теле женщины, в любовной песне, в призывной истоме летней ночи; и если вы научите любить это и ценить, тогда не будет гаденькой мысли и пошлой улыбочки.

Не лечите разврата чтением морали — это все равно, что вдавить опухоль. Не в этом месте опухнет, так в другом, потому что яд остался в организме. Но старайтесь оздоровить организм. Здесь нужны не больницы, а санатории; не лекарства, а асептика; не хинин для простуженных, а закаливание духа против всякого нравственного сквозняка, не медицина, а гигиена.

Есть один только способ борьбы против растущего разврата: это — борьба против лицемерия, из которого разврат рождается, против жизненненавистничества, скрытого под ним. Против лицемерия ведите войну всеми средствами: доводом и насмешкой, гневом и хохотом, дерзостью призыва и дерзостью примера.

Виктория Павловна в борцы не годится. Она — не восставшая рабыня, а только изворотливая рабыня. Ее тактика не есть протест против нелепого закона, а крючкотворский обход закона. Общество признало любовь нечистой, а она, вместо того чтобы ответить: неправда, любовь чиста! — решила: хорошо, раз любовь грязна, я и выброшу ее в грязь. Значит, она покорилась общепризнанному; значит, она не возмутилась против палки, а только подладилась под нее и постаралась улечься так, чтобы ей не очень больно попадало. Она устроила свою жизнь не по-своему, а по чужому — кто же хочет вести кампанию, пусть прежде всего устроит свою жизнь по-своему.

Altalena

Одесские новости. 22.06.1903



Вскользь

Кто-то мне пишет:

«Послушать вас, так у детей нет худшего врага, чем родители.

Я тоже не поклонница побоев и своих детей никогда не была, но мне кажется странно и немного обидно, что вы так резко говорите о "родительском мучительстве".

Нельзя же забывать, что самые суровые родители все-таки друзья и доброжелатели ребенка, и вообще семья для человека — прибежище и защита.

Если уже заступаться за детей, то скорее надо отстаивать их не против семьи, которая их муштрует любя, а против школы, которая их муштрует равнодушно...»

С этим письмом я, безусловно, не согласен.

Школа, конечно, далеко не идеально поставлена.

Школа обременяет память тысячами ненужных разных разностей и тем затрудняет настоящее учение.

Школа придирчива.

Все это так.

Но все это было бы наполовину легче, если бы не родители.

В том заведении, где я в дни оны учился, был заведен обычай — писать ученикам «замечания» на полях запасной тетради.

Замечания такого свойства:

«23 марта махал руками на большой перемене. Надзиратель Прохор Сидоров».

Вообразите на минуту, что у вас есть запасная тетрадь и что какой-то Прохор Сидоров пишет в ней на полях это самое замечание. Вообразите и скажите, как бы вы к этому отнеслись.

— Как бы отнеслись? — изумляетесь вы. — Да и очень просто бы начихали. Написал? Ну и пусть. Мне-то что?

Так. А мы, дети, в то время от этих «замечаний» плакали и мучились; и на глазах у меня однажды какой-то приготовишка, фарфоровое дворянское дитя, стал на колени перед Прохором Сидоровым и поклонился ему в землю, умоляя «не записывать», и я тогда почему-то почувствовал, что во всю мою жизнь этой сцены не забуду.

В чем же дело? Откуда брался этот страх перед двумя чернильными строками?

Страх был потому, что на следующий день надо было принести под «замечанием» подпись отца или матери.

Надо было показать родителям «замечание». И оттого малыши заранее трепетали, рыдали и валялись в ногах у какого-то Прохора Сидорова.

Видно, главный пфефер¹ заключался не в «замечании», а в родителях.

Но любопытнее всего то, что родители ведь не могли тоже считать преступлением, если мальчик «махал руками».

Между собой они, отец и мать, вероятно, говорили:

— За всякий пустяк придираются к бедному ребенку! Как им не стыдно!

И в то же время сами устраивали бедному ребенку за это «замечание» сцену, а то, может быть, и порку, при одной мысли о которой он заранее падал на колени и бил Сидорову земные поклоны.

¹ Нагоняй, наказание (от нем. Pfeffer — «перец»).

Впрочем, не все малыши били поклоны. Некоторые из них, tout малыши qu'ils étaient¹, предпочитали просто-напросто поддельвать родительские подписи и за грех не считали...

Детям было бы гораздо легче в этой самой школе, если бы не холопское пресмыкание родителей.

Худшая черта рабского пресмыкания та, что холоп входит во вкус барского мучительства и принимается «помогать».

Его собственного ребенка морально изводят за пустяки, за детские шалости, а он «пособляет».

Altalena

Одесские новости. 24.06.1903



Вскользь

ПУСТАЯ СТРАНИЦА

Аще не умрет, не воскреснет.

Несколько лет тому назад папа Лев XIII был уже очень старым стариком.

Лицо его исхудало и просохло до того, что казалось крошечным, а кожа лица почти не различалась цветом от белой мантии, которая была у папы на плечах, и от реденьких седых волос под тиарой.

Тем не менее папа Лев не унывал.

В то время к нему приехал под апостольское благословение один кардинал из Аргентины, тоже глубокий старец.

Папа и кардинал долго беседовали и понравились друг другу.

Перед отъездом в далекий обратный путь кардинал всплакнул и сказал папе:

— Прощайте, ваше святейшество... Больше мы в этой жизни не увидимся.

Папа улыбнулся и ответил:

— Почему? Ведь вы совсем не так еще стары...

Эта уверенность невольно передавалась другим. Когда папе было 90 лет, в престолярной римской газетке была напечатана ода на диалекте с такими куплетами:

— Посмотрите на этого старичка: он попрыгивает лучше всякого юноши.

¹ Здесь: даром что [малыши] (фр.).

— Безбожники хотят его смерти, но он проживет еще долго назло им.

— Молодые крикуны-атеисты смеются над ним, а он еще, пожалуй, схоронит десяток из них!..

Но всему своя очередь на земле. Приходит момент, когда папа Лев XIII и его деяния становятся фактом прошлого.

И поступают на рассмотрение и оценку потомства, которое скажет, кто был полезен и кто прожил бесполезно.

Что же скажет потомство об этом папе?

Лев XIII сходит со сцены в момент очень печальный для католической церкви.

То, что творится во Франции, не есть самое главное; во Франции, как всякий понимает, происходят только наружные проявления процесса, который в глубине без шума давно уже совершается не в одной Франции, но во всех католических землях.

Это — процесс отлучения церкви от населения.

Прежде было наоборот. Прежде церковь отлучала от себя.

Теперь церковь сама подвергается медленному, систематическому отлучению.

Прежде церковь говорила еретику:

— Изженаю тебя из среды моей.

*Vox populi*¹ теперь все громче и громче говорит католической церкви:

— Изженаю тебя из духа моего.

Понемногу, шаг за шагом, удаляется население из церкви и растет между обоими холод равнодушия и глубокое недоверие.

Растет так стихийно, так повсеместно, так грозно, что нельзя церкви не задуматься над этой почвой, медленно, но упрямо ускользящей из-под ног.

Подобно кораблю, давшему течь среди океана, католическая церковь нуждается в энергичном капитане, который укажет, чем и как помочь и отвратить гибель.

В такой момент капитаном стал папа Лев XIII.

В 1870 году гарибальдийцы взяли город Рим и объявили его собственностью Италии. Папа Пий IX нашел, что это — географический парадокс, и провозгласил итальянцев узурпаторами, а себя — пленником в Ватикане.

¹ Глас народа (*лат.*).

Правительство обеспечило ему независимое положение и королевские почести; но Пий IX сидел безвыездно в Ватикане, не держал нунция при римском королевском дворе и вообще всем своим поведением выражал протест против захвата итальянцами города Рима.

И вот Пий IX умер; на его место избрали кардинала Джоаккино Печчи, который нарек себя Львом XIII и провозгласил себя... пленником в Ватикане.

Папа Лев XIII со дня своего избрания просидел в Ватикане безвыходно и безвыездно, нунция при короле Италии не имел и ни в какие официальные отношения с итальянским правительством не вступал. Пий IX запретил верующим принимать участие в выборах в парламент. Лев XIII подтвердил это запрещение.

И жизнь, как при Пие IX, пошла своей дорогой — мимо церкви.

Население Италии с тех пор волновалось тысячами вопросов экономических и политических, но церковь оставалась в стороне, ибо верующим велено было:

— *Nec electores, nec electi*¹.

Хлопоча о своих нуждах и правах, население прибегало к депутатам, к судьям, к полицейским надзирателям, куда угодно — только не к служителям католической церкви, потому что церковь объявила:

— Мы игнорируем все, что делает итальянское правительство, пока длится захват нашего города Рима.

Это была, конечно, похвальная твердость. Но между тем население свыкалось с мыслью, что церковь равнодушна к его тяготам и заботам и что от церкви нечего ждать заступничества ни за поправное право, ни за прищемленного человека.

Это очень опасное сознание. Церковь — не возлюбленная, по которой тем больше вздыхают, чем она к вам равнодушнее.

Церковь — это мать, равнодушие которой к родному сыну вызывает и в сердце сына такое же равнодушие.

До этого не следовало, нельзя было допускать.

Надо было во что бы то ни стало вывести церковь из этого нелепого положения, при котором вера стала несовместима с гражданской работой, ибо «верующему» повелевалось сидеть сложа руки и протестовать в смысле политического ничегонеделания.

¹ Ни избирать, ни избираться (*лат.*).

Необходимо было уничтожить эту несовместимость, ибо ясно было, что гражданской работой, связанной с интересами желудка, мало кто пожертвует — и уж гораздо охотнее пожертвует верой.

Что же сделал Лев XIII?

Ничего. Пий IX издал запрещение верующим принимать участие в нормальной политической жизни Италии, а Лев XIII подтвердил его запрещение.

Но это — только пассивная, отрицательная сторона. А были и активные.

Ибо католическая церковь протестовала не только против итальянского правительства, которое, исполняя заветную мечту лучших людей Италии, сделало Рим светской столицей.

Церковь протестовала против всех и всего.

Радикалы, республиканцы, демократы пошли в народ с программой облегчения податей, водворения правды в судах и законности в управлении страной. Народ с радостью отозвался на эту программу, а церковь объявила, что все они безбожники и что «верующий» не должен их поддерживать.

И в то же время патеры читали народу проповеди о смирении.

Этого тоже нельзя было допускать. Эти проповеди только и могли усилить охлаждение и равнодушие к церкви, которая объявляла безбожниками заступников бедного люда, а то и вызвать раздражение.

Следовало предотвратить это. Следовало устроить так, чтобы народ привык связывать с церковью свои заветные стремления.

Это не значит, что церковь должна была официально примкнуть к «христианскому социализму» вроде того, который в Италии проповедует священник дон Ромоло Мурри. Но какая-нибудь практическая программа, какое-нибудь конкретное знамя реформы должно было подняться над Ватиканом, если папа желал, чтобы церковь жила, а не умирала.

Папа Лев XIII ничего не сделал. Демократы остались «безбожниками» — и вербовали сторонников сотнями.

И каждая сотня, приобретенная ими, была тысячей, вырванной у церкви.

Так оно шло не в одной Италии. Всюду в католических странах мира партии народного блага стали с одной стороны, церковь — с другой. И повсюду крепло впечатление:

— Что для народного блага, то против католической церкви.

Что сделал Лев XIII для предотвращения этого вывода?
Ничего.

А интеллигенция католических стран?

Интеллигенция жила целым вихрем духовных вопросов и запросов. Она спорила о политике, о народном хозяйстве, о законах природы, о понимании истории, об отвлеченных началах, об искусстве, о литературе, о жизни. Она создавала по всем отраслям великие произведения, памятники духа, которые пребудут и в те дни, когда папство

*Станет сказкою забытой
Погребенной старины.*

А церковь? Церковь на все проявления духовного творчества интеллигенции отзывалась одним и тем же рефреном:

— Veto¹.

Дарвина включили в Индекс. Это, конечно, немного даже смешно: где-то в Риме какие-то старцы читают светские книги и определяют, какую можно читать взрослым людям и какую нельзя. Понятно, что никто слушаться не станет и даже не подумает.

Но все-таки Дарвин внесен в Индекс. То есть: всякое завоевание духа, всякий новый шаг познания вперед — есть нечто противное церкви; наука есть нечто в высшей степени антицерковное, а церковь — нечто в высшей степени ненаучное.

Интеллигенция сделала вывод:

— Или наука, или церковь.

Опасный вывод, до которого тоже не следовало допускать.

А что же сделал папа Лев XIII для того, чтобы восстановить древнюю связь между церковью и наукой?

Папа Лев XIII написал латинское восьмистишие в честь фотографии, которую именовал благосклонно «o Solis filia!»², и решил, что этим он достаточно выказал свое благоволение к благонамеренной науке.

А Индекс продолжает выходить, и кроме Дарвина там записано еще много великих мыслителей, ученых, поэтов, которых не велено читать взрослым людям; и все это в конце концов только потому не становится посмешищем всего мира, что никто этих запрещений даже не замечает...

¹ Запрещаю (лат.).

² О дочь Солнца! (лат.)

Внутри себя католическая церковь тоже нуждалась в починке, когда папа Лев XIII вступил на Святой престол. Не говоря уже обо всем прочем — одно «безбрачие» духовенства стоило особого внимания, потому что запрещение честного брака повело к чудовищной эротомании, и патеров сплошь и рядом ловили на непотребствах с хорошенькими исповедницами. Два года тому назад социалисты в Риме надумали воспользоваться этой слабостью духовенства для кампании против клерикализма. И в течение одного месяца юмористический журнальчик «Asino», ведший эту кампанию, увеличил свой тираж на 15 000 экземпляров... Эти пятнадцать тысяч — сколько это сотен тысяч, вновь отшатнувшихся от католической церкви?

Папа Лев XIII пальцем о палец не ударил для устранения этого уродливого пережитка. Где-то, впрочем, в Южной Америке (подальше от глаз) патеры получили разрешение вступать в браки, но католическая Европа осталась на старом положении.

Та позиция, которую Ватикан занял по отношению к итальянскому правительству, в высшей степени характерна для всего настроения современной католической церкви.

Это — настроение пассивного протеста *quand même*¹.

Италия овладела Римом — протестуем. Наука идет вперед — протестуем.

И при этом повальном отрицании — никакого положительного девиза, никакого творчества в политической или социальной области, никакого конкретного идеала.

Позитивисты, враги церкви, могли, конечно, только радоваться, ибо сплошное отрицание есть признак упадка и умирания. Но друг церкви, особенно глава церкви, должен был оживить ее, реформировать, обогатить программой практических требований, примирить с завоеваниями человеческого духа.

Конечно, все это могло не удался.

Но глава церкви должен был сделать попытку, бороться, спасти и вдунуть жизнь.

Папа Лев XIII не сделал попытки и вообще ничего не сделал.

Altalena

Одесские новости. 25.06.1903

¹ Здесь: вопреки всему (*фр.*).


Вскользь

*Иному плюнь в глаза, а он скажет:
«Божья роса».*

Недавно я обмолвился фельетоном о буйствах одесских дворников.

С того дня у меня двери не закрываются: всё ходят униженные и оскорбленные, оскорбленные и униженные.

Я говорю им:

— Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?

А они говорят:

— Мы прочли на днях вашу рецензию о дворниках...

Настоящий, породистый обыватель никогда не скажет «фельетон»: у него всё «рецензия» или даже «корреспонденция».

— Ну-с, и что же?

— И пришли дать вам тему, чтобы вы написали хорошенькую корреспонденцию. Вот это наш сынок Миша, восьми лет от роду.

— Вижу. В чем же дело?

— Видите, у него фонарь под глазом?..

— Вижу.

— Хороший фонарь?

— Ничего, фонарь недурной.

— А это ему дворник поставил. Кулаком, среди бела дня. Мальчик играл с детьми в «дыр-дыра» и побежал за палочкой в подъезд, а дворник выскочил из своего подвала и «дал» ему кулаком, извините, прямо по морде.

— Ну-с?

— Так вот мы хотим, чтобы вы об этом написали и разделили этого дворника под орех.

— Ага. Ну, а скажите: вы кому жаловались? Хозяину жаловались?

— Нет. А зачем?

— Затем, чтобы хозяин сделал дворнику внушение и пригрозил выгнать, если еще повторится.

— Ах, оставьте. Охота возиться с хозяином! Он такой же грубый человек, как и его дворник. И, кроме того, очень трудно застать его дома. Он всегда на даче. Нельзя же ради этого поехать на Средний Фонтан.

— А в суд вы подали?

— А зачем?

— Затем, чтобы судья посадил дворника на несколько дней в узилище.

— Да стоит ли возиться: суд, свидетели... И к тому же я никогда не судился. Не стану теперь, на старости лет, по камерам таскаться. А вот лучше вы возьмите-ка да напишите, да пробегите этого негодяя и хозяина вместе с ним.

— Нет, не напишу.

— Почему? Как так?

— Не хочу. Сами вы за своего ребенка не хотите заступиться: не то боитесь, не то лень. И взваливаете защиту на меня. Нет, не желаю. Не стану я помогать такому человеку, которому лень самому за себя постоять. До свидания.

Эти разговоры у меня происходят почти каждый день; и обыватели уходят недовольные и дают мне понять, что не ждали от «рецензента» этаким неотзывчивости.

На днях был у меня еще другой случай в этом же роде.

Пришел молодой человек жаловаться, что его ни за что ни про что прогнали с места и недоплатили сорока рублей.

Я пришел в изумление и развел руками.

— Голубчик! Да подайте же к мировому, и вы получите ваши 40 рублей, а я-то здесь при чем?

— Ах, Господи, к мировому... Возиться с судом, с прошениями... Нет, уж лучше вы напишите и разделайте.

— Но ведь если я и «разделаю», вы все равно своих сорока рублей не получите.

Маленькое колебание.

— Нда... Но все-таки напишите. Не хочу я сорока рублей, хочу только проучить этого господина. Пишите! Будете писать?

— Не буду.

— Почему?

— Потому что все это у вас одни фразы. «Не хочу денег, хочу проучить». Неправда-с. Если бы он сейчас предложил вам не сорок рублей, а только 20 рублей с тем, чтобы дело предать забвению, вы бы согласились. Но самому добиваться своих денег законным способом перед судом — на это у вас нет решимости и энергии. А сходить ко мне и попросить «разделать» — это, конечно, легче, это не требует ни решимости, ни энергии... Нет-с, молодой человек, я не заступаюсь за тех, кто сам за себя заступиться не хочет. Прощайте.

Изумительно часто натываемся мы, «рецензенты», на этот тип удешевленного протестанта.

Больше половины писем, которые мы получаем, принадлежат людям этого типа.

«Зная вас как заступника угнетенных, просим обратить внимание на возмутительный случай...»

И потом излагается, что фельдшерица городской больницы обругала автора собачьим сыном, а он «был так возмущен, что не нашел слов» и потому просит вас, г-на «рецензента», найти эти слова и «расписать» фельдшерицу.

Или что поливальщик городских улиц окатил автора водою и не извинился, а расхохотался, и он, автор, был так взбешен, что даже сам сказал поливальщику:

— Виноват.

А теперь просит вас предать гласности этот возмутительный случай и разделать поливальщика под орех.

Один бывший одесский фельетонист описал когда-то бывший с ним характерный случай этого рода.

Он сидел в саду ресторана за столиком, а за соседним столиком уселась компания мужчин и дам.

Подошел «человек».

— Что прикажете?

Начались обычные переговоры:

— Тебе, Маня, чаю? И тебе то же? И еще кому? Ага. А вам мороженого? Сливочного? Так вы, значит, подадите четыре стакана чаю, порцию сливочного мороженого и к мороженому три ложечки.

«Человек» нахмурился.

— Если у вас денег нету, то сидели бы вы себе, господа, где-нибудь подальше, а то взяли и полезли к самой музыке, а всего-то подай им чаю с лимоном да мороженого с тремя ложечками. Пир на весь мир! Еще не закажете ли зубочисток?

И величественно ушел.

Компания сидела молча; когда же «человек» удалился, один из мужчин воскликнул:

— Нет, какой дерзкий! Право, я пошел бы на него пожаловаться в буфет, да не стоит...

А через два дня фельетонист получил письмо:

— Не откажите предать гласности возмутительный случай...

В одной повести Гоголя рассказан эпизод, которому я долго не верил.

Какой-то, кажется, прапорщик ухаживал за немкой-булочницей.

Булочник однажды поймал его за этим занятием, призвал на помощь другого немца, сапожника, и вдвоем они бедного прапорщика раздели и выпороли.

Прапорщик был в бешенстве.

— Я им покажу! — грозился он.

Но, пройдясь по Невскому проспекту, он несколько поостыл.

Потом встретил знакомого, погулял с ним; выпили по кружке пива, кой-куда съездили...

В конце концов поутру прапорщик проснулся совершенно примиренный с жизнью и отложил всякие попечения о мести.

Я долго считал эту историю неправдоподобной.

Мыслимо ли, чтобы человек, с которым так невежливо поступили, через два часа успел уже настолько остыть и проветриться, что и думать забыл об отмщении?

А теперь все больше убеждаюсь, что мыслимо, и даже вполне мыслимо.

Человек нерешителен, труслив, безалаберен, неряшлив... В высшей степени неряшлив!

Сирано говорит:

— Je ne sortirais pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé...¹

Современный человек далеко не такой чистеха. «Смыть обиду» — это для него последнее дело. Он и неумытый собою доволен.

Было бы очень похвально, если бы все это делалось из христианского чувства.

Но христианское чувство заключается в умении обуздать себя во имя принципа всепрощения, самовольно подавить в себе жажду мщения.

А современному человеку даже нечего подавлять, нечего обуздывать, потому что у него совсем и не возникает желания мести. У него просто-напросто атрофированы за долгим неупотреблением чувство собственного достоинства, самолюбие и инстинкт справедливости.

Пальцем о палец он не ударит для восстановления своего поправного права.

— Охота возиться! — говорит он.

А заступничество предоставляет «рецензенту»: оно, как видно, и для себя спокойнее, — и тоже в случае чего в ответе окажется не сам, а «рецензент»...

Спасибо за честь!

Altalena

Одесские новости. 26.06.1903

¹ «Я никогда не выйду, милый мой, // С нечистой совестью, с несмытым оскорбленьем» (*фр.*; перевод, Т. Л. Щепкиной-Куперник).



Вскользь

В статье г-на Аксакова о тюремном труде, цитированной вчера у нас в отделе «Пресса», сказано так:

«Необходимо внушать каждому заключенному убеждение, что судьба его, даже в стенах тюремного учреждения, в значительной степени находится в его собственных руках».

Правило прекрасное.

Но г-н Аксаков, по-моему, толкует его не в том смысле, в котором надо.

Г-н Аксаков поясняет свою мысль такими словами:

«Заклученный должен убедиться, что прилежанием к труду он может добыть себе *поддержку* во время пребывания в стенах тюрьмы, может помочь своей семье, а главное — *скопить* на выход достаточные средства для начала честной жизни».

Из трех пунктов, здесь указанных, второй и третий, по-моему, не выдерживают критики: почти немислимы ни помощь «семе», ни «скопление» денег на выход.

Тюремный труд оплачивается в высшей степени дешево.

Он дает рабочим-заклученным самые ничтожные суммы.

Отсылать их семье или копить на выход может только редкий заклученный, обладающий особенной выдержкой.

Масса же принуждена будет тратить все эти гроши на себя же, потому что тюремное содержание, и так очень дорого обходящееся государству, поневоле должно быть ограничено только самым необходимым, а человеку нужен и чай, чем тюрьма разрешает пользоваться, но сама снабжать не может.

Поэтому всякие разговоры о коплении денег и помощи семье из тюрьмы суть именно только разговоры.

Семья, обыкновенно, сама еще старается помочь, чем может, своему заклученному члену, а не то чтобы от него ждать денег.

Да вряд ли и был когда-либо случай, чтобы заклученный послал семье хоть рубль, им заработанный в тюрьме.

А если ко дню выхода на волю у кого-нибудь и оказываются неизрасходованные «накопленные» гроши, то это такие крохи, с которыми не только «начать честную жизнь», но и напиться допьяна мудрено.

Только на «поддержку» самого заклученного и может идти тюремный заработок.

Да это и вполне справедливо.

У тюрьмы свои две задачи: во-первых, отделить преступника от общества; во-вторых, заботиться о преступнике, пока он в тюрьме. Нельзя взвалить на тюрьму еще и заботу о семье заключенного и о его будущей карьере после освобождения.

Тюрьма обязана заботиться лишь о тех, кто находится в ее стенах. К этой цели должен быть приурочен и тюремный труд.

Но тюремный труд не должен служить для того, что г-н Аксаков называет «поддержкой».

Что, если он получает «паек», похлебку и одежду, то не потому, что казна его содержит, а потому, что он их заработал.

Заключенный должен сам содержать себя: вот что такое истинный тюремный труд.

Теперь тюремный труд ставит заключенного в положение барыньки, живущей у мужа на всем готовом, но дающей при этом платные уроки для того, чтобы иметь свои деньги «на баулки».

Теперь казна кормит заключенного, а сверх того еще велит ему трудиться для чаю, сахару и... для воспитания.

Никогда такая постановка не научит уважению к труду.

Не казна должна кормить заключенного, а сам он себя должен кормить.

Тюрьма должна заявить ему:

— Кто хочет есть, тот должен работать. Вот тебе одежда, которая стоит столько-то; вот тебе пища, которая стоит ежедневно столько-то. Значит, ежемесячно ты должен зарабатывать у нас всего столько-то. Итак, вот тебе работа. Мы засчитываем ее тебе по средней рабочей цене, установившейся вне тюрьмы в данной отрасли, в данном городе и в данную минуту. Ты работаешь за ту же плату, как и вольный рабочий. Из этой платы мы ежемесячно удерживаем то, что ты нам должен за свое содержание, а остальное принадлежит тебе. Распоряжайся как тебе угодно этим остатком: хочешь — копи, хочешь — посылай семье, хочешь — покупай себе все, что тебе нужно и уставом дозволено.

Такая постановка привела бы к добрым результатам.

Во-первых, заключенный сознавал бы, что он здесь трудится не потому, что так велено, а потому, что ему самому надо скидывать себе пропитание; и если взаправду можно воспитывающе повлиять на взрослого и исковерканного жизнью человека, то именно только путем такого сознания, а не путем сознания принудительности, независимой от его собственных прямых потребностей.

Во-вторых, много улучшилось бы материальное положение заключенного, потому что здоровый человек в состоянии заработать гораздо больше, чем те 7 копеек в день, которые дает теперь — и то с трудом — казна.

Казне тогда пришлось бы содержать только неспособных к труду по возрасту или по болезни; всякий же здоровый человек в тюрьме приучился бы жить не чужим изволением, не благодатьей государства, а в поте лица своего.

Altalena

Одесские новости. 28.06.1903



Вскользь

ДЕШЕВО И СЕРДИТО

Встретил одного знакомого и имел с ним незначительный уличный разговор.

Я его спросил:

— Quo vadis¹?

— Домой.

— Что несете?

— Табак.

— А зачем вы курите? Курить вредно.

— Мало ли вредного мы делаем.

— А зачем же мы делаем то, что нам вредно?

— Потому что годом ли больше, годом ли меньше прожить на свете — не все ли равно?

— Тэк-с. Мое почтенье.

— До свидания.

Затем он пошел вниз, а я пошел вверх и задумался по поводу этого незначительного уличного разговора.

Именно по поводу фразы:

— Годом меньше, годом больше — не все ли равно?

Пустяшная фраза, одна из тех, к которым мы настолько привыкли, что, в известных случаях, уже произносим их рефлекторно, без всякого участия мысли в ответе, не прислушиваясь.

И жаль, потому что следовало бы прислушаться.

Фраза эта маленькая, полдесятка слов, — а в ней, может быть, отпечатана целая эпоха.

¹ Куда идешь? (лат.)

В самом деле, вникните.

Рассуждение, очевидно, такое:

— Если я буду курить, то, конечно, несколько попорчу свой организм и проживу на год или на два меньше. Но ведь жизнь все равно никуда не годится, ни на что не нужна, а моя жизнь в частности. Следовательно, кури, не кури — все одно.

Меня в этом рассуждении не пессимизм интересует.

Пессимизм — было бы с полгоря. Пессимизм как-никак все же есть положительное мировоззрение.

То, что в этой фразе хуже пессимизма и на чем эта фраза вся построена и чем вся пропитана, — есть скептицизм.

Не тот «дух сомнения», в котором мыслители видят могучий фактор прогресса, а простой наш с вами ходячий и, так сказать, уличный скептицизм.

Оригинальная и повальная болезнь.

Потому повальная, что нет поистине вокруг ни одного господина, который не имел бы этого лишая на своей душе.

А оригинальная потому, что она соединяется всегда с удивительной психической абберрацией.

Всех других болезней люди стыдятся, а этой болезнью гордятся. Экзему на руке прячут, а эту экзему духа выставляют на показ и не борются против нее, но еще развивают ее, упражняют и тренируют.

После дождя заденьте пальцем любую ветку: на вас брызнут капли целым градом. Так достаточно только прикоснуться к жизни вокруг вас, чтобы набрать полные пригоршни брызг уличного скептицизма.

Посмотрите на людей, когда в их среду забредет энтузиаст.

У энтузиаста сверкают глаза, а люди кругом сконфуженно улыбаются.

— Вы чему улыбаетесь?

— Да вот, смешно: энтузиаст.

— Что же вам смешно?

— Да то и смешно, что он энтузиаст.

— Разве это смешно? Помилуйте! Ведь он в эту минуту говорит о благе человечества. Благо человечества — нечто огромное, а он, энтузиаст, — нечто очень маленькое. Он это чувствует и не может не благоговеть, не преклоняться, ибо надо быть свиньей, чтобы не благоговеть перед большими идеалами. А раз благоговеть, то и говорить с благоговением и религиозным пылом.

— Н-да, это, конечно, само собою. А все же смешно: энтузиаст!

Посмотрите на людей, когда в их среду забредет влюбленный. Улыбаются.

— Что нашли смешного?

— Влюблен!

— Да позвольте, ведь это не смешно, а отрадно. От любовного брака и дети крепче рождаются. Тут надо радоваться, а не смеяться. А впрочем, может быть, у него невеста поганая?

— Нет, невеста ничего. Девушка симпатичная.

— Так что же смешного, если он влюблен?

— Собственно говоря, ничего... А все-таки смешно: влюблен!

Посмотрите на людей, когда в их среду забредет вообще человек, отдающийся своему делу пылко и уважающий свое дело. Ухмыляются.

— Подумаешь! Он уверен, что весь мир от его идей перевернется на другой бок!

— ...Он, кажется, считает, что писать какие-то статейки — в самом деле важный подвиг...

— ...Он дает свои грошовые уроки с таким видом, точно собирается уроками спасти человечество!

Спросите у этих людей:

— Чего же вы наконец хотите?

Сумейте прорваться сквозь все их увиливания и добейтесь последнего ответа, и последний ответ будет таков:

— Мы хотим, чтобы человек не увлеклся. Пусть симпатизирует, пусть сочувствует, но к чему же пафос? Это некрасиво. Культурный человек должен всегда владеть собой, сохранять свою свободу и ко всему относиться трезво и прохладно.

Бог их знает, этих людей, сколько их на свете: может быть, имя им легион, а может быть, и больше легиона.

Я знал среди таких людей даже даровитых. Но они были последовательны — и ничего не делали.

Они ходили по улицам и по чужим домам и занимались приятным собеседничеством, а когда им предлагали заняться делом, то отреклись.

— Не можем заняться делом. Всякое дело слишком мелко. Оно нас не увлекает.

— А болтовня разве увлекает?

— Нет, но тут легче. Тут прямо знаешь, что болтовня есть пустяк, и не обязан ею увлекаться всей душой. А заняться делом без увлечения — стыдно.

— Тогда увлекитесь!

— Невозможно. Увлекаться — это так смешно!

И так они ходят по улицам и доньне, и полагают о себе:

— О, сколько бы я мог, если бы захотел!

И это правда, но от сослагательного наклонения никому никогда не бывало легче, и бездельник всегда и все-таки есть бездельник.

И даже ядовитый бездельник, когда он и чужого рвения видеть не может без улыбочки.

Оттого ядовитый, что энтузиазм подобен мимозе и нежнее мимозы.

Мимоза прячется от чужого прикосновения, энтузиазм вянет от одного прищуренного взгляда.

Вам часто случалось быть в хорошем настроении, хохотать — и вдруг чужой холодный взгляд вносил яд в вашу веселость, и она осекалась.

Так и энтузиазм. Нет ничего легче, чем испортить человеку энтузиазм: достаточно окатить его холодным, чуждо-любопытным взглядом, каким смотрят в зверинце на сладострастного павиана, — и энтузиазм сморщится, потускнеет и потеряет свой огонь.

Дешево и сердито. Очень сердито и в высшей степени дешево.

Опытом жизни я убедился, что пожимать плечами очень легко, но дышать полной грудью гораздо труднее; что щурить глаза и ухмыляться всякий умеет, но сверкать глазами могут лишь редкие.

Пренебрегать легко, но гораздо труднее уметь дорожить.

Дорожить каждой копейкою жизни — каждым лишним ее днем, каждым шагом ноги, каждым ударом молота, каплей чернил, возгласом, словом и полусловом, потому что все незримо идет на потребу сынам человеческим и некогда скажется в общем результате.

Люди рисуются умением щуриться и ухмыляться на все решительно, даже на истинно великое.

— Мы и великое можем обдать скептицизмом! — хвастают они. — Ибо мы остры умом и видим великое насквозь, и видим его смешную и жалкую сторону.

— Неужели и во взятии Бастилии была смешная и жалкая сторона?

— Да, несомненно. Если бы там потолкаться в толпе, в этот пресловутый день 14 июля, вас бы стошнило от запаха пота, от глухих безграмотных речей и недобросовестных вожаков...

Вещее слово сказал умный французский дипломат:

— Нет великого человека для его лакея.

Потому что лакей великого человека говорит о великом человеке в кругу других лакеев так:

— Хорош великий человек. На лбу у него прыщи, и на ночь он всегда мажется вазелином. Желудок у него ужасный, внутри вечно бурчит, и через день приходится прибегать к каучуковым мероприятиям. А глупцы-людишки считают его великим!

О, какая это глубокая истина: нет, в самом деле, ничего великого — для лакеев...

Altalena

Одесские новости. 2.07.1903



Вскользь

Может быть, смерть Герцо-Виноградского есть призыв к покаюнию.

Барон Икс был всю жизнь добросовестен.

Когда он писал, то писал с верою в важность своего дела. Оттого он готовился к каждой строке, как готовится честный учитель к каждому уроку.

Оттого он всегда трудился над строкою, всегда напрягал старания, всегда искал лучшую мысль и для нее лучшую форму и не позволял себе писать иногда спустя рукава, кое-как, лишь бы отзвонить и пойти с колокольни домой.

Мы изменили все это.

Правда, в его время еще не было того разврата, который называется ежедневным писанием; теперь этот разврат существует и вошел в обязательную силу.

И перемена свершилась, конечно, не без большого влияния этого разврата.

Но, как бы то ни было, перемена свершилась.

Ибо теперь журналист стал недобросовестен.

Часто, слишком часто пишет он, не готовясь, не напрягая стараний, не священнодействуя.

Потому что он перестал верить в важность своего дела и думает так:

— Все равно ничего из моего кропанья не выйдет.

Есть многое, что дало ему право так думать.

Нередко читатель на его горячие слова отвечал, зевая:

— Собака лает, ветер уносит.

А нередко думалось и так:

— О том, что поистине важно, писать не станешь, а о пустяках писать, к чему и стараться?

И то и другое, без сомнения, отравляло и подрывало веру в важность своего дела.

Но ведь и для Барона Икса существовали те же горести.

И его не раз, вероятно, оскорбляло тупое равнодушие читателя.

И ему, конечно, не раз и не два приходилось рвать на себе в бешенстве волосы оттого, что о важном писать не станешь, а о пустяках писать стыдно.

Но он не сдавался, а мы сдаемся.

Он встряхивал головою и говорил упрямо:

— А все-таки мое дело свято и крепко!

И схватывал перо, и опять напрягал все старания, вкладывал всю душу.

А мы, на его месте, унываем и говорим, понутив голову:

— Что ж, не хотите, так и не надо. Коли нельзя гласом жечь сердца людей, то и стараться не стоит. Напишу, что напишется, лишь бы нагнать сто строчек...

Была разница между ним и нами.

Он был всегда непобежденный, а мы — всегда покорные слуги.

Он стоял против тьмы человеческой и посылал выстрелы, не сдаваясь; когда же не стало пороху, он нахмурился и ушел.

А мы не ушли, у нас еще пороху много, мы еще пишем; но тьма человеческая сразу победила нас, малодушных, и мы махнули рукой на борьбу с нею — и стали ее скоморохами.

Так всегда делали победители с побежденными: они обращали пленников в потеху, приказывали им увеселять себя.

Мы стали скоморохами, и человек смотрит на нас, как на развлечение: мы стали гладиаторами и на потеху глупому человеку бьем друг друга бичами, которые даны совсем на другое дело.

Ясно ли вы это поняли, стоя у могилы, в которой теперь закопали человека другого склада, столь непохожего на нас?

Расслышали призыв к покаянию?

Ибо во многом надо нам покаяться.



Вечная память звезде закатившейся, честь и место звезде восходящей.

Я говорю о скрипаче-ребенке, г-не Эльмане.

Это не то, что принято называть вундеркиндом.

Бывают и блестящие вундеркинды, но они все «подают надежды», и Бог весть еще, что из них потом выйдет.

Г-н Эльман вовсе не подает надежд на будущее, потому что, слушая его, вам остается только констатировать уже настоящее.

Г-н Эльман не вундеркинд, а скрипач, настоящий, перво-классный, почти законченный.

Если вы собираетесь послушать его завтра, как слушают вундеркиндов, несколько свысока и с любопытством, оставайтесь лучше дома.

Тут не любопытству место, а любви к настоящей музыке.

Он не затем будет играть, чтобы вы его послушали и мило-ство одобрили, как бы сказав:

— Этому мальчику десять лет, но у него хорошие отметки. Молодец.

Он играет для того, чтобы вы слушали, наслаждались и учились тому, какие хорошие вещи созданы большими композиторами и как хорошо можно их передавать.

Исключите заранее всякий элемент любопытства: г-н Эльман не феноменальное дитя, а просто-напросто виртуоз.

Altalena

Одесские новости. 3.07.1903



Вскользь

Все с глубоким вниманием прочтут последний циркуляр попечителям учебных округов.

Он констатирует то, что давно стало большим местом средней школы: распушенность учеников в смысле постоянного глухого антагонизма между учеником и учителем.

С этим антагонизмом нельзя мириться.

Когда я учился, у нас не было ни одного учителя, к которому мы относились бы без недоверия.

Говоря о них между собой, мы всегда над ними насмехались, придумывали обидные прозвища, передавали о них друг другу оскорбительные слухи и сплетни.

Даже в каждом их добром слове мы подозревали или коварство, или корыстолюбие.

Некоторые из нас пробовали пописывать и показывали друг другу эти опыты, но никогда никому не могло прийти в голову показать их учителю словесности и спросить совета.

Нам приходили в голову всякие головоломные вопросы отрочества, и мы беседовали о них друг с другом, искали ответа в книгах, но изумились бы и сочли бы дурнем того, кто вздумал бы обратиться с этими вопросами к учителю.

Нам просто не могло прийти в голову — приобщить учителей именно к тому, что нас в ту минуту интересовало, потому что учителя были нам совершенно чужды.

А всего хуже было то, что мы не доверяли их беспристрастию. В каждой двойке, в каждой пятерке мы одинаково старались найти какие-нибудь сторонние побуждения.

И когда нас наказывали, мы всегда считали, что это незаслуженно, и подчинялись только потому, что иначе нельзя.

И таким путем мы вообще привыкали смотреть на них, как на что-то такое, что надо терпеть только потому, что иначе нельзя.

При таких отношениях не могло быть никакого воспитания, потому что для воспитания нужно, чтобы поучаемый уважал поучающего и доверял ему.

Циркуляр явился вовремя.

Такого неустройства больше уже нельзя терпеть. Антагонизма быть не должно; ученик и учитель должны связать себя друг с другом уважением и доверием.

Как?

В ответ на этот вопрос циркуляр дает ценное наставление: «Существо дела наводит неотвратимо мысль педагога на то соображение, что он и сам обявлять пример кротости...»

Это безусловная правда, и важная правда.

Но личный пример — далеко не все. Нужен и другой фактор.

Значение этого другого фактора легче всего выяснить на живом примере.

В дни моего школьничества мне однажды показалось тяжело нести ранец на плечах; я взял его под мышку и продолжал скромно свою дорогу.

Педель встретил меня в таком виде, рассказал инспектору, и меня оставили на 2 часа; и я был огорчен и ожесточился.

За что же, спрашивается, меня оставили на 2 часа?

Разве носить ранец под мышкой — преступление?

Нет, нисколько, и это неопровержимо доказывается тем, что теперешний министр народного просвещения уже разрешил носить ранцы и под мышкой, и в руках, и как угодно.

Значит, меня оставили на 2 часа за такой поступок, в котором, собственно, не было ничего дурного.

Был и другой случай, когда меня оставили не на два, а на шесть часов.

Я вышел утром из дому и хотел пойти в класс, но погода стояла чудесная, и меня потянуло на Ланжерон.

Мне тогда едва минуло 13 лет; и уже больше двух недель не выпадало ни одного праздника, кроме воскресений, и уроки все были трудные.

Организм, очевидно, устал от учения и попросился на волю. Я не утерпел и пошел на Ланжерон.

Педель заметил меня и сказал инспектору, и меня посадили на 6 часов; и я был огорчен и ожесточился.

За что же, собственно, меня посадили на 6 часов?

Разве то, что я сделал, было дурно?

Нет, нисколько, и это лучше всего доказывается тем, что теперешний министр народного просвещения установил семь свободных от учения так называемых зенгеровских дней и приказал распределять их как раз на те недели, когда нет праздника. Значит, отдых ребенку в такие недели необходим...

Значит, меня оставили на 6 часов за такой проступок, в котором, собственно, не было ничего дурного.

Я это сознавал и потому не мог не ожесточиться.

Но так как теперь уже ни за ранец под мышкой, ни за «зенгеровский» день ученика наказывать не станут, у него и будет меньше двумя поводами к ожесточению.

Следовательно, необходимо — и это главное — устранить все, что может подать повод к ожесточению, совершенно так же, как г-н министр устранил два таких повода, указанных выше.

Вот настоящий путь к установлению доброй дисциплины не за страх, а за совесть.

Ведь ученику, например, до сего дня не позволено показываться на улице в расстегнутой шинели.

Когда я был учеником, я шел однажды по улице в шинели.

Стояла как раз такая погода, что в застегнутой шинели было слишком душно, а снять шинель и понести ее в руках было бы все-таки слишком холодно.

Поэтому я расстегнул пуговицы шинели. Под шинелью на мне был чистенький форменный наряд.

Педель заметил меня и рассказал инспектору, и меня посадили на 3 часа, и я был огорчен и ожесточился.

Почему я ожесточился?

Об этом прекрасно сказано в циркуляре:

«Углубляя понимание учащимися истинного смысла тех воспитательных требований, с которыми к ним обращаются, можно достигнуть серьезных результатов».

В том-то и дело. По отношению ко мне был достигнут нежелательный результат ожесточения именно потому, что я совершенно не понимал, да и не мог понять, истинного смысла воспитательного требования, чтобы шинель была застегнута, когда это жарко и когда под шинелью вполне приличное платье.

И много было таких воспитательных требований, истинного смысла которых я не мог понять, но отсиживал по 3, по 4 и по 6 часов.

Однажды я надел серую блузу и белые брюки, потому что белая блуза была грязна, а серые брюки прорвались в трех местах.

Разве в этом было что-нибудь дурное? Разве приличнее было бы выйти на улицу в грязной блузе или изодранных штанах?

Но я за это отсидел 4 часа, так как в «билете» написано:

«Смешение частей летней формы с частями зимней воспрещается».

А в другой раз я пошел в Городской театр. У меня было разрешение, и опера была хорошая: «Жизнь за царя». Но я пошел на галерку.

Разве в этом было что-нибудь дурное? Ведь у моего отца не было денег на амфитеатр.

И разве на галерке сидят дурные люди, с которыми мне было непристойно сидеть рядом? Вовсе нет, на галерке всегда сидели мои папа и мама, и они были совсем не дурные, а очень хорошие люди, и даже законоучитель в гимназии всегда повторял:

— Чти отца твоего и мать твою, и продлятся дни твои на земле.

Но педель заметил меня на галерке, и я отсидел за это еще 3 часа. За какую вину?

Вот что надо устранить, и тогда осуществится примирение между педагогом и воспитанником и ученик будет с уважением доверять своему учителю.

Надо, чтобы учащийся всегда — как сказано в циркуляре — «понимал истинный смысл тех воспитательных требований, с которыми к нему обращаются».

Это самое важное.

Если ученик понимает, что данное требование направлено к его же пользе, то он уже и сетовать не будет за его стеснительность и в случае ошибки искренно признает свою вину и не ожесточится, и будет уважать воспитателя.

Но если истинный смысл требования непонятен ученику, — да и не только ему, а и вообще никому не понятен, — то он непременно ожесточится и, что всего хуже, затаит ожесточение.

Нужно дорожить детством и отрочеством и охранять их безмятежность.

Надо поэтому предъявлять в школе только те немногие требования, которые безусловно необходимы, чтобы детству и отрочеству было уютно и привольно.

Тогда путь откроется, и школа понемногу станет любимым домом учащегося, и воцарится в ней истинное обучение и воспитание.

Altalena

Одесские новости. 5.07.1903



Вскользь

Как добрый одессит с удовольствием вижу некоторое оживление книжного дела в Одессе.

Еще недавно здесь издавались только «Шмерка и Берка» или «Вот она, живая струна» — опусы, о которых разговаривать было неудобно.

Теперь понемногу начинают появляться издания, хотя и небольшие по размерам, но серьезные по цели, литературные по исполнению.

Надо пожелать им всякого успеха — книжному делу придется сыграть крупную роль в предстоящем превращении нашего города из захолустья в умственный центр.

Газетам следовало бы очень внимательно следить за этими попытками и бережно и снисходительно поддерживать их, памятуя, что каждый намек будущего здания должен быть нам дорог.

Тем более что среди этих изданий попадаются такие, о которых есть что сказать, которым (и это всего важнее) есть что выразить.

Мне прислали вышедшую на днях брошюру г-на Н. Георгиевича «Максим Горький, его значение в русской жизни и литературе».

Брошюра прочтется с пользой: о Горьком писали много, но полной, так сказать, сводки, хотя бы краткой, всех биографических о нем сведений — почти еще не было.

В брошюре г-на Георгиевича сжато, но в связном порядке рассказана жизнь А. М. Пешкова; благодаря связному изложению факты приобретают иной вид и выпуклее обрисовывают личность М. Горького.

Биографическими данными, впрочем, занята лишь половина брошюры; во второй части г-н Георгиевич говорит об отдельных произведениях г-на Горького и высказывает свой взгляд на значение этого писателя.

Здесь мы кое с чем согласимся, кое с чем поспорим.

Согласимся прежде всего со взглядом автора на этическую ценность «горьковского» индивидуализма:

«И Коновалов, и Чудра, и Лакутин, и Тетерев, дай им хоть абсолютную свободу, не пойдут грабить, убивать людей, не предадутся вообще душевной анархии, так как их натуры вовсе не созданы для этого. Нет, они ищут свободы для того, чтобы отделаться от условностей жизни, которые тяготят их и не позволяют им жить по-человечески: они жаждут ее, думая найти в ней смысл жизни...»

Эти строки — вниманию тех добрых людей, которые до сих пор убеждены, что индивидуализм есть теория о том, как плевать в чужие физиономии.

А поспорим — со следующими строками г-на Георгиевича:

«Изобразив в высшей степени художественно и правдиво "беспокойных людей", их жизнь, их отрицательные стороны, Горький в своих рассказах не говорит, однако же, как выйти из этого положения — из этого "босячества" души, не указывает пути, идя по которому эти люди могли бы отделаться от всех мук, встряхнуться от окружающих их условий и вздохнуть свободно...»

Путь этот, по мнению автора, указан г-ном Горьким только позже — в драмах, в лице Нила и Луки:

«Пусть каждый человек, по мере своих сил и разума, делает свое дело и пусть сознает, что всякое дело, даже не высокое по своим положительным качествам, — не лишнее, что всякое дело зачтется в будущем, что все люди, как говорит Лука, "для лучшего человека живут"».

Я никак не мог бы согласиться с утверждением, что «путь» указан г-ном Горьким не в первых произведениях, а в драмах.

Я считаю, напротив, что все значение Горького как идеолога (позвольте употребить модное словечко) исключительно в его рассказах, и обе драмы к этому значению ничего не прибавили.

Будущий историк, взглядевшись в ту эпоху русской жизни, которая завершилась с первым появлением г-на Горького, скажет:

— Эти люди не знали, чего им нужно было. Они думали, что им нужны были новые мысли, новые чувства, новая красота, но это все были заблуждения. У них была только одна насущная нужда: им нужна была сила, ибо лишь по недостатку силы они не годились на работу.

Нужда в силе была единая, всеобъемлющая нужда. Стремление к силе — единый «путь». Кроме этой одной жажды не было и не могло быть других желаний в такое время, когда люди от собственной слабости, без всякого толчка падали на улицах и тут же скисали.

Г-н Горький дал плоть и кровь этой единой жажде. То, что было смутным порывом в душе у отдельных людей, он облек в краски яркого миража, и всем вдруг стало ясно, что теперь здешним людям нужно.

Это было как откровение.

После этого откровения появились два романа, две драмы — литературно они могли быть и прекрасны, и нехороши, но к откровению они не могли уже ничего прибавить...

Г-н Георгиевич пишет:

«...то, что Максим Горький написал до сего времени, следует считать не только ценным вкладом в русскую литературу, но и богатым материалом для истории русской жизни...»

Я бы прямо сказал: ценным вкладом в саму русскую жизнь.

Г-н Горький, бесспорно, вложил что-то в русскую жизнь. Жизнь до него была одна, жизнь с момента его появления стала иная — и именно такая, как он учил.

Я не обольщаюсь, не увеличиваю влияния личности на эпоху. Все назрело раньше, чем явился г-н Горький.

Но назрело, а, однако, не сказывалось, не проявлялось, и люди стояли растерянные, не зная, где восток.

Горький, как сигнальная ракета, сверкнул среди мглы в той стороне горизонта и указал дорогу, и по ней повалили тысячи.

Altalena

Одесские новости. 7.07.1903



Вскользь

Прошу у вас совета, читатель.

Вы часто обращаетесь к нам, сотрудникам газет, с жалобами на разные непорядки.

Вы говорите:

— Одна надежда на вас, г-н сотрудник. Распишите, как следует!

Это ваше желание — вполне законное желание.

Всякий непорядок, действительно, должен быть оглашен и громко осмеян, дабы впредь неповадно было.

Но так вы рассуждаете, читатель, только тогда, когда вы сами выступаете в роли жалобщика.

А едва лишь оглашение и осмеяние коснется вас лично или кого-нибудь из вам близких — ваше настроение меняется.

Тогда вы кричите:

— Как он смеет вмешиваться! Да откуда он знает! Да какие у него доказательства!

И, по большей части, мчитесь жаловаться.

Но не всегда можно жаловаться. Иногда вы, читатель, представляете из себя столь скромное частное лицо, что вашей жалобе никто и внимать не станет.

Тогда вы отправляетесь к этому самому сотруднику и пеняете ему горько:

— Зачем было вам писать обо мне, позорить на всю Одессу! Побойтесь Бога — у меня взрослые дочери... Вы бы лучше прямо ко мне обратились — посоветовались бы, уладили бы дело без шума и сраму.

Слушает тогда сотрудник такие ваши речи и думает про себя с некоторым даже чувством раскаяния:

— Хорошо поет читатель.

Убедительно поет!

И вот пришло такому сотруднику однажды в голову:

— Дай, в самом деле, вместо того чтобы «расписывать», попробую уладить конфликт устно и мирно.

Конфликт был очень несложный.

Жил-был господин, старичок, из тех, которые считаются вполне порядочными, служил и зарабатывал даже тысяч до четырех.

По неосторожности его или его домашних случилась маленькая неприятность: бедная женщина, поденщица, упала и получила увечье.

Отвезли ее в больницу, где врачи назвали это увечье латинскими словами, кое-как залечили и послали женщину гулять по городу с костылем.

Женщина толкнулась к этому господину.

— Окажите милость — через вас не могу больше работать... Вознаградите!

Господин предложил ей три рубля «на бедность», а насчет увечья заявил:

— И я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик.

Тогда женщина пошла к сотруднику.

Сотрудник напечатал фельетон — и... и больше ничего.

За фельетон весьма гневались, а женщину все-таки не вознаградили.

Поехала женщина к себе в деревню.

Муж на нее посмотрел и сказал:

— Не нравишься ты мне, этакая-то — хромая! Да и толку из тебя никакого: работать не можешь...

Тогда женщина решила поехать снова в Одессу и во что бы то ни стало добиться вознаграждения за увечье.

Прибыла в Одессу и разыскала того самого сотрудника:

— Научите.

Сотрудник подумал и сказал:

— Подавайте в суд.

И стали готовиться к суду: собирать свидетельства, удостоверения, справки.

И дошло об этом до самого виновника торжества.

Посему вдруг стали сотруднику говорить разные добрые люди:

— Послушайте! Зачем этой женщине судиться? Еще может проиграть... Поезжайте вы лучше к этому самому господину, — он человек милый, порядочный, — потолкуйте с ним, а он, увидите, даст этой женщине «приличное вознаграждение».

Сотрудник подумал, подумал и поддался соблазну.

— В самом деле, — решил он, — чего лучше? Если он — господин милый и порядочный, то мы сразу выясним дело и всех убоготорим.

Взял извозчика и поехал.

Видит — в самом деле, господин милый и из тех, которых называют порядочными: вежлив и всем этим делом душевно огорчен.

Есть, правда, некоторые странности.

Например, с одной стороны, он все настаивает:

— В увечьи этой женщины ни я, ни мои домашние совершенно ни при чем.

А с другой стороны, все-таки спрашивает:

— А сколько она хочет за свое увечье?

Казалось бы — ежели ты твердо убежден, что вина не твоя, то нечего тебе и платиться...

Но это мелочи. В общем же у сотрудника получилось такое впечатление, что, действительно, бедной женщине наконец заплатят за ее костыли.

— Да, да, конечно, — уверял господин, — только вот подождите денька три — придет моя жена — она знает все обстоятельства, мы еще вот и с нею посоветуемся и тогда все и уладим...

Прошло три дня, жена приехала, и наивный сотрудник опять явился.

Вышел к нему сначала муж.

Вышел и заговорил, и сотруднику сразу показалось, что в голосе у него уже как будто звучат совсем другие нотки — не то уклончивые, не то настойчивые в смысле:

— Не суй носа не в свое дело!

Однако все пока шло тихо и смирно в ожидании выхода супруги.

Явилась и супруга.

Села, посмотрела строго и сказала:

— А какое до всего этого дело рецензентам? Им бы только все рекламировать себя, ругая честных людей.

Сотрудник удивился.

— Сударыня, — сказал он, — я в вашем доме, и притом по приглашению. Будем говорить о деле и воздержимся от резкостей...

— Ах, оставьте, — отмахнулась барыня, — какие там резкости. Все это...

И пораженный сотрудник услышал слово, от которого у него захватило дух, — слово, о котором он дотоле знал только понаслышке и никогда не ожидал, что услышит его по своему адресу, — слово:

— Шантаж.

Сотрудник остолбенел. Он даже не сразу почувствовал обиду — чувство обиды явилось позже, когда он вышел на улицу.

В эту же минуту у него только широко раскрылись глаза, и всю душу вдруг наполнило презрение.

Холодное презрение к этим людям, погубившим бедного человека и равнодушно ругающимся над его горем, — презрение к этому господину из тех, которых называют порядочными, к этому господину, не умеющему в своем доме оградить приглашенного человека от оскорблений, — презрение к этой барыне, которая одним своим кумушкиным словечком сумела изгадить, испачкать все чистые побуждения наивного газетного человека.

Не сказал ни слова наивный газетчик, даже не попрощался — повернулся и ушел.

Обдумайте эту историю, добрый читатель.

Вы ведь всегда настаиваете, что прежде чем «расписать» вас в газете, «рецензент» обязан поговорить с вами, и даже знаете на этот случай поговорку:

— *Audiat et altera pars*¹.

Но если газетчик так и поступит, то вы же первые скажете:

— Шантаж.

Как же быть?

Вы скажете:

— Очень просто, не мешайтесь вообще в чужие дела.

Рад бы — но ведь завтра вы же сами опять явитесь ко мне и станете рассказывать о разных прижимках и неправдах, и будете сами настаивать:

— Распишите! Это ваш долг.

И тут вы даже забудете поговорку «*audiat et altera pars*» — и будете уговаривать:

— Да на что вам другие свидетели? Неужели я стану вас обманывать. Я еще вашего дедушку знал, а вы мне не верите...

Как же быть?

Посоветуйте...

Altalena

Одесские новости. 9.07.1903



Вскользь

Эх вы, нынешние!

В мое время таких вещей не бывало. Мы не допускали.

Мы тогда еще не знали того закона, по которому полоса берега принадлежит городу, и никто не может ее закрыть.

¹ Да будет выслушана и другая сторона (*лат.*).

Но мы это инстинктивно чувствовали и всегда возмущались, когда тот или другой клочок морского берега вдруг объявлялся запретным.

И возмущались не так, как вы, нынешние, пассивно, а весьма активно.

Мы просто сейчас же отправлялись купаться именно с того клочка берега.

Бывало, на уроке латинского языка сосед потихоньку скажет мне:

— А знаешь? На даче Томмазини опять поставили сторожа и не пускают гулять. Пойдем туда купаться?

— Надо пойти.

— Вот на перемене уговоримся с обоими Крючками.

— Надо уговориться.

На перемене разыскивали обоих Крючков.

Оба Крючка, сыновья околоточного надзирателя, были упорные второгодники, которым пора бы уже давно быть студентами, но они сидели еще в пятом и шестом и поражали богатырским ростом и густыми басами.

Купаться с запретного берега они очень любили и никогда не отказывались.

И вот после обеда мы собирались компанией в шесть или восемь человек и с обоими Крючками во главе отправлялись берегом на дачу Томмазини.

По дороге, в парке, оба Крючка выламывали себе по доброму дрючку и давали кому-нибудь из нас, малышай, обстругать.

Подходя к даче Томмазини, мы становились молчаливы и сосредоточенно высматривали врага.

Враг в виде сторожа с дубиной был уже тут как тут: он стоял над обрывом и недоверчиво посматривал на нас.

Мы выбирали гладкое место, садились и спокойно снимали брюки.

Тогда сторож начинал кричать:

— Пошли вон! Тут нельзя купаться!

А мы уже снимали башмаки, а старший Крючок густым басом кричал в ответ:

— Сам пошел вон. Никто тебя не спрашивает!

Кончалось это тем, что пока мы купались, старший Крючок бил сторожа; потом вылезал из воды младший Крючок, надевал башмаки и бил сторожа, а старший Крючок тем временем шел в воду и купался; а потом мы забирали свои вещи, кто не успел одеться, и уходили, и на прощанье младший Крючок успевал еще бросить в воду шапку сторожа.

Вот пишут люди письма в редакцию, что теперь поставили сторожа с дубиной на даче г-на Гагарина и не дают ни гулять, ни купаться на берегу, а вступитьяся некому.

Сторож говорит проходящим:

— Пошли вон отсюда, не то поколочу, а платье в воду выброшу.

Видно, уверен в себе и совсем не боится, что вдруг его самого, как во время оно, поколотят и его шапку выбросят в воду.

Не те пошли времена.

Я даже предлагаю читателю, если угодно, пари, что сторож с дубиной, несмотря на все письма в редакцию, благополучно простоит на даче г-на Гагарина до самой осени и никто не посмеет его потревожить.

Ибо от кого зависит помочь этому горю?

От города. Полоса берега по закону принадлежит городу, и город должен охранять ее неприкосновенность.

А раз оно зависит от города, то, значит, пиши пропало.

Ведь не станет город обращать внимание на письма в редакцию. Наплевать городу на все письма в редакцию.

У города своя тактика:

— Пишите, голубчики, сочиняйте... а мы в одно ухо впустим, а в другое выпустим...

А ведь это, знаете, в самом деле любопытно.

Почему такая тактика? Почему город в одно ухо впускает, а в другое выпускает?

Положительно, не подыщешь объяснения, кроме одного — кроме безобразной халатности.

Возьмите хотя бы такую мелочь.

Идет человек по Александровскому проспекту по направлению к Полицейской улице; идет, конечно, сквером.

Дойдя до Почтовой улицы, он через калитку опять входит в сквер и идет дальше, рассчитывая, что выйдет через другую калитку на Полицейскую.

Оказывается, калитка на Полицейскую всегда заперта.

Боковых выходов нет.

Или перелезай через решетку, или изволь вернуться назад, за целый квартал.

Неудобство бесспорное.

Помещается об этом заметка в газете: не откажите, мол, открыть калитку.

Никакого результата.

Помещается вторая заметка.

Никакого результата.

Помещается *третья* заметка.

Никакого результата.

Почему такое невнимание?

Разве газета в этой мелочи не права? Разве это не есть бесспорное неудобство? И разве его не легко устранить одним поворотом ключа? И разве не город должен следить за устранением таких неудобств?

Все так: и неудобство, и устранить легко, и город обязан; а все-таки никакого внимания.

За что? Почему?

Ни за что, ни почему, а просто по привычке к систематическому и неизменному:

— Наплевать...

Я давно уже вглядываюсь, изумленный, в одесские отношения между городским самоуправлением и печатью и никак не могу их осмыслить.

Когда сравниваю людей, работающих в печати, с людьми, работающими в городском самоуправлении, я вижу ясно большую качественную разницу между ними.

И выходит по этой разнице, что люди самоуправления должны были бы прислушиваться к людям печати внимательно и предупредительно.

Вместо того наблюдаю совсем обратное.

Люди самоуправления прямо игнорируют печать и с каждой мимолетной «протекцией» готовы считаться больше, чем со всеми тремя газетами, взятыми вместе.

А в ответ на это люди печати, не знаю почему, находят нужным считаться с людьми самоуправления, принимать их всерьез, якобы видеть в этих чисто случайных людях каких-то носителей принципа...

С какой стати? За какие заслуги? Ничего не понимаю и громко сознаюсь, что не понимаю.

Платить вниманием за невнимание, отвечать содействием и сочувствием на пренебрежение, обращаться как с родными с теми, кто нас третирует, как лающих собак, — зачем это? Для какой цели?

Я жду с большим нетерпением выкупа конки.

Я горячий сторонник выкупа. Когда в думе провалили соглашение с бельгийцами, я стоял за колоннами и очень аплодировал, хотя знал, что наша дума — учреждение сговорчивое и что сегодня она решила одно, а завтра ей подмигнут, и она решит другое...

И вот я жду с большим нетерпением выкупа и повторяю про себя стихи Некрасова:

*Били вас палками, розгами, кнутьями —
Будете биты железными прутьями!*

Я ведь заранее знаю, что будет тогда, когда конкой станет управлять город.

Будет еще хуже, чем теперь.

Теперь, когда в газете появляется письмо или заметка против коночных порядков, г-н Легодэ нет-нет да беспокоится, ибо он все-таки несколько опасается, что газеты добьются вмешательства города.

И если в конце концов г-н Легодэ совсем перестанет даже наружно считаться с газетами, то именно и только потому, что он уверен, что управа и дума не обращают никакого внимания на таяканье газет.

Что же будет, когда во главе конки станет директор от города?

Г-н Легодэ хоть чуточку, да все же опасается. А кого будет опасаться грядущий директор от города? Кому вы на него пойдете жаловаться?

А сам по себе он будет столько же прислушиваться к голосу печати и, значит, к ропоту публики, сколько его коллеги теперь; и ни в одном пустяке, ни в одной мелочи, как бы вы ни были вопиюще правы, не уступит вам и не сделает по-вашему, просто для того, чтобы вы, газетчики, не зазнавались и не возмечтали, будто он вашим словам придает хоть какую-либо цену.

Тогда будет хуже: это мое глубокое убеждение.

Если же я при всем том остаюсь в душе упрямым сторонником выкупа и вам то же советую, то не из практических, а из воспитательных соображений.

Когда публика дуется на г-на Камбье или на г-на Легодэ, в этом нет никакого воспитательного элемента; но когда публика должна будет перенести свое неудовольствие с совершенно постороннего бельгийца на своего собственного и даже «собственноручно» (*sauf complications*¹) поставленного директора, — это, по крайней мере, укрепит и усилит в ней определенное отношение к определенному составу думы...

И на том спасибо.

Altalena

Одесские новости. 12.07.1903

¹ Если не возникнут осложнения (*фр.*).



Вскользь

Г-жа Любовь Дризо выпустила изящную книжку под заглавием «Летние колонии в Европе и других частях света».

В книжке дан очерк истории летних колоний для детей.

В 1876 году цюрихский пастор Вальтер Вион поместил в газете «Züricher Tagesblatt» воззвание к «друзьям детей» и собрал 2340 франков на устройство детской летней колонии.

68 детей школьного возраста были на эти средства отправлены на 3 недели в горы.

Результаты первого опыта оказались блестящими. Это вызвало сочувствие. В 1877 году оказалось уже возможным открыть не одну колонию, а три; а в 1888 было приобретено в кантоне Аппенцель собственное поместье за 61 800 франков.

Примеру Цюриха последовали в 78-м году Базель, в 79-м Аарау, Берн, Женева, в 80-м Невшатель, Шафгаузен, Кур. К 1900 году в 25 городах и местечках Швейцарии имелись колонии, причем Базель, например, содержит 30 летних колоний для детей.

За Швейцарией пошла Дания, по системе, несколько отличной от цюрихской. Датчане не устраивают колоний, а расселяют детей в каникулярное время по деревням, прямо в крестьянских семьях, где они живут и исполняют легкие работы под присмотром специальных наблюдателей. Железные дороги перевозят детей даром.

В Германии приняты обе системы — швейцарская и датская. В Германии это дело пошло очень успешно.

«Первую летнюю колонию, — пишет г-жа Любовь Дризо, — основал школьный союз в Гамбурге, разместив 14 детей в ближайших к городу деревнях. Это было в 1876 г., а в 1899 г., то есть через 23 года, мы находим в Германии сотни колоний».

В Австрии первая колония была основана в 1879 году. Теперь это дело разрослось; император и аристократия охотно предоставляют свои замки для летних детских поселений. Замечается усиленная поддержка и со стороны буржуазии, немало помогает пресса. Железные дороги кое-где перевозят детей-колонистов даром.

В Венгрии колониям покровительствует военное министерство, выдавая ежегодно субсидию. Расчет понятный и разумный.

Во Франции в 1881 году протестантский священник Лорио устроил первую колонию; в 1899 году он уже собрал пожертвований на сумму около 50 000 франков и приютил в колониях около полутора тысяч детей.

Наибольшего развития достигли колонии парижских «школьных касс». Сначала они встретили недоверие со стороны муниципалитета, но уже в 1898 году город Париж от себя внес в пользу коммунальных колоний 200 000 франков. Школьные кассы дали в то же время со своей стороны 73 000 франков. В следующем году образовалось «общество жертвователей в пользу летних колоний» с целью «повсеместной организации кружков для сбора пожертвований, преимущественно среди учеников средних учебных заведений».

«Обязательный взнос, — говорит г-жа Любовь Дризо, — 10 сантимов в месяц. Собранные деньги предназначаются исключительно для летних колоний. Интересно отметить здесь энергию одного 11-летнего малыша, умудрившегося составить в короткое время кружок из 61 члена!»

Действительно, славный малыш.

Дальше следуют в книжке более или менее приятные данные о колониях Италии, Англии, Бельгии и т. д., а затем, в особой главе, о колониях России.

Первая колония для бедных детей городских школ была устроена в Варшаве в 1881 году; затем число колоний возросло, и в первые 20 лет (до 1900 года) в них перебивало 20 000 детей. В настоящее время Варшава содержит в 12 колониях около 3000 детей, расходуя около 35 000 руб.

Недурно развилось дело в Петербурге и Москве; в Петербурге есть уже 9 частных обществ для устройства колоний; с 1895 года городская дума тоже на свой счет устроила колонии для учащихся городских школ — этих колоний теперь 14, и расходуется на них городом свыше 10 тыс. руб. «Колонии смешанные, т. е. мальчики и девочки живут под одной крышей». Теперь управа собирается купить участок земли и на нем построить дома для колоний.

В Москве теперь 28 колоний, где содержится около 500 детей. В 1900 году дума ассигновала на это дело 2000 руб.

В Киеве 7 колоний на 250 детей народных школ; первая колония основана в 1896 году.

В Одессе в настоящее время существуют следующие летние колонии.

Женская, под покровительством комитета одесского отделения Общества распространения просвещения между евреями. В 1902 году принято 168 детей. Субсидия из сумм коробочного сбора в 600 руб. ежегодно. Расход 3275 р. 23 к.

Колония для мальчиков и девочек обоего пола, основанная Обществом содействия физическому воспитанию детей. В 1902 году принято 219 колонистов. Израсходовано 3238 р. 84 к., причем помещение (в дер. Александровке) бесплатно предоставлено Г. Г. Маразли. Субсидия от города в 720 руб.

Колония для мальчиков, устроенная д-ром М. О. Кранцфельдом, а ныне состоящая в ведении Общества санитарных колоний; об этой колонии, по поводу отчета за 1902 г., у нас недавно говорилось довольно подробно.

Санитарная станция для детей еврейского сиротского дома на земельной ферме, что на правом берегу Хаджибейского лимана. Помещение на 50 детей; в две смены ежегодно принимается 100 детей — мальчиков и девочек поровну.

Маленькая колония для детей обоего пола, содержащаяся Католическим благотворительным обществом на даче Норова, возле Дерibasовки. В 1902 году там перебивало 20 мальчиков и 23 девочки; дети прибавились в весе в среднем на 5 фунтов.

И это все. Еще несколько колоний были, да сплыли.

Итого в Одессе в 1902 году разные колонии приютили всего 650 детей или немного больше.

В то же самое время как Лейпциг, например, содержит в колониях 2584 ребенка, а Дрезден — 2123!

Маловато, и непохвально со стороны одесского населения.

Но не будем подобны актерам, которые, играя перед пустым театром, сердятся на тех именно немногих зрителей, которые пришли; хотя ведь эти-то зрители уже меньше всего виноваты и даже заслуживают всякой благодарности.

Так же точно, чем труднее развиваться в Одессе делу летних колоний, тем больше чести людям, которые все-таки работают на этом поприще и кое-чего достигают.

Лишь бы только были люди, работающие и добивающиеся — остальное не страшно. Всего можно добиться.

Я прочел недавно прекрасное изречение:

— Если скажут тебе: «Я старался, но не достиг цели», — то не верь.

Это совершенно верно. Или, значит, лжешь, будто старался, — или лжешь, будто не достиг цели, ибо нельзя не достигнуть цели тому, кто старался.

Если только те, которые до сих пор выносят это дело на своих плечах, и впредь не опустят рук и без устали, без лени будут взывать и настаивать, то в конце концов и население откликнется теплее, и создадутся десятками новые колонии, где каждое лето сотни детей будут набираться крови и тела, будут полнеть и крепнуть и расширяться в груди, будут оживать из полумертвых и потом разнесут искорки своего оживления по всем закоулкам, куда прежде никакое оживление еще не проникало...

Считаю необходимым настойчиво повторить одно замечание, которое сделал, когда писал по поводу отчета Общества сапаторных колоний.

Польза колонии громадна, но колония дорога и еще долго многим будет недоступна.

Нужно добиваться наибольшего развития этого святого дела, но не следует попутно упускать из виду и другие средства.

Я говорю о так называемых полуколониях.

О них так пишет г-жа Любовь Дризо:

«Полуколонии существуют у нас в зачаточном состоянии. В Петербурге с 1896 г. для полуколонии отводится на летние месяцы городской сад в одной из беднейших частей города. С 9 час. утра до 7 час. вечера дети проводят здесь время в играх и занятиях под руководством учительниц и воспитанниц Фребелевского общества. Обедать дети отправляются домой; в саду же получают в 4 часа дня чай и хлеб за одну коп.; не имеющие возможности уплатить эту копейку получают даром. Кроме того, совершаются прогулки и более отдаленные экскурсии. Так как многие дети приводят с собой малюток — братьев и сестер, то пришлось устроить ясли для детей от 5 месяцев до трех лет. Ежедневно посещают сад от 500 до 1000 детей, которых, для удобства наблюдения над ними, распределяют по возрастам на группы».

Эта форма не так радикальна, как настоящая колония, но она гораздо доступнее, легче, гибче.

Любой пустырь в районе Молдаванки или поблизости пригодился бы для этой цели.

Может быть, какой-нибудь сердобольный владелец уступил бы такой пустырь бесплатно; если нет, то все-таки льготных условий найма нетрудно было бы добиться.

А средства на доброе дело в Одессе всегда есть — надо только уметь их вытребовать из всех карманов. Да и средства-то небольшие нужны.

Когда я писал это по поводу отчета Общества санаторных колоний, я имел в виду, что такое предприятие прямо входит в задачи этого общества, в полном титуле которого значится: «колоний и других гигиено-диетических учреждений».

Мне даже думалось, что общество — не раз проявившее хорошее отношение к печати — примет к сведению мысль о полуколонии и откликнется постановлением и что к началу или середине июля («что быстрее мечты?») уже будет функционировать «санаторный сад» с гимнастическими приспособлениями, играми, даровой или дешевой пищей — хотя бы только молоком, — с дежурными врачами, с опытными наблюдателями...

Но это все, конечно, думалось, а действительность не любит торопиться... даже в тех случаях, когда поторопиться очень и очень не мешало бы.

Я, однако, не теряю надежды. Ведь вчера рядом с фельетоном, где я божился, что город ни за что не вступится за берег, захваченный г-ном Гагариным, появилась заметка, в которой как раз сообщалось, что член управы взял да вступился!

После этого чуда я уже готов верить во все. Если даже члены управы стали прислушиваться к газетным заметкам, то просвещенные работники Общества санаторных колоний и по-давно прислушаются.

Думаю, что еще не поздно. Впереди ведь еще август и сентябрь — лучшие месяцы одесского климата.

Скажу больше: я полагаю, что такие «санаторные сады» необходимы и зимой.

Зимой, конечно, не на открытом воздухе, а в просторных и светлых помещениях.

Я убежден, что не одно частное училище охотно предоставило бы свой рекреационный зал для такой цели в послеобеденное время.

В последние годы практика частных школ, чутко следящих за прогрессом учебного дела, явно идет к тому, чтобы задавать детям как можно меньше уроков на дом.

Поэтому послеобеденное пребывание в «зимних санаторных садах» ничуть не помешает успехам учащихся.

В «зимних садах» дети и подростки могли бы пользоваться почти всеми теми же физическими играми и упражнениями, что и летом, и уже наверное тем же руководством, медицинским наблюдением и дешевым или бесплатным продовольствием.

Это устранило бы возражение, которое часто выдвигается против колоний:

— За лето вы ребенка откормите, а он за зиму опять отощает...

Помещения для зимних садов, повторяю, нашлись бы, без сомнения, в изобилии: какой резон частным училищам не дать рекреационного зала? Разве, быть может, потребуют уплаты за необходимый ремонт, но не больше.

К тому же всякие приспособления, вроде параллелей и лестниц, которые будут в таких залах устроены обществом, смогут пригодиться школам и для собственных учеников. Вот и взаимная выгода.

А за средствами — тоже повторяю — *такое* дело не может стать. Возьмитесь только энергично, и деньги будут. *Можно поручиться, что будут.*

Если будет много, летние и зимние сады обставятся роскошно; если будет меньше, обставятся скромно. Если не хватит денег на полное продовольствие, будет только молоко, но кое-что все-таки будет; начало будет, и это важнее всего.

Иногда начать — значит создать.

Я хотел бы самым убедительным образом призвать на все это внимание как Общества санаторных колоний, так и администрации женской колонии одесского комитета.

Тем более что мысль о полуколониях или летних *и зимних* «санаторных садах» не раз уж, без сомнения, сама возникала у отдельных деятелей этих двух учреждений.

Что же медлить, если польза так очевидна, осуществление так нетрудно и если вообще не в такое время досталось нам жить, когда можно было бы медлить?..

Altalena

Одесские новости. 13.07.1903



Вскользь

Получил разумное письмо, с которым, однако, не согласен.
«Милостивый государь!

В номере от 9 июля вы затронули вопрос об отношении общества к журналистам. Я воспользуюсь этим, чтобы сказать вам несколько слов о странном отношении журналистов к обществу.

Дело в том, что, владея "добрым арапником" в виде газетного слова, г-да сотрудники берут на себя смелость решать *частные* вопросы, возникающие между членами общества, беря на себя роль не только посредников, но и судей.

В случае несогласия кого-нибудь из тяжущихся с мнением г-на журналиста последний стегает его на газетной странице, а публика читает, злорадно хихикает и потом долго указывает на обещенного пальцем.

Вы должны ставить на разрешение общие вопросы, определяющие взаимоотношения членов общества, хотя бы исходя из частного случая. В каждом отдельном случае, в каждой отдельной личности, вами разбираемой, вы должны отыскать общие, характерные черты.

Только тогда газетная статья получит общественное значение, будет служить руководительницей общественного мнения, сумеет стать на страже общественной совести.

Беря на себя улаживание частных конфликтов, вы, г-да сотрудники, делаете частное дело; вопроса, связанного с этим конфликтом, как причина со следствием, вы не разрешаете — вы делаете дело, не входящее в ваши функции, и потому отношения к вам заинтересованных в деле лиц не определяют их отношений к прессе.

Признаю с сожалением, что горизонт вашего поля деятельности поневоле невелик, но смею думать, что, занимаясь разрешением частных вопросов, *вы его произвольно урезываете.*

Студент А. Т.»

Никак не могу согласиться, хотя ясно понимаю, на какой точке зрения стоит г-н А. Т., и знаю, что со своей точки зрения он совершенно последовательно прав.

Его точка зрения — та, что следует бороться не с личностями, а с общими причинами зла.

Не могу примириться не с самой, собственно, этой точкой зрения, а с односторонним ее пониманием.

Потому что мне пришлось много вращаться в той среде, где эта точка зрения стала, так сказать, религией, и всегда понимание ее в этой среде казалось мне слишком односторонним.

По крайней мере, в теории.

На практике-то, конечно, и из этой среды многие очень и очень серьезно считались с личностями.

Но в теории они же всегда прямолинейно настаивали:

— Личность есть продукт и т. д. Бесполезно поэтому вести борьбу с личностью, так как та же почва через минуту породит новую такую же личность...

Мне же всегда казалось, что вести борьбу с личностью вовсе не бесполезно, а, напротив, в высшей степени важно.

Я тоже никогда не забываю, что личность есть «продукт и т. д.».

Но мне представляется грубой ошибкой — упускать из виду, что «продукт» сплошь и рядом входит в совокупность причин, действующих в мире, и становится таким образом тоже «фактором» — часто очень внушительным и даже, в известной степени, самостоятельным «фактором».

У людей прямолинейных теперь в большой моде такое возражение:

— Какой это фактор? Это не фактор, а продукт!

Грубая ошибка, повторяю, ибо даже сама та теория, на которую опираются такие фразы, нисколько (если, конечно, взглянуть на нее в чистом виде, а не сквозь призму односторонних истолкований) не воспрещает «продукту» быть в то же время и «фактором».

Идея есть продукт, но в то же время и могущественный фактор. Идея есть продукт, но она и сама в свою очередь в состоянии двигать горами. Личность есть продукт, но в то же время и крупный фактор. Личность есть продукт, но она и сама в свою очередь в состоянии натворить много такого, с чем нельзя не считаться.

Гигиена, конечно, полезнее медицины. Необходимо улучшить быт бедняка — тогда он меньше будет хворать; но попутно необходимо давать ему и лекарства, чтобы подавить ту или другую отдельную болезнь.

То же и с отдельной личностью.

Важно бороться против общих причин зла, но важно бороться и против личностей.

На общие факты обыватель пожмет плечами и баста, а личных обвинений и насмешек он все же хоть немного боится...

Кроме всего этого, я полагаю, что есть случаи, когда борьба против данной личности, сама по себе, вне всяких общих соображений получает крупное общественное значение.

У меня как-то было свидание с одним типом, который узнал, что я собираюсь писать о некоторых его художествах ябеднического характера.

Предлагая мне свидание, он, конечно, цитировал, по обыкновительскому обычаю, поговорку:

— *Audiatur et altera pars*¹.

С тех пор как меня за двойку по латыни оставили в 3-м классе на второй год, классические языки имеют надо мной обаяние неотразимое. Латынь меня растрогала, и я согласился на свидание.

Вот, в сгущенном виде, наша беседа.

— За что вы против меня? — спросил он.

— За то, что вы добиваетесь места, для которого не подходите; и еще за то, что добиваетесь его по способу «не мытьем, так катаньем».

— Почему же я не подхожу? Извольте посмотреть.

И тут он вытащил из кармана пачку бумаж.

Я посмотрел.

«От такого-то кожевенного завода. Дано г-ну такому-то в том, что служил на этом заводе столько-то времени химиком, свое дело исполнял и платков носовых не таскал».

Следует печать и подпись. Засвидетельствовано у нотариуса.

«От такого-то мыловаренного товарищества. Дано г-ну такому-то в том, что, прослужив на заводе у нас столько-то времени, водки не пил и свободно пролезал без мыла во все лазейки».

Печать и подпись. Засвидетельствовано у нотариуса.

— Позвольте! — изумился я. — Какое же это может иметь отношение к нашей беседе? Что вы платков не таскали, это я знаю. Но вы карабкаетесь на место, для которого всего этого мало. Тут нужен человек большого ума, даже таланта; главным же образом тут нужен человек с большим чувством собственного достоинства, а у вас никакого чувства собственного достоинства нет...

— Как нет? Почему нет?

— Потому что нет. Я знаю случай, когда один почтенный человек, которому вы публично протянули руку, отказался вам ее подать и повернул к вам спину, а вы побежали за ним петушком и стали допытываться, где он живет, уверяя, что вам надо с ним поговорить и «разъяснить недоразумения». Мне известны другие случаи, где вы льстили, унижались, подмазывались, кланялись, подслуживались...

— Это все неправда.

¹ Да будет выслушана и другая сторона (*лат.*).

— А я знаю, что правда. Теперь вы прибавляете ко всем прежним художествам ложь.

— Но вот у меня письма от самых уважаемых господ, которые меня весьма и весьма одобряют!

— Покажите.

— Извольте.

Письма являются на сцену, помеченные датами прошлого столетия.

— Письма-то хороши, но ведь то была эпоха царя Гороха...

— Эти господа и теперь такого же мнения обо мне!

— Это — вторая ложь. Я вчера говорил с этими господами о вас, и они сказали мне, что вы сначала пустили им пыль в глаза, как теперь стараетесь пустить пыль в глаза мне, но теперь они знают вам цену, и эта цена — грош.

— А я вам говорю, что это неверно. Мне вовсе не грош цена, а гораздо больше. Я человек образованный! Я человек способный! Меня купцы первой гильдии к столу допускали! Я не «кто-нибудь»! Я им покажу...

И ушел, оставив во мне впечатление лгуна, хвастунишки и подхалима.

Позвольте же узнать, г-н А. Т., что посоветовали бы вы мне сделать с этим субъектом?

Свести его к «общим причинам»? Заговорить о том, откуда вообще берутся ложь и подхалимство?

Благодарю покорно. Я не желаю разыгрывать повара-грамотея из басни Крылова. Я буду петь, а он пока все жаркое съест.

Нет-с. А мы вот лучше взмахнем, как вы, г-н А. Т., выражаетесь, «арапником» и посмотрим, каково-то тогда покажется чужое жаркое...

Altalena

Одесские новости. 16.07.1903



Вскользь

Встретил одного ученого юриста и разговорился о проекте театрального общества.

Юрист сказал:

— У вас в газете было, между прочим, написано, что судьей актера является вовсе не рецензент. Судья — публика. Рецензент же только одна из сторон, актер — другая. Я с этим почти

согласен, но сделал бы одну поправку. Судья, действительно, публика, но рецензент является, собственно, не стороной, а экспертом. Экспертом, дающим свои заключения, которые для публики-судьи не обязательны, но все же принимаются во внимание...

Я с этим согласился, а мой собеседник добавил:

— А отсюда следует, что, если рецензент — эксперт, то от него можно требовать чутья и опытности. Потому что в эксперты первого встречного не пускают.

На этом мы расстались.

Da liegt der Hase im Pfeffer¹: от эксперта можно требовать опытности и чутья.

Я не совсем понимаю, почему в газетах появляются мнения против проекта театрального общества.

Суд не суд, а какая-нибудь апелляционная инстанция для актера, по всей справедливости, необходима.

Чего греха таить: ведь в рецензенты часто попадают люди, решительно ничего не смыслящие в сценическом искусстве.

Иногда у человека нет даже простейшей театральной впечатлительности — он не в состоянии непосредственно почувствовать, нравится ли ему актер или не нравится, и должен головой решать вопрос:

— Похвалить или разругать?

А смотришь, волею судеб пишет рецензии.

Года полтора или два тому назад в «Одесском листке» писал рецензии о драме какой-то г-н Еф.

Что он там писал — уму непостижимо.

О «Докторе Штокмане» он выразился, что для одесситов эта пьеса особенно интересна, так как в ней затронут вопрос о целебных купаньях.

Об артистах он писал в этом же роде.

Хорошо, что г-н Еф был робок и скромн, никого не отваживался ругать.

Но ведь то было на первых порах, и его скоро удалось выжить.

А если бы его не выжили и писал бы он до сего дня, то успел бы, пожалуй, приобрести и апломб.

И нет-нет, да и стал бы поругивать того или другого актера.

Это не беда, конечно, если актер уже с именем. Такому г-н Еф не опасен.

¹ Так вот в чем суть дела; букв.: «Тут лежит заяц в перце» (нем.).

Но если актер начинающий? И если в городе только одна газета или если во всех газетах города пишут рецензии брата г-на Ефа?

Сами ничего не смыслят, а молодому актеру испортят всю будущность. Куда его возьмут после таких отзывов?

А молодой актер, на поверку, может быть с искоркой.

Но ведь есть еще, кроме того, и рецензенты продажные и недобросовестные.

Есть ведь и такие, что из-за неудачи в ухаживаниях готовы ругательски ругать смазливую, но, может быть, небездарную актрису.

Как ей защитить себя от несправедливой критики?

Я твердо держусь того мнения, что апелляциянная инстанция необходима.

Altalena

Одесские новости. 17.07.1903



Вскользь

Невесело у меня на душе, читатель.

Я смотрю на товарищей и на себя самого.

Мы могли бы приносить много пользы.

Ведь нас всех, в общей сложности, ежедневно читают огромные десятки тысяч людей.

Мы могли бы говорить с ними о том, что их интересует.

Иногда, может быть, нам удавалось бы разъяснить им то, что они неверно понимают.

Мы могли бы иногда предупреждать неправильные, недобудуманные шаги.

Мы могли бы изредка предотвращать тяжелые столкновения.

Мы могли бы призывать внимание людей ко многим язвам.

И ведь, собственно, в этом наша задача.

Ради этого нас и читают десятки тысяч людей: они ждут от нас серьезного служения общей пользе.

Вместо того мы их обманываем.

Мы никогда не даем им того, чего они ждут.

Мы никогда не откликаемся на то, что их интересует.

Мы недобросовестны, неискренни, лукавы: мы пишем не то, что думаем, и не о том, о чем думаем.

Есть немецкий смешной журнал «Fliegende Blätter», там всегда острят на одни и те же немногие темы: Automobil, пьяный Studiosus, собачка Dackl, глупый Leutnant и больше ничего; и все это очень скучно и пошло.

Мы перед читателем такие же пошляки, как журнал «Fliegende Blätter»: мы тоже все стараемся состроумничать перед ним на одни и те же грошовые темы — театр, обывательская драка, дачный муж, г-н Демчинский, — до которых читателям нет никакого дела.

Но мы пошляки еще хуже и грубее журнала «Fliegende Blätter», потому что этот журнал сам никому насильно в руки не лезет и читают его только те, кто хочет развлечься пошлостями; ничего, кроме пошлостей, он не обещает, и оттого он вправе ничего не давать, кроме пошлостей.

Мы же приходим к читателю под флагом серьезного служения и приходим иногда в такую минуту, когда читатель огорчен, когда ему не до пустяков; и перед этим огорченным человеком мы заводим легкомысленную болтовню о пошлых сюжетах, пересыпанную пошлым острословием.

Боже! Как вы, читатель, должны презирать нас...

А ведь некоторым из нас дан от природы талант, ум, добро-совестная ревность к общей пользе. Некоторые из нас могли бы заслужить у вас любовь, уважение, внимание.

Вы привыкли бы доверять им. Вы советовались бы с ними обо всех ваших сомнениях и затруднениях.

Но они сами вас расхолаживают. Ибо приходит момент, когда вам грустно, и вы беретесь за статью такого вашего любимца, ожидая найти в ней отклик своему настроению, — а любимец, как ни в чем не бывало, рассказывает, остроумничая, как у лавочника такого-то нашли конфеты с вредными примесями.

И вам становится противно, и вы разочарованно говорите, кривя губы:

— Пошляк! Какая ерунда его интересует...

Вы правы тысячу раз, читатель. Он, действительно, пошляк, если позволяет себе так глупо кувыркаться перед честными людьми, когда им вовсе не до кувырканья.

Он пустой скоморох и, кроме того, недобросовестный человек, потому что место, которое он занимает, предназначено для серьезного служения, а он захватил это место и учиняет на нем скоморошество.

Если бы он был добросовестным человеком, он ушел бы с этого места. Он должен был бы вылить чернила, изорвать бумагу, переломать перья и не писать больше ничего, раз из-под пера его выходят только пошлости.

Но мы чернил не выливаем и писать не перестаем; одни потому же, почему морфинист не отвыкает от морфия, другие потому же, почему сапожник не перестает тачать сапоги, — есть что-нибудь надо, хотя бы наперекор совести.

Так наперекор совести живем мы, сознавая всю пошлость наших мелких писаний.

Я когда-то писал стихи и написал по этому поводу:

«И сок души сгорает в этой муке, как молоко у матери в разлуке с ее грудным ребенком...»

Мы не всегда откровенны. В другой раз я не захочу повторить вам все это.

Напротив, я потяну дальше ляжку пошлости, и снова закувыркаюсь, и сделаю вид, будто мне очень весело.

А мне совсем не весело, читатель, — совсем не весело.

Altalena

Одесские новости. 22.07.1903



Вскользь

В городе Палермо сделан интересный опыт муниципализации хлеба — опыт еще неполный, но пока удачный.

История опыта начинается немного издалека.

В Палермо было прежде несколько паровых мельниц, которые конкурировали между собою и держали цены на муку и хлеб на уровне более или менее сносом.

Внезапно, лет десять тому назад, явился на сцену некий мукомол г-н Пекораино и сразу стал «почему-то» любимцем городской управы.

Город дал этому г-ну Пекораино разные льготы, из которых иные — даже противозаконного характера; вычислено, что за десять лет благодаря этим льготам г-н Пекораино сэкономил, в ущерб городской кассе, тысяч до ста.

Льготы дали г-ну Пекораино возможность задушить всех своих конкурентов. Он понизил цены на хлеб до крайнего предела. Мукомолы его проклинали, население его благословляло.

Когда же конкуренты лопнули один за другим и г-н Пекораино остался в буквальном смысле слова монополистом, тогда он показал уже населению, где раки зимуют.

Он поднял цены тоже до крайнего предела.

Бороться с ним было невозможно. Едва на рынке появлялась чужая, более дешевая мука, г-н Пекораино спускал свои цены еще ниже и в одну неделю прогонял соперника.

А тогда цены опять, в одно мгновение, возрастали.

Г-н Пекораино страшно разбогател; простонародье Палермо стало чаще облизываться и стягивать животы кушаками, а городская управа наблюдала, чтобы все шло тихо, мирно, как подобает.

Но управы меняются.

Составилась новая управа и воцарился, так сказать, «новый фараон, который не знал Иосифа», а потому в один прекрасный день г-ну Пекораино предложили, во-первых, забыть о всяких «льготах», а во-вторых — понизить цены на хлеб, грозя репрессалиями.

Г-н Пекораино возмутился и объявил:

— Так сидите же без хлеба.

И остановил все свои мельницы. Других мукомолов, как сказано, в городе не было. Через два дня во всем Палермо не осталось ни корки хлеба.

Синдик, т. е. городской голова Палермо, князь Таска-Ланца разослал телеграммы во все окружные местности. На другое утро ему привезли из разных мест до 8 тыс. пудов муки.

Но г-н Пекораино стакнулся с пекарями: пекари отказались печь.

Синдик нанял две печи в предместье и завербовал хлебопек-ков из городской стражи. К утру в городе был полновесный и дешевый хлеб.

Население, после долгого поста, едва не сошло с ума от радости. Городской хлеб раскупали нарасхват.

Г-н Пекораино встревожился и снова двинул свои мельницы; но уже царствию его пришел конец; вся эта история навела синдика и новую джунту (управу) на мысль об организации в крупных размерах городского помола и хлебопечения.

Теперь это сделано.

Городом снята заброшенная мельница некоего Батталья — одного из побежденных конкурентов г-на Пекораино — и три больших forn¹ для печенья хлеба в разных концах Палермо.

¹ Пекарня (*итал.*).

Дело идет великолепно. Назначена хлебная комиссия под председательством самого синдика и к ней другая комиссия — контрольная. Городской хлеб оказывается и хорошим, и дешевым; население покупает его не только с удовольствием, но даже с энтузиазмом, вспоминая при каждом глотке о временах г-на Пекораино. Одна беда: городского хлеба пока производится только четыре тысячи квинталов, а Палермо потребляет ежедневно 12 тысяч.

Но это пока. Вскоре будет составлена новая смета, которая позволит городу утроить количество помола.

Пропал г-н Пекораино.

Впрочем, он не сдастся.

Недавно была такая история: городской хлеб стал вдруг из рук вон скверен. Плохо выпечен, в мякише всякий мусор, вес неполный. Что за оказия?

Моментально устроили ревизию: оказалось, г-н Пекораино от себя подослал подкупленных пекарей, которые...

Жуликов убрали, городской хлеб снова стал лучшим в этом лучшем из миров, и опять население, уже было отхлынувшее, бросилось покупать его нарасхват.

Пропал г-н Пекораино. Скоро, скоро город естественным путем, безо всякой «льготы» станет полным монополистом мучных продуктов.

Отсюда тройкие результаты.

Во-первых, население в большом выигрыше.

В южной Италии и Сицилии почти не едят мяса. Главная пища простолюдина — овощи, рыба, хлеб и макаронны. Хлеб и макаронны больше всего.

Удешевление хлеба и макарон для палермитанца есть прямое удешевление жизни.

Во-вторых, в выигрыше и город. Там недавно интервьюировали по этому поводу синдика.

— Каждый вечер, — сказал г-н Таска-Ланца, — мы кладем в городскую казну известный излишек. Несмотря на новизну дела и трудности начала, доходы превышают расходы производства и сбыта. Но я должен заметить, что одна сторона сбыта пока поставлена у нас ненормально: развозку хлеба из *forpi* по лавкам производят городские стражники бесплатно. Это, конечно, временно: как только будет утверждена новая смета, мы найдем специальных развозчиков. Но и тогда — я в этом вас могу

уверить — при той же дешевизне, том же качестве и утроенном количестве городского хлеба город будет получать прибыль. Небольшую прибыль, но прибыль, а не убыток...

В-третьих, в выигрыше меньшая братия — пекари и служащие на городских мельницах, особенно первые.

Покамест они работают еще в две смены, по 12 часов каждая; но вскоре, как только будет вотирована смета, число смен увеличится до трех, и каждый пекарь будет работать, за ту же плату, только 8 часов в сутки.

Плата колеблется между 3 и 4 франками. Это завидная цена даже для римского пекаря, тем более для палермитанского, пользующегося всеми благами благословенной сицилийской дешевизны...

Так делаются полезные дела там, где синдик и джунта понимают свой долг перед населением. Там устраивают так, чтобы всем было хорошо: и потребителю, и производителю, и городской кассе, и не дают слишком долго пановать, всем на беду, ловцам рыбы в мутной воде, вроде этого г-на Пекораино.

Altalena

Одесские новости. 24.07.1903



Вскользь

После «Монны Ванны» новая пьеса Метерлинка «Жуазель» — сильно разочаровывает.

«Монна Ванна» была так жизненна, так близко и в то же время красиво походила на сложные настроения, переживаемые теперь нами.

Многое, что мы лишь смутно угадывали в себе самих, «Монна Ванна» подтвердила и укрепила силою искусства.

Столько раз именно нам, именно в это путаное время начала века приходилось и приходится переживать такую новую *правду* человеческих отношений, которая улице еще незнакома и потому объявляется ложью.

Оттого «Монна Ванна» прозвучала для многих из нас, как эхо на наш неуверенный зов.

Я не знаю, кроме Чехова, пьесы более родной сегодняшнему человеку, нежели «Монна Ванна».

«Жуазель» уже не то.

«Жуазель» надумана, написана точно по чертежу.

От «Жуазели» пахнет геометрией, а не жизнью.

«Жуазель» никому, верно, не покажется родною.

После «Монны Ванны» — это шаг назад, к «шифрованному» жанру символистики. Даже больше и... хуже: «Жуазель» уже не символика, как «Пеллеас» или «L'intérieur»¹, а почти аллегория, почти притча.

Какой-то волшебник Мерлин живет на таинственном острове, и служит ему невидимый дух, девственная Ариель.

Собственно, только глупые люди называют Ариель духом и Мерлина волшебником.

Ариель — совсем не дух, не сверхъестественное существо.

Ариель есть то, что скрыто в душе у каждого человека, то, что в нас порождает наши смутные предчувствия, наши беспричинные симпатии и антипатии; если вдуматься, Ариель — воплощение того, что Метерлинк в своих философских статьях называл «третьим» чувством, схороненным в каждой душе глубже «первого» чувства — разума и глубже «второго» чувства — инстинкта.

Поэтому и Мерлин не волшебник, а просто, как говорили в древности на Руси, — вещий. Мы, другие люди, только невнятно чуем шепот Ариели где-то в темном уголке души, а Мерлин сумел вызвать Ариель наружу, заставить ее говорить ясно и служить своему господину.

Оттого он знает то, чего другие люди не предчувствуют. В этом все его чудесничество.

Мерлин только таков, какими будут мудрецы из людей через двести лет, когда познают таинственное «третье» дно человеческой психики...

На острове у Мерлина живет девушка Жуазель: существо, покорное любви, непокорное насилию.

Жуазель нужна Мерлину. Ариель ему предсказала, что некая буря выбросит на остров молодого Лансеора; и Лансеор этот есть сын Мерлина.

И нужно, чтобы Жуазель полюбила Лансеора и чтобы прошла через много препятствий, не переставая любить Лансеора. Тогда будет хорошо и Лансеору, и Жуазели, и Мерлину.

Если же не полюбит или из-за препятствий и разочарований разлюбит, тогда должны погибнуть и Мерлин, и Лансеор, и Жуазель. Все должно погибнуть. Так предвестила Мерлину невидимая для других Ариель.

¹ В русском переводе: «Там, внутри».

Все сбывается к лучшему.

Жуазель полюбила Лансеора.

Мерлин, скрепя сердце, ставит ее любви тяжелые препятствия; знаток женского сердца, он выбирает именно те препятствия, которые легче всего могут отвлечь сердце любящей от возлюбленного.

Мерлин разлучает их.

Мерлин заставляет Лансеора изменять Жуазели.

Мерлин делает Лансеора внезапно старым и уродливым.

Мерлин грозит Лансеору смертью и предлагает Жуазели купить жизнь возлюбленного, отдавшись ему, старику Мерлину.

Жуазель все побеждает, и любит Лансеора, и хранит ему верность.

Тогда наконец Мерлин снимает маску и радостно благословляет союз Лансеора, сына своего, и стойкой Жуазели.

Испытаниям пришел конец, настала беспредельная и безмятежная радость.

Что скрыто в этой аллегории? Кто такие Жуазель и Лансеор?

Может быть, она — дух, а он — тело, слабое, податливое и грешное, и в апофеозе пьесы Метерлинк предсказывает, что будет наконец день, когда воля духа и стремления тела сольются воедино?

Или, может быть, она есть любовь, а он — человечество: род человеческий спасется беззаветной любовью?

Это было бы совпадение с «Бедным Генрихом» Гауптмана: там тоже сказано, что искупление придет от любви; и эта согласная проповедь двух больших художников-учителей перед лицом той лицемерной резни, что идет теперь во всем цивилизованном мире, есть, может быть, исполнение пророчества Надсона?

— Мир устанет от слез, захлебнется в крови — и подымет к любви, к беззаветной любви, очи, полные скорбной мольбой!

Как это узнать... Пьеса загадочна; и люди, без сомнения, станут ломать головы над загадкой, и это, бесспорно, не даст им проникнуться поэтической красотой произведения.

Но есть одно в этой пьесе, что ярко и красиво, без всякой загадки бьет в глаза: это — любовь Жуазели.

Хорошо и могуче любит Жуазель.

Она встретила человека, посмотрела на него глубоким взором и полюбила.

Тогда пришел злой Мерлин и сказал:

— Я вас разлучу. Я запрю Лансеора в темницу: если вы увидите, я погублю вас обоих.

И обратился к Лансеору:

— Будешь ли ты пытаться увидеть Жуазель, рискуя погубить ее?

Лансеор ответил:

— Нет.

Тогда Мерлин спросил у Жуазели:

— Будешь ли ты пытаться увидеть Лансеора, рискуя погубить его?

Жуазель ответила:

— Да. Я его люблю.

И так и сделала, и проникла в заточение Лансеора.

Тогда Мерлин отуманил сознание Лансеора, а Ариель приняла вид прекрасной женщины; и на глазах у Жуазели стал Лансеор обнимать другую женщину.

Жуазель было обидно и горько, но оттого не поколебалась ее любовь, и она простила и сказала:

— Я люблю его.

Тогда снова приступил к ней Мерлин и сказал:

— Лансеор клялся, что любит одну тебя и никогда больше не изменит, а между тем вот он в саду с другой женщиной. Взгляни туда, и ты их увидишь.

Но Жуазель сказала:

— Не взгляну туда. Не верю.

Посмеялся Мерлин.

— Взглянешь! — сказал он. — Я уйду и оставлю тебя, а ты не утерпишь, и взглянешь, и увидишь его измену.

И исчез, оставив Жуазель наедине с сомнением и искушением.

Но Жуазель отбросила сомнение, не поддавшись искушению: гордо встала и удалилась, не взглянув в ту сторону и думая про себя:

— Я его люблю.

Тогда Мерлин обратил Лансеора из прекрасного юноши в безобразного старика, чтобы Жуазель должна была сказать:

— Я любила Лансеора, но ведь этот человек совсем не похож на Лансеора. Значит, не могу я больше любить его.

Но Жуазель сказала:

— Лансеора я полюбила и Лансеора нахожу под внешнею старца. Что мне до цвета его кудрей? Я люблю его.

Тогда злой Мерлин пошел на последнее средство.

— Лансеор должен умереть, — сказал он Жуазели. — Приди ночью и стань моею — и он будет жить.

Стихла, услышав это, Жуазель и ответила, затаив глубокую думу:

— Приду.

И пришла, но с собою принесла нож, чтобы убить ненавистного старца. Чтобы до конца не сдаться и не покориться.

Тогда поднялся Мерлин, изумленный, и понял, что она непобедима, как непобедим всякий, кто не сдается.

И отдал ей Лансеора навеки.

Так учит любить Метерлинк, мудрый и вдумчивый Метерлинк.

Сам кроткий и тихий, силою мысли он осознал, что любовь *должна* быть воистину сильнее смерти.

Может быть, в этой пьесе он говорит о любви:

— Не поддавайся ни на миг унынию и разочарованию.

Что бы ни случилось, продолжай желать.

Гони мелкое сомнение, плод трусости человеческой.

Никогда не сдавайся. Никогда не признавай себя побежденной.

Сим победиши.

Altalena

Одесские новости. 26.07.1903



Вскользь

«Г-н Закушняк играет в Тирасполе и имеет большой успех».

О г-не Закушняке в Одессе до сих пор почему-то не писали.

Из какой-то непонятной сдержанности. Он заканчивал образование в университете, и поэтому всем представлялось, что г-н Закушняк все-таки не актер, а любитель. А о любителях не пишут.

Я не спору: о любителях вообще не стоит писать. Я когда-то был иного мнения, но разочаровался.

Но для г-на Закушняка стоило сделать исключение. Это был и есть не любитель, а актер. Актер «с головы до ног».

Он как «любитель» выступал много раз в литературном клубе, на студенческих субботах в Благородном собрании и на разных других эстрадах; в то же время заправские актеры,

часто с именами, подвизались в Городском и в Русском театре. Но г-н Закушняк имел больший и более серьезный успех, чем многие из них.

Правда, они играли то Боборыкина, то Шпажинского, а он читал Чехова. Чехов и Шпажинский — это разница.

Но вряд ли они так играли Шпажинского, как он читал Чехова.

В этом оригинальном жанре, чуть ли не им самим изобретенном, г-н Закушняк удивительно хорош.

Без преувеличения великолепен. Да и не заподозрят никакого преувеличения те из одесских читателей, которым случалось слышать чтение г-на Закушняка...

Хотя больше всего мне понравился г-н Закушняк не в Одессе.

В особенном ударе показался мне он именно в этом самом Тирасполе, где теперь пожинает лавры уже не в качестве чтеца, а в качестве актера.

Тогда в Тирасполь поехала подвизаться целая компания молодежи.

Концерт был с симпатичной целью: для одесских студентов.

Поехали почти экспромтом. Должно было собраться пять человек: дама пианистка, барышня певица, скрипач и два чтеца, из которых один был г-н Закушняк.

Ехали, как всегда в таких случаях, с разными задержками веселого свойства.

Скрипач не поехал, прислав на вокзал пять человек с пятью разными отговорками. Очевидно, на выбор.

Один из чтецов явился на вокзал с огромным флюсом.

Тут же составилась маленький совет: можно ли такую одностороннюю физиономию везти в Тирасполь и выпускать на эстраду?

Мнения разделились. Человек с флюсом уже было возрадовался и хотел постыдно дать тягу.

Но подоспел студент-устроитель и принял меры к задержанию дезертира.

— Никаких! — сказал он. — Ступайте в вагон.

— А ежели публика обидится и пойдет на эстраду — бить? — колебался чтец.

— Ну и побьет. Что же такого? — урезонивал импресарио. — Если бы несправедливо побили, тогда неприятно. А то ведь ежели побьют, так за дело: что за манера, действительно, соваться на эстраду с распухшим ликом? А посему идите в вагон.

Оригинальный довод победил распухшего человека: он подвязал щеку и пошел в вагон.

Г-на Закушняка подняли с постели за полчаса до третьего звонка.

Он, кажется, тут впервые и услышал про то, что в Тирасполе будет какой-то концерт и что его имя уже красуется на афишах.

Но нисколько не изумился. Встал, оделся, снял со стены ситцевую занавеску того цвета, который называют «веселеньким», — она заменяла в его богемной обители ширмы, — аккуратно завернул в нее черный сюртук, воротничок и три томика Чехова и сказал, позевывая:

— Вези.

Ехали очень весело. По дороге ели апельсины и поочередно выжимали кулаками флюс у распухшего чтеца, уверяя, что флюс «уменьшается».

Прибыли в Тирасполь и подивились. Город, совсем как в сказках пишут: немощный, весь одноэтажный, перед вокзалом бродят живые свиньи.

Вечером состоялся концерт.

Перед началом долго советовались, когда объявить публике, что скрипач не приехал.

— Может быть, перед вашим номером? — спросили у распухшего.

Распухший побледнел.

— Ради Бога! — взмолился он. — Меня и без того будут бить, а вы еще хотите разозлить публику.

И наконец, решили объявить «перед Закушняком»:

— Публика надуеться, а тут как раз ей Закушняка в утешение и выпустили...

Так и сделали.

Пианистка и певица имели большой успех.

Распухшего не били.

Г-н Закушняк вызвал фурор.

На нем выместили досаду за неприехавшего скрипача: его заставили бисировать не за двоих, а за четверых.

Я стоял за кулисами и смотрел. Г-н Закушняк, действительно, был в редком ударе.

Каждый тип у него жил, как на хорошем портрете.

Закрыв глаза, можно было под острый, характерно южный говорок г-на Закушняка видеть их всех почти в галлюцинации:

и дьячка, и фельдшера-зубодера, и «счастливчика», и толстого, и тонкого, и человека с собачкой — эту карамазовскую душу в приказном теле...

Слушая г-на Закушняка, я думал про себя, что этот жанр ни на волос не ниже сценического искусства; и, в конце концов, лучшие писатели и поэты России ждут еще своих чтецов.

Гоголь с эстрады... Алексей Толстой с эстрады... Открылась бы, может быть, новая казна красоты для нас во всем том, что мы еще детьми перечитали и забыли!

Я не знаю, конечно, принадлежит ли г-ну Закушняку первому в России идея этого жанра, но во всяком случае он в этом жанре уже почти *maestro* и может смело называть его своим.

Зная и ценя этот самобытный молодой талант, я думаю, что теперь, когда г-н Закушняк всецело и бесповоротно отдается рампе, мы имеем право ждать от него и дальнейшего пионерства в стиле, который он так счастливо изобрел или усвоил.

И как добрые одесситы будем твердо надеяться, что скитания, милые сердцу артиста, все-таки не оторвут г-на Закушняка — как оторвали многих — от родного юга, где выросло его оригинальное дарование и встретило ласку первых успехов.

Altalena

Одесские новости. 27.07.1903



Вскользь

Вчера, в понедельник, в «Южном обозрении» было помещено решение третейского суда по моему делу с г-ном Лознгрином. Напечатано это решение, очевидно, по редакционному недосмотру, так как было, по взаимному соглашению, условлено опубликовать его сразу и в «Южном обозрении», и в «Одесских новостях» — не в понедельник, а во *вторник*, т. е. сегодня. Согласно этому соглашению, привожу полученное мною заключение.

Вследствие возникшей полемики из-за действий г-на Б. в Обществе взаимного вспоможения на случай смерти сотрудник «Одесских новостей» г-н Altalena и сотрудник «Южного обозрения» г-н Лознгрин обратились к третейскому суду с просьбой разрешить следующие вопросы: 1) признаются ли добросовестными нападки г-на Лознгрина на г-на Б., являющегося одним из

главных деятелей в одесском Обществе взаимного вспоможения на случай смерти; 2) признается ли добросовестным заступничество г-на Altalena за г-на Б.; 3) признается ли заступничество г-на Altalena за г-на Б. защитой личности г-на Б. вообще или только его образа действий в данном случае; 4) кто и насколько прав в этом споре по существу?

Третейский суд, считая, что в данном случае его призвание сводится не к произнесению формального приговора, а к разъяснению происшедшего инцидента и к выяснению роли сторон, рассмотрев полемику между г-ном Altalen'ой и г-ном Лознгрином, нашел:

1) не подлежит никакому сомнению, что как г-н Altalena, так и г-н Лознгрин действовали вполне добросовестно, руководствуясь только своими убеждениями вне каких-либо сторонних побуждений; 2) г-н Altalena защищал не личность г-на Б., а только его образ действий при выборе уполномоченных и приглашении врача в Обществе взаимного вспоможения на случай смерти; 3) корень недоразумения лежит в следующем: г-н Лознгрин разбирает данный случай, признавая необходимым считаться со всей совокупностью общественной деятельности и влияния на местную жизнь г-на Б. Г-н Altalena рассматривал данный случай вне зависимости от всего остального и, располагая представленными ему документальными материалами, пришел к выводу о правильном образе действий г-на Б. и необходимости выступить в его защиту.

Признавая совершенно правильной точку зрения г-на Лознгрин, третейский суд тем не менее не находит ни в точке зрения г-на Altalen'ы, ни в применении им ее в этом вопросе решительно ничего, что могло бы бросить какую-либо тень на него как на журналиста, добросовестно относящегося к своим задачам.

Третейские судьи:

Г. Пекаторос
А. С. Изгоев
А. Богомолец



До опубликования решения третейского суда я считал неудобным опять касаться в газете дела «о букве Б.», хотя поводы были.

Теперь решение опубликовано, и я снова получаю свободу писать об этом деле, которое в моих глазах представляет большой бытовой и принципиальный интерес.

В этом смысле решение подоспело очень кстати: как раз вчера из фельетона г-на Сига я узнал, что г-н Знакомый опять

сделал в «Одесском листке» вылазку против 2-го общества взаимного кредита, в том смысле, что оно осталось в неблагоприятных руках, эсетра¹.

Ни имен, ни «букв» г-н Знакомый на этот раз не называет. Я не люблю покушаться на чтение в чужой душе; но в этом случае и для меня, и для всех до очевидности ясно, что г-н Знакомый имеет в виду, несомненно, опять-таки г-на Б.

Не могу не прийти в восхищение от этой настойчивости.

Г-н Знакомый возводил на г-на Б. разные обвинения. Эти обвинения были мною все систематически опровергнуты. Возражений по существу со стороны г-на Знакомого не было. Вместо них были разные приемы, за которые я вызвал г-на Знакомого на третейский суд. Г-н Знакомый от суда отказался и... вы думаете, умолк?

Нет. Как видите, продолжает в том же духе.

Что же, потолкуем опять — опираясь на этот раз уже на данные, так сказать, официальные — на решение третейского суда, приведенное выше.

В решении третейского суда подтверждено, что я защищал не личность г-на Б., а только его образ действий в определенном случае.

Значит, я не могу ничего иметь против того, чтобы г-н Знакомый находил г-на Б. вообще человеком ненадежным.

Но полагаю, что для того чтобы писать о его ненадежности в газете, надо привести в доказательство какие-нибудь факты.

Г-н Знакомый так и поступил: он привел факты.

Он написал, что г-н Б. на каких-то выборах пустил в ход некорректные приемы и что г-н Б. применил, во вред делу, кумовство.

Я же написал в ответ, что со стороны г-на Б. не было в этом случае никаких некорректных приемов и никакого кумовства.

Это я подкрепил документальными данными, которые были напечатаны.

Эти документальные данные, подтверждающие правильность образа действий г-на Б. в этом случае, третейский суд признал *достаточными*.

Следовательно, я не только *возразил* на обвинения г-на Знакомого против г-на Б., — я их, в полном смысле, *опроверг*. А других фактов г-н Знакомый не привел.

¹ И так далее (*фр.* от *лат.* et cetera).

И вот теперь, однако, г-н Знакомый опять находит возможным повторить старую песню на тему о ненадежности.

Как же так? На каком же основании?

Очень просто: на основании слухов, на основании *vox populi*¹.

Я же считаю неподобающим ни вообще для серьезного человека, ни тем более для журналиста считаться со слухами и толковать, как толкуют мещане, поговорку «*vox populi — vox Dei*»² в смысле:

— Дыма без огня не бывает.

Потому что это неправда. Много дыма бывает на земле без всякого огня, девяносто девять из ста «слухов» — клевета.

В последние годы передо мною прошло много людей и мною «слухов», и я видел ужасные вещи.

Я видел хорошую девушку, которая полюбила хорошей любовью, а про нее говорили и повторяли, что она старается изловить и окрутить завидного жениха. Я видел честного и искреннего человека, на которого три раза возводили обвинения в продажности, одно другого грязнее.

Я слышал за эти годы бесчисленное множество клеветы, клеветы феноменально беспочвенной, колоссально нелепой — и все же ее принимали к сведению. Я слышал, как людей уверенно обзывали мошенниками, взяточниками, поджигателями, даже предателями и доносчиками *только потому, что за минуту слышали об этом от кого-то*.

И когда я во все это всмотрелся и вслушался, мне это показалось чудовищным.

И всего чудовищнее было то, что не только стадные люди, а даже люди тонкие и недюжинные не раз передо мною принимали слухи на веру и говорили:

— Что-нибудь да есть. Без огня дыма не бывает.

Все это, однако, не нами заведено и не нами исправлено будет. Так уж устроен обыватель.

Но когда не обыватель, а журналист достаивает считаться со слухами — тогда нельзя не протестовать.

Мы, журналисты, для того и существуем, чтобы убить «слухи» и заменить их гласной достоверностью.

Я не понимаю этого потворства распутнице-молве.

¹ Гласа народного (*лат.*).

² Глас народа — глас Божий (*лат.*).

Я не понимаю, как можно *поверить молве*, порочащей кого-нибудь, даже самой достоверной с виду, — как можно не ответить на нее:

— Это ложь!

Пока вам не докажут.

Ибо у нас получилось нечто уродливое, нечто возмутительное с точки зрения права: каждый обвиненный человек считается виновным, пока он не докажет противного.

Я этого, г-н Знакомый, не понимаю, не признаю и никогда не признаю.

И заключая теперь всю эту полемику (потому что должен на время отлучиться из Одессы и не смогу следить за возражениями и еще потому, что нахожу вопрос достаточно разъясненным), я повторяю, что ни за какую отдельную личность я ручаться не стану; но для обвинения ее требую фактов, и только фактов, а не молвы.

Там же, где нет фактов или где факты, как у вас, г-н Знакомый, несостоятельны, там обвинение есть несправедливость, которая должна быть опровергнута. Так я старался поступать до сих пор и так буду поступать и впредь.

Altalena

Одесские новости. 29.07.1903



Накануне конгресса

БАЗЕЛЬ

9(22) августа

Конгресс сионистов начинается завтра, 23-го, а по-русски 10 августа. Но я здесь уже дней шесть и все это время без отдыха кочую из одного собрания в другое, потому что собраний, мелких и крупных, множество: «форконференция»¹ делегатов из России, совещания длиннополых «мизрахи» (ортодоксов), союза «чисто политических» сионистов, молодой фракции центра, внефракционной группы, разных землячеств, разных комиссий, группы еврейских писателей, группы ревнителю древнееврейского языка, ведущих заседания

¹ Предварительное совещание (от нем. Vorkonferenz).

только на этом языке... Все залы и комнаты городского казино — кроме большого зала, в котором состоится конгресс и который пока закрыт для публики, — заняты собраниями; на некоторых дверях красуются надписи на трех языках: по-русски — «закрыто», по-немецки — «geschlossen», по-еврейски — «segura»; это значит, что в данное собрание не допускаются гости, а из делегатов — инакомыслящие. Вообще стены казино пестреют плакатами и надписями на разных языках и разного содержания. Тот предлагает верующим кошерный и притом дешевый обед, тот типографские услуги, тот меблированные комнаты; тут же объявления о предстоящих собраниях такой-то группы в зале № такой-то или в ресторане Zum Safran. Из этих объявлений выделяются плакаты партии «мизрахи»: набившие руку на переписке свитков Пятикнижия, они выводят свои оповещения великолепными жирными еврейскими буквами, которых не отличишь от печатных. Я брожу в густой толпе среди этих афиш, выбираю, переселяюсь из зала в зал, прислушиваюсь, присматриваюсь и вывожу свои заключения. Не заставляю вас, однако, следовать за мною по пятам в этих скитаниях и ограничусь пересказом двух-трех впечатлений.

В первый вечер по приезде я попал на собрание группы «Ibria». Это — те самые ревнителю еврейского языка (они принципиально не признают названия «древнееврейский»), о которых я уже упоминал. Собрались они в так называемом малом зале конгресса, который может вместить, не считая галереи, до 400 человек или больше. Теперь, однако, в зале было не больше 200, из них около ста участников «Ibria» и около сотни гостей. Среди гостей — студентки и студенты заграничных университетов, корреспонденты, делегаты, не знающие по-древнееврейски, публика из ближайших курортов. Среди участников «Ibria» — несколько еврейских писателей, несколько бородатых ортодоксов в длинных капотах, а большинство — просто делегаты от сионистских кружков Литвы и Белоруссии, чаще всего молодые.

Заседание открывает высокий молодой брюнет — открывает на очень беглом и свободном еврейском языке. Это — Мосензон, студент-филолог одного из здешних университетов. Он сообщает, что в Берне образовалось общество для распространения еврейского языка и обращения его в разговорный

и что настоящая «assepha» (собрание) созвана по инициативе этого общества. На древнееврейском языке издаются десятки газет; в одной России пять таких газет имеют в общей сложности, по меньшей мере, тысяч тридцать тиража, а на каждый экземпляр можно смело считать по десяти, если не по 15 читателей, потому что есть углы, где один лист какого-нибудь «Nazorhe» в лоскутки зачитывается целым местечком. Кроме того, на еврейском языке издаются книги и брошюры, выступают первоклассные силы — например, молодой одессит Бялик, которым гордилась бы всякая европейская литература; по прекрасному плану, разработанному одесским же публицистом Ахад-Гаамом, проектируется издание на этом языке грандиозной многотомной энциклопедии, которая должна будет стать памятником еврейского духа XX столетия. Таким образом, как язык письменности еврейский язык живет и развивается, и если нуждается в возрождении, то лишь как разговорный язык. В этом отношении сделано мало, и в этом направлении придется усиленно поработать. Хорошая почва есть. Не говоря уже о том, что в Палестине во многих местах и главным образом во всех тамошних еврейских школах слышится образцовая по выговору библейская речь — и в Европе кое-где благодаря натуральному методу обучения дети простого класса уже говорят между собой на языке пророков; встречаются, хотя и редко, даже интеллигентные семьи, где этот язык стал разговорным. Но все это еще слишком случайно, и необходима напряженная и хорошо организованная работа для того, чтобы возродить «laschon kadosch»¹ в качестве разговорного, семейного языка.

Слушая речь Мосензона и не без труда улавливая смысл ее (я, к сожалению, плохо понимаю по-древнееврейски), думал о том, что даже среди лиц, сочувствующих восстановлению еврейского государства, идея восстановления еврейского языка найдет противников. Одни считают это возрождение невозможным, другие нежелательным; указывают на то, что на еврейский язык, если бы он стал языком нации, пришлось бы перевести несметное множество необходимых книг, начиная хотя бы с научных руководств, и это сильно затормозило бы самостоятельное творчество. Но тут поборники «Ibria» возражают, что необходимость переводов приведет только к тому, что

¹ Святой язык (*иврит*).

появится много переводчиков, но нисколько не вынудит оригинальных еврейских писателей бросить оригинальную работу и взяться тоже за переводы учебников...

Я, однако, признаю некоторую вескость за соображением противников библейского языка; но думаю, что вопрос этот разрешится в будущем не по желанию той или иной группы, а сам собой, силою вещей, естественным порядком; и разрешится — на мой взгляд — именно в духе «Ibría», в духе возрождения речи праотцев. Дело в том, что при концентрации масс еврейского населения в одной стране — чего и добивается сионизм — получится вавилонское смешение наречий: немецкого жаргона, русского языка, румынского, персидского, арабского, испанского жаргона, иранских, туранских и кавказских диалектов и еще Бог весть каких. Нейтральный язык будет тогда необходим. Но нейтральным языком вряд ли может естественно явиться какой-либо другой, кроме древнееврейского.

Объяснюсь точнее. Сионизм предполагает, между прочим, национализацию воспитания, но и помимо сионизма разумное воспитание еврейских детей немисливо без изучения древних памятников еврейского духа. Русское общество не желает латыни, потому что латинский язык ему чужой, но, например, в Италии никогда и ни у кого не возникало мысли изгнать латинский язык из школьного курса. Такое предложение показалось бы там абсурдом просто потому, что необходимость знакомства с духовными богатствами собственных предков аксиоматически ясна для всякого интеллигентного человека. Воспитание еврейских детей, разумно поставленное, должно будет уделить значительное место изучению Ветхого Завета, старой и новой еврейской литературы; и если только это изучение будет разумно поставлено, оно не сможет не привести воспитанников к более или менее основательному знакомству с еврейской речью. Это буквально неизбежно уже просто потому, что мир неизбежно идет к разумной, а не к неразумной постановке воспитания и обучения и из разумного воспитания не могут быть исключены национальные предметы, а при разумном обучении эти предметы не могут быть изучаемы иначе, как более или менее основательно. Такое воспитание получают еврейские дети интеллигентных слоев; дети же бедноты пройдут, как и теперь, через хедер, а хедер, особенно в Литве, дает если и не систематические, то все же солидные познания в библейской речи. Конечно, эти познания и у воспитанников образцовой

школы, и у воспитанников хедера будут еще далеки от идеала, но они, во всяком случае, дадут возможность понимать бухарского и алжирского соплеменника — тоже прошедшего через хедер — скорее на еврейском языке, чем на каком бы то ни было другом. Если суждено осуществиться конечной цели сионизма, то еврейский язык, на мой взгляд, должен будет возродиться сам собою просто потому, что в тот момент он окажется более или менее знакомым наибольшему числу разношерстных сограждан.

Принято, впрочем, полагать, что хедер готовит только маленьких попугаев, которые могут лишь повторять затверженное, но не способны мало-мальски самостоятельно применять это затверженное в жизни. Это — безусловно преувеличенный пессимизм, хотя я, конечно, не стану отрицать того, что обычный современный хедер во всех отношениях очень плох. Но когда ребенок сто раз, хотя бы «по-пугайски», зазубрил, что «be-reschith» значит «вначале», а «barà» — «сотворил», и еще тысячи таких слов, среди которых есть и «хлеб», и «вода», и «дом», и «спать», и «пойти», — то он в конце концов худо ли, хорошо ли может объясниться на еврейском языке. Я же думаю, что может объясниться довольно бегло и свободно. Заключаю об этом по всему, что наблюдал в заседании «Ibrìa». В прениях принимали участие не одни писатели и студенты-филологи: *большинство* были именно воспитанники хедера, только из хедера получившие знакомство с библейской речью и потом поддерживавшие его благодаря еврейским газетам. Эти люди говорили — говорили, заявляя, что им почти впервые приходится публично пользоваться еврейским языком, — и говорили, однако, плавно и точно, касаясь даже отвлеченных предметов. А ведь три четверти населения Литвы — если не больше — и суть именно такие воспитанники хедера и читатели древнееврейских газет.

Беда здесь, по-моему, не в том, что еврейский язык не может будто бы возродиться, а в том, что он рискует возродиться в очень исковерканной форме. Я говорю о так называемом «ашкеназийском» (т. е. «немецком») произношении библейского языка, принятом сплошь у русских, галицийских, немецких и польских евреев, т. е. у 75% всего еврейского населения земного шара. Это произношение уродует язык до неузнаваемости. Ударение, которое должно быть почти всегда на конце, оказывается на предпоследнем слоге; **а** превратилось в **о** (на юге

даже в **у**), **о** в **ой**, и таким образом из звучного имени Israèl получился в Литве Isgòel, на юге Isgùel, а в конце концов Сруль... Гораздо правильнее так называемый «сефардийский» («испанский») выговор, сохраняющий ударение на конце и не коверкающий гласных и согласных. Этим выговором читают все «сефардим», т. е. испанские выходцы, живущие по бассейну Средиземного моря, — итальянские, балканские, палестинские и африканские евреи. Мне кажется, что и еврейским педагогам в России следовало бы обратить на это внимание и потрудиться над возвращением языка пророков его настоящей формы.

Вдобавок сефардийский выговор: Адонай вместо «Адойной» гораздо благозвучнее. В этом самом собрании «Ibria» выступил некто Эпштейн из Палестины, говоривший удивительно красивым сефардийским произношением. Несмотря на восточное гортанное **х**, этот выговор положительно ласкал европейское ухо. Собрание слушало Эпштейна, как очарованное; после речи многие говорили ему:

— Мы и не знали, что у нас такой красивый язык...

«Мар» Эпштейн («mar» — талмудическое «мсье») сам по себе интересный человек. На вид это совершенный араб с длинной курчавой черной бородой и живыми манерами. Лет двадцать назад, еще совсем молодым мальчиком, он переселился из России в Святую землю и скоро стал лучшим из палестинских педагогов. Он — педагог-художник: он не сидит с детьми в классе, не задает им уроков, а уводит их в поле и там ведет с ними беседы о природе, об истории — о чем угодно. Эти беседы должны быть очень увлекательны: в том, что мар Эпштейн говорит увлекательно, я убедился, слушая его речь, в которой, между прочим, он пространно развил свою мысль о распространении еврейского языка путем театров и народных домов.

После речи Эпштейна, встреченной ураганом рукоплесканий, это заседание, в котором не было произнесено ни одно слово на другом языке, кроме еврейского, закончилось словами председателя:

— На-assepha segura — собрание закрыто.

На следующий день состоялось тоже ветхозаветное заседание, но уже в другом роде: предварительное совещание «мизрахи».

Владимир Жаботинский

Одесские новости. 15.08.1903



Базельские впечатления

I. ШЕСТОЙ КОНГРЕСС СИОНИСТОВ

14(27) августа

Урываю часы у короткого сна, чтобы дать отчет о первых двух днях конгресса. До сегодняшнего вечера не было ни одной свободной минуты: то заседания конгресса, то частные собрания.

10 числа нашего стиля, к 11 часам утра, все уже в сборе. В большом зале конгресса, по подсчету, 672 делегата и больше 150 журналистов; на хорах 1200 человек гостей. В глубине зала обширная трибуна, над нею вышка для председателя, убранная шестиугольными гербами, известными под названием *щита Давидова*. Мужчины в сюртуках и во фраках, с голубыми розетками в петлицах; «мизрахи» блестят черным атласом, а два делегата от горских евреев сверкают на солнце насечками на кинжалах, ножах и патронах.

Трибуна понемногу наполняется: там усаживаются уполномоченные всех стран, составляющие вместе так называемый большой исполнительный комитет (Grosses Aktions-Comité), и члены малого, или «венского», Aktions-Comité; мелькает странное, бритое, оригинальное неправильное лицо писателя Зангвиля, белая борода профессора Мандельштама, какие-то чистенькие немецкие физиономии типа Herr doct. phil.¹; потом вдруг раздаются оглушительные аплодисменты, крики «ура», «виват», по-еврейски «hejdot». Делегаты и публика подымаются на ноги, машут платками, шляпами, стучат каблуками. На председательской вышке показывается доктор Герцль. Самая интересная внешность из всех, какие я когда-либо видел: нечто в высшей степени мужественное, твердое и в то же время изящное. Профиль ассирийского царя, как они изображены на древних плитах; манера человека, уверенного в себе на десять лет вперед и если еще не привыкшего повелевать, то уже готового повелевать.

Мне приходилось много слышать и много думать об этом человеке. Я считал это нелишним. Сионистское движение коренится глубоко и не зависит теперь от личностей; но все руковод-

¹ Господин д-р философии (нем.).

ство, все представительство, вся ответственность движения лежит на Теодоре Герцле. Когда говорят о сионизме, думают о нем. Если бы он умер, со стороны подумали бы, что сионизма не стало, и понадобился бы целый месяц, чтобы дать понять людям, что движение не умерло. Живучесть сионизма не подчинена Герцлю, но его успехи в руках у Герцля. Победа движения в настоящую минуту есть синоним удачи Герцля. Герцль — это карта, на которую теперь поставлены большие ставки сионизма, поэтому очень важно угадать эту карту.

Я знаю все хорошее и все дурное, что думают о Герцле вокруг него, и смотрю на него совершенно холодно и трезво, и думаю, что в его лице перед нами одна из замечательнейших личностей нынешнего дня. В чем его сила — трудно определить. Он совсем не первоклассный писатель — но он прекрасный стилист и передает ясно и резко то, что ему нужно изложить; он не оратор, но он говорит именно то, что ему нужно сказать, и именно так, как это нужно. Он удивительно гармоничен и выдержан; он производит впечатление человека, неспособного на фальшиво рассчитанный жест, — человека, который, конечно, может заблудиться, но не может споткнуться. Он никогда не бывает резок, но всегда подавляет. Многие утверждают, что он их гипнотизирует. Во всех деталях это господин средних способностей, но в целом это большая фигура, большая личность, которой нужны большие рычаги, — может быть, не талантливая, но, может быть, гениальная. Его день распределен с утра до ночи, он работает, как вол, и страдает болезнью сердца; делегаты его боготворят, старый скептик Нордау называет себя его оруженосцем, и даже оппозиция, даже фракционеры твердо заявляют, что «у нас нет пока другого доктора Герцля».

Из речи, которой Герцль открыл VI конгресс, — эта речь составит, быть может, поворотную точку в истории еврейского народа — привожу главное, опуская общий очерк положения евреев в диаспоре и упоминание о жертвах последнего погрома, которое конгресс выслушал стоя.

— Со времени пятого конгресса, — заявил затем Герцль, — я был два раза призван к его величеству султану и вынес убеждение о благоволении его к еврейскому народу. Однако переговоры наши не привели к практическим результатам, ибо я не считал возможным отступить от точного смысла базельской программы. Тогда мы при содействии британского кабинета вступили в сношения с правительством египетского

хедива¹ о приобретении местности Вад-Эль-Ариш на Синайском полуострове. Комиссия, составленная из инженера Кесслера, архитектора Марморема, полковника Гольдсмида, инж. Стивенса, проф. Лорана, д-ра З. Соскина, д-ра Гиллеля Иоффе и представителя египетского правительства мистера Гемфриса, изучив территорию, пришла, однако, к выводу, что она для колонизации не подходит по недостатку воды.

Тогда британское правительство по собственной инициативе предложило нам обширную местность в английской Восточной Африке для устройства там еврейского поселения с еврейским правительством и еврейским президентом, под протекторатом Англии.

Глубоко признательные британскому правительству, мы, однако, заявили, что должны передать это предложение конгрессу, которому будет принадлежать право окончательного ответа. Я полагаю, что колонизация Восточной Африки на таких условиях несколько не поколеблет принятого нами принципа — в Палестину, страну отцов наших. Но, во всяком случае, каково бы ни было решение конгресса, мы не преминем выразить глубокую благодарность английскому правительству за его предложение...

В самое последнее время ввиду известных распоряжений русского правительства я счел своей обязанностью посетить Петербург и вынес впечатление, которое считаю благоприятным. Должен сообщить, что я в этом случае говорил не только как сионист, но и как еврей, и получил уверения, что в положении русских евреев можно ожидать некоторых перемен к лучшему. Относительно же сионизма было мне сказано, что это движение не встретит со стороны русского правительства никаких препятствий, если сохранит, как до сих пор, характер законности и спокойствия.

Наконец, русское правительство выразило готовность поддерживать своим влиянием пред султаном наши хлопоты о приобретении Палестины.

Теперь перед нами дорога открыта. Есть люди, которые найдут, что помощь держав вызывается враждою к нам, желанием от нас избавиться. Если это так, то мы дадим на это ответ в будущем, в нашей стране — и ответ наш будет заключаться в новом возвышенном духовном творчестве.

¹ Вице-султана Египта (от перс. «господин», «государь»).



VI конгресс очутился перед реальным событием огромной важности. Предложение британского правительства есть первое в истории еврейского скитальчества официальное признание национального единства и национальных прав еврейской народности. Этим предложением бесследно отметаются прочь все возражения о неосуществимости еврейского государства. Но Ost-Africa не Палестина и не Сион; и теперь пред конгрессом стоит тяжелый выбор. Отказаться ли от Сиона, о котором в базельской программе сказано: «Сионизм добивается создания для евреев правоохраненного убежища в *Палестине*», пожертвовать ли вековой традицией ради близкой практической удачи — или отклонить великодушное предложение и продолжать борьбу за Святую землю.

Из среды конгресса выбрана комиссия, которой будут предъявлены все документы и все данные о том, насколько эта местность пригодна для колонизации. Но и в том случае, если она окажется подходящей, не сочтется ли принятие предложения за крах сионизма как такового? Не отхлынут ли массы, донныне с надеждой прислушивавшиеся к успехам движения? Удастся ли объединить народ вокруг простого слова «колонизация» так же прочно, как он начал объединяться вокруг знаменательного имени «Сион»? Не поведет ли этот огромный успех к большому неудаче?

С другой стороны, вероятность приобретения Палестины все растет. Султан вызывал Герцля к себе; германский император уже имел случай выразить движению свое сочувствие; теперь и русское правительство, которое считалось главным препятствием на пути к Святой земле, выражает готовность содействия. К этому присоединяются все увеличивающиеся денежные затруднения Турции, требующие многих миллионов для оттоманской казны; и в то же время есть основания думать, что эти миллионы — 240 000 000 франков наследства барона Гирша, принадлежащие так называемому «JCA», Jüdische Coloniale Association, — не откажутся перейти на службу к сионизму, как только сионизм предъявит действительные результаты своих первых усилий.

Перед VI конгрессом трудная задача, даже загадка, а не задача. От того, как он ее разгадает, будет зависеть, быть может,

судьба 11 миллионов. Мы накануне решения, которое может привести к торжеству и спасению еврейского народа, — может и наоборот...



После перерыва, при лампах, началась борьба между Герцлем и его врагами, которая тянулась оба дня.

Говорил Дэвис Тритш, основатель колонизационного общества «Шаарей-Цион», т. е. Врата Сиона. Тритш был всегда сторонником заселения не одной Палестины, но и близлежащих местностей — Кипра и Вад-Эль-Ариша; за это его страшно освистали на третьем и на пятом конгрессах. Теперь, на шестом, Герцль громогласно заявил о Восточной Африке, которую уже нельзя рассматривать даже как «врата» Сиона, потому что это совсем далеко от Палестины, но свисту, конечно, не было. Сказано: *quod licet Jovi...*¹

Тритш — господин с баками, благообразного и уравновешенного вида, в золотых очках. Говорит плавно, медленно, томительно и настойчиво, назидательно помавая карандашиком. Впечатление *d'un cataplasma*², как говорят итальянцы, — человека-пластыря, который не вцепляется, но прилипает.

Тритш говорил:

— Мне свистали за то, что я говорил о Вад-Эль-Арише, ибо этого нет в базельской программе; теперь, оказывается, что д-р Герцль тоже хлопотал о Вад-Эль-Арише. Ему можно? Он нашел, что Вад-Эль-Ариш не подходит для заселения; я же вам говорю, что вполне подходит, ибо там за сто лет население возросло с 1000 человек до 5000. Нельзя пренебрегать таким участком, пока нет лучшего. Я стою за колонизацию местностей, прилегающих к Палестине, — за «великую» Палестину. Я предлагаю назначить новую комиссию по вопросу о Вад-Эль-Арише, потому что д-ру Герцлю не удалось добиться уступки этой земли, хотя он и распространял слухи о полном успехе...

Крики:

— Кто вам это сказал?

Тритш выжидает, пока не становится тихо, и, плавно и медленно помавая карандашиком, сообщает, что сказал ему об этом д-р Клее, член малого *Aktions-Comité*, и затем продолжает:

¹ Что дозволено Юпитеру [то не дозволено быку]... (*лат.*)

² Пластырь (*итал.*).

— Из всего этого я заключаю, что доктор Герцль избрал очень неправильный способ вести наше политическое дело. Он искал далеко, в Восточной Африке, и ничего не нашел; дайте мне и моим друзьям те средства, которые вы даете Герцлю, и мы найдем землю гораздо ближе.

Речь Дэвиса Тритша ежеминутно прерывается шумом большинства и криками «довольно!» Герцль, передав председательский молоток Нордау, сидит внизу, за кафедрой, и внимательно слушает. После Тритша на кафедре появляется д-р Клее, веселенький, франтоватый и чернявый, и в иронической форме объявляет, что он г-ну Тритшу ничего определенного не говорил. Тритш явился к нему с предложением передать колонизацию Вад-Эль-Ариша, если он будет приобретен, обществу, устроенному им, Тритшем; Клее же ответил ему на это так:

— Мы еще ничего не добились; но если бы добились, то это был бы такой успех, что мы уж во всяком случае менее всего согласились бы отдать его в руки общества, устроенного вами...

Трибуна, где сидят «чины», злорадно хохочет, кроме русских уполномоченных, которые одни еще не целиком подпали под влияние Герцля. Сам Герцль подымается на кафедру среди урагана аплодисментов и начинает, среди напряженного внимания, свою защиту.

— Д-р Тритш находит, что у меня неправильный способ вести общественные дела, и винит меня в том, что я пускал слухи о Вад-Эль-Арише. Клее уже объяснил, насколько это верно; я еще напомню, что слухи о Вад-Эль-Арише были пущены не нами, а Тритшем, который напечатал об этом, никем не прошенный, несколько статей и сам же их и распространял. Неудачу с Вад-Эль-Аришем он приписывает нашей неумелости и просит передать дело ему и его друзьям. Я вообще не сомневаюсь, что в этой критике г-ном Тритшем руководят личные мотивы; но могу сообщить вам, что по поводу Эль-Ариша мы не ограничились одной справкой о том, что там население за сто лет возросло с 1000 до 5000 душ, а послали комиссию, в которой были такие специалисты, как Стивенс и Лоран, что мы собрали целую литературу об Эль-Арише и оставили его потому, что признали неподходящим. Вот наш «способ вести дело». А теперь я познакомлю вас со «способом» г-на Тритша.

И Герцль читает протокол, составленный в Вене в июне этого года в присутствии лиц, находившихся здесь же на конгрессе, и содержащий рассказ румынской еврейки о том, как

шесть лет тому назад д-р Тритш уговорил несколько румынских семейств эмигрировать на остров Кипр, обещая, что там им будет хорошо. Они продали свое имущество, конечно, с убытком, и поехали. Уже в Пирее они застряли без денег и руководителя; наконец, некоторые из них добрались до Кипра, где снискивали пропитание рубкой дров и жили впроголодь. В конце концов они вернулись обратно, схоронив на Кипре 15 человек; женщина, рассказавшая об этом, потеряла там мужа.

Голос Герцля слегка повышается; тон, все время эпически спокойный, переходит в оттенок сарказма:

— Спасибо, д-р Тритш, за поучительное указание на мой «способ»; но я думаю, что именно ваш «способ» вести дело есть поистине в высшей степени «неправильный способ». Говорю вам это серьезно.

И Герцль сходит с кафедры опять среди бури рукоплеканий. Тритш хочет отвечать, публика протестует; Герцль требует, чтобы Тритша выслушали. Тритшу дают слово, он что-то говорит, но общее впечатление то, что Тритш уничтожен...

Весь этот инцидент произошел, конечно, совершенно незаконно. После Тритша были записаны другие ораторы, а не Клее и не Герцль. Но Герцль, очевидно, хорошо знал, какое брожение против его властной руки идет в глубине оппозиции, и решил покончить. Это был спектакль, и я даю о нем отчет как рецензент. Свою роль Герцль провел классически: ни одного лишнего слова, ни одной резкости, ни одной неверной ноты в голосе.



Второе действие было сыграно на другой день. Заседание открылось речью Макса Нордау, которая показалась мне малопримечательной; затем продолжались общие прения. Кое-кто, особенно из левого крыла, осторожно критиковал, большинство высказывалось за полное одобрение действий Герцля и исполнительного комитета. Потом, после перерыва, выступил, в качестве *pendant*'a¹ к Тритшу, Альфред Носсиг.

Альфред Носсиг — известный скульптор и писатель, издатель монографии «*Jüdische Statistik*». Речь его была довольно бледна, но в ней опять-таки был личный привкус. Дело в том, что

¹ Здесь: в качестве пары (*фр.*).

за два дня до конгресса Носсиг объявил, что будет читать реферат «Баланс сионизма». Собралось очень много публики, но как только Носсиг произнес по адресу Нордау и Герцля термин «нахальство», немецкие делегаты заревели, и поднялся скандал. Реферат был сорван, и Носсиг перенес его — в смягченном виде — на конгресс.

— Нас не могут не интересоваться личности, — заявил он, — которые стоят во главе движения.

Герцль опять сидел внизу и внимательно слушал, зал опять ежеминутно прерывал Носсига, и Герцлю приходилось отстаивать свободу слова. Впрочем, критика Носсига была, повторяю, и слаба, и бледна. После него говорили фракционеры, говорили против исполнительного комитета, но при этом оговаривались:

— Есть оппозиция и оппозиция. Мы не входим в обсуждение, насколько господами Носсигом и Тритшем руководят личные мотивы, но считаем нужным заявить, что к той оппозиции, которую представляют эти два господина, мы не принадлежим.

Вечером Герцль отвечал на все вопросы, заданные ораторами исполнительному комитету. На новые запросы об Эль-Арише он объяснил, что тамошнему безводью ничем нельзя помочь: дожди бывают лишь в течение нескольких часов в году. Если бы даже можно было, затратив колоссальные деньги, провести под Суэцким каналом воду из Нила, то правительство хедива не сочло бы возможным пожертвовать таким количеством воды, необходимой самому Египту.

— Повторять же попытки колонизации без всестороннего обеспечения их успешности, — сказал он, — значило бы передавать людей на волю судьбы. Многолетний опыт мелкой колонизации, производившейся нашими богачами, доказал ее неприменимость, и чтобы вновь призывать нас к ней, нужно быть г-ном Тритшем, который считает себя, очевидно, бароном Гиршем без денег и без денег хочет сделать то, что Гиршу не удалось с деньгами.

Голос из толпы:

— Вы тоже барон Гирш без денег!

Герцль:

— Я всегда и говорил, что сионизм победит не деньгами, а национальным движением. Но могу вам сообщить, что обще-

ство «ЖСА» выразило готовность содействовать нам, как только мы предъявим основательную почву для соглашения.

Аплодисменты.

— А теперь, — говорит Герцль, — несколько последних слов о той критике, которая направлена лично против меня. Я ничего не могу иметь против критики, но не против такой, какую представляют г-да Носсиг и Тритш. Первый из них пять недель тому назад вступил в нашу организацию. Мы рады каждому новому товарищу и не делаем разницы между старыми и новыми работниками; но если человек, только пришедший, ничего еще не сделав, начинает с личных нападок на представителей движения, то задается вопрос: не для того ли он и пришел, чтобы внести раздор? Второй из них учит меня, как надо брать на себя ответственность, в то время как сам не сумел взять на себя ответственность не то чтобы за такое гигантское движение, как наше, а за простое переселение нескольких бедных семейств. И когда эти семейства голодали, г-н Тритш ступевался и теперь выплыл здесь, на кафедре конгресса, чтобы с нее поучать нас, как надо вести дело. Счастье ваше, г-да Тритш и Носсиг, что вы нападали на меня. Только потому, что это касалось меня, вы могли говорить до конца; если бы дело шло не обо мне, вы не занимали бы так долго нашей кафедры, предназначенной для других целей... *Jetzt, glaube ich, sind wir mit diesen Herren fertig!*¹

Зал, конечно, оглушительно загремел, точно подтверждая, что *fertig*. Впрочем, я лично уверен, что по крайней мере один из этих двух, Дэвис Тритш, через два года, на седьмом конгрессе, опять появится на кафедре, опять возьмет карандашик в руки и, помавая им, начнет медленно и плавно:

— *Meine Damen und Herren?*²...

После этого отчет комитета был шумно утвержден, и мы разошлись.

Я изложил эти два дня как частную борьбу Герцля против его недругов, потому что эти два дня главным образом имели такое значение. Все остальное явно ступевывалось перед этой борьбой, которой Герцль, как видно, решил раз навсегда расчистить перед собой дорогу. Несомненно, за кулисами

¹ Теперь, я полагаю, мы с этими господами разобрались (нем.).

² Дамы и господа (нем.).

своей деятельности Герцлю приходится преодолевать большое трение со стороны этой личной оппозиции; только этим и объясняется, почему он выказал в этой схватке столько вежливой жестокости, такое поистине мастерское умение уничтожить.

Владимир Жаботинский

Одесские новости. 19.08.1903



Базельские впечатления

II. «МИЗРАХИ»

15(28) августа

Ортодоксальные «мизрахи» собрались в том же «малом зале» конгресса, где состоялось и заседание «Ibria». Об этой партии создавалась заранее целая мифология. Говорили, что их прибыло больше ста человек, все в долгополых капотах и ермолках на макушке, все строго дисциплинированные приказом: «когда раввин Райнес подымет руку, подымайте руки все!» Говорили, что на свою Vorkonferenz¹ они не допустят дам, а мужчин заставят надеть шляпы на головы; говорили, что они явились сюда с целью не допустить свободомыслия и пакостить свободомыслящим элементам и прочая и прочая. Вся эта мифология мифологией и оказалась. Действительно, их около ста человек, и большинство, действительно, в капотах и ермолках, и дисциплина у них, действительно, образцовая, но все остальное совсем не так страшно, как говорилось заранее.

Впрочем, прежде чем заговорить о собрании «мизрахи», надо сказать несколько слов о совещании группы так называемых «чисто политических» сионистов, которое имело ближайшее отношение к собранию «мизрахи», так как на последнем д-р Пасманник, один из «чисто политических», предложил ортодоксам коалицию со своей группой.

Для непосвященных некоторые подробности. Так называемая базельская программа сионизма включает четыре пункта: планомерную колонизацию Палестины, целесообразную организацию еврейского населения в разных странах, поднятие

¹ Предварительное совещание (нем.).

экономического, физического и духовного уровня евреев и дипломатические действия для получения Палестины и «чартера», т. е. гарантированной автономии. Из этих четырех пунктов каждая отдельная группа сионистов выбрала для себя разные пункты; некоторые больше налегали на «политику», т. е. на организацию и усиление денежных средств, другие — на «культуру», т. е. национальное воспитание, книгоиздательство, лекции и т. д. Приверженцы чистой «политики» находят, что сионистам как таковым незачем тратить силы и средства на всякие «подъемы уровней», когда важнее всего приобрести Палестину; поэтому на предпоследнем (V) конгрессе одессит Авиновичкий, видный лидер этой группы, заявил по адресу одного проектировавшегося сионистского книгоиздательства:

— Alle unsere Sympathien, aber Geld — kein Pfennig!¹

Видя, однако, что все 13 уполномоченных, которым представлено конгрессом руководить сионистским течением в России, продолжают радеть и о культуре, «чисто политические» затеяли раскол, который с особенной резкостью проявился именно в Одессе: одесская группа замыслила даже образовать собственную федерацию с собственным управлением, независимым от 13 уполномоченных. Поэтому с их стороны ждали больших резкостей на конгрессе, несмотря даже на то, что вопрос о «культуре», всегда вызывавший бесплодные раздоры, на этот раз предусмотрительно удален из программы VI конгресса. Однако страхи оказались ошибочными. По крайней мере, в совещании группы «чисто политических» ясно выразилось довольно миролюбивое настроение. Начали с чтения сочувственных писем, полученных в разное время от Герцля, Нордау, Марморека, но в письме Герцля говорилось об *Einheit*², в письме Нордау разъяснялось, что и так все сионисты без исключений — «политические», а в письме Марморека заключался призыв к *Einigung*³; и, соответственно этому, совещание выказало твердое намерение избежать всякого раскола в сионистской организации и ограничилось резолюцией, в которой «отвергаются всякие паллиативы — культурные, экономические и другие» и правоверные приглашаются заниматься

¹ Все наши симпатии, но денег — ни пфеннига! (нем.)

² Единство (нем.).

³ Единение (нем.).

«исключительно такой работой, которая непосредственно должна вести к достижению правоохранного убежища в Палестине»...

Один из журналистов, присутствовавших на этом совещании, обратился к председателю за одним разъяснением, которое в Одессе прочтут, быть может, не без внимания.

— Господа, — спросил он, — позвольте спросить: как же теперь о вас писать? В Одессе вы печатно называли себя «временным комитетом по устройству *федерации* политических сионистов» и таким образом заявляли о желании выделиться из общей организации; здесь вы говорите совсем другое. Здесь вы настаиваете, что не хотите никакого раскола, не желаете обособляться не только в федерацию, но даже во фракцию, даже в группу; один из вас выразился, что вы намерены только представлять «охранный отряд настоящего сионизма». И теперь мы не знаем, как о вас писать: с вашей же легкой руки мы привыкли называть вас «федерацией», но здесь оказывается, что это совсем не входит в ваши намерения... Как же прикажете называть вас?

Председатель ответил:

— Дело в том, что одесские наши товарищи сделали ошибку, предрешив самовольно вопрос о форме, в которую выльется наше направление, и пустив в ход название «федерация». На эту ошибку мы нашим одесским товарищам указали, и они признали ее...

Итак — все хорошо, что хорошо кончается. Опасность раскола оказывается, очевидно, устраненной с этой стороны.

Со стороны «мизрахи», которых тоже побаивались, эту опасность также можно считать устраненной; по крайней мере, в их намерения она не входит — и об этом вслух заявил, открывая заседание, их вождь, старый раввин Райнес из местечка Лиды.

Раввин Райнес — интересный старик. Под его ермолкой скрывается, без сомнения, гораздо больше терпимости и понимания духа времени, чем под иными шляпами набекрень. Мне казалось минутами, что на лице его — когда речи касались партийных усобиц между ортодоксами и свободомыслящими — ясно читался стих из книги «Koheleth»¹: суета сует и всяческая суета. Ты веришь так, я верю иначе; может, и ты в душе не так

¹ «Экклезиаст».

веришь, и я в душе не так верю. Все проходит, меняются течения мысли — остается только вечная тоска бездомного народа, которому нужна родина, и это главное...

Раввин Райнес говорил на жаргоне и, открывая заседание, сказал:

— Пусть не думают, что «мизрахи» затем явились на конгресс, чтобы внести разлад и выжить вон всех других сионистов. «Мизрахи» явились сюда для того, чтобы доказать единение всех слоев еврейского народа в общем стремлении.

В этом собрании произошли два маленьких инцидента, в которых поверхностный наблюдатель увидит, быть может, проявления фанатизма. На меня, признаюсь, они произвели совершенно обратное впечатление.

Первый произошел с доктором Пасманником, представителем «чисто политических», который читал у «мизрахи» доклад о мелкой колонизации, предлагая обеим группам объединиться по этому вопросу. Едва доктор Пасманник произнес вступительные слова, как кто-то из первых рядов сказал:

— Наденьте шляпу.

Гости, которых было очень много, зашумели; сами «мизрахи» — действительно, сидевшие все в шляпах или ермолках, — тоже встrepенулись. Но Пасманник нашелся.

— Господа, — сказал он, — я охотно надену шляпу для того, чтобы выказать свое уважение к этому собранию. Но если вы заставляете меня надеть шляпу для того, чтобы выказать мою набожность, то я не надену.

Любопытно было, что ответят «мизрахи» на эту ересь. И они ответили — рукоплесканиями и очень одобрительными возгласами; и Пасманник надвинул цилиндр на макушку и продолжал свой доклад.

Второй инцидент был вызван гостями, точнее гостьями.

Для не принадлежащих к группе «мизрахи» было отделено место в глубине зала, но они понемногу пробрались вперед. Среди них было несколько дам, которые очутились в самой гуще ортодоксов. Ортодоксы не протестовали, но так как гости и гостьи очень упорно производили шум, то вице-председатель — между прочим, студент бернского университета, но в ермолке — потерял наконец терпение и заявил:

— Обращаю внимание присутствующих на то, что по статутам «мизрахи» дамы не могут занимать места среди мужчин, а потому...

Поднялся шум. Кто-то кричал «*rfui!*», кто-то стучал ногами, кто-то протестовал. Тут встал раввин Райнес и заявил, что его молодой товарищ несколько неправильно истолковал статут: женщины, действительно, должны, по уставу «мизрахи», составлять кружки отдельно от мужчин, но это не относится к гостьям, и т. д.

Как наблюдатель со стороны я вынес из всего этого, повторяю, далеко не тяжелое впечатление. Ведь нет сомнения, что неправильное толкование статута «мизрахи» дал не ретивый вице-председатель, а сам Райнес, потому что устав категорически воспрещает женщинам сидеть между мужчинами. Раввин Райнес сделал натяжку, и эта уступка духу времени, на мой взгляд, так же глубоко характерна, как одобрительные возгласы по поводу еретического заявления Пасманника. Ортодокс не может не быть ортодоксом; но признание чужих убеждений и обычаев наряду со своими — это уже большой шаг вперед от фанатизма.

О самом докладе Пасманника я писать не буду; замечу только, что референт стоял за мелкую колонизацию и склонял, более или менее, к своей точке зрения и «мизрахи», но об этих вопросах я буду говорить полнее, когда на конгрессе дойдет до них очередь. На всех этих предварительных собраниях и совещаниях меня занимала главным образом группировка, физиономия и настроение отдельных элементов, определившихся в сионизме, тем более что в этом году опасались больших раздоров на конгрессе. Но я вынес отовсюду то несомненное впечатление, что, по крайней мере, добрые желания всех этих групп направлены не к раздору, а к единению. Даже пресловутая молодая фракция, *enfant terrible*¹ более пожилых и оседлых сионистов, настроена миролюбиво, и в ее совещаниях действительно указывалось на то, что фракционная программа уместна вне конгресса, но не на конгрессе, где роль фракции ограничивается умеренной оппозицией. Совместно с некоторыми делегатами без определенного ярлыка фракция образовала «левое крыло», которое будет на конгрессе поддерживать некоторые практические требования: назначение жалованья уполномоченным, большую терпимость со стороны редакции официальной газеты «Welt» и т. д.

¹ Несносный ребенок (*фр.*).

В конце концов, конечно, единения не будет, да оно и не нужно; а будет именно то, что нужно — более или менее мирное сотрудничество. Возникновение отдельных течений в сионизме не есть явление беспочвенное: оно вызвано потребностями жизни. Кто привлек бы к сионизму фанатические массы литовских местечек? Герцль и Нордау для них — эпикурейцы, которые едят трепное и с которыми нельзя иметь ничего общего. Только благодаря посредничеству «мизрахи» к движению, организованному интеллигенцией, начинают примыкать низшие слои населения, но точно так же нужно особое посредничество и для привлечения интеллигентной свободомыслящей молодежи. «Мизрахи» полезны на своем месте, фракция на своем, «чисто политические» на своем...

Само собой, вопрос о «культуре» не так прост, как уверяют последние. Несомненно, главная задача — добиться земли, но отказаться от «культуры» значило бы внушить массам, что сионисты только берут у них силы и средства, но ничего пока им не дают. В самом деле, до тех пор пока не будет земли, сионисты ничего не могут дать массе, если не дадут ей школы, книги, читальни, лекции, т. е. именно того, что понимается под словом «культура», и им придется, действительно, только брать у населения деньги да рекомендовать терпеливое ожидание — с риском, что «культуру» вместо сионистов дадут недруги сионизма. Это было бы непростительно, не говоря уже о том, что иные «культурные» предприятия — например, университет в Палестине, за который ратует лидер молодой фракции д-р Вейцман и против которого отчаянно ратуют «чисто политические», имели бы прямо крупное политическое значение. Тем не менее «чисто политические», при всей их односторонности, являются очень полезным элементом как предостережение от чрезмерных культуртрегерских увлечений, как постоянное напоминание о главной практической цели.

Единственное, что в этих течениях нехорошо, — что каждое из них больше старается очернить чужую программу, чем активно развить свою. Пережиток прошлого столетия, осколки старой нетерпимости, учившей, будто нельзя спокойно дуть в свою дудку, не изрыгая хулы на дудку соседа. Не в том успех, чтобы отбить клиентов у соперника, а в том, чтобы нанять себе собственных.

Мудрый выбирает середину, говорили в старину. В настоящее время следовало бы сказать: мудрый остается свободным. Не приписываясь ни к какой роте, не предпреляя ничего зара-

нее, он упрямо и трезво в каждую данную минуту выбирает то средство, которое лучше ведет к цели, и идет своей дорогой, не оглядываясь ни направо, ни налево, никому не стараясь понравиться, твердо замкнувшись в героическом эгоизме, руководимый одним принципом: во что бы то ни стало...

Владимир Жаботинский

Одесские новости. 20.08.1903



Базельские впечатления

III. ГЕРЦЛЬ И NEINSAGER'Ы¹

Базель, 28 августа

Чем больше я думаю об этой Ост-Африке, тем глубже понимаю трагизм этого момента.

Собственно говоря, здесь столкнулся русский сионист с западноевропейским или, вернее, восточный еврей с западным. Западнему еврею живется более или менее сносно. Гром не грянет, мужик не перекрестится; только в беде люди вспоминают об идеалах. Это, конечно, не значит, что идеал есть нечто отрицательное, рецепт бегства: это просто означает то, что сытый черствеет. Еврейское простонародье, которого на Западе мало, в разных смыслах более или менее сыто; памятуя доброе старое время, оно довольствуется этой сытостью и старается делать поменьше шума. Но далеко не сыт западноевропейский еврейский интеллигент. Я считаю даже, что он в известном смысле голоднее восточного интеллигента.

Западные делегаты почти все люди с высшим образованием; среди делегатов из России гораздо ярче выступает элемент простой и даже простонародный. Сионизм на западе есть движение докторов философии, сионизм на востоке есть движение масс. А докторам философии не до Иерусалима. Им нужна просто территория — по возможности удобная, — где можно было бы чувствовать себя первого разряда «гражданином», как выразился здесь Нордау. Что касается до духовной связи с Палестиной, то доктора философии достаточно скептики, достаточно самоуверенны и поверхностны, чтобы считать все это баснями и мечтательством. Конечно, будь Палестина под рукой,

¹ Отрицатели; голосующие против (нем.).

они предпочли бы ее Африке; но если бы им предложили на выбор заселить на автономных началах или Висбаден, или Иерусалим, — кто знает...

В России другой сионизм. Я считаю Россию удивительной страной: здесь живут лучшие из славян и лучшие из евреев. Лучшие в том смысле, что наиболее сильные, наименее покорившиеся той покорностью, которую Ахад-Гаам назвал у западных «израэлитов» рабством в свободе. Оттого именно, что еврейской массе в России особенно тесно, оттого ее желания и мечты — под внешней безнадежностью — особенно смелы. Гадкий паразит на теле цивилизации — дешевый скептицизм — еще не проточил насквозь ее первобытной наивности, и в глубине души она верит в пророчество в полном объеме: в настоящий Сион, что в Палестине, — в землю, которая была землею дедов наших и будет землею наших детей.

Первая книжка Герцля называлась не «Сион», а «Еврейское государство». Герцль выступил территориалистом. Но на его призыв отозвались палестинофилы, и так как в то время все равно никакой другой земли в виду не было, Палестина, без большого сопротивления, была введена в базельскую программу. Но едва оказалось, что есть другая страна, легче доступная, — замазанная трещина проявилась. Доктора философии приосанились и вспомнили, что им, собственно говоря, наплевать. Палестина никогда не входила в их мировоззрение. Им нужно еврейское государство, и баста. Всего этого я не отношу к Герцлю, — но о Герцле ниже.

Доктора философии приосанились, и за ними пошла определенная часть делегатов от востока, — та часть, которая ближе подходила к ним по общему настроению. Пошли «чисто политические», которые давно заявили, что национальная культура — дело третьестепенное и даже совсем неважное. Пошли несколько буржуев буржуйского вероисповедания, которые и прежде «вообще не понимали, при чем тут Палестина», и смотрели на все движение сквозь старые филантропические очки, не постигая, что здесь люди хлопочут не о новом когановском здании дешевых квартир, а о целом возрождении. Пошли «мизрахи», ибо вообще никогда не сомневались, что в Сион поведет не Герцль, не пробужденное им народное движение, а Мессия, на белом коне и с трубой, как обещано; а что касается Герцля, то ежели он поможет нескольким тысячам эмигрантов сносно устроиться в Африке — и за то спасибо...

Только те, кто пришел на конгресс выразителем настроения массы, настоящей скорбящей массы, те только устояли. Устояли делегаты от ремесленников, от приказчиков, от рабочих; устояла студенческая молодежь, потому что молодежь всюду и всегда носит в себе разгаданную идеологию народа. Эта молодежь выработала себе — худо ли, хорошо ли — целое мировоззрение научного национализма, в которое Сион входил краеугольным камнем. Устояли семь уполномоченных, люди чуткие и вдумчивые, близкие к этой молодежи, ибо еще недалеко отошедшие от молодости, и через эту близость родственные массе.

Я, конечно, знаю, что до сих пор едва ли один процент еврейского населения в России платит шекельный сбор, то есть принадлежит к сионистской организации. Но мне кажется, тем не менее, неоспоримым наше право рассматривать сионизм — палестинский, а не африканский сионизм — как настроение массы, как эманацию народного стремления и народной воли. Масса молчалива, она не говорит, но думает, и сионизм угадал именно то, что она думает. Да и не трудно было угадать. Во дни скорби, на чужбине, о чем могут мечтать люди, как не о родине, воспетой и благословенной во всех божиих книгах, одаренной чудесными сказаниями, хранящей развалины святынь, данной пращурам, отнятой у дедов и обетованной внукам? Надо *не хотеть* понять, чтобы не понять необходимости, неизбежной стихийной необходимости этой народной мечты.

И оттого именно, что она стихийна, удар, ей нанесенный, так больно отозвался на ее поборниках. Выход из залы после голосования, действительно, не был демонстрацией. Уговору не было. Как древние от большого горя или большого стыда закутывали голову плащами, так эти Neinsager'ы (здесь им дали такое прозвище) сразу почувствовали необходимость уйти от этих чужих людей, спрятать свое горе. Они плакали от того же, от чего за трое суток до этого дня ходили, как сами не свои, с тяжелым беспокойством в душе, как сказал Членов: «в сердце моем грубо дотронулись до чего-то такого, до чего нельзя было, не надо было дотрагиваться...»

Были там люди, много поработавшие для сионизма и, во всяком случае, тесно сжившиеся с этой надеждой. Они уже так реально любили Палестину и твердо верили, что при жизни ступят гражданами на ее почву. Если бы еще двадцать лет подряд султан отсылал Герцля ни с чем, они только говорили бы

себе: это не беда, авось следующая попытка удастся, а пока будем работать. Но часто тех, кого не пугают неудачи, пугает соблазн. В ту минуту, когда перед ними ясно предстала угроза соблазна, опасность измены, — они почувствовали боль, которую всякий, испытавший ее в тот день вместе с ними, смело назовет невыносимой. Это было невыносимо, потому что было ясно, как легко многие и слишком многие из самой массы, гонимые нуждой, согласятся оторвать лучшую половину своей стихийной мечты и помириться, так сказать, на гривенник за рубль. Для людей, сросшихся с мыслью о Палестине, почти физически уже дышавших ее воздухом, это было невыносимо. Ибо, я думаю, тяжело сносить удары судьбы, но еще больнее и тяжелее, если даже улыбка судьбы является ударом, если даже удача грозит разбить надолго что-то такое, «до чего не надо было дотрагиваться».

Вдумайтесь, если можете, в трагедию племени, дети которого должны плакать на лестнице в день своего первого за 18 веков, политического успеха.



Вечером того дня Neinsager'ы собрались на совещание. Посторонних и Jasager'ов¹ не впускали, пустили только Герцля, который заявил желание объясниться, да Зангвиля, который хотя и ответил на голосовании «да», но был сильно потрясен всем этим событием.

До прихода Герцля говорили уполномоченные: Темкин, Коган-Бернштейн, Якобсон. Делаю сводку того, что они выяснили.

— Когда нам, в собрании большого Aktions-Comité, прочли формулу резолюции о комиссии и экспедиции, мы стали настаивать на изменениях. Мы требовали, чтобы экспедиция не была отправлена без предварительного созыва большого Aktions-Comité и чтобы точно так же, по возвращении экспедиции, результаты ее были предъявлены большому А.-С. до созыва специального конгресса. Герцль ответил, что это неудобно, и за ним большинство совещания тоже повторило, что это неудобно. Тогда мы заявили, что будем вотировать на конгрессе против этой формулы. Герцль ответил, что это будет давлением с нашей стороны на делегатов из России, и тут же большинство голосов решило, что члены Aktions-Comité не будут отдельно

¹ Людей, со всем соглашающихся (нем.).

вотировать. Тогда мы потребовали, чтобы заявление о нашем несогласии было прочитано до голосования; Герцль ответил, что это неудобно и что он может прочесть заявление только после голосования...

— Нам пришлось подчиниться. Мы, конечно, могли до начала голосования встать и демонстративно сойти, все семеро, с трибуны. Может быть, это и был наш долг; может быть, мы этим и перетянули бы большинство на сторону «*nein*»¹. Но мы считали, что это было бы некорректно, что это было бы именно явным давлением на вашу свободную волю. Оттого мы остались на трибуне и не протестовали.

— Если мы после всего поднялись и ушли, это не было демонстрацией; мы не сговаривались заранее между собою. Это вышло непроизвольно, и так оно и должно быть заявлено конгрессу, в который мы, конечно, завтра вернемся, потому что единство организации для нас должно быть дороже всего.

— Что касается до нас, уполномоченных, то нам, я думаю, надо выйти из состава А. С. Наша роль как членов большого исполнительного комитета вообще всегда сводилась почти к пустой фикции. Вы знаете Герцля; как личность редкой силы он подчиняет всех вокруг себя своему влиянию, и протест меньшинства бессилеи что-нибудь изменить. Теперь же, после всего, что произошло, нам прямо неудобно оставаться в *Aktions-Comité*; выберите других уполномоченных...

После уполномоченных говорил одессит Дизенгоф.

— По-моему, — сказал он, — надо, не теряя головы, поправить, что можно. Во-первых, наши уполномоченные должны остаться в большом *Aktions-Comité*. Во-вторых, в малый *Aktions-Comité* надо тоже провести кого-нибудь из наших, а то с немцами Герцль делает, что ему угодно. Затем надо добиться следующих поправок к сегодняшней резолюции: деньги на экспедицию не могут быть взяты из шекельных сумм; большой А. С. должен быть созван и до отправления экспедиции, и по ее возвращении. А потом, когда будем говорить о национальном фонде, надо добиться, чтобы конгресс принял решение начать закупку земли в Палестине сейчас же, не дожидаясь накопления пяти миллионов франков. Все это пока создаст достаточный противовес Ост-Африке, а там — посмотрим, чья возьмет...

¹ «Нет» (нем.).

Явился Герцль. Зная нашу публику, председательствовавший адвокат Розенбаум предупредил ее, что теперь неудобно встречать «кого бы то ни было» аплодисментами; и я полагаю, что, несмотря на все искреннее огорчение, для многих это предостережение пришлось кстати. По крайней мере, при входе Герцля они усердно зашикали друг на друга, точно боясь, что кто-нибудь вот-вот прорвется и захлопает под привычным гипнозом. Герцль понял смысл этого взаимного «цыц!», чуть-чуть улыбнулся, чуть-чуть вскинул глазами на публику, протеснился к столу и сел рядом с председателем на чье-то волшебным образом освободившееся место.

Уверяют, что внешность этого человека играет большую роль в том обаянии, которым он, несомненно, пользуется. Не берусь судить, насколько это правда; думаю, впрочем, — и я об этом уже писал, — что секрет его силы лежит не в одной какой-нибудь его особенности, а во всем ансамбле его натуры, которая вся как-то прилажена так, что нет ничего лишнего и ничего недостающего. В этот ансамбль входит, конечно, и внешность; во всяком случае, эта внешность замечательная, хороший образчик того типа, который лучше всего передается латинским словом *vir*¹. Герцль это знает и, как всякий крепко уверенный в себе человек, или не позволяет себе, или не дает себе труда кокетничать.

Все это меня очень занимало именно здесь. Повторяю: личность Герцля — карта, на которую сионизмом поставлена огромная ставка, и не интересоваться этой личностью тому, кто интересуется сионизмом, немислимо. Именно здесь, куда он явился без фрака, без молотка и трибуны и всей той помпы, которая на конгрессе отделяет его от публики, явился просто как делегат от одного из кишиневских кружков объясняться и чуть ли не оправдываться, — именно здесь меня до любопытства интересовало, как он будет держать себя, какими средствами будет подчинять себе слушателей, не собьется ли с тона, не споткнется ли.

Он попросил, чтобы ему передали, что здесь говорилось до него. Когда ему сообщили о предложении Дизенгофа — ввести в малый А. С. кого-нибудь из Neinsager'ов, он опять вскинул глазами и наполовину резко, наполовину иронически спросил: — Надзирателя?

¹ Здесь: настоящий мужчина (лат.).

Потом встал, попросил, чтобы было тихо, и произнес речь, которой я не записал и попробую передать так, как помню.

— Я нахожу, — начал он, — что ваше заявление о недемонстративном характере вашего ухода из зала доказывает известную политическую зрелость. Я подумал было там, на конгрессе, что это демонстрация, и хотел так же игнорировать ее, как игнорировал на прошлом конгрессе массовый уход фракции. Но мне прибежали сказать: эти люди там плачут! Тогда я понял, что вы не демонстрировали, а ушли по невольному движению, потому что вам почудилось нарушение базельской программы. Оттого я и пришел к вам объяснить. Это недоразумение. Базельская программа остается неприкосновенной и цельной.

Я был в этом году в Константинополе; я был там гостем султана. Султан умеет принимать гостей: он дает им дворцовые экипажи и дворцовые ялики для переезда в Ильдыз-Киоск; он дает им ордена и осыпает их любезностями. Все это, может быть, оглушило и отуманило бы кого-нибудь другого; я же всмотрелся в этот туман и сказал себе:

— Эти люди хотят меня перехитрить. Здесь я ничего не добьюсь.

Конечно, если бы я мог привезти с собою большие суммы, тогда, может быть, на меня посмотрели бы иначе. Но по этому поводу я вспомнил одну старую историю. Это было в 1901 году. Я тогда тоже был в Константинополе и увидел, что момент удобный и что, имея 15 миллионов, можно добиться чартера. Тогда я поехал в Лондон и заявил об этом, и сочувствующие раскупили акции нашего банка ровно на 80 тыс. Восемьдесят тысяч вместо 15 миллионов. Понимаете? Когда на такие призывы дают *такие* ответы, тогда надо все-таки быть сдержаннее в критике, чем это принято в нашей организации.

Таково мое положение. Денег вы мне не даете. Остается дипломатия; но ведь я увидел за эти последние два дня, как вы мне помогаете, как вы меня поддерживаете в моих дипломатических попытках!

Я обдумал в этот последний приезд в Константинополь все шансы за и против и сказал себе: терпение, попытаемся в другом месте. И тогда я начал переговоры о Вад-Эль-Арише, который когда-то считался частью Палестины. Переговоры шли удачно, но сам Эль-Ариш оказался неподходящим. Я был потрясен. Тогда английское правительство само предложило мне Ост-Африку.

Господа, вы простите мне, быть может, преувеличенную оценку этого шага, но я старый поклонник английского народа. Это предложение тронуло меня до глубины души. Это был прекрасный поступок, на который способна только культурнейшая из наций. Я хорошо понимаю психологию этого поступка, и оттого его красота только выигрывает в моих глазах. Я понимаю, что Англия, вынужденная теперь закрыть доступ в королевство еврейской эмиграции, глубоко чувствовала, как этот образ действий противоречит старинному и священному праву убежища, которым Англия всегда гордилась. И она сочла своим долгом предложить еврейскому народу компенсацию; и форма этой компенсации явилась, говорю вам, историческим моментом, эпохой в летописи нашего народа, фактом, на который отныне мы можем сослаться как на неопровержимое доказательство нашего национального значения.

Господа, был уже момент, когда я хотел прийти на конгресс и сказать вам — потому что я не хлопочу о сторонниках и аплодисментах, а говорю всегда прямо то, в чем убежден, — сказать вам: я потерял всякую надежду добиться Палестины! Я уже хотел заявить вам это, и только Нордау уговаривал меня не отчаиваться и выжидать. Он оказался прав: как раз в это время мне пришлось поехать в Петербург, и там я получил обещание, что Россия поддержит нас перед султаном. Это изменило мое настроение: я снова увидел надежду. Правда, благодаря этой поддержке я, вероятно, потеряю половину «дружеского расположения» в Константинополе: прежде гонимый еврей обращался к гонимому турку, а теперь еврей заручился христианским содействием, и турку это не может нравиться. Но не в том дело, буду ли я там по-прежнему ездить в придворной коляске или в наемной, а в том, добьюсь ли я чего-нибудь положительного; и надежда на это, повторяю, опять явилась. И оттого я, открывая конгресс, сказал вам, что мы по-прежнему будем домогаться Сиона. Но неужели из-за этого можно было ответить англичанам форменным отказом даже без рассмотрения их проекта? Не говоря о всем прочем, вы этим шагом поставили бы меня в ужасное положение: никто не захотел бы дальше вести со мною переговоры, раз я не обладаю влиянием даже настолько, чтобы конгресс серьезно изучал получаемые мною предложения...

Я нарушил базельскую программу? Никогда! Не я, а другие сто раз нарушали ее — нарушали, когда выделялись во всякие группы и фракции с совершенно посторонними задачами.

Я же стоял и стою на почве базельской программы, но мне нужно доверие, а не подозрительность, потому что без доверия нельзя быть вождем. И вот что я вам еще скажу. В этом учреждении, которое я создал (позвольте мне сказать это, потому что это правда), в этом учреждении я оставил для себя только одно: возможность во всякую минуту сойти со сцены. Вы можете когда угодно удалить меня; я без ропота вернусь к давно, поверьте, желанному покою частной жизни. Но желаю вам одного: чтобы люди после этого не имели права сказать, что вы несправедливо поняли мои намерения и что вы мне заплатили неблагодарностью...

Герцль говорил, как всегда, спокойно, выразительно, без всяких ораторских приемов, вполне владея собою; в каждом слове слышалась уверенность в себе, и, стоя перед своей оппозицией, он не стеснялся говорить с нею резко и в то же время снисходительно, как власть имеющий, почти как старший с ребенком; были моменты, когда я думал, что сейчас раздадутся протестующие голоса, — но эти голоса не раздавались. С первых фраз его, по тому выражению, которое приняли почти все лица в этом зале, по той особенной тишине, которая сейчас же установилась, я понял все значение исторической фразы Ломоносова:

— Скорее академию можно отставить от меня, чем меня от академии.



Когда Герцль ушел, совещание продолжалось. Направление было практическое: поддерживали и дополняли предложения Дизенгофа, стремясь вырвать у конгресса в виде компенсации за Ост-Африку утверждение немедленной работы в Палестине и для Палестины. Некоторые речи я запомнил.

Говорил один из видных фракционеров:

— Для меня ясно одно: человек, который должен быть нашим вождем, не имеет в душе той искры, которая присутствует у нас всех. Он сердцем не наш. Когда Ахад-Гаам приложит печать, ее уже не сорвешь: Ахад-Гаам был прав — Герцль не наш сердцем. Положение сложилось так, что нам нельзя быть без этого человека. Он должен вести нас, а он не наш; в этом целая трагедия, но мы бессильны ее поправить. Я никогда не был оппортунистом, а теперь я оппортунист, потому что остаюсь в этой организации, которой руководит — и *должен*

руководить — чужой человек, но я не могу уйти, потому что я посвятил всю свою жизнь этому делу и вне сионистской организации — я мертвец...

Затем говорил уполномоченный Членов. Членов не оратор, но никого не слушают здесь среди такой глубокой тишины, как его: у него в голосе какая-то тихая, вдумчивая задушевность, которая невольно заставляет сосредоточиться.

— Товарищи, — сказал он, — обдумаем трезво наше положение. Не надо отчаиваться и падать духом. Я не оптимист и не пессимист. Я знаю Герцля с первого конгресса и говорю вам, что с каждым годом этот человек все больше и больше освобождается от печати ассимиляторского воспитания, все больше научается любить и ценить еврейство не головою только, но и сердцем. Он наш. И среди Jasager'ов были многие, которые после на лестнице плакали вместе с нами; они тоже наши, мы найдем в них, вернувшись на родные места, добрых и верных товарищей в борьбе за Сион. Не падайте духом. Горе, которое мы пережили сегодня, должно укрепить нас. Не в том дело, чтобы практически учесть это горе, получить за него в виде выкупа мелкую колонизацию Палестины или что-нибудь в этом роде; горе не учитывается. Но значение его в том, что сегодня мы, быть может, впервые ясно поняли, как дорог нам Сион, и мы этого никогда не забудем. Ради Сиона сплотитесь воедино, не дробите нашего движения, не допускайте раскола. Мы завтра вернемся в зал конгресса и сохраним единство организации, чтобы работать по-прежнему для достижения Палестины. Мы ведь и раньше смотрели на движение не совсем так, как доктор Герцль: мы видели залог успеха не в одной дипломатии, а прежде всего в укреплении сознательного народного стремления к Сиону. Эта задача остается перед нами и после шестого конгресса; будем же работать...

После Членова говорил уполномоченный Коган-Бернштейн:

— Я не вижу для нас ни возможности, ни смысла уйти из организации. Мы должны остаться, и Герцль должен остаться. Наше движение возникло из народного духа, но, по многим своим особенностям, оно не может развиваться без вождя, а для роли вождя, вы сами знаете, у нас нет пока другого человека. Ахад-Гаам упрекал нас в негритянском фетишизме перед Герцлем; если это, с внешней стороны, и правда, то не забывайте, что фетишизм есть уже первая ступень культуры — стадия, через которую надо пройти, чтобы двинуться дальше. Вызвать

раскол в организации значило бы сдаться. Мы должны вернуться на конгресс и продолжать работу...

Совещание постановило: вернуться на конгресс; прочесть заявление, что Neinsager'ы считают учреждение комиссии об Ост-Африке несоответствующим базельской программе; добиться созыва большого А. С. до и после экспедиции; добиться назначения комиссии для детального исследования Палестины, с определенным бюджетом; добиться немедленной закупки земли в Палестине из средств национального фонда.

На другой день все это, действительно, было приведено в исполнение.



На этих столбцах несколько раз упоминалось имя Ахад-Гаама. Действительно, минутами казалось, что дух этого публициста витает над шестым конгрессом. Большая публика не знает Ахад-Гаама: он пишет на древнееврейском языке. Здесь не место говорить о нем подробно; скажу только несколько слов именно о данном случае.

В сионизме есть две тенденции. Одну представляет Ахад-Гаам, другую Герцль. Герцль — практик, верующий в историческое значение личности; быть вождем сионизма значит для него главным образом добиваться такой комбинации, которая побудила бы власть имущих уступить еврейскому народу ту землю, которая ему нужна. Ахад-Гаам считает все это фантазией. Он не верит в чудотворное действие переговоров. Он требует медленной систематической работы возрождения еврейского духа; он хочет прежде вывести еврейство из духовного рабства, сделать его сознательным и национально гордым, и только тогда оно сможет реально добиться Палестины, завоевать ее — как сказано в псалме — «не силой, не воинством, а духом». Вся борьба «культуртрегеров» с «чисто политическими» была, собственно, столкновением этих двух тенденций. Теперь они обе особенно ярко выступили наружу: Jasager'ы пошли за Герцлем, Neinsager'ы вспомнили об Ахад-Гааме.

Люди, промышляющие почитыванием книжек, настаивают, конечно, что точка зрения Ахад-Гаама научнее точки зрения Герцля. Я, собственно, мог бы сказать, что обе не «научны». Прочно возродить национальную культуру без предварительного сплочения масс на одной территории — это с «научной» точки зрения все равно, что посеять репу в воздухе. Но я вообще

полагаю, что мерка научности неприменима к политическим вопросам современности; историко-философские теории могут до некоторой степени уяснить прошедшее, но не могут регулировать настоящее. История имеет свои законы, но нам, смотрящим на нее снизу, она еще долго будет казаться сцеплением случайностей. Такая же случайность, какая сегодня отдала Герцлю Ост-Африку, завтра может отдать ему Палестину. Политика есть игра «случайностей», в которой у сильного и умного человека всегда есть, по крайней мере, 50 шансов выиграть — если только он *хочет* выиграть. Я вижу правоту в точке зрения Ахад-Гаама, я вижу правоту в точке зрения Герцля. Я думаю, что один помогает другому, что оба с разных концов жгут одну и ту же свечу — светильник еврейского скитания, — и тем скорее она догорит...

Герцль еще может выиграть Палестину, если только он еще хочет выиграть ее, и вопрос, который не высказан, но который всех наиболее занимает и мучит, есть именно вопрос о том, хочет ли еще Герцль выиграть Палестину, будет ли он еще добиваться Палестины. Если бы не этот вопрос, то все так в один голос не повторяли бы, что Герцль должен остаться вождем; для чего был бы он так нужен палестинофилам, если бы не было надежды, что он все-таки ведет свою сложную игру ради Сиона, а не ради другой земли?

Я выше сказал, что не отношу к Герцлю всего написанного мною о психологии среднего западноевропейского сиониста. Средний западный сионист — трезвый и немножко вульгарный практик, которому нужна удобная территория и больше ничего. Герцль — личность совсем другого полета, практик иного сорта. Он практик в выборе средств, но он слишком выдающийся человек, чтобы не быть поэтом и идеалистом в своих целях. Этот человек был бы неполон, нецелен, был бы недостаточно честолюбив, если бы не мечтал всеми силами души совершить подвиг во всей его цельности, чтобы история записала, что Теодор Герцль на своих плечах пронес и *целиком* осуществил то, о чем целый народ молился в течение долгих веков. Я убежден, что Сион для этого человека страшно дорог, дороже, чем для многих и многих, именно потому, что перспектива возрождения Сиона гораздо заманчивее, бесконечно грандиознее простой колонизации первого встречного закоулка. Возрождение Сиона не имело бы примера в истории; заселить Ост-Африку значи-

ло бы только повторить барона Гирша в исправленном издании и увеличенном формате. В день, когда бы Герцль увидел, что надежда на Сион окончательно рухнула, что ничего, действительно, не остается, кроме Ост-Африки, — он испытал бы страшное горе, потому что это было бы крушением колоссально честолюбивой мечты, превращением из вождя в простого организатора большой эмиграции.

Я вынес глубокое убеждение, что Герцль еще ведет игру и не сложил оружия; может быть, он уже готовит себе в Ост-Африке почетную капитуляцию на случай последнего провала, но он еще далеко не отказался от надежды воплотить мечту Израиля во всем ее головокружительном величии.

Я думаю, что это мое впечатление может быть признано вполне беспристрастным, потому что для меня лично Герцль далеко не представляется такой неотделимой частью в организме сионистического движения, как думают другие. Для меня лично Герцль — один из козырей движения, очень большой козырь; но я твердо знаю, что если бы этот козырь и был потерян, игра пошла бы своим порядком, ибо корень сионизма в глубине еврейского духа. Сионизм ведет к Палестине; я уверен, что Герцль пока ведет туда же; в день, когда Герцль откажется вести к Палестине, движение перешагнет через него и пойдет, неудержимое, дальше по старому пути.

Владимир Жаботинский

Одесские новости. 23.08.1903



Вскользь

ИЗ БЕРНА

21 августа (3 сентября)

Приехал на полчаса и застрял на два дня, и все эти сорок восемь часов не выхожу и не выйду из состояния какого-то умиления, какой-то грусти.

Есть тут околоток Маттенгоф, где живут по традиции студенты из России, и я тоже здесь жил в мое время.

У меня была мансарда под самым чердаком; на чердаке по ночам водились огромные крысы, и мне было это очень приятно, потому что давало мне повод говорить:

— Ах, знаете, у меня в квартире над потолком ужасно шумят крысы!

И таким образом я повторял себе и другим, что у меня есть своя «квартира». Своя самостоятельная квартира, первая в жизни!

Прямо против окошка моей каморки Бог поставил весь Оберланд, величавые белые горы с величавыми именами: Финстерааргорн, и Юнгфрау, и Монах.

Я любовался на них каждое утро и каждый вечер — по вечерам они горели на закате красивым багрянцем; я любовался и сам себе не верил, что это я, настоящий, живой, я так счастлив, что прямо с Канатной улицы попал сюда и люблюсь на Фистерааргорн.

Мне тогда казалось, что я большой скептик и что меня ничто не трогает, но теперь я хорошо вижу, что я тогда был очень чувствительный мальчик и перед всем благоговел.

Я благоговел в университете, глядя на скамьи, изрезанные и исписанные всякими глупостями, — замирая от сознания, что это настоящий университет и что я студент.

И благоговел тогда, когда взбирался, с мешком за плечами и острой палкой в руках, на горы — замирал от сознания, что это настоящие Альпы, о которых сказано в географии, и что я в Альпах.

Теперь я пошел по забытым улицам, смутно припоминая, и вдруг увидел что-то очень знакомое и прежде, чем сообразил, что я в Маттенгофе, как меня уже охватило что-то особенное, сумное и хорошее.

Стало мне сразу как будто свежо от аромата того дальнего времени и грустно оттого, что оно уже прошло и для меня не вернется.

Я шел дальше, жадно узнавая углы и переулки, и мне все становилось легче и грустнее; и когда я увидел окно своей каморки, мне страстно, невыносимо страстно вдруг захотелось, чтобы все это оказалось неправдой, сном, чтобы не лежало столько утекшей воды между теперь и тогда, чтобы я вдруг проснулся тогдашним, и крысы возились бы над моей головой, и я мог бы опять с прежней гордостью сказать себе:

— У меня на чердаке ужасно шумят крысы!

Странно — ведь я, в конце концов, еще не старик; и мне все-таки, когда я вдумываюсь, невыразимо жаль каждого уходящего дня, жаль именно как улетающей частицы молодости.

Когда я нахожу старое письмо или попадаю случайно в места, с которыми связаны мои воспоминания, это сожаление вырастает до размеров глубокой грусти.

Я тогда сам себе напоминаю старика, у которого впереди нет уже никаких впечатлений — и оттого он, переживая и любуясь старыми впечатлениями, грустит. Но ведь я не старик, у меня впереди еще длинная улица впечатлений; по какому праву и с какой стати я грущу? По какому праву жалею об уходящем дне я, еще богатый днями впереди?

Странная вещь.

На лубочных картинках жизнь человеческую изображают в виде двойной лестницы: слева поднимаются от детства к зрелому возрасту, справа спускаются к старости и могиле.

На вершине поставлен зрелый возраст, полный расцвет мощи тела и духа. Юность поставлена ниже. Юность — это еще не совершенство; совершенство человеческой жизни в ее зрелости.

Почему же все мы на пороге этой высшей ступени вместо радости грустим и жалеем об ускользающей молодости и хотели бы вернуть ее, возвратиться от более полного момента жизни к менее полному, от более совершенного к менее совершенному?

Ведь все это прежнее — молодость, студенчество — все это лишь подготовка к жизни, а не жизнь; жизнь начинается теперь. Что же мы за ленивцы, что за трусы, если робеем на ее пороге и рвемся назад, чуть ли не к юбке матери?

Я не назову нас ни ленивцами, ни трусами, потому что, может быть, мы правы.

Может быть, нам недаром жутко становится на краю того рва, что отделяет молодость от зрелого возраста.

Мы чуем и догадываемся, что время наше — время, в которое мы живем, — еще само не созрело для того, чтобы дать простор зрелому человеку.

Потому что зрелый человек есть человек от головы до пят, человек полновесный, функционирующий всеми фибрами, и ему нужен простор и свобода деятельности.

Мальчик удовлетворяется игрой в ловитки, юноша — надеждами и пылкими словами, но зрелый человек может удовлетвориться только плодотворной деятельностью на просторном поле.

А просторного поля нет.

Мелочи жизни стиснули житейскую тропинку до того, что не сам человек ведет свое бытие, а они, эти мелочи, ведут по-своему бытие человека.

Зрелому человеку от Бога велено быть главным творцом всех событий, совершать историю. Вместо того зрелый человек у нас сведен на нет: днем он сидит в конторе, вечером играет в карты, а обо всем прочем говорит:

— Мальчишество!

В Городском театре когда-то поставили пьесу «На распутье», из которой я помню одно умное место.

Зрелый говорит юноше:

— Смотрю я на тебя на улице: идешь и руками размахиваешь. Так смело размахиваешь руками, что и сам черт тебе не пара. А я смотрю и думаю: «Погоди! Через год женишься на Оленьке и тогда уж на улице будешь размахивать одной рукой, ибо придется вести Оленьку под руку. А еще через года три другой рукой придется держаться за руку старшего ребеночка — тогда и совсем, брат, перестанешь размахивать...»

Не было бы грусти, не было бы этой скупости к каждому отходящему часу, этой преждевременной тоскливости воспоминаний, если бы нам после молодости предстояло становиться зрелыми людьми.

Потому что и в зрелости есть своя поэзия, которая настолько же лучше поэзии юности, насколько полдень ярче утра.

Но нет теперь зрелого возраста. Из молодых мы становимся не зрелыми, а сразу пожилыми. Не пережив полудня, сразу падаем в сумерки...



В те времена, о которых я теперь «сумую», здесь было около 80 студентов из России.

Теперь около 500.

В те времена здесь студентов из России просто не любили. Теперь их терпеть не могут и ненавидят.

Кто в этом виноват — сложный вопрос.

Но я вообще и раз навсегда полагаю, что если хозяин недоволен, то дело гостя не в том, чтобы разбираться, кто прав и кто не прав, а в том, чтобы уйти — или, по крайней мере, помириться с хозяином.

В данном случае помириться с хозяином будет нелегко, потому что и хозяин-швейцарец упрям, и гость не очень сговорчив.

Но все-таки два пути к этому есть.

Первый путь — дисциплинировать самих себя.

Студенты из России, надо сознаться, здесь себя распустили.

Швейцарцы — народ умеренный и аккуратный и, главное, народ бедный и работающий.

У них есть свои привычки и обычаи, которые надо уважать.

Студенты из России не уважают или очень мало уважают их привычки и обычаи, их аккуратность и бережливость, их отдых и покой.

А второй путь — побольше дорожить своим достоинством. Еще в прописях сказано: дорожи сам собой, тогда будут тобой дорожить и другие.

Студенты из России не умеют здесь охранять свое достоинство.

Недавно в Берне был такой случай: университет перевели в новое здание, по этому случаю устроили праздник.

Студентов из России не пригласили.

Было ли это справедливо или нет, не знаю и не интересуюсь, ибо это все равно: факт тот, что тебя не хотят, а раз тебя не хотят, то и не лезь.

Студенты из России оказались другого мнения.

Они обиделись. Они запротестовали и настояли-таки на том, чтобы и их позвали на праздник, чтобы и им позволили принять участие в цуге¹.

Швейцарцы пожали плечами и позволили, прибавив, вероятно, про себя:

— Черт с вами.

Конечно, колония состоит из 500 человек и не все ответственные. Очень может быть, эту выходку сделало какое-нибудь ничтожное меньшинство.

Но надо же обезопасить себя от таких унижительных случаев. Надо иметь какое-нибудь постоянное выборное бюро, которое гарантировало бы достоинство колонии от такого фигурирования скверного меньшинства в роли представителя.

Мне вообще всегда казалось, что русским студенческим колониям за границей очень следовало бы ввести у себя корпоративное управление.

Обсудить сообща главные категории всех туземных жалоб и претензий и раз навсегда, именем корпорации, обязать друг друга держать себя в известных границах.

¹ Шествии (от нем. Zug).

Главное же — выбрать из своей среды бюро и распубликовать об этом бюро во всех газетах, чтобы, по крайней мере, квартирные хозяйки знали, с кого спрашивать недополученные от студента квартирные деньги, и университетский библиотекарь имел бы кому заявлять о невозвращенных студентами книгах.

Если колонии не примут таких или каких-либо других мер, это кончится плохо. Скоро, и очень скоро, я предчувствую, кое-откуда начнут очень энергично вытеснять студентов российского подданства.

Пока не поздно, необходимо исправить, что еще можно исправить.

Но лучшее, конечно, было бы — уйти.

Туго открываются новые высшие школы в России, а между тем сотни молодежи живут, бедствуя, за границей, голодают, воюют с туземцами и выносят все кары геенны ради образования, вместо того чтобы спокойно получить его на родине, с большей пользой и для себя, и для нее.

Altalena

Одесские новости. 26.08.1903



Вскользь

ИЗ РИМА

24 августа (6 сентября)

Если у вас есть свободный месяц или два и вы хотите развлечься, посетив какой-нибудь приятный город, не советую вам ехать в Рим.

Я глубоко убежден, что он не произведет на вас никакого впечатления.

Впрочем, средний турист уверяет обыкновенно, что Рим ему очень понравился. Но нельзя же верить среднему туристу.

Средний турист и про любую Рафаэлевую мадонну скажет вам, что она ему очень понравилась, ибо знает, что отрицать Рафаэля — дурной тон.

А между тем мадонна ему не понравилась, не могла понравиться, не произвела на него никакого впечатления, кроме впечатления скуки, потому что для оценки мадонны требуется

иное настроение и иное мировоззрение, чем настроение, мировоззрение обыкновенного европейского интеллигентного господина.

Нужно обладать религиозным чувством в смысле особой поэтической струнки — и, кроме того, умением до известной степени упрощаться, приближаясь к наивным эмоциям прежних веков.

Словом, нужна некоторая тонкость и изысканность восприятий, — а этой монеты нынче в обращении нет.

Город Рим тоже недоступен среднему интеллигентному господину.

Средний господин может сюда приехать, рассмотреть все достопримечательности, вынести резолюцию:

— Ах!

И уехать. Но ведь не в этом дело.

Важно понять и почувствовать этот город. Важно, чтобы он врезался в вашу память не потому, что о нем много сказано у Иловайского, а сам по себе, своим непосредственным очарованием.

Этого очарования вы за два месяца не почувствуете. Если у вас есть два месяца времени, поезжайте, право, лучше в Баден-Баден.

Но если вы можете прожить за границей год, тогда приезжайте в Рим — особенно, если у вас измучены нервы.

Вам нигде не будет лучше, чем здесь.

Только постарайтесь заранее отрешиться от Иловайского и от всех классических воспоминаний. Смотрите на город просто, как смотрели бы на свой родной Берислав.

Будьте равнодушны, живите в Риме без всякого любопытства, не гонитесь за впечатлениями и не старайтесь насильно заинтересовать себя.

Тогда вы мало-помалу втянетесь.

Мало-помалу вы начнете ощущать очарование.

Вы станете понимать, что жить в Риме значит, действительно, испытывать постоянное наслаждение от окружающего присутствия какой-то особенной, величавой, трогательной, хорошей среды.

Вы постигнете, что развалины древних зданий, исторические воспоминания и художественные галереи не являются в новом, сегодняшнем Риме какими-то посторонними элементами,

которые как бы сданы в Рим на хранение и могли бы завтра быть оттуда увезены, и физиономия нынешнего Рима от этого ничуть не изменилась бы.

Вы поймете, что старые обломки дворцов и воспоминаний, и полотна, и статуи старых мастеров — все это тесно и плотно вошло в дух и кровь теперешнего города Рима, и разделить их нельзя — они слиты.

Тогда вы будете впивать воздух Рима, как аромат хорошего цветка; вы полюбите каждую улицу, как любят родное душе.

И если у вас измученные нервы, Рим тогда их успокоит, как густой, могучий, многостолетний тенистый лес или как большой и старинный собор, полный прохлады и сосредоточенного величия. Но для этого нужно время, а не два месяца.



Впрочем, все это теперь меня не касается. Я отдыхаю — я на время опять превратился в «нашего собственного корреспондента» и могу отдохнуть от мудрствований лукавых, излагать просто и гладко римские события и скандалы. Строго рассуждая, следовало бы на это время бросить и короткие строчки, но это не так-то легко. Скверные привычки въедаются.

Итак, о римских скандалах. Их теперь два: графиня Биче Убальделли и процесс газеты «Avanti». Place aux dames¹ — начинаю с графини.

Я — человек маленький и в качестве такового люблю хоть боком да пристегнуться к большому скандалу.

Поэтому не без гордости могу заявить, что я знал графиню Убальделли.

Года три тому назад я жил здесь у одной учительницы музыки, выдающейся арфистки.

У нее брала на дому уроки, между прочим, девочка лет 12 или 13, белокурая и стройненькая, по имени Джорджина.

Каковы были ее успехи в музыке — не знаю, но знаю, что она была барышня рассудительная и немного даже скороспелая.

Я слышал однажды, как она кому-то сказала:

— Нынче пошли такие времена, что никому больше нельзя верить!

¹ Место дамам (фр.).

Ко мне ходил приятель, юноша невыносимо наблюдательный. Повидав человека раз, он мог потом в течение получаса подробно описывать вам, какая у того человека манера открывать рот, поводить глазами и надевать шляпу набекрень.

Ясно помню, как этот приятель, увидав Джорджину, покрутил головою и сказал мне:

— Видишь ли, эта девочка очень грациозна, но все-таки в ней есть что-то такое... какой-то излишек развязности. Я бы ни за что не сказал, что это графская дочь!

Ибо Джорджина тогда была графской дочерью, дочерью графини Биче Убальделли.

Графиня Биче тоже нередко бывала у моей хозяйки. Они были даже в дружбе.

Графиня Биче была золотистая блондинка того возраста, который называют неопределенным, и той наружности, которую называют интересной. Больше о ее внешности ничего сказать не могу. Мой приятель ее не видел, а сам я наблюдательностью в розницу никогда не занимался.

Однажды моя хозяйка даже повезла меня к графине. Та жила в особом *villino*¹ далеко за городом, на улице *Prenestina*; это имело, с одной стороны, аристократический вид, а с другой стороны — *экономический*.

Впрочем, графиня в тот вечер назвала к себе довольно много гостей и устроила им ночной праздник с хорошим ужином, и это как бы противоречило объяснению.

Но, с другой стороны, один злой язык, с которым я там познакомился, ядовито указал мне на то обстоятельство, что после ужина — часа в три ночи — графиня села с солидными гостями играть в карты.

— Эта женщина покроет свои расходы, — сказал он.

Люди менее солидные — тот самый злой язык, я, еще два-три лица и маленькая Джорджина — уселись на балконе, который выходил на темно-зеленую равнину, уже освещенную зарей, и ждали восхода солнца.

При этом мы болтали очень оживленно, и я как человек, рожденный в мещанстве, думал про себя:

— Сколь, однако, приятно иметь дело с настоящей графиней!

¹ Небольшая вилла (*итал.*).

Но и тогда я заметил, что, кроме графини и Джорджины, тут не было ни одного человека с титулом, а были все интеллигентные и даже не очень интеллигентные мещане.

А теперь оказывается, что графиня Биче Убальделли вовсе не была графиней и зовут ее вовсе не Биче, а Бриджида, и сидит она теперь в тюрьме Regina Coeli.

И Джорджину зовут, оказывается, не Джорджина, а Гвендолина — Гвендолина Росси, дочь старой прачки из грязной улицы Марфорियो; впрочем, иные газеты думают, по разным соображениям, что и прачка Росси не есть настоящая мать той, которую до прошлой недели звали Джорджина Убальделли, а настоящая мать будто бы навеки затерялась.

Все это разыгралось на днях, и газеты полны отчетами об этом скандале.

Несколько времени тому назад в доме графини Убальделли, в том самом villino на улице Prenestina, умерла женщина, о которой графиня заявила:

— Покойница — моя родная сестра Элиза Колини.

И потребовала от общества «Якорь» страховую премию, потому что Элиза Колини была застрахована на случай смерти.

Теперь оказалось, что Элиза Колини жива и здорова. Графиню Убальделли арестовали.

После этого все поплыло согласно пословице: пришла беда — отворй ворота.

Докопались, что ни Биче, ни ее муж никогда графами не были; что настоящее имя ее — Бриджида; что женщина, умершая у нее в доме в качестве сестры Элизы, была нарочно взята ею с улицы; что Джорджина — не дочь ее и не Джорджина, что она пользовалась этим приемом как средством вытягивать деньги у разных влиятельных лиц, каждому из которых поочередно было сказано на ухо:

— Это — твоя дочь...

До этого уже докопались, а стараются докопаться и до большего. От чего, например, умерла та женщина, которую потом выдали за Элизу? Не было ли тут яду?

Покойный муж графини, тот самый Убальделли, который никогда не был и не выдавал себя за графа, разошелся с ней за ее недостаточную верность — и вскоре после того заболел параличом, был перевезен снова к жене и умер у нее на руках. Не было ли и тут яду?

Фантазия разгулялась.

Но не фантазия, а факт — то, что Биче Убальделли пользовалась в свое время огромным влиянием.

Брат ее, синдик¹ города Сиджилло, устроил в том городе что-то вроде банка и проштрафился.

Его судили и засудили на пять лет в тюрьму.

Биче выхлопотала ему королевскую милость: замену тюрьмы трехлетней ссылкой в какое-то захолустье.

Биче устроила в Риме земледельческую школу для мальчиков; ее потом закрыли, так как это оказался — говорят — просто-напросто замаскированный игорный дом для всяких покровителей. Но Биче пока уже успела получить из министерства субсидию...

Вот где простор для фантазии!

Биче Убальделли была, очевидно, из больших авантюристок нашего времени; когда читаешь газеты, прямо не верится, чтобы одна слабая женщина успела все это натворить в разных местах и за недолгое время. А газеты полны ее именем или, вернее, ее именами; и правосудие тоже цепко ухватилось за нее, почуяв крупную грешницу.

И Джорджину тоже возили в полицию, и там показали ей старую, грязную прачку и заявили:

— Барышня, нет никакого сомнения в том, что ваше настоящее имя Гвендолина Росси и эта добрая женщина — ваша мать.

Я уже второй день в Риме и третий в Италии; я все время читаю в газетах о скандале Убальделли и никак не могу с ним примириться.

Эта революция судьбы, когда люди, вчера бывшие влиятельными, сегодня валяются в грязи и попираются ногами, не укладывается в моей голове.

Я знал эту Джорджину тоненькой белокурой девочкой; теперь газеты пишут, что она стала статной шестнадцатилетней барышней, изящной и красивой. Значит, вчера еще она ездила по Корсо, и на нее заглядывались порядочные молодые люди в модных белых штанах, — а сегодня ее таскают в полицию и называют дочерью прачки, и газетчики запросто называют ее Джорджина и, облизываясь, описывают ее фигуру. Как это могло случиться?

¹ Мэр (итал.).

И почему, например, я, человек приезжий и посторонний, — которому Биче Убальделли не сделала никакого зла, которого Биче Убальделли накормила ужином у себя на даче и даже не пригласила играть в карты, — почему я теперь с такой развязной усмешкой рассказываю вам о ее гостеприимстве, и не только рассказываю, а чувствую за собою *полное право* рассказывать и подтрунивать?

С какой стати? Что это за жестокая перемена? Как оправдать ее жестокость, даже помня, что Биче Убальделли покушалась ограбить общество «Якорь»?

Минутами все это мне кажется непостижимым, кроме одного старого вывода — что гнусен и паки гнусен тот распорядок, среди которого мы живем, распорядок, безобразно коверкающий судьбу человека, его характер и отношения к людям.

Altalena

Одесские новости. 29.08.1903



Вскользь

Рим, 8 сентября

...Очередь за вторым скандалом — за процессом газеты «Avanti». Это действительно большой скандал — только не для газеты «Avanti».

Надо начать немножко издалека.

На последнем съезде итальянской крайней левой в Имоле определились резко две тенденции: «непримиримые» и «реформисты».

Лидером первых явился Энрико Ферри, лидером вторых — Филиппо Турати.

В силе тогда были именно вторые. Министерство¹ Дзанарделли тогда считалось еще либеральным и опиралось, между прочим, на крайнюю левую, суля ей законопроект о разводе — старая мечта самого Дзанарделли — и кое-какие податные облегчения, поэтому реформисты настаивали, что следует поддерживать даже буржуазное министерство, пока оно проводит полезные реформы.

Министерство, со своей стороны, тоже старалось выказать крайней из групп крайней левой всякую любезность.

¹ Здесь: в значении «кабинет министров», «правительство».

Любопытен беспримерный факт: субверсивной партии был предоставлен правительством удешевленный проезд в Имолу и обратно для всех участников конгресса. Удешевленный на пятьдесят процентов!

Непримиримые, с Ферри во главе, утверждали, напротив, что блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и требовали оппозиции буржуазному министерству всегда, во всем и во что бы то ни стало.

Словом, это был тот же самый раскол, который, в той или иной форме, проявился теперь во всех без исключения странах.

На съезде в Имоле победили реформисты. За ними оказалось большинство.

Редактором «Avanti», центрального органа партии, остался по-прежнему реформист депутат Биссолати, и партия продолжала политику взаимных улыбочек с министерством.

В этой системе всегда есть и хорошая, и дурная сторона.

При помощи этого метода иногда можно наскоро добиться безотлагательно необходимых уступок, а иногда и заманить временного союзника в такое ущелье, из которого он уже не выберется без дальнейших уступок.

Но как постоянная система эта тактика не годится. Построенная на несомненном компромиссе, она не может быть устойчива; рано или поздно она должна дать трещину.

Трещина не заставила себя ждать.

Пока «Avanti» поддерживал министерство, карабинеры устроили несколько дебошей над голодными крестьянами юга, а начальство выдало карабинерам несколько медалей за воинскую доблесть.

Надо отдать справедливость реформистам: «Avanti» не молчал, «Avanti» протестовал очень резко и требовал суда над карабинерами.

Но эти резкости производили неполное и неверное впечатление рядом с передовицами благосклонно умеренного содержания.

Долго это продолжаться не могло. Публика стала отворачиваться от «Avanti». Тираж газеты пал. Злословили даже, что «Avanti» прекращается.

Внутри партии нарастало разочарование в тактике реформистов и недовольство либеральным лицемерием министерства, и, наконец, переворот произошел в мае этого года.

С мая этого года редакция «Avanti» перешла к Энрико Ферри, и партия снова приняла резко оппозиционный тон по отношению к министерству.



Ферри есть почти то же, что Нордау: блестящий фельетонист, но талантливее, гораздо глубже, разностороннее, энергичнее и вообще сильнее.

Я не знаю, писал ли он когда-нибудь фельетоны в газетах, и думаю даже, что не писал; но я применил к нему слово «фельетонист» не в смысле ремесла, а в смысле натуры.

У Ферри натура гениального фельетониста. Привычка к фельетону вырабатывает любовь к блеску поспешных обобщений, к той ясной, отточенной и отчетливой форме выражения мыслей, которая часто, если не всегда, вредит их глубине и широте.

Ферри, вероятно, никогда не писал фельетонов, но в его натуре — все качества фельетониста. Он изумительно владеет синтезом, обобщением самых на вид несхожих явлений; здесь он проявляет иногда остроумие поражающее. В то же время мысли его, как бы сами собой, отливаются в прозрачные, отчетливые фразы, ясные до очевидности. И так как он — человек обширного образования и кругозора, то лишь с большим трудом и далеко не сразу вам удастся уловить знакомый оттенок и воскликнуть:

— Да, это фельетонист!

Но фельетонист гениальный; и оттого он часто серьезнее, трезвее и рассудительнее многих других писателей, не имеющих его фельетонной замашки, но и не одаренных его талантом. В криминальной антропологии, которая была и осталась его коньком, он, совершенно примыкая к школе Ломброзо, во многом однако смягчает и облагораживает крайности, до которых доходит и сам Ломброзо, и Гарофало, — и можно в конце концов сказать, что когда итальянская школа войдет окончательно в постоянный фонд криминологии, то войдет именно в том виде, как ее понял Ферри.

Здесь есть очень известный профессор Антонио Лабриола, книга которого об историческом материализме была переведена на русский и читалась в России с похвалами; он однажды — с полным правом — сказал о себе:

— Я такой философ, который никогда не терял здравого смысла.

Ферри с не меньшим правом может применить эту фразу к себе:

— Я фельетонист, но такой, который ни разу в жизни не потерял из виду здравого смысла.



«Avanti» сразу пошел в гору.

Ферри начал свою кампанию против министерства нападения на администрацию флота. Ферри требовал — и как редактор, и в палате как депутат — избрания из состава парламентской комиссии для расследования того, как расходуются народные деньги на броненосцах. Ферри заговорил о злоупотреблениях и повел дело так, что бывшему морскому министру Бетголо, на которого он главным образом и обрушился, пришлось — как утверждают, *нехотя* — привлечь его к суду.

Ферри на это ответил:

— Этого мы и добивались. Парламентской комиссии вы не хотите — что же, мы устроим ревизию флотских дел в зале суда.

Этот процесс еще не начался; между тем успел затеяться, нашуметь и лопнуть другой процесс той же категории.

Во время полемики против Бетголо «Avanti» напечатал несколько анонимных писем из порта Специи, автор которых, какой-то морской офицер, обвинил всю сплошь администрацию военного флота, от верхушек до машинистов, в злоупотреблениях и фокусах с казенными суммами.

35 офицеров в Специи обиделись и решили от своего имени привлечь редакцию «Avanti» за клевету и диффамацию к суду. Среди этих 35 был, между прочим, известный Умберто Каньи, главный герой полярной экспедиции герцога Абруццкого.

35 офицеров послали морскому министру телеграмму с просьбой разрешить им коллективную жалобу.

Министр ответил: не советую, а впрочем, это меня не касается. Делайте, как вам угодно.

Офицеры подали в суд. Были привлечены два человека: сам Ферри, как представитель гражданской ответственности, и некто Салюстри — не то сторож, не то посыльный при редакции

«Avanti», состоящий в то же время «ответственным редактором»; очень обычное совместительство, придуманное именно для громоотвода на случай судебной кары.

Суд начался. «Avanti» выставил целую дивизию адвокатов: чуть ли не 70, во главе с самим Ферри и с депутатом Карло Альтобелли, одним из лучших судебных ораторов Италии.

Защита, собственно говоря, имела полное основание возбудить вопрос, имеют ли право 35 офицеров жаловаться на оскорбление, нанесенное не им лично, а всему флоту вообще? Если они выступали от имени всего флота, кто им дал на это право? Кто произвел их в официальные представители морского ведомства? А если они выступили защитниками только своей личной чести, то разве «Avanti» говорил о них? И где тогда гарантия, что после них не явятся еще 35 офицеров и не притянут бедного Салюстри к суду вторично, и еще, и еще 35?

Но защита не подняла этого вопроса, хотя он сам собою напрашивался. Ферри находил, что это не в его интересах, что для него гораздо полезнее, если процесс пойдет своим порядком: только бы его не стесняли в представлении доказательств, а уж остальное его дело.

Однако со второго дня стало ясно, что свободы доказательств не будет.

Вызывается свидетель адмирал Рейнауди. Защита спрашивает:

— Скажите, свидетель, известен вам случай злоупотребления, происшедший в Мадалене?

Вмешивается председатель:

— Этот вопрос не относится к делу.

— Как так? Ведь нам необходимо доказать именно то, что в администрации происходили злоупотребления? Разве Мадалена не подчинена морской администрации?

— Вопрос не относится к делу потому, что никто из этих 35 офицеров никогда не служил в Мадалене.

Защита изумлена:

— Да разве речь идет об этих 35 офицерах? Ведь их никто не обвинял, их имен не было в статьях «Avanti». Они здесь выступают представителями и заступниками всего флота, которому — по их мнению — «Avanti» нанес оскорбление. Ясно, что вы обязаны представить нам полную свободу привести *все* факты, доказывающие, что «Avanti» был прав в своих нападках на морскую администрацию...

Суд удаляется, совещается и выносит резолюцию:

— Отказать. Вопрос о Магдалене к делу не относится.

Так оно продолжалось три дня, с явным и скандальным противоречием, потому что, с одной стороны, 35 офицеров считались представителями всего флота, а с другой стороны, защите позволялось говорить только о том, что касалось лично этих 35, когда лично об этих 35, может быть, и сказать-то нечего было.

Защита не унывала и была в свою точку. Защита неустанно старалась свернуть на «общие» вопросы — и в «Avanti» отчет об этом процессе напечатался под заглавием: «Наше следствие о злоупотреблениях в морском ведомстве»; но председатель не менее неустанно отзывался: «Это не относится к делу» и всячески мешал защите превратить, действительно, процесс газеты «Avanti» в судебное следствие о морских злоупотреблениях. Защита на это откликалась длиннейшими и бурными инцидентами; публика аплодировала, председатель приказывал очистить зал, полицейские учиняли кулачную расправу, газеты шумели... Весь вопрос был в том, кто устанет раньше: защита или председатель.

Оказалось, что раньше утомился председатель.

На четвертый день, после какого-то нового инцидента, он потерял терпение и заявил:

— Суд от себя возбуждает вопрос о том, является ли жалоба 35 офицеров законной и может ли быть ей дан ход.

Т. е. тот самый вопрос, который могла и не хотела поднять защита.

Суд, среди всеобщего изумления, удалился и вынес резолюцию:

— Принимая во внимание, что в статьях «Avanti» говорилось не об этих 35 офицерах, а вообще о морской администрации; что поэтому 35 офицеров могли выступить только в качестве представителей целой корпорации; что для такого представительства необходимо было утверждение со стороны морского министра как единственного законного представителя всей флотской корпорации; что такого утверждения со стороны министра не последовало — трибунал признает жалобу 35 офицеров составленной в незаконной форме и дело прекращает, возлагая судебные издержки на жалобщиков...



Чтобы понять, что это за скандал, каким образом он мог так потрясти общественное мнение и поколебать положение министерства, почему «Avanti» трубит о своей победе, — надо принять во внимание следующие обстоятельства.

Милитаризма в немецком смысле здесь нет, или, вернее, здешний милитаризм никогда не доходил и не дойдет до степени корпоративного распутства германских Leutnant'ов. Итальянцы слишком тонкий и благовоспитанный народ: вандализм прусского поручика, который способен среди бела дня на улице зарубить шашкой частного человека, здесь немыслим.

Но все-таки повышенная чувствительность к корпоративному достоинству имеется и здесь.

И если целых 35 офицеров, нашумев на всю Италию своей жалобой, взяв на себя роль защитников поруганной чести всего морского офицерства, внезапно, уже после начала процесса, получают такой неожиданный реприманд, что и жалоба их составлена не по правилам, и им же еще придется заплатить издержки, а враг уйдет из зала суда ухмыляясь и потирая руки, — то это, действительно, для корпоративного самолюбия большая пощечина. Все флотское офицерство не может не быть глубоко возмущено той комической ролью, которая выпала на долю его рыцарям.

Возникает сейчас же вопрос, как мог морской министр допустить это. Он не имел права не знать, что необходимо его разрешение. Он должен был или формально запретить, или формально разрешить жалобу.

Таким образом оказывается поколебленным престиж морского министра, а за ним и всего кабинета.

Но это не все. Самое худшее то, что из зала суда общество вынесло тяжелое впечатление укрывательства. Людей судили как будто бы за то, что они обвиняли морскую администрацию, а когда они захотели привести доказательства, им не дали говорить; а когда они стали протестовать, то и вовсе прекратили процесс. Ясно, что тут хотели спрятать какие-то концы в воду. Так рассуждает публика.

Поэтому теперь назначение парламентской комиссии для ревизии флотской бухгалтерии является необходимостью, которую признают даже консервативные газеты. И так как мини-

стерство Дзанарделли только этим летом наотрез высказалось против парламентского следствия, то и с этой стороны положение кабинета является поколебленным.

Отсюда понятно ликование «Avanti». Процесс, действительно, явился для газеты победой, потому что, с одной стороны, наполовину опрокинул министерство, а с другой — привел к неизбежности парламентского следствия над флотом, что и требовалось доказать.

Эта группа итальянской палаты, собственно говоря, немногочисленна. Она составляет треть крайней левой, а вся крайняя левая — немногим больше одной пятой доли палаты. И тем не менее вот уже четыре года, как эта маленькая группа буквально владеет положением, явно и сильно влияя и на внутреннюю, и даже на внешнюю политику страны, заставляя бояться и считаться с нею, заставляя даже врагов признавать, что она одна во всей палате собрала самых выдающихся людей и крепко сплотила их вокруг ярко определенного идеала, в то время как все остальные бродят вразбивку и не знают, чего им, собственно, хочется.



Вы скажете, что вся эта история очень скучна, что она была бы уместна в рубрике заправских корреспонденций, а не в фельетоне.

Но я рассказал ее для того, чтобы дать вам понятие, как здесь живут.

Altalena

Одесские новости. 2.09.1903



Вскользь

ТОЛСТЫЙ ПЕППИНО

Рим, 9 сентября

Нас познакомили 3 года тому назад.

Я увидел перед собой массивного господина лет тридцати, с давно выбритым толстым подбородком и добродушными глазами.

— Professore такой-то.

Потом оказалось, что professore значит школьный учитель. Это здесь принято. Ребят из детского сада иногда именуют studenti elementary.

Мои приятели, впрочем, называли его «толстый Пеппино», и я тоже скоро устроился с ним на *ты* и стал называть его:

— Толстый Пеппино.

Мы часто встречались. Я ходил за своими письмами на почту, а он всегда был на площади между почтой и кафе Араньо.

Он стоял на тротуаре, массивный и грузный, потягивая желтыми зубами окурки сигары, а возле него скромно помещался маленький, тоненький, желтенький человечек, его кузен Гаэтано, неразлучный друг, приживальщик и адъютант, — 'u cuginu Тапу, как он называл его на своем сицилийском наречии.

Когда я проходил мимо Пеппино, он отзывал меня в сторону.

— Мируццу, душа моя, — говорил он почти шепотом, — одолжи мне пол-лиры. Клянусь честью моего отца, что со вчерашнего вечера я, моя синьора и кузен Тано ничего не ели.

Когда у меня было, я давал ему пол-лиры и спрашивал:

— Ну что, Пеппино, все не наклеывается местечко?

— О! Наклеывается. Я поджидаю здесь депутата Ваккари — он должен выйти от Араньо, и тогда я его останавливаю. Он обещал мне похлопотать у товарища¹ министра.

— Bravo. А скажи, депутат Кьяннетти, который тоже хотел похлопотать, ничего не сделал?

— Депутат Кьяннетти мерзавец. Он меня водил за нос и даже не говорил с товарищем министра.

— А депутат Уччелли?

— Депутат Уччелли негодяй. Он три раза велел мне явиться к нему на дом и три раза меня не принял.

— А что если Ваккари?

— Нет! Ваккари не таков. Э, Мируццу, душа моя, — Ваккари совсем не то, что Кьяннетти или Уччелли. Ваккари порядочный человек.

— Что ж, это хорошо. А скажи, Пеппино, сколько времени ты уже бродишь без места?

— Пять лет, Мируццу, душа моя, 5 лет. С тех пор, как у нас в деревне я стал бороться с патерами и патеры меня выжили из школы, я никак не могу добиться местечка. Сколько страданий мы вынесли за это время — я, моя синьора и кузен Тано, — клянусь тебе честью моего отца, не перечить... А! Бьет 11 часов. Тано! Ступай. Я тебя здесь подожду.

Желтенький Тано доставал из кармана аккуратный пакет, размеров небольшой брошюры, просматривал, верно ли и красиво ли надписан адрес, и вежливо прощался со мною, говоря:

¹ Т. е. заместителя.

— Свидетельствую мое совершенное уважение и почтение. Когда он удалялся, Пеппино полушепотом объяснял мне:

— Видишь ли, Мируццу, душа моя, — у меня остались нераспроданные экземпляры моей одноактной драмы «Праведник». Я посылаю по экземпляру разным лицам — министрам, депутатам, гласным думы — и прилагаю письмо с описанием моего положения и просьбой купить. Так иногда перепадает в день лира или две. Теперь я послал Тано с книжкой и письмом к синдику¹ дон Просперо Колонна. У него с одиннадцати прием...

Пеппино был драматург, драматург чистой воды.

Он когда-то написал на родном диалекте драму «Под землею», из жизни сицилийской серной копи; она шла с большим успехом во всей Сицилии, потом была переведена по-итальянски и давалась во многих столицах полуострова.

Но у Пеппино не хватило 12 франков, чтобы вовремя записаться в общество драматических авторов, поэтому не все театры ему платили.

Потом пьеса сошла с репертуара и забылась, но Пеппино звал меня однажды к себе и прочел ее. Пьеса была хорошая — наивная и сильная, а читал Пеппино как виртуоз, сам волнуясь и заставляя волноваться...

Так шли дни и месяцы; я ходил на почту и встречал Пеппино на посту: он поджидал депутатов, а кузен Тано, желтенький и церемонно вежливый, шнырял по городу с экземплярами «Праведника». Пеппино брал у меня несколько сольди и ругал депутатов.

Местечко не наклеивалось. Время от времени то или другое министерство отпускало Пеппино субсидию лир в 50, и Пеппино бывал счастлив, но не покидал своего поста на площади Сан-Сильвестро между почтой и кафе Араньо. Я думаю, что это у него стало привычкой.

Однажды я шел с почты очень печальный.

Пеппино окликнул меня:

— Здравствуй, Мируццу, душа моя.

— Здравствуй, толстый Пеппино.

Он посмотрел мне в лицо и вдруг стал серьезным:

— Мируццу, душа моя, отчего у тебя такие грустные глаза?

— У меня не осталось денег, Пеппино, я сижу без гроша.

Лицо Пеппино стало еще серьезнее. Он взял меня за руку и отвел в уголок.

¹ Мэру (*итал.*).

— Мируццу, душа моя, — сказал он, вглядываясь в меня, — ты сегодня пил кофе с молоком?

— Нет, Пеппино.

В глазах у толстого Пеппино проступило что-то нежное и материнское. Он заговорил вдруг на сицилийском диалекте, который напоминал мне всегда говор обиженного, жалующегося ребенка.

— Почему же ты, Мируццу, забыл, что у тебя есть друг — толстый Пеппино? И тебе не стыдно быть таким нехорошим? Тано!

Тано подбежал.

— Когда пойдешь с «Праведником» к командиру Тицио, забеги по дороге домой и скажи Санте, что в два часа дня Мируццу будет обедать у нас.

Тано склонил головку на бок и произнес:

— Наш убогий кров и его скромные обитатели будут осчастливлены посещением столь чтимого и высокого гостя. Мчусь на крыльях восторга.

И ушел.

Пеппино повел меня в баг и заплатил 10 сантимов за мой кофе с молоком и еще 10 сантимов за мою сладкую булочку маритоццо.

Потом, когда мы вышли, он опять посмотрел мне в глаза с проблеском материнской нежности, взял мою руку в свои толстые, уютные, теплые лапы — они оставались теплыми даже в самую лютую зимнюю трамонтану¹, когда Пеппино стоял у почты без пальто, — и спросил:

— Сыт? Ничего больше не хочешь, Мируццу, душа моя?

В два часа мы обедали у него.

У него была только одна комната с двумя постелями и диваном: на постелях спали Пеппино и синьора Санта, а на диване кузен Тано; возле дивана стоял ящик с рукописями Пеппино и нераспроданными экземплярами «Праведника».

Синьора Санта была простая, необразованная, мешковатая сицилийка, тоже лет 30. Она всегда сидела дома, починяла и стирала. Пеппино ходил в трамонтану без пальто, но у него всегда были чистые башмаки и чистые воротнички; белье у него было старое, но держалось крепко, потому что синьора Санта стирала его без извести. Синьора Санта сама пекла раз в 10 дней

¹ Северный ветер (от *итал.* *tramontana*).

большие хлеба, как будто в деревне, и покупного хлеба они не признавали; и макароны у синьоры Санты выходили сваренными в самую пропорцию, а это очень трудно.

Она наложила мне в тарелку ужасно много макарон, а когда я стал спорить, улыбнулась и сказала на диалекте:

— Ведь я вам почти ничего не дала.

А кузен Тано, помахивая вилкой в воздухе, вежливо продекларировал:

— Да благоволит высокий гость прикоснуться к скудной пище бедных отшельников.

И Пеппино объяснял мне уже не шепотом, а громко, радушно, весело:

— Понимаешь, душа моя, у нас теперь пир горой. Писатель Аурелио Констанцо дал мне субсидию в 15 франков!

Поэтому к макаронам мне дали много вина и после макарон дали еще полную тарелку вареного мяса и заставили все съесть.

После обеда синьора Санта все убрала, а Пеппино снял пиджак и жилетку и закурил трубку. Он только на улице курил, для приличия, окурки сигар, а дома предпочитал трубку. Кузен Тано крошил ему эти самые окурки в мелкие зернышки, набивал трубку и подавал, говоря:

— Да воздымится фимиам.

Пеппино все время смеялся, и синьора Санта и кузен Тано тоже смеялись. Пеппино велел кузену Тано представить осла, и тот шмыгнул в дверь и вдруг оттуда закричал и засопел по-ослиному, похоже до изумления. Мы все хохотали; потом, когда Тано показался в дверях, Пеппино на радостях запустил в него башмаком.

Тано вежливо улыбнулся и произнес:

— За что карает раба своего господин мой?

Я сказал Пеппино:

— У тебя так уютно и весело.

Пеппино стал серьезен.

— Видишь ли, Мируццу, душа моя, — ответил он, — мы с Сантой и Тано часто переживаем голодное время. Но, клянусь тебе честью моего отца, смех и веселье никогда не выходят из нашего дома!

И расхохотался грузно и добродушно.

— Вы давно живете втроем?

— С тех пор, как патеры выжили меня из школы. У Тано есть родные в Сиракузе, его много раз звали, но я не хочу его отпустить, и он не хочет нас покинуть.

Тано подтвердил:

— Доколе терпимо ничтожество моей особы, дотоле я хочу сопутствовать уважаемому профессору Джузеппе на крутом пути его и быть ему полезным по скромным силам моим в благодарность за великодушное гостеприимство.

Я стал прощаться.

— Завтра в котором часу придешь? — спросил Пеппино.

— Спасибо, Пеппино, — ответил я, — завтра я не приду.

Улыбка сбежала с его широкого лица. Он помолчал, посмотрел на меня, подозвал жестом поближе синьору Санту и кузена Тано и сказал мне торжественно и серьезно:

— Клянусь тебе, Мируццу, честью моего отца, что мы завтра не сядем за стол без тебя. Макароны остынут, мы проголодаемся, но до полуночи не сядем за стол без тебя. Правду говорю я, Сантуцца?

— О да, — подтвердила синьора Санта.

Я обещал, что приду завтра обедать.

— И останешься у нас до вечера, — закричал Пеппино, уже опять веселый, — а вечером я тебе покажу интересные вещи!

— Какие?

— Я поведу тебя в церковь к методистам. Ты не знаешь, что я стал методистом?

— Нет, не знаю.

— О да. Я в Бога верую, Мируццу, душа моя, только патеров не люблю. Я стал методистом.

— А что же будет завтра вечером в церкви?

— Детский праздник. Я написал для них детскую пьеску. Ты услышишь. Это прелестная пьеска, — прибавил он совершенно просто и очень уверенно.

Вечером на другой день мы пошли все четверо к методистам. У них там было довольно много народу, особенно детей. Сначала вышел какой-то тип во фраке и сказал проповедь о том, что надо любить Господа нашего Иисуса Христа даже больше, чем папу и маму. Затем дети разыграли пьеску Пеппино.

Это оказалась, действительно, прелестная пьеска. Содержание в ней не было, но вся она была написана как-то мило, шаловливо, ласково, детски грациозно; глядя на массивную фигуру толстого Пеппино, не верилось, чтобы этот крупный человек мог сработать такую хрупкую вещицу...

Так я дней пять подряд ходил к Пеппино есть макароны и домашний хлеб синьоры Санты. Я тогда переживал печальное

время: у моих родных было большое горе, а моя барышня надомною насмеялась. У Пеппино меня кормили досыта и разгоняли мою тоску.

Через два месяца я пришел к Пеппино прощаться перед отъездом в Россию. Пеппино вышел проводить меня до ворот и на лестнице сказал мне стыдливо и печально:

— Мируццу, душа моя, мне стыдно просить у тебя денег в самый момент твоего отъезда, когда тебе всякий сольдо нужен. Но клянусь тебе честью моего отца, со вчерашнего вечера я, моя синьора и кузен Тано ничего не ели. Дай мне еще франк...

Я уехал. Я не люблю переписываться с теми, которых люблю. Гораздо лучше потерять их из виду и, вспоминая, думать и гадать: а где вы теперь? и что с вами? и как разметала вас судьба? Чтобы потом, если жизнь опять столкнет, было что порассказать друг другу.

На днях, идя с почты, я услышал оклик:

— Мируццу?

Толстый Пеппино стоял на площади между почтой и кафе Араньо, и желтенький Тано рядом с ним вежливо улыбался мне.

Я расцеловался с Пеппино и спросил:

— Что подельываешь? Что синьора Санта? Нашел местечко?

Пеппино ответил:

— Спасибо! Санта здорова. Местечко, кажется, наклевывается: министр Нази, кажется, собирается сделать что-нибудь и для меня. Я поджидаю здесь депутата Кавилли — он теперь у Араньо, — который обещал похлопотать у товарища министра...

Altalena

Одесские новости. 3.09.1903



Вскользь

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОФАНА

Рим, 11 сентября

Проездом в двух галереях я видел несколько полотен Беклина и Штука.

У меня нет никакого объективного критерия для того, чтобы судить о живописи.

Я имею полное право сказать о себе, что ровно ничего не понимаю в живописи.

Я даже не люблю живописи, и всегда скучаю в лучших галереях, и отправляюсь в картинную галерею, как на повинность, с досадой и нахмуренным лбом.

Не бывало почти никогда, чтобы одна из картин приковала к себе мое внимание. Я смотрю на них всегда равнодушно и, как ни напрягаюсь, не могу прийти в восторг.

Этого всего я не могу сказать ни о ваянии, ни о гравюре.

И статую, и гравюру я всегда *чувствую*, всегда искренно люблю и искренно люблюсь.

Статуя или гравюра могут меня очаровать, взволновать или растрогать. Я могу даже соскучиться, стосковаться по любимой статуе или гравюре. Но к картине в красках я всегда непобедимо равнодушен.

Долго я объяснял это себе таким образом.

Гравюра, или рисунок карандашом или сепией, или статуя — одноцветны.

Они дают контуры и формы. А краски мы сами должны вообразить.

Поэтому статуя или гравюра дают работу воображению.

Они вызывают нас на сотрудничество, заставляют нас тоже вмешаться в художественное творчество.

Таким образом, гравюра и статуя становятся нам дороги, как нечто свое, родное.

Картина не оставляет для воображения ничего. Картина дает все уже готовым.

Перед картиной мы стоим не как сотрудники, а как посторонние зрители, которым позволено смотреть, но не разрешено участвовать в творчестве.

Отсюда холодность к картине.

Это объяснение, однако, давно уже казалось мне искусственным.

Хотя бы уже потому, что мое воображение на самом деле вовсе не дополняет гравюру или статую красками.

Напротив, я очень отчетливо сознаю, что, вспоминая о любимых статуях, представляю их себе именно белыми статуями, а не живыми окрашенными телами.

Теперь, повидав картины Беклина и Штука, я совсем отказался от этого объяснения.

Дело в том, что перед Беклином и Штуком я не испытал того напряженного равнодушия, что почти всегда перед другими картинами.

Беклин и Штук не потрясли меня, не овладели мною, но я сразу явно почувствовал, что они меня заинтересовали, *они* приковали мое внимание, а не наоборот, как всегда это бывало со мною, не я сам насильно за шиворот заставил себя, из уважения к громкому имени, обратить внимание и заинтересоваться.

Чуть ли не в первый раз картины произвели на меня непосредственное впечатление, такое же, какое произвела бы статуя или гравюра, — несмотря на то, что ведь и эти картины были *в красках*, а не одноцветные.

Поэтому я спросил себя:

В чем же разница между этими картинами и всеми прежними?

Мой ответ на это будет поневоле простодушным и грубоватым ответом профана, потому что я совсем не владею терминологией, принятой у знатоков искусства.

Они заговорили бы о колорите, о настроении и так далее и, вероятно, были бы правы.

Я же могу только просто высказать свою простую мысль. Для меня разница между Беклином и Штуком, с одной стороны, и обыкновенною не «модерною» живописью, с другой, — та, что у Беклина и Штука другие краски. У них голубой или красный цвет не похож на голубой или красный цвет у других художников; они составили его из другой смеси.

Для всего — для человеческого тела, для неба, для зелени — они употребляют не те краски, к которым мы привыкли.

Я, конечно, не говорю, что в этом вся разница. Я не упускаю из виду ни новизны замыслов, ни символики, ни особенностей в трактовке сюжета.

Но мне совершенно ясно, что если бы ко всему этому не присоединились у Беклина и Штука другие краски, Беклин и Штук не произвели бы на меня впечатления; ибо и прежде случалось мне наталкиваться на картины, которые казались мне оригинальными по замыслу и обработке сюжета, но не представляли ничего оригинального по краскам, и я проходил мимо них равнодушно; а для того чтобы действительно непосредственно заинтересоваться этими картинами, мне нужно было увидеть их воспроизведенными в гравюре.

Поэтому для меня в данном случае важна только разница в красках, разница самая простая, самая материальная, заключающаяся, по-видимому, в том, что другие художники для получения краски А смешивают В, С и D, а Беклин смешивал С, Е и F, и получался совсем иной оттенок.

И благодаря этому иному оттенку всякой краски такие картины бросаются в глаза, в то время как другие, окрашенные по шаблону, примелькались.

В чем же дело? Может быть, краски Беклина и Штука правдивее, ближе к природе, чем краски академической манеры?

Я не думаю. Вся, если можно так выразиться, «совесть моего зрения» протестует против такого заключения.

Голубое небо и зеленая вода у Беклина и человеческое тело у Штука окрашены очень эффектно и красиво, но, безусловно, не похожи на настоящие небо, воду и тело.

Как портниха, сравнивая два оттенка материи, прикладывает кусок к куску, так попробуйте мысленно приложить полотно Беклина или Штука к оригиналу того, что на них изображено, — например, к настоящему телу или настоящей зелени, — и вы сразу поймете разницу.

Но значит ли это, что академические краски правдивы и похожи на краски природы?

Нисколько не значит.

К академическим краскам в живописи мы все очень привыкли, сжились с ними и приучились считать их за настоящие.

Но это большой предрассудок.

Всмотритесь хорошо в самую прославленную картину академической манеры, и вы ясно увидите, какая огромная разница в окраске между ее небом и настоящим небом, между ее лесом и настоящим лесом.

Скульптура, давая только пластические формы, абсолютно правдива.

Живопись может быть правдива по рисунку, по контурам, но она всегда лжива и условна по краскам.

Почему?

Потому, без сомнения, что краски природы невоспроизводимы, что полное тождество между палитрой и природой немислимо, что подражание в красках может быть только приближительным и условным.

Ошибочно было бы думать, что человек не может удовлетвориться условным.

Напротив, человек совершенно способен любоваться условным и восклицать:

— Как похоже! Точь-в-точь настоящее!

Но разница в том, что действительно настоящим он будет без усталости любоваться до скончания веков.

А условное, рано или поздно, должно устареть; и прежде чем люди осознают, что оно устарело, оно уже перестанет непосредственно нравиться им.

И им придется заменить старую условность какою-нибудь новой.

Так оно случилось с живописью.

Ведь было время, когда картины хороших мастеров вызвали восторг всякого, по крайней мере, интеллигентного человека, а может быть, и простонародья.

Теперь я знаю среди интеллигенции страшное множество людей, которые так же, как я, скучают в лучших галереях — и сами на себя за это сердятся.

Эти же люди способны от всего сердца залюбоваться красивым пейзажем. Значит, очарование краски им не чуждо.

Но покажите им этот самый пейзаж на полотне лучшего художника, и они останутся холодны. Полотно их не захватит, не убедит. Им ни на миг не покажется, что это правда.

Я не могу объяснить это все иначе как тем, что старая условность краски отжила и больше не удовлетворяет.

Жизнь потребовала новой условности, свежей, еще не приевшейся.

Оттого и явились новые мастера, отыскавшие новые краски.

Эти новые краски тоже только приблизительны, тоже условны — не менее условны, чем академические, — но они новы.

Они еще не примелькались, не приелись и оттого способны создать ту иллюзию, которой не создают уже примелькавшиеся краски академического шаблона.

У нас с вами, конечно, и эти новые краски не вызовут иллюзии, потому что для нас они слишком новы.

Старое нам уже надоело, но мы еще от него не отвыкли и поэтому органически не можем всецело и непосредственно проникнуться новым.

Но, несомненно, для будущего поколения, для детей наших эта новая школа, которая к тому времени, должно быть, зрело разовьется и встанет на ноги, будет вполне ко времени, вполне

по плечу, будет им близка и родственна, как была близка и родственна живопись XVI века людям XVI века.

Наши дети уже не будут скучать в галереях, как скучаем мы, которых старое искусство уже не трогает, а новое еще пугает.

Они просто и почтительно, нисколько не умаляя величия, поставят крест над старой живописью — и зато к новой живописи будут относиться с той же непосредственной теплотою, с какой мы теперь, например, относимся к музыке.

Так опять произойдет ныне расторгнутое сближение живописи с душою человека, пока не завершится новый круг развития и эта новая условность в свою очередь не устареет.

Altalena

Одесские новости. 5.09.1903



Вскользь

ОБ УЧИТЕЛЬНИЦАХ

Рим, 13 сентября

Не знаю, повсюду ли оно так, но в России, несомненно, главный нерв городского просвещения есть женщина или даже, скорее, барышня.

Мужчина дает уроки между прочим.

Или он еще сам учится — и тогда уроки для него только временное подспорье, которое он бросит, едва получит диплом или поступит в контору.

Или он уже имеет другое постоянное занятие, но зарабатывать недостаточно — и тогда для него уроки опять-таки временное подспорье, которое он бросит, как только удастся переменить нынешнее место на более выгодное.

Женщина дает уроки *an und für sich*¹. Для нее это не временная замена ремесла, а само ремесло.

Ремесло в хорошем смысле этого слова, потому что она чаще всего к нему привязана.

Даже выходя замуж, она нередко продолжает вести уроки, если не платные, так даровые; но замужние все-таки представляют меньшинство.

Главная масса учительниц — барышни.

¹ Сама по себе; здесь: как самоцель (нем.).

Каждое лето женские гимназии выпускают новый прилив образованных девушек, из которых 75 на сто будут учительницами.

Они разбредаются по разным углам и пропадают из виду; мы не знаем, куда швырнула судьба каждую из них, но можем быть спокойны: они делают свое дело.

Одна где-то там проповедует таблицу умножения; другая где-то там исправляет ошибки в диктовке; третья где-то там рассказывает о монгольском иге.

Взятое поодиночке, все это очень мелко и кропотливо; но если подвести сумму, то ведь получится нечто громадное.

Получится картина колоссального роя пчел, разносящих плодотворные пылинки по сотням, тысячам, десяткам тысяч цветов.

Получится картина целой огромной армии духа, совершающей свой подвиг изо дня в день. Если бы вдруг эта армия исчезла, для общества это было бы ударом грома, крахом, от которого мы завопили бы не своим голосом и не скоро бы оправились.

Да я даже и не представляю себе, какими средствами можно было бы оправиться от такого краха, если бы он только мог произойти.

Исчезновение этой летучей партизанской армии девушек-учительниц отбросило бы страну лет на пятнадцать назад, если не больше.

Та самая барышня-учительница, с которой мы так свыклись, которую мы сплошь и рядом даже третируем, есть на самом деле учреждение, социальное учреждение гигантской важности; и это следовало бы помнить.

Но я не для того, конечно, повел об этом речь, чтобы попытаться внушить публике почтение к девушке-учительнице.

Я понимаю, что это было бы бесполезно.

Я, смею сказать, хорошо знаком с публикой. Если вы ей укажете господина, стоящего справа, и господина, стоящего слева, и прибавите:

— Тот, который справа, есть один из семи мудрецов, а тот, который слева, есть дурак, единственный в своем роде.

То публика бросится налево, смотреть дурака.

Потому что он — в своем роде единственный, а мудрецов все-таки целых семь штук:

— Не ахти какая редкость!

Такова публика теперь, и такова она будет еще долго-долго — пока не настанут совсем другие времена.

И так как барышень-учительниц даже не семь, а гораздо больше, то я считал бы потерей времени внушать нашей публике должное отношение к ним.

Я вообще не ради публики заговорил об учительницах, а ради того интереса и той ценности, которую они сами представляют.

Потому что на них, повторяю, надо смотреть как на целое учреждение, как на особый «институт», как на *силу*, прогрессивную *силу*, которая многое может, если только хочет и знает.

Справедливейшая идея равна нулю, когда нет специальной силы, которая могла бы провести ее в жизнь; и эта своеобразная армия из девушек есть именно одна из таких сил, которые способны проводить идею в жизнь, претворять теорию в практику.

А ведь теория нуждается, сильно еще нуждается в том, чтобы пройти в жизнь и стать практикой.

Особенно теория науки воспитания.

Как теория она уже давно шагнула далеко вперед.

Она уже давно осудила многое в старой системе воспитания или, вернее, целиком осудила всю старую систему воспитания и выдвинула свою, новую.

Но на практике новой системы воспитания все еще не видно, а старая по-прежнему царит — может быть, в немножко смягченном виде.

Вывелись из употребления крайности старой системы, и только.

Но ведь не против крайностей, а против всего ансамбля старой системы восстает современное сознание, против ее первых основных положений и предпосылок!

Если новая теория воспитания до сих пор не стала практикой, — это, я думаю, отчасти потому, что теоретики обращались со своими призывами в пространство, в публику, а не обращались прямо и непосредственно к тем, кому принадлежит фактическая власть над практикой воспитания — к учащему сословию.

А среди этого сословия в настоящее время самым гибким, самым чутким и воспитательным элементом является, несомненно, эта девичья молодежь, которая захватила в свои руки

чуть ли не монополию городского частного образования и на плечах которой держится огромное большинство всевозможных школ.

К ней, к этой молодежи, должен обращаться тот, кто мечтает о лучших методах школьного воспитания; ей должны посвящаться книги и статьи по этому вопросу, потому что армия девушек-учительниц и есть, в силу вещей, тот класс, который может непосредственно внести свежую струю в старое болото...

Но когда я однажды говорил обо всем этом с одной из них и доказывал изо всех сил, что необходимо исправить то-то и то-то, она остановила меня вопросом:

— А вы по какому праву даете нам указания? Разве вы — педагог? Мы-то, учительницы, хоть с практикой дела знакомы, а у вас и этого знакомства нет. Какую же ценность могут иметь ваши советы?

Это, в самом деле, вопрос.

Я никогда не давал уроков. Впрочем, нет: один урок у меня был.

Я тогда состоял в пятом классе; Трошка, наш инспектор, предложил мне готовить одного хлопца в первый.

Но этот хлопец решал задачи на все четыре действия гораздо лучше меня; я не знал, что мне с ним делать и, не придумав ничего более подходящего, стал помаленьку рассказывать ему на уроках содержание романа «Три мушкетера». Таким образом проходил час, и я мог со спокойной совестью отпрапляться восвояси.

Конечно, через месяц мне отказали и даже не доплатили 5 рублей, а больше уроков у меня не было.

Так что с этой стороны я, пожалуй, не имею права голоса в вопросах педагогики, потому что у меня нет опыта педагога.

Но ведь зато у меня есть другой опыт.

Ибо хотя я не учил, зато я учился; хотя я не воспитывал, зато меня пытались воспитывать; и я хорошо помню, что это было такое.

Мне говорили «ты», меня заставляли разговаривать стоя и держа руки по швам, и я стал завидовать старшим, потому что им никто не говорил «ты». Мне ставили отметки, и я опять завидовал и возбуждал зависть в других. Мне делали несправедливые выговоры и требовали: не рассуждать! — и я привык таить злобу в себе. Меня окружили со всех сторон запрещениями, и я научился ловко обходить их обманом. После всего

этого мне предписывали выказывать почтение, и я набил руку в притворстве. Если из меня в конце концов не вышел мерзавец, то это уже чисто моя личная заслуга, потому что в течение многих лет надо мною специально работали, чтобы внушить мне зависть, ненависть, мстительность, лживость, мошенничество и притворство.

О, я имею неоспоримое право голоса в вопросах воспитания.

Есть у Крылова басня о том, как звери собрались на совет и выбирали воеводу для овец и выбрали волка.

Если бы спросили овец, то, пожалуй, волка бы и не выбрали, но «овец-то и забыли».

Кажется, еще Писарев применил эту басню к педагогической науке, но с тех пор ушло сорок лет, а басня все еще подходит.

Так нельзя. Голосу овец должно принадлежать первое место, потому что в них-то и все дело, ради них и огород городят, и капусту сажают.

Кто хорошо помнит те годы, когда он был из овец, и не забыл всего, что ему довелось тогда вытерпеть, и успел все это впоследствии обдумать и обмозговать, — тот уже не посторонний человек в деле педагогики, которого можно было бы отогнать окриком:

— Отойди, профан.

С опытом и голосом такого человека не грех посчитаться; так я полагаю и в этом убеждении спокойно перейду к тому, ради чего я, собственно, заговорил о девушках-учительницах.

Факт неопровержимый: все прекрасные реформы, давно внесенные в теорию школьной педагогики, остались на практике мертвой буквой.

И это не только в казенных учебных заведениях, — которых я здесь совершенно не намерен касаться, — но даже в тех частных и общественных школах, которые представляют драгоценнейшие плоды личной или коллективной инициативы.

Я не постоял бы за подробностями.

Я мог бы указать на множество процветающих пережитков, начиная хотя бы с балльной системы и кончая даже дико бессмысленными наказаниями, которые все еще кое-где практикуются.

Но все эти указания были бы совершенно лишними, потому что нет, я думаю, ни одной молодой учительницы, которая не знала бы, о чем идет речь.

Почти каждая из них, начиная свою педагогическую деятельность, мечтает внести в нее новые, хорошие принципы чуткости, гуманности, уважения к ребенку.

И каждой из них на первых шагах уже пришлось, без сомнения, столкнуться с рутинной, с теми самыми пережитками, о которых я говорю, и почти с болью в сердце печально изумиться: — Неужели тут все еще по-старому?

Ибо вместо чуткости оказался шаблон, вместо гуманности — 4 за поведение, вместо уважения к ребенку — правило: — Не рассуждать!

Может быть, иная и пыталась переделать кое-что по-своему. Но ведь это оказалось так трудно.

Я знал одну молодую учительницу, которая, только поступив в школу, задумала ввести самую маленькую реформу.

До нее приготовишкам говорили «ты»; она решила быть с ними на «вы».

В школе эта выдумка вызвала большие протесты.

— Зачем? С какой стати?

— Да просто потому, что я сама наблюдала, как на самолюбивых детей тыканье действует неприятно и даже угнетающе. И кроме того, я не вижу никакого разумного основания говорить чужим детям, хотя бы и самым маленьким, «ты». На такую примитивную вежливость в наше время имеют право все люди, не различая ни чина, ни возраста.

— Но разве приготовишки понимают разницу между «ты» и «вы»?

— Конечно. Они знают, что товарищу можно сказать «ты», а учительнице нельзя.

— Да ведь на то и учительница!

— Нельзя приучать детей к такой точке зрения. Потом они будут тыкать извозчику и прислуге и скажут: на то я барин, а ты извозчик. Напротив, с детства надо приучать их быть одинаково вежливыми со всеми без различия.

— Но «вы» отдаляет, а «ты» сближает.

— А я думаю, что это басни. Будьте ласковы с ребенком на «вы», и он вас полюбит; крикните ему «ты дурак», и он убежит. Тон делает музыку...

Словом, резоны были все налицо; но барышню, тем не менее, честью попросили не заводить новизны.

— Помилуйте, мы тут и в первом классе, и во втором говорили «ты», а вы хотите с приготовишками церемониться. Это неудобно, это подрывает авторитет.

Барышня, конечно, сдалась; и так во всем.

Лучшие книги и собственное сознание твердят одно, а на практике все остается по-старому.

А ведь это уродливо.

Именно потому уродливо, что речь идет не о казенной, а о частной школе.

Кому же идти вровень с прогрессом, как не частной школе? Где же и найтись полю для хорошего опыта, как не в частной школе? Кто же может наконец обновить затхлые системы воспитания, если не частные школы, более свободные в своем самоуправлении и всегда богатые молодыми, свежими, гибкими силами?

А между тем даже с такой беспардонной нелепостью, как переходные экзамены, частная школа не сумела или не догадалась покончить, покамест казенная школа не взялась за ум и не опередила ее.

Что же это такое? Если частная инициатива в таком дорогом деле ничего не может без казенной указки — тогда для чего же она, эта частная инициатива?

Для всякого рассудительного человека ясно, что, если частные учреждения чем-нибудь и дороги, то именно своей большой податливостью духу времени.

Но эта податливость духу времени становится прямо долгом, когда такое частное учреждение находится в руках молодежи. А разве частные школы не в руках молодежи?

И если не эта молодежь, не эти трудящиеся девушки возьмут на себя обновление школьной практики, то кто же?

Ведь кроме них, некому. Кроме них, нет подходящей силы, способной и могущей внести в школьные закоулки свежий приток современного воздуха.

Мне кажется, что, примиряясь, как теперь, с рутинной школьной педагогикой, опуская руки сейчас же после первого опыта (если не *до* первого опыта), эти легионы девушек-учительниц совершают тяжелый проступок, потому что покидают такое поле, на котором, кроме них, некому бороться.

Кроме них, нет больше никого, кто мог бы взять на себя задачу действительно построить новую школу на новых началах чуткости, гуманности и уважения к ребенку.

Значит, перед ними остается выбор: или махнуть на все рукой и раз навсегда решить, что нет и не будет никакого прогресса в школьном деле, или, не робея, взвалить подвиг на свои плечи.

На это, правда, есть ответ:

— Трудно.

Я в данном случае положительно не понимаю этого слова, которое так часто слышал, и думаю, что произнести его можно, только не давая себе отчета в своих действительных силах.

Класс девушек-учительниц сам еще не знает себе цены.

Есть старинное выражение: имя им легион. Я не знаю более подходящего случая для применения этой поговорки.

Ведь учительница, барышня-учительница, стала в настоящее время легионом в полном смысле этого слова. Она проникла во все углы. У нее в руках несчетное множество кафедр. Огромная половина, если не все три четверти того, что называется народным просвещением, очутилось у нее во власти. Если вдуматься во всю громадность этой власти, то ведь голова закружится!

У Наполеона, когда он начал свою карьеру, не было такого многочисленного войска...

Я не говорю, конечно, что это будет легко. «Легко» ничего не дается. «Легко» только бездельничать.

Обновление школьной практики встретит множество препятствий, и препятствия, может быть, явятся с самой неожиданной стороны — со стороны того именно общества, в интересах которого и затеяна вся эта работа. Придется вести войну и с недоверием родителей, и с распущенностью, на первых порах, детей, привыкших к другому стилю; и все это будет, конечно, очень неприятно и горько, пока не уляжется, не «образуется» и не войдет в колено.

Но ведь третьего выбора нет: или, повторяю, взять подвиг на себя, или поставить крест над прогрессом школьного дела.

Потому что, кроме этих амазонок духа, некому; и если они откажутся от пионерства, то школьному болоту суждено болотом остаться на неопределенные годы вместо того, чтобы превратиться в светлый, живой поток и оздоровить всю природу вокруг себя.

В кропотливой борьбе за новшества будет много неприятного и горького для молодых женщин, отдавших себя этому делу; но я думаю, что терпеть, не протестуя, застой и упадок родного, любимого дела — это еще неприятней и горше.

Altalena

Одесские новости. 6.09.1903



Вскользь

О БЕЗДЕНЕЖЬЕ

Рим, 15 сентября

Надо воздать себе полную справедливость: я всегда умел великолепно устраивать свои материальные дела.

Я и теперь уехал из Швейцарии, не дождавшись денежного письма, и оставил виновникам на почте римский адрес:

— Будьте, мол, любезны переслать.

Не знаю, в чем дело, но они все еще не переслали.

Я каждое утро лечу стрелой на почту и трогательным голосом спрашиваю:

— Посмотрите, пожалуйста, хорошенько: нет ли денежного письма?

И мне аккуратно подают номер «Одесских новостей», а денежного письма все нет.

Я люблю печатное слово, но, несмотря на это, тем не менее, все-таки, при всем том, — однако предпочел бы денежное письмо.

Положим, я привык.

В этом славном старом городе я столько раз во дни оны по целым неделям «ожидал денежного письма», что для меня это состояние именно здесь не представляет ни новизны, ни ужаса.

Тем более что меня здесь уже с этой стороны знают.

Хозяйка моя добрая женщина. В былое время она столько раз собиралась выселить меня вон за то, что у меня ночевали неподходящие лица, но всегда по доброте душевной прощала; и так как я теперь стал солиден и благонравен, она и тем довольна, и не торопит меня с уплатой за комнату, и каждый вечер приходит ко мне попить вместе кофе и поболтать о папе Сарто.

Сор Ченчо, который сидит на площади Барберини, тоже старый знакомый, тоже добрый малый, и охотно чистит мне каждое утро башмаки в кредит и каждый вечер отпускает мне в кредит же «Трибуну» и «Avanti».

У Араньо меня тоже знают. Когда я пришел, кругленький лысый cameriere¹ Атилио улыбнулся и сказал:

¹ Официант (итал.).

— А! С приездом.

И тотчас же сообщил мне, что такой-то уехал на Ривьеру, а такой-то пошел в солдаты, а такой-то на днях женился и пил здесь сегодня утром кофе, но с другой дамой; а я тут ввернул:

— Кстати, Аттилио, я эту неделю не плачу...

Он кивнул головой, как будто хотел сказать:

— Помилуйте! Это само собой понятно — мы вас хорошо знаем...

Одно неудобство — цирюльня. Сор Гжиджи, хозяин, тоже знает меня и потому терпит; но подмастерье у него новый, который никак не может понять, как это я не даю ему ничего на чай, и оттого, мерзавец, выбирает самые тупые бритвы. Я, впрочем, безнаказанно царапать себя не дам и потому, когда его нет, прозрачно намекаю хозяину, что его подмастерье, по-видимому, социалист.

Таким образом, жить все-таки можно; особенно, ежели привычка.

Я вам даже скажу, что, раздумывая на эту тему (так как вечером я не могу пойти в театр, то сижу обыкновенно в аллеях Пинчо и думаю), я стал открывать в безденежье приятные стороны.

Прежде всего, уже одно то, что время безденежья есть единственное время, когда человек живет по средствам.

Помню, в былые дни, когда у меня здесь было 10 лир в кармане, я никак не мог устоять против тысячи искусов.

То я, бывало, совершенно как-то бессознательно возьму да куплю новый галстук, хотя в старом, собственно говоря, не было еще почти ни одной большой дырки.

То я, бывало, вызову из мастерской Ольгетту и уговорю ее поехать на извозчике за город, хотя и ей надо работать, и у меня три лекции, и извозчик и загородная закуска стоят солоно.

То вдруг, ни с того ни с сего, бывало, зайду в тратторию и пообедаю, хотя обедал не дальше, как накануне, и по расписанию должен был еще ждать до завтра.

Ничего подобного не могло быть во время безденежья.

Когда у меня не было ни одного гроша, вы могли силой тащить меня в тратторию, Ольгетта могла сколько угодно манить меня пальцем из окошечка мастерской, — я оставался непреклонен и соблюдал экономию.

Это одна приятная сторона, — так сказать, прозаическая.

Есть и другая сторона, — так сказать, поэтическая.

Ибо я нахожу, что безденежье представляет из себя единственный романический и романтический момент, который еще уцелел в наше мещанское время.

Рассудите.

Разве не оттого стала жизнь так прозаически скучна, что мы слишком гарантированы от всяких приключений?

Приключение есть нечто связанное с сознанием опасности, нечто волнующее, побуждающее напрягать все силы, изворачиваться, придумывать, рисковать. Приключение заставляет жить полной жизнью. Оттого в старину людям жилось веселее.

Но какие же могут быть приключения в наше время?

Разбойники? Они упразднены.

Жену выкрадут? Вряд ли найдется такой добрый человек.

Часы украдут? У меня нет часов. Жена не дала мне их в дорогу: я, говорит, тебя тоже знаю...

Мы живем благоустроенно и благопристойно. У нас улицы гладко вымощены, на каждом углу по фонарю и по городовому. Нет больше приключений!

И жизнь была бы совсем, как тарелка, если бы не моменты безденежья.

Это — единственные мгновения, заставляющие вас встрепетаться.

Вы начинаете бороться. Вы напрягаете всю вашу изворотливость и изобретательность. Вы чувствуете, что вам никто здесь не поможет, никто не вывезет — ни извозчик, ни даже городской, что ваша судьба зависит только от вашей ловкости, — а ведь в этом и состояла главная прелесть всех настоящих приключений!

Если мне когда-нибудь жилось интересно, с полным напряжением мысли и воли, только в периоды круглого безденежья.

Однажды я вернулся вечером домой и застал у себя цветочницу Наннину.

— В чем дело?

Оказалось, что она убежала из дому без сантима и не хотела вернуться к своим.

Если бы у меня были деньги, я бы мог повести ее в остерию и угостить, а потом нанять для нее комнатку, и больше ничего.

Но у меня ничего не было, а все-таки надо было накормить и устроить Наннину.

И оттого я сразу очутился как бы на войне. Мне понадобились все мои силы и вся моя хитрость.

Я наловчился моментально прятать Наннину в шкаф, когда хозяйка почему-либо стучалась ко мне.

Я заложил пиджак и ходил дома и на улице в пальто.

Я, не моргнув, написал статейку о хлебной торговле; и я поднял на ноги четырех депутатов крайней левой для того только, чтобы они убедили пятого депутата крайней правой и редактора консервативной газеты заплатить мне за эту статейку.

Она пробыла у меня неделю, а потом ее все-таки поймали и заперли дома; и всю эту неделю я жил, как под огнем, и когда все это кончилось, мне стало жаль и скучно.

А ведь если бы не безденежье, то мне и всю эту неделю было бы скучно, потому что Наннина к тому же была очень глупа.

И это вполне понятно и даже поддается научному обоснованию.

Ибо причина того упадка поэзии, который мы переживаем, есть, несомненно, власть денег.

Что гонит прочь поэзию?

Презренный металл.

Ясно, что при отсутствии презренного металла должна явиться поэзия.

Безденежье — это род оазиса на унылом фоне капиталистического строя, *status in statu*¹, последнее княжество красивой романтики среди унылой империи кредитного билета.

Altalena

P. S. Только что с почты. Денежное письмо пришло.

Все хорошо, что хорошо кончается.

Я, впрочем, не отказываюсь от всего вышеизложенного, но, при всем этом, однако, тем не менее, все-таки...

Alt.

Одесские новости. 7.09.1903

¹ Государство в государстве (*лат.*).



Вскользь

ОТТОГО И СКУЧНО

Рим, 17 сентября

На днях один из моих товарищей по газете писал о том, как его попутчица в вагоне железной дороги, ехавшая в деревню, сетовала о вынужденной разлуке с Одессой.

Попутчица говорила, что в Одессе так интересно: и театр, и еще театр, и четверги, и вообще есть где побывать и кого послушать.

Но одновременно с этим номером газеты я здесь получил письмо, из Одессы же, от доброго знакомого.

Добрый знакомый пишет:

— Тоскливо у нас в Одессе.

И не прибавляет никаких доказательств, так что, очевидно, считает этот факт общеизвестным.

Со стороны может показаться странным такое противоречие, тем более что мой добрый знакомый есть приблизительно человек тех же интеллигентных вкусов, как и та попутчица, насколько можно судить о ней по фельетону.

Особенно же странно то, что оба правы.

Попутчица права, потому что за последние годы Одесса, действительно, оживилась, как давно уже не бывало.

Обыкновенно провинция живет только отголосками столичной умственной моды — запоздалыми и ослабленными, — и так всегда, конечно, практиковалось и в Одессе.

Но последнее время представляет исключение и в этом отношении; умственные интересы, оживившие наш город, возникали независимо от одновременных интересов столицы и да же были на них совсем не похожи.

Эта доля самостоятельности — вещь приятная и сама по себе, и как добрый признак. Опираясь на этот признак, я, например, думаю, что лет через пять Одесса завоюет себе большое положение большого и независимого умственного центра.

Попутчица моего товарища по газете была права.

Но добрый знакомый, которому в Одессе тоскливо, тоже прав.

Он-то, собственно говоря, и выражает всеобщее мнение.

Я не знаю в Одессе ни одного интеллигента, который не жаловался бы на одесскую скуку; и не встречал ни одного приезджего, который через месяц не завопил бы:

— Как у вас в городе скучно!

И взаправду скучно. Я и сам вижу, что скучно: приходит вечер, хочется отвести душу — и оказывается, что некуда пойти, не с кем сойтись и поговорить.

Нету своего человека.

В этом секрет той странности, что и попугайца права, и мой знакомый прав, — что одесская жизнь стала гораздо интереснее и разнообразнее, а живется людям в Одессе все-таки скучно.

Ибо для того, чтобы людям жилось занятно, недостаточно устраивать спектакли и концерты.

Спектакли и концерты важны потому, что они дают впечатления.

Но ведь недостаточно живому человеку воспринимать только впечатления.

Впечатления нужны не сами ради себя, а для того, чтобы оживлять и оплодотворять деятельность человека.

Выражаясь конкретно — впечатления нужны не для того, чтобы мы их уложили в коробочку памяти и засунули подальше без всякого употребления, но для того, чтобы у нас было о чем говорить.

Если жить без всяких внешних впечатлений, без спектаклей и всего прочего, то вечером, собравшись в кружок, людям не о чем будет говорить между собой, и они соскучатся.

Но и наоборот.

Пусть будут у человека десятки ярких впечатлений, но если ему не с кем ими поделиться, не с кем поговорить о них по душе, он тоже соскучится.

Вы когда-нибудь пробовали путешествовать в одиночку?

Нет ничего невыносимее такого путешествия, хотя бы вы проезжали по самым любопытным уголкам этой планеты.

Люди со стороны думают, что это очень занимательно:

— Вчера в Киеве, а сегодня уже в Петербурге: какая живая смена впечатлений! Как это должно быть интересно!

Со стороны оно верно, а на самом деле неверно.

Потому что, пока осматривал Киев, было, действительно, интересно; и пока будешь осматривать Петербург, тоже не соскучишься.

Но ведь Киев и Петербург — станции; а между станциями лежит около 24 часов молчаливой и одинокой дороги, и за эти 24 часа можно с ума сойти от скуки.

Путешествовать хорошо только в компании. Тогда вы на станции запасетесь впечатлениями, которые освежат и оживят вас; а потом, оживленный и освеженный, вы сможете всю длинную дорогу до следующей станции оживленно и освеженно беседовать со своими людьми.

Это очень важно, потому что в нашей жизни главный элемент есть длинная дорога от станции до станции, а не остановки на станциях. Впечатлений мало, а жизнь велика. Даже при самом чрезвычайном обилии впечатлений — их все-таки немного, а жизнь есть долгая история.

Впечатления только заряжают человека. Но разве назначение батареи в том, чтобы быть заряженной? Ее только для того и зарядили, чтобы она функционировала.

Недостаточно наполнить кошелек человека монетами. Надо дать ему возможность пустить эти монеты в обращение, иначе он будет голодать с полным карманом золота.

Недостаточно организовать правильную доставку впечатлений: надо устроиться так, чтобы впечатления могли идти впрок, могли функционировать.

А для впечатлений «функционировать» значит то же, что и для монет: пойти в обращение.

В Одессе уже организована *доставка* впечатлений. Она уже и теперь организована недурно и будет все улучшаться. Будет все больше и больше хороших спектаклей и всего прочего.

Но *сбыт* впечатлений в Одессе запущен и плох.

Наши впечатления не идут впрок, не уходят в обращение, а залеживаются в нас без движения и порождают скуку.

Потому что у нас, пожалуй, есть что посмотреть или послушать — значит, *есть о чем* поговорить, но *не с кем* поговорить.

Одесситы живут во многолюдном городе как будто в пустыне, каждый в одиночку, без кружка своих людей, с которыми можно было бы разговаривать и переварить собственные и чужие впечатления.

Каждому из вас хорошо знакомо это чувство: когда подходит вечер и не собираешься ни в театр, ни на концерт, лицо складывается в кислую гримасу, и сам себе жалуешься:

— Черт знает что: негде и не с кем провести вечер.

Только вчера смотрел интересную пьесу. Можно было бы поговорить, поспорить — да не с кем. «Не с кем» не в том аристократическом смысле, что не всякий, мол, ближний достоин умных разговоров, а в том самом простом количественном смысле, что и ближнего-то никакого поблизости не имеется.

Если права и та попутчица, и мой знакомый, если в Одессе, действительно, с одной стороны, видно значительное оживление интеллигентного существования, а с другой стороны, интеллигенту все-таки скучно, — то причина та, что у нас пока есть только источники впечатлений, но нет правильного потребления; есть театры, концерты, но *нет своего кружка*, тесного, домашнего, ежедневного кружка.

Я уже раза два писал об этом и теперь пишу, и, вероятно, еще не раз придется писать, потому что нельзя, живя всегда в Одессе, игнорировать эту ненормальную скуку здешней жизни.

Просто уж оттого нельзя, что решительно *все* на нее жалуются и *все* ею томятся.

Мы так устроены, что умудряемся привыкнуть даже к хроническому насморку и как-то совсем упускаем из виду, что это — болезнь, от которой надо лечиться; и точно так же мы привыкли скучать и не бунтуем против этой привычки.

Но ведь так нельзя. Жаловаться на скуку и не подумать, как бы ее вытеснить, — ведь это, наконец, глупо. Или борись, или примиись.

И мне всегда казалось и кажется, что средство вытеснить эту скуку — в наших руках и что оно ясно для всякого, кому ясна причина этой скуки.

Я вижу причину ее в отсутствии *своего кружка* и не могу не прибавить, что это объяснение представляется мне совершенно бесспорным, очевидным до полной осязательности, да и не моим лично, а общеизвестным и общепринятым, потому что с кем и когда я ни заговаривал о скуке, мне всегда отвечали:

— Что ж поделаете, когда не с кем живым словом перекинуться?

Я об этом, конечно, не с бездельниками говорил, потому что бездельники скучают прежде всего от безделья. Я вообще здесь имею в виду скуку человека порядочного, занятого, работающего, которому именно *в часы отдыха* не с кем поговорить по душе.

Вывод ясен. Нужен *свой кружок*.

Конечно, даже со своим кружком будет скучно и «тоскливо» в каком-нибудь свином углу, где нет ни одного источника впечатлений, которые можно было бы в этом своем кружке вентилировать и переваривать.

Но, с другой стороны, создавайте огромные театры, выставки, панорамы, наполните весь город звоном концертов, пустите в ход все источники впечатлений, какие только можно выдумать, — и жителям будет все-таки скучно, и все-таки оживление останется только внешним, а внутрь и вглубь не пройдет, — пока человек будет жить в одиночку, без тесной небольшой группы вокруг себя.

Поройтесь в своих воспоминаниях, и если у вас было когда-нибудь живое и интересное время, — вы констатируете, что это было именно тогда, когда вокруг вас был тесный и теплый кружок своих людей.

Надо жить кружками. Не «кружками самообразования», которые были когда-то в моде, а просто группой, компанией тесных знакомых, которые собирались бы вместе друг у друга и помогали бы друг другу «разряжаться» от впечатлений.

Altalena

Одесские новости. 10.09.1903



Вскользь

О КАФЕШАНТАНЕ

Рим, 19 сентября

— Фи! Что за тема? — обидится читатель.

Я на этот вопрос отвечу ему не прямо, а несколько издалека.

После одного фельетона, посвященного умиравшему папе Льву XIII, кто-то прислал мне письмо укоряющего содержания.

«Вы говорите о деятельности папы в таком тоне, точно вам очень дороги интересы Святого престола, — писал автор. — Я нахожу идеалы католицизма реакционными и думаю, что и вам они представляются такими. Поэтому и вы, и я должны быть довольны, если дела католической церкви ведутся неудовлетворительно. Чем хуже для нее, тем лучше для нас как противников ее реакционного идеала.»

Если, по-вашему, папа Лев ничего не сделал для блага римской церкви, то вы должны, по-моему, похвалить его за это, а не осуждать».

Письма этого, конечно, я с собою не захватил и цитировать не могу: передаю только содержание.

Тогда я не ответил на это письмо, потому что не было адреса.

Но если бы адрес был, то я представил бы автору приблизительно следующие соображения.

Действительно, идеалов католической церкви я почти ни в чем не разделяю.

Но это не значит, что «чем хуже для нее, тем лучше для меня».

Напротив, я желал бы, чтобы ее развитие шло как можно правильное и энергичнее.

Есть много учений, с которыми я безусловно не согласен, которыми я часто даже враждебен.

Но я вовсе не нахожу для себя выгодным, чтобы эти учения чахла и вяли.

Напротив, я считаю для себя выгодным, чтобы они процветали и крепились.

Ибо надо смотреть на свою выгоду широко, а не помещански, и надо понимать, что сильный конкурент лучше слабого конкурента.

Потому что, если в городе один крупный торговец, а все остальные конкуренты — мелочь, то в этом городе нет никакого торгового оживления. Это дохлый город.

Живой и жизнеспособный город будет тот, где каждый конкурент — сила, каждый ведет свое дело с умением и с успехом. В таком городе стоит жить и работать!

В таком городе хотел бы жить и я.

Если бы у меня была школа, я бы охотно перенес ее в такой город.

Я построил бы свой школьный дом среди других школ и радовался бы, видя, что в эти другие школы валит много народу, хотя бы там учили совсем не по-моему.

Ибо, если бы все учились по-моему, это была бы не жизнь, а застой, хотя бы мое учение и было сама вечная правда.

Но если много народу валит в чужие школы, это хороший знак: это знак, что город живой и любознательный, и, следовательно, есть надежда, что и ко мне в школу пойдут люди.

Я полагаю, что не вялостью наших противников совершается прогресс.

Он есть плод энергии и только энергии. Чем больше энергии развивает человечество, тем лучше для прогресса.

Пусть работают энергично мои противники, и мы попробуем работать энергично: лишь бы жизнь не застаивалась, а уж там прогресс сам покажет, кто прав и кто неправ.

Только мелкий лавочник может желать застоя в делах своему конкуренту.

Но человек зоркий должен понимать, что чем больше оживления вокруг, тем лучше для всех и для него.

Есть, конечно, учреждения, созданные нарочно для того, чтобы мешать, тормозить и усыплять, без всякой другой созидательной цели. Этим учреждениям, понятно, я желаю гибели.

Но всяким учреждением, у которого есть хоть искра положительного идеала, я дорожу, хотя бы его идеал и казался мне нежелательным; сочувствую его процветанию и сожалею о его довременном упадке.

Так ответил бы я на то письмо, если бы ответил, и тогда, я думаю, автор понял бы, что мне Гекуба.

Но читатель, прочтя этот проспект моего ответа, имеет право спросить:

— А какая же тут, собственно, связь с кафешантаном?

Для меня — большая.

Будучи не раз из читательской среды жестоко упрекаем за легкомысленное и безнравственное направление мыслей, желаю впредь соблюдать осторожность.

И не хочу приступить к кафешантану без предупреждения.

Можно не быть католиком и благожелательно интересоваться судьбами римской церкви.

Не следует думать, будто я поклонник кафешантана — потому только, что я буду писать о нем благожелательно.

Я не враг его, но и не из тех, которые думают:

— Если бы кафешантана не было, его надо было бы выдумать.

Я же просто полагаю, что раз кафешантан существует, то надо постараться сделать из него что-нибудь путное.

Один студент, малый дельный и работающий, признался мне как-то:

— Когда проработаешь до 10 часов вечера, ничто так не освежает, как ежели потом посидеть до полуночи в Гранд-отеле.

Я опять-таки не одобряю этого студента и не порицаю его, а просто констатирую, что и у дельного и работающего малого может явиться потребность в кафешантане.

А раз оно так, остается только устроить его как-нибудь по-лучше, чтобы выступили его хорошие стороны и стерлись, по возможности, дурные.

Ибо желательно, чтобы все существующее в силу положительного спроса существовало в своей лучшей форме, а не в худшей.

Вместо того чтобы бесплодно браниться и отплевываться, надо подойти ко всякому явлению поближе, выделить из него и клевер, и плевелы и посмотреть, что именно более свойственно сущности этого явления: кормовая трава или сорная?

И потом постараться сорную, если можно, убрать, а кормовую даже полить водою, чтобы лучше росла...

Сущность кафешантана, «идея» этого заведения есть, по-моему, совершенно та же, что и «идея» иллюстрированной открытки.

Искусство вразбивку.

Человек стал нервен, утомлен и, кроме того, очень занят. Он избегает картинных галерей, выставок, не покупает картин, гравюр, альбомов, ибо денег жалко.

И вот ему предлагают за 10 копеек «посткарту», которая тоже есть произведение искусства, но в малом и легком виде: оно развлекает, оно приятно и не утомительно.

То же самое и кафешантан.

Музыка, балет или драматический жанр, но не в крупных и серьезных дозах, как в театре, а вразбивку — приятно, развлекающе и не утомительно.

Иногда вам хочется музыки, но не в количестве целой оперы, а так — чего-нибудь вроде песенки, романса, легкого вальса. Это и есть «идея» кафешантана.

Но «идея» одно, а исполнение другое. Из лучшей идеи можно сделать черт знает что.

На открытке можно изобразить «Бурлаков», статую Венеры, снимок с Мурильо, и это все будет очень хорошо.

Но на той же открытке можно изобразить и что-нибудь мерзкое и с успехом пустить в дешевое обращение.

То же самое и кафешантан.

С его эстрады можно давать легкий, но эстетически полезный репертуар; и точно так же с его эстрады можно давать

репертуар грязный и тяжеловесно похабный — как оно ныне и практикуется.

Но из этого нельзя вывести, что лучше всего взять да сжечь все открытки и прихлопнуть все кафешантаны.

Разумный вывод будет только тот, что желательны хорошие открытки и хорошие каскадные сцены...

Если бы у меня — выражаясь по-одесски — было двести тысяч да если бы я был содержанием кафешантана, вроде европейских cabarets, только еще лучше.

Я бы дал ему какое-нибудь особенное название, стильное, соответствующее духу и тону учреждения, — например: «Ворон».

Я заказал бы изящную, но простую вывеску в стиле moderne с надписью:

«Кабачок Ворон».

Первое слово напоминало бы о Гофмане, второе об Эдгаре По, а в общем видно было бы сразу, что здесь затевается нечто стильное.

Зал бы я велел построить в новом стиле, сцену прорезать модными извилистыми несимметричными линиями; оркестр был бы невидим, как в Байрейте.

Все помещение убрал одним цветом: черным, или элегантным серым, или хоть фиолетовым; и занавес был бы раздвижной, бархатный, того же цвета.

Впрочем, я бы устроил еще и опускающей занавес, ибо для разных финалов требуется разная подача занавеса.

У нас этого не понимают. Иногда нужно закрыть сцену сразу, мгновенно, иначе она теряет эффект, а иногда важно, чтобы занавес сполз медленно и грузно — и тут-то и нужен опускающей.

По стенам я разбросал бы медальоны с профилями талантливых людей, а над сценой велел бы вылепить горельеф, эскизный, небрежный, нарочно недоделанный, в манере Трубецкого, чтобы в этом пятне не сразу можно было различить большого матерого Ворона на бюсте Паллады.

Кресел бы не было. Все столики и стулья — под цвет, стильные и деревянные. Пусть гости пьют и закусывают. Развлекающемуся человеку нужно пить и закусывать; и если репертуар понравится, нечего бояться, что гости будут слишком сильно стучать бокалами. А умеренный звон бокалов и ложечек ничуть не мешает.

Репертуар моего кабачка.

Во-первых, песни и романсы, но хорошие песни и романсы. Из Шотландии, из Венгрии, из Сицилии, из Андалузии я выписал бы, через местных знатоков, всю лучшую народную музыку.

У меня было бы жюри для выбора подходящих пьес и профессор-режиссер, с которым исполнители разучивали бы новые номера.

Я уговорил бы лучших композиторов писать этюды для моего кабачка; и они писали бы, потому что были бы уверены в стильном исполнении.

Я купил бы дорогой волшебный фонарь и делал бы особую теневою декорацию для каждого романса.

Я использовал бы всех лучших поэтов для романса или мелодекламации.

Я привлек бы современных поэтов, и они давали бы мне эскизы, баллады, сатиры, и мои артисты читали бы их со сцены, но не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. У меня в кабачке читали бы Чехова, Мопассана, Тетмайера.

Я ставил бы целые маленькие пьесы, веселые или грустные, но непременно маленькие и изящные, каких в театре не ставят; и музыкальные пантомимы, которые всегда так красивы и трогательны и которых тоже в театре не ставят, а ставят оперу «Лючия» для певицы сопрано сальто-мортале.

И танцы. Искусство пляски есть большое искусство. Бог благословил женщину пластической красотой для того, чтобы мы ею любовались.

И если бы танцовщица вышла в большом декольте или рассказ Мопассана оказался бы из игривых, то все это было бы моему кабачку прощено, потому что выходило бы грациозно и красиво. *Beauté evertue!*

Исполнители?

Я сумел бы привлечь исполнителей. Ко мне шла бы молодежь со вкусом и талантом, потому что моя сцена была бы тоже часовой искусства и все дорожили бы ею, и среди лучших артистических учреждений города называли бы и кабачок «Ворон», а ведь это был бы в конце концов тот же кафешантан...

Впрочем, это все есть не больше, как сослагательное наклонение и вообще шутка: но в каждой шутке есть доля правды.

Доля правды та, что не надо быть непременно поклонником, скажем, той же оперы «Лючия», но раз уж она идет, надо постараться, чтобы она сошла как можно лучше.

Я поклоняюсь кафешантану еще меньше, чем даже опере «Лючия», но раз он существует, следовало бы не оставлять его во власти клубнички, а попытаться сделать из него все-таки что-нибудь путное.

Altalena

Одесские новости. 11.09.1903



Вскользь

ПО ПОВОДУ «УКРАИНСКОЙ МОВЫ»

Рим, 24 сентября

В газете, которая до меня доезжает на пятый день, я читаю об инцидентах украинского праздника Котляревского.

Немножко неловко перед читателем — «откликаться» на злобу дня на пятый день с тем, что в Одессу мой «отклик» прибудет на десятый.

Но мне хочется по этому поводу сказать несколько слов о том, как относятся к областным наречиям в Италии.

Италия — страна диалектов *par excellence*¹.

Сколько на этом полуострове отдельных областных наречий — никто, вероятно, в точности не знает, а я меньше всех.

Но за те годы, которые я здесь провел, я перевидал много народу из разных провинций Италии; все это были люди интеллигентные, но с земляками говорили всегда на диалекте.

Я знал семью из Киоджи, которая щебетала на венецианском наречии, грациозном, звонком, кокетливом наречии с особенной, удивительно милой и мелодичной *cantilena*, т. е. припевом.

На этом языке Гольдони написал все свои лучшие комедии, и теперь на нем пишут хорошие драматурги и играет большой артист Ферруччо Бенини.

Я знал компанию журналистов из Болоньи, которые говорили между собой по-романьольски: нечто вроде сильно англазированного итальянского языка, с усеченными окончаниями, проглоченными гласными и *a*, переделанным в *e*. Слушая их, я почти ничего не понимал, но слушал с почтением, ибо они уверяли, что это прекрасный язык, вполне выражающий настроение «жирной и ученой» Болоньи, и что на нем знаменитый

¹ Здесь: классическая; самая настоящая (*фр.*).

Тассони написал большую поэму «Украденное ведро», которую в итальянском переводе изучают гимназисты в числе образцов классической сатиры, и что теперь у них тоже есть своя литература, и называли имена, которых я, конечно, не запомнил.

Я жил одно время в кружке студентов-сицилийцев: они говорили между собой по-своему и очень любили свое наречие; и действительно, диалект их был если не очень красив, зато выразителен для нежности и гнева и полон шаловливых двусмысленностей; и эти студенты тоже цитировали обширную литературу своего наречия в прошлом и в настоящем и превозносили своего диалектального актера Грассо — артиста, действительно, первой величины.

Неаполитанцев я избегал: их наречие, нервное, тягучее, с ноющим припевом, почему-то раздражает меня. Впрочем, только в жизни: на сцене я его люблю. Ни на каком другом диалекте нельзя так сострить, как на неаполитанском; и вся его литература (нынешняя — о прошлой я ничего не знаю) есть по преимуществу литература меткого словечка, остроумного намека или двусмысленности, ярко набросанной сценки или карикатуры. Это — любимый диалект кафешантана, для которого Неаполь поставляет лучший, часто положительно художественный материал. Неаполитанец Никола Мальдачча, артист в полном смысле слова, посвятил весь свой талант этому жанру «пятнышек»: его типы — сводница-мать, старый нищий, жалеющий о временах Бурбонов, чичероне¹, показывающий иностранцам бюсты Александра, императора римского, и жены его Криопатры, — все это создается речитативом из двух-трех куплетов и врезается в вашу память живо и навсегда. Легкой комедии своего диалекта Неаполь тоже дал даровитого артиста Скарпетту, который по таланту не уступит лучшим комикам русских казенных сцен.

Римское наречие, собственно, не есть даже наречие: оно едва несколькими буквами отличается от общеитальянского языка. Но у римлян свой особенный выговор, величавый, полногласный, гармонический. Ради этого акцента римляне дорожат и своим диалектом. В сороковых годах на нем писал Белли, оставивший четыре тома сонетов, в которых отражены быт и мировоззрение добрых квиритов с искусством, которое поста-

¹ Экскурсовод (от *итал.* cicerone).

вило Белли в число лучших поэтов Италии. Теперь на *romanesco* пишут Паскарелла — поэт «от головы до ног», аристократический, изысканный, о котором мы еще, быть может, побеседуем подробнее, и Трилусса, прямой наследник Белли по любви к жанру и по стижу. Кроме того, еженедельно выходят две или три популярные газетки, битком набитые сонетами, серенадами и бытовыми сценками на диалекте.

Других наречий я не знаю, но ведь есть еще ломбардское и пьемонтское — приближающиеся к французскому языку, есть геноуэзский диалект, на котором итальянское *lei* (вы) произносится *вуша*; есть сардинский — нечто совершенно непостижимое, до невероятности непохожее на итальянский язык; есть наречия Корсики, Апулии, Калабрии, Абруццо, Марки и прочее, и прочее, и прочее.

На всех этих диалектах — кроме римского — говорит между собою интеллигенция; на всех диалектах пишутся стихи, на многих — драматические произведения, и каждым из диалектов здесь дорожат, стараются исследовать его научно, установить его историю, сохранить в целостности и неприкосновенности.

Люди книжного исповедания в России, собственноручно применяя историю концентрации капиталов к области духа, всегда готовы развязно утверждать:

— Диалекты всюду вымирают.

Скажите это в Италии — над вами посмеются.

Диалекты не вымирают. Дети учатся по-итальянски, газеты и книги пишутся по-итальянски, с людьми другой области говорят по-итальянски.

Но если бы земляк к земляку обратился по-итальянски, это произвело бы здесь такое же впечатление, как если бы вы ни с того ни с сего, встретив знакомого одессита на Дерibasовской улице, заговорили с ним по-французски.

Он спросил бы вас:

— Вы это для чего же ломаетесь?

Это здесь не принято. Всюду, кроме Рима, архиинтеллигентнейший господин, который заговорил бы со своим же земляком не на диалекте, а по-итальянски, вызвал бы недоумение и вопрос:

— Зачем он рисуется? Что он из себя строит?

И все это не мешает итальянцам горячо любить общепитальянский (тосканский) язык и охотно признавать за ним и эстетическое, и лексическое первенство.

Но они при этом рассуждают так, что, хотя Лина Кавальери, может быть, и первая красавица в Европе, но это не значит, что я должен ради нее бросить мою жену.

Думаю, что нельзя не согласиться с этим доводом.

Нет никакой разумной причины областному человеку, вступаю в слои интеллигенции, отречься от своего разговорного наречия, и такое отречение создается только искусственными средствами.

Раз данное наречие возникло, значит, именно это наречие, а не какое-либо другое, наиболее точно выражает дух племени, живущего в данных природных условиях, значит, именно это наречие наиболее приспособлено к выражению чувств и мыслей этого племени во всех оттенках.

И если племя это, идя вровень с прогрессом, все больше и больше развивается духовно, то должно развиваться попутно и наречие, расширяясь и впитывая новые понятия.

Но наотрез отказываться от своего наречия — значит менять более удобное оружие на менее удобное, отказываться от той рукоятки, что мне от природы как раз по руке, ради другой рукоятки, к которой еще мне самому надо приспособиться.

Altalena

Одесские новости. 16.09.1903



Вскользь

DES MÄRCHENS ENDE¹

I

Лучше поздно, чем никогда.

Рим, 21 сентября

Прошло уже месяца три с тех пор, как я предложил читателям ответить мне на три вопроса, которые были сформулированы приблизительно так:

— Заметили ли вы в современной жизни и литературе упадок фантазии?

— Если да, то в чем, по-вашему, причина этого упадка?

— Считаете ли вы его свойственным одному лишь капиталистическому строю общества или полагаете, что возрождение фантазии отныне невозможно и при всяком другом строе?

¹ Конец сказки (нем.).

Ответов, как я и ждал, получилось очень мало — всего 15 — и не все удачные, так что я думал даже совсем похоронить эту «анкету».

Но потом мне пришло в голову, что это, собственно говоря, бесовестно.

Люди писали — один исписал 8 страничек, — а я вдруг возьму да суну их труды навеки под сукно?

Поэтому, отправляясь в дорогу, я захватил эту пачку писем с собою, здесь на досуге разобрался в них и теперь могу, хотя с большим опозданием, привести некоторые мнения.

Систематизировать их более или менее, как в прошлые разы, не берусь, потому что, как читатель увидит, авторы поняли вопрос не так, как я, и ответы их являются не совсем ответами на мои вопросы.

Тем не менее для удобства сводки я должен распределить полученные мнения на три категории, соответственно тем трем вопросам, на которые эти мнения... не совсем отвечают.

Две категории — первая и третья — займут едва несколько строк.

На первый вопрос — заметен ли упадок фантазии — все отвечают утвердительно, кроме двух писем.

Г-н П. Р. пишет:

«...Во всей Европе в настоящее время нет хотя бы одного такого произведения, которое гордо блистало бы благородной красотой фантазии, ее силой и мощью? Не говоря уже о том, что крайне рискованное заявление это лишено всякой правды и упорно противоречит действительности, весь этот фельетон прозрачно обнаруживает ваше недостаточно глубокое знакомство с европейским искусством и его эволюцией...»

В другом письме некоего «подписчика "Листка"» тоже говорится, что никакого упадка фантазии нет, и выставляется в виде аргумента риторический вопрос:

— А Метерлинк? А Андреев?

Остальные тринадцать писем признают упадок фантазии и стараются выяснить его причины, но прежде чем перейти к этой второй категории, я приведу коротенькие ответы на третий вопрос. На него отозвались только двое.

Один, подписавшийся «Подмастерье», полагает:

«При капиталистическом строе литература не может обогатиться волшебными сказками, ибо в нем все грубеет и холодеет. Но при повороте этого строя к более развитым формам падет и все свойственное ему».

Ювелир Х. Л. развивает свою точку зрения иными словами: «Перед людьми стоят теперь практические задачи, им некогда предаваться фантазии. Пройдет некоторое время, мы устроим свои практические дела — тогда опять начнем фантазировать...»

Третья, т. е., собственно, вторая, категория — о причинах упадка — будет несколько обширнее, хотя и здесь я приведу только 3–4 мнения из пятнадцати ввиду полной бесцветности остальных.

Мнения моих корреспондентов по этому вопросу можно разделить на две группы.

Одни, признавая упадок фантазии и стараясь разобраться в его причинах, вполне мирятся с этим явлением, как бы находя: — Умерла фантазия? Туда и дорога.

Другие, напротив, скорбят и видят в упадке фантазии зло, некоторый ущерб человеческого творчества.

К первой группе принадлежит г-н П. Р., тот самый, который несколькими строками выше находил, что заявление мое об упадке фантазии «лишено всякой правды».

Г-н П. Р., на второй странице того же послания утверждая, что «богато фантастические произведения» в конце XVIII и начале XIX века имели успех «потому, что тогдашняя эпоха была пропитана романтизмом», а ныне романтизм исчез и публика стала предъявлять к искусству другие требования — «сознательного отношения, разумной любви или ненависти», — заключает:

«Итак: современное — не *бессилие*, но *отсутствие* фантазии, ее красоты и силы — не есть болезнь, а, наоборот, знаменует собой здоровый перелом, совершившийся в искусстве».

Любопытный феномен: начать с утверждения, что никакого упадка фантазии нет, и кончить заявлением, что наблюдается даже не бессилие, а отсутствие фантазии, — это недурная иллюстрация к шекспировскому стиху: увы, конец забыл свое начало...

К тому же выводу о ненужности фантазии приходит — но с другой, более глубокой точки зрения — и г-н С. Г., письмо которого я приведу целиком:

«Я сам из пишущих, и мой ответ может быть интересен.

И в моих произведениях нет ни проблеска фантазии. Но, быть может, не столько потому, что фантазировать я не способен, сколько потому, что оно не является для меня потребностью.

Меня содержание жизни не интересует. Фабула ее, фактическая часть не влечет и не волнует.

Жизнь — лабиринт. Изучить его нужно, но можно это сделать двумя путями: тщательно обойти все ходы, изгибы, аллеи или сразу взглянуть на поперечный его разрез.

В наше время, когда знать так много нужно и хочется, а короткой нашей жизни не хватило бы на то, чтобы познакомиться детально с литературой только одного какого-нибудь культурного народа, я считаю преступлением со стороны писателя — добросовестное писание объемистых романов и непоправимым проступком со стороны читателя — трату времени на их прочтение.

Нужно торопиться жить, и художественное произведение должно быть квинтэссенцией художнического духа, его (художника) мыслей, чувств, впечатлений.

Одной пилюлей читатель должен проглотить сжатое в самый маленький комочек произведение автора, в котором должно быть все существенное, главнейшее.

Но ни одного лишнего штриха, ни лишней крупички не должно быть в этой пилюле: все только самое ценное, самое необходимое, потому что при современном обилии духовных блюд нужно щадить читательский желудок...

Вот тебе поперечный разрез лабиринта — на, смотри — и ступай дальше...

Не содержание жизни, а сущность ее.

Все силы воображения должен напрягать писатель, чтобы ярче и рельефнее был представлен поперечный разрез, но фантазии здесь нет места, комбинировать нечего.

И не фантазия современного писателя бессильна, но только бесконечно сильнее ее наша торопливость, наша жажда жизни, наша кипучесть, наше желание как можно скорее высказать то, что нас волнует.

И высказываемся мы в резкой, подчас ошеломляющей читателя форме, ему не всегда понятной.

Но остановиться, растолковать — нам некогда.

До фантазии ли тут, когда у всякого из нас задняя мысль — под покровом чистого искусства выступать в роли проповедника, пророка, куда-то зовущего, чему-то учащего?

И не успевают наши ученики за нами поплестись, как мы уже сворачиваем, и что боготворили вчера, то ругаем сегодня.

До фантазии ли тут, до фабулы ли, когда нам хочется поскорее отлить в тело нашу мысль, которая гораздо тоньше, чем у наших отцов, и неуловимее и капризнее, — и бросить ее в толпу, и пойти дальше, главное — дальше...

Некогда... нужно торопиться жить...»

Из группы скорбящих выбираю тоже два письма.

Первое было без подписи, но с пометкой: «ответ человека, вступающего из мира фантазии в мир действительности; 27 лет; ожидание определенных занятий; усердное поглощение печатного материала».

Автор находит, что современная стадия прогресса со всех сторон укоротила жизнь, ослабила в людях «творчество жизни», а через это и фантазию.

«Общественные движения... — пишет он, — да ведь они именно и обесцвечивают людей.

Они объединяют нас в могучие группы, которые могли бы, казалось, творить жизнь.

Но до сих пор они только хлопчут о праве на творчество жизни, а пока подчиняют нас себе, поглощают свободные независимые единицы, требуя обязательной ассимиляции, под угрозой оставить за бортом всякого непокорного...»

Точными знаниями автор тоже недоволен.

«Что дали нам эти знания? Мы изучили природу, но человека, с его душою, мы так и не знаем. Да и природу мы подчинили не себе, а своим машинам.

А между тем мы слишком верим в силу *точного знания*, чтобы доверять своим мечтам и своему протесту против того, что установлено этим знанием.

Мы проникнуты слишком большим уважением к лозунгу XIX века — «объединяйся», чтобы не посмеяться над своими дерзкими помыслами действовать за свой страх и риск.

Что моя фантазия, если она не укладывается в ту или иную логику, освященную «точным» знанием и воспринятую сильным потоком общественных настроений?»

Отсюда ясен переход к реализму в искусстве.

«Разве реализм может допустить свободную фантазию?»

Он должен давать только то, что происходит, и даже — согласно общему характеру XIX века, эпохи исследований и обобщений, — не только то, что происходит, но то, что *обыкновенно* происходит.

Недаром сентиментализм, открывший эту эру в литературе, дал нам "мещанский роман" ...»

Будущее, однако, представляется автору не столь мрачным:

«Я думаю, что XX век освободит наши души для жизни в свободе. Объявлена уже война деспотизму науки, действительности и старому искусству».

Пламеннее всех протестует против этого «деспотизма» автор последнего письма, которым я закончу эту сводку, — студент А. Б-ский.

Он пишет:

«Фантазия — это проекция человеческого на экране бесконечности; это — одна из самых сильных составных частей человеческого творчества.

И она умирает. Умирает не потому, что отжила, но потому, что ее убивают.

И ее убийца здесь, среди нас, и, как бы глумясь над своей соперницей, живет в роскошных дворцах и пользуется услугами сотен тысяч людей, и кичится своим громким названием "объективной науки".

Эта служанка прогресса, возомнившая себя царицей, убивает фантазию и в литературе, и в философии.

Примеры налицо.

Перед нами Гауптман: титан с непримиримой драмой в душе.

В нем еще отдается эхом время, когда фантазия царила над землей.

И хочется Гауптману унести туда — в лазурный океан фантазии.

Отсюда борьба: то он на земле, то в горном мире грез.

Но его фантазия слаба; она —

*как подстреленная птица,
Подняться хочет и не может.*

Его крылья, как крылья Икара, искусственные, и воск их тает, чуть он приближается к солнцу.

Он падает подчас, как его герой, художник-литейщик Генрих.

И все произведения его пропитаны острым запахом мозговой работы.

Он не творит, он склеивает осколки своих наблюдений, он рабски следует за природой в своей мозговой работе, и чуть свернет с этого пути, он падает, как предмет, лишенный точки опоры.

Рабский реализм — вот один из симптомов оскудения фантазии.

Не достаёт полета. Литература из орла превращается в змею — мудрую, но пресмыкающуюся.

Поэзия минутных настроений — вот второй признак оскудения фантазии.

Не хватает образов, создаются молниеносные вспышки чувства...»

Автор переходит к философии.

«В ней тоже ослабела фантазия.

Очень часто в философию, как в литературу, наука вторгается, так сказать, с заднего крыльца.

Философия сузилась. Отпали от нее онтология, метафизика.

Остались одна этика и гносеология — практические приспособления.

Никто не чувствует бога в груди своей; никто не хочет избрать бесконечности для полета фантазии.

И фантазия умирает.

Вот что сделала наука.

Я преклоняюсь перед нею, но нахожу, что этот свет бросает слишком длинную тень.

И думаю, что настала пора дать науке конституцию.

Отведем науке свое место. И тогда, *быть может*, фантазия воскреснет».

Altalena

Одесские новости. 18.09.1903



Вскользь

DES MÄRCHENS ENDE

II

Я вчера заметил, что остался неудовлетворен своей анкетой, и теперь хочу объяснить почему.

Но прежде разрешу себе маленькое отступление.

В начале вчерашнего фельетона я не совсем точно рассказал, что именно побудило меня вытащить из дальнего ящика эти письма, которые были уже почти похоронены, и предложить их вашему вниманию.

Дело в том, что, разбирая свои бумаги, я наткнулся на небольшую картинку, озаглавленную «Des Märchens Ende», т. е. «Конец сказки».

Мне ее подарили в Одессе, и, уезжая, я захватил ее с собою.

Картинка сделана на узеньком продолговатом четырехугольнике шероховатого золотообрезного картона и исполнена пером и цветными карандашами.

Фон — сумерки: на горизонте, из-под черной длинной тучи, вырезывается ярко-багровая черта заката.

На черте заката неясно рисуются редкие, отдаленные, голые сучья деревьев.

Красный закат бледно отражается в стоячей воде, из которой редко и одиноко выглядывает то чахлая хворостинка камыша, то пятно лопуха.

Берег над водою низкий, голый и бурый. На всем пейзаже печать пустоты и глубокой осени.

На краю берега, упав на колени, согнувшись, подняв плечи, прижав руки к лицу, широко раскрыв глаза, как бы от ужаса и отчаяния, застыла тонкая девичья фигура, одетая в какое-то серое длинное, тесно облегающее платье без складок, с легкими, едва заметными намеками на старонемецкий покрой — костюм Гретхен.

Волосы девушки расплелись, ветер бьет их космами из стороны в сторону.

Бледное лицо и округленные глаза смотрят прямо перед собою, прямо на вас, — и в направлении этого взгляда тяжело улетают две большие черные птицы.

Одна уносит в клюве маленькую золотую корону, другая маленького зеленого — тоже почти золотого лягушонка.

Это, вероятно, тот самый лягушонок, про которого в сказке говорится, что он был, в сущности, принц, но злая ведьма велела ему быть лягушкой, пока прелестная королева не поцелует его.

В этой картинке есть, наверное, много ученических недостатков; но я их не вижу и очень люблю эту картинку.

Мне всегда кажется, что в ней так хорошо передано наше невеселое положение: голая осень, лысая бурая равнина с редкими ветлами на горизонте, хмурое небо, закат, стоячая вода и черные птицы, *уносящие сказку*, и застывшая в скорби фигурка девушки, которую обидели — отняли корону и превращенного королевича, *отняли сказку*.

Глядя на эту картину, я сегодня вспомнил о своей неудавшейся анкете.

Ведь это и была анкета на тему «Des Märchens Ende».

Не стало сказки. «Упадок фантазии» — ведь это в конце концов значит то же, что и «конец сказки».

Сказка была великое дело в жизни человеческой.

Сказка не должна была непременно говорить о лягушонке, под которым прятался принц, и вообще о таких вещах, которых не бывает на свете.

Ведь есть и такие сказки, где волшебного элемента совсем нет.

Но там, где не было волшебного, было все-таки необыкновенное.

Сказка должна была непременно говорить о необыкновенном.

Сказка не могла рассказывать о том, что было записано в порядке дня, в расписании жизненных поездов каждого среднего человека.

Только о том, что выходило из расписания, что перечило ему и вносило разнообразие в монотонную таблицу жизни, — только о том могла говорить сказка. Только о необыкновенном.

И говоря о необыкновенном — о том, что случилось вне дюжины, сказка, в широком смысле сказка, оживляла стоячую воду, в которой по горло стояли люди дюжины, мешала им самим совершенно застояться и потерять внутри себя, под баубай обыденщины, всякий образ человеческий.

Но для того чтобы сказка могла говорить, надо было, чтобы и она сама себе верила, и слушатели ей верили.

Чтобы слушатели говорили себе:

— Со мною, правда, этого не случилось, но я знаю, что такие вещи бывают, что такой жизнью живут другие люди, люди не моей дюжины, более смелые и удачливые.

Оттого волшебная сказка существовала, пока человек был суеверен; когда взрослый человек потерял суеверие, волшебная сказка перешла к детям, потому что дети еще верят и говорят:

— Со мной этого не случилось, но это все-таки бывает в жизни.

Для взрослых волшебная сказка умерла. Ее хотели возродить в виде кладбищенского романтизма начала прошлого века, но это было искусственно и не могло дать плода, как не дает его искусственный цветок, — не имело в себе веселящей крепости, как не имеет ее искусственное вино.

Оттого настоящая волшебная сказка оживляла человека, а кладбищенский романтизм сослужил совсем обратную службу: в эпоху жестокой реакции он отвлекал совесть трусливого поколения от задач жизни, баюкал спящих, не давая им очнуться от кошмара; несмотря на всю вражду Гегеля к романтикам, романтики были союзниками Гегеля в позорном подвиге усыпления.

Это была не сказка, всегда молодая и крепкая, а старческое переживание сказки.

Настоящая сказка, ее истинная душа уже успела воплотиться в другое тело.

Она не говорила больше о чертях, потому что в чертей никто не верил; но она заговорила о вещах, в которые все могли верить и которые все-таки были чудесны и необыкновенны.

Шиллер создал «Разбойников», «Фиеско», «Вильгельма Телля», «Орлеанскую деву». Байрон пронес перед людьми свою галерею могучих протестантов.

И опять люди слушали их с волнением и трепетом, и верили, и говорили:

— С нами этого не случалось, но это возможно, это бывает с людьми не нашей дюжины, с людьми более сильными и удачливými.

Вот где была сказка того времени, настоящая сказка, говорящая не о немыслимом, но всегда о необыкновенном, о незаурядном, и тем благотворно волнующая стоячую воду в душе заурядного человека на пользу движения и прогресса.

Altalena

Одесские новости. 19.09.1903



Вскользь

ЧТО ГДЕ ПРИЛИЧНО

Рим, 26 сентября

В первый год моего жительства в этом городе я был знаком с одной здешней семьей, зажиточной, интеллигентной и благовоспитанной.

Отец был адвокат, мать — дама-патронесса, дочь говорила на разных языках.

Этой дочери было 17 лет, и была она барышня очень милая, благоразумная и деликатная.

Бывать у них было очень приятно, потому именно, что вы чувствовали себя среди людей хорошо воспитанных, которые обращались с вами просто и не делали из вас как иностранца диковинного зверя.

Словом, эта семья со всех сторон производила впечатление очень приличной и благовоспитанной семьи.

Однажды вечером, когда мы садились за стол пить чай, произошел незначительный инцидент: хозяйская дочь неловко ступила и ушиблась довольно сильно о спинку высокого стула, прямо в грудь против сердца.

Она вскрикнула, но, конечно, больше от неожиданности, чем от боли; я, однако, счел долгом устроить испуганное лицо и спросить:

— Вы сделали себе очень больно?

Она успокоительно и благовоспитанно улыбнулась и сказала совершенно просто и спокойно:

— Пустяки. Я слегка ушибла левую mammella¹. Боль уже прошла.

Я не помню, покраснел ли я при этом ответе, но мне, право, показалось, что земля подо мною расселась и я проваливаюсь; мне показалось, что вместе со мной должны сейчас сгореть со стыда и провалиться сквозь землю отец и мать этой откровенной 17-летней барышни.

Но отец и мать были совершенно спокойны и равнодушны, и мать только сказала дочери:

— Э, да гляди же себе под ноги, милая!

И продолжала прерванный разговор, как всегда, просто и благовоспитанно.

Этот случай навел меня на некоторые размышления и заставил кое к чему присмотреться и кое-что сопоставить.

Я вспомнил, что в этой благословенной стране, с которой только недавно тогда познакомился, я, мнивший себя человеком без предрассудков, уже не раз чувствовал себя скандализированным.

Я вспомнил, например, один случай в театре, когда я в первый раз увидел Эрмете Новелли.

Это, конечно, было на галерке; но галерея театра Valle стоит 1 франк, и это здесь считается очень дорого; поэтому в галерею Valle, особенно когда играет Новелли, ходит довольно отборная публика, в жанре галерки одесского Городского театра.

¹ Грудь (итал.).

В здешних театрах галерея не имеет нумерованных мест: кто придет раньше, садится ближе.

Я высмотрел свободное место и направился к нему.

Рядом сидел очень приличный, даже элегантный мужчина, и с ним тоже довольно элегантная дама.

Мужчина обернулся ко мне и очень вежливо сказал:

— Виноват, это место уже занято: тот господин только на минуту пошел...

И он совершенно просто, громко и точно назвал, куда и зачем пошел тот господин, а его соседка совершенно просто и спокойно прибавила:

— Да. Он сейчас вернется.

Я так растерялся, что потом весь первый акт «Папа Лебонара» сидел и хлопал глазами, вспоминая, кстати, что в Риме эти самые... «веспасиановы монументы» устроены в огромном количестве и на самых людных улицах, просто в виде маленьких цинковых ниш высотой до пояса, без всякого намека на ширмы, ограду или что-нибудь в этом роде — полная откровенность...

После того инцидента с барышней, которая ушиблась, я припомнил и этот разговор на галерке, и эти «монументы», и еще разные вещи, которые прежде пропускал без внимания.

Вспомнил о рассказе приятеля, которого изумила мамаша одной итальянской примадонны — очень церемонная мамаша, дама «из хорошей семьи», — упрекнувшая при нем свою дочь за то, что та в сырую погоду не надела на ноги теплого белья.

Вспомнил другую здешнюю барышню, невесту офицера, лет двадцати, которая при первом знакомстве сказала мне совершенно просто, как вещь вполне естественную:

— Пио хочет осенью, но я тороплю со свадьбой. Мне очень хочется иметь ребенка: я так люблю детей!

Вспомнил и то, как мне показывали в разных местах меблированные комнаты, когда я искал себе по всему Риму подходящее жилище.

Меня сопровождал приятель, здешний студент; и когда мы смотрели какую-нибудь комнату, в дверях толпились обыкновенно все хозяйские дочки, маленькие и большие, и с очень уверенным любопытством глазели на сии два образчика мужской породы.

И я вспомнил, что сказал тогда же моему приятелю:

— В России барышня никогда не выбежала бы так открыто смотреть на студента. И сама бы себе не позволила этого, хотя бы из самолюбия, да и матери бы постыдилась.

Он ответил:

— Потому что северяне более лицемерны. У мужчины есть любопытство к женщине, у женщины к мужчине: это закон природы, зачем же это скрывать? Видишь, мамыши нисколько не сердятся, что дочери выглядывают изо всех щелей. Мамаши следят только за тем, чтобы не вышло чего-нибудь «существенного», а против любопытства к мужчине ровно ничего не имеют и не могут иметь...

Все это я вспомнил и сопоставил, и пришел к некоторым выводам; а дальнейшие наблюдения с тех пор подтвердили эти выводы.

Несомненно, в Италии — и, кажется, особенно в Риме — правила словесного приличия (в узком смысле этого слова) очень и очень либеральны.

Мужчина и женщина, юноша и девушка могут свободно говорить о многих таких вещах, о которых у нас, на севере, девушке и думать считается неприличным.

Но если из этого неопытный человек заключит, что в Италии существует большая свобода и простота в отношениях между полами, — он ошибется самым жестоким образом.

Я не могу себе представить страну, где женщина была бы так стеснена и связана, как в Италии.

Я живу здесь теперь в семье, в которой жил во дни оны довольно долго.

Я могу сказать, что делил тогда их радости и горе.

Когда с мужем хозяйки вышла какая-то история по службе, я бегал, хлопотал и кое-как уладил неприятность.

Когда хозяйка была больна и ей почему-то прописали чай с ромом, я научил дочерей готовить чай.

Когда старшая дочь, невеста, ревновала своего жениха ко всякой тучке на небесах, я уговаривал ее быть благоразумной, доверять своему будущему спутнику жизни и не тревожить себя понапрасну.

Они ко мне очень хорошо относились. Хозяйка мне говорила:

— Вы для меня почти родной сын!

Теперь, через два года, она меня встретила очень радушно и приветливо, устроила, обставила, накормила.

— А где ваши дочери?

— Младшая сейчас придет. А старшая замужем, скоро будет матерью.

— Поздравляю. Я был бы так рад ее видеть!

— А вот в воскресенье мы все вместе с прогулки завернем к вам, тогда и увидите. Иначе, понимаете, неудобно — муж на службе, она одна дома...

— О, синьора, неужели и такому доброму знакомому нельзя? Ведь я столько раз их мирил!

— Право, нельзя. Это не в обычае...

Прислуги у моей хозяйки нет, и она сама каждое утро приносит мне кофе.

— Синьора, мне неприятно, что вы сами трудитесь. Ведь у вас нездоровое сердце, а вам приходится подыматься и спускаться по лестнице. Посылайте дочку.

Она виновато улыбается.

— Это не принято.

— Да ведь она только подаст мне через дверь поднос и сейчас же вернется под ваше крылышко.

— Когда не принято...

По вечерам, когда моя хозяйка, на правах пожилой женщины, приходит ко мне поболтать о папе Сарто, мы беседуем и на эту тему.

Я ей жалуясь, что в Италии за женщиной очень уж надзирают, и стараюсь прельстить ее российской свободой.

— Что сказали бы у вас, — говорю я, — если бы замужняя дама пошла в театр не с мужем, а со знакомым?

— Сказали бы, что муж трус.

— Почему?

— Потому, что не убил их обоих.

— А если бы барышня пошла в театр со знакомым?

— Что-о? Этого не бывает.

— А если бы?

— Этого не может быть. Такие вещи не случаются.

— А если бы господин проводил барышню вечером от знакомых домой?

— Это значило бы погубить ее репутацию. Да вы знаете, что мои родители ни за что не хотели ни разу повезти меня куда-нибудь на дачу, на берег моря?

— Это почему?

— В Риме не было принято. Стали бы болтать, что меня «необходимо» было увезти из Рима на некоторое время; а когда бы я вернулась, кумушки спрашивали бы меня: ну, как твое здоровье?

— Так неужели вы и теперь не повезли бы свою дочь на лето куда-нибудь в горы или на купанья?

— Теперь — да. Мир прогрессирует!

Медленно здесь прогрессирует мир в этом отношении, надо сознаться.

Как раз на днях у моей хозяйки было дело в суде, которое надо было отложить, потому что бедная синьора накануне что-то такое не так скушала и теперь лежала больная.

Она попросила меня пойти к претору и выхлопотать отсрочку; но так как претор меня не знает, оказалось необходимым поехать со мной дочку.

И моя хозяйка, лежа в постели, убитым голосом предписала нам следующий маршрут:

— Ты, Луиза, пойдешь по улице Тритоне, а вы пойдете по Капо-де-Казе, а у ворот претуры сойдетесь.

Я запротестовал:

— Ради Бога, к чему такие предосторожности? Неужели нельзя пойти вместе?

Синьора пришла в ужас:

— Вы не понимаете, что вы говорите. Да уже одно то, что я ее и так вам доверяю, тоже не принято; но делать нечего, и, кроме того, я в вас уверена. Но вы должны дать мне честное слово, что не пойдете с нею по одной улице. Иди, Луиза.

Я дал честное слово и, выйдя на улицу, пустился догонять Луизу, но она уже пропала из виду.

Зато назад мы вернулись вместе, и я всю дорогу расспрашивал ее:

— Как вы живете? Гуляете?

— Нет. Мама нездорова и не может гулять.

— Но с подругами, с какой-нибудь знакомой пожилой дамочкой?

— Мама не доверила бы меня даже самой почтенной даме, а подруг у меня нет.

— Почему?

— Мама почти не пускает меня в гости и не любит, чтобы ко мне приходили. Она говорит, что эти подруги — вещь очень опасная.

— А вам никогда не приходило в голову отравиться?

— Нет. В конце концов, есть матери гораздо строже моей мамы.

За квартал от нашего дома я повернул в другую сторону, а она продолжала дорогу одна; и я, оглядываясь на нее издали, спрашивал себя:

— Как умудрится эта арестантка найти себе жениха?

Я, действительно, не понимаю, как они здесь умудряются. Впрочем, голь на выдумки хитра: некий мой приятель, сицилиец, рассказывал мне, как у них в Катании ухаживают за барышнями: она в окне второго этажа, а он под окном, задравши голову, и прохожие слышат все разговоры; но и для этой вольности надо все-таки уже быть женихом и невестой.

Ежели сравнить с этим двухэтажным tête-à-tête¹, то, действительно, в Риме все-таки лучше. Очевидно, чем южнее, чем кровь теплее, тем хуже...

Я, в конце концов, думаю, что студент, помогавший мне искать комнату, был отчасти прав: северяне более лицемерны.

Во всей этой непролазной сети предосторожностей, которыми в Италии окружают женщину и девушку, есть, в конце концов, большая искренность.

Это все так откровенно, так ясно и беззастенчиво говорит вам на каждом шагу:

— Нечего скрывать: мужчину тянет к женщине, женщину к мужчине. Если мы будем стыдливо притворяться, что мы этого не знаем, не замечаем, тогда... будет плохо. Чем ломать комедию, мы лучше открыто признаем факт — и примем свои меры.

Оттого здесь такая свобода в разговоре: знать не воспрещается, интересоваться не воспрещается; мать ничего не имеет против того, чтобы дочери откровенно выбегали глазеть на нового человека в брюках, ибо «любопытство к мужчине» — вещь вполне естественная.

Но именно потому, что это вполне естественно, она следит и блюдет явным, откровенным и гласным надзором, как будто говоря обоим в глаза:

— Знаю, куда вы оба метите. Я вас не виню, это «притяжение» в порядке вещей: я только должна присутствовать и мешать.

Никакой попытки замолчать это «притяжение», диссимулировать его, отвлечь от него внимание: напротив, сама непрерывность и явность этого надзора за женщиной как бы подтверждает ежеминутно, как бы нарочно вам напоминает о голосе темперамента.

Мы, северяне, поступаем наоборот: мы в разговоре всегда корректны и эстетичны, мы не называем вещей их именами, и даже когда целуемся, стараемся придать этому оттенок чего-то происходящего не нарочно, почти помимо нашего сознания;

¹ Свидание (фр.).

мы, несмотря на всю свободу наших обычаев, стыдимся природы, и в этом стыде, а не в свободе и лежит корень нашей развращенности.

Южане говорят о природе вслух и не прячут ее; они ее санкционируют и открыто с ней считаются; и как ни мелочна, ни глупа, ни надоедлива их система, в ней, согласитесь, все-таки есть какая-то честная прямота, какое-то искреннее и бесхитростное признание стихии, что-то крепкое, более здоровое, чем наша утонченная скрытность.

Altalena

Одесские новости. 20.09.1903



Вскользь

НА КЛЕРИКАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

Рим, 28 сентября

Вчера, принимая некоего Амелли, бенедиктинца из Монтекассино, папа сказал ему на прощанье:

— Передайте вашему аббату, что мы скоро увидимся в Монтекассино.

Это — сенсационное известие. Оно может составить эпоху. Чтобы увидеться с аббатом в Монтекассино, Пий X должен выйти из Ватикана, то есть прекратить фикцию «папы-пленника», которую строго поддерживали в течение 33 лет Пий IX и Лев XIII. Эта фикция имела смысл протеста против захвата Рима итальянцами. Отказ от этой фикции будет означать отказ от протеста. Когда папа выйдет из Ватикана, папство тем самым признает и санкционирует событие 20 сентября 1870 года, когда итальянские войска через брешь в стене у Porta Pia вступили в столицу пап и объявили ее столицей итальянских королей. Отказ от протеста против узурпаторов в свою очередь должен означать возобновление прерванных сношений. Теперь у Святого престола нет нунция при итальянском правительстве, при Ватикане нет итальянского посланника: между папой и Италией как бы война, с разрывом дипломатических отношений. Отказавшись от «войны», папа должен будет завязать формальные дипломатические сношения с королевством. Это все вместе будет означать отказ папства, раз навсегда, от притязаний на светскую власть.

Еще на днях это все казалось невозможным или возможным только в отдаленном будущем. Во время конклава правительство, на всякий случай, готовилось к примирению: на площади Святого Петра стояли войска, и когда с вышки было объявлено: «*habemus pontificem!*»¹ — традиционная формула, произносимая при избрании нового папы римского, эти войска взяли на караул. Но через три дня Дзанарделли уже разослал префектам следующий циркуляр: «Так как папа Пий X не уведомил итальянское правительство о своем восшествии на Святой престол, вы соблаговолите воздержаться от официального участия в церковных по сему случаю торжествах». Возможность примирения опять обратилась в дым *sfumata*², как избирательные записочки конклава. Газеты сообщили, что Пий X намерен сохранить фикцию пленения, и почти не прибавили к этому комментарий, ибо, очевидно, сознавали, что нелегко, действительно, папе решиться на такой шаг и разом перечеркнуть все то, за что так упорно стояли два его предшественника, как за неприкосновенные и существенные права Святого престола. И об этом перестали говорить. Впрочем, на прошлой неделе «*Tribuna*» поместила статью нашего согражданина, гласного Новикова, посвященную этому предмету. Но статья была напечатана больше для развлечения, чем с серьезной целью. Хотя г-н Новиков в Италии и Франции и слывет *illustre*³, тем не менее «*Tribuna*», помещая его послание, не могла не оговориться, что оно весьма наивно по намечаемым автором средствам и если достойно печати, то лишь ввиду благонамеренности предпосылок, «выражающих уважение знаменитого русского философа к правам Италии». Может быть, справедливее была бы как раз обратная оценка: именно, предпосылки г-на Новикова феноменально, до безнадежности наивны — что, впрочем, с нашим городским философом бывает не слишком редко, но средство, предлагаемое им для любовного прекращения фикции, ничем не хуже всякого другого. Признавая, что папе неудобно *reuerent et simplement*⁴ отказаться от протеста и открыто примириться с положением квартиранта на чужой территории, г-н Но-

¹ «У нас есть папа!» (*лат.*)

² Черный дым — сигнал для собравшихся на площади Святого Петра, что папа еще не избран.

³ Выдающийся, знаменитый (*итал.*).

⁴ Просто-напросто (*фр.*).

виков предлагает заменить фикцию плена фикцией международной охраны независимого Святого престола. Державы послали бы папе по десятку своих гвардейцев, — не больше, чтобы не задеть достоинства Италии, — и, таким образом, папа символически имел бы под руками для охраны своих прав войска всего мира. Конечно, Италия вряд ли согласилась бы на такую комбинацию, равняющую ее с Турцией и Китаем, но, во всяком случае, мнению г-на Новикова нельзя отказать в известной практичности — и, может быть, в конце концов это и был бы единственный исход, если бы и Пий X, и его преемники не пожелали просто отказаться от протеста.

Пий X предпочел, очевидно, отказаться просто-напросто, без всяких церемоний. С его стороны в этом, собственно, нет ничего необычайного. Человек крестьянской крови, он принес с собою на престол первосвященника простоту и здравый смысл мужика. Тонкости условных отношений, фикции и формальности, очевидно, вообще не в его характере. Он уже давно встревожил свою свиту большими прегрешениями против этикета. Он не позволяет целовать туфлю, здоровается, подавая руку, приглашает всех садиться в его присутствии и ни за что не желает обедать один. Все это вещи в истории папского двора более или менее неслыханные. Но тяготясь формальностями в мелочах, этот простолюдин на престоле не может мириться с самой яркой, самой кричащей из всех условностей, которыми опутано существование земного наместника Христова. Цельные, крестьянского склада характеры вообще предпочитают разрубать запутанные узлы, тем более узлы, существующие только в абстракции.

Есть еще другая личная причина, почему именно этот папа способен примириться с объединенной Италией. Молодость Льва XIII совпала с эпохой застоя; молодость Пия X прошла среди грохота эпохи возрождения. Его мировоззрение складывалось в то самое время, когда лучшие элементы Италии боролись за независимость, когда на всем полуострове не было ни одного живого и свежего человека, который не сочувствовал бы Гарибальди, когда еще только недавно сам Пий IX погрешил было либеральными и националистическими попытками. Джузеппе Сарто родился в патриотическое время и вырос патриотом, несмотря на тонзуру и рясу. Ненависть Льва XIII к новому порядку вещей должна быть непостижима для этого невольного воспитанника революции, который в 1870 году, может быть,

в глубине души подумал: «Слава Богу, наконец у Италии есть столица!» Этих чувств Сарто никогда не скрывал: недавно, при посещении королевской четой Венеции, он, тогда патриарх Святого Марка, официально приветствовал их. Если, приняв тиару, Пий X не решился сделать сейчас же решительный шаг — уведомить итальянское правительство и тем самым признать его как папа — это легко объясняется неожиданностью для него избрания, осторожной медлительностью нового человека. Но решительный шаг, по-видимому, не заставит себя долго ждать.

В конце концов, тут есть, кроме личных причин, и другие, более глубокие и значительные. Кардиналы прекрасно знали, что Сарто — «друг Италии»; выбирая его, конклав должен был считаться с последствиями. Очевидно, и конклав знал, что делал, и среди князей церкви большинство стояло за примирение, вообще за поворот в политике Ватикана.

Дело в том, что — как это ни стараются замолчать — доходы Святого престола падают. Сказочные богатства отошли в область сказок. Казна престола пополняется добровольной податью верующих, так называемой лептой святого Петра; но число верующих вряд ли растет, а готовность развязывать кошелек в наше торгашеское время все уменьшается даже среди верующих. Если так пойдет дальше, ватиканское казначейство обанкротится, и в этом, несомненно, будут виноваты последние 33 года папской политики.

Я уже писал об этом. Протестуя против захвата Рима, папы заперлись в Ватикане и приказали верующим тоже, так сказать, затвориться, отделать себя стенами от нечестивых, отказаться от всякого участия в политической жизни узурпаторов. «Ни избирателей, ни депутатов». Клерикалы игнорируют парламент: они не являются к урнам в день подачи голосов, не выставляют своих кандидатов; в палате нет клерикальной партии. Но в эти тридцать три года население не спало. Оно не могло игнорировать парламент и упорно ждало от него «хороших законов». Разные партии старались эксплуатировать это ожидание в свою пользу; они обращались к населению и говорили: поддержите нашего кандидата, потому что он будет отстаивать в палате «хорошие» законы. Все это время клерикалы стояли в стороне и только говорили: не верьте им, они ничего не делают. Много ли сделали светские партии, это другой вопрос, но факт тот, что за 33 года население, даже верующая часть его, привыкло машинально связывать всякое свое практическое

стремление с какой-нибудь из светских партий, а на клерикалов смотреть просто как на критиков, более или менее прощательных, но не предлагающих со своей стороны ничего положительного. Насущные интересы населения шли мимо клерикалов; даже верующие невольно пришли к сознанию, что между церковью и жизнью нет ничего общего, раз партия церкви упорно уклоняется от запросов жизни. И, само собой, настроение даже верующих стало охладевать. Фанатизм, увлечение трагической красотой угнетенной церкви кое в ком, может быть, и возросли, идеальный престиж папы и патера, может быть, и повысился (и это дало повод многим полагать, будто понтификат Льва XIII улучшил положение Святого престола, между тем как именно Лев XIII допустил огромные ущербы), — но кошелек затворился. Кошелек отворяется только в сторону практических интересов. 33 года подряд провозглашать невмешательство в практические интересы значило закрыть себе доступ к кошельку. Теперь казна Святого престола платится за эту политику, и, вероятно, даже Рамполла в глубине души не может не сознавать необходимости поворота.

Примирение с Италией поведет к такому повороту. Признав итальянское правительство, папа тем самым отменит принцип невмешательства верующих в политическую жизнь Италии. Клерикалы пойдут к урнам и должны будут выставить перед населением свою программу практических мероприятий. Им придется ответить на все вопросы дня: облегчение податного бремени, оздоровление политических болот южной Италии, упорядочение эмиграции. Приблизив себя к положительным интересам жизни, они оживят связь между церковью и населением, укрепят ее положение как носительницы практических целей и привлекут к ее пустующей казне вновь те средства, которые население дает как материальную поддержку в обмен только на материальную же поддержку.

Все это, конечно, может и не сразу произойти — может понадобиться время для того, чтобы первый выход папы из Ватикана привел клерикалов к избирательным урнам. Но намеченный впереди путь не может быть иным: Ватикан, силою вещей, принужден вновь активно вмешаться в политическую жизнь Италии. Кто от этого останется в выигрыше — другой вопрос.

Несомненно, прогрессисты всех фракций — левые монархисты, радикалы, республиканцы, социалисты — не могут быть довольны такой перспективой. В Италии есть еще много

медвежьих углов, особенно деревень, где население слепо слушается патера. Эти патеры могут послать к урнам, по крайней мере, несколько сот тысяч новых избирателей, которые дадут палате группу клерикалов — на первых порах, быть может, немногочисленную, но хорошо сплоченную. Шансы реакции усилятся; легко может случиться, что часть будущих клерикальных депутатов пройдет против левых монархистов, и такое уменьшение конституционных либералов резко отразится на внутренней политике страны. Ибо ясно как дважды два — четыре, что клерикалы станут на стороне реакции: в программе их, конечно, будет упомянуто и облегчение податного обложения, и всякие невинно-экономические паллиативы вроде касс взаимопомощи, но политика Святого престола не может быть ни демократической, ни либеральной.

Это уже доказано. Влить новое вино в старые мехи — это, может быть, и не совсем невозможно, как сказано в Писании, но трудно.

Кто же выиграет и кто проиграет от прилива клерикалов к политической жизни страны? Три партии крайней левой количественно не могут потерять почти ни одного кресла в палате, потому что их избиратели — в городах, а на города клерикалы и не рассчитывают. Те несколько десятков мест, которые будут принадлежать католической партии в ближайшем будущем, достанутся ей за счет баронов и толстосумов правой и центра: их округа с деревенским и мелкоуездным населением легко поддадутся пропаганде патера; несколько кресел вырвут клерикалы, вероятно, и у средней левой. Среди всех этих фракций очень много балласта, много таких господ, которых никто никогда не видел в палате, или таких, которым личные секретари составляют речи; в политическом отношении они напоминают слова Данте: «это те, которые не сделали на земле ни доброго, ни злого. Мир не сохранил о них памяти, небесная справедливость пренебрегает ими; не стоит о них говорить — посмотри и пройди мимо».

Боевая группа клерикалов легко сметет многих из этих паладинов безделья и безразличия, призвав к урнам с помощью патера ту глухую деревенщину, которая до сих пор, может быть, не знает толком, какой Виктор Эммануил королем в Риме — «тот самый» или уже новый. Есть еще много такого народа, одуревшего от разных причин — в горах от мамалыги, на рав-

нине от малярии, и там и здесь от нищеты и невежества; — и этим несчастным людям долго еще не пришло бы в голову, что избирательное право есть их гражданский долг, и не скоро еще удалось бы агитатору сдвинуть их с места и привлечь массой к урнам. Но для патера это совсем нетрудно: привыкнув подчиняться его авторитету, земледелец напишет корявым почерком фамилию клерикального кандидата и опустит ее в избирательную вазу. Он превратится в избирателя — может быть, впервые. Патер и кандидат заговорят пред ним о его нуждах и скажут ему, что он — сила. Он впервые смутно почувствует свое политическое значение. Это — уже целая школа, это — первый шаг, который, может быть, труднее всего.

Пусть группа боевых клерикалов вытеснит нескольких бездельников и сонливцев, усилив шансы реакции: зло, которое она этим причинит, будет искуплено с избытком, потому что клерикалы должны будут разбудить для политического сознания слой, до сих пор глухие. Это самосознание, раз пробужденное, через несколько лет поймет свои настоящие интересы, и тогда этой новью смогут (и сумеют) воспользоваться те, которые действительно стоят за насущные интересы масс. Чем скорее свершится вторжение клерикалов в палату, тем скорее будут пробуждены эти массы; чем сильнее и бодрее будет эта новая группа, тем больше оживления внесет она в эти глухие углы; чем отчетливее обозначится внесенная ею линия реакции, тем скорее и полнее массы поймут, кто им друг и кто враг.

Пахарей, бороздящих землю, может быть много; но в каждую эпоху есть только один сеятель. Что бы ни делали другие, на какие бы хитрости ни пускались, каждое их движение только больше разрыхляет землю, больше подготавливает почву, куда *он* бросит свое зерно; и чем деятельнее и дружнее работают они, его противники, тем мягче и плодороднее будет земля для *его* семени. Только застой может затормозить народение того, что должно народиться; но всякое живое движение, и дружественное, и враждебное — лишь бы это было движение — пойдет силою вещей ему, нарождающемуся, в пользу и в мощь.

Altalena

Одесские новости. 22.09.1903



Вскользь

Рим, 1 октября

Рим оживает понемногу.

Я начинаю его узнавать, потому что до сих пор, право, я как-то не узнавал его.

Прежде я никогда не проводил здесь сентября и совсем не предполагал, чтобы город в этом месяце мог быть так абсолютно пуст.

Дачное время в Италии начинается поздно, около конца июля, и кончается только в октябре; и при этом самый дачный месяц — сентябрь.

В сентябре все решительно, кто в Бога верует, дезертируют из столицы.

Но здешняя «дача» — villeggiatura¹ — совсем не то, что наши Фонтаны и Люстдорфы, которые все-таки в Одессе.

Здесь поехать in villeggiatura — значит отправиться в Ривьеру или в горы: целое путешествие, которое при дороговизне здешних железных дорог дешево не обходится.

Поэтому Рим в сентябре есть совершенно покинутый и безлюдный город, и даже в окрестностях на много миль вокруг не пахнет человеком.

В кафе Араньо, где в другое время по вечерам собирается решительно все более или менее заметное, что есть в Риме, — в сентябре не с кем раскланяться, кроме кельнеров.

Франты, которые в другое время ежедневно с пяти часов до семи торчат в разных стоячих позах на тротуарах перед этим кафе (это здесь считается признаком элегантного направления), — и те куда-то исчезают в сентябре.

Вечером на площади Колонны, вокруг оркестра, нет и половины той толпы, которая там собирается в сезон; и толпа не та, нет тех нарядных изящных женщин, того запаха духов, того столпотворения всех европейских наречий.

Я никогда не полагал, что в Риме так скучно в сентябре.

Но, начиная с 20-го числа, обстановка стала меняться.

По вечерам понемногу опять появились на Корсо красивые экипажи с красивыми людьми на синих подушках; у Ара-

¹ Летний отдых, пребывание на даче (*итал.*).

ньо стало веселее; франты заняли свои места на тротуаре, вечерняя толпа на площади Колонны стала гуще и в то же время более *distingué*¹ по составу — по крайней мере, наружному. Это действует оживляюще на профессоров² городской банды³, и они, действительно, оправдывают свою славу одного из лучших концертных оркестров в Европе. Другой обычный концерт площади Колонны, хор газетных разносчиков, тоже воспрянул духом с оживлением сезона и вновь пускает в ход все силы легких, отдохнувши за два месяца. И громкие, бойкие крики газетчиков, представляющих все голосовые тембры, от звонкого альта мальчишки до хриплого козлетона старухи, переплетаясь с важными нотами духовой музыки, на фоне звучного немолчного говора огромной и подвижной толпы, извозчичьих окликов «азопп!», топота подков, фыркания автомобилей, — вся эта чудесная симфония европейского приволя, освещенная огнями дворцов и электричеством и сверху окутанная бездонной синевою латинской ночи, — это так взбудораживает, волнует, подымает нервы, как что-то родное и милое, что напоминает о хорошем времени, о врасос прожитых часах.

А тут-то мне и пора домой, в Одессу. Лары меня ждут, пены-ты требуют.

— Вернись.

И я собираюсь. Собираюсь как можно мешкотнее, топчась на одном месте, всячески задерживаясь, но все-таки собираюсь, и сердце у меня стеснено.

Я за это строго укоряю себя.

— Стыдись, Матвей Маркович! — говорю я сам себе. — Ты уже не школьник. Тебе нельзя больше прохлаждаться в чужом городе только потому, что там небо другого цвета. Ты теперь гражданин. Тебя ждет работа. Домой! Полно гулять.

Эх!..

Altalena

Одесские новости. 23.09.1903

¹ Изысканной (*фр.*).

² В Италии профессиональных оркестрантов именуют *professori d'orchestra*.

³ Духового оркестра (от *итал.* banda).



Вскользь

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫК

Рим, 3 октября

Здесь газеты по какому-то непонятному недосмотру только теперь заговорили о том, что еще в прошлом году в одном из заседаний лондонской British Association сэр Фредерик Браммуэль прочел доклад на тему: «Итальянский язык в качестве международного языка».

Почему и каким образом такой шаг высокоавторитетного британского учреждения мог пройти тогда незамеченным в Италии — это прямо непостижимо. Ничем, кроме безалаберности, которой итальянцы наделены чуть ли не в такой же доле, как русские, нельзя объяснить себе этого невнимания. Курьезно, между прочим, то, что на доклад Браммуэля не отозвалось даже общество Dante Alighieri, специально радеющее о распространении итальянского языка за границей. Оказывается, что на прошлогоднем съезде этой большой ассоциации было внесено предложение выразить Браммуэлю благодарность, но некто синьор Натан — если не ошибаюсь, глава итальянских масонов — запротестовал на том основании, что мотивы, которыми Браммуэль подкрепил свое предложение, оскорбительны для Италии: так, Браммуэль выразился, что принятие итальянского языка в качестве международного не вызовет того соперничества, какое вызвал бы французский или английский, «ибо политическое значение Италии меньше значения Англии и Франции». Этот невинный и безусловно справедливый аргумент ученого англичанина, глубоко симпатизирующего Италии, до того встревожил конгрессистов, что они поручили президиуму прежде навести справки, был ли доклад Браммуэля достаточно почтителен, а потом уже соответственно решить, стоит ли благодарить. Президиум, конечно, сунул это поручение под сукно, и в результате на голос British Association Италия никак не отозвалась. Все это в конце концов вышло довольно некрасиво...

Вопрос о международном языке придется рано или поздно разрешить утвердительно. Многие при слове «международный язык» пожимают плечами и говорят «химера!», но это происхо-

дит просто от неясного понимания. Такие скептики обыкновенно думают, что международный язык означает язык всемирный, т. е. что в один прекрасный день все национальные языки предполагается упразднить, и весь мир заговорит, по приказу начальства, на том диалекте, который будет признан универсальным. Но достаточно просто немного проветриться, чтобы понять, что о таком абсурде никто и не помышляет.

Речь идет о языке международном, о языке для торговых, политических, дипломатических и всяких других деловых сношений между людьми разных стран. Ради этих сношений многим теперь приходится изучать по несколько чужих языков; достаточно указать на то, что порядочный торговый корреспондент в России должен свободно писать коммерческие письма, если не ошибаюсь, по-французски, по-немецки и по-английски. Чтобы выучиться этим трем премудростям, нужна потеря времени, которая была бы гораздо меньше, если бы один какой-нибудь язык был признан общемировым. За меньший промежуток времени этот один язык можно было бы изучить гораздо лучше, нежели те три. Вообще, перечислять выгоды международного языка было бы совершенно излишне: они сами собою понятны. Больше всего выиграла бы наука, по своему существу интернациональная: научные сочинения могли бы если не прямо писаться на международном языке, то переводиться на этот язык, тогда как теперь, чтобы сделать мысль ученого всеобщим достоянием, надо перевести его книгу чуть ли не на пятнадцать разных языков. Международные конгрессы врачей, криминалистов, друзей мира и т. д. были бы колоссально облегчены; ученые могли бы читать лекции и за рубежом своей родины, и вообще получилась бы во всех отраслях огромная экономия энергии в связи с усилением плодотворности последней. Все это до того ясно, что введение международного языка не может не рассматриваться как вопрос времени и даже не слишком отдаленного времени.

Гораздо сложнее другая задача — какому именно языку быть международным и выбрать ли для этой цели один из существующих живых языков или предпочесть язык искусственный.

Над этой альтернативой придется поломать порядком голову будущей всемирной конференции о международном языке. Фредерик Брамурель, по сообщениям итальянских газет, высказался, что все попытки создать искусственный международ-

ный язык надо признать неудачными. К сожалению, газеты не приводят аргументации, а между тем мнение Браммуэля далеко не представляет бесспорной истины.

Во всяком случае, если не за какой-либо определенный искусственный язык, то за *идею* искусственного языка, предпочтительно перед живыми языками, говорит многое. Самый легкий из живых языков бесконечно труднее для изучения, чем любой из искусственных языков; на живом языке иностранцы вряд ли решатся писать, хотя бы даже сухие математические трактаты, боясь показаться плохими стилистами, тогда как искусственный язык, не имея традиций и классиков, никого с этой стороны не будет пугать. Затем искусственный язык не вызовет раздоров на почве национального самолюбия, которые, наоборот, неизбежно затормозят выбор какого-нибудь из живых языков. С другой стороны, и за выбор живого языка говорит многое. Искусственное наречие, даже самое совершенное, никогда не сможет сравниться с живым по гибкости и богатству оборотов, никогда не передаст такого разнообразия оттенков чувств и мысли; затем — хотя главное применение международного языка будет чисто деловым и научным — легко может понадобиться перевести на этот язык и какое-нибудь произведение изящной литературы, а для этого жанра искусственный язык вряд ли годится, и т. д.

Собственно говоря, легко заметить, что принципиальные доводы против искусственного языка гораздо слабее, чем доводы за. Можно почти с уверенностью сказать, что, будь налицо безусловно удачная попытка искусственного языка, априорные возражения скромно бы стушевались. В том-то и дело, что безусловно удачной нельзя признать, действительно, ни одну из сделанных попыток, даже лучшую из них, язык «эсперанто» д-ра Заменгофа из Варшавы, имеющий уже тысячи адептов, если не десятки тысяч, и порядочную литературу. Слабая сторона этого поистине замечательного языка лежит не в его структуре, а в алфавите и словаре. Структура эсперанто представляет, по-моему, совершенство: большего упрощения грамматики нельзя и желать — она вся целиком занимает около 75 строчек; правила словообразования, занимающие тоже две крохотные странички, обличают в авторе изумительное остроумие и, в самом деле, позволяют сократить *полный* словарь до каких-нибудь 500 корней. Но эти корни — опять-таки удачно подобранные в мнемоническом отношении — совершенно неудобны в смыс-

ле фонетики. Алфавит международного языка следовало подобрать так, чтобы все его звуки, по возможности, входили в фонетику наибольшего числа цивилизованных народов. Было бы нелепо включать в азбуку английское *th*, которого никто в Европе, кроме англичан, испанцев и греков, не выговаривает, или, как сделал изобретатель волапука, — смягченные гласные *ö—ÿ*. Заменгоф в качестве доброго варшавянина решил принять за образец польский алфавит, исключив из него только носовые и на этом успокоившись. Но в алфавите эсперанто очутилась, таким образом, пропасть неподходящих звуков. Тут, например, есть и *h*, и *x* (немецкое *ch*): первый из этих звуков не выговаривает ни коренной русский, ни испанец, ни португалец; со вторым из них не справятся ни француз, ни англичанин, ни венгр, ни сербохорват. Что касается итальянца, то он не только сам не выговаривает ни *h*, ни *ch*, но даже — за это я ручаюсь — и в чужих устах не уловит ухом разницы между этими двумя дикими звуками. Затем в алфавите у Заменгофа есть и *ж*, и *дж*: ни того, ни другого не произнесет ни испанец, ни грек, ни немец, ни швед, ни датчанин, а итальянцу и англичанину, у которых есть только *дж*, вряд ли легко дастся разница между этими звуками и простым *ж*. Прибавьте к этому звуку *ш*, которого нет у испанцев и греков. Все это следовало принять во внимание и, в крайнем случае, допустить в алфавит только один придыхательный звук, а не два, только *один* шипящий, а не три. Если бы эсперанто и был когда-нибудь признан международным языком, пришлось бы прежде сократить его алфавит и, значит, переработать его словарь. Но в конце концов эта операция не изменила бы сущности языка, его удивительной структуры, которая заслуживает всякого внимания.

Если же будущая — и, можно полагать, неотдаленная — международная конференция признает *a priori*¹ необходимость живого языка, тогда, без сомнения, предложение Брамозеля выступит на первый план. Из европейских языков — ни о каком славянском наречии, конечно, не может быть и разговору ввиду их необычайной трудности; не имеет никаких шансов и немецкий язык, безусловно, богатый, но неудобный, громоздкий, тяжелый по строю речи. Соперниками будут только три языка: французский, английский и итальянский. За первый говорит его распространенность, за второй — и распространенность,

¹ Здесь: изначально (*лат.*).

и простота грамматики. Но против обоих есть очень веские доводы. Во-первых — страшная трудность орфографии, притом трудность глубоко органическая, т. е. неустранимая. Во-вторых — совершенно своеобразное произношение, полное звуков и оттенков, часто совершенно неуловимых для иностранца. В-третьих — *last not least*¹ — неизбежная политическая ревность двух наций, которые давно спорят за культурное первенство и в таком вопросе ни за что не допустят победы соперника.

При этих условиях *tertius gaudens*² не может не явиться итальянский язык. За него говорит очень многое. Его произношение — безусловно, самое легкое, по сравнению со *всеми* европейскими языками, и «спорных» звуков в нем только три (дж, ш, ч), тогда как в английском их шесть (дж, ш, ч, h и два th, не считая разных оттенков гласных), а во французском четыре (ж, ш, h aspiré³ и носовые, опять-таки не считая гласных eu, ai, u etc.). Конструкция речи, в итальянском бесконечно гибкая и свободная, во французском и английском стеснена запутанными правилами чередования слов: тут не ставь определения, там не место сказуемому и т. д. Грамматическое строение языка, по сравнению даже с французским, признается у филологов более совершенным. Нельзя, наконец, не считаться и с той симпатией, которою почти всюду окружены имя Италии и итальянский язык, за которым прочно установилась слава первого по красоте и выразительности.

Может быть, не будет особенным риском предсказать, что соперниками в грядущей конференции о международном языке явятся, собственно говоря, эсперанто и итальянский язык, наиболее подходящее из искусственных наречий и наиболее подходящее из живых. На чем бы ни остановился будущий выбор, разрешение этого вопроса принесет человечеству пользу, которую, не обинуясь, можно назвать огромной, не требуя взамен почти никаких усилий. Если до сих пор еще не вспомнили об этом простом и необходимом шаге, то лишь потому, что на свете вообще такая мода — меньше всего радеть именно о том, что важно...

Altalena

Одесские новости. 26.09.1903

¹ Последнее, но не по значению (англ.).

² Третьим радующимся (лат.).

³ h придыхательное (фр.).



Вскользь

Рим, 5 октября

Не могу вам передать, с каким удовольствием я читаю здесь одесскую театральную хронику.

Новинка за новинкой! То в Городском театре что-нибудь новое, то в Русском.

Это совсем не похоже на доброе старое время, которое, впрочем, так еще свежо и близко.

Ездили к нам труппы, которые любезно принимали наш город за нечто вроде Миргорода: город нарочито не великий.

И угощали они нас Шпажинским и Потехиным, и «Уриэлем Акостой», и обижались, что Одесса город не театральный.

Впрочем, они угощали нас и новинками, но скромно, степенно и с таким расчетом, чтобы новинка успела отстояться.

В Петербурге или в Москве ее поставили еще в позапрошлом году, и наши здешние газеты перепечатали все тамошние мнения за и против.

В журналах успели уже десять раз прокритиковать эти самые новинки. Уже подробно изложили, на десять разных ладов, содержание каждой из них и указали все недочеты и недостатки.

Мы все это прочли; мы уже знали новинку чуть ли не наизусть, и она, с позволения сказать, нам уже до некоторой степени надоела.

А тогда ее нам и показывали.

Да еще как показывали! По общему рецепту: по три репетиции на каждую новинку — и без предварительного чтения пьесы сообща. Г-н комик заучивал: «хе-хе» и даже не интересовался, по какому поводу он будет хехекать; и если у любовника не было выхода в последнем акте, то он мог и не знать и вовек не узнать, чем кончила героиня — повесилась или поступила на содержание.

Эти добрые люди систематически держали нас в прихожей, подавая нам объедки со стола Петербурга и Москвы только после того, как господа покушают и в знак сытости пустят отрыжку; и подавали нам эти объедки на глиняной нелуженой посуде.

Все это было поистине возмутительно; а самое неприятное было то, что печати волей-неволей приходилось снисходительствовать, содействовать и поддерживать.

Иначе пресса рисковала повредить принципу постоянной драмы, за который она так много ратовала.

Ради принципа приходилось терпеть и прощать постановки, которые иногда походили на издевательства.

Слава тебе, Господи, — это доброе время, если я только издала не ошибаюсь, начинает проходить.

Великое дело — конкуренция.

Новичков она закаливает и наставляет на добрую дорогу, старикам дает жестокие уроки.

Повторяю: легко может быть, что я ошибаюсь, судя по одним газетным отзывам издаека, но на то ведь и есть пословица, что со стороны виднее; и если мое впечатление со стороны верно, то дело идет к тому, что у Одессы будет наконец настоящая первоклассная драма.

Под первоклассной драмой я не разумею непременно приток первоклассных талантов. Это еще пока невозможно по многим причинам.

Но уровень предприятия измеряется не качествами отдельных лиц, а теми принципами и критериями, которые положены в основу.

Если дело построено на первоклассном принципе, если руководители прилагают к нему первоклассный критерий, тогда дело первоклассное.

Что такое первоклассный критерий — это всякий понимает.

Мне кажется, что в таком городе, как наш, нельзя в настоящее время открыть даже колбасную лавочку, не натолкнувшись на этот критерий.

Слишком долго уже провинция питалась продуктами второго сорта, жила отраженным светом.

Ей теперь необходимо добиться, чтобы ничто у нее не было отраженным, чтобы все было свое, местное.

Испокон веку мы, провинциалы, жили на положении обитателей Тирасполя, которые, когда им нужны порядочные штаны, отправляются за ними в Одессу.

Когда нам нужна хорошая книга, хороший журнал или вообще что-нибудь перворазрядное, мы должны выписывать из Петербурга, потому что у нас, в провинции, все товары второго сорта.

Скоро ли удастся переменить этот порядок, установить равновесие — это другой вопрос; но одно ясно — что больше мириться с таким порядком нельзя.

От каждого учреждения, возникающего теперь в Одессе и рассчитывающего на поддержку общества, мы вправе требовать, чтобы оно *не мирилось с таким порядком*, чтобы оно категорически отвергало устарелую гегемонию столиц.

Чтобы цель его была — бросить новую горсть земли на ту кучу, которая со временем вырастет в холм и подымет здешнюю умственную жизнь до первоклассного уровня, до того уровня, когда здешняя публика уже не будет кормиться чужими объедками, а будет обмениваться своими блюдами со столицей, как равный с равным.

Это и есть первоклассный критерий, которого провинция должна теперь требовать как паспорта от каждого нового просветительного учреждения; и если такого паспорта нет, то учреждению незачем существовать.

Мне кажется по всему, что в Одессе теперь есть серьезная попытка создать театральное дело первого ранга.

Мне кажется, что организаторы этой попытки стремятся не к тому, чтобы разыграть рыбу на безрыбье, а к тому, чтобы создать в Одессе нечто настоящее, заправское и автономное.

Мне кажется, что их честолюбие уже не способно удовлетвориться отметкой: «для Харькова — недурно».

Если это мое впечатление верно, такая попытка есть прежде всего доказательство уважения к населению нашего города, и тогда общество и печать нашего города должны уметь достойно ответить.

С порождением такой попытки общество, и особенно печать, освобождаются от неприятного долга притворяться несходительными.

Без всякой ложной жалости нужно теперь гнать и обличать все, что есть пережиток устарелого, смиренно-провинциального направления, все, что пахнет вторым сортом и склонностью ко второму сорту.

Тем легче и отраднее будет ободрять, рекламировать и поддерживать всеми силами и средствами все то, в чем проявляется понимание нужд этого момента, взрослое стремление к независимости, здоровое самолюбие, неспособное примириться с ролью вечной второстепенности.

Altalena

Одесские новости. 28.09.1903



Вскользь

О ЛЮБВИ

Рим, 6 октября

...В конце концов, я сомневаюсь, можем ли мы, грамотные люди севера, любить по-настоящему.

Когда-то, вероятно, и в тех широтах, где мы теперь проживаем, любили по-настоящему, то есть сильно и до опьянения.

Но теперь интеллигентный человек вообще не допускает опьянения. Вместо вина мы употребляем пиво, а еще охотнее и чаще — кофе и чай, которые дают нам возбуждение в приличных и благонамеренных градусах.

С любовью стало то же: из вина ее превратили в чай и довольно жидкий.

Я недавно перечитывал сказки «Тысяча и одной ночи». Там написано, что принцесса Сет-Будур и принц Камаральзаман, увидев друг друга, упали оба в обморок от страсти.

Помню, когда я это прочитал, то крепко позавидовал этим людям с такими странными именами.

Конечно, я не нахожу ничего особенно хорошего в том, чтобы порядочному человеку падать в обморок от страсти.

Но завидна, как хотите, такая сила чувства. Вникните: увидеть любимое существо и вдруг сразу всеми нервами до того ярко ощутить желание отдать ему себя, чтобы от одного представления захватило дух и помутилось в глазах!

Вероятно, люди, *так* умевшие желать возлюбленную, вообще умели крепко желать и вообще были не нам чета.

Мы теперь вместо любви употребляем что-то такое очень смягченное и разбавленное.

В книгах мы прочитали, что она приносит большие восторги и большие терзания.

Для нас это слова.

«Восторги»? Да, конечно, нельзя не согласиться, что, любя и будучи любимым, можно, так сказать, провести время с приятностью.

«Терзания»? Гм! Само собой, если, например, любовь не разделена, то это, до известной степени, прискорбно...

Странная и обидная судьба наша, судьба этого поколения.

Книги, что писали большие писатели для наших дедов и отцов, когда деды были уже взрослыми, — нам эти книги послужили чтением для детского возраста. Мальчиками и девочками прочли мы и Шиллера, и Тургенева.

В этих книгах так чудно говорилось о любви, что мы, до-растая до шестнадцатого года, и в самом деле ждали чего-то чудного.

Мы ждали, что у нас будет кружиться голова и сердце будет сжиматься как-то так, что оно выйдет вместе и мучительно, и сладко; и что после первого поцелуя мы не будем чувствовать земли под собою и помнить себя от блаженства...

Пришла пора любви, и оказалось, что ничего подобного.

Никаких восторгов, никакого головокружения: проводишь время с приятностью, вот и все.

И когда вдумаешься в эту разницу, то иногда готов плюнуть на старые книги, где расписаны такие небылицы, и закричать теньям сочинителей:

— Вы нас обманули!

Дорошевич когда-то пародировал уже не помню кого: не то Мачтета, не то Чехова. В этой пародии студент, полюбивший курсистку, говорил ей угрюмым тоном:

— А знаете? Я к вам чувствую мерехлюндию.

И она отвечала:

— Да, я к вам тоже питаю кислые чувства.

По-моему — *c'est le mot*¹.

Но так как мы усердно поддерживаем ту фикцию, что наша жизнь вовсе не есть пародия, то мы избегаем таких терминов, которые, однако, были бы единственно верными.

И поэтому, когда говорим друг другу о наших чувствах, мы преувеличиваем и подкрашиваем их.

Мы за волосы приподымаем их на вершок от земли, чтобы они не казались уж такими крохотными.

Мы говорим:

— Я люблю вас!

А это значит:

— Вы мне нравитесь.

И при этом вы, который это говорит, сами понимаете, что «люблю» значит «нравитесь».

И она, которой вы это говорите, тоже понимает.

¹ Это именно так (*фр.*).

И вы знаете, что она это понимает; и она знает, что вам это известно.

Однако и вы, и она молчите и блюдете словесное приличие, ибо знаете, что, если один осмелится заглянуть другому в центр и сказать:

— Ваше «люблю» разбавлено водицей!

То другой ему ответит и будет тоже прав:

— А ваше?..

Причины всего этого меня в данный момент не интересуют. Тут десятки причин, лежащих главным образом в рыночном устройстве мира сего; ближайшая из этих причин, которая есть в то же время само следствие и порождение нашей безобразной эпохи, — это современная дешевизна любви, ее легкая достижимость и общедоступность.

Я говорю не о той дешевизне, которая котируется на Дерибасовской по рублю после 12 часов ночи. Это есть дешевизна мяса, а не любви.

Мясной разврат, профанация гинандрического единства, есть большое зло; но мне кажется, что разврат платонизма, профанация самых свежих, самых ценных и ароматных движений молодой и девственной души — зло еще большее.

Ибо первое гноит «падших», а второе — всех.

Купля-продажа мяса всегда была грязна, и теперь не грязнее, чем была прежде.

Но игра любви, все то, что называется ухаживанием, признанием, свиданиями — лунные ночи, запах акации, все это еще недавно, еще 25–30 лет тому назад, было свято и редко и давалось человеку, может быть, один раз в жизни.

А теперь это стало дешево и очень просто и дается кому угодно на каждом шагу, без всяких затруднений и формальностей.

Прежде для этого надо было жаждать, томиться, добиваться. Теперь достаточно поманить друг друга пальцем:

— Вы любите развлекаться? Я тоже люблю развлекаться.

И готов роман.

Это все равно, как путешествие в Париж, которое прежде стоило несколько сотен, а теперь пятьдесят рублей.

Все демократизировалось, и любовь, хорошая, поэтическая юношеская любовь тоже демократизировалась.

Пусть этому радуются те, кто думает, что прогресс в демократизации. Я всегда полагал обратное. Для меня прогресс

не в том, чтобы все демократизировалось, а в том, чтобы все стало аристократическим и все аристократами; не в том, чтобы переселить и богатых в лачуги, а в том, чтобы дать и нищим дворцы; не в том, чтобы все стало дешево, а в том, чтобы все были достаточно богаты и могли брать дорогое.

Дешево и гнило. Прежде любовь была, как месяц, одна в целом небе; теперь она стала, как фонарь на улице, по два на каждом квартале, которые жидко светят на десять шагов крутом и не больше.

Дешево и гнило. Когда любовь доставалась дороже, она была добротнее. Теперь она дешевле — оттого она теперь и не та, что была, а поплосе, послабей, пополам с бумагой.

Это совсем не шутка. Если маргарин проник даже в то, что было прежде самым могучим из человеческих ощущений, — это не шутка.

Это симптом большого разложения, свершившегося внутри нас. Это — симптом нашей болезни и в то же время угроза нашим будущим детям.

Потому что любовь — это голос природы, зовущей к творчеству; и в ком этот голос ослаб, тот не подарит миру крепкого поколения.

Нам иногда кажется, что потом, успев насытиться флиртом до брака, наши девушки становятся примерными матерями.

Это правда. Но не обманывайтесь.

Эта женщина будет заботлива со своим ребенком, но ребенок, рожденный от жидкой и холодной крови, никогда не вырастает истинным чемпионом человеческого рода. Она может стать отличной матерью-воспитательницей, но как мать-родительница она уже пала и не поднимется.

И все-таки... я не знаю, вправе ли мы протестовать против этого.

Правда, когда засидишься в наших краях и нагладишься на эту дешевизну, часто до того станет обидно, что протест рвется вон из горла и всякую минуту рискуешь заговорить языком моралиста.

Оттого иногда полезно переменить среду. Это меняет и расширяет точку зрения.

Здесь, в Италии, любовь еще не успела подешеветь.

И сюда, конечно, проникает новая мода, и через двадцать лет и здесь луна станет фонарем; но пока еще главная масса населения сохранила старомодную любовь.

Человеку издалека, живущему здесь свидетелем и наблюдателем, это хорошо видно.

Из всего, что читаешь в газете, что слышишь от собеседников, на что сам наталкиваешься как невольный мгновенный зритель — по множеству примет, в одиночку незначительных и неуловимых, но вместе создающих картину, — здесь я минутами улавливаю в полном блеске лиц настоящего Эроса, который от нас, северян, уже улетел и оставил взамен распутную ораву мелких амурчиков.

Вижу лицо Эроса, вглядываюсь — и не решаюсь больше протестовать против этой дешевой мелкоты.

Эрос прекрасен. Нам на севере, вероятно, и не снилось, как он прекрасен. Но он и грозен.

Мы, которые любим вполоборота, ничего не боимся. Не удался этот роман — удастся другой.

Итальянская девушка любит еще с каким-то трагизмом и трепетом.

Она боится подступающей любви, отталкивает ее, убегает и прячется.

Эрос поступает с нею, как сильный мужчина: он за нею гонится, настигает, борется, охватывает и сжимает в своей власти.

Тогда она сдается и отдается любви, которая действительно похожа на обморок: она туманит глаза и захватывает дыхание. Добрый взгляд любимого человека становится ударом счастья, от которого можно ослепнуть; его измена выбивает землю из-под ног, сжимает виски свинцовой рамой, ложится жерновом на шею.

У нас родители, улыбаясь и подтрунивая, подмигивают друг другу на влюбленную дочь:

— Шалости!

Здесь приход Эроса вносит боязливую тревогу в дом. Мать и сестры беспокойно косятся на его жертву. Братья становятся серьезно и мягко внимательны, как с тяжелобольной. Они все понимают, что с ней случилось что-то большое и грозное, беременное и весельем, и трауром.

У нас на севере он и она свободно сходятся вечером под акациями, целуют друг друга и говорят с легким сердцем:

— Мы не можем принадлежать друг другу, потому что у нас разные дороги. Но ведь все равно любовь проходит. Жить всегда вместе значило бы надоесть. Мы возьмем от сегодня то, что

можно, а завтра пойдем каждый в свою сторону и сохраним навсегда доброе воспоминание...

Здесь они видятся торопливо, украдкой, на лестнице или террасе, и она говорит ему вполголоса, почти шатаясь, заковав свои глаза в его глаза, с горящими щеками и горячим лбом:

— Не говори мне этого. Лучше обмани меня, скажи мне, чтобы я ждала тебя год. Потом ты скажешь мне, что я больше не нужна тебе, но я хоть год буду спокойна. Если ты велишь, я десять лет буду ждать тебя, я затворюсь в монастыре, я никого не увижу и буду ждать тебя и буду счастлива, только не отнимай у меня надежды.

И когда она это говорит, она уже не сама, не одна, и в нее ворвалось и в ней бушует что-то властное, причиняющее муки и влекущее к мукам. Это не влюбленная, это одержимая любовью.

И в газете вы каждое утро читаете, что она отравилась сулемой или приняла ванну, оделась во все чистое и нарядное и бросилась с высокой стены парка Пинчо.

Я, робкий и расчетливый человек из торгового города, думаю, что слишком грозен этот настоящий Эрос.

Любовь должна быть огнем. Но ведь *это* — динамит, и при легкой неосторожности, при легком толчке жизни, в котором никто, быть может, не виноват, его может взорвать с ужасной силой.

Я спрашиваю себя:

— Стоит ли чувство любви такого риска? Стоит ли оно такого расхода энергии, которая так нужна теперь на тысяче других поприщ? Не лучше ли поступили мы, северяне, которые рассыпали этот динамит на мелкие кучки и вместо взрыва устроили из него безопасный фейерверк?

И иногда мне думается, что мы, северяне, поступили лучше; и хотя мы живем нехорошо и развратно, и хотя впереди у нас еще долго дни все большего разврата, но все-таки мы благо сделали, что ушли от того грозного Эроса, и благо сделают и южане, когда в свою очередь уйдут от него.

Ибо та гадкая ступень, на которую попали мы, уйдя от Эроса, есть, может быть, ступень перехода к лучшему, и последнее, отдаленное будущее возрождения принесет и обновление любви, возвратит ей прежнюю силу и полноту, но без прежней жестокости.

Уйдя от Эроса, мы внесли на арену любви новый принцип — свободу; но попутно мы обескровили само любовь. Новые люди, больше нас смелые, цельные, самовластные и независимые, сумеют слить воедино свободу нашей любви с мощью любви настоящей, стихийной и вновь первобытной.

Altalena

Одесские новости. 29.09.1903



Вскользь

АЛЬФИЕРИ

13 октября 1903 г.

Город Асти в Пьемонте, тот самый, где готовят шипучий мускат для тех, кому не по средствам шампанское, очень пышно празднует теперь столетие со дня рождения Витторио Альфиери.

Имя этого поэта очень мало известно в России.

Вероятно, старший Сальвини в свое время не раз играл в русских городах трагедию «Саул»*, и очень может быть, что кое-что из репертуара Альфиери во дни оны и переводилось на русский язык, и ставилось на русской сцене.

Во всяком случае теперь имя Альфиери для большой публики в России — совсем чужое, и это не удивительно, потому что и в Италии теперь он почтительно забыт.

Его многочисленные трагедии вытаскиваются на свет Божий только в исключительных случаях; его «Vita», автобиография, стала достоянием гимназистов.

А это — первое доказательство, что произведение потеряло всякий живой интерес.

Когда педагоги включают книгу в число воспитательных пособий, это значит, что прошло то время, когда на этой книге воспитывались поколения.

А между тем было такое время, когда на трагедиях Альфиери и на его автобиографии воспитывалось целое поколение.

И какое поколение! Те самые деды, про которых можно повторить слова Лермонтова: «Да, были люди в наше время — богатыри, не вы!»

* Насколько нам известно, никогда не играл. *Рег.*

Поколение, силой прошедшее сквозь строй итальянских и иноземных палачей, сквозь тюрьмы Неаполя, Рима, Венеции, Шпильберга, возродившее, освободившее и объединившее Италию; поколение героев в полном значении этого слова.

У этого поколения было много учителей и воспитателей: Мадзини, Джусти, Фосколо, Леопарди и другие, но выше всех, как главный вдохновитель освободительного движения, как учитель учителей, воспитатель наставников, над этой славной эпохой царствовал Альфиери.

Когда теперь читаешь его трагедии, написанные на классические темы белыми стихами высокого стиля, или пробегаешь его «Жизнь», трудно разделить от всего сердца это преклонение.

У Альфиери есть действительно прекрасные страницы; из тех немногих его трагедий, которые я читал, две показались мне почти шедеврами: «Орест» и «Мирра».

Из автобиографии мне знакомы едва несколько глав, но ими я искренне зачитывался и думаю, что вся эта книга именно из тех, которыми зачитываются.

Но все это не то, что создает мировое бессмертие поэту. Альфиери не только не Гете и не Шиллер, но даже не Гюго.

Не в степени таланта Альфиери был секрет его влияния, а в характере того исторического момента и в том отношении, в какое стал Альфиери к этому моменту.

Время Альфиери было кануном великой эпохи: этого достаточно, чтобы понять, что время Альфиери было безвременьем, периодом упадка и дряблости.

От той эпохи остались чудные сатиры Парини и Джусти, в которых нарисована вся тина тогдашнего существования, бессмысленная, обжорливая праздность, себялюбие и карьеризм тех слоев, которые должны были бы идти во главе национального прогресса.

Это была одна из тех эпох, в которые лучше совсем не родиться, чем родиться.

В такие эпохи люди, обыкновенно, стараются, если есть средства, обжорствовать и развратничать; но тем не менее у очень многих есть сознание, что так жить неприлично, и святая тоска о более красивом, почетном, плодотворном существовании.

В такое время заговорил Альфиери.

Сначала появились его трагедии: со сцены зазвучали речи, полные энергии, на сцене показались люди высокого роста, могучие в утверждении и в отрицании, огромные в каждом движении души.

Когда в эпохи упадка поэты начинают воспевать титанов, это всегда имеет одно и то же значение: значение пощечины в лицо зрителям, поколению пигмеев.

Такие поэты могут иметь или огромный успех, или полный провал с разжалованием в бездарности. Во втором случае дело плохо: значит, пигмеи довольны собою.

Но когда эти поэты встречают успех, ясно, что близится большая перемена в общественном настроении, что пигмеям стало стыдно и из-под их мусора пробиваются новые ростки.

Так было с Альфиери. Современники слушали его монологи с трепетом и восторгом.

Потом явилась автобиография.

В ней Альфиери как бы говорил современникам:

— Я хочу показать вам во весь рост человека, который в наше время сумел провести в своей жизни принципы силы и долга, отвращение к безволию и дряблости — все то, чему учат мои трагедии. Этот человек — я.

Шаг за шагом Альфиери раскрывал в этой книге свою жизнь и показывал, как он упрямо боролся с препятствиями внутри себя и вне себя, пока не добился идеала, не подчинил себя всецело своей собственной воле и стал свободным человеком:

— *Né servo né padrone che di me stesso!*

Не господин и не раб никому, кроме себя самого.

Эта книга была практической иллюстрацией к трагедиям Альфиери. Поэт хотел доказать поколению, что недостаточно только восхищаться титаническими образами героев, но надо — и можно — подражать им; и на вопрос, какая же сила может поднять нынешнего человека до классического идеала, эта книга отвечала знаменитой фразой:

— *Volli! Volli! Fortissimamente volli!*¹

— Я пожелал!

С тех пор утекло много воды, и критика хладнокровно и спокойно развеяла многое из того, что здесь называют легендой Альфиери.

Его таланту она поставила отметку — хорошую отметку, очень высокую отметку, но далеко не ту, которая полагается гениям.

¹ «Я пожелал! Пожелал! Неистово пожелал!» (*итал.*)

Его автобиографию она объявила полуфантастической и доказала, что на самом деле Витторио Альфиери вовсе не был тем героем самовоспитания, каким он обрисовал себя в этой книге, и что среди его современников были люди, гораздо больше его похожие на героев, и так далее.

Все это вполне в порядке вещей. Критика всегда потом доказывает поэтам титанизма, что они, в конце концов, обманщики, потому что их действующие лица никогда не были в жизни такими, какими они, поэты, их изобразили.

Как будто это не все равно!

Действующие лица трагедий Альфиери были герои; действующим лицом автобиографии был тоже герой.

Современники и молодежь учились по этим героям искусству жить благородно и мощно. В этом и было историческое значение произведений Альфиери.

Что же за беда, если одному из этих героев Альфиери дал свое собственное имя?

Дело было не в имени, а в образце человека; и на этом образце воспитались два поколения, которые потом возродили свою родину.

Всей своей жизнью люди этих поколений доказали, что они были учениками Альфиери. Двойко доказали: и тем, что поэт героев был их любимый поэт, и тем, что сами жили и умирали героями.

Когда-то умные люди окружали беременную женщину прекрасными статуями, чтобы ребенок ее родился красивым и сильным.

Страна, в которой называют новые силы, есть то же, что беременная женщина.

Италия была тогда чревата новыми силами, и Альфиери поставил перед ее глазами галерею своих героев, каждый из которых был красив и могуч, как прекрасная статуя.

Пусть теперь иные из них разбиты, иные развенчаны; но *тогда*, в долгие месяцы своей беременности, Италия любила эти статуи, молилась этим образам героев — и родила богатырей.

Altalena

Одесские новости. 5.10.1903



Вскользь

Рим, 10 октября

В театре Костанци до 1-го числа гостила труппа Вирджинии Рейтер, а теперь гостит труппа Терезины Мариани.

Тем не менее читатель может не пугаться.

Я не намерен подробно говорить ни о той, ни о другой.

Хочу только сделать одно замечание.

Обе эти артистки считаются здесь выдающимися, особенно первая. Рейтер и Мариани — это, в некотором роде, две из многочисленных гордостей Италии.

С ними очень считаются; о них даже пишут длинные рецензии в газетах, что здесь вообще не очень принято, а иногда устраивают даже полный сбор — что здесь вообще совсем не принято.

Значит, артистки большие. Если бы их перенести в Россию, то даже очень большие, такие большие, что иная доморощенная знаменитость могла бы даже обидеться и примкнуть к новой программе Чемберлена.

Тем не менее эти очень большие артистки играют здесь иногда и «Заза», и «Даму от Максима», и всякие другие веселые вещицы.

Играют, как следует: то есть раздеваясь вполне добросовестно и, без всяких сомнений, стараясь щегольнуть красотой и добротностью собственного сложения.

И никто ни из критиков, ни из публики не подымает по этому поводу гвалта, а относятся к этому, как к чему-то весьма понятному, и на следующий день пишут просто:

— Вирджиния Рейтер была вчера очаровательна.

У нас, в одесском захолустье, в таких случаях принято пугаться и говорить о падении искусства.

Сохрани меня Боже от еретической мысли одобрить здешнюю нравственную нечувствительность.

Я ничего не одобряю, ничего не порицаю: я соблюдаю нейтралитет.

Но не могу не высказать из глубины душевной, что лучше Содом и Гоморра, чем захолустье.

А засим к делу.

Я хотел сказать несколько слов о двух-трех новинках здешнего репертуара, не без задней мысли, что кое-что из них, может быть, пригодится и для Одессы.

Если драма в Одессе хочет стать на твердую почву, ей, между прочим, было бы весьма полезно отказаться от старого порядка пользования иностранной литературой.

Не ждять, пока другие, у которых, может быть, и вкуса-то на десять копеек, надумают перевести какую-нибудь пьесу, а самим следить за европейскими театрами и выбирать лучшее и вовремя.

Не Бог вещь какая затрата — обзавестись собственными переводчиками.

А между тем это придаст театру престиж самостоятельности и укрепит к нему уважение как к солидному и независимому учреждению, не боящемуся ответственности за свой вкус.

Мне кажется, что рано или поздно придется так поступить. Но не лучше ли рано, чем поздно?

Больше всего из итальянских новинок мне понравилась новая пьеса Бутти «Гиганты и пигмеи».

Бутти, если помните, автор «Погони за наслаждением», писатель, заинтересовавшийся современным *безнравственным* человеком, который утерял Бога и с тех пор мечется, пытаясь заменить утраченные догматы то эпикурейством (в его вульгарном понимании), то наукой, то верой в социальный прогресс.

В последней пьесе Бутти уклонился от этого исследования, но и здесь у него на первом плане — безнравственный человек.

Это — женщина, молодая писательница, жена старого поэта Д'Асколи.

Д'Асколи — «гигант»: человек огромного таланта, большой нравственной силы и так далее.

Его жена Ольга — тщеславная, испорченная, чувственная женщина, вышедшая за него отчасти «из сострадания к его любви», отчасти и скорее из тщеславия.

Тем не менее он — единственное, что она еще уважает, хотя это не мешает ей обманывать его со всяким встречным в поисках новых ощущений.

Она отбивает у своей падчерицы ухаживателя, молодого писателя Лионелли — типичного пигмея, «галстуки которого гораздо художественнее его рассказов».

Ольга дает ему ключ от своей квартиры, чтобы он ночью пробрался к ней. Муж, возвратившись неожиданно из Рима, застаёт Лионелли в час ночи у себя дома, и так как Лионелли, ища, где скрыться, бросился к дверям комнаты Вирджинии, дочери старого Д'Асколи, бедный отец уверен, что Лионелли — любовник Вирджинии.

Для старика это страшный удар. Он требует, чтобы Лионелли завтра же явился просить руки Вирджинии.

Но Вирджиния, когда утром отец бросает ей в лицо заявление, что ему известно, кто был у нее ночью, догадывается, в чем дело, и готова выдать мачеху.

Ольга извиняется перед ней, унижает и обвиняет себя, признает всю свою низость, но просит девушку пожалеть если не ее, то отца, потому что он любит свою недостойную жену и правда была бы для него страшным ударом.

И Вирджиния сдается; и пигмей Лионелли в награду за свою низость получает — по словам критика Цокколи, Мефистофеля этой пьесы — «две единственно хорошие вещи, какие были у старого Д'Асколи: его дочь и его сбережения».

Пьеса построена недурно, диалог иногда блестящ, некоторые сцены очень сильны. Недостаток пьесы прежде всего тот, что хотя пигмей действительно пигмеями и обрисованы, но гигант Д'Асколи ни в чем своего величия на сцене не проявляет.

Впрочем, это всегда случается с положительными типами...

Большое впечатление произвела в Риме пьеса Альфредо Ориани «Непобедимое» с подзаголовком: «современная трагедия».

Автор задался целью изобразить трагедию Гамлета в современной обстановке.

У его героя тоже отец убит, и убийца тоже стал мужем его матери и тоже горячо любим ею.

Разница та, что новому Гамлету тени с того света уже не являются и ему приходится самому искать виновного.

И когда он добирается до истины, оказывается, что отчим не сам убил своего соперника, но подослал своего брата, считавшегося без вести пропавшим. Но дочь этого брата — теперь невеста «Гамлета».

Эта Офелия, как и Шекспирова, становится жертвой рока: она не умирает, но, узнав истину, бежит от своего позора, и жизнь ее разбита.

Между пасынком и отчимом происходит страшная сцена.

— Я не предаю тебя суду, — гремит сын убитого, — но я открою твоё преступление моей матери, которая ничего не знала и верила в тебя!

— Но ты этим сделаешь её несчастной! — отвечает отчим.

И бедный мститель убеждается, что это так, и у него не хватает сил разбить счастье женщины, которую он давно перестал уважать, — не хватает сил, хотя это счастье построено на ужасном преступлении.

Эта внутренняя помеха, которая отличает нового Гамлета от шекспировского прототипа и от классического Ореста, — это и есть «непобедимое», что составляет секрет слабости или, может быть, силы нынешнего человека.

Трагедия Ориани выдержана в сильном, сгущенном тоне, который иногда дает впечатление настоящей мощи. На фоне современной обстановки и прекрасного современного диалога — среди которых мы привыкли различать на сцене только ноты тоски и дряблости — эти сильные трагические страсти и конфликты захватывают и освежают...

Из веселого репертуара имела большой успех «Княжна» («La Duchessina») Тестони.

Это — что-то такое, написанное наперекор всем правилам: легкомысленное здесь спутано с трогательным, невероятное с обыденным, привлекательное со смешным.

Но все вместе это слушается легко и увлекательно, задевая иногда нервы смеха, иногда серьезные струнки; и некоторые типы, или, как здесь говорят, «пятнышки», так и просятся на хорошего исполнителя...

Из иноземной драматургии наибольший успех здесь имеет Морис Доннэ.

Кто может объяснить, отчего им в России пренебрегают? Это — один из самых глубоких и живых авторов современной европейской драматической литературы.

Как раз вчера я смотрел его «L'autre danger»¹ (Мариани была дивно хороша), где на сцену вынесена рискованная ситуация, с которой только большой талант автора мог примирить требовательную публику.

Дочь, которая влюбилась в любовника матери и в свою очередь любима им, и мать, которая, сама еще почти во цвете лет, убеждается в роковой необходимости отказаться от жизни ради счастья дочери.

¹ «Другая опасность» (фр.).

Сюжет внешне и отдаленно напоминает сюжет пьесы Бутти, но драма Доннэ бесконечно глубже, сильнее и красивее.

Иные сцены ее показались мне потрясающими.

Только базарными вкусами заправил столичного репертуара, — которым, по вине провинциальных антреприз, принадлежала до сих пор монополия переводной драмы, — только этими базарными вкусами и можно объяснить себе, почему имя Доннэ — писателя очень плодовитого — есть звук, пустой для русской публики.

Такого почти шедевра, как «L'autre danger», мы тоже не дождемся раньше, чем у дочерей наших не вырастут внуки, — если будем по-прежнему полагаться на столичную инициативу.

Altalena

Одесские новости. 6.10.1903



Вскользь

НЕ СТРАШНОЕ

Рим, 12 октября

Здесь теперь показывают в большом цирке Adriano велосипедный фокус «Кольцо смерти», который вы тоже знаете по картинкам.

Устроен деревянный спуск в 50 градусов крутизны; внизу этот спуск загибается в круглое кольцо около 8 сажень в диаметре.

Братья Анчилотти, два удивительных велосипедных вольтижера, взбираются на вершину спуска, где устроены особые подставки для ног и два служителя уже держат два велосипеда.

Братья Анчилотти становятся на подставки так, что велосипед оказывается у каждого между колен; тогда служители пускают велосипед, и он держится на крутом склоне только потому, что седок упирается ногами в подставку.

Велосипеды особенные, очень тяжелые, без педалей и без цепи.

По первому и по второму знаку, один вслед за другим, братья Анчилотти снимают ноги с подставок, и велосипеды слетают по спуску вниз.

Тут они взлетают вверх и внутри кольца описывают полный круг, являясь в высшей точке вниз головою, и скатываются куда-то за кулисы, где особая махинация из веревок деликатно задерживает машину.

Весь полет — две или три секунды, и действительно похоже на полет: один за другим два красных человека падают вниз, круто взлетают наверх, переворачиваются вверх ногами и с грохотом уносятся прочь с глаз.

Братья Анчилотти говорят, что они ничуть не боятся. Они все время полета следят за собой и правят рулем, чтобы не вылетать из кольца в пустое пространство.

Теперь один из них, который поискуснее, придумал новую хитрость: он совершенно снимает верхнюю часть кольца, дугу около одной шестой доли всей окружности.

Скатившись по склону и с силой взлетев на подъем кольца, он описывает эту дугу — почти сажень — в пустом воздухе, вниз головой, с полуторапудовым велосипедом между ногами.

Все это, может быть, и очень дико, потому что очень опасно без всякой пользы; но нельзя не залюбоваться — до того это прежде всегда казалось немислимо, а теперь так ясно и просто.

И в то время, как любиешься на этих Анчилотти, в голову приходят разные думы.

Братья Анчилотти настойчиво поупражнялись и дошли до такого фокуса, который со стороны похож на чудо.

Они такие же люди, как мы, господа зрители; но так как они усердно трудились над собой, то выработали стальные нервы, стальное сердце, стальные мускулы и могут теперь ездить на стальном коне по воздуху вниз головою да еще править при этом рулем.

Мы же, господа зрители, один другого гаже: у того насморк, у другого очки, у третьего гнилые зубы, у всех тощие ноги, впалые груди, висячие плечи, вздутые животы.

Можно поручиться, что в то самое время, как атлеты Анчилотти ездят по воздуху, в каждом из нас, зрителей, совершается неприятный процесс несварения желудка, несмотря на все минеральные жидкости, выпитые за столом.

Мы к этому очень привыкли. В конце концов каждый из нас, зрителей, вполне ужился и со своим катаром, и со своими гнилыми зубами и умудряется чувствовать себя великолепно, когда у него дела хороши, и даже находит женщин, которые его любят и целуют, такого поганого и недоделанного.

Это вполне естественно: нельзя не свыкнуться с тем, что встречаешь на каждом шагу. Я убежден, что если бы китайских подданных чаще били бамбуком по пяткам, они бы наконец перестали бояться бамбука.

Но ни о великом, ни об ужасном нельзя судить по тому впечатлению, которое мы получаем от отдельных единиц.

Многие дурни делают эту ошибку и смеются над великими движениями только потому, что их единичные представители смешны или глупы; и примиряются с великими ужасами только потому, что отдельные случаи этих ужасов им уже примелькались.

Но разумный человек никогда не должен забывать об одном из важнейших открытий человеческого разума: о таблице умножения.

Он возьмет ту крохотную дозу идеала, которая лежит в смешном и глупом человеке, и помножит ее на мириады этих глупых и смешных человеков, и получит огромную веру.

И точно так же возьмет он комические болячки современного господина, его загаженный нос, его испорченный желудок, возьмет все эти пустяки и помножит на число легион — и получится ужасная, чудовищная картина физического разложения в человечестве.

Если вы хоть на мгновение достаточно ярко вообразите себе эту картину, то задрожите и скажете от глубины души:

— Как это страшно!

И явственно поймете в это мгновение, какое гнусное преступление мы совершаем, потворствуя этому разложению.

Когда мы видим человека, больного такой болезнью, которая передается по наследству, мы говорим:

— Если этот человек наплодит детей, то совершит большое преступление.

Но эту мерку мы почему-то применяем к сифилитику, эпилептику и хрочоточному, а мы сами, у которых нет этих патентованных недугов, но нет и ни единого доброкачественного члена во всем теле, считаем себя вправе навязывать нашу гнилую физическую конституцию будущим поколениям.

Конечно, делать нечего: надо же оставить детей на свете; и так как все мы попорченные, то придется примириться и с тем, что дети тоже рождаются с задатками порчи в крови.

И если бы мы примирялись *только* с этой необходимостью, было бы еще очень хорошо. Два-три поколения потерпят, а там, может быть, четвертое и пятое родились бы уже здоровыми.

Но ведь мы примиряемся *не только* с тем, что наши дети рождаются с семенами гноя в крови!

Мы также спокойно даем этим семенам *зреть* и портить соки человечества у нас на глазах — вот что есть преступление!

Родить совершенно здорового человека теперь не в нашей воле. Против этого мы пока ничего не можем поделать.

Но, родив, пренебречь всеми лучшими средствами, которые могли бы убить или хоть ослабить в этом рожденном семени разложения — ведь это, если вдуматься, нечеловечески возмутительное деяние.

А мы его повторяем систематически и находим вполне человеческим, и не видим ничего в нем возмутительного.

Здесь нет даже того оправдания, что мы не знаем этих средств, ибо мы их отлично знаем. Когда нам говорят о важности физического воспитания, мы все в один голос отвечаем:

— О да, это в высшей степени важно и необходимо.

И... ни один из нас, действительно, не сомневается в том, что физическое воспитание важно и необходимо.

И никто его не применяет. Нет почти ни одной семьи, почти ни одной школы, где бы думали о нем.

Почему же? Может быть, это так трудно?

Странно даже говорить о трудности, потому что это легко до смешного.

Если вы хотите сделать опыт, попробуйте каждое утро в течение *только* семи дней повторять самое простое упражнение рук: прижимать кулаками к груди и потом с силой выпрямлять руку, разжимая в то же время кулак.

Только семь дней, и каждое утро выпрямляйте руки только десять раз. Десять раз — это ровно одна минута.

Через семь дней пощупайте ваши мускулы над сгибом локтя: вы увидите, что они слегка, но заметно увеличились и окрепли.

Увеличились и окрепли в семь приемов по одной минуте каждый, то есть за семь минут!

На что у нас с вами уходит семь минут? На ловлю мух, на на-свистывание, на почесывание затылка.

Ужас и преступность нашего физического разложения именно в том, что в наших руках есть лучшее средство лечения его, что это средство не стоило бы нам почти никаких затрат, почти никаких усилий; и мы все это знаем и признаем, и все-таки не пользуемся этим единственным средством и позволяем себе и детям нашим гнить.

Укрепление тела физическим воспитанием — это одна из тех редких забот, которые требуют малых усилий и дают на них огромные результаты.

Ведь если бы тот из нас, у которого теперь в 35 лет сто катаров, пенсне, лысина, ревматизм и брюхо, с детства регулярно тратил только *полчаса* в день на правильное упражнение органов своего тела, у него при всех остальных равных условиях не было бы теперь ни одной из всех этих мерзостей, кроме, может быть, очков, но все же и близорукость была бы меньше нынешней.

Однако, раз уж мы такими выросли, то Бог с нами, поправить нельзя. Но дети?

Дети, которых так легко укрепить физически, сделать настоящими полнокровными людьми с сильными желудками и твердыми мускулами и которых мы, однако, и не думаем укреплять, — ведь это нечто вопиющее!

Когда смотришь на этих братьев Анчилотти, то на их преувеличенном, гиперболическом примере видишь, каких чудес можно добиться, если захотеть поработать над человеческим телом.

И тогда становится особенно ясно, до какой степени мы все преступники, что до сих пор не собрались захотеть.

Вникните в это: не собрались захотеть такую мелочь, как ежедневная затрата получаса на упражнения тела, *зная* в то же время, что этим получасом мы принесли бы радикальнейшие благодеяния себе и своим потомкам!

Я не знаю примера более кричащей, более колоссальной нерасчетливости: пренебречь такими громадными барышами на такие малые затраты — это что-то непостижимое, это какая-то такая чудовищная степень халатности, которая уже принимает характер чего-то фатально трагического.

Вообразите человека, брошенного в топкое болото со связанными руками. В полуаршине перед ним земля: он мог бы хватиться за кочку и без всякого труда вылезти.

Но у него связаны руки, и он должен медленно умирать гадкой смертью, когда спастись было бы так легко.

Это положение есть величайший ужас, какой только можно себе вообразить, а мы — именно в этом положении, только с той разницей, что руки наши связаны не веревкой, а чем-то невесомым, неосязаемым — апатией, не имеющей за собой не только никакого разумного довода, но даже никакого пустого

предлога; цинично беспричинной халатностью, на какую способна только разжиженная кровь вырождающихся. Нам руки связали не другие люди, а мы сами. И тем ужаснее!

А между тем посмотрите, как это «ужасное» на самом деле происходит просто, мило и добродушно.

Ни один из нас, виновных в этом «ужасном», не совершает, собственно, никакого дурного деяния.

Каждый из нас остается вполне джентльменом и просто-напросто не вникает особенно и не задумывается над тем, что надо воспитывать тело, иначе скоро будет очень плохо.

И никто не может нас, джентльменов, обозвать преступниками, потому что мы ведь ничего положительно страшного не делаем.

Но неожиданно потом, когда случайность заставит нас всмотреться в то, что получается в результате, мы широко раскрываем глаза и говорим сами себе, почти не веря:

— Но ведь получается-то нечто поистине страшное!

И начинаем удивляться, как это из нашей невинной инертности, которая на вид так прилична и приятна, могло вдруг выйти «страшное»...

Когда я думаю на эту тему, я особенно ясно понимаю, сколько проникновения вложил г-н Короленко в свой удивительный термин:

«Не страшное».

Мы в самом деле живем изо дня в день, делая и допуская маленькие, крохотные пакости, в которых ничего страшного нет и для ребенка.

И мы думаем, что все это пустячки, что Бог все это потерпит, что это пакости малюсенькие, которые завтра сотрут, и следа не будет.

А между тем завтра именно, быть может, и случится что-нибудь потрясающее, огромное — и, взглядевшись, мы увидим, что это огромное было нами же незаметно высижено, нашими мелкими пакостями вскормлено и порождено.

День за днем мы благопристойно и спокойно бросаем по маленькому семечку в борозды Лиха и думаем, что это простительно и не страшно, а когда Лихо внезапно, в одну ночь, выгонит из земли на свет Божий свой гигантский посев, мы же дрожим от ужаса и не понимаем, что сами виноваты...

Altalena

Одесские новости. 7.10.1903



Вскользь

О ЛИТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

*Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam*¹.

Когда дело стало на рельсы, оно уже и дальше пойдет, как по маслу.

Литературно-артистическое общество успело уже стать на рельсы во многих отношениях.

Можно поэтому предсказать, что сезон беседований и субботних вечеров будет очень оживленным — по крайней мере, насколько это будет зависеть от самого общества и от публики.

Этими двумя своими вагонами, четвергом и субботой, общество уже прочно стало на рельсы, так что здесь не нужны никакие понукания.

Можно разрешить себе разве только два-три частичных замечания.

В прошлом году беседования носили, в общем, слишком отвлеченный характер.

Конечно, такое общество непременно должно привлекать внимание большой публики ко всякому новому умственному течению.

Но, право, для этого достаточно пяти-шести вечеров в сезон.

Ведь говорят на четвергах почти всегда одни и те же лица, очень почтенные лица; но так как мы все не Бог весть какие философы, то публика в конце концов начинает злиться.

Между тем есть столько интересных тем для сообщений фактического характера.

Ведь одесская публика мало знакома в массе не только с новейшими явлениями в иностранных литературах, но даже с такими «общими местами», как, например, декадентство.

Обстоятельный доклад о поэзии упадка с добросовестными цитатами составил бы не только интересный вечер, но прямо-таки некоторую заслугу в области народного просвещения.

¹ «Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен» (лат.) — слова римского сенатора Катона Старшего.

Иностранные литературы вообще должны были бы давать больше пищи для вечеров общества, чем до сих пор.

За серию толковых рефератов о нынешнем состоянии литературы у англичан, французов, немцев, итальянцев, испанцев, поляков, греков, о новой еврейской литературе и так далее лучшее большинство публики было бы очень благодарно.

Кое-кто, может быть, опасается, что сообщения такого рода не дадут повода к прениям, в которых главная прелесть четвергов.

Не думаю. Доклад о литературе какого-нибудь народа, если его составить как следует, осветить идейные течения, борющиеся в этой стране, всегда вызовет вдумчивых людей на сопоставления и возражения.

Думаю также, что докладчики для таких тем найдутся и, если правлению, чтобы найти их, придется выглянуть из маленького круга присяжных поставщиков четвергового материала, то тем лучше: присяжные слишком уже наизусть известны публике.

Такое привлечение новых чтецов на кафедру клуба будет полезно и с другой стороны: оно привлечет в общество новые группы посетителей.

Это тоже необходимо, потому что есть до сих пор значительные группы интеллигенции, и часто хорошие группы, которые держатся в стороне от Литературно-артистического общества и иногда поглядывают на него немного недружелюбно.

Тут есть, несомненно, предвзятое мнение, которое надо рассеять — рассеять посредством сближения.

Это о четвергах; но и субботние вечера можно было бы несколько ретушировать.

Литературная часть их была до сих пор совершенно во власти случая: кто что заучил наизусть, то и читает с эстрады.

Это иногда неизбежно, когда в вечерах участвуют артисты-гастролеры.

Но, помимо этих исключений, можно было бы и следовало бы внести кое-какую систему в подбор литературного материала суббот.

В прошлом сезоне, например, явилась было мысль устроить несколько специальных суббот: субботу французских поэтов (конечно, в переводах), субботу русских декадентов и так далее; и начинать такие вечера с легкого маленького реферата, вроде вступления.

В прошлом сезоне этого проекта не осуществили, но его можно осуществить в этом году.

В этом году артистический состав общества должен сильно и хорошо пополниться желанными гостями — членами постоянной драматической труппы.

Может быть, они найдут время и охоту содействовать превращению субботней эстрады в трибуну легкого, но серьезного-литературного чтения, с мастерами вместо любителей.

Почти то же самое можно было бы сделать или хотя попытаться сделать с музыкальными отделениями суббот, давая, когда нет «гастролеров», систематически подобранный музыкальный материал.

Этим путем можно было бы приучать одесскую публику к новым русским композиторам, которые так мало ей знакомы; и опять-таки предпосылать музыкальным номерам небольшое и легкое введение.

Впрочем, излагая все это, я почти уверен, что правление само уже приняло во внимание и все это, и многое другое, так что я написал эти замечания, собственно, только на всякий случай, для очистки совести.

Но в задачах общества есть еще другая сторона, о которой не говорить нельзя и о которой еще много придется говорить.

Общество стоит уже на рельсах, но далеко не всеми своими вагонами.

Для одной из важнейших задач общества еще ничего не сделано.

Эта задача — объединение литературно-артистических сил города.

Кто хоть на минутку задумывался над целями этого общества, тот понимает, что, если бы все дело было в том, чтобы не дать скучать одесской публике, то общество не играло бы в городе такой видной роли.

Ясно для всякого, что смысл этого общества вовсе не в одной борьбе со скукой: такая цель была бы симпатичной, но только отрицательной.

В настоящее время и в таком городе, как Одесса, не может достойно существовать никакое интеллигентное учреждение, которое не шло бы к одной главной и для всех общей, положительной и творческой цели: к цели оживления и подъема местной духовной жизни до уровня полной умственной независимости и самостоятельности.

Если только стать на эту точку зрения и хорошо проникнуться ее необходимостью и понять, что вне ее городу грозит вечное прозябание в атмосфере захолустной второстепенности, — тогда каждое из немногих существующих в Одессе «интеллигентных» учреждений приобретает огромную ценность.

Каждая строчка газеты, каждое кресло театра, каждая кафедра получает свое огромное значение в этой борьбе за умственную самостоятельность.

Кто всей душой сознает важность этой борьбы, тот почувствует себя как добрая хозяйка, для которой все эти строчки, кресла, кафедры — все это необходимейшая утварь, без которой нельзя накормить семью обедом; и хозяйка ревниво обмывает и обтирает свою утварь, чтобы сверкала, и сердце у нее ноет, если хоть одна чашка осталась не вычищенной.

Для цели, которой служат и должны служить и не могут не служить все учреждения города, имеющего 500 000 душ и тем не менее до сих пор состоящего на провинциальном положении, — всякое средство дорого; все силы должны быть мобилизованы и ничем, даже мелочью, нельзя пренебречь.

Оттого необходимо объединение артистических и литературных сил.

Чтобы можно было быть уверенным, что каждый из нас — артист, художник, лектор, сотрудник газеты — во всякую минуту сознает себя членом небольшой, но хорошо спевшейся армии и не теряет из виду главной цели.

Мы все, правда, знаем, что такие попытки уже делались, но ни к чему пока не привели.

Но ведь первая попытка только тогда имеет смысл, когда мы готовы в случае неудачи и на вторую, и на третью, и на десятую попытку. Иначе незачем и начинать. Сразу никогда ничего не удавалось.

Результаты удачи в этом случае были бы для города и, может быть, для всего окружного района без преувеличения огромными.

Если те еще пока немногие учреждения, какие есть в Одессе, при нынешней вразбродице вносят 50 калорий оживления, — спевшись и работая по общему плану, они вносили бы сто. Умственная жизнь города стала бы вдвое ярче.

Я не думаю, чтобы это объединение артистических и литературных сил могло стеснить чью-либо свободу действий.

В прошлом году случайно был у нас такой частичный пример объединения сил.

Городской театр и Литературно-артистическое общество одновременно заинтересовались «Монной Ванной», которая до тех пор нигде не имела прямого успеха.

У нас эта пьеса встретила успех огромный, почти беспримерный; и одной из главных причин его было, без всякого сомнения, именно сотрудничество театра и Литературно-артистического общества.

Стесняло ли это сотрудничество хоть в чем-либо свободу той или другой стороны? Очевидно, ничуть, а результат получился выдающийся и яркий, потому что публика и больше заинтересовалась новой пьесой, и глубже ее поняла.

Если бы такое сотрудничество стало правилом, а не случайностью, это повышение интереса и вдумчивости в публике было бы постоянным явлением...

Но лучшие плоды принесет — говорю «не принесло бы», а «принесет», ибо знаю, что рано или поздно так и будет, — самые богатые плоды принесет объединение между собой литературных работников.

Им больше всего необходимо спеться, потому что их «спекка» больше всего остального может повлиять на оживление города и района.

Это понимает хорошо каждый из нас, газетных сотрудников; и если мы до сих пор не сумели столкнуться и заключить союз, это в конце концов не делает нам чести и не способствует украшению.

Есть вопросы, по которым мы разно мыслим, но есть и такие, по которым мы согласны даже в области городского хозяйства.

Если бы мы, хотя бы только в этих вопросах, проявляли больше единства — если бы печать отстаивала свои требования перед городским самоуправлением всегда сообща и по плану, сообща выработанному, — голос печати значил бы много в судьбе городских дел; а теперь благодаря полной отчужденности между газетами голос печати не значит почти ничего.

Одессе нужны книгоиздательства, Одессе нужен свой журнал; но люди боятся рисковать трудом и капиталами, потому что не знают, каков будет успех.

А между тем серьезная, энергичная и систематическая поддержка со стороны всей — непременно *всей* — местной печати, безусловно, обеспечила бы успех всякому хорошему начинанию в этом роде. И если бы люди были уверены в этой поддержке, единогласной и настойчивой, у них нашлась бы и предприимчивость, и способность вести дело...

И не нужно, и невозможно вычислить все моменты той пользы, которую принесет умственной жизни города и края эта желанная entente¹ между интеллектуальными элементами Одессы.

И так как эти элементы уже сгруппированы, все или почти все, вокруг Литературно-артистического общества, оно должно взять на себя инициативу объединения и довести его, не смущаясь трудностями, до конца.

В интересах собственного честолюбия почтенное общество не может пренебречь этой задачей.

Если бы оно отказалось принять ее на себя, оно рисковало бы в лучшем случае остаться навсегда местом для полезных развлечений, но не больше, чем-то вроде Благородного собрания или английского клуба в улучшенном и расширенном виде.

Взяв на себя эту инициативу и добившись успеха, оно станет важным и видным фактором в истории развития большого города и целого края.

Altalena

Одесские новости. 10.10.1903



Вскользь

ОЧЕРКИ ОДНОГО «СЧАСТЛИВОГО» ГЕТТО

Посвящено всем неругам Сиона

От автора

Выпуская брошюрой эти письма о римском гетто, считаю нужным прибавить лишь несколько слов.

Я полагаю, что нет страны, где евреям жилось бы лучше, нежели в Италии. Здесь евреи достигли всего, о чем могут мечтать те из нашего племени, которые видят идеал нашего счастья не в создании самостоятельного нашего государства, а в полном равноправии на чужой земле. Итальянские евреи пользуются самым полным, самым идеальным равноправием.

¹ Согласие, договоренность, объединение (фр.).

Я попытался изучить это равноправие и счастливое гетто. Я думаю, что сделал это совершенно беспристрастно, не стараясь исказить правду ради предвзятых выводов; если бы я нашел, что тамошние евреи действительно счастливы в своей свободе, я бы заявил об этом совершенно открыто, ибо полагаю, что и без 40 тысяч итальянских евреев можно устроить еврейское государство в Палестине.

Но, взглядываясь беспристрастно, я убедился, что тамошние евреи все-таки глубоко и мучительно сознают себя чужими среди чужого коренного населения. Поэтому я посвящаю свои очерки римского «счастливого» гетто «недругам Сиона», зовущим нас к ассимиляции, и говорю им:

— Вот ваш идеал. Полюбуйтесь!

Очерк I

Собственно говоря, гетто уже не существует: оно снесено. До 1870 года это был целый городок, у самого берега Тибра: грязный, зловонный, весь перепутанный узенькими извилистыми переулками, где толстому человеку трудно было пройти. Вступивши в Рим, итальянцы занялись его чисткой, потому что весь он был в грязи и пахуч, и прежде всего снесли гетто, хуже которого, действительно, не было места во всем городе. Теперь там, где был еврейский городок, осталась огромная невымощенная площадь, совершенно пустая. Только в одном углу ее достраивают новую синагогу, а в другом всегда, особенно под вечер, кишит и гадит еврейская беднота вокруг лотков с арбузами и жаровен с каштанами.

Однако и теперь еще можно составить себе понятие о том, что такое было старое, настоящее гетто. Для этого достаточно пройти по улицам, соединяющим пустую площадь и центр города. Эти улицы несколько шире старых: одному толстому человеку здесь легко пройти, но двум все-таки трудно. Стены домов высокие, старые, точно насквозь чем-то пропотевшие. В стенах густо прорезаны лавочки, похожие на пещеры, и двери с узенькими лестницами, уходящими куда-то вверх. В замке Святого Ангела я видел келью, где была заточена отцеубийца Беатриче Ченчи, и другую, где сидел волшебник Калиостро, и маленький каменный мешок, в который бросили еретика Джордано Бруно: в этой страшной тюрьме тоже узенькие и крутые лестницы. Но лесенки гетто уже, круче и темнее тех.

Солнце здесь не гостит: внуки гетто сами ходят к нему в гости на площадь. Но у их отцов не было этой площади, а была только густая путаница темных тропинок среди темных просыренных стен; и поэтому у нынешних детей на лице написано, что они вырождаки многих поколений, лишенных солнца. У этих людей, особенно у ребятишек, землистые, худосочные лица в веснушках; они часто до иллюзии похожи на тех зеленоватых еврейчиков из Литвы, которые приезжают в Одессу сдавать экзамен за шесть классов, и на их отцов. На их отцов особенно, потому что и здесь они промышляют тою же национальной индустрией — ходят по улицам и кричат хриплыми голосами:

— Robbi vecchi! Старые вещи!

Они же разносят маслины, они же продают на улице гребенки и запонки, дешевые платочки, галстуки и воротнички; они же ночью собирают по улицам тряпки и окурки сигар; и, в довершение сходства, римляне дали им прозвище «*mordegá*», и в гетто мне объяснили, что это есть не что иное, как оскверненное имя Мордехай. Совсем как в России:

— Эй, как тебя, Мордко, — поди-ка сюда, покажи свои товары?

Я был несколько раз у них в синагоге (*scuola*) — не в новой, которая еще достраивается, а в старой или, вернее, в старых, потому что их пять. Я видел две. Первую они называют *minhag kastiliani*, вторую *minhag italki*. Они делятся на две секты, вернее, на два толка (*minhag*) — итальянский и испанский. Разница, кажется, та, что «итальянцы» короче молятся. В верхней «школе» я слышал субботнее богослужение, с органом и невидимым хором, как в костелах. Женщины сидели между мужчинами: я подумал было, что это уступка духу времени, но потом узнал, что в старой «школе» хоры, отведенные для дам, слишком тесны, зато в новой синагоге овец отделят от козлищ.

Нижнюю «школу», испанскую, мне показали днем. Она так же мала, как «итальянская», но гораздо красивее — потому, вероятно, что древнее: верхнюю недавно перестроили после пожара, а нижняя сохранена без перемен, кажется, с самого XVI века.

Сакристан (шаммаш), худосочный человечек с реденькой бородкой, и красивая полная молодая женщина с ребенком на руках и с толстыми золотыми кольцами на пальцах водили меня от колонны к колонне и объясняли достопримечательности.

— Как ваше имя? — спросил я у женщины.

— Арманда.

— Вы еврейка?

— Да, — сказала она и тотчас же, по обычаю римлянок, прибавила сентенцию: — кто в какой вере родился, той и должен следовать.

— Э! — вставил сакристан. — А то как же? Иегуди¹ родился и иегуди живи.

— А вы сионист? — спросил я.

Он наморщил лоб и стал припоминать.

— Ах да, вспомнил... Это в Триесте, кажется, есть такой кружок: они хотят завоевать Джерузалеemme?

Женщина сказала решительно:

— Я никуда не поеду. Нигде нет города лучше Рима!

И прибавила сентенцию:

— Я в Риме родилась и в Риме хочу умереть...

Выйдя из гетто, я задумался об этой женщине, которая родилась в Риме и в Риме хочет умереть.

Они здесь в Италии все таковы.

Я шел однажды с приятелем по улице; было около полудня, и несколько старьевщиков, усевшись на ступенях церкви, завтракали какою-то дрянью.

— Знаешь, — сказал я приятелю, — видно все-таки по лицу, что это не итальянцы.

Мой спутник, природный итальянец и католик, посмотрел на меня вопросительно: он не понял.

— То есть как не итальянцы? — переспросил он. — А кто же они такие, по-твоему?

— Евреи.

— Так что же из того? Есть итальянцы-лютеране и методисты, и мало ли еще каких исповеданий, но они все итальянцы.

— Но разве евреи одного с вами племени?

Тогда он понял и ответил:

— В таком случае ты хотел, верно, сказать, что они не латинской крови. Это верно: не латины — но итальянцы.

Я встретил этот взгляд у всех, с кем мне здесь приходилось говорить о евреях, — и у самих евреев, и у коренных итальянцев. Они совершенно вычеркнули национальный момент из понятия «израэлит».

Только пятьдесят лет тому назад все это было иначе, по крайней мере в Риме. Гетто на ночь запирали на цепь, и евреи не смели выходить оттуда до утра. Однажды — правда, уже

¹ Иудей (*иврит*).

очень давно, — когда в городе началась чума, гетто заперли на целый месяц и никого не выпускали, чтобы чума в этом очаге заразы могла насытиться и сама собою прекратиться. На масляной евреев заставляли бежать вперегонки по Корсо, с голыми ногами и с мешком на голове. Еще в первой четверти века жил здесь маркиз дель Грилло, который в травле евреев был виртуозом: легенда рассказывает, что когда папа запретил маркизу мучить бедных *mordegá*, тот выпросил себе позволение хоть пошвырять во врагов Христовых «фруктами»; папа разрешил, и маркиз выбрал — сосновые шишки.

Теперь все это переменялось. Теперь здесь возможен военный министр, генерал Оттоленги — еврей; бывший министр финансов Воллембург — еврей; Соннино, предводитель консерваторов, который уже раз был президентом кабинета министров и, кажется, еще будет — еврей; Луиджи Луццатти, нынешний министр-казначей, влиятельный советчик короля, один из главных виновников нынешнего сближения между Францией и Италией, — еврей; кавалер Мальвано, главный директор министерства иностранных дел и настоящий глава иностранной политики Италии при всех сменах министерств, — еврей; среди судей, профессоров, сановников всякого рода, сенаторов и депутатов сплошь и рядом евреи; даже великий магистр итальянского масонства синьор Натан — еврей.

Перемена огромная, что и говорить.

Итальянские евреи, впрочем, не задаром получили все это. Среди рук, построивших единую Италию, было очень много еврейских рук. Много евреев билось и полегло за независимость Италии. Но эта перемена в положении, хотя и нелегко заработанная, все-таки слишком громадна, чтобы не оказывать влияния на мировоззрение современного итальянского еврея. Он ассимилировался, до того ассимилировался, что даже и споры об ассимиляции здесь уже неуместны среди этих людей с фамилиями вроде Della Seta, Piperno, Volterra и только редко-редко Леви или Коэн.

Начните с простонародья: оно говорит на диалекте того города, где живет, без всякого акцента, хотя с особенной интонацией; оно, кроме религии, ни в чем как будто не видит разницы между собой и коренным населением; оно даже божится по-ихнему: *per la Madonna!*¹

¹ Клянусь Мадонной! (*итал.*)

И дойдите до верхушек интеллигенции, которая пишет книги и разглагольствует в парламенте: это националисты, сознательные и завзятые националисты, но итальянские. Депутат Барцилаи, родом из Триеста, — пламенный «ирредентист»: он хочет присоединить к Италии Триент и Триест; он восклицает: «*мои бедные братья, поработанные австрийцами, ждут и надеются, что наша великая общая родина Италия вспомнит наконец о нас, о своих детях!*»... Журналист Примо Леви пишет под псевдонимом «L'Italico»¹ и говорит о сионизме так: кому угодно, пускай хлопочет о возрождении Израиля, но я лично потому только и рад своему еврейскому происхождению, что наша раса особенно склонна к патриотическим чувствам, так что в качестве еврея я особенно сильно чувствую себя итальянцем!

Силлогизм довольно замысловатый и даже... талмудический: видно, что этот итальянец — все-таки еврей...

Собственно говоря, все это очень понятно. Антисемитизма в Италии нет, *Judennot'*² нет, еврей признан гражданином не только на бумаге, но и *de facto*³, на каждом шагу; дорога свободна, и если есть голова на плечах, то можно добраться куда угодно.

Правда, в стену старой синагоги вделан черный камень с библейской надписью:

«Если забуду тебя, Иерусалиме, да отсохнет десница моя...»

Но камень был вделан давно, и с тех пор утекло столько воды; Иерусалим далеко, а чечевичная похлебка тут, перед носом. Нельзя винить людей, если они после долгого мучительного голода ради вкусной чечевичной похлебки поддались *diminution caritatis*⁴, отреклись от своей гордости.

Я их не виню. В конце концов, только среди тех, кому горько живется, и можно вербовать сторонников для какого бы то ни было движения. Никогда еще не бывало, чтобы войско идеи состояло из тех, кому живется хорошо.

Их нельзя винить, но, глядя на них, нельзя не подумать, что все это делает больше чести итальянцам, чем евреям; и нельзя не ощутить тяжелого чувства, видя этих людей, умных, талантливых, влиятельных — и все-таки живущих не своим, но чужим, отраженным самосознанием.

¹ Итальянец (*итал.*).

² Безвыходное положение евреев (термин Теодора Герцля).

³ Фактически (*лат.*).

⁴ Умаление личности (*лат.*).

Так, верно, тяжело смотреть на ручного сокола, перед которым распахнули все окна, а он, дрессированный, сидит у себя на полочке и демонстративно воротит головку от окна, от родного неба и леса, точно хочет сказать наблюдающему хозяину:

— Не беспокойся. Я на полочке вырос и на полочке хочу умереть.

Очерк II

Один знакомый адвокат-еврей предложил познакомить меня со здешним сионистом — почти единственным.

— А как вы думаете, — спросил я, — возможно в Риме крупное сионистское движение?..

— Гм... Как знать. Во всяком случае, это не особенно легко. Но для сионизма это имело бы, по-моему, известное моральное значение, если бы римская община примкнула к движению Исхода: ведь она древнейшая в Европе...

Я про себя подумал, что именно по этой причине и трудно ждать от римской общины присоединения к базельской программе.

Еврейская община в Риме ведет свое начало из самой глубины древности. Все государства Центральной Европы моложе ее. Первые данные о ней относятся к 160 году до Р. Х.: ей теперь *две тысячи шестьдесят три года*.

Первые еврейские поселенцы Рима были свободные иммигранты, осевшие в Вечном городе с торговыми и промышленными целями. Впоследствии римские полководцы, возвращаясь из Сирии и Палестины, стали приводить с собою пленных иудеев, которых отдавали римлянам в рабство. Но свободные римские евреи, следуя своему закону, систематически выкупали своих соплеменников из рабства. Таким образом еврейская колония Вечного города пополнялась вольноотпущенниками. Внуки этих вольноотпущенников уже считались римскими гражданами, носили оружие и пользовались почти всеми правами коренных *cives romani*¹, в то же время не встречая никаких препятствий к сохранению своей веры. Еще за полвека до Р. Х. еврейская община пользовалась в Риме влиянием, против которого и тогда уже многие коренные римляне восставали.

Некто Валерий Флакк, управляя одной из малоазиатских провинций, обобрал — между прочим — иудейские храмы.

¹ Римские граждане (*лат.*).

Евреи пожаловались на него в Рим, и Цицерон взял на себя защиту Флакка. В этой речи *pro Flacco*¹ — гл. 28 — есть такое место:

«Ты, Лелий, нарочно устроил так, чтобы этот суд происходил вблизи квартала, где живут иудеи, ибо ты хорошо знаешь, как они многочисленны, как тесно сплочены между собою и каким влиянием пользуются в народных собраниях».

Нынешние старьевщики гетто — прямые потомки этих обвинителей Флакка. Цезари то гарантировали их неприкосновенность, то воздвигали на них гонения; папы загнали их в гетто, гноили, грабили и истязали, только изредка — и ненадолго — давая им вздохнуть; но они плотно держались друг за друга и продержались две тысячи лет.

Странная и почти невероятная, но несомненная истина: самые чистокровные римляне в настоящее время — это римские евреи. Коренные римляне-латины смешивались и с греками, и с готами, не говоря уже об этрусках и сицилийцах. В каждом из нынешних *romani de Roma*² осталось очень мало крови тех, которые считаются его предками. Римским евреям их религия не позволяла смешиваться с иноплемениками. Иноземные наваждения, много раз изменявшие состав коренного населения Вечного города, все прошли мимо этой небольшой общины, не посягнув на чистоту ее крови. Только в начале XVI века нахлынули изгнанные испанские евреи. Они не смешались с коренными: я уже писал, что разделение на испанскую и итальянскую общины сохранилось до сего дня; но, без сомнения, браки между «испанцами» и коренными римскими евреями происходили всегда свободно. Это — единственная новая струя, введенная в кровь евреев Вечного города. Таким образом, и в их «римской» крови есть неримская примесь — но бесконечно меньшая, чем в крови римлян-латинов, которые скрещивались с иностранцами бесчисленное множество раз и до XVI века, и после. В жилах этих римлян-латинов есть, может быть, и капля еврейской крови. Известно, что в папские времена еврей-выкресты, получая все гражданские права, часто принимали фамилию крестного отца и входили в его семью. И так как выкресты всегда предпочитают крестных отцов из больших шишек и важных птиц, они вступали иногда в дома князей Колонна, князей Орсини, князей Торлониа.

¹ «В защиту Флакка» (лат.).

² Коренные римляне (итал.).

Но еврейская масса, сохранив свою веру, сохранила и чистоту расы, насколько это было возможно. И теперь у этой массы на плечах два тысячелетия, прожитых в этом городе, так сказать, безвыездно. Два тысячелетия — слишком огромный промежуток, чтобы теперь здешние евреи могли с легким сердцем признать:

— Рим для нас только временное убежище. Наша родина не здесь.

«Временное убежище» и два тысячелетия — это большой парадокс для того, чтобы с ним можно было без борьбы примириться — хотя бы даже под этим парадоксом крылась святая правда...

Мой адвокат привел меня в галантерейную лавку и познакомил с хозяином, синьором Изакко С. Это и был здешний сионист — единственный, но пламенный. Он присутствовал на последнем конгрессе в Базеле.

— Делегатом?

— Нет, для себя. Делегатом? От кого? Разве здесь можно собрать сто шекеледателей? Я, кажется, единственный человек в Риме, который платит шекель.

— Почему же?

— Почему? Да поймите, что мы, здешние евреи, избегаем слова «еврей». С тех пор как мы из гетто разбрелись по всему городу, мы даже почти незнакомы друг с другом. Нам прежде всего необходимо сплотиться. Я говорю им так: «У тебя есть дочь, и ты, конечно, предпочел бы выдать ее за еврея. Но где же ты найдешь этого жениха, если мы, евреи, почти не встречаемся друг с другом?» Мне, может быть, удастся достигнуть некоторого сближения в среде общины, и это уж будет много.

Я высказал изумление. Неужели та солидарность, которую констатировал еще убийца Катилины и которая 2000 лет верно прослужила цементом римской еврейской общины, могла вдруг за тридцать лет, протекших со дня эмансипации, исчезнуть и смениться полной отчужденностью?

— Вот пример, — ответил мой собеседник. — У нас есть в Риме ассессор (член управы) Марко Алатри, один из самых популярных муниципальных деятелей в городе. Он — еврей; его отец, Самуэле Алатри, был всегда заступником бедняков гетто перед папами. Марко Алатри тоже добрый человек; если к нему обратится с какой-нибудь просьбою христианин, он сейчас, несмотря на свою старость, обойдет всех сильных мира сего и все устроит и уладит. Но когда к нему обращается еврей,

он говорит: «Пойдите, ради Бога, к кому-нибудь другому. Я бы рад вам помочь, но ведь люди скажут: видите, каковы эти евреи? Они всегда друг другу протезируют!»

— Но скажите, — спросил я, — эта преувеличенная боязнь солидарности предполагает в неевреях уже готовое недоброжелательство, подозрительность, которой вы как будто боитесь дать пищу. Где же это недоброжелательство? Я никогда не замечал здесь ни намека на антисемитизм.

— Антисемитизма в Италии нет, — согласился синьор Изако, — но есть все-таки что-то неуловимое и... невыносимое. Есть то, что ваш собеседник — самый образованный и свободомыслящий господин, до сих пор разговаривавший с вами очень мило и задушевно, — услышав, что вы еврей, непременно почувствует что-то вроде маленького разочарования, некоторое неприятное впечатление, которое сейчас же исчезнет, но уже навсегда оставит на вас в его глазах особенную, чуть заметную отметину. Есть то, что мне вчера в одной интеллигентной семье не захотели сдать в наем две комнаты, для меня с женою, когда узнали, что меня зовут Изако такой-то. Отказали очень вежливо, под другим предлогом, но я понял...

Признаюсь, я слышал это в первый раз. Все, что я до сих пор знал о здешней жизни, оставило во мне, напротив, впечатление полного отсутствия антисемитской струнки в итальянском характере. Даже слушая синьора Изако, я не мог не подумать, что он преувеличивает, что у него в этом отношении болезненно раздраженная чувствительность. Но в то же время мне казалось неоспоримым, что уже одно существование этой преувеличенной чувствительности в здешних евреях, от ассессора Алатри до моего галантейщика, доказывает присутствие в атмосфере чего-то, может быть, очень легкого, почти незаметного, но недружелюбного.

Словно угадывая мои мысли, синьор Изако сказал:

— Это, понимаете, не антисемитизм. Это просто легкий оттенок пренебрежения. Но я уверяю вас, что он невыносим для человека с нервами и самолюбием. Большинство из нас предпочитают закрывать глаза и уверять самих себя, что все идет как следует. Но я лично предпочту, при первой возможности, копать землю в Палестине, в Уганде, где угодно, только бы не жить в этом воздухе пренебрежения.

Тут он замолчал, а я стал неволью копаться в своих собственных здешних воспоминаниях, выбирая из них то, что подходило к его словам. Я вспомнил, что меня на первых порах удивляло, почему здесь почти никогда не произносится слово

«еврей», хотя евреи сплошь и рядом занимают здесь важные посты и играют видные роли. Я приписывал это ассимиляции. Но не было ли это скорее желанием евреев нарочно замолчать, запрятать особенность своего происхождения, чтобы не колоть ею глаза итальянцам; не было ли это своего рода системой «ниже тоненькой былиночки надо голову клонить»; не было ли это молчание евреев признаком вовсе не того, что они искренне забыли о своем особенном происхождении, а, напротив, того, что они день и ночь помнят о своем еврействе, и боятся, и беспокоятся, и не могут отогнать мысли и опасения как-нибудь, не дай Бог, слишком намозолить глаза итальянцам и *напомнить им о себе?*

И я вспомнил о депутате Сальваторе Барцилаи, который так усердно «старается» на поприще ирредентизма и так охотно говорит о «своих» братьях — об итальянцах Триеста, поработанных Австрией. И в то же время я вспомнил, что Сальваторе — Спаситель — было бы очень странное имя для еврея, если бы под ним не скрывался библейский Иошуа; и что все Иошуа в Италии называют себя Сальваторе, и все Мордехай — Анжело, и все Хаимы — Вито, и все Шабтаи — Сеттимио, и все Авраамы — Альфредо.

Я вспомнил все это и не мог не сказать себе, что в этой игре в прятки со стороны людей, которые пользуются всеми правами политической свободы, есть много внутреннего рабства, много трусости, много ренегатства и мало сознания собственного достоинства, — и что истинный и разумный друг еврейского народа скорее пожелает ему голодной, но гордой смерти, чем такого непочетного существования рыбы, которую выкинули на сушу и которая старается показать господам хозяевам, что ей очень весело на суше...

Очерк III

Я прожил почти три года в Риме, исходил его по всем закоулкам, познакомился с самыми разнообразными классами населения, знал все городские сплетни, прозвища, остроты и двусмысленности. Но за эти три года мне не случилось узнать римских евреев, потому что они, как таковые, прятались и избегали вслух произносить имя своей народности. Я за эти три года буквально ни разу не встретил слова *еврею*¹ ни в печати, ни в разговоре, хотя теперь знаю, что и статьи, которые я читал,

¹ Еврей (*итал.*).

были часто написаны евреями, и среди господ, с которыми я беседовал, были евреи. Эти господа усердно старались игнорировать свое происхождение, и ни один из них — зная, что я из России, где живут пять или шесть миллионов их соплеменников, — не отважился, хотя бы мимоходом, спросить у меня об их судьбе или быте; и мне оттого не могло прийти в голову, что эти люди — евреи, и даже их курчавые волосы и кругло прорезанные глаза как-то проходили мимо моего внимания.

Узнав этот город, я привык к тому, что здесь все настежь, все выносится на улицу, обо всем говорится открыто и без жеманной стыдливости; мог ли я после этого вообразить, что тут же рядом есть восемь или десять тысяч людей, которые непременно хотят что-то такое спрятать, замолчать, утопить в забвении, как неприятную или позорную тайну?

По отношению ко мне здешние евреи вполне достигли того, что составляет, очевидно, их идеал: я их не заметил. И для того, чтобы заметить их, мне пришлось специально пойти за ними, разыскать их, расспросить, чуть ли не втереться в особое доверие...

Один студент сказал мне:

— Нам неудобно подчеркивать свое происхождение, хотя бы даже для того, чтобы выразить сочувствие нашим единоверцам, когда их постигнет несчастье.

— Как так?

— Потому что, если мы будем слишком громко заявлять о себе, это легко может вызвать раздражение против нас самих со стороны окружающего населения.

Я внимательно посмотрел на него при этом, ибо мне показалось, что такую эгоистическую, невеликодушную фразу человек молодой и интеллигентный должен произнести с горечью и стыдом. Ничуть не бывало: он говорил очень просто и вразумительно, тем тоном, которым приятно излагать самые естественные и логичные соображения. И он был совершенно прав в том отношении, что говорил вещи действительно всем его здешним соплеменникам ясные и понятные, — ибо я успел хорошо убедиться, что вся их масса думает и повторяет то же самое. Не он один, но все они сознают и в минуты откровенности говорят:

— Если мы будем громко заявлять о себе, мы рискуем вызвать раздражение.

И они предпочитают не «рисковать».

Но ведь для того чтобы в здешних евреях до сих пор жила эта боязнь, эта потребность замолчать себя самих, не колотить глаз, — для этого нужна почва: что-то такое должно иметься, или, по крайней мере, *спать* в настроении коренного населения, раз евреи так избегают малейшего шума, который мог бы *разбудить*. Что же это за таинственное «что-то»?

Я разговорился со знакомым итальянцем о римских евреях и о том, как относится к ним население. Он пожал плечами, говоря об антисемитизме.

— Мы прямо не понимаем этого термина, — сказал он, — для нас это слово лишено смысла. Мы, итальянцы, не антисемиты и не можем стать антисемитами.

Тогда я рассказал ему тот случай, о котором писал выше: как синьору Изакко в интеллигентной семье не пожелали отдать комнату в наем, когда узнали, что его зовут Изакко.

— Это не больше, как странное исключение, — ответил мой собеседник, — и, во всяком случае, даже такие исключения станут немислимыми, как только здешние евреи додумаются до одной очень простой вещи.

— Именно?

— Расселиться порознь. Большинство их еще живут вокруг старого гетто, и эта сплоченность невольно напоминает населению о том, что они евреи. Рим велик, а их, как вы говорите, здесь восемь тысяч; если бы они разбрелись по всем кварталам, римляне положительно забыли бы об их существовании. Вот что надо им посоветовать!

Я не стал спорить о том, насколько это средство действительно, потому что меня не то занимало. Мне была интересна его внутренняя, бессознательная точка зрения. Сам римлянин и хорошо зная римлян, он сказал, очень просто и доброжелательно, что евреям будет житья здесь совсем как дома, едва только римляне окончательно забудут об их еврействе. Это не антисемитизм, но это есть признание того, что как-никак, а память о еврейском происхождении составляет некоторую помеху к полному братству, то есть, — делая строго логический вывод, — что для римлянина еврей все-таки не брат и становится братом только тогда, когда перестанет — в его глазах — быть евреем.

Я передал этот разговор нескольким евреям, и они сказали, что это — типичный взгляд итальянца. Я заговаривал об этом с другими итальянцами, и они все тоже повторяли, что для них

антисемитизм есть нечто непостижимо странное, и что евреи в Италии смело могут чувствовать себя неевреями. И все это звучало так логично и доброжелательно, что у меня не осталось сомнений: да, типичный взгляд итальянца именно таков.

Наконец, одному из них я предложил вопрос о том, насколько было основательно опасение того студента:

— Если бы евреи громко заявили о себе как таковых, вызвали бы это в вашем населении неудовлетворение?

Он ответил:

— Гм... Приятного впечатления это не произвело бы. Сейчас же возник бы вопрос: чего им еще не достает?

Больше я не стал спрашивать. Я нашел в настроении одной стороны именно то, что вполне соответствовало опасениям другой стороны. Это совпадение ручалось за верность моих наблюдений.

И мне тогда пришло в голову еще одно обстоятельство. Три года тому назад мне случилось встретиться с секретарем здешнего албанского комитета г-ном Бенничи. Этот албанский комитет не имел, вероятно, ничего общего с кровавыми событиями в Македонии. Дело просто в том, что в Италии живут испокон веку несколько тысяч албанских выходцев. Есть целые албанские деревни в Сицилии и, кажется, в Абрुццах. Все эти албанцы вполне ассимилировались: они католики, учатся в гимназиях и лицеях, выступают адвокатами. Франческо Криспи был итальянский албанец.

Я, помню, спросил у г-на Бенничи:

— В чем ваша цель?

— Мы стремимся пробудить в итальянских албанцах национальное самосознание, чтобы они почувствовали себя братьями балканских албанцев, заинтересовались ими и их литературой, занялись разработкой албанского языка, просвещением Албании и, когда настанет время, помогли албанскому народу завоевать автономию.

— Автономию или присоединение к Италии?

— Только автономию. Мы не желаем, чтобы Албанией управляли чужие люди, кто бы они ни были.

Я не следил потом за деятельностью этих комитетов и не знаю, насколько они оказались серьезны и полезны, но не это важно. Важно то, что эти комитеты старались как можно больше шуметь о себе, печатали о себе в газетах, выпускали брошюры. Итальянские албанцы, очевидно, не опасались вызвать раздражение, заявив о себе как таковых. И итальянцы со своей стороны

не обнаружили никакого неприятного чувства, и я знаю, что албанские комитеты пользовались здесь сочувствием и симпатией. А те же самые действия со стороны евреев произвели бы «неприятное впечатление»...

Сравнение само напрашивается, и вывод ясен.
Вот этот вывод.

В Италии нет антисемитизма, потому что характер итальянского народа не благоприятствует расовой ненависти, а религиозный фанатизм отжил и, вероятно, не воскреснет; и также потому, что в Италии сорок тысяч евреев на 30 миллионов населения, т.е. совершенно незаметный процент, который не может вызвать опасения конкуренции. С другой стороны, евреи неопровержимо доказали свою любовь к Италии, приняв большое участие во всех войнах за независимость, и в патриотизме их, впрочем, здесь никому не приходит в голову сомневаться, тем более что они сами с утра до вечера божатся и клянутся в нем.

И все-таки, если нет антисемитизма, есть «что-то», какое-то неистребимое маленькое зернышко — не вражды, не ненависти, но розни, холодка, отчуждения, — и это зернышко, словно горошина в тюфяке, при всей своей крохотности не дает удобно и спокойно улечься. Здешние евреи это знают и стараются лежать смиренно, чтобы горошина не очень чувствовалась, и хорошо понимают, что стоит им только зашевелиться, и горошина вырастет в нечто крупное. Поэтому здешние евреи, освобожденные, допускаемые во все почетные и выгодные двери, много и честно поработавшие для свободы своей страны и вдобавок немногочисленные, — все-таки должны помнить и остерегаться.

Им нельзя громко любить свое племя и громко выражать свое братское сочувствие далеким соплеменникам, ибо им нужно гарантировать себе братство коренного населения, а для этого необходимо, чтобы коренное население забыло об их еврействе.

Поэтому здешние евреи не ходят по земле своей родины гордо и звучно, как свободные граждане, которым нечего скрывать и нечего стыдиться; но они стараются скользить боком, без шуму, с оглядкою, как ходят те люди, у которых заплатаны башмаки.

Тот, у кого заплатка на башмаке, сознает, конечно, что бедность не порок, но все-таки старается спрятать заплату и краснеет, когда ее заметят, и страдает муками самолюбия.

Так томятся и эти люди, у которых заплатка на душе.

Имя «Израиль» значит «богоборец», и, действительно, люди этого племени всегда и всюду боролись со старыми богами и шли в первых рядах всякой благородной новизны. Но здесь, в Италии, им теперь надо быть смиренными, чтобы не вызывать неприятного чувства, и потому здесь наблюдается факт, которому вы почти не поверите: подавляющее большинство евреев, особенно студентов, принадлежат к реакционным партиям.

Тише воды, ниже травы — вот лозунг их быта в этой стране, где евреям живется вольнее, чем где бы то ни было; и так будет и дальше тащиться для них это неполное, осторожное, приземленное существование, пока все они не пропадут с лица земли бесславною смертью, помаленьку; или пока, наоборот, не встрепенутся, не поймут, что нельзя жить человеку без гордости, и не выступят на арену истории под венцом своего настоящего старого имени.

Altalena

Одесские новости. 12.10.1903, 18.10.1903 и 29.10.1903

Печатается позднейший вариант по сборнику «Чужие!» (Одесса, 1903)



Вскользь

АВТОР ПЬЕСЫ ГОРЬКОГО

Рим, 13 октября

Когда труппа Соловцова поставила в Одессе пьесу «Кровь», на афишах которой было сказано: сюжет заимствован из «Sangue», drama sociale di R. Lombardo¹, рецензент одной здешней газеты высказал полное недоумение: кто такой этот Ломбардо, у которого «ампошировали»² сюжет, — новичок или автор с именем?

Ответить на этот вопрос, право, не очень легко.

Автор с именем?

О нет. То есть в Риме, где он живет, его знает полгорода, но не как писателя, а просто как оригинала.

Но и не новичок.

¹ «Кровь», социальная драма Р. Ломбардо (*итал.*).

² Украли (от *фр.* *empocher* — «положить в карман»).

Надо считаться с итальянскими условиями: здесь огромная конкуренция во всех областях литературы.

Если и в России страшно трудно пробиться начинающему, то в Италии еще труднее. Особенно, когда начинающий заявляет претензию на оригинальность.

Поэтому здесь вовсе не редкость господа, написавшие уже четыре романа и шесть драм, но еще не увидавшие ни на сцене, ни в печати ни одного из своих произведений или почти ни одного.

Можно ли их назвать новичками?

Я сомневаюсь. Человек, работающий над четвертой пьесой, уже не новичок, хотя бы публика еще ничего не знала о нем: у него уже есть и некоторый навык, и больше чутья, и вообще уже известная доля мастерства — если, конечно, он не круглая бездарность.

Все ли эти господа — бездарности?

Большинство — да. Но есть, несомненно, и даровитые люди.

Окружающие над ними подсмеиваются — ибо вообще, по какому-то странному резону, обыватель считает себя вправе третировать презрительно ближнего, который неудачно пытался написать что-нибудь путное, хотя ведь и сам он, обыватель, настолько заведомо неспособен написать что-нибудь путное, что даже и не пытается.

Обыватели подсмеиваются над этими неудачниками и говорят о них, как у Чехова где-то сказано:

— Опять этот с... с... ерунду написал!

И, действительно, книгоиздатели, редакторы, режиссеры упорно возвращают им рукописи.

А они, может быть, все-таки даровиты, двумя иногда головами интереснее любого модного автора; у них, может быть, нет умения настоять, или просто-напросто не везет; и перед ними, может быть, лежит еще где-нибудь запоздалая, но приятная будущность.

Повторяю, способные люди среди этих непечатанных и неигранных авторов — редкость, но они все-таки имеются.

Роберто Ломбардо — из числа этих исключений. Его почти не печатают, почти не играют, а в нем все-таки «что-то такое есть».

Не вообразите себе его, однако, типичным неудачником, рыцарем печального образа: tutt'altro!¹

¹Вовсе нет; совсем наоборот (*итал.*).

Это, напротив, человек удивительно деятельный и предприимчивый — даже слишком. В свои 26 лет он сегодня устраивает народный театр, завтра управляет диалектальной труппой, послезавтра организует общество для перевода иностранных репертуаров; для всего этого он добывает капиталистов со дна морского, иногда самых не имеющих ничего общего с искусством, — то какого-нибудь депутата из баронов-латифундистов, то разбогатевшего бакалейщика; он умеет приручать этих людей к мысли о том, что и на искусстве можно получить барыши; и все эти его предприятия иногда, конечно, лопаются не родившись, иногда проваливаются через месяц — но, во всяком случае, Ломбардо умеет влиять и добиваться, никогда не сидит без проектов и без денег и всегда что-нибудь строит или мастерит. Даже когда я встретил его как-то в период делового затишья, он мне рассказал, что недоволен своей спиртовой лампой с ауэровской горелкой и старается изобрести такую штуку, чтобы сама сетка нагревала газ...

Отчего при всем том пьесы Ломбардо не ставятся — это другой вопрос.

Прежде всего, оговорка. Две из них были поставлены. Одна называлась «Не ответственные», другая — о которой будет ниже — «К чему?»

Первая из них, кажется, была ошикана, а если не была, то могла быть ошикана, хотя это была для молодого человека (тому уже четыре года) недурная и неглупая вещь.

После нее Ломбардо написал, вероятно, не меньше полдюжины пьес. Они не были поставлены; если бы их поставили, публика ошикала бы их. А все-таки, за исключением одного «Sangue», которое плохо разработано, все это были интересные и глубокие пьесы, но... сучковатые, хотя и коротенькие.

Ломбардо сам, видно, чувствует, что воздух подмостков не может быть благоприятен для его драм. Умея во всех других случаях настаивать и домогаться, он никогда не пускает в ход всех своих пружин, чтобы пристроить новую пьесу, а иногда не делает даже и первого шага.

Дело в том, что его творческая фантазия — какого-то особенного склада.

Сказать, что эта фантазия бедна, было бы грехом. Темы и сюжеты пьес кишат у него в голове так же обильно, как проекты предприятий и учреждений.

Но его фантазия вращается только в области схем и идей, а не в области живых образов.

Он всегда задумывает интересную психологическую ситуацию, иногда сильные и оригинальные коллизии; сквозь каждую из них стержнем проходит общая руководящая идея — нечто вроде модной «апанке» (рок); и в таком схематическом виде его сюжеты невольно поражают внимание.

Но в исполнении все это бледнеет. Люди у Ломбардо все хмурые, изысканные, велеречивые; каждый, правда, выражает свою собственную схему, но все говорят одним и тем же языком, отвлеченным, отрывистым, неясным — «декадентским», как выразился бы коммивояжер.

Акты коротенькие, так как в них введено только то, что необходимо для развития схемы, поэтому так называемого *действия* в этих пьесах совсем нет и коротенькие акты кажутся даже слишком длинными.

Словом, это — пьесы именно из тех, которые публика охотно и злорадно освистывает: и за скучное исполнение, и за явное притязание на глубину.

А все-таки некоторая глубина в них есть, и не в качестве пристегнутой претензии, а органическая.

Все сюжеты Ломбардо — кроме опять-таки «Sangue», написанного, так сказать, по случаю, — все построены на одной и той же мысли, все вытекают из одного и того же скептического и пессимистического сознания.

Это сознание вкратце можно очертить так: все есть логическое последствие прошлого, ничто не зависит от нас; мы стремимся к совершенству, мы хотим добра, но мы не властны ни над собою, ни над окружающим миром, ибо все уже заранее предопределено силой вещей и будет так, как сложится, наперекор нашей воле. Мы — ничто в жизни, мы — бессильные и «неответственные»...

Вот пример, который, кстати, выяснит, по какому поводу я вздумал заговорить о Ломбардо и почему дал этому фельетону такой заголовок.

На днях, просматривая журнал «Rivista d'Italia» за прошлый год, я наткнулся — в августовской книжке — на заглавие, которое меня изумило:

— «Che vale», драма в одном действии... Максима Горького.
«Che vale» значит «К чему?»

Я буквально растерялся. Когда это г-н Горький написал пьесу в одном действии «К чему?»

Я пробежал первую страницу, мое изумление возросло. Тут было налицо грубое незнакомство с Россией: героя звали по имени и отчеству Семен Николаевич, и действие происходило в его родовом имении; затем тут же фигурировал доктор с «русской» фамилией Рагоск, и так далее.

Только дойдя до конца страницы, я понял, в чем дело: внизу была сноска крошечными буквами, гласившая: «перевод с русского Роберто Ломбардо».

Это имя объяснило мне все: вряд ли у кого-нибудь другого, кроме Ломбардо, хватило бы смелости на такую рискованную мистификацию.

Я навел потом справки: оказалось, что эта пьеска под флагом Горького обошла несколько лучших театров Италии и газеты писали о ней глубокомысленные статьи, покамест Ломбардо письмом в какую-то редакцию не открыл секрета. Это вызвало здесь даже кое-какой шум. Странно, что в России ни одна газета, кажется, не заметила этого курьеза...

Вот, однако, в нескольких строках содержание этой пьески.

Семен Николаевич после смерти отца возвращается из Парижа к себе в имение. С ним его друг, француз Рауль Бодэн.

У Семена Николаевича много добрых намерений. Здесь в имении он когда-то соблазнил крестьянскую девочку Анну, дочь своей няньки; теперь Анна выросла, и он хочет поправить грех и жениться на ней.

Он хочет поселиться в деревне и возделывать своими руками землю.

Таким образом, он мечтает в трудовом общении с природой найти нечто вроде толстовского воскресения.

Управляющий представляет ему отчет о состоянии, в котором остались дела после смерти отца: оказывается, что покойник успел пуститься в разорительные спекуляции и от больших богатств, за вычетом долгов, остается едва сорок тысяч.

Это известие ошеломляет Семена Николаевича.

Но все-таки у него осталась Анна и перспектива трудовой жизни пахаря. Это главное, этого достаточно для его довольства. Он призывает Анну, говорит ей о своем намерении; Анна едва верит своему счастью, и Семен Николаевич вне себя от радости.

Но тут приезжает доктор («Pietro Ragosk!»!), нарочно вызванный по настоянию Рауля Бодэна из города. Дело в том, что Семен Николаевич давно болен; в Париже он ни за что не хотел обратиться к медику, ссылаясь на то, что при первой поездке в Россию поговорит с врачом «Рагоском».

В отсутствие Семена Николаевича Рауль Бодэн рассказывает врачу о его припадках, которые повторяются все чаще и чаще.

Врач качает головой: это эпилепсия, наследство от предков. Семену Николаевичу нужно лечиться, его необходимо увезти отсюда.

И вошедший Семен Николаевич узнает, что и вторая половина его мечты не может сбыться. Он не может жениться на Анне, потому что он эпилептик, сын эпилептика: его отец умер на полу с пеной у рта, и детям Семена Николаевича грозило бы то же самое. А вместо того чтобы пахать землю, ему надо переселиться в город и поступить в лечебницу.

Семен Николаевич разбит по всей линии. Почти обезумевший, он падает в кресло у окна и слушает песню крестьянок, идущих с поля. Она кажется ему песнью жизни, которой для него уже не существует, и он горько спрашивает себя:

— *Che vale?* К чему мои порывы, мои идеалы, когда еще до моего рождения сила вещей — обстановка моего зачатия, кровь давно сгнивших прадедов — предрешила всю мою судьбу, и никакое напряжение моей воли не властно изменить то, что пред-решено?

И на этом занавес опускается.

Пьеска, без сомнения, пахнет Ибсеном.

Я бы, однако, не назвал ее подражанием, уже хотя бы по тому одному, что эта идея предопределения проходит и через остальные драматические опыты Ломбардо, проектируясь и в других областях кроме наследственности. Он видит *ananke* не только в болезненных явлениях, но и в самых естественных сторонах жизни: животное начало в человеке, страсти и склонности — все это не зависит от нас, рождается в нас уже готовым и кладет раз навсегда железные рельсы нашей жизни, и весь наш прогресс есть только игрушка и иллюзия, потому что все совершается помимо нашей воли.

На мой взгляд, это ложная, скучная и бесполезная теория, но я знаю, что для многих она всегда будет модной.

И легко может случиться, что через несколько лет этот самый Ломбардо вдруг выплывет на поверхность болота моды со всеми своими пьесами, которых к тому времени будет очень много, и переживет свою четверть часа популярности.

Это вполне возможно. Пьеску «*Che vale*» я пробежал с интересом; вообще же его драмы, которые он в былое время регу-

лярно принуждал меня выслушивать, казались мне нудными. Но я совсем не судья для этого стиля, потому что я и над Шнитцлером иногда скучаю.

Может случиться, что Ломбардо вдруг завоюет имя, и тогда окажется, что он вовсе не скучен, а совсем напротив. Может быть, и это будет верно.

А может и не случиться. Может быть, Ломбардо так и померет, не дождавшись этой своей четверти часа.

Тут ничего нельзя предвидеть, ничего нельзя предсказать; я не берусь судить, есть ли вкус у публики или нет, но несомненно, что звонкие имена часто построены на случайностях.

Каждому из нас может улыбнуться такая случайность; может она улыбнуться и Ломбардо. А пока ее нет, я пишу о нем и о его «*Che vale*» просто в качестве курьеза...

Altalena

Одесские новости. 13.10.1903



Вскользь

Рим, 27 октября

Де Феличе, городской голова Катании, созвал к себе всех хлебников города и спросил у них:

— Правда ли, что вы взимаете за кило хлеба по 40 сантимов?

— Правда.

— Это слишком дорого. Мы созовем комиссию, которая выяснит цену хлеба.

Пекари успокоились и пошли по домам, рассуждая:

— В комиссию — значит под сукно.

На другой день комиссия была уже готова. В нее вошли гласные, члены управы, пекари-хозяева и пекари-рабочие.

Комиссия в полном составе замесила тесто, сунула его в печь, испекла хлеба разного качества и потом подсчитала расходы: оказалось, что фунту хорошего хлеба цена 30 сантимов.

Де Феличе созвал опять хлебопеков и сказал им:

— Можете продавать хлеб по 32 сантима за килограмм, но не больше.

Пекари запротестовали.

Тогда голова сказал им:

— Лучше не спорьте, а то пожалеете.

Будь на его месте другой человек, хлебопеки не особенно испугались бы этой угрозы.

Но де Феличе составил себе репутацию энергичного человека.

Поэтому пекари нахмурились и пошли домой, говоря друг другу:

— Мы ему покажем свою силу.

Есть закон, по которому ни один торговец припасами первой необходимости не имеет права прекратить свою торговлю, не предупредив городскую управу за две недели.

Пекари сговорились и послали голове заявление:

— Через две недели, начиная с первого августа, мы все, нижеподписавшиеся, приостанавливаем производство хлеба.

Де Феличе ответил:

— Очень хорошо.

Первого августа, когда все хлебопекарни оказались действительно закрыты, голова с раннего утра распорядился открыть их через городскую полицию.

Затем он предложил пекарям-рабочим стать на работу. Те с радостью взялись за дело, а чтобы пекари-хозяева не помешали, де Феличе потребовал у начальника гарнизона солдат и расставил охрану у каждой хлебопекарни.

Вечером хлеб продавали по 30 сантимов за кило.

В тот же день голова экстренно собрал думу и испросил у нее кредит в десять тысяч лир.

Пекари спохватились, но было уже поздно: в следующем заседании городской совет постановил муниципализировать городское хлебоснабжение.

Голова не терял ни минуты. Он снял помещения, установил новое распределение смен, облегчив этим значительно труд рабочих, повысил им плату и со всем тем через самое короткое время успел вернуть городской кассе взятые десять тысяч.

Теперь муниципальное хлебоснабжение города функционирует на славу. В Риме бедняки за килограмм хлеба платят 45 и 40 сантимов, а в Катании 30, 25 и 20...

Я уже писал однажды о почти таком же опыте в другом сицилийском городе, в Палермо.

Там, впрочем, сделана была не столь обширная попытка: не муниципализация хлеба, а просто учреждение широкой сети городских хлебопекарен.

Но и в Палермо, и в Катании достигнута одна и та же цель: падение цен на предмет первой необходимости, то есть, говоря общим термином, благо населения.

Эта цель достигнута просто и скоро, одним решительным ударом.

И нет такого места и положения, где бы энергичный человек не мог сделать хоть какого-нибудь хорошего и честного дела.

Если только он действительно энергичен.

Altalena

Одесские новости. 19.10.1903



Вскользь

У СОБОРА СВЯТОГО ПЕТРА

Рим, 30 октября

В два часа дня мы берем извозчика и едем к собору Святого Петра — смотреть папу Сарто.

Это уже третий прием Пия X. Иезуиты не позволили ему благословить весь римский народ сразу на огромной площади Святого Петра, так что ему приходится благословлять их по участкам, поочередно, в тесных внутренних дворах Ватикана.

На этот раз очередь выпала на долю приходов Святой Магдалины и Святого Евстахия; и так как я по месту жительства оказался прихожанином Святой Магдалины, мне тоже достался входной билет.

Итак, в два часа дня мы берем извозчика и едем.

За мостом Святого Ангела во всем Борго большое движение: люди и женщины разных сословий группами идут к площади Святого Петра.

Мы пересекаем круглую площадь, проезжаем под гигантскими столбами колоннады, огибаем бесконечно длинные боковые и задние фасады собора и останавливаемся у ворот.

Это, так сказать, предел Италии — в доказательство чего тут у ворот стоят рядышком, вроде пограничной стражи, два карабинера во фраках и в опереточных черных треуголках с большими красными торчащими пучками, похожими на метелки.

За этими воротами — уже не Италия, но и не папская область — нейтральная полоса или, если угодно, царство муз, потому что здесь вход в скульптурный музей Ватикана.

Перейдя эту полосу, мы через новые ворота, так называемые Швейцарские, вступаем уже в настоящую папскую область.

Здесь на страже стоят прежде всего два папских жандарма, которые проверяют билеты. Они одеты почти в такие же фраки и треуголки, как итальянские карабинеры.

Тут же красуются с алебардами в руках два рослых белобрысых парня в полосатых желто-черно-красных блузах и коротких широких штанах того же пестрого цвета; на головах у них матросские шапочки набекрень, и весь этот маскарад делает их похожими на очень больших мальчиков. Впрочем, сам по себе костюм довольно живописный: кажется, проект этой формы сделан Рафаэлем. Это — знаменитая швейцарская гвардия папы.

Отсюда, следуя за группами других прихожан Святой Магдалины и Святого Евстахия, мы через разные ворота проникаем во двор Святого Дамаза.

Выше я назвал внутренние дворы Ватикана тесными. Но это только относительно, по сравнению с колоссальным пространством площади Святого Петра. Сам по себе двор Святого Дамаза может проглотить, как ни в чем не бывало, десять тысяч человек даже без всякой давки; и это еще не наибольший из дворов Ватиканского палаццо.

Мы застаем двор наполненным до трети и, работая локтями, без особенного труда устраиваемся недалеко от трона.

Трон — небольшое золоченое кресло красного бархата — поставлен на красные подмостки, обнесенные толстым канатом из золотого шелка; арка стены, к которой он прислонен, просто и довольно красиво задрапирована красным бархатом.

Балдахина нет; небо нечистое, дует сирокко, и невольно является непочтительный вопрос:

— А что он сделает, если вдруг посредине благословения пойдет дождь?

Публика вокруг настроена очень весело.

Тут полная смесь наречий и состояний; впрочем, римляне преобладают. Дамы и барышни в шляпках, и простолюдинки с непокрытыми прическами; несколько женских фигур в черном и с теми черными косынками на голове, которые специально продаются в галантерейных лавках с плакатами: *voiles pour visiter le Saint Père*¹. У некоторых из женщин маленькие дети на руках или ребятишки постарше между складками юбок.

¹ Покрывала для посещения собора Святого Петра (*фр.*).

Иностранного элемента тоже немало. Я с удовольствием вижу, что не я один здесь фигурирую в качестве прихожанина Святой Магдалины... с Нежинской улицы. Справа кто-то говорит по-немецки, слева кто-то выплевывает английские звуки; свирепо работая локтями, передо мною протискивается рослый пан в бакенбардах и зовет за собою по-польски старую пани, у которой на левой руке висит по крайней мере полтора фунта четок; и, наконец, где-то в углу из общего гомона вырывается женский голосок на русском языке:

— Смотри, какие смешные эти швейцарцы!

Как добрый патриот, я подымаюсь на цыпочки, чтобы разглядеть соотечественницу, но убеждаюсь, что у меня недостаточно большие цыпочки. Поэтому довольствуюсь тем, что вместо соотечественницы разглядываю швейцарцев.

Они стоят, опершись на алебарды, по обе стороны золоченого кресла и смотрят на толпу важно и снисходительно.

Швейцарцы ли они? В Риме об этом говорят разное и особенно не рекомендуют предлагать этим сынам Гельветии вопрос: — Ты из какого кантона?

Ибо они могут не понять слова «кантон» и обидеться.

По этому поводу есть сонет у Лоренцо Стеккетти:

«Когда я сошел с извозчика у Ватикана, швейцарец, стоявший на страже, вдруг чихнул прямо на меня так неловко, что я невольно отшатнулся и вскрикнул:

— Что это, дождь?

Он услышал и спросил:

— Mein Herr итальянец, откуда ты родом?

Я ответил:

— Из Милана. А вы, если можно спросить, из какого кантона?

Швейцарец поднял волосатые руки, схватил меня за шиворот и, щелкая зубами, сказал:

— Это, может быть, тебя, *бугзурро*, родили в закоулке (cantone), но я родился в большом и красивом городе: я, черт тебя побери, родом из Фраскати!»

Бугзурро есть обидное прозвище северян, вроде южнорусского «кацапа»; Фраскати — городишко в окрестностях Рима. Этому «швейцарца» обучили говорить mein Herr и коверкать итальянские слова на немецкий лад, но забыли объяснить ему второе значение слова cantone...

Все ли эти швейцарцы набраны из уроженцев большого и красивого города Фраскати, из Марина и Рокка-ди-Папа

и других окрестных «замков» Вечного города? Не ведаю. Впрочем, те двое, что стояли у ворот, были белобрысые и очень походили на немцев.

Во всяком случае, это рослые молодцы, хорошо выкормленные и внушительные. Глядя на них, трудно понять, почему о папских войсках, когда они еще существовали, на здешнем наречии сложилась поговорка:

*Quanti so' brair i sordati der papa —
Ce ne vo' sette pe' cavà 'na rapa!*

«Что за молодцы папские солдаты: их нужно семеро, чтобы вытащить одну репку»...

Публике весело; как всегда в этих случаях, все улыбаются, сами не зная чему: и некстати заигравшей музыке, и новой огромной дамской шляпке, поместившейся вдруг у вас перед глазами, и барышне, неожиданно выглянувшей из окошка второго этажа прямо над тронном.

Впрочем, скоро является вполне уважительная причина для смеха: в самом центре толпы с каким-то ребенком случилось очень большое несчастье. Вокруг места преступления мигом образуется пустое место с квадратную сажень, а мамаша спокойно застегивает ребенка, берет на руки и протискивается вперед. Оставшиеся благодушно хохочут; две хорошенькие дамы в красном, у которых это происшествие случилось перед самым носом, стараются не смотреть туда, переглядываются и то и дело прыскают; одна вполголоса говорит:

— Можно подумать со стороны, что мы караулим!

И окружающие смеются. Наконец, одна пожилая женщина берет у соседа сегодняшнюю газету, накладывает ее на следы греха и сама становится сверху, говоря: «ecco fatto!»¹ Публика, с облегченным «оооо!», сдвигается и еще долго смеется, вспоминая о событии.

Любопытно, однако, что события такого рода здесь вызывают не раздражение, а только смех. Я не раз наблюдал это, особенно в театрах, куда бедные матери приносят с собою маленьких, иногда грудных детей. Если дети не очень мешают, публика снисходительно пропускает мимо ушей их отдельные вскрикивания. Только уж если иное дитя подымет настоящий рев по всем правилам искусства и мать не торопится вынести его в коридор, соседи начинают хмуриться и кричать: a letto! В постель!

¹ «Вот и готово!» (итал.)

Мелочь, но эта терпимость к детям есть проявление большей, чем у нас, воспитанности и сознательности: оно прекрасно понимает, что нельзя заставить бедную женщину из-за ребенка лишить себя всех удовольствий, и предпочитает мириться с небольшим неудобством...

— Вот он! Вот он! Браво, браво, *evviva il papa!*¹

Толпа колышется, все громоздятся на цыпочки, часть мужчин машут шляпами, женщины платочками, часть аплодируют; в общем, ровно ничего не видно; я вытаскиваю бинокль и покамест наставляю его, выжидаю, чтобы передние ряды поуспокоились.

Они успокаиваются, и я вижу на красных подмостках кучку людей, в центре которых, между двумя фиолетовыми монсеньорами, стоит папа в белой рясе.

— *Che bell'uomo,*² — говорят друг другу две простолюдинки, стоящие перед нами.

Папа в самом деле крупный и здоровый мужчина. У него хорошие плечи и солидная грудь, и простое, благообразное лицо, не то крестьянское, не то актерское: я бы так загримировался, если бы играл Стародума. Из-под белой шапочки короткие белые волосы кое-где чуть-чуть выбиваются вихорками, как у мальчика; руки сложены, пальцы в пальцы, на желудке. Папа стоит именно в такой позе, какую принял бы рассудительный и толковый мужичок, собираясь заговорить перед собранием, которое не внушает ему, конечно, робости, но все-таки немного стесняет, и повторяя мысленно то, что хочет сказать, в ожидании, пока слушатели угомонятся. Именно такое выражение у папы на лице, сосредоточенное, с поджатыми губами, между тем как он внимательно поглядывает то на толпу, то на своих монсеньоров, и время от времени улыбается.

Лев XIII, граф Печчи, заставил бы принести себя на носилках, с опахалами и с кардиналами. Пий X пришел пешком без опахал и кардиналов, с небольшой свитой во фраках и лиловых рясах; и через минуту, когда становится тихо, он начинает говорить без величавых жестов своего предшественника, просто и вразумительно, помахивая обеими руками и сложив при этом в колючку большой палец с указательным, как пишут апостолов на старинных картинах и как делают евреи.

¹ Да здравствует папа! (*итал.*)

² Какой красивый мужчина (*итал.*).

Первых слов я не слышу, но потом начинаю улавливать:

«...Излишне было бы призывать вас к верности католической религии, потому что одно ваше присутствие здесь доказывает вашу религиозную ревность...»

Каюсь, в эту минуту мне невольно приходит в голову, что такому разумному папе, как папа Сарто, не следовало бы произносить эту фразу. Верующих католиков, конечно, очень много в Риме, и много их, вероятно, и в этой толпе, но неужели Пий X не понимает, что именно сюда три четверти собравшихся собрались вовсе не из религиозной ревности, а из любопытства — увидеть папу?

Затем Пий X говорит о том, как родители должны воспитывать в вере детей и как дети должны повиноваться родителям и слушаться их советов: простые, совсем не ораторские выражения, не трогающая, но толковая речь, немножко похожая на нотацию старого и доброго знакомого, и там и сям характерные ошибки венецианского диалекта.

Я смотрю вокруг себя, но оттенки выражения лиц трудно уловить: хотя толпа ведет себя тихо, все-таки то один шевельнется, то другой засопит, и все это вместе создает некоторое невнятное беспокойство, которое то и дело заглушает отдельные слова мерного голоса папы. Поэтому на всех лицах вокруг меня написано только напряженное старание вслушаться, и больше ничего. Умиленное выражение наблюдается, вероятно, впереди — не дальше десятого ряда, где процесс слушания не поглощает стольких усилий...

«... и в заключение, — говорит папа, — я призываю на вас и на всех близких ваших благословение Господа», — и поет слова латинского благословения, и публика хором подпевает ему вместо клирика.

Папа умолкает. Опять аплодисменты, крики и махание платочками, между тем как один из монсеньоров помогает папе надеть на плечи красную мантию и на голову красную широкополую шляпу; прикрыв голову красной шляпой, Пий X слегка кланяется, поворачивается, медленно уходит, улыбаясь и оглядываясь, среди плеска и криков, и пропадает из глаз.

Altalena

Одесские новости. 23.10.1903



Вскользь

Рим, 31 октября

Другое письмо г-ну Мечникову.

«Милостивый государь!

Я — дама 33 лет, нарядная и, как люди выражаются, пикантная; тем не менее недурная хозяйка и, кажется, хорошая жена-подруга.

Хорошая ли я мать — не взялась бы определить.

Сыновей у меня нет, есть дочка Маруся, 15 лет.

Мы с ней очень любим друг друга, и если случается повздорить, никогда не говорим друг другу резких слов.

Прежде я знала ее душу и все ее помыслы: она всегда приходила ко мне и поверяла мне их.

Теперь этого больше нет: у нее, вероятно, имеются свои маленькие секреты; и так как она их от меня скрывает, я полагаю, что не имею никакого права и основания любопытствовать.

Я должна признаться, что пишу вам это письмо, г-н профессор, не из прямого интереса к тому вопросу, о котором говорится в вашей книге, — я ее, впрочем, еще не читала, — вопросу о нравственной нечистоте современных людей.

Пишу потому, что на днях я нашла в газете статью под заглавием "Письмо самоубийцы к проф. Мечникову", где вину или часть вины автор взваливает на нас, женщин, и упрекает нас за то, что мы нарочно стараемся своим телом дразнить чувственность мужчины.

Эта статья побуждает меня заговорить.

Прежде всего, не подумайте, г-н профессор, что я собираюсь тоном обиженной невинности протестовать против инсинуаций г-на самоубийцы и уверять, будто мы носим корсет и обтягиваем юбку вокруг боков не с целью обрисовать формы, а "просто так".

Напротив, я всегда ясно понимаю, что это делается именно, как пишет г-н самоубийца, для привлечения мужчины.

Конечно, это выражение надо разуметь не в грубом смысле: когда я прохожу по улице, обтянув юбку, я вовсе в эту минуту не думаю о том, чтобы "привлечь" проходящих мужчин. Напротив, я была бы, пожалуй, очень недовольна, если бы кто-нибудь из прохожих увязался за мной следом, непрошенный, до самого дому.

Я понимаю слово "для привлечения" так: мы стараемся над своей фигурой просто для того, чтобы "нравиться"; но желание нравиться, конечно, возникает из природной необходимости привлечь мужчину. Так я всегда объясняла себе женскую любовь к нарядам, я не находила и не нахожу в этом объяснении для нас, женщин, ничего обидного.

Тем более странными показались мне упреки г-на самоубийцы, который так недоволен тем, что мы стараемся "подчеркнуть" анатомические особенности нашего пола и для того обтягиваем юбки и носим то высокие, то низкие корсеты.

Я решительно не могу понять этой точки зрения и той ненависти к человеческому телу, которой дышит все это письмо.

У г-на самоубийцы так и видно желание чуть ли не уничтожить это тело или во всяком случае сделать его незаметным и неинтересным; его как будто бы злит, что в фигуре женщины есть красивые изогнутые линии, и можно подумать, что, будь его воля, он положил бы нас под пресс и сделал бы нас плоскими, как доски.

Это напоминало бы один рассказ Джерома, о том, как он проснулся однажды через сто лет в будущем государстве социалистов и увидел, что все люди на улице были одеты одинаково и носили на груди бляхи с нумерами.

И один тамошний житель объяснил Джерому:

— Четные — это мужчины, а нечетные — женщины.

У этих бедняжек не было другого средства отличить мужчину от женщины под одинаковым платьем! Признаюсь, я не желала бы дожить до такого времени.

Я уж не говорю, что анатомические особенности женщины необходимы ей для материнства; но я просто напомним о том, что с тех пор как мир существует, человеческое тело считалось прекрасным, и нормальный, духовно здоровый человек не может не дорожить его красотой.

Платье, необходимое для того, чтобы защищать нас от погоды, должно украшать тело, а не коверкать его так, чтобы не видно было его красивых форм.

Мне кажется, г-н профессор, что я — довольно нравственная женщина. Я это говорю не потому, что не принадлежала никому, кроме моего мужа, а потому, что во мне нет и никогда не было того особенного и преувеличенного интереса к чувственным мыслям и отношениям, который нарушает в людях нравственное равновесие и делает из них эротоманов. Я всегда относилась к этим вещам просто, нормально и мило.

Но это не мешает мне радоваться тому, что я правильно сложена, и носить такое платье, которое не прячет моей фигуры, а выказывает ее, по возможности, такой, как она есть.

Когда я была барышней, носили юбки другого покроя и не обтягивали боков. Эта мода пришла недавно.

Пока не было этой моды, я, конечно, не обтягивала бедер, — во-первых, потому, что мне это не приходило в голову; а если бы и пришло в голову, я побоялась бы людских насмешек.

Но раз такая мода настала, я нахожу ее довольно красивой и не вижу ничего дурного ни в том, что я сама приподымаю теперь платье по новой манере, ни в том, что моя дочка Маруся, которой еще нет смысла ни приподымать, ни обтягивать свою короткую юбку, носит летом кофточки с кисеей на груди и на руках.

Я не вижу в этом ничего дурного и, повторяю, не понимаю даже, как можно видеть в этом дурное; и я поняла бы точку зрения г-на самоубийцы только в том случае, если бы он прямо заявил, что ненавидит красоту тела и желает ее убрать с глаз подальше.

Здесь третьего выхода нет. Одно из двух: или г-н самоубийца признает красивое тело за нечто нормальное, хорошее и желательное, — и тогда не требуйте, чтобы мы нарочно парализовали эту красоту прямолинейным платьем; или он находит, что человеческое тело *не должно* быть красивым, а должно быть, напротив, как можно более плоским и незаметным, чтобы не тревожить чувственности молодых людей, — и тогда потрудитесь прежде объяснить и оправдать такую противоестественную точку зрения.

Но г-н самоубийца не примыкает, очевидно, ни к одной из этих точек зрения, а старается остаться посередине, т. е. между двумя стульями.

С одной стороны, он с удовольствием цитирует Толстого, который готов закричать "караул!", когда видит женщину в платье декольте.

Я, конечно, преклоняюсь перед Толстым, но, слыша эту цитату, я всегда невольно вспоминаю два непочтительных литературных примера.

Один — из Чехова, из "Скучной истории": старый профессор говорит (я не помню точно слов), что никак не может понять, откуда берется в его жене и дочери, женщинах интеллигентных, такое презрение к его племяннице, родившей внебрачное дитя, и что это в них даже не презрение, а какая-то специальная

инстинктивная "ненависть"; и по тону рассказа чувствуется, что и на профессора, и на Чехова эта ненависть к проявлению пола, не замазанному формальностями, производит неприятное впечатление чего-то нездорового и уродливого.

Другой пример из Мопассана: фанатик-патер застаёт кучку детей вокруг кошки, рожающей в эту минуту котят; и патером овладевает бешенство против этой кошки за то, что она смеет рожать своих котят — без помощи аиста, капусты и веревочки с неба, а просто так, как природа велела, — перед детьми, от которых, по его мнению, надо скрывать природу; и он прогоняет детей и с яростью топчет ногами кошку и ее котят.

Я думаю, что последний пример самый типичный, потому что в нем дело идет о католическом патере, которому нельзя жениться: страсть, не найдя выхода, ударила этому фанатику в голову, так что ему теперь мерещится разврат во всяком проявлении жизни и он ненавидит все, что напоминает о здоровом творческом влечении между мужчиной и женщиной.

Его ненависть вспыхивает при виде акта рождения; ненависть чеховских дам — перед открытой и свободной любовью; ненависть Толстого — перед красотой женского тела: это все одно и то же.

Повторяю, что я преклоняюсь перед Толстым и считаю его самого человеком идеально здорового духа; очень часто бывает, что свободный, живя среди рабов, становится искренним теоретиком рабского сознания. Современные люди все в положении католического патера: вся ложь, которой загромождены наши отношения, мешает правильному развитию влечения между мужчиной и женщиной и извращает его, и страсть, не найдя выхода, ударяет в голову и становится *idée fixe*¹ и центром морали; и Толстой, живя среди таких больных людей, хотя сам здоровый, сделался в некоторых отношениях трубочом их больной морали, вытекающей из эротомании и ведущей к ненависти против здоровой страсти и здоровой красоты.

Я думаю, что на такую ненависть здоровые люди должны дружно откликнуться такою же ненавистью против эротоманской половой морали и всего того, что к ней близко...

Но г-н самоубийца хотя и цитирует сочувственно обращение Толстого к городовому, в то же время не заявляет прямо, что ему противна телесная красота и что он предпочел бы ее упразднить.

¹ Идея фикс, навязчивая идея (*фр.*).

Он только подчеркивает то, что его возлюбленная обтягивает себе бока *на балу*, то есть старается показать свою фигуру перед *всеми*; и это слово "все" несколько раз повторено курсивом в письме г-на самоубийцы.

Очевидно, его раздражает не то, что у нее вообще красивое тело, а то, что она показывает эту красоту своих форм не только своему возлюбленному, но "всем".

Я опять-таки не понимаю этого рассуждения.

По-моему, напротив, если бы эта девушка при "всех" прятала красоту своего стана и только при нем, возлюбленном, обнаруживала ее, — именно тогда это доказывало бы в ней прямой сознательный расчет пустить в ход свое тело для возбуждения чувственности в этом человеке; и это была бы грубая и низменная спекуляция формами, тогда как обнаруживание своей красоты перед "всеми" есть именно гарантия естественного желания нравиться, которое вытекает, конечно, из того же инстинкта, но не имеет грубого характера прямого расчета.

И в том-то и дело.

Я, как уже сказала, не думаю отрицать то, что мы, женщины, носим платья в обтяжку и открываем себе полгруды именно с целью показать красоту наших форм и нежность кожи, то есть те особенности, которые даны природой для привлечения мужчины.

Но это не значит, что нам приятно, когда встречные мужчины смотрят на нас противными слюнявыми взглядами.

Я ручаюсь вам за себя и за всех женщин, которых знаю, что такие взгляды вызывают в нас отвращение, и не ради таких взглядов мы одеваемся или полуодеваемся и стараемся обрисовать изгибы бюста и пояса.

Нам приятно читать во взглядах мужчин одобрение нашей красоте или пикантности; нам приятно видеть в их глазах легкую искорку оживления, сознавать, что вид изящной женщины заставляет мужчину восторгаться, возбуждает его, но это должно быть такое возбуждение, как от чаю, а не от водки.

Наедине с тем мужчиной, которого мы любим, мы, конечно, желаем вызвать настоящую страсть, да и тут, право, чаще всего это случается само собой, без наших особых усилий.

Но когда мы выходим в гостиную или на улицу, мы хотим только быть красивыми и нравиться, а нравиться еще не значит распалать.

Между этими понятиями — “нравиться” и “распалить” — лежит огромная разница.

Я прекрасно понимаю, что это — разница не качественная, а чисто количественная; “нравиться” значит задеть слегка только одну струнку чувственности, а “распалить” значит сразу хватить по всем ее клавишам.

Но в том-то и дело! И не наша вина, если у большинства мужчин достаточно задеть одну струнку, чтобы растревожить сразу всю клавиатуру. Виновата клавиатура, которая так легко раздражается: виноваты мужчины, а не те, которым достаточно понравиться, чтобы распалить их.

Я прошу вас, г-н профессор, не понять этого слова “виноваты” в слишком буквальном смысле, — будто я намерена упрекать мужчин и диктовать им мораль.

Я смотрю на это гораздо проще.

Я вижу, что мужчины (то есть вообще люди, но здесь я говорю только о мужчинах) таковы, какими их воспитала среда, и понимаю, что никакой моральной словесностью нельзя их перекрасить в розовый цвет невинности.

Оттого я и нисколько не помышляю перекрасить кого бы то ни было и всегда, например, считала лишними словами добрую половину проповеди Толстого.

Я говорю, что преклоняюсь перед ним, и это верно, потому что он очень справедливо обличает нечистоту, в которой мы живем, и очень правильно рисует идеал чистоты, которого мы должны в будущем достигнуть.

Но это обличение настоящего и указание идеала составляют только половину проповеди Толстого; в другой половине говорится о средствах, которыми можно достигнуть идеала, и эти средства у Толстого всегда сводятся к одному и тому же совету:

— Осадите назад.

Так, он усмотрел, что цивилизация внесла порчу нравов; и вместо того, чтобы сказать: “Потерпите, не судите цивилизацию на полпути, дайте ей привести к цели, и тогда вы увидите, что она все уладит и примирит”, — он просто и круто приказывает:

— Бросьте эту цивилизацию и осадите назад.

Я полагаю, г-н профессор, что люди даже никогда не властны подчиниться такому приказу и осадить назад, если бы и захотели; и потому я никогда не занимаюсь мечтами о том, как хорошо было бы, если бы мы вернулись к невинности

прабабушек, а иду за временем и рассчитываю, что время когда-нибудь приведет — не меня, а потомков — к хорошему и чистому веку.

Я, г-н профессор, оптимистка. Я знаю, что мы живем в развратное время; и если завтра мы окажемся еще развратнее, я все-таки не рассержусь из-за этого на прогресс, хотя разврат мне неприятен.

Ибо я понимаю, что работу прогресса, как и работу человека, нельзя судить по половине и цыплят надо считать по осени.

Если в зимнюю ночь усталый и голодный путник бредет по направлению к далекому постоялому двору, то каждый шаг, конечно, приближает его к тому месту, где его обогреют и накормят и где ему станет хорошо; но в то же время каждый новый шаг пока только увеличивает его голод и усталость. И если этот путник недостаточно силен духом, то он, пожалуй, возропщет на тех, которые посоветовали ему идти на огонек постоялого двора, и скажет:

— Лучше сяду здесь в сугроб и, по крайней мере, отдохну!

Я думаю, что прогресс ведет нас к такому пункту, где все устроится и уладится и где нам будет хорошо; но нельзя требовать, чтобы на пути к этому пункту нам тоже было хорошо, и нет смысла обижаться из-за того, что каждый шаг вперед, может быть, увеличивает ваши недуги. Только там, на постоялом дворе, нас обогреют и накормят, и если мы хотим этого, то должны идти, не смущаясь.

Оттого я не пугаюсь ни сегодняшнего разврата, ни завтрашнего, который, может быть, будет еще хуже сегодняшнего.

Я уверена, что в конце концов человечество придет к жизни, построенной на новых основаниях, и тогда создадутся новые отношения и новая среда.

Только тогда, только в этой новой среде появятся новые люди, чистые, свежие, здоровые и уравновешенные духом и телом.

Эти люди не будут развратными: страсть будет проявляться в них настолько, насколько это нужно для равновесия природы и не больше, потому что они будут выкормлены и воспитаны в здоровой и уравновешенной среде.

Этим людям никогда не придет в голову, что тело человека надо тщательно уродовать и что не следует выказывать его красоту. Они будут дорожить всякой красотой как признаком здоровья и гармоничной уравновешенности и будут любоваться ею с чистой и свободной радостью.

Но таковы будут только новые люди, выросшие в новых условиях, в новой, очищенной среде. Мы и наши ближайшие дети и внуки — мы долго еще останемся такими, как теперь, с нечистыми помыслами; и красивое тело еще долго будет нам казаться провокацией, и то, что должно просто "нравиться", будет нас "распалять".

Но никогда я не соглашусь, чтобы из-за этого мы должны были осадить назад и вернуться к старому лицемерию, к игре в прятки с природой, к затиранию всего полнокровного и красивого.

Я полагаю напротив, что для достижения будущего светлого времени мы должны раньше разрушить всю старую ложь и прежде всего ту, которая слывет под именем нравственного закона, а на самом деле есть ненависть к жизни, плод развращенного воображения, пережиток старых несправедливостей и притеснений, уже сметенных прогрессом.

Прежде всего, надо раздавить старую мораль. Но словом ее не раздавишь.

Мне, г-н профессор, уже 33 года, и я скоро выйду в отставку; но моя дочь Маруся, вероятно, с будущего лета начнет гулять с юношами до 2 часов ночи по берегу моря и, может быть, будет с ними целоваться и позволять разные другие вольности, как это теперь принято у молодых барышень.

Я не знаю, будет ли это все мне по вкусу, но твердо знаю, что не стану вмешиваться и не буду ничему препятствовать, как, впрочем, не препятствуют все другие матери, которых я вижу.

Я не буду препятствовать, во-первых, потому, что моя дочь Маруся все равно не стала бы меня слушаться; и это вполне понятно, так как жить в 1904 году по советам женщины, рожденной в 1870-м, есть то же самое, что путешествовать по прошлогоднему расписанию поездов.

А во-вторых, я вижу и понимаю, что таково требование времени, так надо.

Моя дочь Маруся, как все ее сверстницы, привыкнет играть в мяч любовью, и любовь для нее станет привычной и дешевой игрушкой и лишится половины своей поэзии; и это, конечно, очень больно и жалко.

Но так требует время. Время требует удешевления любви для важной и полезной цели.

Слишком долго любовь была чем-то несоразмерно и уродливо дорогим. Она была запретным плодом; и вокруг этого запретного плода создалась целая груда запретов: мужчина для

женщины и женщина для мужчины стали запретным плодом, и все, что имело отношение к мужчине и женщине, стало запретным плодом; и эту сеть запретов мы назвали моралью.

Оттого несоразмерно и уродливо разрослось любопытство пола к полу и стало в нас болезненно огромным, так что в конце концов большая половина нашей духовной жизни ушла в эту область и получила отпечаток лицемерия, нездорового любопытства, нечистого воображения.

Теперь все это надо разметать, чтобы не осталось камня на камне и чтобы очистить дорогу к будущему.

Оттого я, г-н профессор, рада каждому новому удару, большому или малому, нанесенному старой морали: рада каждой смелой книге, каждой хорошей посткарте, рада бегству крон-принцессы Луизы, рада обтянутым юбкам и кисейным блузкам, рада смелости и вольностям нынешних девушек, хотя эгоистически мне и грустно за мою Марусю.

Я рада потому, что это брожение, вызвав наружу всю порчу, веками накопившуюся внутри, в конце концов очистит атмосферу.

Я вижу, как теперь все, что долго считалось священным, становится мимолетной забавой, как теперь жадно хватается и легко достается женская любовь, женская и даже девическая ласка; вижу, как день за днем все больше стирается стыдливость и запретное становится доступным.

И я вижу ясно, что вся эта вакханалия есть плод нечистого любопытства, которое накапливалось веками и теперь прорвалось и заширвало по-своему.

Я рада потому, что это любопытство, насыщаясь, опрокинет лицемерные запреты старой жизнененавистнической морали, — и в то же время само, насыщаясь и удовлетворяясь, будет мало-помалу слабеть и, наконец, пропадет, оставив людей чистыми, уравновешенными и безмятежными.

Такова моя вера, г-н профессор. Оттого я не иду за г-ном самоубийцей, который требует, чтобы мы осадили назад и снова надели кринолины: я иду за временем и ничего не боюсь, ни обтянутых боков, ни голых плеч, ни кокетливых девочек.

Примите, г-н профессор, изъявления моего глубокого уважения.

N. N.»

С подлинным и т. д.

Altalena

Одесские новости. 26.10.1903



О национальном воспитании

I. РЕЧЬ К УЧИТЕЛЯМ

Что есть национальное воспитание?

Было время, когда еврейская молодежь не только не рвалась к просвещению так усердно, как теперь, но когда отдельным лицам приходилось напрягать все усилия, чтобы приручить еврейскую массу к просвещению. Эта масса боялась просвещения и выставляла против него фанатический предрассудок преувеличенной самобытности — отчасти религиозной, отчасти национальной. Ясно, что людям, желавшим спасти эту массу от невежества, пришлось напасть на предрассудок. И они это исполнили. Они внушали массе, что надо быть прежде всего человеком, что наука равно хороша для всех, что несть элин и несть иудей, и так далее. Эта проповедь менее чем в полвека произвела в еврейской массе коренную перемену, совершила огромный переворот: насколько евреи прежде боялись гуманитарного просвещения, настолько они теперь жаждут его, так что не хватает ни школ, ни учителей, ни пособий; и по распространенности этой жажды знания среди беднейших слоев — мы, российские евреи, может быть, являемся первой народностью в мире.

Но теперь эпоха уже настала другая, и другие нужны для нее слова и дороги. Любовь к гуманитарному просвещению уже вызвана раз навсегда и не только не может ослабеть, но будет все распространяться в ширину и глубину среди еврейских масс. Стараясь пробудить эту любовь, просветителям прежней эпохи, конечно, не было никакой нужды настаивать на национальном оттенке воспитания, потому что он сам собой разумелся: ведь тогда только о том пока и можно было мечтать, чтобы внести в слишком узкое национальное и религиозное воспитание гуманитарную струю. Но теперь, когда это достигнуто, и достигнуто блестяще, повторилось то явление, которое всегда сопутствует успеху какой угодно идеи, даже самой полезной, самой благородной: добежав до цели, мы с разбегу пронеслись дальше. Цель была — создать еврея, который, оставаясь евреем, мог бы жить общечеловеческой жизнью: мы теперь сплошь прониклись жаждой культуры, но так же сплошь забыли о том,

что надо оставаться евреями. Или, вернее, не забыли (есть все-таки причины, мешающие забыть), но наполовину *перестали* быть евреями, потому что перестали дорожить своей еврейской сущностью и начали тяготиться ею; и именно в том, что, с одной стороны, мы *не можем* забыть о своем еврействе, а с другой — тяготимся им, — и скрыта главная горечь нашего положения; и из этого положения необходимо выйти. Чтобы выйти из него, есть, может быть, разные средства, но только *одно* из них в наших руках: это средство — сделать так, чтобы мы перестали тяготиться своим еврейством и научились дорожить им.

Таким образом, задача еврейского народного просвещения в настоящее время является диаметрально противоположной задаче прежней эпохи. Тогдашним девизом было: «стремитесь к общечеловеческому!» — ибо стремление к национальному (тогда выражались — «религиозному») уже имелось в обилии. Теперешним должно быть: «стремитесь к национальному!», ибо стремление к общечеловеческому уже имеется. В результате оба противоположных девиза ведут к одной цели, как оба радиуса диаметра к одному центру: к созданию еврея-гуманиста. Но, ведя к той же цели, новый девиз, однако, требует коренной перемены, полного перемещения центра тяжести воспитательной системы. Во дни оны центром тяжести еврейского воспитания надо было сделать гуманитарный элемент, чтобы скорей выжить дух нетерпимости и узости; но теперь центром всей системы воспитания еврейской молодежи должен стать национальный элемент, ибо надо выжить дух самопрезрения и возродить дух самосознания.

Вот реформа, необходимая ныне: надо перевернуть душу преподавания, произвести революцию в самом принципе системы.

Нельзя больше так жить, как мы живем: мы жалуемся на то, что нас презирают, а сами себя почти презираем. И это немудрено, если подумать, что еврей, воспитанный по-нынешнему, знает о еврействе, т. е. о самом себе, только то, что видит вокруг, то есть картину, не могущую польстить чувству национального достоинства. Если бы ему была известна колоссальная летопись еврейского величия и еврейского скитания, он мог бы почувствовать, сколько благородных сил кроется в этом маленьком и непобедимом племени, и ощутил бы гордость, и приучился бы радоваться при мысли, что он еврей; и тогда все неприятности еврейского существования показались бы ему гораздо легче, по-

тому что терпеть неприятности за нечто любимое гораздо легче, нежели за нечто ненавистное или почти ненавистное. Но еврей, воспитанный по-теперешнему, совершенно не знает величавой перспективы еврейской истории, а знает только сегодняшний момент и свой уголок — Пружаны или Голту, — и ни в этом моменте, ни в этом уголке нет, конечно, ничего величавого, а есть зато много забитого и приниженного. По этому образцу он знакомится с еврейством и вне этого образца ничего не знает о еврействе; и у него создается очень жалкое и тяжелое представление об этом еврействе, ему неприятно, что он тоже еврей, и иногда, ложась спать, он тайком думает: ах, если бы завтра утром оказалось, что все это был дурной сон, что я — не еврей! Но «завтра» приходит, и он просыпается евреем, и тащит за собой, почти с проклятиями, свое еврейство, как каледонский каторжник ядро. При каждом испытании судьбы он морщится и горько спрашивает: «Да во имя чего же наконец все это? Разве я еврей? Что такое еврей? Где-то там во Франции, в Марокко, в Румынии есть люди, которых тоже называют этим именем: разве я им брат? Я даже не знаю, сколько их, как им живет, о чем они мечтают, я не имею о них понятия, — а должен быть евреем...» И его охватывает злоба против этого имени, и он начинает употреблять его, как ругательное; и окружающие замечают все это и говорят друг другу: да как же нам не презирать его, если он сам презирает и свое племя настолько, что ничего о нем не знает, и себя самого настолько, что ругается своим собственным именем?

Мы, евреи нынешнего переходного времени, вырастаем как бы на границе двух миров. По сю сторону — еврейство, по ту сторону — русская культура. Именно русская культура, а не русский народ: народа мы почти не видим, почти не прикасаемся — даже у самых «ассимилированных» из нас почти никогда не бывает близких знакомств среди русского населения. Мы узнаем русский народ по его культуре — главным образом по его писателям, то есть по лучшим, высшим, чистейшим проявлениям русского духа. И именно потому, что быта русского мы не знаем, не знаем русской обыденщины и обывательщины, — представление о русском народе создается у нас *только* по его гениям и вождям, и картина, конечно, получается сказочно прекрасная. Не знаю, многие ли из нас любят Россию, но многие, слишком многие из нас, детей еврейского интеллигентного круга, безумно и унижительно влюблены в русскую

культуру, а через нее в весь русский мир, о котором только по этой культуре и судят. И эта влюбленность вполне естественна, потому что мир еврейский, мир по сю сторону границы не мог в их душе соперничать с обаянием «той стороны». Ибо еврейство мы, наоборот, узнаем с раннего детства не в высших его проявлениях, а именно в его обыденщине и обывательщине. Мы живем среди этого гетто и видим на каждом шагу его уродливую измелечалость, созданную веками гнета, и оно так непривлекательно, некрасиво... А того, что поистине у нас высоко и величаво, еврейской культуры — ее мы не видим. Дети простонародья кое-как еще видят ее в хедере, но там она дается в такой нелепой форме и обстановке, что полюбить ее немислимо. Дети же среднего круга и того лишены. Сплошь и рядом нет у них даже отдаленного понятия об истории еврейского народа. Они не знают о его исторической роли просветителя народов белой расы, о его несокрушимой духовной силе, которая не поддавалась никаким гонениям; они знают о еврействе только то, что видят и слышат. А что они видят? Видят они запуганного человека, видят, как его отовсюду гонят и всюду оскорбляют, и он не смеет огрызнуться. А что они слышат? Разве слышат они когда-нибудь слово «еврей», произнесенное тоном гордости и достоинства? Разве родители говорят им: помни, что ты еврей, и держи выше голову? Никогда. Дети нашего народа слышат от своих родителей слово «еврей» только с оттенками приниженности и боязни. Отпуская сына из дома на улицу, мать говорит ему: помни, что ты еврей, и иди сторонкой, чтобы никого не толкнуть... Отдавая в школу, мать говорит ему: помни, что ты еврей, и будь тише воды, ниже травы... Так поневоле связывается у него имя «еврей» с представлением о доле раба, и ни о чем больше. Он не знает еврея — он знает жида; не знает Израиля, а только Сруля; не знает гордого сирийского коня, каким был наш народ когда-то, а знает только жалкую нынешнюю «клячу». Роковым образом он узнает еврейский мир только по его изнанке — и русский мир только по его лицевой стороне. И он вырастает влюбленным во все русское унижительной любовью свинопаса к царевне. Все его сердце, его симпатии все на той стороне; но ведь он все-таки еврей по крови, и об этом никто не хочет забыть; и он несет на себе свое проклятое еврейство, как безобразный прыщ, как уродливый горб, от которого нельзя избавиться, и каждая минута его жизни отравлена этой пропастью между тем, чем бы хотелось ему быть, и что он есть на самом деле...

— Отравлена? — усомнятся многие, а про себя подумают, что чересчур уже сильно это сказано. Ибо они сами все это испытали, и было оно, действительно, весьма неприятно в иные минуты; но ведь вот они, слава Богу, живы и здоровы, едят и ходят, и ведут свои дела; значит, не так уж оно все опасно, чтобы стоило кричать об отраве. А я думаю, что здесь именно отравы, отравы всего организма. Она не приводит нас к самоубийству, потому что она затяжная, изо дня в день. Мы с нею свыкаемся, как свыкается человек со своей хромотою.

Я видел однажды хромую девочку, которая была очень весела, и, глядя на нее, я подумал: эта девочка уже свыклась и ничуть не страдает от своего недостатка. Но тогда я уловил взор ее матери, устремленный на нее, и мне стало страшно больно. Я понял, что мать лучше меня читала в душе этого ребенка и видела ясно, как на самом дне этой души, даже в минуту хохота и резвости, таилась и теплилась какая-то искорка обиды за свое убожество. И мать понимала, что никогда не погаснет та искорка, и девочка пронесет ее с собой через всю жизнь, и как бы она звонко ни хохотала, как бы шибко ни выучилась бегать, все-таки вечно будет она чувствовать себя на крохотный волосок ниже других, потому что они как все люди, а у нее хромая нога. Так будет насквозь отравлена вся ее жизнь, и никогда не узнает она ни в чем полного счастья в той мере, в какой оно доступно другим людям, потому что она ниже их. Мать это понимала, и во взоре ее был траур по этой девочке.

Если есть у нас чуткие матери, то и они должны тосковать о нашей судьбе, потому что драма хромой девочки, режвящейся рядом с другими детьми и все-таки хромой, есть драма еврея, влюбленного в чуждую культуру, и все-таки еврея. Со стороны покажется, будто он рад и весел и забыл о своем уродстве; но кто умеет заглянуть в глубь души, тот и в самые счастливые минуты найдет на дне ее вечно болезненную точку обиды. Он может свыкнуться со своим горбом, но не может забыть. И потому вся жизнь его отравлена, и никогда и ни в чем он не будет переживать ее так же свободно и полновесно, как другие, ибо вечно, самому себе наперекор, будет себя чувствовать на волосок ниже других...

Я вспоминаю один случай. Мы в одном городе Юга ждали как-то погрома. Я был в числе дозорных и обходил с двумя товарищами базары — понаблюдать, не начинается ли где-нибудь беда. При этом, проходя среди русской толпы, мы инстинктивно

старались придавать себе «русское» выражение лица и говорить с московским акцентом. Мне кажется, что не из трусости и даже не из каких-либо особенных конспиративных соображений, а чисто по инстинкту: мы бессознательно чувствовали, что теперь удобнее стушевать наше еврейство и не привлекать внимания. На одном из базаров, где было много народу, мне бросился в глаза старый еврей, в пейзах и долгополом кафтане. Он пробирался среди толпы осторожно, и по лицу его чувствовалось, что он понимает опасность и боится. Но мне при взгляде на него пришло в голову, что он хоть и боится, а не делает и не может сделать попытки затушевать свои еврейские признаки. Он знает, что внешность его бросается в глаза и привлекает внимание враждебной толпы, но ему даже не могло прийти в голову, что следовало бы не казаться евреем. Он от малых лет сроднился с мыслью, что он — еврей и *должен* быть евреем, и теперь не мог бы даже вообразить, как это он да станет непохож на еврея, хотя бы и в минуту крайней опасности. Оттого он, который боялся, чувствовал себя в эту минуту внутренне свободнее нас, которые, может быть, не боялись в простом смысле этого слова, но все-таки инстинктивно прятали то, что он выставлял напоказ. Ибо мы от малых лет сроднились с мыслью, что мы, правда, евреи, но *не должны* быть евреями. Он — божиею милостью еврей; мы — осужденные на вечное еврейство.

Я, вероятно, очень бледно и невразумительно рассказал все эти переживания, потому что говорю по отдаленным воспоминаниям. Для нас (я говорю о людях моего политического лагеря) уже давно прошла пора, когда мы так чувствовали. Мы подошли к еврейству и взгляделись в него, и нашли в нем столько величия и красоты, что под их обаянием душа выпрямилась, подняла голову и ощутила до глубины всю гордость сознания: «я еврей». Так же невольно, как мы прежде смотрели на ту сторону униженно-влюбленными глазами, так же невольно смотрим мы теперь и на «ту», и на все другие стороны глазами равного на равного — даже, быть может, глазами высшего на младшего. Мы переродились, потому что прежде мы терпели свое еврейство поневоле, а теперь мы им горды, мы ему радуемся, как радуется женщина своей красоте.

На Западе есть поговорка: *aus der Not eine Tugend*. По-русски это значит: возводить необходимость в добродетель, в заслугу. Эта поговорка насмешливая, но в основе ее лежит верно

подмеченный психологический факт: человеку становится легче, если он aus der Not сделает себе eine Tugend, — если тем, за что его преследуют, сам он будет гордиться, а не гнушаться. И если мы хотим, чтобы нашим детям было легче, если хотим избавить их от той драмы хромого, которую пережили сами, то мы должны воспитать их так, чтобы сознание своего племени было для них не неволей, а радостью и гордостью. Но для этого надо с первых лет очаровать их той величавой красотой, которую мы, их старшие братья, узнали так поздно, уже в мучительном переломе юности. Надо поверх нашей мизерной обыденщины, поверх согбенной спины жалкого Сруля показать им Израиля, его царственный дух во всем его могуществе, его трагическую историю во всем ее грандиозном великолепии. Только это исцелит нашу душу.

Мы должны честно вдуматься во все это, ибо так больше жить нельзя. Мы стоим перед огромной задачей, потому что почти ежедневно прибывают новые рекруты культуры из нашего племени, и мы должны спасти их от той внутренней горечи, которую так обильно и сытно испытали сами. Мы должны дать подрастающим поколениям гуманитарную культуру, но мы должны прежде всего гарантировать еврею мир с самим собою и уважение к самому себе. Мы прежде всего должны дать ему летопись нашей народности, чтобы он хорошо вник в то, как она жила с первых дней пути своего, сколько мощи проявила, сколько послужила братьям-иноплеменникам, чтобы он мог радостно улыбнуться, приосаниться и полюбить ее. Но эта летопись огромна, обширнее истории всякого другого народа, потому что древнее и потому что вторая половина ее разбита на отдельные поэмы скитания во многих чужбинах. Он должен узнать всю эту книгу книг, должен узнать о настоящем быте своих соплеменников иного подданства столько же, сколько о прошлом величии Иерусалима, чтобы чувствовать истинное братство. Он должен знать и прошлое, и нынешнее духовное творчество нашего племени, и не должны родные писатели оставаться для него неизвестными именами. Все это не может быть изучено между прочим; весь этот огромный материал требует огромного внимания; оттого ему должна быть отведена главная роль, ради него должно слегка потесниться, если нужно, все прочее, а не наоборот: наука об еврействе должна стать для нас центром науки.

Наша главная болезнь — самопрезрение, наша главная нужда — развить самоуважение: значит, основой нашего народного воспитания должно быть отныне самопознание. Так воспитывается на земле всякий здоровый народ, всякая нормальная личность.

Вам часто, вероятно, говорят, что быть сторонником национализации воспитания значит быть сионистом, и я знаю, что многих этот довод пугает. Но это ошибка. Здесь спор идет не между сионистом и несионистом: спор гораздо глубже. На одной стороне стоят те, кто, сознательно или бессознательно, потеряли надежду или желание сохранить еврейство неприкосновенным и ведут его к исчезновению со сцены; на другой те, которые ко дню будущего международного братства хотят сберечь живым и того брата, имя которому Израиль, и сберегут его — во что бы то ни стало.

Дело не в споре партии и партии: здесь спорят между собой тенденция жизни и тенденция смерти.

Этим решается и вопрос о «древне»-еврейском языке. Сегодня и здесь я не намерен говорить о нем как о языке преподавания: это вопрос совсем особый, очень сложный и спорный. Я рассматриваю сейчас еврейский язык лишь как *предмет* преподавания и хочу в этом смысле определить его место и роль. Мне кажется возможным сделать это в немногих строках, ибо после всего, что выше сказано, сам собой напрашивается вывод: несомненно, что при таком перенесении воспитательного центра тяжести на самопознавание — еврейский язык совершенно неизбежно и естественно становится *главным орудием* воспитания.

Когда человек интересуется французской литературой, он прежде всего изучает французский язык, а не полагается на переводы. Но мы ведь не просто «интересуемся», для нас это не есть вопрос любознательности — для нас вопрос идет об исцелении и перерождении исковерканной еврейской души, и еврейская культура стала для нас прибежищем единственного спасения. На ее изучении должны мы построить всю нашу новую систему воспитания, и начать волей-неволей придется с того наречия, на котором записаны все творения израильского духа. Наш язык — это порог, мимо которого нет доступа в школу национального воспитания, а проникнуть в эту школу стало для нас вопросом жизни или смерти.

Нас упрекают в мечтательстве и романтизме, нам говорят, будто мы ведем свою национальную проповедь из какой-то эстетической прихоти — потому, что нам *нравится* еврейская культура и еврейский язык. Да, не спорю, нравится, но не в том дело. Если бы еврейская культура была еще ниже клевет Люто-станского, если бы еврейский язык был хуже скрипа немазаной телеги, то и тогда возвращение к *этой* культуре через посредство *этого* языка было бы для нас совершенно непреодолимой реальной потребностью, от неудовлетворения которой мы реально страдаем, — было бы властной исторической необходимостью. Нас национализирует сама история, и тех, кто ей противится, она тоже рано или поздно повлечет за собой. Но они поплетутся тогда за ней в хвосте, как связанные пленники за колесницей покорителя. Благо тому, кто вовремя поймет ее дух и пойдет в первых рядах ее победоносного течения.

И первым из первых должен пойти тот, в чьей власти душа народа — народный учитель.

Владимир Жаботинский

Одесские новости. 2.11.1903

Печатается позднейший вариант по сборнику «Фельетоны» (СПб., 1913)



Вскользь

АНТИСОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Рим, 10 октября

В Италии теперь много пишут и говорят о двух преступлениях, о которых, собственно, следовало бы рассказать очень подробно, потому что они сами по себе полны интереса.

Но не имея времени заняться пространным изложением, я ограничусь здесь только тем, что мне нужно для одного вывода.

Первое из этих преступлений — процесс об убийстве графа Бонмартини в Болонье.

По этому делу преданы суду жена убитого, Теодолинда, брат ее Туллио Мурри, любовник доктор Секки и другие лица.

Теодолинда — сокращенно Линда — еще девушкой познакомилась с доктором Секки и влюбилась в него.

Родители ее отказали тогда Секки от дома.

Потом Линда вышла за Франческо Бонмартини, вышла по любви.

От этого брака родились двое или трое детей, но отношения между Бонмартини и Линдой стали портиться.

Линда жаловалась на невыносимый характер мужа, на упрёки и унижения; она разлюбила его и, встретившись снова с доктором Секки, стала его любовницей.

В конце концов супруги разъехались.

Во все подробности этих неладов был посвящен брат Линды Туллио Мурри.

Между Линдой и Туллио существовала глубокая привязанность. Судебный следователь называет эту привязанность «почти болезненной», но есть основания думать, что это мнение — просто плод нечистого воображения, которым немного страдают все итальянцы.

На деле, по-видимому, дружба между братом и сестрой отличалась только своей силой; и эта необычайно сильная дружба вполне объяснялась тем, что у брата и сестры было много общего.

Обыкновенно девушки в Италии растут неразвитыми и почти невежественными; Линда Мурри, дочь знаменитого в Италии профессора-клинициста, была воспитана иначе. Не удивительно поэтому, что у нее с братом оказалось больше точек духовного соприкосновения, чем зауряд в итальянских семьях.

Заурядная итальянская девица, поступив к мужу, становится мужней женой и забывает о брате, друге своего детства, именно потому, что у нее с братом никогда не было ничего общего. Итальянцы к этому привыкли и полагают, что так и надо, сказано бо есть, жена да прилепится...

Но Линда Мурри и замужем сохранила любовь к брату, потому что эта любовь была основана на близости вкусов и взглядов; а судебный следователь, типичный итальянец и в придачу клерикал, натолкнувшись на такую непривычную прочность братской привязанности, не мог не решить, что дело нечисто...

Дело было чисто, дружба Линды и Туллио, без сомнения, не имела в своей основе ничего грязного; но это не исключает того факта, что оба они были существа если не развращенные, то испорченные, и большая часть их переписки вертится вокруг приключений брата, о которых он писал сестре в самых откровенных выражениях. Это, несомненно, больше всего поразило нечистое воображение следователя и привело его к глубокомысленному подозрению о небезгрешности братских отношений,

хотя логически ясно, что, будь Линда его дамой сердца, Туллио не стал бы ей рассказывать о своих похождениях с другими дамами.

И еще довод: если бы в отношениях брата и сестры была хоть искра нездорового чувства, Туллио вряд ли стал бы покровительствовать роману Линды и Секки. А между тем тот же следователь установил, что Туллио покровительствовал.

Все эти соображения очень важны, ибо они доказывают, что в любви Туллио к Линде не было ничего ненормального, а была простая братская привязанность, только укрепленная духовной близостью и потому особенно сильная, то есть именно такая, какой должна быть настоящая привязанность между братом и сестрой.

И, таким образом, то, что потом произошло, является следствием не болезненного или уродливого явления недозволенной любви между братом и сестрой, а, напротив, следствием самого нормального положения вещей.

Произошло же то, что Туллио задумал убить Бонмартини и для этой цели приобрел с помощью доктора Секки модный яд кураре; но отравление не удалось, и Туллио убил графа кинжалом.

Убивая графа, он, конечно, рассчитывал, во-первых, не попасться; во-вторых — освободить сестру от человека, делавшего ее жизнь невыносимой, и дать ей возможность окончательно сойтись или обвенчаться с доктором Секки.

Но эти мотивы не так интересны, как другие, внутренние, для многих, может быть, незаметные.

Из всего, что можно прочесть в газетах об этом деле, ярко выступает наружу один факт: муж Линды терпеть не мог ее родных, ее родные терпеть не могли ее мужа.

Одна из причин постоянных размолвок графа и графини была именно та, что Бонмартини любил бранить перед женой ее отца, знаменитого профессора, и мать, умную и всеми уважаемую женщину.

Семья Мурри платила ему тем же. Впрочем, отец и мать в письмах к дочери очень сдержанны; но из других данных известно, что профессор и его жена были сильно восстановлены против Бонмартини.

Но любопытнее всего ненависть к нему Туллио.

Ни в письмах к сестре, ни в беседах с близкими лицами Туллио не скрывал вражды, которая охватывала его при одном имени графа.

Туллио не выносил этого человека, ненавидел его той придирчивой ненавистью, которая всегда ждет повода для вспышки и страдает, если повода нет.

Убийство, собственно говоря, является недостаточно мотивированным. После разлуки супруги как раз тогда примирились и съехались, но граф непременно хотел увезти жену куда-то в Пистойю, а она была в отчаянии, ибо в Пистойе боялась умереть от скуки и тоски. Это все очень тяжело, но разве это само по себе может привести к убийству? Проще и безопаснее было бы посоветовать Линде опять разъехаться с мужем.

Для того чтобы предпочесть этому исходу сложное и рискованное убийство, надо было, без сомнения, преувеличить ужас положения, видеть все обстоятельства в особенно черном освещении, сквозь особые очки — очки ненависти; надо было внутри себя чувствовать то побуждение к убийству, которое не могло прямо вытекать из обстоятельств. Это преступление почти необъяснимо, если мы не допустим в качестве одного из главных мотивов — ненависти Туллио к Бонмартини.

Что это за ненависть? Откуда она взялась? Ни следовательно, ни — вслед за ним — газеты не стараются вникнуть в эту подробность дела, не понимая, что она именно главная, и не представляют по этому вопросу никаких прямых данных.

Попробуем сами от себя восстановить генезис этого чувства.

Туллио и Линда, брат и сестра, вырастают под одной кровлей, почти однолетки, оба одинаково умные и развитые. Связанные общими вкусами, они живут в тесной дружбе; и так как Линда хороша собой, эта дружба принимает утонченный, романтический оттенок: у красивых сестер всегда рыцарски услужливые братья, которые даже любят невольно и невинно щеголять этой услужливостью.

В Италии, даже при желании дать девушке широкое образование, неизбежны пробелы, потому что дело женского просвещения здесь сильно отстало. Такие пробелы, несомненно, были и в развитии Линды; но, как умная подруга своего брата, она не могла не пополнять их, заимствуя у него. Иными словами, при этих условиях Туллио не мог не быть отчасти «учителем» Линды. Можно предположить, что его «уроки» касались и вещей порочных, но не только их. Туллио всегда был юношей широких интересов, писал стихи: его беседы с подругой-сестрой не могли не касаться часто этих более возвышенных предметов.

Таким образом, брат был другом, рыцарем и немножко учителем хорошенькой и умной сверстницы-сестры. Все знают, насколько сильно такой подбор отношений укрепляет взаимную привязанность.

К тому же у профессора Мурри не было других детей. Тулио и Линда могли жить почти друг для друга, как на необитаемом острове.

При таких условиях, когда на острове является третье лицо и предъявляет права на одного из друзей, для другого это не может не быть жгучим ударом. Здесь совсем не нужно, чтобы привязанность была «болезненной». Десятки любящих братьев, сестер, матерей знают это естественное чувство не то ревности, не то обиды, когда между вами и существом, для которого до сих пор вы были самым близким человеком, становится новый властелин, и вы видите, что ваша сестра, или ребенок, или брат любит этого нового властелина и эгоистически велит вам отодвинуться на второй план.

Оттого, пока существует семья, будут существовать нелады между зятем и тещей; и чем больше была любовь и близость между матерью и дочерью, — *то есть чем ближе к идеалу были отношения матери и дочери*, — тем горше будет матери уступить свое место чужому человеку и тем труднее будет с ним ладить.

Но я думаю, что для брата эта «измена» иногда горше, чем для матери, и тому много причин.

Прежде всего, брат — мужчина. Чистота братского чувства не мешает ему находить приятность в красоте сестры и с особенным удовольствием чувствовать себя ее любимым и единственным рыцарем. Вдруг увидеть себя оттесненным другим мужчиной — это всегда будет обидно для мужской гордости брата, пока существует семья; и, опять-таки, чем теснее и рыцарственнее дружба между братом и сестрой, тем обиднее перемена; то есть чем лучше, тем хуже. Но прибавьте еще к этой оскорбленной мужской гордости то, что всякому хорошему брату сестра кажется чистым и неприкосновенным созданием, и поэтому мысль, что новый чужой человек может теперь сажать ее к себе на колени и щекотать, как будто какую-нибудь обыкновенную женщину, и, главное, что она сама не только не оскорбится, но будет радостно смеяться и отвечать на ласки, — эту мысль трудно проглотить.

Во-вторых, мать сама уже пережила то, что переживает дочь-невеста, и не может претендовать, не может не чувствовать, что все это в порядке вещей; тогда как для брата «измена» сестры совершенно внове и оттого ничем не смягчена.

В-третьих, мать гораздо больше брата озабочена будущим дочери, «хорошей партией», и ради «партии» она мирится с горечью отступления на второй план. Для юноши-брата эта необходимость «партии» далеко не так осязаема, чтобы притупить остроту обиды.

Только в одном случае легко притупляется эта обида: когда и брат женится по любви. «Измена» за «измену», так сказать, квиты.

Но Туллио не был женат и даже не был ни в кого влюблен; а его дружба с сестрой была — вспомним это — дружба особенно выдающаяся по силе благодаря равенству лет, ума, развития, вкусов и отсутствию других братьев и сестер.

На сто читателей пятьдесят, вспоминая свои впечатления в аналогичных случаях, согласятся теперь, без сомнения, что было бы странно, если бы при всех этих условиях Туллио Мурри не почувствовал сразу мучительной антипатии к графу Бонмартини, который отнял у него красивую, интересную, любимую подругу-сестру и обратил ее в свою законную сожительницу.

И больше скажу. Бонмартини мог оказаться прекрасным мужем: брат и тогда еще долго бы не мог залечить в сердце ранку досады против него, ибо главная причина раздражения против нового чужого человека не в том случайном факте, что он скверно обращается, а в том основном и совершенно естественном и необходимом обстоятельстве, что он, во-первых, отгеснил вас, прежнего единственного друга, на задний план и, во-вторых, прикоснулся плотскими прикосновениями к той девушке, которая для вас была чиста и недосыгаема.

Как бы ни был новый человек деликатен и с вашей сестрой, и с вами, вы долго еще не простите ему факта вторжения на ваш необитаемый остров и за каждую мелочь будете вспыхивать, как от большого оскорбления, и мысленно придирайтесь к этому *intrus*¹ и скрежетать на него зубами.

Но когда этот человек еще в придачу оказывается грубым и невыносимым, тогда вы не можете не испытать некоторого странного и злобного удовольствия, ибо всегда приятно найти

¹ Чужак (*фр.*).

объективное оправдание своей враждебности; и тогда эта враждебность, долго подавленная, вырывается на волю, расправляет свои крылья, пьянеет от сознания своей правоты и свободы, рвется на врага и уже не рассуждает, не соразмеряет, лишь бы только насытиться.

Из этого настроения, конечно, не всегда рождаются преступления, и даже очень редко, потому что в наше время вообще очень редко настроение претворяется в дело. Но когда прорывается наружу такой случай, как убийство графа Бонмартини братом его жены, тогда не мешает вникнуть в это настроение и понять, что оно совершенно естественно вытекает из своеобразного чувства *родственной ревности*, а родственная ревность, нормальное последствие нормальной любви и дружбы внутри семьи, будет существовать, пока существует семья в современном ее виде.

А теперь о другом преступлении...

Впрочем, об этом завтра.

Altalena

Одесские новости. 2.11.1903



Вскользь

АНТИСОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Рим, 11 октября

Итак, о втором преступлении*.

Впрочем, еще неведомо, настоящее ли это преступление или только мистификация, поэтому я изложу его суть без подробностей.

В Риме недавно пропала без вести синьора Антониетта Розада. Когда полиция стала усиленно разыскивать ее, многие пришли к подозрению, что убийцей мог быть сын этой дамы, адвокат Джулио Розада. Как бы в подтверждение этого слуха Джулио Розада вдруг тоже скрылся, а теперь из мрака неизвестности время от времени посылает сенсационные письма в разные редакции, протестуя против инсинуаций, которые заставили его бежать и скрываться до выяснения истины.

* См. вчерашний номер «Одесских новостей».

В этом деле есть странности, важнейшей из которых, без сомнения, является написанный Джулио роман под заглавием «Наука преступления». Этот роман до сих пор не был нигде напечатан, но Джулио Розада, очевидно, много поработал над ним. Все свидетельские показания о характере и образе жизни беглеца упоминают об этом романе как об одной из главных забот Джулио, об одном из центров его существования. Джулио — человек сильной воли, сумевший закалить себя физически и нравственно, выработавший из себя неутомимого спортсмена и неутомимого труженика; чтобы изучить обстановку своего романа, он предпринимал зимою, один, опасные путешествия по Апеннинам и неустанно шлифовал, исправлял, дополнял свое произведение, множество раз перечеркивая целые главы и сочиняя заново. Любопытно, что при всем том Джулио не носит с этим романом, как дурень с торбою; напротив, только двум-трем из близких лиц он дал его прочесть, а от остальных ревниво и сурово берег свое детище. Словом, это была серьезная и солидная работа.

Странность заключается в том, что содержание романа вращается вокруг убийства, похожего на то, в котором теперь подзревается автор. Джулио Розада задался целью доказать, что существует особая «наука преступления», а кто ее постиг, может безопасно совершать какое угодно злодеяние; но для того чтобы постигнуть ее, надо быть человеком развитым и умным. И вот его герой, придя к сознанию необходимости убить своего дядю, чтобы воспользоваться наследством и жениться на своей возлюбленной, убивает его, разрезает на куски, умывается, укладывает дядю в коробку и бросает ее в Тибр. Газета «Тribuna» выпросила у судебного следователя главу романа, где описано убийство: описание сделано с большой протокольной точностью и читается не без отвращения.

Предполагается, что Розада убил свою мать не совсем так, как описано в романе: без операции рассечения на куски, и не утопил ее в Тибре, а закопал в заброшенном подземном лабиринте Пропавших Духов за городом, где копают глину для построек. Тем не менее аналогия между романом и действительностью бросается в глаза; и тут и там убийство близкого родственника, и тут и там холодная, рассудительная, обдуманная подготовка преступления, наконец, и тут и там одна и та же цель: женитьба. Дело в том, что мать Джулио противилась его браку с девицей Паолони, и когда мать исчезла, Джулио женил-

ся. Все эти совпадения наводят многих на мысль, что тут не без обмана. «Giornale d'Italia» пустил даже такую догадку: не есть ли вся эта история остроумная американская реклама для романа Джулио, не дурачат ли оба вместе — и мать, и сын — почтеннейшую публику и полицию, не явятся ли они в один прекрасный день под руку в контору книгоиздательства Тревес или Сонцоньо с предложением издать «Науку преступления», о которой теперь столько говорят?

Это предположение, конечно, преувеличено; во всяком случае, однако, факт матереубийства еще не установлен. Но публика сразу ухватилась за первое подозрение и до сих пор уверена, что убийца синьоры Антониетти есть именно Джулио. Это значит, что общественное мнение, ознакомившись с обстоятельствами дела, находит в таком предположении самую *существенную* разгадку загадочного исчезновения. Это значит, что общественное мнение признает вполне возможным возникновение такого преступления при данных обстоятельствах. Таким образом, для нас уже не особенно важно, произошло ли преступление на самом деле или нет; важно то, что, по всеобщему мнению, оно *могло* произойти, т. е., что в общественном настроении есть те элементы, из которых может возникнуть, при наличии известных поводов, такая крайность, как убийство собственной матери.

В чем же заключаются эти «поводы»?

Антониетта Розада была вдова, Джулио был ее единственным сыном. По данным следствия, печатающимся в газетах, ее любовь к сыну не имела границ. Она жила его жизнью, его радостями и огорчениями. Пресловутым романом «Наука преступления» она дорожила чуть ли не более, чем сам автор. Любовь ее к Джулио была такова, что и здесь, по обыкновению, кто-то попытался усмотреть «нечто болезненное»; но так как эта грязная гипотеза уже успела надоесть в процессе Бонмартини, здесь ей никто не придал веры.

Таким образом, перед нами вполне нормальное явление: мать, беззаветно влюбленная в своего единственного сына.

Что следует из этого вполне нормального явления?

Сын влюбляется в девицу Паолони. Эта девица, вероятно, очень славная барышня, но, судя по тому, что она портниха, надо предположить, что в умственном отношении она ниже синьоры Антониетты, которая когда-то выпустила даже книжечку собственных стихотворений.

Эта барышня-портниха — новый чужой человек — становится между матерью и сыном.

В матери заговаривает материнская ревность: жить для сына, жизнью сына, быть его единственной подругой — и вдруг уступить свое место новой чужой женщине!

Сын, конечно, стоит за новую чужую женщину, в которую он влюблен.

Мать изо всех сил препятствует браку, может быть, считая, что портниха не пара литератору.

Сын, прежде отвечавший матери одинаковой любовью, начинает быстро охладевать к ней и через некоторое время прямо уже не выносит ее.

Таков план происшествия, судя по данным.

Убил ли Джулио свою мать, или она сама себя убила, или просто скрылась и т. д., — все это не важно, — раз голос общественного мнения настойчиво доказывает, что такая ситуация может привести к матереубийству. Vox populi¹, таким образом, объявляет эту ситуацию опасной, могущей привести к преступным последствиям.

В чем же состоит эта опасная ситуация? В ряду самых нормальных явлений — в том, что между матерью и сыном существовали именно те отношения, какие должны существовать, и в том, что сын полюбил женщину.

Мать почувствовала себя горько обиженной и стала бороться; сын стал враждебно относиться к матери и так далее. И все эти безусловно ненормальные феномены явились логическим последствием вполне нормальных отношений, которые будут существовать, пока существует семья...

Один здешний женатый знакомый признался мне:

— Знаете ли, я не люблю гостей. Я охотно готов пригласить человека к обеду, но мне всегда неприятно то, что этот гость берет себе не только суп, жаркое и сладкое, но и многое остальное, чего я ему не предлагал: частицу атмосферы моего домашнего очага. Я устроил себе уютный уголок, где живем ладно и мирно я, моя жена и сестра жены. Когда мы втроем, нам уютно и спокойно. Когда приходит новый человек, будь это лучший друг, нам не по себе; я, по крайней мере, сейчас же прихожу в дурное настроение. И это вовсе не есть обыкновенная

¹ Глас народа (лат.).

ревность, потому что мне одинаково неприятно и присутствие чужой женщины. Дело просто в том, что семья создана сама для себя, а чужие люди в ней помеха.

— Я заметил давно эту недоступность итальянского семейного очага, — сказал я ему, — но вижу в этом свойство только итальянской семьи, а не семьи вообще. В России, например, есть, напротив, тенденции к хлебосольному раскрытию семейных дверей настежь...

— Это ничего не значит, — возразил мой собеседник. — В глубине души и русские, я убежден, чувствуют некоторое *malaise*¹ от этого вторжения чужих, потому что присутствие чужих есть отрицание принципа семьи. Семья должна быть эгоистична. Семья, лишенная эгоизма, спокойно терпящая присутствие чужих, этим самым упадком чувствительности доказывает свое разложение, свое стремление к исчезновению...

Я не берусь судить, насколько прав он был в этом последнем выводе, но в одном он, несомненно, был прав — в том, что семья *не может* не быть эгоистична.

Семья должна быть построена на эгоизме, так, чтобы даже недолгое присутствие чужого раздражало и портило ее гармонию; и чем семья крепче и сплоченнее, тем сильнее должен быть ее эгоизм.

Но в то же время семья поминутно обречена подвергаться бесконечному вторжению чужих людей, ибо сыновьям нужны жены, а дочерям мужья.

И уже эти люди вторгаются не мимолетно, а плотно и раз навсегда.

И оттого сплошь и рядом они неминуемо вызывают в членах старой семьи раздражение против себя; и чем эта старая семья была плотнее и дружнее, тем раздражение ближе к настоящей ненависти, которая, в исключительных случаях, приводит даже к преступлению.

Так возникновение новой семьи должно всегда быть ударом и скорбью для старой семьи. Так всякое новое торжество принципа семьи есть отрицание самого этого принципа, ибо совершается наперекор тому чувству семейной *ревности*, без которого немислимо существование настоящей семьи.

¹ Недомогание, дискомфорт (*фр.*).

Так учреждение семьи, постоянно возобновляясь, постоянно само себя отрицает, ярко доказывая, что вся его сущность, пропитанная эгоизмом, прямо враждебна принципу общности и братства, которым принадлежит будущее.

Altalena

Одесские новости. 3.11.1903



Для будущих студентов

Белград, 4 ноября

В Риме я получил четыре или пять писем из разных мест юга России: молодые люди расспрашивали в этих письмах об итальянских университетах, выказывая желание поехать учиться в Италию.

Я им на письма не ответил.

Дело в том, что еще в Одессе, в разное время, я получил таких писем около пятидесяти и на все точно ответил; кроме того, иные господа приходили ко мне лично, и я старался дать им все нужные объяснения.

Тем не менее, из всех этих лиц ни одно не поехало в Италию, а многие, я уверен, отправились по старой торной дорожке в немецкие, швейцарские и австрийские университеты.

В немецких, швейцарских и австрийских университетах туземное студенчество презирает приезжих из России, гнушается их обществом и называет студенток развратницами — тех самых студенток, которые ради учения живут пять лет впроголодь и у которых три четверти немецких, швейцарских и австрийских женщин недостойны служить судомойками.

Но, несмотря на все пощечины и плевки, барышни и молодые люди из России все-таки считают вполне удобным набиваться в эти университеты, вызывая со стороны туземцев раздражение и гонения.

И даже те, у которых мелькнула мысль об Италии, тоже в конце концов решают:

— Бог с ней, с этой Италией. Никто туда не ездит, как же я-то вдруг поеду? И потом язык...

И вот, не желая потратить два месяца на ознакомление с самым легким из европейских языков, они, помечтав об Италии, кончают опять-таки неметчиной.

Убедившись в этом, я перестал отвечать на письма с запросами об итальянских университетах: надоело.

Я просто сказал себе:
— Вольному воля.

И даже не нашел в этом всем ничего странного, ибо давно уже убедился, что в наши дни нет ни на копейку чувства собственного достоинства именно у тех, кому следовало бы служить очагом и образцом этого чувства, подавая пример всем приниженным и смиренным.

Таким образом, на четыре или пять писем, полученных мною в Риме, я не ответил.

Тем не менее они опять напомнили мне, что как-никак, а в России многие подумывают об итальянских университетах.

Это значит, что — хотя на решения духу не хватает — многие чувствуют, что в неметчине, в конце концов, становится невозможно.

Говорю «многие», ибо хорошо знаю, что на одно письмо всегда приходится десять человек, собиравшихся написать, да так и не собравшихся по свойственной русскоподданному человеку халатности; а я, повторяю, в общем получил свыше 50 писем по этому поводу.

Да иначе и невозможно — иначе надо было бы предположить, что эти молодые люди слепы и глухи и не имеют понятия о том, что вытворяют немецкие и швейцарские студенты против коллег из России.

Невозможно допустить, чтобы молодым людям при выборе заграничного университета не становилось противно при мысли о той атмосфере недружелюбия, которая создалась вокруг заграничных студенческих колоний, — не приходило в голову, что пора бы переменить климат.

Раз есть налицо потребность в такой «перемене климата» и только не хватает решимости, то не следует оставлять поле, не сделав всех возможных попыток, чтобы вызвать из потребности решимость.

Поэтому я сделал еще одну такую попытку и в течение последних дней перед отъездом переговорил с некоторыми наиболее авторитетными и компетентными в этом деле лицами.

Ниже даю отчет об этих беседах; но прежде приведу несколько цифровых данных.

Годовая плата за право слушания лекций во всех итальянских университетах такова:

Медицина — 155 лир (франков).

Физико-математические, естественные и литературно-философские науки — 125 лир.

Инженерные науки — 165 лир.

Юридические — 220 лир.

Имматрикуляция (уплачивается раз навсегда при зачислении в студенты) — 75 лир.

Докторский экзамен (*laurea*¹) — 50 лир.

По сравнению со средней платой швейцарских и немецких университетов — эти цифры ниже или даже гораздо ниже.

Только имматрикуляция дороже, но зато докторский экзамен в Швейцарии и Германии обходится в *несколько сот франков* вместо итальянских пятидесяти.

Курс всюду 4-летний; на медицинском факультете и в инженерных институтах — 6-летний.



У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ «CORDA FRATRES»

«Corda Fratres» (по латыни — «братские сердца») есть международная студенческая федерация, цель которой — «через сближение студенчества разных стран содействовать будущему сближению и братству народов».

У этой федерации пока четыре секции: итальянская, французская, венгерская и румынская.

В Италии «Corda Fratres» насчитывает сотни членов во всех университетских городах.

Иностранец, которого рекомендует эта федерация, встретит всюду полное радушие, симпатию, содействие и ни на минуту не почувствует себя чужим.

В настоящее время председателем итальянской секции «Corda Fratres» состоит д-р А. Формидджини, студент римского университета.

Первый мой визит был к нему.

Передаю в сжатом виде нашу беседу:

— Мне хотелось бы, — сказал я, — привлечь в Италию, насколько это в моих силах, часть тех студентов обоего пола, которые поступают в заграничные университеты. Но я знаю, что немцы и швейцарцы косо смотрят на наплыв этого элемента; поэтому я хотел бы знать, как отнеслась бы итальянская студенческая среда к своим товарищам из России.

¹ Диплом об окончании университета (*итал.*).

Г-н Формидджини ответил:

— Мне почти нечего сказать на это, так как ответ сам собой ясен. Мы все будем им очень рады и постараемся, чтобы они сразу почувствовали себя среди братьев. Мы, итальянцы, вообще со всяким гостем приветливы, тем более с твоими земляками-студентами, которым всегда симпатизировали. Места у нас много, и милости просим...

Затем г-н Формидджини любезно предложил свои услуги для всяких справок, какие понадобятся эвентуальным коллегам, предлагая им обращаться (на итальянском или французском языке) прямо к нему.

Адрес пишется так: All'ergegio Signore dott. A. Formiggini, Presidente della "Corda Fratres", sezione italiana, — via Cavour № 357, Roma (Italia).

Кроме того, г-н Формидджини прислал мне письмо, из которого привожу следующие строки:

«...Мысль о привлечении студентов из России в итальянские университеты достойна всяческого одобрения.

Ты*, который провел много времени среди нас и нашел между нами близких друзей, согласишься, я думаю, свидетельствовать о сердечном гостеприимстве, свойственном итальянским студентам.

И как президент "С. F.", и как частное лицо обещаю тебе свое безусловное содействие.

Я распространю эту отрадную весть среди итальянских товарищей при посредстве журнала "Rivista Mensile della С. F.". Мы будем гордиться присутствием в наших университетах молодых иностранцев, приехавших учиться рядом с нами».



У СЕКРЕТАРЯ И У ПРЕЗИДЕНТА ОБЩЕСТВА «ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ»

Общество «Данте Алигьери» есть почти официальное учреждение Италии. Оно пользуется в Италии огромным влиянием и авторитетом. В нем принимают деятельное участие первые люди страны.

* В итальянской студенческой среде принято обращаться друг с другом на «ты».

Задача его — распространение итальянского языка и итальянской культуры за границей. Под словом «за границей», конечно, главным образом имеются в виду Трент и Триест: общество преследует, так сказать, цели духовного ирредентизма. Но и вообще ознакомление иностранцев с произведениями итальянского духовного творчества входит в программу «Данте Алигьери».

Желая переговорить с президентом центрального комитета, инженером Луиджи Рава — ныне министром земледелия, торговли и индустрии, — я обратился к секретарю комитета г-ну Маркотти.

— А, вы из Одессы, — сказал он мне. — Я как раз недавно получил из Одессы письмо от нашего члена проф. Сперандео. Он хлопочет о разрешении учредить в Одессе местный комитет «Данте Алигьери». Он уже привлек в члены нового общества несколько лиц. Позвольте...

Г-н Маркотти достал письмо г-на Сперандео и прочел несколько одесских имен, из которых я запомнил г-на Новикова *che parla benissimo l'italiano*¹.

— Г-н Сперандео не мог сделать лучшего выбора, — галантно ответил я. — Во всяком случае, очень приятно, что в одесской итальянской колонии начинают просыпаться, потому что до сих пор эта колония не проявляла никаких стараний сблизить свою *patria*² со своей *madre-patria*³. Помню, когда король был в Петербурге, в одесских газетах было высказано, что следовало бы познакомить русских с итальянской литературой и итальянцев с русской и что почин в этом деле лучше всех могли бы взять на себя одесские итальянцы.

— Что же они ответили?

— Ничего.

— Мало. Но будем надеяться, что теперь, когда будет разрешен комитет «Данте Алигьери»...

— Будем надеяться. Но пока, скажите, как бы отнеслось ваше общество к привлечению студентов из России в итальянские университеты? Ваш язык в России мало распространен — это распространит его в самой отзывчивой среде. Ваша наука в России совершенно неизвестна — это познакомит Россию с вашей наукой. Далее, эти студенты всегда народ небогатый:

¹ Который прекрасно говорит по-итальянски (*итал.*).

² Родина (*итал.*).

³ Здесь: историч. родина (*итал.*).

они охотно займутся переводами итальянских беллетристических и научных сочинений на русский язык, если только вы дадите им компетентного руководителя, знатока вашей литературы, для выбора лучших произведений. Наконец, заметьте, что в русской печати сведения из Италии появляются почти только в виде извлечений из «Neue Freie Presse». Если бы Италия стала местом стечения студентов из России, все русские газеты запестрели бы корреспонденциями из Италии...

Г-н Маркотти буквально ухватился за эту идею.

— Какой же я могу вам дать ответ, кроме того, что и наше общество, и вся Италия с радостью примет ваших земляков? Я попрошу вас изложить все это в письме, а я прочту ваше письмо в ближайшем заседании комитета. Но и до ответа комитета могу вас уверить, что общество «Данте Алигьери» со своей стороны окажет всякое возможное содействие, какое понадобится, чтобы студенты из России чувствовали себя здесь, как дома. Вы хотите увидеться с президентом? Он теперь очень занят, но, без сомнения, сейчас же примет вас, раз речь идет о таком симпатичном деле...

Заручившись письмом от г-на Маркотти, я отправился в министерство земледелия и, действительно, был сейчас же введен в кабинет министра.

Г-н Рава принял меня в высшей степени любезно и, когда я повторил ему свой разговор с г-ном Маркотти, сказал:

— Со своей стороны могу только подтвердить все то, что заявил вам наш секретарь. Мы очень рады, и ваши земляки могут рассчитывать на симпатию и содействие со стороны «Данте Алигьери». Я лично теперь по недостатку времени собираюсь отказать от председательства в центральном комитете, но если вам желательно увидеться с министром народного просвещения, это можно легко устроить...

Позволю себе обратить внимание читателя на эти обе беседы даже больше, чем на остальные. Они, безусловно, выражают истинное настроение итальянского общества.

Не говоря уже о том, что «Д. А.», как я сказал, пользуется в Италии исключительным официозным влиянием, — итальянцы вообще представляют нацию патриотическую по преимуществу. Они страстно любят свою землю, свой язык, свою литературу и необычайно тепло умеют дорожить всяким знаком внимания из-за границы.

Поэтому наплыв студентов из России был бы для них событием крупного патриотического значения. В то время как немцы только *терпят* пришельцев и то морщатся, — итальянцы не могут не быть от чистого сердца *рады* гостям издалека.

Мне кажется, что одна эта разница в настроении между немцами и итальянцами должна была бы внушить моим землякам правильное решение.



У ТОВАРИЩА¹ МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Г-н Пинкья обошелся со мной не только любезно, но и с тем милым и тонким радушием, которое делает из итальянцев самых приятных собеседников в мире.

— Не находим ли мы чего-нибудь неудобного, — переспросил он меня, — в присутствии какого угодно числа русских студентов? Да помилуйте, не только не может быть речи ни о каком неудобстве, но мы, безусловно, рады и готовы оказать всякое законное облегчение. Прежде всего, ведь у нас в Италии целых 20 университетов, места много; но вопрос о месте у нас и возникнуть не может: все университетские лекции, без исключения, считаются публичными и право свободного входа и слушания имеет всякий, даже не студент. Ясно, что о «чрезмерном наплыве» и речи быть не может...

Я выразил надежду на то, что таким путем публика в России познакомится ближе с итальянской наукой.

— Это будет для нас большой радостью, — сказал г-н Пинкья, — но я прибавлю еще одно соображение. Ведь мы тоже, к сожалению, слишком мало знакомы с работой научной мысли в России; а между тем несомненно, что именно там создается нечто самобытное и глубокое. Я надеюсь, что русские студенты, сблизившись с нашими, дадут им некоторое понятие о духовном творчестве их родины.

Я поднялся и стал благодарить, прощаясь.

— Я весь и всегда к вашим услугам в этом отношении, — заключил товарищ министра, — и как член правительства, и как простой депутат прошу вас без стеснения обращаться ко мне, как только понадобится.

Я ушел, совершенно очарованный приветливой любезностью г-на Пинкья.

¹ Заместителя.

У МИНИСТРА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Проф. Орландо, один из виднейших теоретиков государственного права, принял меня вечером того же дня и, уже предупреденный о цели моего посещения, сразу сказал мне:

— Привлечь к нашим университетам русских студентов, значит, бесспорно, оказать Италии добрую услугу. За границей слишком поверхностно знакомы с работой нашей научной мысли, а часто и вовсе не знакомы. Я не погрешу против должной скромности, если скажу, что это несправедливо; и мы не можем не быть рады всему, что клонится к исправлению этой несправедливости. Ваши земляки встретят и со стороны министерства полное доброжелательство.

— Один вопрос, — сказал я, — итальянский устав требует от иностранцев представления свидетельств, достаточных для поступления в высшее учебное заведение у них на родине.

— Женщины у нас принимаются на равных условиях с мужчинами, поэтому, представив свидетельство, достаточное в России для поступления на курсы, русская студентка может здесь поступить в университет. Но вообще, именно ввиду сложности вопроса, у нас имеется при университетах т. наз. *consiglio superiore*¹, который решает вопрос о достаточности аттестатов, представляемых иностранцами. Я убежден, что в сложных случаях, о которых вы говорите, затруднения будут истолковываться в сторону законных облегчений.

Я поблагодарил и откланялся; министр проводил меня до портьеры, повторяя:

— Мы будем очень рады.

По указаниям г-на Формидджини могут быть рекомендованы следующие университеты:

Медицина — Павия, Пиза, Неаполь, Рим.

Естественные науки — Пиза.

Математические — Турин, Рим.

Философия и литература — Флоренция (*Instituto di studi sociali*²), Неаполь, Рим.

¹ Высший совет (*итал.*).

² Институт общественных наук (*итал.*).

Юридические науки — Рим.

Инженерные — Турин, Милан, Рим.

В письмах всегда спрашивают, как дорога жизнь в Италии.

На этот вопрос трудно ответить: я знаю только Рим. Но в остальных городах всюду дешевле, чем в Риме.

В Риме же жить по-студенчески на 30 рублей можно. Комната стоит около 20 франков; можно найти и за 15. Есть чистые траптории, где можно получить суп за 15 сантимов и сытное блюдо макарон за 45 или жаркое за 60: вот и весь обед, и даже с вином — не больше франка. Топлива не надо. Воду для чая можно греть у хозяев на кухне. И так далее.

До будущей осени можно успеть не раз, а три раза выучиться итальянскому языку настолько, чтобы читать книги почти без словаря.

Я советую всем, кому это нужно, взвесить и сообразить все вышесказанное.

В немецких университетах студенты из России живут в отчуждении, как прокаженные, под сквозняком пренебрежения и недоброжелательства.

В Италии они встретят шумный, добрый и милый привет симпатичного экспансивного населения, которое не на словах, а действительно от министра до студента будет им радо и будет ценить их присутствие.

Для того чтобы затрудниться выбором, надо поистине быть самым отпетым из утопленников в болоте нерешительности.

Altalena

Одесские новости. 11.11.1903



Вскользь

Г-ну Оболенскому уже отвечено в нашей газете и редакцией, и г-ном Слово-Глаголем.

Я не стал бы опять писать о том же, ибо неудобно, по газетным условиям, трижды заговаривать об одном и том же пустяке.

Но и редакция, и г-н Слово-Глаголь, отвечая г-ну Оболенскому, имели в виду *содержание* его атаки против г-на Чуковско-го. Их возражения касались существа дела.

Я не буду касаться существа дела; меня заинтересовало не содержание, а *тон* атаки, или, точнее, одна особенность этого тона.

О ней я и хочу поговорить — коротко и сжато, сколько позволяет утомление от долгой дороги.

Не на том я хочу остановить ваше внимание, что г-н Оболенский написал о г-не Чуковском в высшей степени резкие слова.

К резкости я всегда рад отнестись легко — вероятно, потому, что сам бывал много раз этим грехом грешен и, вероятно, не раз еще буду и впредь.

Но в тоне г-на Оболенского сильно сквозит другая черта: г-н Оболенский старается говорить свысока. Коллега Кармен выразился бы, что г-н Оболенский держит фасон.

Это очень любопытно и стоит того, чтобы в это явление вникнуть.

Г-н Оболенский отвечает г-ну Чуковскому и говорит при этом свысока.

Искренен ли этот тон высокомерия?

Без сомнения, нет.

Можно быть искренне высокомерным только тогда, когда вы глубоко чувствуете, что то лицо, с которым вы говорите, ниже вас.

Для меня нет никакого сомнения в том, что г-н Оболенский не может этого чувствовать к г-ну Чуковскому.

Я, конечно, не считаю г-на Оболенского человеком особенно сознательным, но ведь есть вещи, которых нельзя не знать и не понимать.

Г-н Оболенский не может не знать о себе того, что знают о нем все другие — все те, кому известно о его существовании на земле, — то, что он, г-н Оболенский, человек не талантливый и вообще ничем не выдающийся.

Предположить, что г-н Оболенский этого не знает, значило бы обидеть его, выставить его в виде молодящейся старухи или некрасивой кокетки.

Некрасивая женщина только тогда почтенна, когда она сознает свою некрасивость и не старается быть хорошенькой. Иначе ее нельзя уважать.

Поэтому предположить, что г-н Оболенский не знает о своей неспособности, значило бы отказать ему в уважении, на которое а priori имеет право всякий человек, живущий своим ремеслом.

Я не позволил бы себе нанести ему ни за что ни про что такую обиду; поэтому я не допускаю и тени сомнения в том, что г-н Оболенский знает о своей неталантливости.

Но в таком случае, откуда же берется это высокомерие перед г-ном Чуковским?

Разве г-н Чуковский такое лицо, пред которым г-н Оболенский может чувствовать себя вправе употреблять высокомерный тон?

Это немыслимо.

Было бы, конечно, неудобно приняться здесь же за восхваление г-на Чуковского; но нет смысла опять-таки молчать о том, что ясно всякому читателю.

Ведь нельзя и спорить против того, что скорее г-н Чуковский, как человек пера и мысли, может говорить свысока о г-не Оболенском, чем сей последний о нем.

Я полагаю, что иерархии в царстве муз вообще не должно быть; но если бы она существовала, то не мог бы же г-н Оболенский рассчитывать в ней на место не то что выше г-на Чуковского, даже и рядом с ним, и это каждому в Одессе понятно без всяких разговоров.

И это опять-таки не должно ничуть обижать г-на Оболенского, ибо не может он не понимать, что так оно вполне естественно: то, что лучше и потоньше, ценится дороже, а то, что похуже и попроще, ценится дешево.

Г-н Оболенский, пожалуй, возразит на это все:

— Оно так. Свое место я знаю, но ведь я в Одессе не живу и могу не знать места г-на Чуковского.

И сошлется на свои же слова, что он, мол, не читал статей, против него направленных.

Прежде всего, что касается этого последнего заявления, то ему я не верю, и никто не верит, и, следовательно, нечего о нем и разговаривать.

Остается, значит, только то извинение, что г-н Оболенский, мол, знает г-на Чуковского только по той статье, которую г-н Чуковский посвятил именно ему, а остальной деятельности г-на Чуковского не знает и потому не мог себе составить правильного понятия о том, в каком тоне такие журналисты, как г-н Оболенский, должны разговаривать, когда стоят перед такими журналистами, как г-н Чуковский.

Этого извинения мы тоже не принимаем.

В своей атаке г-н Оболенский старается дать посильные определения всей физиономии г-на Чуковского, употребляя для этого эпитеты, которые у нас уже цитировались.

Следовательно, г-н Оболенский хочет показать, что у него составлено собственное мнение о г-не Чуковском как человеке пера.

Но для того чтобы составить себе мнение о нем, г-н Оболенский необходимо должен был ознакомиться с ним как с человеком пера.

Ведь не имеем же мы права предположить, что г-н Оболенский просто ограничился справкой о том, насколько молод или стар г-н Чуковский, и на основании одной этой справки попытался дать оценку его достоинства как журналиста.

Предположить это опять-таки значило бы обидеть г-на Оболенского.

Не желая обижать г-на Оболенского, мы не можем не прийти к убеждению, что он, прежде чем писать, хотя бы безымянно, о г-не Чуковском, ознакомился с литературной физиономией этого молодого журналиста.

Здесь г-н Оболенский, пожалуй, возразит:

— Да, я действительно постарался ознакомиться с его статьями, но они оказались слишком трудно написанными, и я не мог их понять.

Что ж, это было бы вполне естественно. Я вспоминаю, как г-н Чуковский прочитал два доклада в Литературно-художественном обществе, где среди посетителей, как известно, очень много таких людей, умственный уровень которых равен умственному уровню г-на Оболенского, — и там тоже многие говорили, что г-на Чуковского трудно понять.

Это все так; но ведь если я не в состоянии понять чужую мысль — это еще не резон для того, чтобы заговорить с автором свысока. Совсем даже напротив.

Очевидно, высокомерие г-на Оболенского неискренно, а причина его тона лежит вне всего этого.

Она — чисто случайная, чисто, так сказать, географическая. Г-н Оболенский только потому вздумал заговорить сверху вниз с человеком, стоящим выше его, что он, г-н Оболенский, столичный журналист, а мы тут провинция, и с нами нельзя «не держать фасону».

Здесь и зарыта собака.

Я, конечно, не имею права рассматривать г-на Оболенского как представителя столичной журналистики, ибо представителем ее мог бы быть только человек более или менее умный и даровитый.

Но поскольку дело касается именно тона, именно этого высокомерного оттенка, г-н Оболенский действительно отражает настроение столичных журналистов по отношению к нам, газетчикам провинции.

Обращаясь к кому бы то ни было из нас, они всегда как-то невольно упускают из виду все обычные мерки, не справляются об отдельных величинах и сразу, огулом, принимают высокомерный тон.

Это стало традицией. Далеко не в первый раз видим мы пример столичного ничтожества, третирующего свысока хороших людей провинции.

И провинциалы — надо воздать им полную справедливость — всегда в таких случаях, по недоразвитости своего самосознания, глотали подзатыльники и только старались скромно оправдаться, держа руки по швам, дабы столичная печать не гневалась и сохраняла столичную благосклонность.

Это стало традицией, и г-н Оболенский просто поступил по традиции.

Но г-ну Оболенскому, как известно, вообще не повезло в этой жизни — начать хотя бы с того, что он пошел в литераторы, — и поэтому его угораздило попасть со своим высокомерием именно в Одессу и именно в такое время, когда сей тон уже некстати и отжил свои дни.

И потому мне даже очень жаль, что здесь предо мною такая пешка, а не какой-нибудь из настоящих представителей петербургской печати, ибо тому я еще с большим удовольствием мог бы сказать, что тон свысока звучит теперь уже некстати.

Нам, работникам печати в Одессе, столичная печать не может импонировать; мы от нее не принимаем уже ни выговоров, ни милостивых одобрений и вообще в этом смысле не считаемся с нею.

Мы интересуемся ею, как равный равным, но живем совершенно автономной жизнью и не заимствуем у нее ни настроений, ни тем, ни приемов.

Служа умственным нуждам нашего района, огромного по величине и по количеству населения, мы чувствуем под собой такую почву, которая, с одной стороны, дает нам достаточный

материал для самостоятельных наблюдений и выводов, а с другой стороны, обеспечивает нам существование, и даже — если мы, конечно, окажемся на высоте наших задач — блестящее существование.

Поэтому столичная печать нам не нужна. Мы, конечно, дорожим ею, ценим ее, как ценим все живое и жизненное; мы были бы очень огорчены, если бы она вдруг, каким-либо злым чудом, исчезла; но нам и нашей одесской печати это исчезновение не могло бы ничем повредить, потому что наша печать существует совершенно независимо, ничего, кроме сведений и цитат, из столичной печати не заимствует и светит, хотя бы пока и не ярко, но из себя, а не отраженным светом.

Столичная марка для нас не может иметь никакого значения; коллега из столицы может быть нашим добрым товарищем, и мы охотно предоставим ему свои столбцы, если он интересен; но кто думает сыграть у нас роль гастролера, тот ошибается.

И не только кто-нибудь из мелочи, как в этом случае, но и действительно заслуженный член столичной печатной дружины не мог бы нам импонировать иначе, как собственным талантом, — ибо столичный штемпель не может иметь для нас никакой цены.

Altalena

Одесские новости. 13.11.1903



Вскользь

Говорят, в последний четверг в Литературно-артистическом клубе оппоненты, почти все, говорили невпопад, и очевидно было, что доклада г-на Водовозова добрые люди не поняли.

Между тем доклад был — говорят — хороший и ясно изложенный.

Нельзя таить того греха, что это у нас часто бывает.

Бывает, что самого ясного доклада не поймут, и бывает, что говорят невпопад, даже если поняли.

Это мы все знаем; и знаем также, что и те, которые говорят на четвергах, кстати, говорят по большей части все-таки не блестяще.

Сплошь и рядом завсегда и жалуются, что редко-редко услышишь замечательное слово.

Поэтому от людей, размышляющих и рассуждающих, часто приходится слышать разочарованные выводы об этих четвергах.

Находят их низкопробными и не признают за ними большого просветительного значения.

Это суждение, конечно, не всеобщее, но оно весьма распространено — и главным образом среди людей, обладающих вкусом и разборчивостью.

Но — позволю себе заметить я — не обладающих, по-видимому, достаточной объективностью.

В этих суждениях есть основная ошибка.

Та самая ошибка, в которую вообще легче и чаще всего впадают именно люди со вкусом и разборчивостью, но нетерпеливые.

Когда перед ними явление крупного размера, они судят его обычной меркой.

Говоря о крупном размере, я имею в виду количество, а не качество.

К этим явлениям нельзя подходить с той же меркой, которую мы применяем к отдельным личностям.

К отдельной личности мы подходим с вопросом:

— Каков твой ум, твои способности, твой характер?

И если ответы неудовлетворительны, мы имеем всякое право заключить:

— Ничего путного этот человек не может сделать, и большого значения за ним признать не приходится.

Но нельзя по тому же методу судить и о количественно крупных явлениях.

Нельзя отрицать боевую способность полка на том основании, что отдельные солдаты плохо сознают важность своего солдатского дела.

Эту ошибку часто делает тот легкий и дешевый скептицизм, который теперь всюду в большой моде.

Подходя к большому явлению, скептик вооружается микроскопом и рассматривает отдельных человечков.

Человечки оказываются как все человечки, т. е. один хуже другого.

И скептик потом говорит вам:

— Да стоит ли считаться с этим явлением, как с чем-то путным? Если бы вы знали, какие там отдельные личности — каждой грош медный цена...

За границей нередко встречаются даровитые люди, открывающиеся от политической и общественной жизни.

Они могли бы стать полезными законодателями или членами правительств, а они с гримасой говорят:

— Подальше от господ политиков! Слишком уж они тупы и неприятны. Свободный человек не должен вмешиваться в этот рынок.

Явная ошибка. Из-за того, что люди, состязающиеся там на политической почве, более или менее плохи каждый в отдельности, делается произвольный вывод, будто и целое, то есть вся политическая жизнь страны, представляет из себя нечто рыночное и для высокопробного человека неподобающее.

В истории есть грандиозные события, при воспоминании о которых у потомков подымается голова и выпрямляется грудь. Эти события были торжеством правды над кривдой, и участники этих событий являются для нас рыцарями и героями.

А между тем я уверен, что любой из нас, если бы жил в те дни и мог тогда потолкаться среди толпы, послушать ораторов и познакомиться с участниками, имел бы полное право сморщиться в гримасу и сказать:

— Каждому из этих людей грош медный цена!

Секрет очень прост: люди всегда люди; среднему человеку, т. е. именно такому, который образует подавляющее большинство, всегда грош цена; только исключения бывают выдающимися людьми.

Поэтому, куда бы вы ни шли, если только вы там должны увидеть большое количество людей, будьте уверены, что все они окажутся посредственностями.

Таково правило, *никогда* не нарушающееся, незыблемое для всех собраний, съездов, конгрессов, парламентов, обществ.

Войско может быть набрано только из посредственностей. Выдающиеся личности могут быть в виде исключений — это железный устав людского общежития.

Степень талантливости не поддается точному учету отметками, но если бы учет был возможен, то я глубоко убежден, что уровень личной талантливости оказался бы во всех массовых явлениях одинаково низок, без всякого различия между явлениями действительно крупными и между неважными и незначительными.

Говорят, что горы Швейцарии красивы. Но станьте на склонах Юнгфрау и наклонитесь к почве: вы увидите серый и жесткий камень или грязную глину. Разве это красиво?

Надо смотреть *издали* на гору Юнгфрау. Тогда только вы увидите ее всю и поймете красоту.

Кто подходит к массовому явлению близко, тот увидит много ничтожных пешек, услышит множество глупых заученных слов и не найдет почти ни в ком особенной сознательности.

Этим путем вы никогда не оцените по-настоящему крупного явления.

Надо стать в отдалении и взглянуть *издали*, чтобы судить. Издали вы не увидите отдельных физиономий, которые, может быть, все до одной неинтересны и неумны: вы увидите только неопределенную огромную массу, море голов, и оно потрясет вас своей мощью и своим стихийным гулом, и вы тогда только поймете его силу.

Я считаю Литературно-артистическое общество крупнейшим из факторов, которые должны повести к духовной эмансипации Одессы; и не только сравнительно крупнейшим, но и абсолютно крупным.

Тем не менее я знаю и не отрицаю, что интеллигентность, сознательность, талантливость состава нашего общества далеко не блестящи.

Надо отвлечься от этого впечатления, полученного от рассмотрения вблизи; надо взглянуть на этот феномен как бы издали.

Настолько издали, чтобы не разбирать больше отдельных выражений, но улавливать только смутный гул массы.

И по силе этого гула вы увидите, что перед вами нечто действительно крупное, поистине важное.

Выдающийся факт и плодотворный фактор.

Так полагают о нашем обществе, например, иногородние люди, т. е. именно те, кто смотрит издали и улавливает только смутный отголосок происходящего, а не отдельные — часто неудачные — слова.

Это все не значит, что строго воспрещается близко рассматривать крупные явления.

Рассматривать и изучать — это наше право.

Но *судить* нельзя вблизи. Чтобы *судить*, поглядите прежде издали.

Кто судит крупное, стоя вблизи, тот рискует заболеть распивным скептицизмом, тот рискует сыграть роль лакея, для которого нет великого человека именно потому, что он слишком близок к великому человеку, знает его насморки, его прыщи, несварения желудка и горчичники — и из-за этих мелочей не видит стихийной силы, скрытой под ними.



В пользу училища госпожи Рубинрот, что на Молдаванке, во вторник устраивается «вечер цветов».

Мне сообщили разные подробности — что там будут цветочные декорации, цветочные киоски, барышни, одетые букетами, и еще разные вещи.

Это хорошо: чем веселее, тем лучше.

Но для моей задачи — призвать, если могу, внимание публики — этих цветов не нужно.

Я скажу читателю о другом.

В этом училище собрано 120 детей молдаванской нищеты.

Туда не каждого ребенка принимают. Для поступления в это училище нужен странный имущественный ценз: надо быть нищими из нищих.

Учительницы объезжают все квартиры, адреса которых написаны в прошениях, и делают строгий выбор между градусами нищеты.

У кого есть хлеб на завтра, тот не имеет права отдать свое дитя в это училище.

Только дети отчаяния и безнадежности получают доступ в эту маленькую часовню просвещения.

Там их собрано сто двадцать, этих детей отчаяния.

Прежде чем их взяли в эту школу, не было для них и перед ними никакой дороги и никакой надежды.

После трех лет, которые они проведут в этой школе, они выйдут из нее уже не безоружными и увидят пред собою путь, хотя суровый, жестокий, крутой, но все-таки путь.

Не шутите с этими вещами, иронически цитируя избитую поговорку, что учение свет, а неучение тьма. Есть существа, для которых, без метафоры, учение жизнь, неучение смерть.

И вспомните, что есть два рода милостыни.

Можно подать милостыню калеке, старику, слепцу: эти люди уже погибли, ничего из них не выйдет, и вы даете им милостыню для того, чтобы им легче было умереть.

Против этой милостыни многие возражают. Они говорят:

— Я дам ему сегодня монету для того, чтобы он прожил до завтра, то есть для того, чтобы завтра ему понадобилась другая монета на хлеб. Так погибнут, одна за другою, ценные монеты, потраченные на поддержку того, что не приносит никакого

плода; и в то же время только затягивается агония погибающего, и вместо того чтобы дать ему легко умереть, мы делаем так, чтобы ему труднее было умереть...

Жестокая теория, спорная теория, но все-таки теория.

Есть и другая милостыня. Она подается ребенку, для которого не хватило букваря.

Против этой милостыни нет теории, потому что это не милостыня, а посев на доброй почве, которая воздаст урожаем.

Нам теперь нужны люди, и впереди еще больше понадобятся. Надо беречь их, каждого надо беречь; не давайте ни одному выбыть из этого строя.

Мы пойдем веселиться на вечере цветов, и еще на многих таких вечерах будем веселиться; но и веселясь, оставайтесь серьезными и помните, что нет богатства дороже школьного ребенка.

Altalena

Одесские новости. 16.11.1903



Вскользь

ЕЩЕ ОБ ИТАЛЬЯНСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Один из ответов, подписанный «Швейцарским студентом».
«...Чем хотите вы привлечь русских студентов в Италию и отвлечь их из Германии и Швейцарии?»

В Италии их, дескать, встретят теплей и радушней, а в немецких университетах они живут "под перекрестным сквозняком пренебрежения и недоброжелательства".

Это правда, и никто не станет отрицать, что немцы и швейцарцы отвратительно относятся к русским студентам.

Но для всякого ясно и другое: нам мало одного только ласкового приема итальянцев; нас больше интересует вопрос, что они дадут нам в своих 20 университетах?

Вы недоумеваете, почему же русские все-таки едут в Германию и Швейцарию, несмотря на ужасное отношение к себе туземных студентов, и не направляют свои стопы в Италию?

Дело объясняется очень просто.

Если русский отправляется, например, в Гейдельберг, то отправляется слушать Куно Фишера, Вильденбанда (Виндель-

банда?); в Лейпциге он слушает Вундта, Шмидта, Бюхнера; в Берне работает у Кохера, Салли, и так везде в Германии или Швейцарии.

Что же дает Италия в этом отношении?

Я не отрицаю, что и в Италии есть знаменитые профессора, ученые и т. д.; но о них никто не знает, никто не слышит, они никого не привлекают к себе. И почему так много итальянцев едут учиться в Германию, Францию или же соседнюю Швейцарию?

И немудрено, что все стремятся в Германию, где они уверены, что найдут, что им нужно, а до отношения к ним студентов-немцев им очень мало дела, и на разные выходки своих коллег они отвечают презрением, а в крайних случаях шумно и энергично протестуют...»

Я предвидел это возражение, и мне кажется, что в моем письме из Белграда уже есть и ответ.

Италии не знают.

Не знают о ней ничего или ничего, кроме верхушек; или, вернее, всю ее и всё в ней знают так, как знают ее литературу.

О ее литературе среднему читателю в России известны два-три имени, и на этом основании я часто слышал презрительные замечания.

— Да разве в Италии есть литература? Если бы была, уж наверное было бы о ней что-нибудь слышно, что-нибудь переводилось бы. Вот, посмотрите, с французского сколько переводят!

В том-то и дело, что с французского переводят, а с итальянского нет.

С французского переводят даже всякую дребедень, потому что французский язык переводчики больше знают. Итальянского они не знают, и оттого им, естественно, неизвестно, что есть интересного в итальянской литературе.

И Верга, Капуана, Грация Деледда, и чуть ли не Матильда Серао и Фогаццаро остаются без перевода.

То же самое повторяется во всех областях — и, между прочим, в области науки.

Мой оппонент сам пишет:

«Я не отрицаю, что в Италии есть знаменитые ученые, но о них никто не слышит».

Именно потому никто и не слышит, что никто не ездит слушать.

Три языка стоят на виду в интеллектуальной области: немецкий, французский и английский.

Духовному производству этой троицы почти всегда обеспечены сбыт и популярность.

Но почти все то, что производится на других языках, обречено лежать под спудом.

В редком случае — только ввиду, может быть, исключительной сенсации — хорошая книга, написанная по-русски или по-итальянски, может рассчитывать на заграничное распространение.

Мир как-то так односторонне сгруппировался, что для людей теперь знать все происходящее «в Европе» значит иметь сведения о немцах, французах и англичанах.

Вы думаете, что Россией там, за границей, интересуются?

Ничуть. Интересуются постольку, поскольку она опасна соседям, то есть ее, так сказать, иностранными проявлениями.

О внутренней жизни ее ничего не знают и даже корреспонденты этого рода не решаются помещать:

— Публика не читает!

Публика эта читает с удовольствием о том, что во Франции убили куртизанку Фужэр и где-то состоялась гонка автомобилей.

Но напишите о том, какие в России борются умственные течения, — вас не напечатают или рискнут напечатать, а статья останется неразрезанной.

То же и с Италией.

Итальянский ученый может написать умнейшую книгу — ее прочтут с восторгом только итальянцы, но парижский издатель не примет ее перевода:

— Нет спроса. Публика скажет: «Охота покупать книгу, написанную итальянцем. Мы об итальянских ученых ничего не слыхали!»

Для того чтобы книга итальянца «пошла», нужна исключительная сенсация, вроде той, которую наделала криминальная антропология.

Да, мой оппонент совершенно прав: в Италии есть отличные профессора, но о них никто не слышит.

Впрочем, на перечень оппонента, что в Гейдельберге Фишер, а в Берне Салли и т. д., мне легко было бы ответить таким же перечнем, что в Турине Ломброзо, а в Риме Ферри, Лабриола и Баччелли, а в Пизе Лория.

Но дело вовсе не в том.

Я прежде всего не согласен с г-ном оппонентом, будто студенты из России ездят учиться только к знаменитостям.

В Берне есть, правда, Кохер и Салли, но это для медиков.

А зачем же в Берне всегда столько народу на философском факультете?

Я помню время, когда бернская колония была гораздо меньше, но и тогда на философском факультете было внушительное количество студентов из России.

Какую же знаменитость они там слушали? Людвиг Штейна, что ли?

Ради какой знаменитости живут 200 с чем-то человек в Лозанне и 300 с чем-то в Женеве?

Молодежь, которая уезжает учиться за границу, руководится разными побуждениями, среди которых «выбор знаменитостей» занимает далеко не первое место.

Ездят туда, где в колонии больше земляков, или где была старшая сестра и осталась довольна, или где жизнь подешевле и т. д.

И все в конце концов отлично понимают, что не в одном или двух громких именах достоинство университета, а в общей постановке, во всем подборе персонала.

С этой стороны, по-моему, итальянские университеты можно только усиленно и безусловно рекомендовать.

Почти во всех городах и во всех факультетах нет недостатка в добросовестных и способных ученых; и из своих университетов и институтов итальянцы выходят столь же хорошими врачами, инженерами и юристами, как немцы из своих немецких и французы из своих французских.

Итальянские студенты, действительно, часто ездят в Германию — прослушать курс у того или другого знаменитого профессора, — но они при этом поступают так же, как немцы, приезжавшие до недавнего времени в большом количестве слушать курс у Ломброзо; а если итальянцев у Виндельбанда больше, чем немцев у Ломброзо, то эта разность объясняется и меньшей подвижностью немцев, и тем, что итальянский гимназист обучается немецкому языку, а немецкий итальянскому не обучается...

Я знал мало русских студентов в Италии, но могу сказать, что ни от одного из них не слышал других отзывов о тамошнем преподавании, кроме самых восторженных.

Итальянский лектор, даже когда он неглубок, всегда жив, интересен, всегда будоражит внимание слушателя и не дает ему отвлекаться; но и тот из них, который обладает солидной глубиной мысли, всегда умеет облечь ее в образную и наглядную форму.

Это я говорю и настаиваю о качествах заурядного, обыкновенного, не «знаменитостями» ведущегося преподавания в итальянских университетах.

Но после всего этого еще раз повторяю, что в Италии есть немало и таких ученых, которые вполне достойны стать рядом с признанными знаменитостями Центральной Европы, но так как Италия стоит в стороне от большой дороги Мод, то и немудрено, что мой оппонент — вообще не очень осведомленный, хотя бы уже потому, что именует Виндельбанда Вильденбандом, — о них «ничего не слыхал».

Послушайте, тогда и услышите...

В том же письме есть и еще два возражения, на которых надо остановиться.

Г-н оппонент находит, что 30 рублей в месяц — это для студента слишком большой бюджет. Он говорит, что «в Берне в прошлом зимнем семестре было 520 студентов из России (из них 410 женщин); три четверти этого числа жили в среднем на 20 р. Но очень много было живущих на 15 р.».

Я не ручаюсь за статистику г-на оппонента, но даже допустив ее точность, могу только привести его же слова, непосредственно следующие за этими данными:

«Правда, они ужасно голодают и наживают желудочные болезни...»

Голодать, милостивый государь, можно и в Италии, и не только на 15 рублей в месяц, но и на меньшую сумму.

Я выбрал 30 руб. как цифру среднюю только потому, что во всех (очень многих) письмах, полученных мной по поводу итальянских университетов, повторялся этот вопрос:

— Можно ли жить в Италии рублей на 30?

И я ответил, что на 30 руб. даже в Риме, где все дороже, чем в остальной Италии, можно жить по-студенчески, т. е. экономно, но, *безусловно, сытно, тепло и бывая в театре.*

Можно жить и на гораздо меньшую сумму. Вот бюджет, сообщенный мне одним римским русским студентом:

Комната — 15 лир.

Обед — или суп за 15 сантимов, мясное за 50 и на 10 сантимов хлеба, т. е. всего 75 сантимов в день, или полкило макарон за 45 сантимов, а полкило макарон до того сытны, что кроме этого блюда ничего больше не запросит даже проголодавшийся человек, да и то всего не съест. Итого, считая 15 дней по 45 сантимов и 15 дней по 75 — 18 лир в месяц.

Хлеб к чаю утром и вечером — по 10 сантимов, итого 6 лир.

Чай обыкновенно присылается «родными» из России в пакетиках «пробы без цены».

Сахар — 3 лиры.

Стирка, освещение и мелкие расходы — 10 лир.

Итого 52 лиры, то есть немного больше 19 руб.

Суровый режим, а все-таки не впроголодь.

Но, конечно, я никому в конце концов не советую ехать ни в Италию, ни куда бы то ни было, если он располагает только 19 руб. в месяц. Дать такой совет значило бы взять на себя большую ответственность.

Прибавлю только одно замечание.

Во-первых, в Италии нет еще студенческих столовых. Если бы студенты из России устроили там свои столовые, обед стоил бы им еще дешевле.

Во-вторых, нигде в Немецчине или во Франции нет никакого заработка, потому что у каждой русской газеты всюду есть корреспонденты, а переводы с французского и немецкого, ввиду конкуренции, страшно трудно найти.

В Италии — конечно, только на первых порах — студенты из России попадут в другие условия.

Прежде всего, кое-кто из них устроится корреспондентом, потому что итальянских корреспонденций в русских газетах теперь почти не видно: некому писать, а писать есть о чем, жизнь страны разнообразна и интересна.

Далее — при энергии можно будет заниматься переводами. Переводчиков с итальянского языка мало, а перевести можно многое, и даже у ходкого сорта литературы, вроде легкой публицистики à la Гульельмо Ферреро.

Кроме того, и на русскую литературу теперь в Италии мода. Отчего студенту из России не сойтись с итальянским коллегой, совместно перевести какую-нибудь русскую книгу и совместно отыскать издателя?

В мое время я перевел вместе с одним приятелем книгу Сергеенко о Толстом и продал ее за 150 франков, которыми мы поделились.

Чтобы упорядочить это дело и не отбивать друг у друга работы, русские студенты могли бы устроить что-нибудь вроде бюро, и так далее. Мало ли что можно устроить — при энергии...

Другое возражение г-на оппонента относится к опасению, не стоит ли проезд в Италию слишком дорого.

C'est selon¹. Дороже, чем в Австрию и Германию, но дешевле, чем в Швейцарию, в Бельгию и во Францию.

Ехать надо на Будапешт, а оттуда на Фиуме; венгерские же дороги славятся своей дешевизной.

Третьим классом из Одессы в Берн стоит 28 руб., а из Одессы в Рим — 26 руб.

Я не вижу ни одного, *решительно ни одного*, довода против Италии, кроме нерешительности и рутины.

Но я твердо уверен, что нерешительность и рутину можно побороть настойчивостью и в этой уверенности паки и паки приглашаю подумать об Италии тех, кому в будущем учебном году предстоит путешествие за границу.

Altalena

P. S. В письмах меня спрашивают об учебниках итальянского языка. Мне известны два, изданные в Одессе: Сперандео и Де Виво. Оба, по-моему, недурны.

Одесские новости. 19.11.1903



Вскользь

ДОН АЛЬЦЕХАН

У захолустного человека есть простительная слабость: когда он ездит по Европе, то сейчас же приобретает привычку говорить:

— У нас в Париже...

И потом уже свысока посматривает на земляков, которые не были в Париже и думают, будто их тутошняя жизнь есть настоящая жизнь.

Я, как известно, рожден на углу Кузнечной и Треугольного переулка и, следовательно, не могу не быть захолустным человеком.

Посему вышепоименованная маленькая слабость имеется и у меня.

Только что вернувшись из Европы, я как-то все не могу отучиться от некоторого снисходительного взгляда сверху вниз на земляков и соотечественников.

¹ Смотря по обстоятельствам; как посмотреть (*фр.*).

Они мне все кажутся ужасными провинциалами.

Так и хочется сказать им:

— Э... а у нас в Париже, например...

Взять хотя бы петербуржцев, которые теперь так искренне оживлены по поводу своих думских выборов.

Они так мило увлекаются частными совещаниями, гектографированными списками, программными речами.

Так это все чисто, возвышенно, симпатично... и первобытно.

Очень первобытно. Очень первобытно.

Мне, глядя на все это, так и хочется важно крикнуть и сказать:

— Э... у нас в Европе давно уже пережили эти юношеские увлечения, этот наивный энтузиазм. Во всем... ээ... много провинциализма!

Ибо, действительно, «у нас в Европе» давно уже вышли из этой отроческой стадии и перешли к другим, более солидным приемам.

Никогда не забуду недели, проведенной осенью, в сентябре этого года, в абруцском местечке Бука-Канучча, в переводе — Собачья Дырка.

Я гостил там у одного приятеля, синьора Гранкио.

Это был человек неопределенного возраста, юркий и беспокойный. Звали его по имени Альцехан: покойник отец его был почему-то поклонником Риего, и в память знаменитого инсургента дал сыну это испанское имя.

Я познакомился с ним года четыре тому назад в Риме, где он служил чем-то на заводе свечного сала.

Узнав, что я корреспондент, он однажды внезапно явился ко мне осведомиться, нельзя ли устроить через Одессу выгодный сбыт сальных свечей на русские рынки.

Я ему объяснил, что я лично по этому вопросу — полная бездарность, но, впрочем, посоветовал ему обратиться письменно к г-ну Знакомому, прибавив:

— Он все знает.

Синьор Гранкио очень благодарил меня и говорил:

— Это в высшей степени важно. Я хочу потопить всю Россию в свечном сала! Я хочу всю ее озарить сальными свечами!

Я сказал почтительно:

— Однако, у вас широкие проекты.

— Не могу жить без этого! — сознался он. — Мне нужна обширная арена! Я задыхаюсь без широкого поля деятельности! Я чувствую, что во мне глохнут таланты!

Я всегда очень любил людей такого типа. Я заметил, что они весьма удобный народ. Если им немножко и умело польстить, они вам будут преданы всей душой, и уже в этом состоянии они прямо неоценимы для мелких услуг, как-то: сбегать в лавочку за колбасой, поправить коптящую лампу, проводить вечером домой уходящую от вас дамочку...

Поэтому мы сблизились и часто видались, и я был им очень доволен.

В этот раз, узнав, что я в Италии, он написал мне письмо, требуя, чтобы я непременно погостил у него в Собачьей Дырке.

Я согласился: Абруццы — страна любопытная, а пожить на чужом иждивении всегда лестно.

Приехал — и не узнал приятеля. Пополнел, раздобрел, приобрел цилиндр и величавые манеры, а вместо прежнего пальтишка напялил широкую крылатку вроде мантии.

— Фу ты, какой вы стали важный! — сказал я.

— Да, что же, — снисходительно ответил он, — в моем положении без этого нельзя.

— А какое же теперь ваше положение?

— А вы не знали?

— Виноват, я так недавно в Италии...

— О! Я теперь балотируюсь в синдики¹ местечка Бука-Канучча.

— Вот как? Очень рад. И что ж, много шансов на победу?

Он наклонился мне к уху:

— Есть соперники и враги. Но я не боюсь! Я не сдамся! Я им покажу!

И он тут же, на дрожках, вытащил из бокового кармана толстую пачку бумаг:

— Читайте.

Я стал читать.

Первая бумага была от завода свечного сала — о том, что синьор Гранкио на заводе служил и был исполнителем.

Вторая была из участка и удостоверяла, что синьор Гранкио в течение трех лет ни разу не был уличен в нетрезвом поведении или ночных дебошах.

Третья была старенькая: она гласила, что ученик Гранкио Альцехан кончил курс начальной школы успешно и отличался тихим поведением.

¹ Мэры (*итал.*).

Четвертая...

Я изумился:

— Что такое? Да это мой почерк!

Его лицо сияло:

— Читайте.

Я прочел:

«Добрый друг. Посыльный принес мне в целости купленные вами для меня три рубахи и сдачу. Сердечно благодарю вас за эту услугу, я сам по крайней моей непрактичности вряд ли купил бы рубахи такого добротного качества и так дешево. Вы в этом отношении гений».

Следовала моя собственная подпись и дата: Рим, такое-то число, 1899 года.

— Не понимаю, — сказал я. — Зачем вы сберегли это письмо, и на что оно вам теперь может пригодиться?

Он улыбнулся как бы с сожалением:

— Наивный и неопытный дикарь! Неужели вы не понимаете, как это все важно?

— В каком отношении важно?

— Как рекомендация! Все эти документы у меня скопированы в тысяче списков, и мои люди носят их по городу и говорят избирателям: видите, какой дон Альцехан честный, деловитый и просвещенный человек: вот отзыв школьного начальства, вот отзыв от индустрии свечного сала, вот отзыв известного русского писателя...

— Виноват, а где же русский писатель?

— Это вы! Понимаете? Все это повышает мою популярность. Я же сам при себе всегда ношу оригиналы, и как только кого-нибудь встречу — сейчас вынимаю документы из кармана и раскладываю, дабы, значит, видно было, что без всякого обману... Понимаете?

— Понимаю.

— Да-с! Я даже, когда купаюсь, надеваю на шею непромокаемый мешочек с бумагами. Надо быть ко всему готовым. Иногда заплывешь шагов на сто — а там барахтается избиратель: я сейчас же опрокидываюсь на спину и предъявляю документы.

— Ловко! — похвалил я.

— Да-с! — продолжал мой хозяин. — Но зато и популярен же я в городе! Никто меня уже по фамилии не называет: только и слышишь, что дон Альцехан да дон Альцехан!

Мы в эту минуту подъезжали к его квартире; и, как бы в подтверждение последних его слов, поджидавший у цирюльни молодой человек бросился навстречу нашим дрожкам, крича:

— Дон Альцехан, телеграмма!

Дон Альцехан схватил желтую бумажку и с очевидным волнением разорвал ее.

— Великолепно! — вырвалось у него.

И, вводя меня в свое жилище, он объяснял:

— Приятная новость: против меня выставили еще одного кандидата! И какого кандидата: адвокат Теста-ди-Леньо¹, лучший юрист в нашей провинции!

Я изумился его радости.

— А позвольте — сколько вас всех кандидатов на пост городского головы местечка Собачья Дырка?

— Во-первых, я. Во-вторых, еще пять. Теперь прибавился шестой. И какой шестой! Знаменитость! Великолепно!

— Да что же в этом для вас великолепного? Ведь чем больше кандидатов, тем у вас меньше шансов.

— Ничуть. Напротив, именно потому, что Теста-ди-Леньо — знаменитость, он легко отобьет по несколько голосов у каждого из прежних пяти! Мои соперники все вместе располагают, скажем, ста голосами: чем больше кандидатов, тем меньше голосов из этого числа достанется на долю каждого! Понимаете?

— Ничего не понимаю. Разве этот самый Теста-ди-Леньо не может отбить несколько десятков голосов и у вас?

Он посмотрел на меня так, как смотрят на сумасшедших.

— У меня?! У меня нельзя отбить ни одного белого шара. У меня все избиратели неотчуждаемые!

— Как так?

— Очень просто.

Он вытащил опять из кармана свои документы и подал мне один из них. Это была телеграмма:

«Scarpe paio cinquanta spedite gran velocita».

— Пятьдесят пар башмаков посланы большой скоростью, — повторил я, недоумевая. — Что это значит?

— О! — сказал он. — Это очень простой и удобный способ. Я даю каждому из моих избирателей — которые победнее — по одному башмаку и говорю: подавайте голоса за меня; если я буду избран, получите по второму башмаку. Таким образом мы друг в друге уверены. Избиратель уверен, что в случае успеха

¹ Дубинноголовый (итал.).

я его не обману, ибо на что мне самому башмак без пары? Я же уверен в его голосе, ибо раз у человека есть уже один новый башмак, ему, естественно, хочется получить и второй! Понимаете?

После обеда мы пошли гулять по местечку и осматривать достопримечательности, и все прохожие кланялись и говорили:

— Буона сера¹, дон Альцехан.

Многих дон Альцехан останавливал и знакомил со мной:

— Позвольте вас представить: известный русский писатель и мой близкий друг. Узнав, что я здесь, решил приехать сюда на неделю, хотя страшно занят и спешит, но согласился сделать это ради меня. Он напишет о нашей Бука-Канучча во всех русских журналах! Он прославит имя нашего города во всей русской земле! Оттуда станут к нам стекаться туристы, завяжутся сношения торговые, город разбогатеет и разрастется! Так я умею заботиться о благе отчизны!

Мы дошли до какого-то грязного переуллка, и мой спутник остановился перед дверью сарая, на которой было мелом выведено:

«Здесь покупаются подержанные вещи».

Дон Альцехан объяснил мне:

— Тут живет избиратель, у которого я еще не был.

И постучался.

Дверь заверещала и отворилась: на пороге стоял грязный старик с очками на носу. Он посмотрел на нас подозрительно и сказал:

— Фрачная пара, почти новая, на один вечер пять лир, залог десять лир!

Дон Альцехан выступил вперед:

— Друг мой! Дон Вито! Старый друг! — с чувством сказал он. — Неужели вы меня не узнаете? А я вас сразу бы узнал! Неужели вы не помните меня, который столько раз сбывал в ваши честные руки свои скромные одежды?

Старик проворчал:

— Мы ходим по дворам и покупаем старые вещи, и смотрим не в лицо людям, а на сукно, чтобы нам не подсунули штопаного за новое. Не могу я помнить в лицо всех моих клиентов.

— О! — с чувством сказал дон Альцехан. — Неутомимый старый труженик! Как я ценю ваш закаленный характер! Именно

¹ Добрый вечер (*итал.*).

таких людей хотел бы я иметь советниками и помощниками, когда буду синдиком города Бука-Канучча! Ибо, надо вам знать, почтенный дон Вито, я выставляю свою кандидатуру. Я глубоко уверен, что вы против нее ничего не имеете. Я был бы очень счастлив, если бы мог рассчитывать на поддержку столь выдающегося негодяя. Достигнув ответственного поста, я надеюсь привести в исполнение одну мою заветную мечту. Мечту об улучшении благосостояния честного класса скупщиков подержанных вещей! Я чту это сословие! Я считаю функцию его одной из священнейших и полезнейших общественных функций! Я помогу ему высоко поднять свое цеховое знамя и водрузить его на почтенном месте! Но, впрочем, я вас покидаю: вы, конечно, заняты, да и мой друг — известный русский писатель, знающий вас по моим рассказам и пожелавший непременно повидать вас — мой друг тоже спешит. Мое почтение, добрый, старый друг!

На следующее утро дон Альцехан ворвался ко мне с криком:

— Эврика! Новая идея!

— В чем дело?

— Я сейчас телеграфирую: «мужские башмаки не нужны, будут высланы обратно; высылайте 50 пар женских».

— Почему?

— Я решил раздать по одному башмаку не самим избирателям, а их женам. Так будет вернее! Жены тогда сами будут следить за мужьями и внушать им с утра до ночи, чтобы подавали голоса за меня! Таким образом я построю свою кандидатуру на фундаменте семейного мира! Понимаете?

Через два дня он вбежал ко мне, утомленный, но радостный, и объявил:

— Готово. Башмаки прибыли и розданы. Эффект потрясающий! Моя победа обеспечена! Даже мои враги это чувствуют: они кричат на всех перекрестках, что им теперь безразлично — пусть победит какой угодно из моих шести соперников, лишь бы только не я! Несчастные! Я их презираю! Я о них сожалею!

И дон Альцехан упал на стул, восклицая:

— Уфф! Устал. Ну, теперь скоро конец хлопотам. Теперь осталась только вечеринка — и я могу спокойно ждать рокового дня!

— Какая вечеринка?

— Вечеринка с угощением. По случаю того, что жене моей исполняется двадцать семь с половиной лет. Я угощаю своих избирателей. Будет очень скромно и мило: макароны, по бутылке вина Кьянти, и в заключение мускат вместо шампанского...

Я был на этой вечеринке и сидел рядом с дон Вито — скупщиком подержанных вещей. За столом было еще несколько человек того же цеха, затем присутствовали извозчики, погонщики мулов, мясники, два артельщика ассенизационного обоза и другие лица. Всего человек до пятидесяти.

Дон Альцехан с бокалом муската в руках восклицал:

— Пусть шипят против меня все эти люди в крахмальных воротничках! Я презираю их! Я дорожу только тем сердцем, которое бьется под рабочей блузой простолюдина, я ценю только пожатие грубой, но честной руки труженика! Долой накрахмаленные воротнички! Я друг простого народа!

Поздно ночью, когда все разошлись, он сидел у меня в комнате, писал цифры на бумажке и считал:

— Всех избирателей около 200. У меня верных 80 голосов. Следовательно, у моих противников 120. Их шесть человек, ergo¹, на каждого придется по 20 голосов. В крайнем случае, Теста-ди-Леньо получит 30 или 40, но и тогда ему далеко до меня!

В день выборов он с утра исчез. Я ждал его, потом соскучился и пошел в горы гулять.

Вернулся я часам к четырем и позвонил.

Мне открыл дверь сам дон Альцехан, бледный, растерянный, уничтоженный.

— Что с вами? — воскликнул я.

Он упал ко мне на шею.

— Поражен, побит, побежден! — простонал он.

Я дал ему воды, усадил его и спросил, как это могло случиться:

— Неужели ваши избиратели изменили?

— Нет. За меня было 80 голосов.

— Так как же?

— Это был заговор! Мои враги давно уже говорили: кто угодно, только не дон Альцехан! И они так и поступили: всем, кроме меня, клали направо! Таким образом у каждого из шести получилось около 100 голосов, а у Теста-ди-Леньо 120...

¹ Следовательно (лат.).

На другой день я уехал и с тех пор не имею сведений о дон Альцехане Гранкио.

Но когда я читаю о петербургской предвыборной агитации, я всегда вспоминаю о нем и мысленно твержу петербуржцам:

— Эх! Разве это есть агитация? Посмотрели бы вы, как агитируют у нас в Европе...

Altalena

Одесские новости. 21.11.1903



Вскользь

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ

Когда поездишь и воротишься назад, знакомые встречают с улыбочками и говорят:

— А! Теперь вы нам расскажете о вашем путешествии. Ну, что видели, что слышали?

Я всегда при этих расспросах чувствую себя преглупо и не знаю, что мне ответить, ибо я в дороге, кажется, ничего особенного не видел и не слышал.

Видел вагоны железнодорожные и трамвайные, видел вокзалы, видел стены своего номера в гостинице, видел своих знакомых. Разве обо всем этом можно рассказывать?

Я обыкновенно так и отвечаю:

— Верьте, мадам, ничего не видел и ничего не слышал.

И тогда меня упрекают:

— Не стыдно ли? Журналист, а никакой наблюдательности.

И я ничего не возражаю, ибо это горькая правда: я — человек весьма ненаблюдательный.

Но дело в том, что вовсе не так легко быть наблюдательным.

Это целая наука — сложная наука и даже чуть ли не подвижничество.

Я, например, видел недавно наблюдательного человека; я даже провел с ним несколько дней в дороге и успел к нему присмотреться.

Это было нечто поразительное.

Помню, как мы с ним приехали по железной дороге в Сегедин и пошли к начальнику станции проставить штампель на билетах — засвидетельствовать остановку.

Мой спутник — Негг¹ такой-то из Вены, коммивояжер и анти-семит, — заговорил с начальником по-немецки, и это меня удивило: он прекрасно владел венгерским языком.

Начальник продержал нас у себя в кабинете битый час, наконец поставил штемпеля и сказал:

— Теперь уходите.

Мы вышли. Я напустился на венского человека:

— Зачем вы не заговорили с ним по-венгерски? Разве вы не знаете, как они становятся грубы, когда слышат немецкую речь? Вот он нас и заставил потерять целый час да еще в придачу едва не выгнал вон.

— О! — ответил мой венский человек. — Я нарочно всегда с ними заговариваю по-немецки; иной, пожалуй, и отрежет: «*Нем тугом немет*» (не говорю по-немецки), но зато, когда набредешь на такого, который разговорится, тогда можно провести время интересно. Он думает, что вы его не понимаете, и вставляет по-венгерски ругательные словечки по вашему адресу.

— Да что же в этом интересного?

— Очень много. Это все равно, что подслушивать мысли. Только таким путем и можно изучить людей...

Между тем мы уже вышли из здания вокзала на грязную, плохо освещенную и плохо вымощенную улицу.

— Я есть хочу, — сказал я, — отыщем какую-нибудь *саллога*², только чистую, и поужинаем.

Саллога была тут же на углу: мы в нее заглянули, но там оказалось так грязно, что мы оба сейчас же ретировались.

Заметив нас, оттуда выскочил слуга.

Он узнал в нас иностранцев и сказал по-немецки:

— Господа могут здесь завтракать, обедать и ужинать.

— Спасибо, — сказали мы и пошли дальше.

Мой венский человек качал головой.

— Вы чем недовольны? — спросил я.

— Никакой коммерции в этом городе!

— А вы почему знаете? Ведь вы в первый раз в жизни в Се-гедине?

— Да оно ясно с одного взгляда. Уж у меня на этот счет опыт. Где люди нарочно выбегают из трактира, чтобы зазывать

¹ Господин (нем.).

² Трактир (венг.).

гостей, там, видно, дела плохи; а если это еще перед самым вокзалом, т. е. в одном из бойких мест, то, значит, во всем городе дела неважны.

Я мысленно подивился его пронизательности и, желая показать, что и мы не лыком шиты, сказал:

— Тут все газовые фонари, и улица плохо вымощена. Очевидно, это не лучшая часть города, так что здесь, вероятно, все *samloga* грязные. Спросите у прохожих, как пройти к центру города.

И я гордо искоса посмотрел на него: какой, мол, эффект произведет на тебя моя наблюдательная сообразительность?

Но мой венский человек даже бровью не повел и тут же посрамил меня:

— Ах, молодой человек! — сказал он укоризненно. — И зачем это я стану беспокоить прохожих пустыми вопросами? Я в чужом городе всегда сам нахожу дорогу к центру. Видите, бежит вагон конки. Откуда идет трамвай к вокзалу? Ясно, что из центра. Значит, туда по рельсам и надо пойти. Тем более что вон там далеко, видите, светится ауэровская горелка. Там, очевидно, и начинаются лучшие улицы.

С этого момента я уже не пытался состязаться с ним. Я признал себя побежденным.

Я и сам, может быть, в случае нужды тоже сообразил бы, что центр города должен быть скорее там, где горят ауэровские горелки.

Но только в случае нужды — если бы, например, некого было спросить. Иначе, когда нет необходимости, стоит ли шевелить мозгами?

Я почувствовал сразу всю разницу между мною и этим венским человеком, для которого, очевидно, упражнение в догадливости и наблюдательности стало спортом, *Ding an sich*¹.

— Я хотел бы посмотреть памятник Кошута, — сказал я, — не знаете ли вы, где он стоит?

— Нет, — сказал скромный венский человек, — этого я знать не могу. Я спрошу. Вон впереди идет человек: догоним его и спросим.

— Позвольте: зачем догонять идущего впереди, когда можно, не утомляя себя гонкой, спросить у кого-нибудь из идущих навстречу?

¹ Вещь в себе (нем.).

Венский человек посмотрел на меня почти с сожалением.

— Я никогда не спрашиваю идущих навстречу, — объяснил он. — Идущий навстречу в лучшем случае ответит на вопрос и пойдет дальше своей дорогой, а вы своей. Зато с человеком, которого вы догоняете или который обгоняет вас, можно всегда пойти вместе и разговориться.

На этот раз я не изумился только потому, что перестал уже изумляться.

Первый человек, которого мы догнали, резко ответил на немецкий вопрос:

— *Нем тугом немет.*

Второй ответил то же.

Третий, солдат, оказался приветливее и сказал на ломаном немецком языке:

— Идемте, я вам покажу.

Венский человек вступил с ним в подробную беседу; я не слушал их и задумался.

Мы шли довольно долго; наконец, солдат остановился и сказал:

— Теперь мне надо направо, а вы идите налево: на углу будет *саллога*, где можно поужинать недорого и чисто.

— А Кошут? — спросил я.

Венский человек ответил:

— Раньше поужинаем. Я уже сам потом найду: господин военный объяснил мне дорогу. Благодарю вас, г-н военный!

И мы пошли ужинать.

Саллога была чистая и простая; посреди комнаты, по венгерскому обычаю, стояли цимбалы в виде столика со множеством тройных струн; за столиком сидела барышня, хорошенькая и изящная; впрочем, я еще не видел неуклюжих или некрасивых венгерок.

Мы сели за свободный стол рядом с цимбалами и потребовали *кольбашке* — нечто вроде жареной малороссийской колбасы — и пива.

Мой венский человек сейчас же подсел к барышне и заговорил по-немецки, но барышня не знала по-немецки, тогда он вздохнул и в первый раз перешел на венгерский язык.

Барышня спросила, кто я такой, очень приветливо улыбнулась и велела ему узнать у меня, что ей сыграть.

Я попросил:

— Что-нибудь из венгерских мотивов.

Барышня заиграла, ударяя по струнам двумя палочками с замшевыми подушечками на концах. Она играла очень хорошо.

Музыка была немного заунывная: все народы, выросшие на равнине, поют заунывно.

У другого стола сидели три мадьяра в усах. Очевидно, песня была из любимых, потому что они подхватили ее и пели то громко, то тихо и в местах *pianissimo* делали друг другу знаки рукой, чтобы петь тише; и по мимике их видно было, что слова песни были любовные.

Я разобрал слово *голомбо* (горлинка). Вероятно, Янош покидал Ильку и грустно прощался с нею:

*В дальний край, в унылый путь иду я
без тебя, голубка молодая,
отчий дом надолго покидая,
на судьбу печально негодуя...*

Хорошо играла барышня. Когда она кончила, я утилизировал весь мой мадьярский словарь и сказал ей: «*йо!*», то есть «хорошо», и дал ей 30 филлеров на чай.

Она улыбнулась и поблагодарила кивком.

Мы расплатились и ушли.

— А где Кошут?

— Мы идем к памятнику. Вот сейчас будет на том углу мельница Ковача, а дальше железный мост через Тиссу — в Сегедине есть еще другой мост, но тот называется Народным — а там и памятник.

— Откуда вы так хорошо узнали план Сегедина?

— Солдат сказал. Видите тот дом?

— Вижу.

— Там живет интересный человек. Он когда-то был простым рыбаком, потом купил паром, потом баржу, потом пароходик, а теперь у него семь дочерей, одна другой краше, и у каждой по 100 тысяч крон приданого.

— Откуда вы все это знаете?

— Солдат сказал...

Altalena

Одесские новости. 23.11.1903



Вскользь

Медицинский вечер в зале Благородного собрания назначен на завтра.

В этих случаях обыкновенно пишут:

— Мы вполне уверены, что отзывчивая публика...

Я позволю себе отступить от этой формулы.

Я вовсе не уверен: в таких вещах никогда нельзя быть уверенным.

Есть в Одессе сотни интеллигентных людей, даже среди врачей и вообще бывших студентов, которые поспеют купить билет, потому что скажут:

— Дешевый — неловко, а дорогой — дорого...

Но вечером, возвращаясь из театра, они же завернут к Гоппенфельду — не из аппетита, а так просто, по случаю компании — и проедят ту же самую сумму и еще больше без всякого для себя развлечения и удовольствия.

Все это бывает на каждом шагу и даже успело примелькаться.

Когда я был учеником, на Ришельевской существовала кондитерская Пасхали, очень популярная в гимназической среде обоюго пола.

Там всегда было полно молодого люду в форменных шинелях или передничках.

Мы тогда часто воздерживались от искушения позавтракать на большой перемене для того, чтобы по дороге домой завернуть к Пасхали и съесть парочку микадо.

Нищие, как известно, охотно следуют за детьми: есть пред-рассудок, будто детское сердце отзывчивее.

Нищие заметили, что к Пасхали в известные часы собирались гимназистики и коммерсантики — собирались есть микадо, то есть тратить, что называется, лишние деньги.

Поэтому часто у входа в кондитерскую меня и моих друзей останавливала чья-либо протянутая рука.

Но мы отвечали хором:

— Бог подаст.

И шли есть пирожное.

Мы были мальчики небогатые, и у нас обыкновенно имелось в карманах ровно столько, в обрез, чтобы можно было съесть по одной штучке от каждого любимого сорта, — не больше.

Возможно, что будь у нас еще по пятаку сверх того, мы охотно отдали бы часть излишка нищему. Но ведь у нас была только «необходимая» сумма!

На этом основании мы говорили: «Бог подаст» и затем съедали по одному микадо, по куску баклавы и по шоколадному птифуру.

И так как нищие были неутомимы и протянутая рука на пороге у Пасхали красовалась почти каждый день, то мы скоро со всем этим свыклись и слова «Бог подаст» выговаривали так же машинально, как «здравствуйте» или «виноват».

Многие, очень многие из нас до сего дня сохранили во всей полноте эту трогательную отзывчивость детского сердечка.

Поэтому никогда нельзя быть уверенным в успехе симпатичного дела; ибо публика очень просто может отозваться «Бог подаст» и потом истратит тот же пятак на баклаву.

Я совсем, совсем, совсем не «уверен» — я даже всегда в таких случаях очень побаиваюсь за успех вечера, и именно поэтому надо нам поговорить о завтрашнем празднике более или менее серьезно.

В русском студенчестве есть одна особенность, бьющая в глаза при сравнении с «заграницей»: русское студенчество симпатичнее.

Я еще не видел человека, который отрицал бы это.

На западе студенчество, пожалуй, более подготовлено, более выкормлено и оттого более способно к упорной работе, но всюду оно менее симпатично, чем русское.

Студенчество в России как-то идеальнее настроено: более великодушно, впечатлительно, чутко.

Несмотря на все рыцарски-дуэльные традиции немецкого бурша, русский студент все-таки в душе во сто раз рыцарственнее западного коллеги.

Чем это объяснить?

Ведь нельзя же сказать в огульной форме, что русские «лучше» немцев или немцы «хуже» русских.

Дело совсем не в превосходстве расы над расой, а просто в разных местных условиях, которых мы здесь перечислять не станем.

Но среди этих местных условий есть одно, которое мне кажется главным.

Это — стремление к образованию среди небогатых и даже незажиточных слоев населения России.

Кажется, нигде в Европе не наблюдается ничего подобного. В Европе по большей части только обеспеченные люди идут в университет.

Трудно там найти студента, весь бюджет которого слагался бы из личного заработка, вроде частных уроков.

Европейский студент живет почти всегда на содержании у родителей; если есть уроки, этот заработок идет ему, так сказать, на булавки.

Такой студент, который не только сам себя содержит, но еще родным кое-что высылает, на Западе почти немислим.

В России, наоборот, все это представляет обычнейшее явление.

Здесь не место и не время углубляться в дальнейшие причины, по которым русский бедняк рвется в университет, а немецкий не рвется.

Для сегодняшнего нашего разговора достаточно констатировать факт: западноевропейское студенчество есть корпорация сытых; русское студенчество есть корпорация борцов за хлеб насущный.

В этом, по-моему, и зарыта собака.

Я вовсе не враг сытых: напротив, я их друг и поклонник настолько, что желал бы даже всевозможно увеличить их число.

Сами по себе сытые могут быть очень симпатичными людьми.

Но где соберутся воедино несколько сытых, там можно биться об заклад, что не во имя Божие они собрались.

Оттого человеку и велено разговляться *после* молитвы, что сытому уже не до имени Божия.

Это, конечно, не значит, что сытые, собираясь воедино, собираются с дурными целями.

Ничуть. Цели могут быть самые безобидные — и это блистательнее всего доказывают именно сами чемпионы сытости, западноевропейские студенты.

Они собираются воедино почти всегда во имя самых безобидных целей.

Они учреждают корпорацию Tubingia с целью пить пиво, петь песни и носить через плечо желто-красно-зеленую подтяжку и корпорацию Turingia с целью петь песни, носить через плечо красно-черно-голубую подтяжку и пить пиво.

Можно ли иметь что-нибудь против этого?

Без сомнения, ничего. Ибо, если не в юности веселиться, то когда же?

Мы не только не осуждаем западноевропейское студенчество (да и не за что было бы в этом отношении осудить) — мы даже одобряем его и охотно поем его песенку:

— *Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus...*¹

Но все-таки мы понимаем, что где собрались три человека, питающихся в поте лица своего, там уже не то, что в собрании сытых.

Сами по себе люди, воюющие с судьбой за хлеб насущный, вовсе не должны быть образцами всех доблестей. У них всегда тьма недостатков.

Но когда они собираются воедино, то дух Божий витает между ними — дух сочувствия, сострадания, взаимопомощи.

Мы ничего не имеем против Тюрингии и Тюбингии, учреждаемых сытыми, но борцы хлеба насущного учреждают помощь друг для друга, выручают друг друга из беды и затруднений, помнят брат о брате и не дают в обиду.

Сытые развлекаются; борцы хлеба насущного совершают некое служение.

Оттого разница в психологии между западноевропейским студенчеством и русским и оттого русские симпатичнее.

Этим надо дорожить, и надо понимать, что счастлива та страна, где и бедного тянет к высшей школе.

Если бы это изменилось, если бы вдруг и в России у незажиточных слоев пропало влечение к университету, было бы о чем погустить.

Если бы высшая школа стала внезапно доступной только для сытых, что-то очень хорошее, очень светлое погасло бы в русском небе.

Кто умеет дорожить тем, что дорого, пусть поможет сохранить высшую школу для тружеников хлеба насущного и тружеников хлеба насущного для высшей школы.

Русский студент не бежит от работы — он ищет ее. Он всегда и вечно ищет уроков, переписки, даже службы.

Если бы работа имелась, он то уж, без сомнения, выкопал ее со дна морского и заплатил бы и за свой полубед, и за каморку, и за право слушания премудрости.

Если же ему не хватило денег, то ясно как Божий день, что это не его вина, что просто не нашлось работы, что в городе нет еще достаточного спроса на труд интеллигента; ясно, что имею-

¹ Будем радоваться, пока мы юны (*лат.*).

щийся спрос позволяет студенту-труженику жить под кровлей и кое-как питаться, но пока еще не дает ему средств платить за науку; и, таким образом, между тем, что он может заработать, и тем, что ему необходимо для жизни и ученья, есть непобедимая, от него не зависящая разность.

Некому пополнить эту разность, кроме интеллигентного общества.

И если оно откажется, тогда юноши-труженики уйдут из университета.

Сохраните университет для труженика и труженика для университета!

Altalena

Одесские новости. 26.11.1903



Вскользь

СПЕНСЕР

Действительно ли устарела «Синтетическая философия» и книги Спенсера уже не могут воспитать поколения — об этом я не могу компетентно судить.

Но думаю, что, если это и правда, то в данном случае такая правда лучше всякой похвалы.

Когда нация говорит великому полководцу: «Ты нам больше не нужен», — это значит:

— Ты выиграл все битвы, ты всех покорил, и больше тебе не с кем сражаться.

Если бы и верно было то, что новые поколения будто бы дали Спенсеру отставку, переселив его тома с рабочего столика на полку книжного шкафа, — это была бы почетная отставка, отставка-триумф, равносильная признанию:

*Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном все земное.*

Перевести книгу из отдела настольных руководств в отдел классиков — это все равно, что сказать автору ее:

— Твой подвиг завершен, твое торжество исполнилось, возражения смолкли; ты научил всему, чему хотел научить, твои мысли проникли во все светлые умы и стали их мыслями; отдохни, победитель!

И в этом смысле «отставка», будто бы данная Спенсеру новыми поколениями, была бы актом справедливости, потому что Спенсер, действительно, завершил свой подвиг и дожил до своего торжества.

Это полное торжество заключалось, конечно, не в тех знаках уважения и любви, которыми просвещенное человечество ласкало его престарелые годы.

Если бы странной игрой каприза люди забыли о старике и дали бы ему дожить до кладбища среди общего забвения — это не умалило бы ни на йоту полноты его торжества.

Даже всеми забытый, Спенсер мог бы с улыбкой вслушаться в то, что говорится теперь в бесчисленных книгах и речах, на беспредельной поверхности земли, всюду, где есть образованные люди, и с улыбкой подумать про себя:

«Пусть эти новые люди не называют моего имени, пусть не упоминают о моих писаниях, но вся их умственная работа насквозь пропитана моим мировоззрением, — все, чему они учат, есть развитие того, чему я их научил; все, что строят, укреплено на фундаменте, мною положенном!»

Это строгая правда. Мы можем теперь не только забыть о Спенсере — мы даже можем во многих деталях противоречить ему, ополчиться против него, но, помимо нашей воли, всякая наша мысль будет проникнута тем самым сознанием, для упрочения которого он создал свой труд, почти нечеловечески огромный.

Именно «сознанием». Я нарочно не говорю ни «идеями», ни даже «мировоззрением»; ближе всего здесь подходит слово «сознание», потому что из школы Спенсера люди прошлого века вышли с совершенно обновленным взглядом на все вещи, с совершенно другим отношением ко всем восприятиям, чуть ли не с совершенно обновленной психикой; и только потому, что термин «новая психика» был бы чересчур смел для ответственности профана, я заменяю его более осторожным выражением: новое сознание.

Школа Спенсера обновила сознание. Мы не только по разным вопросам иначе полагаем теперь, чем прежде, но мы и знаем теперь иначе.

И по сегодня есть еще мода жаловаться на то, что истинное познание нам, людям, недоступно, и что в этом отношении мы с начала мира не подвинулись вперед.

Да, конечно, в то, что Спенсер раз навсегда отграничил чертогу «непознаваемого», ни мы, ни наши внуки не проникнут.

Но по сую сторону этой черты лежит доступное познанию, явления и законы, огромное, неисчерпаемое и благодарное поле для человеческой пытливости.

В этом поле мы не только с начала мира, но даже с начала прошлого века гигантски продвинулись вперед; можно даже сказать, что вряд ли мы так шагнули вперед за все предшествовавшее тысячелетие, как шагнули за один этот век.

Люди не такими вступили в XIX столетие, какими вышли из него на пороге XX. Произошла великая перемена.

Начиная прошлый век, люди стояли перед природой, как перед загадкой, состоящей из тысячи загадок.

Кое-что из этих загадок уже было разгадано, но в целом природа была еще грандиозной, подавляющей тайной. Ее непостижимое творческое богатство, выраженное в создании бесчисленного разнообразия явлений, заставляло мысль невольно призывать на помощь сверхъестественные объяснения, но сверхъестественное в то же время уже успело устареть и больше никого не удовлетворяло.

Таким образом, люди видели громадное величие мира явлений и не могли ничем объяснить его себе, а всякое необъяснимое величие неизбежно угнетает дух, отягощает его крылья и не дает ему использовать всю ту широту размаха, на которую он внутренне способен.

Газеты печатаются теперь на машине Маринони, в которую с одной стороны бежит бесконечная лента белой бумаги, а с другого конца выбрасываются отпечатанные, разрезанные и аккуратно сложенные экземпляры.

Закройте машину ширмой и приведите в эту комнату крестьянина; он увидит только то, что с одной стороны входит бумага, а с другой выходит сложенная в восьmero газета; и так как это превращение останется для него совершенно необъяснимым, он сейчас же оробеет и почувствует себя стесненным и подавленным.

Тогда отодвиньте ширму и покажите крестьянину все части машины; потом поведите его в наборную и покажите, как складывается текст, как отливаются стереотипы; сделайте так, чтобы каждая мелочь в этом чуде стала ему понятна, и тогда робость его улетучится и он перед этой машиной почувет себя уже не пугливым и слабым, а полновластным хозяином.

Если вы хотите, чтобы человек не боялся пороху, введите его в ту лабораторию, где порох изготавливается.

Эта перемена произошла с людьми в течение XIX столетия.

Все в природе было для них таинством и все их устрашало; но вот их ввели в лабораторию природы, и они своими глазами увидели, шаг за шагом, процессы ее творчества, и тогда страх исчез и мы в первый раз по-настоящему почувствовали себя господами над природой.

Только над тем, что понятно, можно господствовать.

Изумительный рост технического чудотворства, которым блеснул XIX век, объясняется той же причиной: люди поняли тайну природы, освободились от робости перед нею и ощутили в себе большую, чем прежде, отвагу для ее завоевания.

Этот переворот совершила эволюционная теория, неразрывно вошедшая в сознание каждого культурного человека. Она объяснила загадку огромного творчества природы, которое оглушало и ослепляло человека; она расчленила это творчество на отдельные моменты и показала медленные, естественные переходы от момента к моменту, от этапа к этапу. Она в подавляющей и пугавшей сложности явлений проследила закономерность и простоту. Она не убила благоговения перед величием вселенной и ее сил, но уничтожила робость и позволила людям окончательно почувствовать узды природы у себя в руках.

Эта заслуга принадлежит далеко не одному Спенсеру: не он, а другие люди первые открыли дверь в лабораторию феноменов и проследили процесс эволюции в отдельных областях явлений.

Но Спенсер распространил свет нового метода на всю необъятную поверхность познаваемого мира, не оставив, кажется, ни одного угла незаренным. Он проследил с поразительной силой ясновидения закономерную постепенность природы во всех областях — от образования туманных пятен до развития форм общественности и отвлеченных понятий. Он показал, что закон эволюции, действующий через вечное собирание энергии и рассеяние вещества и ведущий от простого к сложному, от однообразия к многообразию, вечен и властен не для одной только области познания, но для всего *scibile humanum*¹ — и что, следовательно, открытием нового метода люди обнажили перед собой всю целиком кровеносную систему вселенной. И он так удачно и глубоко вколотил это в умы современников, что за период нескольких десятилетий весь культурный мир проникся и пропитался новым сознанием.

¹ Человеческое знание (*лат.*).

Спенсер — говоря уподоблением — не открыл пара, но именно он, а не кто другой переплел поверхность земли густой сетью железных дорог.

Оттого школа эволюционизма по праву может присвоить себе имя школы Спенсера.

Эта школа обновила, и переродила нас, и главным образом освободила. Все страшилища тысячелетий, все предрассудки, все «чудища обла», прежде заявлявшие о себе гордыми словами Данте: «Ничто не было сотворено раньше меня, кроме вещей вечных, и я тоже продлюсь вечно», — все это ныне стало для нас нестрашным, преходящим и победимым, ибо, проследив в прошлом тот момент, когда оно естественно возникло, мы тем самым прозрели в будущем тот момент, когда оно естественно рухнет, уступив место новым временным формам. И никакие препятствия теперь уже не могут нас привести в отчаяние, ибо мы знаем, что всякое препятствие будет стерто вечным напором течения событий и что человечество, как и все остальное в природе, вечно и неугомонно приспособляясь, никогда не остановится в своем походе к наибольшему гармоническому равновесию.

Altalena

Одесские новости. 27.11.1903



Вскользь

TEMPORA MUTANTUR¹

— О! Кого я вижу!

Мы обнялись и расцеловались, так-таки на самой Дерiba-бушке.

Причем он говорил:

— Сколько лет, сколько зим... Как тебе ездилось? Хорошо попутешествовал? Повидал былых знакомых, тряхнул старинной? Рассказывай!

Но на улице, как вам известно, слякоть и разговаривать неудобно, поэтому я согласился пойти в греческий «ксенодохион» выпить по чашке кофе по-турецки с уговором, что я буду рассказывать, а он будет платить за кофе и за рахат-лукум.

¹ Времена меняются (*лат.*).

И вот мы уселись и нахлобучили шапки.

— Ну! Рассказывай, — потребовал он. — Кого видел? Эх, завидовал я тебе! Все бы, кажется, отдал, чтобы опять пожить, как тогда с тобою во дни оны, под римским небом попить вина Кастелли, покататься за городом с кем-нибудь из прежних подруг. А ты, счастливцев, во все это снова окунулся! Рассказывай.

И я ему ответил:

— Ни во что я не окунулся, и нечего рассказывать.

— Как так?

— Очень просто. Не знаю, помнишь ли ты одну французскую новеллу. Двое, когда-то любившие друг друга, затеяли через много лет нарочно встретиться опять и опять провести вместе веселую неделю. Они помнили, что когда-то им было вместе весело и уютно, и думали, что стоит только съехаться опять в том же городе и поселиться в той же гостинице, чтобы снова пережить то же настроение. Но когда они исполнили эту затею, оказалось, что прошлое не повторяется. Несмотря на прежнюю обстановку, они не сумели больше попасть в тон ни этой обстановке, ни друг другу и проскучали убийственно всю неделю, и наконец разъехались разочарованные. Понимаешь?

— Н... нет, — сказал опечаленный приятель. — Я этот рассказ помню. Но ведь там прошло больше 10 лет: те люди успели сильно постареть. А наше с тобой доброе старое римское время было ведь всего года два или три тому назад. Когда же ты успел так состариться? Это одно, кроме того, герой рассказа встречается со своей прежней дамой сердца. Мы с тобою поклонялись там, в разное время, целой дюжине дам сердца. С кем же это из них ты так неудачно теперь встретился?

— Гм, — затруднился я, — собственно говоря, ни с кем. Я имел в виду не прежних дам нашего с тобою сердца, т. е. не их одних. Не с ними одними вышла у меня неудачная встреча.

— А с кем еще?

— С одной большой и главной дамой нашего сердца. Мы с тобой ухаживали и за Неллой, и за Ольгеттой, и за Кариной, но ведь не их же мы любили. Наша истинная любовь была *la vie de bohème*¹, цыганское студенческое житье. Правда?

— Правда. И?

— И с нею, с этой былой цыганской жизнью, хотел я снова в последний раз встретиться и потряхнуть стариной, а не с Кариной и Неллой. Карина и Нелла были бы только подробностями

¹ Жизнь богемы (фр.).

этой жизни, и не больше. Когда я ехал на старое римское пепелище, я думал не о них, а обо всей атмосфере симпатичного бесшабашья, то веселого, то грустного, но всегда хорошего, которой мы с тобой так досыта надышались во время оно...

— И?

— И не вышло. Я жил снова на тех же улицах, ссорился из-за блох с той же хозяйкой, давал на чай тому же швейцару, но того, прежнего настроения уже не было, и никак я не мог снова попасть в тон нашему доброму старому времени...

— И?

— И тогда я вспомнил тот французский рассказ и обругал себя дурнем за то, что забыл о нем прежде. Прошлое не повторяется. Друзе!

— Что?

— Если тебе сегодня понравилась песенка, не позволяй ни завтра, ни через пять лет, чтобы опять ее тебе пропели. Она тебе не понравится больше.

Мой приятель сидел совсем грустный.

— Послушай! — сказал он.

— Что?

— А все-таки ты кого-нибудь из них видел, из наших подруг? Или хоть узнал, что они подельвают?

— Не все, но о некоторых знаю.

— Ну, например, как живет Нелла?

— А ты хорошо помнишь Неллу? — переспросил я. — Помнишь, какая это была веселая и смелая девочка и как эта смелость шла к ее стану и личику? Помнишь, какая она была дерзкая и жестокая и как она красиво хохотала?

— Помню.

— А помнишь, как она однажды в июне выбралась из дому и гуляла с нами в Колизее и не боялась риска, что мать и отчим заметят и выгонят навсегда из дому?

— Помню.

— Нелла теперь замужем, и я знаком с ее мужем. Он не хотел показать ее мне. Впрочем, он о ней много рассказывал. Они живут на пятом этаже, и у них очень мило. Она стала домоседкой и никуда не ходит. У них живет ее сестра, еще девица, и Нелла ее никуда не выпускает. Муж говорит, что только изредка ему удастся вытащить Неллу в театр. Но при этом, если ложа досталась ему от антрепренера по знакомству бесплатно, тогда Нелла после второго действия говорит, что ей

скучно, и торопит вернуться домой; зато, если за ложу заплачено, то Нелла настаивает, чтобы дослушать до конца и водевиль.

Мой приятель сидел уже совсем мрачный.

— А Ольгетта? — спросил он.

— А ты помнишь Ольгетту? — переспросил я. — Ты помнишь, как она хорошо пела и какие она тебе писала славные письма, умные, простые, трогательные, и как просила тебя вырвать ее из родного дома, как из ада?

— Помню.

— А помнишь, как она хитро устроила, чтобы мы оба поселились у ее матери, которая ничего не знала и была в восторге от двух бедных, но щедрых иностранцев? И помнишь, как это открылось и нас выгнали, а ее заперли дома и как она из-под замка лазила к нам поболтать через слуховое окно и через крышу на высоте седьмого этажа?

— Помню.

— Я написал ей письмо: Ольгетта, я снова в Риме и был бы рад вас видеть. Она при встрече спросила: как поживаете? Как дела? Вы теперь, вероятно, стали богатым? — Я ответил: помилуйте, Ольгетта, как бедняком был, так и остался. — А зачем же вы приехали сюда? — Подышать римским воздухом. — А во сколько франков обойдется вам это удовольствие? — Во столько-то. — Но ведь это много? — Немало. — Значит, вы все-таки стали богатым, если тратите столько ради удовольствия? — Нет, Ольгетта, я беден по-прежнему, и теперь у меня, например, нет и десяти лир в кармане. А вы как поживаете, Ольгетта? Поете еще? Спойте что-нибудь. — И она сказала: не хочется петь.

Мой приятель долго молчал.

— А Карина? — спросил он потом.

— А ты помнишь Карину? — переспросил я. — Помнишь, какая она была кроткая и добрая?

— Помню.

— В прошлом году, в августе, Карина умерла.

Мой приятель заплатил за кофе и за рахат-лукум и, выходя, спросил не то меня, не то себя самого:

— Какая же из трех лучше сделала?

Altalena

Одесские новости. 4.12.1903



Палестина

Предложение заселить Уганду сослужило сионизму большую службу. Это всем уже понятно, и трудно было бы по этому поводу высказать что-нибудь новое. Надо только сделать одно замечание: противники восточноафриканского проекта охотно печатают сведения и даже слухи о непригодности этой страны для колонизации. Мне кажется прежде всего, что раз есть комиссия и будет экспедиция, неудобно забегать вперед и пророчествовать в ту или другую сторону, да еще полагаясь на слухи или случайные справки. Но, кроме того, мне кажется, что такая тактика — стремление нарочно обесценить английское предложение — в высшей степени вредна. Это предложение нам дорого главным образом потому, что оно как раз навсегда уничтожает все малодушные возражения о практической неосуществимости еврейского государства. Нам очень часто приходилось слышать: «Да ведь вам прежде всего земли не дадут!» После VI конгресса мы получили право отвечать: «Землю готова дать Англия, если только мы пожелаем взять». Неужели вы хотите, чтобы нам на это с насмешкой возразили: «Да, вам предлагают заселить такую землю, которая... не годится для заселения!»

Я полагаю, что Уганда в конце концов окажется очень недурным участком земли — не без недостатков, конечно, да ведь и в Италии есть малярия и пеллагра. Я полагаю, что люди, которые некогда в будущем заселят эту страну, заживут там припеваючи, если, конечно, сумеют устроиться как следует. Я полагаю, кроме того, что предложение англичан сделано с искренним желанием помочь нам (и в то же время, конечно, заселить один из своих пустырей), а совсем не с расчетом бросить нам лицемерно такую кость, на которой нечего обглодать. Я полагаю, что если весть о новом предложении, исходящем от Бельгии и относящемся к заселению евреями Конго, верна, то и это предложение сделано чистосердечно и добросовестно, в полном искреннем убеждении бельгийцев, что они предлагают нам такую вещь, которая выгодна и для нас. Я полагаю так потому именно, что считаю евреев силой, которая способна оживить и обогатить всякую землю, и думаю, что просвещенные и дельные люди, будь они англичане или бельгийцы, не могут не сознавать этого.

Иными словами, в той сделке, которая в будущем даст нам собственный клочок земли, мы явимся в высшей степени выгодными контрагентами для страны, с которой эта сделка будет заключена, а выгодному контрагенту ни один серьезный предприниматель не предложит таких условий, которые заведомо неприемлемы. Кто ценит по достоинству еврейскую народность, тот не может не понимать, что, предлагая нам землю, и англичане, и бельгийцы, в их собственном интересе, должны были искренне иметь в виду и наш интерес.

Тем не менее я безусловный противник и Уганды, и Конго, и какого угодно Эдема, если это не Палестина. В ближайшем будущем я надеюсь развить достаточно эту точку зрения на роль Палестины, но и сегодня мне бы не хотелось ограничиться одним утверждением без всяких доводов.

Сионистское движение, как уже не раз указывалось, не есть реакция против внешних враждебных давлений. Оно возникает из инстинкта национального самосохранения: этот инстинкт так же могуч, естествен, универсален, как инстинкт личного самосохранения или продолжения рода. Антисемитизм, угрожая этому инстинкту национального самосохранения, заставил его пробудиться: таким образом, антисемитизм явился только поводом (крупным, но далеко не единственным) к возрождению национального чувства среди евреев, но не причиной и источником этого чувства, ибо источник его — в вечном и неистребимом инстинкте, который каждая народность неугасимо носит в себе, пока живет, и который особенно у евреев проявляется с исключительной, почти невероятной мощью. Следовательно, для того чтобы познать во всех подробностях истинную сущность сионизма, надо спуститься к источнику и проанализировать еврейский инстинкт национального самосохранения.

Инстинкт национального самосохранения есть стихийное стремление оградить свою национальную индивидуальность, со всеми ее особенностями, от изменения под влиянием посторонних давлений. Отсюда ясно, что инстинкт этот, в сознательной или бессознательной форме, неустанно требует для данной народности такой обстановки, к которой национальная индивидуальность этой группы была бы наиболее приспособлена, иными словами — в которой эта индивидуальность встретила бы наименьшее постороннее давление. Еврейская национальная индивидуальность, какою она представляется теперь, впитала

в себя, конечно, немало новых особенностей за долгие века бродяжничества, но зерно ее, сущность ее, то, что ученые называют «*духом юдаизма*» и отпечаток чего находят на всех решительно созданиях еврейского ума в разные годы и в разных странах, — это «нечто» является совершенно чистым от посторонней пыли, приставшей к нашим подошвам во время скитальчества; и из того, что в духовном складе Лассалья и Берне, живших в XIX веке этого скитальчества, ярко выделяются те черты, которые характеризуют духовный склад библейских пророков, росших еще на почве Палестины, явно вытекает, что сущность еврейской национальной индивидуальности есть именно палестинская индивидуальность. Это — психологически тот же вывод, к которому, изучая черепа, антропологически пришел г-н Юдт в книге «*Jüdische Statistik*»: «еврейский тип определенно в Палестине».

Из этого логически следует, что наиболее приспособленная среда, которой требует инстинкт национального самосохранения, может быть дана только Палестиной. Только в Палестине сущность национального еврейского духа могла бы развиваться вполне свободно и самозаконно, не терпя ущерба от необходимости приспособляться в чужеродной обстановке. Поэтому, если и в другой стране евреям, может быть, будет житья привольно и сытно, то истинное еврейство как таковое в ней возникнуть естественно не может.

Правда, на VI конгрессе у Макса Нордау вырвалась фраза: «Кто говорит, что мы должны спасти еврейство, а не евреев, тот пусть явится с этими взглядами на спиритический сеанс, а не на Базельский конгресс». На эту довольно-таки циничную фразу мы могли бы ответить, что тому, кто из-за евреев забывает о еврействе, место в заседании благотворительного общества, а не на конгрессе возрождения. Но мы этого не скажем, ибо понимаем, что со стороны почтенного руководителя это не более как неудачный ораторский экспромт и что всякий истинный сионист не постигает блага евреев иначе, как в виде полного, всестороннего и свободного развития еврейства. Если бы нам не было никакого дела до еврейства, а только до евреев как людей, то гораздо проще и гуманнее было бы пропагандировать среди евреев идею всеобщего обращения хотя бы в лютеранство.

Сущность сионизма, который является выражением обще-еврейской заветной потребности, есть сохранение еврейства для полного, свободного, всестороннего развития. Такое разви-

тие возможно только на почве Палестины. Вот почему Палестина не может быть вычеркнута из программы сионизма иначе, как насильственно и противоестественно.

Это — чисто априорное обоснование роли Палестины, но, кроме того, всем известны, конечно, многочисленные практические соображения — хотя бы то, например, что вряд ли масса в таком же количестве откликнется на призыв к простому переселению, в каком откликнулась бы на призыв к переселению в Святую землю.

Видя в Палестине неотъемлемую цель нашего движения, я не могу не видеть в Уганде или Конго серьезных помех. Я, конечно, тоже слышал все заверения на тему: «одно другому не мешает»; но не могу не сознаться, что все эти заверения оставили во мне впечатление или непродуманности, или неискренности. Если бы дело шло просто о рациональном переселении в Уганду тех тысяч евреев, которые теперь нерационально переселяются куда глаза глядят, тогда никто бы не встревожился и общество JСА охотно занялось бы этим проектом. Но речь идет о настоящем еврейском штате с собственным правительством и законодательством, т. е. о первом опыте еврейского государства. Я прямо не постигаю, как можно не понять, что такого рода первый опыт неминуемо поглотил бы все и духовные, и финансовые силы сионизма. Люди вокруг до сих пор сомневаются в том, что можно ли (как они выражаются, «искусственно») создать государство, а мы, кажется, уже мечтаем создать целых два государства сразу; причем одно, так сказать, по необходимости, а другое, так сказать, из принципа...

Наше движение, конечно, богато силами и будет еще богаче со временем, но и нам не следует чересчур уж смешить публику. Или государство в Уганде, или государство в Палестине; если в Уганде, то забудем о Палестине. Уганда, безусловно, угрожает убить Палестину.

Истинный победитель в затруднениях жизни есть тот, кто умеет использовать во благо себе самое затруднительное положение. Мы должны сделать то же самое с Угандой и Конго (если Конго не сказка) и вообще со всяким предложением рая земного вне Святой земли. Мы должны устроить так, чтобы все эти предложения, грозящие навеки удалить нас от Палестины, послужили нам, напротив, козырем для достижения Палестины.

Я считаю эту мысль достаточно ясной. Если такое государство, как Англия, нашло для себя выгодным предложить евреям Уганду, то в умелых руках это предложение может по-

служить очень убедительным и заманчивым аргументом для Турции. Финансы Турции плохи, в будущем году они станут еще плоше. Кроме того, если Турция медлила до сих пор, она ничем не рисковала. Но медлить теперь, когда явились сильные конкуренты, значит рисковать полной и вечной потерей удобного случая заселить пустынную страну и превратить солидный хронический убыток в еще более солидный и постоянный доход. Все это ясно и уже многими высказывалось.

Таким образом, нет недостатка, выражаясь по-американски, в «платформе» для новых, более плодотворных переговоров с турецким правительством. Но ведутся ли переговоры? Желают ли вести эти переговоры те лица, от которых это зависит? Не решили ли они махнуть на все рукой?

Прискорбно, конечно, то, что в этом огромном движении столь многое зависит от настроения одной личности; но раз это уже так, было бы лишней потерей времени — ограничиться сетованием. Надо не сетовать, а действовать. Надо нам, еще *желающим*, еще не махнувшим рукой, сделать так, чтобы принудить наших официальных представителей снова и с новой энергией начать турецкую кампанию, именно теперь, когда случай так благоприятен. Вместо того чтобы растерянно смотреть по сторонам, декламировать или ругаться. Мы, еще не махнувшие рукой, должны активно доказать наше твердое желание, чтобы борьба за Палестину продолжалась, мы должны ясно выраженным массовым заявлением напомнить нашим представителям, что имя Святой земли еще не вычеркнуто из Базельской программы, и потребовать от них немедленных действий в этом направлении.

Я писал из Базеля и сохранил до сегодня это убеждение, что наши представители сами тоже остались внутренне верными девизу Палестины. Я даже допускаю, что в эту самую минуту, когда я пишу, д-р Герцль ведет с падишахом переговоры — под покровом обычной и неизвестно для чего нужной тайнственности. И если это так, то массовое заявление нашей воли только должно его порадовать как доказательство того, что он угадал и опередил заветные желания своих верителей. Но если это не так, если под затишьем действительно кроется отказ от Палестины, то массовое заявление верности Палестине с нашей стороны и категорическое требование, чтобы и наши верхние представители оставались ей верны и снова направили все свои усилия на Святую землю, является нашим долгом,

и нам придется, быть может, горько потом каяться, если мы этого теперь не сделаем. Мы должны *напомнить*. Если напоминание подействует, тем лучше. Если бы напоминание не подействовало, тогда мы, по крайней мере, будем ясно знать, кто с нами и кто против нас, и сможем ясно показать это на будущем конгрессе не только в прениях, но и в выборах. Ибо люди, которыми мы дорожим, дороги нам как борцы за Палестину, без которой немислимо наше полное возрождение. Если эти люди захотят перешагнуть через Палестину, мы должны твердо перешагнуть через них, с сожалением, но без малодушия, без колебания, согласно первому и последнему нашему правилу: во что бы то ни стало.

Владимир Жаботинский

Одесские новости. 5.12.1903



Вскользь

На последнем четверге я хотел встать, попросить слова и произнести речь.

Милостивые государи!

Я не согласен с почтенным докладчиком.

Я не считаю отличительным признаком интеллигента — «профессиональное учительство».

Это совершенно противоречило бы общепринятому значению слова «интеллигент».

Позвольте, а врач? Разве он хоть на йоту является профессиональным учителем?

А между тем врач — безусловно, интеллигент.

А инженеры? А купцы и домовладельцы с университетскими дипломами?

Нет, милостивые государи, я предлагаю лучше вернуться к старому признаку.

Сказано в одной книге:

«Ты интеллигент, потому на тебе пиджак интеллигентный».

Вот. Это оно и есть. Это было и навек останется главным классовым признаком интеллигенции.

Я только предложил бы маленькую, совершенно несущественную поправку.

Заменить пиджак — носовым платком.

В носовом платке я вижу еще более характерный классовый признак интеллигентности, чем в пиджаке.

Особенно, милостивые государи, здесь, в этом клубе, и именно по четвергам.

Я объяснюсь.

Одна из главных особенностей истинного интеллигента — несомненно, то, что он кладет отпечаток интеллигентности на все им усвоенное или присвоенное.

Самую простую мысль он, интеллигент, выразит интеллигентно и даже список белья, отданного прачке, напишет интеллигентно.

Иными словами, особенность настоящего интеллигента заключается в том, что на все им усвоенное или присвоенное он накладывает свой классовый признак.

Но взгляните вокруг себя, милостивые государи.

Вы видите вокруг себя целое сборище интеллигентов и можете свободно изучить этот любопытный класс современного общества.

Скажите же, случилось ли вам когда-либо видеть, чтобы здешний интеллигент, присваивая себе стул, положил на него — на время перерыва — свой пиджак?

Безусловно, никогда, милостивые государи.

Не пиджак кладут интеллигенты на присвоенные стулья, а носовой платок.

Носовой платок как явное доказательство того, что стул присвоен интеллигентом.

И все это понимают.

Подходя во время перерыва к стулу и видя на нем носовой платок, каждый из нас сразу понимает, что это значит, и говорит своей спутнице:

— Идемте искать дальше: тут уже сидит интеллигент.

Разве это не достаточно ясно?

Разве из этого всеобщего признания не вытекает, что именно носовой платок является классовым признаком интеллигента — тем признаком, который он, интеллигент, накладывает на все, им усвоенное или присвоенное?

Это может быть доказано и от обратного, милостивые государи.

Вообразите, например, что вы занимаете на четверг свободный стул — и вдруг вам говорят:

— Этот стул уже присвоен интеллигентом.

И вы, без сомнения, ответите:

— Почему же на нем нет носового платка?

Или:

— Не мое дело. Разве на этом стуле есть носовой платок?

Все мы, иными словами, ясно чуем интеллигента там, где есть носовой платок, и упорно отрицаем интеллигента там, где носового платка нет.

И это, милостивые государи, не только по отношению к стульям одесского Литературно-артистического общества.

Нет-с, не только.

Возьмите даже добрые три четверти из нас, здесь присутствующих, и поставьте в шеренгу.

И отнимите у всех носовые платки.

А потом посчитайте — много ли в шеренге окажется интеллигентов? Посчитайте!

И вы неопровержимо увидите, что я, безусловно, прав, видя в носовом платке большой классовый признак интеллигента...

Такую речь хотел я произнести, но, по робости характера, не осмелился.

И поэтому решил написать об этом.

Ведь ни о чем другом все равно не напишешь...

Altalena

Одесские новости. 6.12.1903



К покушению на Макса Нордау

О том господине, который стрелял в г-на Макса Нордау, не может быть двух мнений; это, без сомнения, человек помешанный. Следовательно, было бы ошибкой придавать его нелепой выходке какое бы то ни было значение: надо просто пожать плечами да сердечно порадоваться, что судьба уберегла почтенного г-на Нордау от опасности. Если друзья сионистского дела будут единодушны и твердо заявят, что выходки помешанных людей в счет не идут, то никому не удастся сделать в этом случае из мухи слона, и об этом бессмысленном происшествии через неделю не сохранится и воспоминания.

Было бы, однако, желательно, чтобы это событие не прошло бесследно в другом смысле. Ни для кого не тайна, что Уганда вызвала большие нелады среди сионистов. Это вполне естественно: без споров и разногласий не развивается ни одно движение. Но уже с некоторого времени начинает казаться, что господа

спорщики пересаливают в своем усердии. Господа уполномоченные из России чуть ли не собираются поставить г-ну Герцлю ультиматум: или похерь Уганду без всяких разговоров, или мы с тобой все порываем. На это решение — весьма, конечно, опрометчивое и совершенно невыполнимое — противники могли бы спокойно ответить: умерьте ваш пыл, господа уполномоченные; вы раньше должны спросить у нас, т. е. у массы, считаем ли мы возможным обращаться к г-ну Герцлю в таком сердитом тоне, как вы задумали; мы еще, слава Богу, доверяем г-ну Герцлю и не желаем никаких ультиматумов и т. д. И все это можно было бы высказать друг другу спокойно и мирно. Вместо того защитники г-на Герцля отвечают на крайности уполномоченных тоже крайностями, т. е. чуть ли не грозят «отлучить» уполномоченных, забывая, что и среди последних есть личности заслуженные, почтенные и полезные.

В конце концов, конечно, все это уляжется и успокоится: и господа уполномоченные ничего дурного не сделают г-ну Герцлю, и господ уполномоченных никто «отлучать» не станет; но нельзя не сказать, что вся эта излишняя пылкость очень неприятна и неудобна и что люди с тактом действуют иначе: гораздо тише, зато плодотворнее. Поэтому было бы жаль, если бы нелепая выходка Хаима Лубина не напомнила всем, что вообще слишком много нелепостей тут делается и говорится, и что пора опомниться, успокоить нервы и взяться за обычную работу.

Делать дело можно только обдуманно, осторожно, не отказывая друг другу в возможных уступках. Так как Палестина дорога всем без исключения и так как многие опасаются, что о Палестине забыли, то эти многие имеют полное право *напомнить*. Но напомнить не в форме ультиматума, потому что ультиматум явился бы здесь незаслуженным оскорблением человека, всем нам, сионистам, очень дорогого. Форма напоминания должна строго соответствовать тому глубокому уважению, которым пользуется г-н Герцль у огромного большинства; в этом «напоминании» надо просто обратить внимание почтенного президента на то, что судьба Палестины многих тревожит, обстоятельно мотивировать эту тревогу и настойчиво указать на необходимость немедленной дипломатической работы для Палестины. Такое напоминание (снабженное внушительным количеством подписей) нисколько не умаляет всеобщего доверия к избраннику конгресса — так же точно, как доверие к избраннику не должно мешать массе контролировать его

и ставить ему на вид, корректно и искренне, свои законные желания. И можно быть глубоко убежденным, что такая форма «напоминания» была бы всеми поддержана единодушно, примирила бы острые разногласия и дала бы возможность продолжать нормальную работу, спокойно выжидая событий.

Г-н Нордау получит теперь отовсюду выражения той симпатии, которой он заслуженно пользуется среди соплеменников: полетят к нему поздравления и приветствия. Но лучшим вознаграждением за перенесенное потрясение было бы для него, несомненно, известие о том, что этот прискорбный случай отрезвил умы и водворил снова желанный мир.

Вл. Ж.

Одесские новости. 9.12.1903



Вскользь

К ВЫБОРАМ

Общество изящных искусств создало в Одессе рисовальную школу и вырастило ее.

Из этой школы вышло несколько человек, которые делают честь русскому искусству и еще впереди принесут ему много чести.

Были, конечно, недостатки в постановке дела, но ведь без этого нельзя.

Во всяком случае, школа была полезна и содействовала художественному просвещению края.

Следовательно, спасибо за это надо сказать Обществу изящных искусств.

И вот, когда Общество изящных искусств поставило школу на ноги, выступила на сцену госпожа академия.

Школа получила повышение в чине — титул «художественного училища», — и ученикам ее были предоставлены некоторые права — довольно-таки микроскопического свойства.

Зато академия совершенно отстранила Общество изящных искусств от влияния на дела им же созданного училища.

Совет общества не имеет больше никакого значения в важнейших внутренних вопросах художественного училища.

Роль общества сведена теперь на чисто хозяйственную функцию: оно ведает денежными делами и больше ничем.

Все прочее — постановка и направление преподавания, воспитательные вопросы и т. д. — вершится помимо совета общества, и сей совет не имеет даже права вмешиваться в такие дела.

Иными словами: вырастили, выкормили, а теперь — ска-тертью дорога.

Это было бы, пожалуй, нормально, если бы Одесское художественное училище достигло уже полной зрелости во всех отношениях.

Но ведь училище все-таки еще молодо и все-таки еще нуждается в руководительстве.

Причем ясно, как день Божий, что руководить им не может госпожа академия, ибо в Петербурге немислимо знать потребности южного края и сообразно им направлять кормило.

Руководить как следует художественной школой юга можно только на юге. Отстранив от училища совет Одесского общества изящных искусств, академия устранила *естественных* руководителей, т. е. именно тех, которые необходимы и никем не могут быть заменены.

И оттого многие из членов общества покачивают головами, глядя на Одесское художественное училище.

Из этого училища нет-нет да выйдет выдающийся художник, прошумит и попадет в Эдем славы и благополучия. И это, конечно, весьма хорошо.

Но ведь это единичные случаи. А масса? А вся эта синяя масса юных и милых «рисовальщиков», которых так много, так много, — что происходит с ними по окончании курса?

В Эдем славы и благополучия попадают единицы. А что с остальными? Что они потом делают? Что они — с позволения сказать — потом кушают и на какие заработки?

Неведомо. Но есть подозрение, что очень многие из них потом, после окончания училища, кушают весьма мало, ибо весьма мало зарабатывают.

Отсюда, может быть, следует, что в жизни юга нет потребности в художниках?

Вряд ли. Напротив, все больше замечается утомление некрсивостью той обстановки, среди которой мы живем: города наперебой хлопчут об украшении чуть ли даже не больше, чем о благоустройстве, частные лица все чаще стараются ввести определенный стиль в свою гостиную, в свой кабинет. Проявляется повсюду повышение эстетических требований: неуклюжая виньетка, которая прежде даже не смешила, теперь

раздражает. Растет пресса, которой скоро понадобятся иллюстрации и наброски; назревают книгоиздательства, которые требуют толковых и способных рисовальщиков.

А найдутся ли эти рисовальщики?

Вот это и вопрос. По крайней мере, многие из членов Общества изящных искусств думают, что это очень темный вопрос. Они говорят:

— Училище, может быть, хорошо приспособлено к тому, чтобы развивать выдающиеся таланты, но к тому, чтобы готовить среднего ученика для практической, утилитарной работы, которая позволит ему жить безбедно, — вот к чему наше училище совсем не приспособлено. Это доказано опытом.

— Отчего же Обществу изящных искусств не повлиять в этом смысле на постановку дела в училище?

— Оттого, что общество теперь лишено всякого влияния на дела училища...

Таким образом, сведено на нет, и в самой главной своей функции, одно из симпатичнейших обществ нашего города.

Жаль, без сомнения, но, в конце концов, не на одном ведь художественном училище свет клином сошелся.

Мало ли еще всякого дела лежит пред обществом, у которого такая сравнительно обширная программа, включающая даже издание собственного журнала?

Знаю, например, что в последнее время возникла мысль об устройстве художественной мастерской, на манер Западной Европы.

В Европе «художественные училища» не пользуются успехом. Учащиеся предпочитают «мастерские».

В таких «мастерских» они, группами, совершенно самостоятельно работают: профессор только руководит их упражнениями, являясь в известные дни в мастерскую и высказывая вслух каждому подробное мнение о его работе.

Хозяйственной стороной таких мастерских ведает староста, выбранный учениками.

Насколько эти «мастерские» полезны, видно уже из того, что европейцы, которые ничуть не глупее одесситов, предпочитают мастерские училищам.

Такая попытка в Одессе вполне уместна и возможна. Даровитое, чуткое Товарищество южнорусских художников — которое и на всероссийских передвижных выставках в последние годы не раз выдвигалось на первый план — легко выделит из себя лиц, способных быть хорошими руководителями «мастерских».

Такие «мастерские» были бы учреждениями гибкими, отзывчивыми на все то новое в искусстве, что действительно достойно внимания, и были бы свободны от казенщины и регламентации. А это значит, что они встретили бы и сочувствие, и самое несомненное содействие в публике.

Это — прекрасная задача для Общества изящных искусств, и если оно ее исполнит, то запишет свое имя еще на одной отрадной странице в книге художественного просвещения юга.

И одно ли это?

Взять хотя бы музей. У общества есть музей, но у музея... почти нет картин и статуй, потому что нет почти денег на покупку.

Тут нужна была бы сумма, хоть и небольшая, но верная и постоянная: чтобы, например, город ассигновал хоть по 1000 рублей в год на пополнение музея. Для города это вовсе не лишняя трата.

— Помилуйте, — слышал я от одного художника, — спуститесь в подвал к любому дворнику, и у него вы на голой стене найдете лубочную картинку, приобретенную за пятак. Нет бедняка, у которого не было бы, таким образом, своей картинной галереи. Как же можно быть целому городу без картинной галереи?

Резонно...

Думаю, что вообще всем членам этого общества, помнящим те времена, когда оно играло крупную творческую роль в художественной жизни Одессы, ничуть не улыбается нынешнее положение дел, когда это самое общество низведено в чин бухгалтера при своем же собственном училище.

И всякий понимает, что мириться с этим «полем» деятельности нет смысла и надо поскорее встряхнуться и снова взяться за созидание новых рассадников художественного просвещения.

Для этого нужно только, чтобы в совете общества сидели люди, понимающие нужды момента и не отлынивающие ни от работы, ни от ответственности за смелые шаги.

Выборы близко — в субботу. Выбывают г-да Эдуардс, Розенберг и Тодоров, членам общества необходима большая вдумчивость и осмотрительность при этом частичном обновлении совета.

Задача их облегчается, впрочем, тем, что из этих выбывающих один, хорошо знакомый обществу в качестве старательного и разумного работника, может быть, по общему мнению, вновь избран с пользой для дела.

Второй (г-н Эдуардс) уже наперед отказался; таким образом для него и для третьего — г-на Тодорова — собранию предстоит избрать энергичных заместителей, которые были бы проникнуты сознанием всех задач и потребностей общества.

О выдвигаемой кандидатуре г-на Нилуса можно только сказать одно: приветствуем. Ум и интеллигентность даровитого художника внесут, без сомнения, много свежего и полезного в довольно-таки сонное настроение нынешнего совета.

Кандидатура на третью вакансию еще не определилась. Называют разные имена.

Во всяком случае, кто бы ни был этот третий, это должен быть, несомненно, человек с художественным развитием и действительно способный принести обществу честь и пользу.

Altalena

Одесские новости. 9.12.1903



Вскользь

По поводу статьи об Одесском обществе изящных искусств г-н Y. Z. пишет:

«...Напрасно вы думаете, что общество безучастно относится ко всему тому, на что вы указывали.

Напомним хотя бы тот факт, что не далее как два года тому назад прежний совет почти *in corpore*¹ сложил свои полномочия именно благодаря тому, что новый устав художественного училища совершенно устранил всякое влияние общества...»

Характерно — и печально в своей характерности.

Автор желает доказать, что общество «не безучастно» — и доказывает это лишь тем, что совет общества вышел в отставку.

Симпатичное это положение дел, когда единственным средством выразить свое «участие» является уход в отставку *in corpore*.

Впрочем, участие проявилось и еще кое в чем.

Г-н Y. Z. пишет:

«...Затем, почти в каждом общем собрании подымались голоса, требовавшие выяснения положения общества по отношению к училищу и постановки на очередь других задач, предусмотренных уставом...»

Но!

¹ В полном составе (*lat.*).

«...Но, к сожалению, новый состав совета, — быть может, глубокомысленно, но тем не менее непонятно — молчит на все эти запросы, а признаков деятельности в каких-либо других отношениях проявляет слишком мало для своего двухлетнего существования.

С грустью приходится согласиться с вами, что настроение нынешнего совета "довольно-таки сонное"..."

Нет, видно, господа читатели, ваш покорный слуга, несмотря на свой даже слишком почтенный возраст, до сих пор остался наивным человеком.

Не могу я прямо понять, как это люди в наше время, именно в наше время, могут быть сонными.

Без сомнения, это очень наивно, а я все-таки не могу понять.

Добро бы пять или шесть лет тому назад — тогда не так стыдно было бы спать, потому что и время было сонное.

Но ведь теперь нет, кажется, вокруг нас ни одного сучка на дереве, который не старался бы изо всех сил зазеленеть как можно гуще.

Все решительно, от малого до большого, стремится в ширину и в высоту, стремится использовать до дна все, хотя бы маленькие, резервуары своей энергии.

Нет, кажется, крошечной школы, которая не заводила бы у себя вечерних курсов, нет книжной лавчонки, которая не старалась бы сбиться на библиотеку. Все тянется, все хочет, все расширяется.

Кажется минутами, будто у всех внезапно распахнулись глаза, и они вдруг увидели рядом с собой множество незапаханной земли и жадно ринулись рыхлить и сеять.

В нашем городе это заметно более, чем где-либо. Самые захудалые закоулки просыпаются. Чего больше: в мое юное время слово «Молдаванка» было символом всякого запустения; на тех из наших одноклассников, которые жили на Молдаванке, мы смотрели сверху вниз и называли их «босьявками», а теперь Молдаванка только и говорит, что о своем самосознании, развивается, добивается — и в конце концов, когда уберет с дороги «толчок», то — помяните мое слово — еще покажет центру города, где раки зимуют.

И вдруг наряду с этим всеобщим и повсеместным оживлением, копошением, ажитацией — два-три таких совершенно вопиющих анахронизма, как хотя бы здешнее Общество вспоможения литераторам и ученым, о которых не слышно, ибо спят, спят, спят и даже не храпят во сне!

Да еще этот сонный совет Общества изящных искусств...

Не могу я этого понять. Да неужели им просто не завидно, глядя на других?

Неужели чужое движение не подмывает, не взвинчивает нервов, не срывает с сиденья или с лежанки?

Неужели в этом мире, где все заразительно, даже зевота, — одна только энергия не заражает?

Взять этот самый совет Общества изящных искусств.

Такая бездна дела под руками, прямо на полу валяется, сама напрашивается: художественные мастерские, лекции по вопросам искусства, свои концерты или спектакли, сбор с которых шел бы хотя бы на пополнение музея; тут же, под носом у общества, в газетах печатают о выставках картин такую ерунду, что читать ее — очки от стыда лопаются, ибо найти настоящего ценителя нелегко; и общество изящных искусств спокойно смотрит на то, как отбивают у публики всякую охоту ходить на выставки, — и не вмешается, не посоветует, не наставит, не укажет...

Правда, несмотря ни на что, в последнее время выставки в Одессе все более и более посещаются.

Но в этом росте интереса к искусству — Общество изящных искусств менее всего причастно. Что оно сделало для того, чтобы привлечь публику на выставки?

Вся заслуга принадлежит дружной, симпатичной, поистине молодецкой группе южнорусских художников. Это они пробили брешь и все больше и больше расширяют ее — бравая «кучка», важную роль которой в художественном просвещении юга мы только впоследствии сможем достаточно оценить.

И вот, глядя даже на эту энергичную, неунывающую, полную жизни дружину молодых художников, — Общество изящных искусств и тут не почувствовало зуда в руках, и тут не позавидовало, не соблазнилось примером!

Что хотите могу понять. Пробовал недавно Сираха по-гречески читать — понял. Но такой странности, чтобы люди, живые люди даже позавидовать, даже соблазниться не умели, — этого понять не могу.

Нет, видно, тут уж сами люди какие-то особенные, и хоть вы на них электрическую проволоку навертите — никаких.

Тут нужны свежие люди. Свежие, свежие, чем больше, чем скорее, тем лучше...

Кстати. Еще одно «сонное видение».

Конечно, с новым уставом Обществу изящных искусств почти нечего делать в художественном училище.

Но все-таки «почти» не есть «ничего», и пока можно хоть что-нибудь сделать, неразумно греть руки в кармане.

Есть в художественном училище один очень даровитый юноша. Его и публика знает: на одной выставке этюдов были недавно его небольшие полотна, которыми много интересовались.

Юноша, без всякого спору, из тех, которые уже не то что «подают надежды», а прямо-таки сами из себя являют большую и хорошую надежду для родного искусства.

Такие ростки надо холить и беречь.

А я знаю, что этот юноша сидит теперь на таких кондициях: один день у него чай, другой день — хлеб, и так далее, ибо сразу на чай с хлебом не хватает, как говорят итальянцы, *sum quibus*¹.

Но это не беда.

Лучше всего то, что юноша этот весь теперь поглощен картиной под заглавием «Немировское дело» на захватывающий, очень современный сюжет. За этой работой он, может быть, даже забывал иногда о своем чае без хлеба или о своей булке без чаю.

Но теперь у него вышли краски, новые купить не на что, и уж больше недели стоит неоконченная картина на мели, а юноша, верно, сидит перед нею и глотает от бессильного бесшестства слезы — вместо чаю.

Что же, позвольте узнать, — Общество изящных искусств, которое в своем музее хранит и бережет полотняные сокровища города, считает себя свободным от долга беречь его живые сокровища, его надежду?

Свежих людей надо! Свежих людей, чем скорее, тем лучше...

Altalena

Одесские новости. 12.12.1903

¹ На какие — шутивное выражение от латинского *sum quibus nummis* (на какие деньги).



Вскользь

Вышел первый выпуск «Южных записок», совершенно обновленных — с новым составом сотрудников.

Меня очень интересует загадка — как отнесется публика.

Вероятно, весьма многие полюбуются в витрину на зеленую книжку и подумают про себя:

— Надо будет завернуть к Памфилию. Он бывает у Пафнутия, а Пафнутий вхож в дом Полидора, Полидор же выписывает все журналы — выписал уж, верно, и эти самые «Записки». Пафнутий возьмет их у Полидора и даст Памфилию, у Памфилия уж и я их почитаю.

Другие же прямо расхраблятся и без торгу за 10 копеек приобретут книжку в полную собственность, *jus utendi et abutendi*¹.

И сделают, по-моему, разумно.

Во-первых — они прочтут эту книжку с интересом. Она составлена недурно и солидно, особенно для начала.

Я бы сделал в этом отношении только два-три указания.

Нужно больше беллетристики, оригинальной и переводной.

В этом выпуске напечатаны только два рассказа — А. М. Федорова и Г. Яблочкова. Оба очень недурны. Второй — «Старик Петухов» — мне особенно понравился: тон выдержан, язык прост и ярк, есть два положительно красивых места.

Но этого мало. Беллетристика должна составлять не менее половины журнала. Без этого невозможно.

Спросят:

— А возможно ли найти на юге поставщиков доброкачественной беллетристики?

Над этим вопросом я много думал, так как вообще много и часто думал о том, как желателен в Одессе собственный журнал.

Кажется мне, рассуждая трезво и осторожно, что в южном районе *можно* собрать достаточное количество авторов-беллетристов.

Это, конечно, не будут корифеи, ибо корифеи — дело известное — имеют привычку дезертировать в Питер.

¹ Право пользоваться по собственному усмотрению (букв.: «право употреблять и злоупотреблять», *lat.*).

Но это будут все-таки авторы с искоркой, с определенной индивидуальностью — и, быть может, с чем-то своим и свежим в манере и тоне.

Что касается переводной беллетристики, — то ведь тут все будет зависеть только от энергии лиц, стоящих во главе издания.

В иностранных литературах есть столько интересных новеллистов, а переводчики всегда найдутся.

Я заметил, что в редакциях повсюду практикуется так: редактор сидит у моря и ждет погоды, а переводчики по собственному вкусу выбирают вещи для перевода и приносят их, и редактору остается только принять или не принять.

В этом и беда. Гораздо было бы лучше, если бы инициатива выбора шла от редакций, если бы сами редакции *заказывали* переводы. Редакциям легче быть всесторонне осведомленными о том, что есть интересного в европейских литературах. А в них есть много материала, которого хватит не на один журнал, а на сто.

Но это все лишь «во-первых». Есть и вторая причина, почему поступят разумно те, которые заинтересуются журналом.

Это будет разумно еще и потому, что докажет в них сознательность.

Сознательный человек, живущий на юге и не имеющий ни намерения, ни охоты перебраться на готовые умственные харчи в столицу, не может не чувствовать, как необходимо создать такие же умственные харчи и у себя на юге.

Задача очень и очень нелегкая, так как придется вырывать поле у сильных конкурентов.

Но уже по всему видно, что наш город твердо, хотя почти инстинктивно, стал на эту дорогу и, без всякого сомнения, не остановится, пока не почувствует себя первоклассным духовным центром, никому в России не уступающим, ни с кого в России не берущим примера, а живущим собственными творческими силами и по собственным настроениям.

В этом возрождении большую роль должен будет сыграть журнал, в котором объединятся мало-помалу все интеллектуальные силы юга для общей работы освобождения молодой южной духовной жизни от северных помочей.

Если мы приветствуем «Южные записки», то только потому, что надеемся видеть в них именно эту попытку центрального органа областной эмансипации — и верим, что журнал будет служить этой страшно важной задаче непримиримо и неутомимо.

Только эта задача, ясно сознанная и стойко проводимая, может дать областному журналу успех, но зато она может дать успех огромный, благородный и ценный.

Можно поэтому быть уверенными, что вся сознательная интеллигенция юга встретит новый журнал поддержкой доброго внимания.

Здесь важнее всего на первых порах именно доброе внимание, а не материальная сторона дела. Важно — *важно для нас*, а не только для заправил и сотрудников издания, — чтобы мы интересовались голосом нового журнала, прислушивались к нему, советовались с ним.

Атмосфера доброго внимания подобна дождю: она оплодотворяет всякую ниву. Она окрыляет тружеников, удешевляет их силы и дает уверенность их рукам...

В добрый час.



Не знаю, согласятся ли с тем, что я хочу сказать, даже мои коллеги по редакции.

Во всяком случае — оставляю за собой здесь, как и всегда, некоторое право литературной «экстерриториальности» — право высказывать свое личное мнение, никого не делая за него ответственным, кроме меня одного.

Вот это мнение: я, конечно, совсем не одобряю и даже порицаю неправильные водопроводные отчеты и безусловно признаю, что неправильные отчеты несовместимы с дальнейшим пребыванием авторов их в прежней должности.

Но все-таки скажу, что всегда предпочту человека деятельного с неправильными отчетами — целой когорте людей с правильными отчетами, но без капли энергии.

Не знаю и не вижу в мире ничего вреднее бездействия.

И кажется мне, что я даже ясно понимаю психологию неправильных отчетов.

И кажется мне, что я, хотя и мало следящий за городскими делами, давно уже говорил себе:

— Нет, тут, без сомнения, дело кончится очень неправильными отчетами и, вслед за ними, крахом.

Почему мне так казалось?

Потому что иначе не могло случиться.

Я еще помню всеобщее изумление, когда на фоне бездействия вдруг появился человек энергии.

Все разинули рты:

— Вот тебе на! Какой странный человек!

Он, герой этого всеобщего изумления, не мог не заметить произведенного эффекта.

И *не могло* у него не создаться, самым естественным путем, впечатления, что он есть нечто исключительное.

Да оно так и было: он явился исключением, на него все так и смотрели, и все к нему так и относились.

Вообразите себе того же человека энергии среди других людей энергии.

В такой среде он работал бы нормально, не разбрасываясь, не размахиваясь чересчур широко — ибо прежде всего у него было бы сознание:

— Тут и кроме меня есть люди, умеющие работать. Надо считаться и с ними.

В такой среде он при случае и спросил бы совета, и призвал бы кого-нибудь поглядеть со стороны на его работу и по-дружески высказать замечания, и вообще чувствовал бы себя рядовым в целой дружине.

Но ведь не может быть этого, когда человек энергии попадает в среду людей без энергии!

В такой среде он ясно видит, что работает и творит только он один. Остальные просто ограничиваются фактом своего благосклонного присутствия.

Как же вы хотите, чтобы он считался с ними, советовался с ними, вообще помнил о них — и, следовательно, помнил о должных рамках для своего собственного размаха?

Это психологически неизбежно: когда бодрый человек стоит «один на всем просторе», то у него не может не явиться настроение:

*«Раззудись, рука,
Размахнись, плечо!»*

Оттого вредно бодрому и энергичному человеку быть в одиночестве на большом просторе: он неминуемо увлечется и хватит через край.

Если мы не хотим, чтобы это случилось, то пусть не будет у нас энергичный человек исключением, цацей, на которую все дивятся.

Городской деятель есть по существу рядовой, а не полководец, и поле его деятельности есть поле деятельности рядового.

И покуда он чувствует себя рядовым среди рядовых, до тех пор все благополучно и энергия его идет на благо общему делу.

Но беда, если он один энергичен, а все остальные — совсем напротив.

Ибо тогда он поневоле почувствует себя полководцем и у него раззудится плечо.

И получится противоречие: поле деятельности рядового, а на нем человек с замашками полководца.

Ясно, что каждым своим размахом он будет сокрушать всякие назначенные рядовому рамки — и в конце концов нисколько в этом не будет виноват...

Такова психология неправильных отчетов. Судите сами, кого за нее винить — автора или среду.

Повальная спячка обладает тем свойством, что она и бодрствующего человека почти всегда собьет с толку...

Конечно, повторяю, неправильные отчеты суть неудобство, которое необходимо сейчас же искоренять. И прекрасно поступили те, которые потребовали этого искоренения.

Но пусть же вся эта история послужит уроком, пусть покажет, что никогда у нас ничего путного не выйдет, пока энергичный человек будет только исключением, то есть пока все люди, лишённые энергии и инициативы, не уступят места более достойным.

Altalena

Одесские новости. 14.12.1903



Вскользь

Слушая оперу «Заза», я почему-то задумался на тему о том, что такое, собственно, есть мелодия.

Возьмите кусок нотной бумаги и напишите наудачу десять нотных значков на разных строках, и потом сыграйте эту фразу одним пальцем на фортепьяно.

Почти всегда получится не мелодия, не мотив, а что-то совершенно бессмысленное, набор звуков, лишённый всякой связи.

А между тем из десяти звуков разной высоты и длительности можно сделать настоящую музыкальную фразу, которая будет красива, — в которой, главное, будет смысл, связь, определенный мотив.

В чем же дело? Почему, например, ми-соль-до-фа-ре будет набором звуков без всякого смысла, а до-ре-ми-до-ля-соль (кажется, лейтмотив Снегурочки) составит красивую фразу, в которой будет мелодия, мотив, нечто связное и ласковое для уха?

Ведь должна же быть какая-нибудь принципиальная разница между первым сочетанием звуков и вторым. Должен же существовать некий физический закон, устанавливающий для последовательного сочетания звуков общие принципы, без соблюдения которых не может составиться музыкальная фраза, общие принципы, которым инстинктивно подчиняются композиторы, когда создают мелодии.

В чем же состоят эти законы мелодии? Удастся ли их когда-нибудь расшифровать?

Законы *гармонии* уже более или менее разработаны, и о них довольно пространно говорится во всех учебниках по теории музыки. Но учение о гармонии касается только *одновременного* сочетания звуков в аккорде, и не может ничего выяснить в том, какие законы управляют *последовательными* сочетаниями, образующими музыкальную фразу.

Мне вспоминается одна попытка проникнуть в тайну законов мелодии.

В Катании (Сицилия) живет некто Ursino Scuderi, человек состоятельный и, кажется, с университетским образованием.

Несколько лет тому назад он выпустил брошюру под заглавием «Musicometro», посвященную именно вопросу о теории построения музыкальной фразы.

Эта брошюра попала мне в руки, и я пытался ее прочесть, но... но, как полный невежда в музыке, я ничего не понял, соскучился на первых же страницах и отложил брошюру в сторону, а потом и потерял.

Помню только, что в ней, между прочим, шла речь о каких-то совпадениях или повторениях звуков одинаковой высоты, которые, по мнению автора, наблюдаются в каждом *maximum* 16 тактах решительно всех музыкальных произведений. Впрочем, вполне возможно, что я и тут переврал.

Вообще о сущности открытий Скудери я ровно ничего не могу сказать. Помню только, что знакомый профессор римской авторитетной академии S. Cecilia упомянул однажды в беседе со мной об этом *musicometro* (так назвал Скудери свою теорию мелодии) как об интересной попытке.

Случайно, проезжая через Катанию, я увидел еще несколько изданий Скудери и узнал о нем и о них несколько любопытных подробностей — впрочем, опять-таки чисто внешнего свойства.

Мне говорили, что Скудери — фанатик своего открытия и считает, что его теорией «музыкаметра» заложена раз навсегда прочная основа для изучения принципов, управляющих мелодическим творчеством.

Этому изучению и пропаганде своего открытия он посвящает все свое время и почти все средства.

Из изданий Скудери, которые мне показали и в которых я опять-таки ничего не понял, помню какие-то огромные, буквально двухаршинные толстые листы с какими-то «музыкальными диаграммами» и особенно большую толстую тетрадь — нечто вроде объяснительной хрестоматии к теории «музыкаметра».

В этой тетради Скудери собрал отрывки из всевозможных композиторов, в которых он проверял безошибочность своего открытия: тут и Палестрина, и Глюк, и Моцарт, и Гуно, и Оффенбах, и Леонкавалло.

Во второй части этой тетради собраны народные песни разных стран — между прочим, и русские — и в них тоже отмечены какими-то особенными значками места, подтверждающие скудериевскую теорию.

Всего любопытнее приложение, в котором нотами записаны музыкальные фразы певчих птиц.

Мне рассказывали, что Урсино Скудери по неделям безвыходно проводил в комнате, где стояла клетка с птичкой, а возле клетки заряженный граммофон, и выжидал, когда птичке заблагорассудится спеть, чтобы уловить ее переливы валиком граммофона.

Конечно, остается на совести самого Скудери ответственность за то, насколько верно им записано щебетание пернатых, но, во всяком случае, в пении птиц этому настойчивому человеку, по его мнению, удалось проследить действие тех самых законов мелодии, которые он изложил в своем «Musicometro».

Эту толстую тетрадь Урсино Скудери отпечатал в мириадах экземпляров и разослал и, вероятно, рассылает ее по всем адресам, какие только попадают ему в руки, неустанно пропагандируя свое открытие и настаивая, что оно должно внести совершенно новый свет в изучение музыки...



Жалоба, немного, к сожалению, запоздалая, но справедливая.

Мне пишут:

«Недавно я хотела отправиться с ученицами одного из местных бесплатных училищ на передвижную выставку, чтобы показать детям картины, которые доставляют им так много удовольствия.

Правда, это было довольно трудно сделать, так как — для удобства платных посетителей — необходимо было явиться туда *не позже 8 часов утра*, когда на дворе было еще недостаточно светло.

К сожалению, на выставке нас встретили не особенно любезно.

Не успели мы осмотреть картины, как служащий грубо обратился к нам, предложив немедленно убраться.

Бывшая со мной товарка, возмущенная его поведением, напомнила ему о вежливости.

Но служащий, не обращая никакого внимания на ее слова, продолжал гнать нас, не смущаясь совершенно растерянностью детей и тем неловким положением, в котором мы очутились перед ученицами...

Учительница»

Жаль, что это письмо запоздало: выставка уже закрыта, и представитель Товарищества передвижников, заведовавший ею, вероятно, уже выбыл из Одессы.

Жаль.

Очевидно, было бы очень полезно сделать ему кое-какие указания о том, как надо относиться к школе.

Передвижные выставки учреждены не для того, чтобы приходили богатые люди и покупали картины.

Товарищество передвижных выставок основалось с широкими целями художественного просвещения широких масс.

Исходя из этих целей, как можно было прийти к требованию, чтобы малые дети являлись на выставку не позже 8 часов утра? Когда же, в таком случае, пришлось этим детям собраться в школе, которая, как большинство бесплатных, находится, верно, где-нибудь на окраине — в семь часов утра, что ли? Да ведь в семь часов утра в декабре еще не светло!

Так нельзя обращаться со школьными детьми, господа художники.

Чем больше школ посетят ваши выставки, тем шире будет впоследствии контингент ваших посетителей. Неужели вы не понимаете, как важно для вас же их художественное образование с самой школы?

Поэтому, когда школа приходит на выставку, то навстречу ей неудобно высылать неотесанного наемника, который будет гнать детей чуть ли не в шею и третировать учительниц.

Не так должны поступать культурные люди.

Культурные люди, когда на выставку приходит школа, высыпают ей навстречу художника, который все покажет и все растолкует маленьким посетителям.

Так поступают те, которые понимают, что значит художественное просвещение масс; кто же этого не понимает, тому незачем устраивать выставки и развозить их по городам.

Жаль, очень жаль, что заведовавший выставкой, вероятно, уже уехал и не прочтет этого письма.

Но его все-таки могут прочесть те, кто здесь из года в год оказывает передвижной выставке гостеприимство.

Общество изящных искусств, в музее которого передвижные выставки находят приют, хорошо сделает, если примет меры, чтобы гости музея на будущее время усвоили себе должное уважение к школе.

Прошло то время, когда от художника требовали, чтобы он был непременно «гражданином» в своей живописи — чтобы писал только школьных учителей да «глухаря».

Но и художнику не мешает быть гражданином в жизни, то есть уметь дорожить интересами просвещения и не перечить им «для удобства платных посетителей».

Altalena

Одесские новости. 16.12.1903



Вторая услуга

Голос сиониста

Как известно, предложение заселить Уганду вызвало среди сионистов большие споры. Начались эти споры еще на VI конгрессе, а в последнее время приняли особенно острый характер. Часть сионистов видела в этом проекте опасность, находя, что его осуществление надолго затормозит, а может быть, и совсем погубит главную цель сионизма: создание еврейского центра

в Палестине. Другая же часть, нисколько не отрицая того, что основной целью движения остается Святая земля, находила, однако, что Уганда не помешает. Таким образом, безусловно сходясь в своих взглядах на Палестину, спорящие никак не могли сойтись во взгляде на Уганду. Противники последней, все более и более проникаясь убеждением, что Уганда погубит сионистское движение, подумывали уже об открытой и непримиримой борьбе с этим проектом. Все это могло кончиться настоящим расколом внутри движения, т. е. почти крахом, который поверг бы в глубокое горе огромные еврейские массы.

Теперь Уганда ликвидирована. Английское правительство взяло назад свое предложение. Многие, конечно, пожалуют о том, что исчезает возможность устроить, как они рассчитывали, *временное* убежище для тех из евреев, которым уже невозможно ждать. Но все сионисты, без сомнения, порадуются тому, что теперь устранена опасность раскола в партии, который был бы настоящей гибелью дела.

И поэтому можно не сомневаться, что все сионисты сумеют единодушно оценить по достоинству дружественную и благородную тактику английского правительства. Предлагая по собственной инициативе еврейскому народу заселить на началах полной автономии безусловно прекрасную и плодородную местность, английское правительство оказало нам этим огромную моральную услугу. Это было первым за много веков официальным признанием национального единства еврейского народа и вместе с тем авторитетным выражением веры в его способность создать из дикого края культурную, благоустроенную страну. Обо всем этом благодарный еврейский народ никогда не забудет.

Но теперь, взяв назад свое предложение именно в тот момент, когда напряжение умов дошло в среде сионистов до крайнего предела, — теперь английское правительство оказало еврейскому народу вторую огромную услугу и проявило редкий и драгоценный такт. Англия, несомненно, ясно поняла, что конфликт должен был привести к одному из двух результатов: или будущий конгресс отклонил бы окончательно проект заселения Уганды, или сионизм раскололся бы надвое. На третий выход из этого положения вряд ли кто-нибудь мог бы серьезно надеяться. Первый результат — отклонение проекта — был бы неприятен для Англии; второй — раскол в сионизме — был бы тяжелым ударом для еврейских масс. Сознывая все это, и сторонники,

и противники Уганды в последнее время мучительно боялись за будущее и чувствовали, что «надежда», о которой поется в гимне сионистов, грозит ускользнуть из глаз.

Именно в эту тяжелую минуту Англия берет свое предложение назад. Этим сразу устраняется причина междоусобицы, которая, может быть, едва не погубила единственной в своем роде организации, созданной за такое короткое время с такими жертвами и такими усилиями. Держава, четыре месяца тому назад громко признавая за нашим рассеянным народом национальное единство, теперь своим новым шагом спасает единство нашего глубоко народного движения. Если за первую услугу конгресс от лица и сторонников, и противников Уганды выразил британскому правительству глубокую благодарность, то теперь, думается мне, все сочувствующие сионизму должны громко произнести свое массовое спасибо этой благородной стране, спасающей нас в очень критический момент. Было бы вполне своевременно, чтобы признательность, уже четыре месяца волнующая сионистские массы, именно теперь выразилась в форме торжественного послания, под которым с радостью подпишут свои имена десятки тысяч.

Итак, туча рассеялась. Под ее влиянием уже остановилась было нормальная работа сионистов: из-за споров об Уганде почти забыли о главных задачах. А между тем впереди столько дел: столько еще есть необращенных, которых надо обратить, на колоссальное дело национального фонда собраны только ничтожные гроши, литература движения все еще не стоит на высоте призвания. Теперь, когда туча рассеялась, пора встряхнуться от нехорошего сна, забыть все нелепые счеты и взяться наконец за настоящее и важное дело укрепления и объединения народа вокруг его древней и вечной цели.

Как люди, только что пережившие ужасную, мучительную тревогу, потом, когда опасность прошла, вдруг глубоко постигают всю суетность своих мелочных обид и раздоров и подают друг другу руки, так пусть поступят теперь друзья сионистского дела и от всего сердца пусть друг другу скажут древнее национальное приветствие: *мир* вам...

Владимир Жаботинский

Одесские новости. 16.12.1903



Ответ г-ну Т. Ренодо

Голос сиониста

Во вчерашнем номере «Одесских новостей» г-н Теофраст Ренодо настаивает на том, что у Нордау и Дрюмона, т. е. у сионистов и антисемитов, есть точки соприкосновения; вывода из этого г-н Ренодо вслух не делает, но по всему тону письма ясно, что вывод — неблагоприятный для сионистов. Автор даже говорит: «Антисемиты протягивают руку сионистам. Люди прогрессивные — сторонящиеся как национализма Дрюмона, так и национализма Герцля и Нордау — могут только с неприятным чувством отнестись к этому зрелищу».

Признаться, я не понимаю, как можно серьезно говорить о том, что антисемиты и сионисты заодно. Первые из всех сил против евреев, вторые из всех сил за евреев: какое же тут единство, что общего между одними и другими? Без сомнения, если сионисты хотят вывести евреев из чужих земель в свою, многие антисемиты могут найти, что сионисты играют им на руку, освобождая чужие земли от еврейского элемента. Но мало ли кто кому может играть на руку: иной раз, спасая утопающего, рискуешь сыграть на руку ростовщику, который с этого утопленника желает содрать старый должок с большими процентами. Неужели это значит, что спаситель заодно с ростовщиком?

А впрочем, вот что важнее всего, и было бы хорошо, если бы г-н Ренодо и его единомышленники соблагОВОлили твердо это запомнить. Точка зрения сионизма та, что спасение евреев только в них самих. «Делайте сами свою историю» — стало нашим девизом. Поэтому мы идем своей дорогой и не оглядываемся на посторонних. Нам, конечно, жаль, что «люди прогресса» (впрочем, г-н Ренодо, далеко не все!) еще иногда смотрят на нас «с неприятным чувством». Но мы-то сами в душе глубоко и честно сознаем себя тоже «людьми прогресса» прежде всего. Поэтому мы ведем и будем вести свою линию спокойно и гордо, менее всего заботясь о том, нравимся или не нравимся мы посторонним, — будь это Дрюмон, которого мы презираем, или г-н Т. Ренодо, которого уважаем.

Вл. Ж.

Одесские новости. 17.12.1903



Фрейлейн

Иностранка, живущая в зажиточном доме в качестве воспитательницы хозяйских детей, пишет:

«Я читала в русских газетах, которые сюда доходят, много статей о разных категориях несчастных людей, начиная со студента, который не может достать платного урока, и кончая женской прислугой.

Но почему-то ни разу не встретила я статьи о положении гувернанток. Как будто бы нас и на свете не было или как будто бы нам живется во всех отношениях удовлетворительно, так что уж и нечего написать о нас.

Я, например, с удовольствием читаю о том, что для рабочих то там, то здесь открывают вечерние курсы, устраивают спектакли и другие благоразумные развлечения.

Это, конечно, очень хорошо, но когда я это все читаю, мне думается: ах, если бы и для нас кто-нибудь устроил лекции, спектакли, концерты, что-нибудь в этом роде...

Знаете ли вы, что для нас ничего этого не существует?

Вот вы, например, вечером отправляетесь в тот или другой театр, или на концерт, и если к вам в эту минуту кто-нибудь придет по делу, вы извинитесь перед ним:

— Виноват, я очень тороплюсь. Не могу же я ради вас пропустить начало спектакля.

И согласитесь, что если бы такому докучному посетителю удалось-таки задержать вас дома и вы пропустили бы не только начало, но и все представление, — вы были бы сильно раздражены этой помехой, хотя бы даже дело, по которому пришел этот человек, было и важное, и спешное.

Вообразите же теперь состояние духа тех, для которых эта помеха стала правилом, не допускающим исключений.

У нас в городе скоро пойдет "Монна Ванна" с Леблан-Меттерлинк. Я знаю, что вы очень любите эту пьесу. Вы уж так устройтесь, чтобы в этот вечер ничто не помешало вам пойти в театр, иначе вы были бы в отчаянии, что пропустили интересный спектакль.

А ведь я и все мне подобные — мы пропускаем все интересное.

Читается лекция на современную тему — меня так и тянет послушать. Ставят новую драму или оперу — мне представляется, как она должна быть эффектна, красива, сколько мыслей должна пробуждать; иногда, раздумывая обо всем этом, я дохожу до такого состояния, что готова пожертвовать здоровьем и молодостью, превратиться в хворое и пожилое существо, лишь бы только получить возможность время от времени испытывать те художественные или умственные наслаждения, в которых, кажется, изо всех интеллигентных людей — только нам одним отказано.

Боюсь, что я слишком многословна, но вы уж меня простите: мне все кажется, что я недостаточно ясна, что вы еще не вполне вникли в то, как безотрадно и нехорошо наше положение.

Видите ли, я, например, знаю (я свободно читаю по-русски и давно интересуюсь русской жизнью) — знаю, что теперь повсеместно в России замечается духовное оживление, обновление, которое проявляется ярче всего в литературе.

Я знаю, что все радуются этим признакам весны, так как все понимают, что жить в такое интересное время — большое счастье, которое не всякому поколению выпадает на долю.

Поэтому все в некоторых отношениях чувствуют себя как бы *Sonntagskind'*ами¹, особенными удачниками, людьми, которым в чем-то очень повезло, — именно в том, что они удостоились жить в интересное время.

Это радостное сознание проглядывает во всех тех, кого я вижу, хотя бы мельком (я ведь никого не вижу иначе как мельком), в доме у моих хозяев: в молодежи и в пожилых людях. Все они так интересно рассказывают о том, что видели и слышали там, за моими четырьмя стенами, которые я покидаю только для того, чтобы пойти с детьми в Городской сад.

Понимаете ли вы, что все это оживление и обновление, таким образом, проходит мимо меня? Понимаете ли вы, что для меня его как бы нет, и поэтому то приятное, бодрящее сознание интересной эпохи, которым согреты, кажется, все решительно вокруг меня, только мне и мне подобным незнакомо?

Я не могу познакомиться с новыми течениями в русской духовной жизни, потому что книги, даже если бы у меня было много времени для чтения, не заменяют уроков жизни. Ставятся новые "пьесы настроения", а я их не видала; в собраниях люди

¹ Счастливыми, баловнями судьбы (нем.).

читают лекции и беседуют о новых словах, и это все не для меня, хотя там бывают многие, которые, быть может, даже менее меня понятливы.

За что же я, таким образом, оказываюсь в отчуждении от общего праздника? Ведь я и по виду, и по душе такая же, как все, вряд ли хуже; за что же я удалена от всего интересного в жизни? Мне минутами все это кажется страшным, чудовищным...

А ведь я здесь иностранка. Воображаю, как должно быть это тяжело моим русским товаркам по труду, для которых все это брожение новых сил ближе, которые, вероятно, и в себе явно чувствуют отголоски этого подъема духа и все-таки видят, что свежий ветерок, пролетевший кругом повсюду, только их не коснулся и не касается, точно они, молодые, увлекающиеся, не живут среди живых, а лежат на кладбище.

Подумайте, какое тут заложено мучительное противоречие.

Гувернанток принимают с выбором. Мои хозяева, например, хотят непременно, чтобы "фрейлейн" была с дипломом höhere Töchterschule¹, и на меньшем не помирится.

Это значит, что в гувернантки требуется непременно женщина интеллигентная, развитая, доступная всем современным интересам.

И для чего же им, нашим хозяевам, нужна эта интеллигентная женщина?

Для того чтобы отрезать ее от интеллигентной жизни — так ловко отрезать, что бедная девушка чувствует себя не то запертой в тюрьму, не то переселенной на другую планету.

Какая-то странная и утонченная жестокость: требовать непременно интеллигентного человека, и чем интеллигентнее, тем лучше, — для того только, чтобы совершенно вычеркнуть его из списка интеллигентных людей.

Это все равно, как если какое-нибудь языческое божество приказывает своим жрецам выбирать самых красивых женщин страны — и, в виде жертвы, обезобразивать их у подножия алтаря, обрубая нос и уши.

Но, кажется, и в самой свирепой древности не было, насколько я знаю, такого бессмысленно жестокого культа.

Отчего же он существует теперь в этой более мягкой, но и более утонченной форме, так как выбираются для принесения в бессмысленную жертву не прекрасные черты лица, а высшие качества ума и души.

¹ Женская гимназия (нем.).

Обо всем прочем, на что мы могли бы жаловаться, я уж и не стану говорить.

У вас, без сомнения, найдутся знакомые дома, где имеются гувернантки, так что и вы могли кое-что заметить.

Разве не случалось, что записочку от какой-нибудь знакомой дамы вам приносила "фрейлейн" и, не застав вас дома, раза два потом приходила за ответом?

Что ж — вы, может быть, думали, что она добровольно, для моциона, бегают с записочками? Или что она для этих почтовых обязанностей и нанималась?

Я не считаю вас настолько легковерным.

А разве "фрейлейн" поступила на место для того, чтобы играть вальсы вместо тапера, когда у хозяев вечеринка?

А разве она добровольно читает хозяйке вслух, два часа подряд, новый номер газеты "Die Woche", потому что у хозяйки рябит в глазах от готических букв?

И разве ее затем приглашали, чтобы она помогала няне гладить бэбины пеленки?

Но, повторяю, перечислять все эти невыносимые мелочи я не намерена, тем более что и так уже представляю на вашем лице гримасу сожаления к моей наивности.

— Бедняжка, — думаете вы, вероятно, — для чего она все это мне изложила? Или она хочет, чтобы я написал фельетон и попытался в нем уговорить добрых хозяек лучше обращаться с гувернантками?

Нет, милостивый государь, я этого не хочу.

Я отлично понимаю, что, сколько бы сотен слов вы нашим хозяйкам ни адресовали, ничего из этого не вышло бы. Ничего не вышло бы, даже если бы вам и удалось растрогать иную хозяйку до слез: покаянное настроение через три дня прошло бы, а свои интересы и капризы остались бы.

Я хорошо и твердо знаю, что никто не может основательно помочь человеку, кроме него самого; и целая группа людей, объединенная общими нуждами, тоже не должна ждать себе спасения от доброй души других людей, а только от себя самой. Кто не желает, чтобы им помыкали, пусть сам постоит за себя.

Я хотела бы именно того, чтобы мы, гувернантки, набрались духу и научились стоять за себя.

Я понимаю, что было бы напрасной тратой слов — убеждать даму не посылать гувернантку с записочками, но зато следовало бы, по-моему, убедить саму гувернантку, чтобы она на такие поручения отвечала:

— А я не хочу!

Ведь это так просто, так ясно: если бы мы не позволяли себя третировать, нас бы не третировали...

Я предвижу, конечно, главное возражение: хозяйка за малейшее противоречие может отказать от места — благо конкуренток есть немало, и каждая из них с восторгом заменит строптивую "фрейлейн".

Это правда, печальная правда, и печально здесь именно то, что каждая конкурентка не только не откажется занять место ушедшей или, вернее, выжитой товарки, а даже будет рада этой счастливой случайности.

Мне бы хотелось, чтобы оно было наоборот: чтобы каждая из нас не только не с восторгом, но и совсем не поступала в дом, где с ее предшественницей так нехорошо обращались. Ведь для этого надобно только ясно осознать, что где третировали одну, там будут третировать и другую, и конца этому не будет, пока мы сами за себя и друг за друга не заступимся.

А для тех, которые сознают необходимость заступаться за себя самих и друг за друга, есть одна только правильная дорога: дорога союза.

Есть ведь общества учителей, которые поддерживают своих членов в тяжелые минуты и не дают их, по возможности, никому в обиду. Союз между нами, гувернантками, был бы еще полезнее, еще нужнее просто уж потому, что мы более закабалены, чем учителя и учительницы, больше их нуждаемся во взаимной поддержке, дающей силу.

Я понимаю, что особенно ослепительных результатов союз бы не добился. Завидным, во всяком случае, положение гувернантки и при существовании союза не сделалось бы: этот вид труда был, есть и останется одним из самых тяжелых, неприятных, изнурительных.

Но я не сомневаюсь, что — будь у нас союз, на который мы могли бы опираться — мы легко установили бы на практике те два-три часа ежедневной вечерней свободы, без которых нам нет возможности жить интеллигентной жизнью, без которых мы в годы самой цветущей молодости духовно умираем. И уже, без сомнения, мы тогда скоро вывели бы из обычая все то унижительное, что связано теперь с нашей профессией в виде бесплатного приложения.

Так поступают интеллигентные женщины на моей родине, и там они довольны результатами; и я думаю, что и мои здеш-

ние товарки не остались бы недовольны, если бы поступили по их примеру.

А для всего этого, повторяю, нужно им только одно: нужно проникнуться глубоко и всецело тем сознанием, что нет смысла сидеть сложа руки и ждать, пока наши хозяйки перевоспитаются или даже переродятся, так как ничего подобного мы не дождемся, а надо самим нам взяться за ум, сблизиться друг с другом и отстоять свои справедливые интересы.

Простите за длинное письмо.

Фрейлейн».

Правильность перевода с иностранного языка удостоверяю.

Altalena

Одесские новости. 18.12.1903



Вскользь

Реферирую доклад Вл. Жаботинского «Капитализм и некоторые моменты современной психики», прочитанный в четверг в Литературно-художественном обществе.

Докладчик предупредил, что в занимающих его двух моментах современной психики он ничуть не усматривает всего содержания последней: это не больше чем две отдельные ее черты, которыми он заинтересовался просто в силу того, что они его больше других поразили.

Первая из них — убыль фантазии в той части современной беллетристики, которую можно считать наиболее модной и потому типической для современного настроения.

Фантазию надо отличать от воображения: последнее (в котором и у нынешних авторов нет недостатка) есть способность ясно и ярко представлять себе известные образы; фантазия же есть способность комбинировать эти образы в сложную связную фабулу.

Этой способности в таких писателях, как Метерлинк, Андреев, Горький, Пшибышевский, Д'Аннунцио, докладчик не находит.

Они бессильны дать широкую картину жизни со многими разнообразными событиями. Они предпочитают упереть все свое внимание в одну маленькую деталь жизни и копаться в ней, устремляясь елико возможно «вглубь» и силясь найти там, в глубине, трагическую сущность жизни.

Все они главным образом интересуются раскрытием трагизма нашего существования, но бессильные, по недостатку фантазии, показать этот трагизм в настоящих крупных конфликтах жизни, принуждены искать его в мелких событиях повседневного прозябания, т. е., по выражению докладчика, показывать «бурю в стакане воды».

Яркий пример — «Homo sapiens»¹, где Пшибышевский, желая вывести «трагического человека», не сумел придумать для него подходящей трагической фабулы и потому заставил героя якобы проявлять свою трагическую сущность в самых обычных и мелочных приключениях.

Даже когда Горький интересуется босяками, жизнь которых сама по себе изобилует «фабулой», или Д'Аннунцио пишет поэму о Гарибальди, биография которого сама по себе похожа на волшебную сказку, — и тут они, как будто нарочно, оставляют в стороне весь колоссальный фабульный элемент и предпочитают, остановив свое внимание на одной какой-нибудь мелочи, подробно прозондировать ее «вглубь».

Это доказывает не только бессилие создать фабулу, но и болезненное отвращение к ней даже тогда, когда жизнь дает ее готовой.

Второй момент современной психики, интересующий референта, — оскудение активной преданности гражданским интересам в людях зрелых лет.

Между тем в старину гражданские интересы являлись привилегией зрелого мужа.

Откуда же бралась в тогдашнем горожанине такая готовность к гражданским интересам?

Докладчик видит причину этого в одном свойстве тогдашнего сословно-цехового строя.

Тогдашний человек с детства знал, какая профессия ждет его впереди: сын барона умрет бароном и будет жить на деньги вассалов, сын ткача будет ткачом. Одному раз навсегда обеспечено богатство, другому большая или меньшая бедность, но и то, и другое — обеспечено.

Поэтому вопрос о способе заработка в то время не так властно занимал внимание человека, как теперь, когда сословно-цеховые рамки рухнули.

Теперь с самого дня рождения над человеком, будь он сыном барина или приказчика, тяготеет вопрос о будущем способе за-

¹ «Человек разумный» (лат.).

работка; этот вопрос, с одной стороны, страшно важен, так как касается основной человеческой потребности пропитания, а с другой стороны — страшно сложен, так как допускает множество решений ввиду того, что принципиально современному человеку все дороги открыты и нелегко решить, какую выбрать.

Благодаря своей важности и сложности этот вопрос непреодолимо угнетает психику современного человека: эта психика, положительно, дрессируется под влиянием вопроса о способе пропитания.

Ответственность за сытость и за голод семьи становится первым, всепоглощающим стимулом личности.

Рядом с этим в ее душе имеются и другие стимулы, между прочим и стимул гражданских или вообще высших интересов.

Но по мере того как человек зреет, громадность лежащей на нем ответственности за сытость и за голод все более выясняется для него (благодаря опыту жизни) и все более подчиняет его своей власти; таким образом, перевалив за предел юности, только выдающийся человек может сохранить активную преданность гражданскому долгу; человек же средний, массовый в этом возрасте всецело отдается служению той ответственности, сознание которой с самого детства тяготело над его психикой.

В этом же свойстве современного строя — в том, что с падением сословно-цеховых рамок страшная тяжесть «ответственности за сытость и голод» упала с плеч общины или цеха на слабые плечи личности, подчинив себе всю ее психику, — референт видит и причину убыли фантазии.

Благодаря тому, что психика людей с самыми разнообразными природными склонностями насильственно дрессируется с самого детства одним и тем же для всех лозунгом: «Надо подыскать себе какое-нибудь хлебное занятие», получается утомительное однообразие настроений. Все поглощены одним и тем же.

Говорят, будто теперь жизнь усложнилась, но это, по мнению референта, неверно — открылись новые поля деятельности, т. е. «явились новые инструменты, но на всех звучит один и тот же мотив».

«Индивидуальная свобода, которой, — по словам докладчика, — кичится наше время перед эпохой сословно-цехового строя, напоминает индивидуализм сельдей в бочке: каждая селедка действительно лежит по своему собственному радиусу, но все — рылом в одну и ту же точку, и ни одна не может шевельнуться, чтобы переменить положение».

Таким образом, мало-помалу атрофировалась привычка искать разнообразие в жизни. Жизнь стала бедна фабулой.

Это отразилось на писателях: возвращенные средой, отвыкшей от разнообразия жизни, они и сами выросли бессильными создать картину жизни, полную разнообразия — жизни с богатой фабулой.

Эта атрофия фантазии естественным путем мало-помалу в них перешла в настоящую идиосинкразию, в инстинктивное отвращение к богатству и разнообразию жизни — и вот они даже из романтической биографии Гарибальди или из богатого событиями скитальчества босяков умудряются выкроить сюжеты без фабулы.

Оба момента современной психики, заинтересовавшие докладчика, оказываются, по его мнению, порождением одного и того же экономического феномена.

Переложив самую тяжкую из ответственностей с плеч общества на плечи личности, капиталистический строй заставил личность сосредоточить все свои помыслы на вопросе о способах заработка.

Этот гнет одного всепоглощающего вопроса сделал психику личности резко односторонней. В ней заглохло множество других ростков — между прочим, росток фантазии, с одной стороны, росток гражданской самоотверженности, с другой.

Для того чтобы личность могла развиваться всесторонне, надо — по мнению докладчика — снова освободить ее от гнета ответственности за ее голод и сытость и за голод и сытость ее семьи. Надо снова переложить невыносимую тяжесть вопроса о человеческом пропитании со слабых плеч отдельной личности на могучую спину общины...

Altalena

Одесские новости. 20.12.1903



Вскользь

История не сохранила ни одного имени поэта, судьба которого была бы завиднее судьбы Данте.

Правда, личная жизнь Данте сложилась печально и тяжело, но это — судьба человека, а не судьба поэта.

Как поэт Данте испытал редкое счастье, никому, кажется, ни до, ни после него не выпадавшее на долю.

Горькая драма, которую пережил и переживает всякий поэт-гражданин, заключается в сознании своей скоморошеской роли.

Поэт поневоле скоморох.

Не потому, конечно, чтобы он сам, по личному желанию, валял из себя шута.

Но потому, что общество, читающее его, даже почитающее его, делает из него своего скомороха.

И чем больше и ярче успех поэта-гражданина в обществе — тем хуже, тем явственнее выступает наружу его положение скомороха.

Потому что поэт, который не встретил успеха в обществе, может успокоить себя таким рассуждением:

— Я бичую недостатки этих людей, но они, слушая меня, зевают — следовательно, мои слова не дошли до их сердца. Зато, если бы мои слова дошли, тогда эти люди устыдились бы и исправились бы!

Не то испытывает, вероятно, поэт, которому толпа шумно рукоплещет.

Если он, этот счастливец, одарен тонкостью чувства, ему непременно станет неприятно и обидно от этих оваций, и он мысленно скажет людям:

— Ведь я вас порицаю в тех самых песнях, за которые вы мне рукоплещете. Значит, вы находите, что я прав, когда порицаю вас. А между тем вы продолжаете и будете продолжать поступать по-прежнему, т. е. делать именно то, за что я вас порицаю. Если бы вы мне шикали, мне было бы легче, так как я знал бы, что вы меня не поняли. Но вы меня одобряете! Значит, вы меня поняли, вы со мной согласны! И все-таки вы продолжаете по-старому. Не значит ли это ясно, что я для вас не учитель, даже не советник, а просто развлекающий вас скоморох?

Чем выше поэт, тем ужаснее это сознание. Если он — гений, это сознание превращается в невыносимую муку.

Ведь гений гремит. Когда он бичует людские пороки, то слова его выливаются в аккордах, подобных грому.

А грому нужен отклик. За громом, идущим с неба, должно последовать смятение на земле. Иначе останется мучительная неловкость, подобная неловкости промахнувшегося выстрела, подобная смущению от рассказанного анекдота, который никого не рассмешил.

Поэт громит пороки — и видит, как публика, ему рукоплещущая, тут же бьет челом пороку в пояс. Слово не переходит в дело.

Он говорит о радостях борьбы, о наслаждении вечного искания правды — и видит, как ни один из тех, которые рукоплещут ему, даже не шевельнется ни для борьбы, ни для искания правды.

Зовет ли он к ненависти, зовет ли к братству — ему обидно аплодируют, а слово в дело не переходит.

Только в одном случае слово всегда переходит в дело, то есть действительно создает в слушателях поэта прочное настроение, твердое и активное желание.

Это тогда, когда поэт напишет сальность. Тогда его послушаются!..

Один только Данте ускользнул от этой унижительно судьбы скомороха, развлекающего почтенную публику без всяких видимых последствий.

Для Данте Бог послал чудо на землю. Слову Данте не пришлось даже *pretвориться* в дело: слово *оказалось* делом.

«Божественная комедия» была написана во имя большой ненависти, во имя огромной ненависти поэта ко всем насильствующим и угнетающим мира сего.

Во время своих скитаний Данте навидался неправды, надругательства, притеснений и возненавидел виновников до того, что почувствовал жгучую необходимость отомстить.

Но эта ненависть была бессильная ненависть, потому что в руках у Данте не было ни одного средства кары.

И ему пришлось утешиться тем, чем утешаются все простые смертные: верой в будущее возмездие.

В настоящее время простой смертный, видя себя бессильным перед неправдой, утешается последней угрозой:

— Суд потомства накажет вас!

В те времена говорилось иначе:

— Суд Божий покарает вас!

Этой надеждой на суд Божий утешил и Данте свою великую душу, истомившуюся, изболевшуюся от многой неправды и многой обиды.

И так как это была душа великая и сильно чувствующая всю горечь чужого угнетения, то и ненависть ее была великая и надежда на кару Божью тоже великая и яркая.

Поэтому в уме Данте ярко рисовалось будущее ликование праведных, и в особенности — будущие страдания тех, кто на земле угнетал слабосильного человека.

Эти угнетавшие лежали в золотых гробах под роскошными памятниками или даже под плитами церквей, и никто не смел о них громко сказать дурное слово, а некоторые были еще среди

живых, и пользовались за свои злодеяния всеобщим трепетным поклонением, и не видели предела своему пиршеству.

Но Данте, глядя на них, трепетал от прилива ненависти, и перед его воображением ярко вставали картины, в которых эти самые гордые и властные люди рисовались ему опрокинутыми, униженными, стонущими, рвущими на себе волосы от отчаяния.

Так ярко рисовала ему все это гениальная сила воображения, что он минутами совершенно забывал о печальной действительности и чувствовал себя утешенным и свое гражданское возмущение удовлетворенным.

Тогда возникла у него мысль поделиться этим своим удовлетворением и утешением с другими, и он написал «Ад».

В этой поэме было нечто большее, чем угроза:

— Бог вас *накажет!*

Ибо злые не очень-то боятся глаголов, поставленных в будущем времени. Они и сами не ждут себе добра в будущем, но ведь будущее «едет, когда-то будет».

Может быть, главная сила Дантова «Ада» именно в том, что он рисует беспощадную кару Божию не как угрозу для будущего, а как уже совершившуюся, уже настоящую, уже им, по-этом, воочию виденную.

Чтобы читатель-современник, если он принадлежит к угнетенным, забылся хоть на минуту, хоть на минуту всей душой поверил поэту и испытал глубокое удовлетворение самого справедливого, самого святого злорадства — видеть своего торжествующего обидчика раздавленным.

И чтобы другой читатель, сам принадлежащий к угнетателям, на каждой странице поэмы бледнел от бешенства и унижения, сознавая, что тысячи людей вокруг него ликуют над этими же строками, злорадствуют над изображением его падения и на минуту, увлеченные мощным словом поэта, искренне забывают о действительности и видят себя возвеличенными и его — растоптанным!

Для рабовладельца нет горшего мучения, чем сознавать, что его рабам в это мгновение снится, будто не их, а его, господина, стегают девятихвостой плетью, и не иметь возможности сейчас же разбудить их и показать им еще раз, про кого плеть заготовлена.

Поэма Данте не была ни призывом к каре, ни угрозой кары: это была сама кара. Упиваясь ее терцинами, слабые трепетали не от надежды на будущую справедливость, злые содрогались

не от предчувствия будущих возмездий: эти терцины, сами по себе, уже были отрадой и удовлетворением для слабого и громовой пощечиной для злого.

Слово само по себе оказалось делом. Поэт сыграл роль настоящего мстителя. Вместо платонических призывов, которым никто не следует, и советов, которых никто не исполняет, он выплеснул в лицо угнетателям своей эпохи полную чашу могучего яда и едкой желчи, которые отравили их покой и заставили их скрежетать зубами от бессильного бешенства...

Надо быть самому одним из маленьких и жалких скоморохов, чтобы понять, как завидна была судьба такого поэта.

Altalena

Одесские новости. 21.12.1903



Вскользь

Очень трудно было бы спорить против возражений г-на Вознесенского на последний четверговый реферат.

Г-н Вознесенский настаивает, что у Пшибышевского фантазия есть, и если бы этот писатель только захотел, то «сумел бы» написать произведение с богатейшей фабулой.

«Сумел бы»... Что можно возразить на это сослагательное наклонение? Кто может знать скрытые таланты Пшибышевского, которые он мог «бы» проявить, да не хочет?

Одно только ясно, как дважды два — четыре, а именно, вот что.

Человек, умеющий хорошо фехтовать, ищет себе искусных противников. Опытному винтеру неинтересно играть с новичками.

Если писатель выведет героя, заявит вам, что это — великий фехтовальщик, и затем заставит его благополучно одолеть в поединке на саблях, одного за другим, хотя бы целую дюжину людей, никогда не учившихся держать саблю в руке, то вы скажете:

— При чем же тут великий фехтовальщик? Не большая штука — показывать свое геройство на слабых.

И вы заключите отсюда, что автор только пообещал показать искусство фехтовальщика, но сдержать обещание не сумел.

То же самое с Пшибышевским.

В «Homo sapiens»¹ он хотел изобразить во весь рост трагического человека.

Трагический человек — это нечто подобное молнии, которая, где пройдет, там оставит расщепленные гигантские сосны и спаленные дубы.

Таково было намерение Пшибышевского.

Что же делает его герой во всех трех частях романа? Ухаживает за барышнями.

Я читал этот роман всего месяцев пять тому назад, но, право, уже не могу вспомнить, за сколькими барышнями ухаживал герой. Не то за двумя, не то за тремя.

Зато помню очень твердо, что ничего другого он во всем романе не делает. Эта молния не вырывает сосен и не сжигает дубов: она палит коротенькую травку и ломит незрелый камыш.

И ничего больше.

Где же тут трагический человек? Неужели вы скажете, будто Пшибышевский сам не понимает, что не в ухаживаниях за барышнями должна проявляться разрушительная сила молниеподобного человека, — ибо на это способен и любой студентик из вольной пожарной дружины, — что большому кораблю большое плавание, сильному игроку нужны большие, рискованные ставки?

Не мог этого не понимать Пшибышевский, когда это и ребенка понятно. Ясно до осязательности, что и ему больше улыбалась бы перспектива провести своего героя сквозь истинно трагические перипетии крупной борьбы крупных сил, где были бы на карту поставлены интересы значительной важности, чем заставить его ухаживать за барышнями.

И потому ясно также до осязательности, что если бы Пшибышевский «сумел» создать фабулу, изобилующую такими перипетиями, он не отказался бы от этой возможности сознательно и нарочно, не сказал бы:

— Не хочу, чтобы мой герой показывал читателю свои силы в титанической борьбе. Пусть лучше ухаживает за барышнями!

Автору, который хочет рассказать своим читателям об очень искусном шахматисте, надо изобрести какую-нибудь очень сложную и трудную партию в шахматы и показать, как его герой ловко сыграл ее. И если автор вместо того приводит самую

¹ «Человек разумный» (лат.).

пустячную партию, которую и новичку нетрудно выиграть, это явно означает, что у него не хватило фантазии придумать более хитрую комбинацию.

Решительно не могу себе представить, какими доводами еще можно возразить против этого очевидного и простого рассуждения.

Другое дело, конечно, вопрос — желательна ли в настоящее время фабула или лучше без нее. Это дело вкуса.

Я лично, оставляя этот вопрос в стороне, замечу только одно.

Если бы модные авторы оправдывали теорию г-на Вознесенского, то есть «умели» бы создавать фабулы, богатые фантазией, да не хотели бы, — и тогда можно было бы сказать им:

— Что ж, деньги-то у вас есть, да вы сами не хотите ими пользоваться. Вольному воля.

Но когда этого умения нет, когда монета этого сорта в кошельке и не заводилась, когда писатель не то что «не хочет», а не может, тогда — нужна ли, не нужна ли современной беллетристике фабула — все-таки подобная атрофия одной из сторон писательской психики есть убыль, обеднение, ущерб, явление безусловно отрицательное, и не пожалеть о нем нельзя...



Сегодня вечером идут в Русском театре две трети «Маскотты» и одна треть «Игрушечки» — в пользу бесплатного училища д-ра Зильберберга.

Это училище существует 11 лет, и обучаются в нем теперь до 130 мальчиков.

Мальчиков учат грамоте и дают им бесплатно учебники, горячую еду и одежду.

Если у этого училища не будет средств, у этих мальчиков не будет ни учебников, ни горячего чая, ни одежды.

На дворе зима, милостивые государи.

Ходим мы с вами в оперетку очень часто, и все ходим с оглядкой, точно конфузясь, так как почти всегда сознаем, что можно было, собственно говоря, провести вечер умнее.

Сегодня — редкий случай пойти в оперетку с сознанием собственного достоинства и высидеть весь спектакль с чувством исполненного гражданского долга...

Altalena

Одесские новости. 23.12.1903



Леда

Рассказ приятеля

...Днем приходила сора Эльвира и вела со мной серьезный разговор.

— До каких, однако, пор будет так продолжаться? — спросила она.

Я опустил голову и молчал.

Сора Эльвира стала перечислять, загибая пальцы:

— На прошлой неделе он встретил Леду с вами на улице и дал ей при вас пощечину; в воскресенье он нашел у нее в ящике ваше письмо и побил ее за это; на днях он устроил мне скандал за то, что я не слежу за дочерью; вчера он разъярился до того, что стал колотить себя ножницами в жилет и выпустил у себя, наверное, полстакана крови. И это все из-за вас.

Я молчал.

Сора Эльвира продолжала:

— Я понимала бы еще все это, если бы у вас с Ледой была любовь. Но ведь этого нет. Вы отлично знаете, что она любит не вас, а его. Зачем же вы ее заставляете гулять с вами, когда вы знаете, что он ей это запретил?

Я воскликнул:

— Я ее не заставляю! Я никогда ее не заставлял! Да как же, наконец, мог бы я заставить, какими средствами?

— Я не знаю, — ответила сора Эльвира и пожала плечами. — Э? Я и сама старалась угадать, зачем ей вы, когда она вас не любит. Но, во всяком случае, ведь гуляет она почему-то с вами и ходит к вам, и он ежедневно ловит вас вместе, а у нас из-за этого буря и скандалы. Я пришла к вам, как к доброму другу, просить, чтобы вы это прекратили.

— Каким образом?

— Просто. Перестаньте с ней встречаться. Не зовите ее с собой гулять, не просите ее к себе.

Я помолчал и сказал:

— Матап (я называл ее матап), вы знаете, что это для меня будет очень тяжело.

Она опять пожала плечами.

— Ну, а как же иначе? — спросила она с тревогой и потом процитировала несколько пословиц и поговорок, доказывавших, что я должен был поступить по ее совету.

Я подумал, походил по комнате и сказал:

— Хорошо. Я, татап, обещаю вам, начиная с завтрашнего дня, не только не искать с ней встречи, но даже не ходить по тем улицам, по которым ходит она.

— Почему только с завтрашнего дня?

— Потому что сегодняшней я оставляю еще за собой.

— Да где же вы можете увидеться с ней сегодня? Ведь сочельник, работы в мастерской нет, она сидит дома, а домой вам прийти нельзя, потому что во всякую минуту может нагряться он.

— Я все это знаю, татап, и вернее всего так-таки не увижу ее; но все-таки сегодня хочу быть свободным. Иначе я не согласен.

— Ладно...

И сора Эльвира ушла, сказав мне на прощанье:

— Чао!

— Чао, сора Эльвира, — ответил я уныло, — желаю вам весело встретить праздник.

— Э! — сказала она в дверях. — Какой там у нас, у бедных людей, праздник. Я хотела устроить для Ригетто вертеп с тремя царями и яслями, да не хватило денег. Я купила на рынке рыбу *саритоне*, и мы ее съели — вот и все, что нам напомнит о том, как у порядочных людей празднуют Рождество, — а потом и спать ляжем.

— Вот что, татап, — сказал я, — пришлите-ка мне Ригетто. Я хочу купить ему маленький вертеп. Он такой славный мальчик и так хорошо учится. Я теперь дома до двух часов. Пришлете?

Сора Эльвира ушла. Я лег на кушетку и стал раздумывать.

Уверяю тебя, друже, что я вовсе не был влюблен в эту девушку. Правда, в ней было много очаровательного, начиная со смеха и кончая каким-то особенным красивым бессердечием. Редко кто способен хорошо и звонко смеяться: обыкновенно люди смеются с икоткой и отрыжкой. Она смеялась, как колокольчик, ровно, ярко и легко и при этом закидывала голову назад. А ее бессердечие было так откровенно, что нельзя было не залюбоваться. Когда при ней двое спорили или подшучивали друг над другом, она всей душой инстинктивно лънула к тому, чей в эту минуту был верх, и через миг уже издевалась над ним, если временная победа переходила к другому. Нищих она называла попрошайками, и разжалобить ее элегическим тоном было невымыслимо, а когда жених дал ей на улице пощечину, она потом, на свидании со мной, без умолку с восторгом говорила о нем.

Я, понимаешь, никогда в нашем краю таких девушек не видал, и все это было очаровательно; кроме того, она была и хорошенькая, особенно глаза с совершенными чистыми, синеватыми белками. И все-таки я вовсе не был в нее влюблен и чувствовал, что, если я перестану с ней видаться, то и горевать не буду. Но не повидать ее в последний раз, не попрощаться как следует казалось мне очень обидным. И, кроме того, прежде чем потерять ее из виду Бог знает на сколько времени, я хотел выяснить себе одну загадку и добиться наконец у нее ответа на вопрос:

— Что я для вас? Ради чего вы из-за меня столько времени терпели столько неприятностей?

Пришел Ригетто. Я повел его в лавку и купил дешевый вертеп: волю были желтые, цари коленкоровые, младенец из целлулоида. Впрочем, Ригетто остался доволен, и я спокойно мог вручить ему записочку для сестры.

Я написал там:

«Carina¹, ваша мать взяла с меня обещание, что с завтрашнего дня — ради вашего спокойствия — я буду избегать встреч с вами. Я даже переберусь в другую часть города. Поэтому мы больше не увидимся, если не увидимся до завтрашнего утра. Если хотите и не боитесь, то поздно вечером, когда все ваши заснут, оденьтесь и ждите моего свистка: тогда сходите вниз и пойдем ко мне. Я вас не задержу долго — я только хочу поговорить с вами на прощанье, потому что я очень любил вас. Я уверен в вашей решительности; впрочем, как хотите... Всего хорошего».

Вечером было очень холодно. В моей комнате печки не имелось и в помине: я занял у трактирщика внизу две грелки для ног и в одну поставил чайник, чтобы чай не стыл, а другую приберег на случай, если гостье будет холодно.

Впрочем, я не ждал гостей. Я понимал ясно, что вся эта история давно должна была ей надоесть, с этими ежедневными бурями ни за что ни про что; и если она, по инерции, продолжала ходить ко мне в условленное место и у виллы Памфили, то решится ли она ни с того ни с сего на такой риск в этом квартале, где все друг друга знают и друг за другом следят?

От моего portone² было шагов пятьдесят до угла, а за углом, шагах тоже в пятидесяти, был portone соры Эльвиры — старая, тяжелая, вся истертая до блеска деревянная дверь в столетней и сто лет не штукатуренной стене узкого переулка.

¹ Милая (итал.).

² Подъезд (итал.).

Я прошел по переулку два раза: в одиннадцать и в двенадцать. Во второй раз на улице никого уже не было; окна погасли, и даже из-за угла, из соседних харчевен почти не доносилось людского гомону. Тогда я осторожно подкрался по темной лестнице до самых дверей сору Эльвиры и прислушался: там еще шумели. Слышно было, что сор Пиппо, отчим Леды и отец Ригетто, подтрунивал над сынишкой и ласково говорил грубые и неприличные слова; и хотя я знал, что он извозчик и что это здесь не редкость, мне было неприятно подумать, что и Леда его слышит, не смущается и, вероятно, улыбается.

В час ночи я надел крылатку, закрыл голову капюшоном и прошел по переулку в третий раз. Было совсем пусто. Я прокрался наверх — там уже спали. Я вернулся на улицу, стал в тени и, обливаясь холодом, засвистал.

В эту минуту мне нестерпимо жадно захотелось, чтобы она сошла. Я вспомнил все дни и вечера, которые провел с ней то за городом, на равнине, то у себя, то под колоннами площади Святого Петра, и мне стало жалко, что все это раз навсегда кончено...

Я засвистал еще раз. Тяжелый portone дрогнул: я скользнул к ступенькам. Среди темноты там было что-то живое: я протянул руку, и встретил теплые пальцы, и едва не закричал от радости.

Она зашептала:

— Вы с ума сошли. Что это вы придумали?

Я схватил ее руки в свои и ответил:

— Идемте ко мне. Я ведь вас больше никогда не увижу.

По оттенку ее шепота я понял, что она беззвучно смеялась. Я не видел ни ее лица, ни ее фигуры. Она спряталась под мою крылатку, грея меня своей славной теплотой, и сказала:

— Я бы пошла, если бы вы дали слово, что ничем меня не обидите.

— Верьте, carina, — ответил я, — мне вовсе не до того, чтобы вас обижать. Я ведь с вами прощаюсь навсегда и не захочу оставить у вас неприятное воспоминание. Идемте.

— Тогда идemте.

— А ключ вы взяли?

— Взяла.

Мы скользнули на улицу, в тени добрались до угла, обогнули его и через минуту были у меня.

— О, как тут тепло и славно! — засмеялась она. — Дайте мне чаю, дайте мне чаю...

Сбросив мою крылатку, она стояла посреди комнаты, оглядывая стены, как будто не узнавала их в непривычном освещении. Потом ее глаза остановились на мне, она улыбнулась и сказала:

— Где вы встретили праздник?

Я ответил:

— Только что, у вас на лестнице. Когда я коснулся вашей руки, Леда, я встретил праздник.

Она забилась в свой любимый уголок на кушетке, свернулась в комочек и, выглядывая оттуда, как из норы, спросила:

— Значит, вы в меня все еще так сильно влюблены?

— Видите ли, — сказал я, разливая чай и вытряхивая из пакетика шоколадные конфетки, — я и сам этого не знаю — влюблен ли, не влюблен ли. Одно только знаю, что мне очень грустно было бы расстаться с вами, не попрощавшись и...

— И?..

— И не спросив у вас одной вещи.

— Какой?

— А вы ответите правду?

— Всю правду. Садитесь ближе, дайте мне вашу руку и говорите. Я отвечу всю правду.

Я сел возле нее. Мои руки были как лед; она стала их греть между своими так ласково и мягко, словно сестра милосердия, хотя я прекрасно знал, что это была не ласка теплого чувства ко мне, а ласка бессердечного котенка, чувствующего себя уютно и весело.

— Вот что, — начал я, — объясните мне все то, что между мной и вами было, потому что я ничего не понимаю. Любите вы не меня, а его: я это вам сразу сказал, и вы не спорили. Я, правда, никогда не требовал от вас ничего, кроме самых невинных прогулок и поцелуев, да и то, честное слово, целоваться чаще приходило в голову вам, нежели мне. Но, хотя мы ничего опасного и не делали, вы все-таки ведь рисковали. Он вам запретил говорить со мной и уже раз десять устраивал вам сцены. Почему же вы не велели мне оставить вас в покое? Вспомните, что я ни разу не просил вас ни о чем, и вполне понятно: зная, что вы любите другого, я всегда боялся нарваться на отказ. Когда мы отправились тайком за город или вы прятались на весь день у меня, это всегда случайно; мы случайно встретились на улице, останавливались на минуту поболтать и мало-помалу приходили к заключению провести день вместе. Я вам напомню, что два раза, когда мы очень долго не видались, вы сами пришли

ко мне сюда, и это было уже после того, как у вас с *ним* разыгрались из-за меня такие бури. Зачем же вы все это делали? Я подумал бы, что вы хотели мною дразнить его ревность, но вы всегда упрашивали меня свято хранить в тайне наши выходы и шалости, я всегда прятал концы в воду если и не совсем искусно, то старательно. И я ничего не могу понять: что я для вас? Ради чего вы рисковали? Ради чего вы рискуете хотя бы теперь, поздно ночью, одна у меня дома?..

Леда слушала внимательно, грея мои руки, поблескивая голубоватыми белками и отпивая из стакана беззвучные глотки, одними губами, без помощи рук. Когда же я договорил, она встряхнулась, положила руки мне на голову, впиалась пальцами в волосы, притянула к себе, поцеловала крепко и долго и потом, не выпуская, начала смеяться. Моя голова лежала у нее на плече; мне было немного неудобно так, но я забыл обо всем и заслушался ее хохота, который звенел и серебрился чисто и ровно, то тише, то громче, переливаясь так свободно и легко, словно это хохотала не простая земная девушка, а лесная русалка или какой-нибудь другой волшебный зверь...

— Баста, — сказала она, переставая, — надо вам открыть всю правду, хотя я и сама не знаю, в чем здесь правда. Одно только правда наверно: я в вас не влюблена и никогда не была влюблена. Вы для меня просто добрый приятель, и я еще вас ценю за то, что вы не пристаёте с нежностями, когда мне не до того. Ну, а что касается моего жениха, то... я, право, не знаю, люблю ли я его (впрочем, во всяком случае больше и скорее его, чем вас), и даже не знаю, жених ли он мне...

— Как так?

— Не знаю. Иногда я уверена, что он в конце концов не женится на мне. Впрочем, я никогда об этом не думаю... Знаете, что я скажу вам?

— Что?

— Я никогда ни о чем не думаю, и в этом вся загадка. Я иду, куда ветер дует, и стараюсь нигде не остановиться и не зацепиться. Вот и все. Ведь если бы я задумалась... Вы знаете, кто я такая? Ну, например, если бы вы рассказывали обо мне кому-нибудь приятелю, как бы вы меня описали?

— Цветочница, девятнадцати лет, хорошенькая, ветреная, умная, лживая и веселая.

— Пускай. Тут важно то, что я — хорошенькая и веселая цветочница. Вы знаете, чем кончают хорошенькие и веселые цветочницы? Только не стесняйтесь.

— Знаю, — сказал я.

— Чем?

— Или выходят замуж, или умирают в больнице Святого Джакомо.

— Веселые не выходят замуж. Это серьезные и скучные — те выходят замуж. Веселые кончают только у Сан-Джакомо. Это правило без исключений. Вы не смотрите, что я молоденькая: у нас в мастерской весь день идут беседы и рассказы, и все из жизни нашей сестры. Уверяю вас, что я не слыхала ни об одной веселой и хорошенькой цветочнице, которая миновала больницу Сан-Джакомо. Понимаете?

— Что именно?

— То, что я — такая же, как и все, и со мной должно случиться то же, что со всеми. И больше ничего.

— Леда, — тревожно сказал я, — зачем так смотреть?.. Как вам не стыдно? Ведь это — малодушие!..

— Все нет, добрый друг мой. Было бы малодушием, если бы я плакала и отчаивалась. И так, действительно, делают мои подружки. Они или стараются вовсе не думать о будущем, или, когда вспоминают, приходят в уныние. И оттого они похожи на телят, которых тащат на бойню, а те режут и упираются, хотя знают, что ничем не поможешь. У, как это некрасиво! Разве не лучше, — когда ясно поймешь, что, чему быть, того не миновать, — пойти к этому концу спокойно и весело? Знаете, на Campo di Fiori¹, где по средам торгуют цветами, в папское время казнили еретиков. А кругом стояла толпа. Иные осужденные вырывались и не давали себя привязать к столбу, а народ вокруг смеялся над ними и говорил: этот струсил! Зато другие шли спокойно и до конца шутили, и народ шептал: браво! Я тоже не трусиха. Я ничего не боюсь. Я знаю, что меня ждет впереди, не обманываю себя и не желаю, чтобы судьба меня тащила, а я бы упиралась, как теленок перед бойней. Оттого я иду по дороге, ни от чего не сторонюсь и ничего не пугаюсь... Что вы хотите?

— Я хочу дать вам чаю.

— Не надо больше, я скоро пойду. Я только хочу ответить на ваш вопрос. Что вы для меня? Ничего. Но мне с вами уютно и не скучно, и я этому рада. Когда я с вами встречалась, мне это было приятно; раза два я вспомнила, что давно вас не видела, и прибежала проведать. Он запретил мне это, и я старалась

¹ Площадь Цветов (*итал.*).

скрыть от него наши свидания, чтобы не выходило ссор; но перестать с вами встречаться — у меня на это не было никакой причины. Я не умею раз навсегда решать: то-то буду делать, того-то не стану делать. Я иду по дорожке и стараюсь нигде не зацепиться и ни от чего не сторонюсь, если только мне не противно. Встретила вас и гуляю с вами; встретила его и назвалась его невестой; теперь вас уговорили не видаться со мной больше — не надо, я про вас забуду; еще через полгода он меня бросит или сами собой остынем друг к другу — я и про него забуду; позовет меня кто-нибудь в Турцию — поеду, увезет в Аргентину — поеду, налетит на меня паровик — попробую отскочить в сторону, а не успею, так и не надо. Я бегу, куда ветерок дует, и мне весело, и баста. А теперь мы с вами попрощались, и вы отведете меня домой. Желаю вам нескучно провести праздники и хорошо встретить новый год, и вообще желаю вам всего хорошего...

Было лунно и тихо. Леда скользила рядом со мной, под моей крылаткой, отдавая мне, как будто на прощанье, мягкую теплоту своего небольшого стана и полной руки, обхватившей мое плечо.

Мы прошли бесшумно в ее portone, прокрались до двери, заглянули в замочную скважину. Там было тихо и темно.

— Прощайте, Леда.

— Прощайте...

Не расставаясь с ее рукой, я стал медленно уходить вниз, и вдруг ее пальцы с силой сжали мою руку.

— Что? — шепотом спросил я.

И опять по оттенку ее молчания мне стало ясно, что она беззвучно хохотала, и потом она прошептала:

— Видите, какая у нас старая лестница и какой некрасивый portone! А за этой дверью у нас одна комната и кухня. Я сплю в кухне. Отчим извозчик. Мама шьет белье, а заказчицы ей мало платят и говорят, будто она крадет полотно. На прошлой неделе мы раз не обедали. Понимаете? Я ничего не боюсь и бегу вприпрыжку по моей дорожке, куда ветер гонит, и стараюсь нигде не зацепиться. Чао!

Она оттолкнула меня. Я притаился на лестнице: ключ защелкал, дверь скрипнула, и стало тихо и пусто.

Altalena

Одесские новости. 25.12.1903



Вскользь

Тысяча девятьсот три года тому назад родился Пророк, открывший вечную сущность всех учений, какие были даны и еще будут даны всеми другими пророками человечества.

Нет такой земли, таких условий, такого народа, для которых это учение, кристалл всех учений, было бы чуждо, неприемлемо или необязательно.

Нет и не было проповеди, которая в основе своей не являлась перепевом, перифразой или переводом этой основной и краеугольной Проповеди Проповедей.

То, что говорили другие учителя, переливалось иногда всеми цветами радуги, составляя самые неожиданные сочетания оттенков; но она — проповедь, рожденная 1903 года тому назад, — была как свет солнечный, в котором скрыты в зародыше все переливы радужного спектра.

Было время, когда люди стали молиться трем лозунгам: лозунгу свободы, лозунгу равенства и лозунгу братства.

Свободы — для того, чтобы легко дышалось человеку; равенства — для того, чтобы не мог человек человека столкнуть с дороги в канаву; братства — для того, чтобы и нечаянно упавший в канаву нашел себе руку помощи и возродился бы вновь.

И тогда, вероятно, людям казалось, что им открылись три новых, дотоле совершенно неизвестных краеугольных камня общежития, что они изобрели такие слова, каких никто до них не говорил.

А на самом деле — и лозунг свободы, и лозунги равенства и братства — все это было выражением великой жалости человека к человеку: это были основные цвета тройственного спектра, на которые, пройдя сквозь призму данного момента, разложился давно провозглашенный всеобъемлющий лозунг любви.

Много разных цветов принимал в разное время этот лозунг, преломляясь в призмах событий и эпох, и на многих разных языках разно звучали его слова, так что часто нельзя было даже узнать его в странном переводе.

Так, давным-давно, еще задолго раньше, нежели 1903 года тому назад, было произнесено: око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. И это слово сохранилось в священных книгах до сего дня, и многие думают, что оно противоречит лозунгу любви.

Потому что не могут они пропустить суть этого лозунга сквозь призму того момента, когда было сказано такое суровое слово.

Не помнят, что то время было суровое время, когда насилие и беззаконие стояли в порядке каждого дня, и люди даже еще нетвердо знали, что насилия и беззакония не должно быть.

И только первые проблески нравственного чувства загорались в них при виде беззакония и насилия, но эти проблески были смутны и неясны, и люди не понимали их цены.

Надо было объяснить им, что эти искорки протеста были зародышами чувства справедливости, возмущенного насилием; надо было указать им, что эти зародыши протеста против беззакония должно холить и лелеять, как единственный оплот перед напором зла, чтобы беззаконие не могло разгуляться на вольном просторе и всегда помнило о протесте и боялось его.

Разве это не была любовь и жалость к людям, которые страдали от разгула насилия и беззакония?

Много позже, совсем уже недавно, опять зазвучали проповеди сурового склада, и опять люди говорят, что это — слова презрения и ненависти, а не слова любви; что это новая измена Проповеди Проповедей.

Нет, это та же проповедь, но уже преломленная сквозь грани новой призмы — призмы новых событий и новых условий, — уже на новый язык переведенная.

Время настало такое, когда каждому больному лестно и уютно сознавать себя больным, и он говорит себе: вот, я лежу под одеялом, а за мной все ухаживают, мне все сочувствуют, я центр всеобщей симпатии. Хорошо быть больным!

И свывается со своей болезнью, и перестает чувствовать отвращение к недугу и здоровую зависть к здоровью; и так понемногу вырождается и портится человечество, а та работа, для которой нужны здоровые руки, стоит без движения, и всем оттого худо.

Тогда зоркие люди качают головами и говорят себе:

— Нет, слишком разлакомились эти недужные, слишком избаловало их наше сочувствие, и они уже забыли о том, что не больной, а здоровый человек нужен для жизни. Лишим же их нашего сочувствия. Пусть увидят, что мы презираем их за примирение с недугом, что тяготимся ими как ненужным бременем, и тогда наконец они вспомнят, что не должен человек давать волю над собой никакой хвори, как бы сильна она ни была.

Тогда пробудится в нем отвращение к болезни и желание здоровья, и только этим желанием он и может спастись и выздороветь...

Разве это не жалость к людям, говорящая на языке презрения и укора, но словами любви?

Многое проповедалось, многое будет еще проповедано, и разное будет звучать, но во всем и всегда будет жить, под разной одеждой, один и тот же дух братства человека с человеком.

На корабле жизни сменяются смены, и приходящий сторожевой говорит уходящему свой девиз: говорит он другим голосом, говорит на другом языке, но девиз остается все тот же, *et in hoc vincemus...*¹



Два слова о театре г-на Сибирякова.

В одесских рецензиях о пьесе «Данте» слышится некоторая неуверенность, даже колебание, как будто критики сами твердо еще не решили: отнестись ли добродушно или побранить?

Действительно, о пьесе «Данте» как пьесе не может быть двух мнений. Недаром ее в Италии критика и публика сочли чуть ли не за оскорбление со стороны Сарду, как профанацию величайшего национального поэта.

Так что человек посторонний мог бы в самом деле сказать, что не стоило тратить столько вкуса и денег на постановку такого произведения.

Но мы здесь, в Одессе, по отношению к сибиряковскому делу должны стоять, по-моему, на другой точке зрения.

Мы должны смотреть на это предприятие в его целом, и оценке этого целого разумно подчинить оценку деталей.

Нам нужна непременно постоянная драма, солидно поставленная, то есть обеспеченная и материальными средствами, и солидным идейным настроением руководителей.

Пока мы в деле г-на Сибирякова видим это солидное идейное настроение, пока мы уверены, что основатель нового театра действительно и чистосердечно старается дать Одессе — хотя бы и не сегодня, а завтра или послезавтра — настоящую первоклассную серьезную драму, — до тех пор все детали, все отдельные постановки должны быть оцениваемы лишь как вспомогательные моменты.

¹ Так победим (*лат.*).

Всякому ясно, что для такого дела нужны деньги, нужны сборы; поэтому пьесы, бьющие на сбор и только на сбор, особенно в первое время, антрепризе необходимы.

И мы, признавая эту необходимость, смело можем — если только пьеса, конечно, не является прямо вредной, не бьет на дурные низменные инстинкты — принять во внимание похвальную общую цель и, в отдельном случае, закрыть глаза на недостатки выбора.

Даже больше: мы можем, несмотря на недостатки вообще в отдельных случаях, содействовать, по мере сил, успеху даже не вполне удачно выбранной пьесы.

Такое дело, как театр г-на Сибирякова, пока есть вера, что оно ведется с надлежащими намерениями, нам едва ли не так же близко и дорого, как самому предпринимателю. Мы должны лелеять его, как ребенка, — скажу больше: как маленького царевича, который растет на благо всему краю, — и заботиться о том, чтобы каждый даже неудачный шаг нашего крестника обратить не во вред ему, а во благо.

Кто ясно усвоил себе мысль, что Одессе нужна драма, для того не может быть колебаний: пока молодое предприятие ведется с истинным желанием послужить истинной нужде города, — до тех пор мы должны поддерживать его во что бы то ни стало.

Другое дело, если бы направление предприятия изменилось.

Если бы мы, например (чего, надеюсь, нет и не будет), увидели, что вдруг он начинает служить не нуждам города, а капризам отдельных личностей.

Если бы вдруг оказалось, что в нем преобладает забота о том, как бы поладить с княгиней Марьей Алексевной, а не забота о том, как бы привлечь, беспристрастно выбирая, лучшие, по возможности, таланты и бережно сохранить и воспитать те, которые уже имеются.

Тогда, конечно, совсем другое дело.

Тогда мы не стали бы и считаться серьезно с этим предприятием, и с удовольствием следили бы за его агонией, и даже охотно ускорили бы ее; ибо тогда это было бы предприятие недоброкачественное, и чем скорее очистилось бы занимаемое им бесполезно место, тем лучше.

Но все это было бы «тогда». На самом деле ведь этого нет?

На самом деле во главе Драматического театра стоят лица, которые твердо понимают, что в настоящий момент только на пути верного, чистого и старого служения культурным интере-

сам города, пробуждающегося для новой жизни, можно заработать себе прочно доброе имя и большие средства на расширение и обогащение дела.

И пока эти лица твердо знают и помнят все это, они должны быть уверены в дружной поддержке всех друзей серьезного театра, особенно в поддержке прессы, даже в случае небольшого промаха в деталях.

Потому что на одесской печати, по отношению к театру, лежит задача — с тою же самой непреодолимой настойчивостью содействовать всему, в основе чего лежит доброе намерение служить городу, с какою она должна быть готова разметать как ненужное и вредное все то, в основу чего положены личные капризы и аппетиты левой ноги...



По поводу фельетона «Фрейлейн», помещенного в номере «Одесских новостей» от 18 декабря (на 1-й странице), я получил несколько писем. Из них два-три — с любопытными замечаниями и возражениями.

Очевидно, тема о положении гувернанток многих из читателей близко занимает.

Поэтому мне хотелось бы вообще узнать по этому поводу мнения публики, особенно женской — как из класса самих «фрейлейн», так и из класса «хозяек».

Предлагаю главным образом следующие вопросы:

— В чем видна ненормальность нынешнего положения гувернантки?

— Какими средствами можно помочь улучшить это дело?

Впрочем, буду очень благодарен за всякое замечание, и не являющееся прямым ответом на эти два вопроса.

В частности — любопытны были бы жалобы «хозяек», которые, без сомнения, тоже не всем довольны и, пожалуй, даже иногда считают страдающей стороною — себя.

В письмах прошу указывать, по возможности, общественное положение автора, — главным образом: «фрейлейн» или «хозяйка».

При первой возможности, я составлю, по примеру прежних опросов, сводку полученных мнений.

Altalena

Одесские новости. 25.12.1903


Вскользь

Еще об упадке фантазии.

После всего того, что говорилось и возражалось по поводу убыли фантазии, оказывается, что надо начать с начала и установить, что такое фантазия.

Или, вернее, о какой фантазии шла речь.

Дело в том, что редакцией получено несколько писем приблизительно такого содержания.

«Для меня и еще для многих (цитирую одно из этих писем) фантастические произведения не являются такими, которые могли бы нас увлечь. Я даже в детстве не любила сказок. Достаточно мне вспомнить, что это — не действительность, а вымысел — пусть даже вымысел прекрасный, как, например, сказки тысячи и одной ночи, — чтобы всякое очарование исчезло.

Пусть нам дают действительную жизнь. Какова бы она ни была, все же лучше, нежели увлечься тем, чего на самом деле не бывает...»

И так далее. Из всего в этих письмах явствует, что авторы их понимают фантазию, как умение порассказать о том, чего не бывает.

Сообразно этому взгляду иные из авторов указывают на «Потонувший колокол» и восклицают:

— Как можно говорить об упадке фантазии, когда есть драма, где выведены леший, ведьма и русалка!

Тут недоразумение.

Гауптмана вообще трудно отнести к писателям, лишенным фантазии, хотя и особенного богатства в этом отношении он не обнаружил.

Но «Потонувший колокол» здесь совершенно ни при чем. По элементу фантазии это произведение гораздо беднее, чем, например, «Михаэль Крамер» или «Коллега Крамpton».

Фантазию нельзя смешивать с фантастическим вымыслом, с русалками, эльфами и привидениями.

Фантазия есть способность соединять разнообразные отдельные моменты, факты, события — в связную и сложную фабулу. Чем фабула разнообразнее, сложнее и при этом связнее — тем фантазия богаче.

Поэтому можно написать произведение хотя бы из жизни гномов, или ларвов, или как их там еще называют, и все-таки

не проявить ни капли фантазии, если в повествовании не будет разнообразной, сложной и связной фабулы.

И можно написать, наоборот, роман из жизни бакалейных приказчиков и, нисколько не отдаляясь от жизни, проявить в этом романе богатство фантазии. Для этого надо только знать всякие разнообразные события, какие случаются с бакалейным приказчиком, и уметь скомбинировать их в более или менее сложную и связную фабулу.

Фантазия проявляется в фабуле, а не в действующих лицах.

Не в том дело, как называется герой — «русалка» или «Иван Иваныч», а в том, удалось ли автору провести его через сложные комбинации событий.

Писатели с богатой фантазией — это не только Гофман или Виланд в «Обероне»: это прежде всего Золя в «Ругон-Маккарах», Тургенев во всех своих романах, Достоевский.

Эти все писатели изображают жизнь в виде калейдоскопа разнообразных событий, и, читая их, видишь, что у них нет недостатка в фабуле, что сложные сюжеты так и льются из их фантазии, легко и свободно.

Почему у этих писателей, живших тоже в капиталистическую эпоху, была фантазия — другой вопрос. Потому, вероятно, что перемены в человеческой психике совершаются не сразу; потому, что после наступления нового общественного строя некоторые слои общества долго еще живут остатками старого строя, и писатель, выросший в этих слоях или вращаясь среди них, остается как бы огражденным от непосредственного влияния своей эпохи, которое, таким образом, не успевает отразиться на его психике; вообще, по разным причинам, о которых мы здесь не будем распространяться.

Но факт тот, что у этих писателей фантазия была, а у новейших (и как раз у самых модных) ее нет.

И поэтому у них, у новейших, нет того, чтобы сложные сюжеты лились из фантазии легко и свободно, сплетаясь в разнообразные сочетания, а, напротив, у них сюжетцы крохотные, ползучие, нищенские.

И сознавая или чуя это, они, новейшие, стараются раздуть эти сюжетцы, делая из каждого пустячка нечто серьезное, упираясь во всякую мелочь всем своим вниманием, стараясь убедить вас, будто эта мелочь есть что-то ужасно важное и грозное.

И получается такая манера письма:

«Он пришел домой из театра и увидел лампу, которая чадила.

Черный дымок бежал из отверстия стекла, и черные точки метались по комнате, оседая на стенах, на белье постели, на лицах людей.

И ему казалось, что эти точки проникают и глубже, проникают во все поры вещей и существ и что его собственная душа вся уже полна этих черных точек.

И было так, как будто бы эти черные пушинки в его душе сбились в комок, в тяжелый, жесткий черный ком.

И чем больше он вслушивался в то, что происходило в его душе, тем, казалось ему, все больше становился ком; и уже чудилось, что то был не ком, а целая гора, черная и ужасная, и что не она была внутри его, а была уже сама по себе, высокая и большая, и он стоял, сиротливый и маленький, на ее черной вершине.

И страннее всего было то, что с этой вершины пред ним растянулся не тот широкий кругозор, который всегда открывается глазу с высокого места, а узенький, маленький горизонтик, не больше десяти саженей в диаметре, зеленоватый, с перламутровыми оттенками по краям.

И все это было так непривычно, что ему хотелось громко кричать и в то же время петь, но петь особенно, тонко-тонко, так, как пела в театре, откуда он пришел, плоская певица с серыми глазами.

Утром его отвезли к Дрознесу...»

Воля ваша — может быть, такая манера и соответствует духовным нуждам нашего времени (я это легко допускаю и, во всяком случае, здесь против этого не спорю), но если столько шума поднимается из-за коптящей лампы, то мы вправе заключить, что автор, очевидно, не в силах был подыскать для своего анализа ничего более замечательного, то есть что ресурсы его фантазии не идут дальше коптящей лампы.

Замените, если угодно, эту простую лампу — волшебной лампой Аладдина, т. е. введите сказочный элемент, и все же такое произведение останется шедевром убожества фантазии.

«Сказочный элемент» и «фантазия» — вовсе не одно и то же.

Фантазия нужна не для того, чтобы сочинять волшебные сказки или повествовать о том, чего не бывает.

Фантазия нужна для того, чтобы изображать жизнь, настоящую реальную жизнь, но во всей ее полноте. Не имея фантазии, можно изобразить что угодно — только не жизнь, не настоящую реальную жизнь.

Altalena

Одесские новости. 28.12.1903



Вскользь

В бенефисе г-на Горелова пойдут «Призраки» Ибсена — одна из интереснейших, если не самая интересная из новинок всего сезона.

Недаром она считается едва ли не первой по глубине среди пьес северного богатыря.

В ней показано с едкой осязательностью, как невытравимо вся гадость и мерзость прошлого осела в нас, пропитала все тело и душу.

В этом теле и в этой душе зарождаются новые влечения, новые желания. Часто это благородные, честные влечения и желания.

Но душа, пропитанная осадками прошлого, неспособна следовать новому влечению. Тело, несущее в себе все яды, накопленные поколениями предков, висит, как ядро на ноге, и не дает человеку бодро идти к возрождению.

Добрая воля напрасна: «призраки» прошлого регулируют нашу жизнь.

И никогда мы не подвинемся вперед ни на шаг, никогда не устроим жизнь по-новому, пока не разметим до основания, без всякой жалости, всего, что осталось от прошлого, не сожжем на костре всего мусора духовного и вещественного и сами не очистимся в этом огне.

Эта пьеса головокружительно глубока. Если в нее хорошенько заглянешь, то станет ясно, что одно из двух: или надо вынести из нее беспредельное отчаяние и совсем опустить руки, или, напротив, беспредельную отвагу разрушения.

Играть в такой пьесе, да еще в первый раз, без предшественников, это крупная честь и крупная ответственность, очень серьезный экзамен.

На первом плане две фигуры — двое рабов прошлого, двое одержимых «призраками», но они резко непохожи друг на друга, хотя они, по крови, брат и сестра.

Одна и та же наследственность отравила обоих; но в одном яд захватил только тело, не коснувшись души, — в другой только душу, не коснувшись тела.

Оттого Освальд мечется, «как подстреленная птица», — порывается расправить крылья, чтобы взлететь к «солнцу»,

и бессильно падает; и сознание этих порывов рядом с сознанием этого бессилия делает из него какого-то расщепленного человека.

Рядом с ним молоденькая Регина проходит твердой поступью, стиснув зубы, сжав маленькие изящные кулачки, устремив глаза в одну заветную цель, на которой написано слово «себялюбие», не отклоняясь ни на шаг от намеченной дороги; здоровая телом и цельная духом, она проходит на фоне этой пьесы, как олицетворение торжествующего зла, как доказательство, что в мире, пока он подчинен призракам прошлого, только злая сила может уверенно развивать свою энергию, без разлада с самой собою.

Две очень трудные роли, особенно первая.

За изображение болезни Освальда автора много упрекали. Говорили, что таких скоропалительных болезней не бывает, что в течение 24 часов человек не может превратиться из тонко мыслящего существа — в идиота.

Артист Дзаккони, считающий роль Освальда своей коронной ролью, играет ее так, что это обвинение против Ибсена само собою падает.

С первого выхода Освальда-Дзаккони вы ясно видите, что это почти «конченный» человек: у него нетвердая походка, растерянный взор, он явно делает усилия, чтобы понять самую простую мысль.

Дальше Дзаккони дает строго последовательную картину роста болезни, прибавляя все новые внешние признаки: руки начинают дрожать, язык заплетается и путает слова, так что финальный столбняк с идиотским повторением одного и того же слова не кажется неожиданным.

Все это отделано виртуозно во всех мелочах, но в конце концов на первом плане оказывается чисто больничная картина, так что социальная трагедия, отраженная в этой пьесе, совершенно ступшевывается, и зритель недоумевает, зачем автору понадобилось сжечь приют, зачем выведен пастор Мандерс или Регина.

Если исполнителю роли Освальда в Одессе удастся примирить клинические элементы пьесы с ее социальной идеей, так, чтобы одно не мешало другому, тогда постановка «Призраков» будет настоящим просветительным событием в жизни нашего города.

Altalena

Одесские новости. 30.12.1903

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЗА ПУБЛИЦИСТИКА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 1903



На русской границе

«Вы г-н Актолин?» — «Так точно». — «Знаете, в общей зале такая толкотня — не угодно ли вам пожаловать в cabinet particulier¹?» Я люблю людей, вежливых и предупредительных к измученным туристам, а потому охотно следую по указанному мне направлению. «Что-то позадержались за границей... Как путешествовали? Не угодно ли вам раздеться?» — «Разве здесь есть ванна, которую можно наскоро принять?» — спрашиваю я. «Нет, но, видите ли, так жарко. Иванов, помоги раздеться г-ну Актолину и хорошенько вытряси платье».

Я принимаю услуги г-на Иванова, по-видимому, более бравого, чем ловкого человека; но, не имея чести знать его, предварительно вынимаю бумажник и все ценные предметы. В конце концов я очутился в одном нижнем белье. Тут обрисовались некоторые особенности моего интимного туалета и до крайности заинтересовали капитана, по-видимому, хозяина cabinet particulier.

«Что это на вас? Не можете ли показать — очень интересно». — «Охотно покажу, но извините...» — «О, пожалуйста, не стесняйтесь, мы люди ко всему привычные».

Я снимаю широкий ламбертовский пояс, в который затянул меня еще покойный Боткин.

«Очень любопытная вещица», — сказал капитан, переворачивая пояс на все лады.

Я сообразил, до чего он добирался.

«Знаете, и без рентгеновских лучей, а просто на солнце можно видеть, что с одной стороны шелковая материя, а с другой холст». И с этими словами подвел капитана к окну, развер-

¹ Отдельный кабинет (фр.).

нул пояс на солнце — и, действительно, ничего не оказалось, кроме двух слоев материи.

Между тем вернулся г-н Иванов и подал капитану вынутые из кармана визитки два билета неаполитанского трамвая; на беду они были на итальянском языке, и на них значилось слово *società*¹. Я понял затруднение капитана и сказал: «Эти билеты я могу оставить вам на память нашего приятного знакомства». Мне показалось несколько странным, что он даже не поблагодарил меня, а оставил у себя билеты как вещь, как бы по праву ему принадлежащую, и сейчас же записал ее в какую-то книгу.

На столе лежал довольно объемистый саквояж и портплед. «В дороге все вещи страшно перепылились, — сказал я, — можно попросить г-на Иванова вынуть из портпледа, что там находится, и хорошенько вытрясти?» — «Помилуйте, это его прямая обязанность. Иванов, возьми портплед».

Вскоре Иванов вернулся, на лице его выражалось крайнее недоумение; вещи были обратно уложены в портплед, но у г-на Иванова было что-то в руках, что он передал капитану. Тот осторожно вынул из мешочка моего неизменного спутника — гуттаперчевую клизму. Этого рода предметы положительно возбуждают теперь особенный интерес: например, «средиземная эскадра» ничего не тронула у г-на Лесевича¹ в его библиотеке, весьма обширной и разнообразной, оставила в неприкосновенности его буддийскую божницу, но он должен был поступиться своей клизмой. Я дал, конечно, всякого рода разъяснения по занимавшему предмету, в крайности даже предложил произвести небольшой эксперимент и ручался за его успех. Не знаю, однако, насколько мои слушатели остались удовлетворенными.

Между тем, случайно взглянув на часы, я заметил, что уже близко время отъезда поезда, на что и обратил внимание капитана.

«Это ничего не значит, — ответил он, — отсюда много отходит поездов, а ведь вам нет особенной надобности торопиться. Знаете, — продолжал капитан, — такую скучную ведешь жизнь — все переписка да отписка, образованных людей кругом никого. У вас в саквояже, вероятно, много любопытных предметов — надеюсь, вы не откажете нам в удовольствии посмотреть их».

¹ Общество; компания (*итал.*).

Я человек уступчивый, особенно когда вижу людей действительно интересующихся. Открываю саквояж. Сверху лежал пояс другого фасона, совсем новенький, с иголки, такой изящный.

«Это что?» — «Тоже пояс». — «Но он совершенно не похож». — «Но служит для той же цели — хотите, я его надею». — «Ах, сделайте одолжение». Я быстро облакаюсь в новый пояс, делаю в нем несколько оборотов и положительно привожу публику в восторг, когда с шиком пропел: «Смотрите здесь, смотрите там, нравится ль все это вам?»

Но не все, что весело начинается, так же весело и продолжается. Когда дошла очередь до коллекции портретов, я почувствовал себя настолько утомленным, что попросил стул — до сего времени наше собеседование происходило стоя, — потом стакан воды и, наконец, хоть десять минут перерыва. Все это было мне любезно предоставлено. Начался сторонний незначительный разговор.

«Как хорошо сидит на вас платье (я был уже одет) — конечно, за границей делали?» — «Да». — «И, должно быть, гораздо дешевле, чем в России?» — «Да, дешевле». — «Отчего это за границей все дешевле, чем у нас? Я думаю, потому что наши купцы могут драть, сколько им вздумается; никакого нет надзора за ними — вещь стоит рубль, а он, мошенник, требует три. Вы, кажется, сделали себе порядочный запас?» — «Обыкновенно я заказываю за границей одну пару, а ныне, действительно, везу несколько более, потому что заграничные костюмы производят потрясающий эффект в провинции». — «Но вы, кажется, живете в Петербурге?» — «До сих пор жил, а теперь... право, не знаю, может быть, придется поселиться в провинции...» — «А что ж, ведь ныне и в провинции можно жить очень приятно: почти везде есть театры, оперетка, да и образованных людей куда больше прежнего. Что ни говорите, а образование в России сильно распространяется; теперь даже в нашем ведомстве не определяют без экзамена». — «Что ж, трудный экзамен?» — «Очень нелегкий. Ныне все требуется по закону, а между тем дня не проходит, чтоб не выходил какой-нибудь новый закон. Затем обязательно читать газеты». — «Которая же газета вам более нравится?» — «А "Новое время", потому, знаете, что как-то легче читается».

Наконец я встал и вынул пачку портретов. «Ох, как много везете — разве вы ими торгуете?» — «Нет, я собираю портреты». — «Что же, это все нарисовано?» — «Нет, гравюры и офорты».

Портреты с подписями редко подавали повод к каким-нибудь вопросам. «Микеланджело Буонаротти — он кто же такой был?» — «Великий художник такого-то времени, построил храм св. Петра в Риме». — «Вы бывали в Риме?» — «Бывал». — «И папу видели?» — «Нет». — «Как же это, батюшка, были в Риме и папы не видали — ведь это все равно, что жить в Петербурге и не побывать в Петропавловской крепости».

Я и не заметил, как во время этого разговора та часть портретов, которая была уже рассмотрена, каким-то образом разделалась на две половины — одна оставалась вблизи меня, а другая очутилась перед капитаном. Перешли к небольшому числу портретов без подписей. «Почему же здесь нет подписей?» — «Это так называемые экземпляры *avant les lettres*¹». Но, кажется, чем более я объяснял, что это значит, тем более капитан и вся компания оставались в недоумении. «А сами-то вы знаете, кто это такие?» — «Конечно». И стал называть имена. Только относительно одного портрета не мог дать точных указаний. «Антиквар предложил мне его за Байрона, но я сказал, что нет никакого сходства с Байроном. «Так, может быть, другой какой писатель», — простодушно ответил антиквар. Я взял портрет потому, что это очень хорошая гравюра Моргена^{II}. После мне сказали, что это якобы Иосиф Наполеон». — «А у вас нет ли портрета Бреши?^{III}» — «Нет». — «Очень бы хотелось посмотреть портрет Бреши».

Вопрос о Бреши я принял к сведению. Затем перешли к небольшой коллекции медалей.

«Скажите, пожалуйста, а это что такое?» — «Медали». — «Но почему же они без ушек и притом такие черные?» Я объяснил, что это такие медали, которые выбиваются в честь великих или почему-нибудь известных людей. «Так что, их не носят? Для чего же они?» — «Их хранят в музеях или частных коллекциях».

Между тем я держал в руках медаль Америко Веспуччи^{IV} с оборотом Паоло Тосканелли^V.

«Можете вы нам объяснить, кто это такие?»

Медаль была значительно больше других, а потому, вероятно, и заинтересовала капитана.

¹ О гравюрах, эстампах: первые отиски, отпечатанные с досок, когда на них еще нет надписи, поясняющей содержание картины; особо ценятся знатоками и собирателями (*фр.*).

«На этой стороне Америко Веспуччи, — сказал я, — он был великий итальянский патриот, всю жизнь боролся с разными королями и многих из них отправил на тот свет. Но вот что особенно интересно: на вдове последнего убитого им короля он женился и прожил с ней в полном согласии до глубокой старости».

При этих словах вся аудитория собралась вокруг меня — даже г-н Иванов, — и все с приподнятыми плечами принялись рассматривать изображение Америко Веспуччи.

«А вот на другой стороне, — продолжал я, — Паоло Тосканелли; этот король не трогал, а истреблял их министров, но ни на одной из вдов их не женился — все были старухи, — и он, по рекомендации К. П. Победоносцева^{VI}, отправлял их в общину "Утоли мои печали"».

Физиономии моих слушателей стали серьезны; у них, по-видимому, не было и тени сомнения в том, что я говорю правду (только было предубеждение против меня!); напротив того, лица Америко Веспуччи и Паоло Тосканелли с первого же взгляда поразили их своей свирепостью; им только казалось странным, что я с такой легкостью говорю о предметах более чем нелегкомысленных. «Для чего же вы приобрели себе именно эту медаль? Другие все писатели, а ведь эти господа совсем иного сорта». — «Уж, право, не знаю, должно быть, бес попутал, а главное — продавец очень похваливал работу; теперь и сам вижу, что лучше было бы не покупать ее».

Но вернулись к дальнейшему рассмотрению. Вскрыли коробку с засахаренными виолетками. «Это своего рода конфеты, приготовленные во Флоренции, не угодно ли кому попробовать». Однако никто не решался. Тогда я взял одну виолетку и быстро направил ее в рот. «Позвольте, позвольте, что вы делаете?», — воскликнули все с невообразимым ужасом. — Но было уже поздно, виолетка разом прожевана и проглочена мной. Все чего-то ждали, но ничего не случилось. Я еще раз любезно предложил попробовать, уверяя, что это конфеты и очень вкусные. Однако долго никто не касался; наконец капитан взял одну виолетку, долго нюхал ее, поднес ко рту и остановился; потом опять понюхал и только тогда набрался храбрости и откусил самый крохотный кусочек, медленно его разжевал и, казалось, даже собирался выплюнуть, но обязательный вкус виолетки победил, и он храбро проглотил. «Да, это и в самом деле очень приятная вещь». — «Я же вам говорил». Тут картина быстро меняется, в коробку разом направились

пальцы (и не особенно опрятные) всех присутствовавших, кроме, конечно, г-на Иванова, так что я, воспользовавшись первым подходящим моментом, поторопился закрыть коробку.

Очередь наступила для небольшого ящичка с разноцветными мозаичными стеклышками. «Это, вероятно, заграничное монпансье?» — «Нет, образчики римской мозаики». Тут мне пришлось держать длинную лекцию; особенно капитан как-то с трудом усваивал самые простые объяснения, поминутно переспрашивая, точно он добивался получить от меня противоречивый ответ. Конечно, на самом деле он был далек от таких намерений — несомненно, что как человек любознательный он только хотел лучше усвоить совсем новый для него предмет.

Понемногу, наконец, был пересмотрен весь инвентарь. «Много у вас интересных предметов, чай, не дешево стоило». — «Нет, тут всего на тысячу рублей, но дело не в деньгах, а в том, что я очень ценю некоторые покупки — они положительно будут служить украшением моих коллекций!» — «Ах, г-н Актолин, и вы не боитесь возить по железным дорогам такие ценные вещи! Ведь с вами был уже грех». — «Какой?» — «А помните, как у вас украли саквояж с какими-то заграничными серебряными вещами?» — «Вы почему знаете?» — «Да я тогда, по приказанию генерала, наводил справки, но, конечно, никакого следа не оказалось. Так вот что я вам скажу, г-н Актолин, — продолжал капитан, — оставьте-ка нам вот все эти редкости, — и он показал на часть вещей, лежавших перед ним, — мы их надлежащим порядком перешлем в охранное отделение, там вы их и можете получить по приезду в Петербург. И ничего это вам не будет стоить».

Я был просто очарован таким совсем неожиданным проявлением внимания ко мне. В самом деле, теперь я мог ехать всю дорогу совершенно спокойно и спать сколько угодно. Но сейчас же явилась одна трусливая мысль — а как вдруг перепутают, не туда отправят, не все?.. Разве спросить расписку?.. Но неловко, люди оказывают мне обязательную услугу, а я вдруг заявлю недоверие. Как тут быть? Я, однако, нашелся, быстро опростал мой дорожный несессер, уложил туда все отобранные вещи, запер английским ключом и передал несессер капитану. «Вот это и отлично; а мы вам выдадим надлежащие документы. Так-то будет вернее и для вас спокойнее».

Я окончательно был подавлен этим новым знаком внимания, да и вообще сердце мое было преисполнено самого живого чувства признательности, так что мне даже становилось просто

совестно при одном воспоминании о медали Америко Веспуччи и Паоло Тосканелли. Бывают минуты, когда трудно сдерживать движения чувства — оно так и просится наружу. Я посмотрел на часы — до отхода поезда оставалось еще почти два часа. Чем бы отблагодарить моих новых приятелей? Предложить им разве распить крющончик, но ведь черт знает, что могут сострять в буфете, а я, конечно, имею дело с тонкими знатоками. Ба, да у меня есть бутылка вина, подарок заграничного друга, бутылка, несомненно, происходит из погреба испанского короля. «Господа, — сказал я, — времени до отхода поезда еще довольно; я был бы вам очень благодарен, если бы вы не отказались распить со мной бутылку вина, за редкие качества которого я вам ручаюсь. Можно попросить г-на Иванова сходить в буфет и принести рюмки?» — «Что ж, пожалуй, можно, — сказал капитан, — Иванов, принеси рюмки и штопор». Я между тем достал бутылку, показал ее на свет и объяснил, что это херес из погреба испанского короля. Все по очереди с некоторым благоговением стали рассматривать бутылку. «Но он совсем как белое вино, не похож на обыкновенный херес». — «В том-то и дело, господа, что это херес, можно сказать, девственный, ни в какой переделке не бывал, потому и не похож на тот, что у нас продают». Между тем вернулся г-н Иванов и принес четыре рюмки довольно сомнительной чистоты. Я принялся их перетирать. «Да вы, батюшка, точно обедню собираетесь служить, — заметил капитан, — по всему видно, что знаток и любитель».

Но вот бутылка вскрыта, и я начал разливать вино, удивительный аромат которого постепенно наполнил всю комнату. У всех как-то нервно расширились ноздри. Рюмки готовы, все их поднесли к носу и стали сладостно втягивать аромат. «За ваше здоровье, господа!» — «За ваше здоровье, г-н Актолин», — раздалось в ответ. «Вот так херес, вот так винцо!» — только и слышалось в течение некоторого времени. «Я раз, — сказал капитан, — купил у придворного лакея несколько бутылок вина, был в том числе и херес, только далеко до этого». — «А мне вот довелось, — заметил другой член нашей компании, — у одного польского помещика пить старый мед — тоже штука, я вам доложу; пьешь и ничего не замечаешь, а как попробуешь встать — не тут-то было».

При общем оживлении продолжалось распивание бутылки, даже чокнулись за здоровье испанского короля. Я еще предложил по гаванской сигаре. Закурив сигару и отдав ей полную

честь за ароматичность и нежность, капитан заметил: «Должно быть, старая, вылежавшаяся сигара. Старое вино, старая сигара — вот только женщина должна быть молодая». И при этих словах многозначительно улыбнулся. Тут как-то само собой разговор перешел на прекрасный пол и вообще принял интимный характер.

«А ведь давеча, г-н Актолин, вы мастерски отмахнули это коленце — смотрите здесь, смотрите там, — должно быть, частенько бывали в оперетке».

«Представьте себе, господа, только раз в жизни и видел "Корневильские колокола", и то в Гамбурге. И что же вы думаете? Пела эта певичка, кажется, по-немецки, а как дошла до этого места — вдруг и откатала по-русски: смотрите здесь и т. д. Вероятно, в России бывала». — «А веселый город, должно быть, Гамбург — сколько оттуда каждый год хорошеньких приезжают к нам».

Однако пора было и собираться; к тому же в бутылке ничего не оставалось. «Так вы теперь в Петербург едете?» — «Да, и даже без остановки». — «И отлично сделаете. Только не забудьте — как приедете, тотчас же понаведайтесь в охранное отделение». — «Непременно, уж будьте спокойны». Г-н Иванов стал укладывать мои вещи. То ли он сам любопытствовал или это вышло случайно, только из связки зонтиков и тростей блеснул острый наконечник, на каковой г-н Иванов и обратил внимание капитана — связка ранее не была досмотрена. «Что это такое?» — с заметным беспокойством сказал капитан. «Ах, Боже мой! Да я и забыл показать вам самый интересный предмет».

Быстро развязавши связку, я достал из нее небольшой дротик. «Это самоанский дротик, настоящий — мне его подарил капитан одного корабля, возвратившегося с Самоа. Посмотрите, господа, какой он легонький, а между тем какое крепкое дерево и как искусно насажен наконечник, как хорошо он отточен». Капитан внимательно осмотрел дротик, показал его своим товарищам и как бы задумался. Лицо его приняло серьезное выражение — казалось, он решал какую-то сложную проблему. «Ах, г-н Актолин, — сказал он, наконец, — охота вам тащить с собой эту дрянь, ну, на что оно вам? Сами знаете, какое теперь тревожное время — вероятно, читали последний приказ генерала Клейгельса. Еще бог знает на кого можете натолкнуться в дороге, ведь не все так поймут вас, как мы. Бросьте вы этот

дротик; поверьте, что только из дружеского расположения к вам говорю это. Мы даже не можем взять его для отправки с другими вещами — еще неизвестно, как на него посмотрят, наживете себе хлопот».

Мне сделалось ужасно грустно при одной мысли, что я должен расстаться с такой редкостью, которой, кажется, нет даже в музее Академии наук. Но, с другой стороны, в словах капитана сказывалось такое искреннее участие, что для колебаний не оставалось места. «Верю вам, капитан, и хоть тяжело, а принимаю ваш совет». С этими словами мы все крепко пожали друг другу руки.

«Ну, дай вам бог спокойно доехать до Петербурга и чтоб все там сошло для вас благополучно».

Актолин

Освобождение, № 14, 1903, с. 226–231



Одесские дела

От нашего корреспондента

В одном селении, в 40 верстах от Одессы, разбросаны были листки революционного содержания. По-видимому, это был плод усердия не по разуму, так как листки, говорят, были какие-то разные и не совсем подходящие к месту распространения. Полиция заподозрила почему-то местного земского врача г-на Нещеретова^{VII}. Выезд г-на Нещеретова в Одессу в тот же день усилил подозрение; в этом увидели желание с его стороны создать alibi и замести следы. Обыск, допрос. Врач держался с большим достоинством, просил предъявить определенные обвинения и на праздные вопросы отвечать отказался. От ямщика, однако, выведали, когда он уехал, где остановился и т. д. Для ареста все-таки не нашлось достаточных оснований. Случай — каких много, но особый печальный интерес его заключается в том, что Одесская уездная земская управа, осведомившись о привлечении г-на Нещеретова к дознанию по политическому делу, тотчас же захотела уволить его от службы в земстве. Сослуживцы его едва убедили предупредительных членов управы, что удалять человека с места по одному ничем еще не доказанному подозрению, по меньшей мере, несправедливо. Но ревностная управа все-таки думала освободиться

от «опасного» служащего, ссылаясь на то, что г-н Нещеретов часто ездит в Одессу и, значит, оставляет участок без врачебного призора. Так это в действительности или не так, но слишком ясно, конечно, почему управа фиксировала свое внимание на служебных проступках г-на Нещеретова не раньше и не позже именно данного момента. Ей все-таки пришлось пойти на уступку и по этому пункту, и в настоящее время врачебному совету при управе предоставлено войти в оценку служебного поведения г-на Нещеретова как земского врача.

Оценить же общественное поведение Одесской земской управы в данном инциденте мы предоставляем читателю.



В университете у нас заняты кураторским вопросом. Курсовые кураторы из профессоров здесь до сих пор не введены, так как в свое время местная профессорская корпорация не выразила особого сочувствия идее этого института, а сверху не позволили. Недавно, однако, поступило напоминание из министерства, вызванное, как говорят, тем, что Николай II спросил как-то у г-на Зенгера^{VIII}, везде ли уже есть кураторы. Как это бывает иногда с нашими верноподданными умами, профессора теперь в большинстве склоняются к осуществлению института, доказывая студентам его полезность, особенно с той стороны, что он ослабит вмешательство инспекции в студенческую жизнь. Многие студенты, однако, относятся к этой новелле со здоровым скептицизмом — ведь инспекция с введением кураторов не упраздняется, а между тем вводится в виде плюса новая опека, хотя и идиллическая по виду; с порядочными профессорами можно, конечно, устроиться мирно и даже, может быть, приятно, но ведь разные профессора бывают и разные идиллии могут получиться. Не будет ли это чем-то вроде института классных наставников для детей изрядного возраста? По этому поводу выпущено от местного союзного совета соединенных землячеств обращение предупреждающего свойства к товарищам, и вообще студенчество ажитировано данным вопросом.



Духовная семинария после известного бунта в начале прошлого декабря все еще закрыта.



Недавно был арестован по политическому делу один рабочий-рецидивист (случаи отдельных арестов бывают здесь всегда). Когда его привезли на допрос в жандармское управление и он в ожидании сидел в одной из первых от входной двери комнате, сторожившего его жандарма позвали за чем-то в кабинет к офицеру. Сообразив по звуку удалявшихся шагов, что страж довольно далеко, арестованный немедленно воспользовался моментом, выскочил в дверь, сел на проезжавшую, на его счастье, конку, потом, проехав квартала три, пересел на извозчика и скрылся, совершив таким образом совсем неожиданный для самого себя побег. По сей день беглец не открыт.



Во всех легальных газетах сообщено было о тюремном бунте в Одессе 2 января, а затем о таком же бунте в Николаеве в конце того же месяца. В предупреждение неверных толкований считаю нелишним удостоверить, что бунты эти были делом исключительно уголовных арестантов, которые в Одесском замке даже специально просили политических воздержаться от какого бы то ни было участия в их расчетах с тюремной администрацией, чтобы не усложнить взаимно ответственности. Бунт в Одессе был хорошо обдуман и подготовлен заранее и, как известно, начался в мужском отделении, а затем возобновился в женском. Причиной этого взрыва послужило дурное содержание и дикое обращение администрации с заключенными. При усмирении оружием взбунтовавшихся были человеческие жертвы. В официальном списке их не значится только ребенок, убитый вместе с матерью-арестанткой. Эту «маленькую» подробность не сочли нужным опубликовать, очевидно, щадя нервы читателей и особенно читательниц. Вряд ли об этом знает даже супруга градоначальника. Что касается николаевского бунта, то поводом к нему на фоне общих причин послужила расправа над пойманным беглецом-арестантом. В отчете говорится, что арестантам «показалось, будто его бьют»: это наделение их способностью галлюцинировать, разумеется, довольно наивно. Многим известно, чему подвергаются пойманные лица в руках разнузданной тюремной стражи, забывающей о всей гнусности бить лежачего. Мне лично известен факт смерти одного беглеца на другой день после поимки — так корректно обошлись с ним тюремные надзиратели.



Приятное впечатление производит прием недавно вступившим в должность новым председателем Херсонской губернской земской управы гр. Стенбок-Фермором представителей местной прессы. Молодой председатель высказался, что считает печать посредником между земством и населением и будет охотно делиться всем, что интересно для нее, с ее представителями. Нужно знать, что в последнее время для газетчиков двери управы были закрыты. И неудивительно: ведь предшественником гр. Стенбока был г-н Гербель, сподвижник кн. И. Оболенского, ныне харьковский вице-губернатор.

Аноним

Освобождение, №19, 1903, с. 337



После кишиневского погрома. Тайные типографии. «Независимые рабочие». Беспорядки в коммерческом училище

Одесса

Несомненно, что кишиневский погром сослужил некоторую службу правительству, парализовав у нас на юге манифестации 18 апреля (1 мая) со стороны рабочих. Еврейский «Комитет самозащиты» в Одессе под впечатлением кишиневских ужасов обратился ко всем революционным организациям с просьбой воздержаться не только от каких-либо уличных демонстраций, но даже от выпуска прокламаций или других листков, чтобы не дать хотя и ложного повода к антиеврейскому движению.

Тем не менее местные власти приняли на этот раз такие чрезвычайные меры перед праздником рабочих, что, надо думать, ожидалась чуть ли не самая настоящая революция с баррикадами. За два дня в штабе корпуса, квартирующего в Одессе, происходило секретнейшее заседание военного совета при участии и. д. градоначальника, полицеймейстера, жандармов и пр., на котором разрешались стратегические вопросы предстоящего сражения с неприятелем. Город был разделен на районы, назначены командующие и т. д., отдан даже приказ зарядить картечью пушки и держать их наготове (сообщено нам офице-

рами). Курьезнее всего, что, поверив какому-то нелепому слуху, будто готовится разгром офицерских жилищ, послали в этот день вооруженную охрану к частным квартирам самых незаметных поручиков и штабс-капитанов. Не забыли, однако, о старом испытанном средстве: роздали нагайки тем чинам, которым этот воинский атрибут по службе не присвоен. Береженого Бог бережет!.. Не усмотрев на улицах революционных полчищ, администрация перенесла свою деятельность на трактиры и чайные заведения, где устроена была облава с повальным карманным обыском гостей. При этом арестовано было около сотни человек с поличным в виде нелегальной литературы. Как видно, литература эта довольно широко распространена в рабочей среде; между прочим, арестовали одного старика, одну прачку с революционным календарем и пр. Несколько человек пойманы на расклеивании прокламаций. Еще за несколько дней до 18-го взяты были три девочки: 13-ти, 10-ти и 6-ти (!) лет, разбрасывавшие на улице прокламации: их держат в участке, кажется, и до сих пор, так как они не хотят сказать, кто дал им листки.

В тюрьме политические заключенные отпраздновали маевку пением революционных песен, возгласами и т. д., за что им объявлено лишение свиданий на месячный срок.

По поводу кишиневского погрома выпущены здесь прокламации к обществу и к рабочим от соц.-демократов и соц.-революционеров. Юдофобствующие верхи делают все, чтобы парализовать выражение сочувствия пострадавшим, и даже тормозят сборы благотворителей; так, на днях запрещен уже объявленный вечер артистки Пасхаловой в пользу потерпевших. По предъявлении одним лицом разрешения из Петербурга на сборы во всех городах, и. д. градоначальника сделал прибавку: «исключая Одессы». Полагают, что на такой корректив он решился не от своего ума, которым не обременен, а по секретному предписанию все того же петербургского двуликого Януса. Зато, говорят, в Кишиневе юдофобы из общества и их светские дамы посещают в тюрьме потерпевших горилл как борцов за русскую «идею» и стараются их всячески обласкать и утешить. А о погроме и там и у нас распускают слух, что он был ответом на конституционные требования евреев. Бедные старьевщики, мелкие лавочники и заливатели резиновых галош, — и вы с вашими полуголыми ребятишками попали в конституционалисты!..

Старания полиции разыскать здесь тайную типографию увенчались наконец успехом, превзошедшим ожидания: найдено почти одновременно несколько типографий, а именно — социалистов-революционеров на Мал. Арнаутской ул.; «Бунда»^{IX} — на Сенной площади и склад шрифта социал-демократов на Пересыпи. В первой типографии арестованы двое работавших и затем устроена была засада, в которую попали еще двое пришедших. Удивляются, зачем столько лиц связано было с таким рискованным пунктом. Предполагают, что шпион находился вблизи дома в образе извозчика, который неохотно брал пассажиров, отвечая, что он занят. Сколько пострадало при аресте других типографий, точно не знаю еще. Арест шрифта на Пересыпи связывают с переполохом 1 мая, когда в этой части города задержаны были 30 человек рабочих, праздновавших этот день, хотя непосредственно никто из них не имел отношения ни к типографии, ни вообще к этой группе. За указание места нахождения типографии уже давно назначено было, как говорили сами чины полиции, 5000 руб. премии. Поделят ли теперь эту сумму на три части или утратят ее? Об аресте упомянутых 30 рабочих (19 евреев, 11 христиан) рассказывают так: демонстрации не предполагалось, а просто группа рабочих около 200 человек собралась за городом, говорили речи, пели свои песни, выкинули красный и черный флаги; когда они разными дорогами возвращались по домам, часть встретилась с полицией, которая при содействии обывателей окружила 30 человек, завела в какой-то двор, где произвела жестокую расправу; помогали и обывательские молодцы, и даже евреи, свалившие ответственность за кишиневский погром на примкнувших к революционному движению братьев. Один из задержанных, у которого был и флаг, сопротивляясь, слегка ранил ножом полицейского, за что и был так избит, что опасаются за его жизнь.

В тюрьме на днях политические произвели маленький «бунт» — поломали мебель, побили стекла и т.п., за что 18 чел. посажены в карцер. Поводом послужила несправедливость, оказанная тюремной администрацией по отношению к некоторым заключенным товарищам.

Рабочие котельного завода Рестеля, пресловутые «независимые», устроили стачку и мужественно держались более двух недель. Полиция действительно не оказывала на них никакого воздействия, и они уже рассчитывали на успех. Дело, однако же, окончилось для них печально. Рестель нашел вне Одессы и отчасти в городе новый комплект рабочих, менее требова-

тельных, а когда стачечники хотели силою воспрепятствовать им работать, полиция организовала охрану новым работникам, а прежние остались при пиковом интересе. Многих очень разочаровал теперь такой союз с полицией, и, пожалуй, они станут независимыми в другом, более точном смысле.

С некоторого времени одно лицо, по профессии поверенный по судебным делам, сильно подозревается здесь в провокаторстве. У него много знакомств среди наиболее сознательных рабочих, которые и стали замечать в его поведении странности. Кроме наблюдения, двое из них проделали над ним и опыт: сказали ему, что в таком-то месте, в такой-то час должна состояться сходка рабочих; ничего в действительности там не предполагалось, но к назначенному часу явилась туда полиция. Зная, однако, многие случаи ошибочных обвинений в шпионстве, я воздерживаюсь пока от опубликования фамилии: надеюсь, что одно упоминание профессии предохранит, кого следует.

Из здешнего коммерческого училища недавно были уволены 32 ученика за дурное поведение и массовые пропуски уроков. Эта мера возмутила товарищей, и возникли беспорядки, в которых приняли участие старшие и средние классы: побили окна в учительской комнате, шумели, а один ученик по фамилии Выхрестов дал пощечину учителю Синезерскому. Последуют, конечно, репрессии. Интересны при этом отзывы в обществе. В то время как известный прошлогодний бунт в духовной семинарии расположил всех, кроме самых жестоковыйных людей, в пользу измученных ректорским деспотизмом семинаристов, о «коммерсантах» многие говорят, что это шалопаи и кутилы, искавшие только вольностей от наук. Не решаюсь подтвердить такого огульного обвинения, но, если бы это и было так, то где была школа и где были школьные воспитатели с их «сердечным попечением», пока десятилетние дети, поступающие в коммерческое училище, превращались постепенно в юношей-шалопаев? Ведь это не университет, где еще можно сказать, что молодые люди поступили туда сформировавшись, да и это, в сущности, неверно. А что может сказать в свое оправдание средняя школа с ее всесторонней опекой учащейся детей? Очевидно, вместе с 32 плохими учениками следовало выгнать из школы и те полтора или два десятка учителей и воспитателей, которые взялись не за свое дело. Из 32 исключенных многие, как говорят, дети бедных родителей, так что наказаны два поколения.

Аноним

Освобождение, №24, 1903, с. 442



Новый градоначальник. Похороны А. И. Маркевича

Одесса

В предыдущем письме я говорил, что и. д. местного градоначальника, помощник его д-р медицины Старков в высшей мере воспользовался представленным ему положением об охране властью, подвергнув (после полицейской кулачной расправы) трехмесячному тюремному заключению 30 человек рабочих, заподозренных в том, что они хотели произвести демонстрацию; вступивший в управление новый градоначальник ген. Арсеньев^X отменил это свирепое распоряжение, выпустив из тюрьмы 26 человек. Остались только четверо, у которых найдены были при обыске компрометирующие их вещи. Выпущены также арестованные еще раньше, 18 апреля, в чайном трактире рабочие, схваченные при облаве.

Вообще, генерал Арсеньев на первых порах, видимо, хочет зарекомендоваться с более или менее приличной стороны: с официальной помпой приезжал на богослужение в две еврейские синагоги, где обменивался приветствиями с представителями еврейского общества, запуганного и приниженного кишиневскими событиями; был на богослужении у старообрядцев, оставшись потом с ними на завтрак; присутствовал во всех своих регалиях на отпевании пользовавшегося здесь популярностью бывшего профессора Маркевича^{XI}, который не был ни личным знакомым градоначальника, ни лицом, прикосновенным к официальному чиновному миру, а создал себе имя только общественной деятельностью. Если почтенный генерал ведет эту тактику за свой личный риск, то, по всей вероятности, ему не замедлят дать другое направление, тем более что, явившись в Одессу из глухого Пермского края, он находится в святом неведении относительно некоторых вещей, известных здесь каждому дворнику. Вот что рассказывают, напр., о первой встрече нового градоначальника со старшим фабричным инспектором г-ном Поповым. Г-н Попов, представившись ему и перейдя на деловой разговор, высказался между прочим о том, что происходит вредная путаница от вмешательства в сферу деятельности фабричной инспекции чинов известного ведомства, организующих «независимую партию» рабочих и их собрания. Градоначальник

чальник в полном недоумении: «Полноте шутить! Чтобы полиция организовала каких-то независимых... Ха! Ха! Ха!» — «Ваше превосходительство, я докладываю вам по службе и прошу вас обратить серьезное внимание на мои слова». Генерал с растерянным видом пожимает плечами: «Хорошо, я разберусь в этом, но... что-то невероятное вы мне рассказываете».

Кстати о «независимых». Недавно жандармский офицер имел такой диалог с одним рабочим, при котором оказалась случайно их прокламация: «А другого чего-нибудь у тебя нет?» — «Нет. А это можно иметь?» — «Гм... пожалуй, можно. Видишь ли, жизнь не стоит на одном месте: лет 10 назад ты бы и за этакую вещь поплатился, а теперь...» — «Вы советуете мне поступить в этот союз?» — «Т.е. не то чтобы советую, а... впрочем, как хочешь. Ступай». Прокламация, конечно, без цензурной пометки и отпечатана якобы в нелегальной типографии. Итак, жизнь не стоит на одном месте, даже по признанию жандармов: 10 лет и теперь — большая разница. Что-то будет еще через 10 лет, г-н ротмистр? Бодрящее впечатление производили бывшие здесь недавно похороны Маркевича, имя которого уже упомянуто мною выше. Секрет его популярности среди рабочих заключался в увлекательном чтении лекций в народной аудитории на исторические и в особенности литературные темы. Покойный не был ни борцом*, ни новатором, а просто порядочным и трудолюбивым человеком, умевшим при том как-то одновременно интересоваться и народными лекциями, и биржей, в комитете которой в качестве секретаря был главным работником. Но дело в сущности даже не в самом Маркевиче: глядя на сомкнутую толпу рабочих, всю долгую дорогу до кладбища несших гроб, слушая их приподнятые, проникнутые сознанием своего гражданского совершеннолетия надгробные речи, хотелось думать не о мертвом, а о живых. И благоспитанной фальшью отдают те репортерские заметки, где говорилось о слезах и рыданиях над могилой; ничего этого не было: о покойнике жалели, его восхваляли, но ни отчаяния, ни уныния не наблюдалось, напротив, открыто высказывались надежды, что интеллигенция выдвинет новых людей из своей среды. Речи рабочих составлены были для уровня развития их авторов хорошо, с явным подчеркиванием всего, что можно было под-

* А. И. Маркевич должен был выйти в свое время в отставку потому, что при возвращении из заграничной командировки в его багаже было обнаружено изрядное количество нелегальной литературы. *Рег.*

черкнуть по данному поводу, но без резкостей, за которые можно бы было поплатиться. Полиция была наготове, но проявить своего рвения к службе ей не было видимого предлога, только с венка рабочих снята была лента с надписью, ничего, впрочем, ужасного не содержащей. Очень хорошо для условий нашего места и времени, что о равном отношении покойного к слушателям, христианам и евреям, говорили русские рабочие. Вообще, рабочая толпа держалась с полным тактом и спокойным достоинством; интеллигенция же, не привыкшая еще у нас сливаться с массой даже там, где это подсказывается самим случаем, после отпевания тела в церкви почти вся незаметно рассеялась и на могиле представлена была только маленькой кучкой людей.

— Прямо от похорон мне приходится перейти к превеселому сообщению, очень подходящему *pour la bonne bouche*¹: г-н министр внутренних дел фон Плеве^{XII} на днях избран почетным членом Одесского общества покровительства... животных.

Аноним

Освобождение, №26, 1903, с.28–29



Стачка

Одесса

Для Одессы летние месяцы, полные затишья в общественной и без того небойкой жизни, ознаменовались стачками, широкой волной захватывающими все большее и большее число учреждений. Прелюдией была стачка работниц на джутовой фабрике: бедняги добивались только того, что давно установлено даже русскими законами — 11¹/₂ часов рабочего дня и что на глазах фабричного инспектора нагло игнорировалось дирекцией фабрики. Их удовлетворили. Вскоре возникла стачка в железнодорожных мастерских, начатая не по экономическим причинам, а из-за того, что один рабочий был уволен после того, как, по его жалобе, мировой судья присудил мастера за оскорбление действием первого к семи дням ареста. Товарищи потребовали возвращения этого и еще одного несправедливо рассчитанного рабочего и, наоборот, удаления со службы трех

¹ На закуску (*фр.*).

негодяев-мастеров, в том числе и упомянутого. Пока начальство тянуло дело, стачечники все увеличивали требования, прибавив и 9-часовой рабочий день, и отмену обысков по окончании работ и пр. Приехавший из Киева начальник Юго-Западной железной дороги Немешаев^{XIII} мелкие требования удовлетворил, а насчет рабочего дня обещал войти с ходатайством к министру. Работы пока возобновились, но положение напряженное. Далее, на последних днях, стачки стали возникать всюду эпидемически: грузчики в порту, матросы и кочегары на пароходах, рабочие на казенном спиртоочистительном складе, на ваксяной, механических и других фабриках. С каждым днем слышишь о новых забастовках. Наконец, три дня уже остановилось движение на конках и трамваях. В городе тревожно. Итоги движению подводить сейчас преждевременно.

Из Елисаветграда пришли вести, что там бастуют на большом заводе Яскульского и на нескольких мелких.

Аноним

(От другого корреспондента.) С неделю тому назад начались забастовки рабочих железнодорожных мастерских и паровозных грузчиков. Инициатором забастовок явился зубатовский^{XIV} союз «независимых», во главе которого стоит некто Шаевич^{XV} («интеллигент»). Но... оправдалась пословица: кто сеет ветер, пожнет бурю. Так как обещанные железнодорожным рабочим уступки осуществлены не были, а вместо вольных грузчиков на пароходы присланы были военные матросы, то движение рабочих сделалось гораздо глубже и шире: забастовки перебросились на многие заводы и фабрики. Полиция не вмешивалась, и острых конфликтов между рабочими и войсками не происходило. Затем забастовали все кондуктора и кучера конок и паровых трамваев, а вчера забастовка превратилась уже прямо в «*grève générale*¹». Рабочие ходят многотысячными толпами и уговаривают примкнуть к забастовке решительно всякого, кого они только видят за работою, до находящихся на постройках домов плотников и ресторанной прислуги включительно.

Сегодня в городе совершенно прекращено всякое производство. Нельзя достать булки, потому что забастовали абсолютно все булочники, облившие, как говорят, керосином муку,

¹ Всеобщая забастовка (фр.).

не вышла ни одна газета, потому что стоят все типографии; не ходит ни одна конка, едва нашли рабочих для отправки очередного поезда в Киев и т. д., и т. д. Фабрики бездействуют решительно все. Ходят упорные слухи, что хотят забастовать даже... городовые. (Говорят, что в Николаеве они уже забастовали.) Я, конечно, был в городе. Атмосфера наэлектризованная, везде стоят войска, но рабочие ведут себя чрезвычайно корректно — и столкновений пока не было. Получила ли полиция соответствующую инструкцию или просто растерялась, но статьи положения об усиленной охране, запрещающие всякие «сборища», совершенно не применяются. Сходки происходят везде самые многолюдные. Вчера, например, после сходки толпа тысяч в пять рабочих двинулась по предместью Пересыпь, дошла до боен, где работает душ 800 рабочих, и предложила им забастовать. Рабочие боен не хотели пристать к забастовке, но их частью уговорили, частью заставили — и бойня стала, туши убитых животных остались неубранными. Вечером толпы заходили в рестораны, тушили электричество и призывали ресторанный прислугу присоединиться к ним. Словом, происходит в высшей степени интересное явление. Чем-то оно кончится? Пока движение происходит исключительно на экономический почве, но и в этом виде оно представляет собою нечто грандиозное. Что будет дальше — напишу.

Поднятое первоначально «партией независимых», т. е. союзом, организованным агентом полиции Шаевичем, движение вскоре переросло предположенные для него его организатором рамки и разлилось широкою волною буквально по всему городу. 17-го июля Одесса была свидетельницею «*grève générale*». В этот день город, можно сказать, находился в руках рабочих, но, по причине почти полного отсутствия находившихся тогда в лагерях войск конфликтов с властями почти не было. Настроение толпы было радостное и, я бы сказал, торжественное. Пьяных почти не встречалось, сквернословия не слышалось, везде раздавались шутка, веселый смех. Толпы шли по городу, мирно закрывая на своем пути все учреждения, в которых только производились работы, но при этом не только не производилось никаких насилий над личностями, но происходили иногда просто удивительные сценки. На следующий день в разных местах происходили многотысячные сходки, но они уже кончились не добром. Я не буду говорить вам в письме о некоторых грустно-мучительных явлениях, имевших место на этих собраниях, скажу лишь о фи-

нале: на толпы в разных местах налетали казаки и производили жестокие избиения. В этот день в Одессу уже прибыло много войск — и картина резко изменилась. Особенно жестоко били кондукторов и кучеров конно-железных дорог. Говорят, что среди них есть уже умершие от полученных ран. Теперь почти все «успокоилось», рабочие стоят на работе, но след событий, не имевших еще прецедентов, очень, очень глубок... Говорят, есть стремление у заинтересованных в этом лиц разрядить накопившееся в массах электричество в сторону антисемитизма... Аресты постоянные, взяли типографии так называемых социалистов-революционеров. Теперь подобное же движение происходит в Николаеве. Там, говорят, толпа пробила камнем голову градоначальника (по другим сведениям, полицеймейстера); сильно ранен ножом один пристав. Есть известие, что настроение приняло особо острую форму в Киеве. Говорят, там стреляли, и много рабочих убито. Покушавшаяся на жизнь жандармского генерала Новицкого девица Фрумкина приговорена в каторжные работы на 11 лет. В Кишиневе предстоит сверх процесса погромщиков еще процесс политический, в котором обвиняемых 6 человек (все евреи), из коих 4 социал-демократа и 2 социалиста-революционера. В Ростове велено многих лиц, участвовавших в известных ростовских событиях, судить военным судом. Кары могут быть ужасные.

Освобождение, №28, 1903, с.62–63



Открытое письмо в редакцию «Освобождения» от одного еврея по национальности

Многоуважаемый г-н Редактор!

Полагаясь на вашу лояльность и беспристрастие, я присылаю вам следующие замечания по поводу передовой статьи в № 22 «Освобождения» в надежде, что вы им дадите место в вашем почтенном органе.

Я не стану здесь еще раз указывать на довольно обидные для моего народа обвинения в разных «малопривлекательных свойствах», в «рабьей покорности» и в том, что «еврейство

в своих наиболее культурных и обеспеченных элементах трусливо», хотя, с другой стороны, эта трусость для них «извинительна»...

Мы, евреи, уже давно привыкли, чтобы от нас требовали невозможного, прямо-таки сверхчеловеческого. Но странно в данном случае то, что это парадоксальное требование предъявляют к нам не только наши враги, но и самые крайние, наиболее свободные от предрассудков партии. Если вдуматься, и это имеет свои причины. Более того, я глубоко уверен, что это будет продолжаться до тех пор, пока еврейство будет пребывать в том ненормальном положении, которое исторически обусловлено его бездомностью и горькой необходимостью везде и повсюду представлять разрозненное меньшинство. Наша общая сравнительно высокая культурность и идеальность всякий раз забываются, и чудовищные требования опять выставляются нам, как только какой-нибудь нежелательный, несовершенный тип бросится той или другой партии в глаза. Это неестественное явление вытекает из того, что нас берут не как нечто целое, не как народ с присущими ему достоинствами и слабостями, а как ряд отдельных личностей, случайно связанных каким-то фантастическим религиозным единством — единством, которого в действительности нет и в которое никто не верит.

Такое отношение со стороны самых просвещенных и свободомыслящих людей Европы нам хорошо известно, и мы это можем проследить у целой плеяды выдающихся философов, поэтов и общественных деятелей от Лессинга до проф. Паульсена^{XVI}* включительно; каждый из них имел свою кучку «Schutzjude»¹, которых они выделяли из всей остальной «темной», «фанатичной», «трусливой» массы еврейства. Разумеется, не каждому еврею выпадало на долю попасть в число этих «избранников», но если собрать всех этих отдельных избранников воедино, получится довольно внушительное число «замечательных деятелей» не только на поприще «революции», но и на разных других поприщах; не только русской революции, но и многих других стран Европы и Америки, не говоря уже об «авангарде», который еврейский пролетариат образует в русском рабочем движении.

* См. его «System der Ethik», 6. Aufl., 2. Bd., глава «Zur Judenfrage» [«Система этики», изд. 6-е, т. 2, гл. «К еврейскому вопросу» (нем.)].

¹ Schutzjuden (нем.) — евреи, взятые под защиту.

Но всего этого мало. Еврейство еще слишком «покорно», «слишком мало революционно». Но был ли когда-нибудь такой народ, который бы «без различия профессий и классов», особенно же «в своем среднем культурном зажиточном слое», был бы более революционен, который бы поголовно вел «энергичную борьбу за право»? И если этого нигде нет и быть не может, почему же это требуется от нас? Разве мы ангелы, что от нас требуют непогрешимости, что нас оценивают не по нашим верхам, а по низам? Почему только по отношению к нам никому не приходит в голову характеризовать весь народ по его «замечательным людям» и ставить их заслуги в счет всему еврейству как нации, что обыкновенно делается по отношению ко всякому другому народу, когда дело идет о его правильной оценке?

Такое общее отношение, регулярно повторяющееся из поколения в поколение, нам стало невтерпёж. Мы утомились наконец от нечеловеческих усилий стать во что бы то ни стало совершенством... Мы спохватились, что это невозможно, недостижимо... И нам захотелось иметь право быть несовершенными, т. е. стать равноправным членом в общечеловеческой семье народов.

Исходя из правильной оценки подобных явлений и более глубокого понимания исторических причин, вызывающих их, известная часть еврейского народа (большей частью интеллигенция и масса) подняла знамя национально-политического объединения для радикального решения еврейского вопроса.

Если часть прогрессивного еврейского мира упорно отказывается признать за сионизмом право на существование, это можно приписать влиянию известной части еврейской интеллигенции, которая до сих пор задавала у нас тон. Она не в малой степени несет вину за те ложные представления о еврейском народе, которые теперь стали ходячими мнениями и защищаются самыми лучшими людьми христианского мира. Когда французская революция пробила брешь в цельности еврейского гетто, просветительные идеи подняли брожение в нарождающейся еврейской интеллигенции, вызвав сильный протест против устарелых средневековых форм еврейской жизни. Но то, что у других народов обыкновенно ведет не только к беспощадной ломке всего старого, но и к созиданию новых форм народной жизни, приняло у нас, опять-таки благодаря нашему исключительному положению, особенно уродливые формы. Яркая заря новой

жизни, которая вместе с просветительными идеями проникла в еврейское гетто, ослепила наших лучших людей и помешала им в первом порыве всеобщего опьянения разобраться в окружающей их действительности. Вместо того чтобы ходить в народ, пробуждать его к новой национальной жизни, как это делалось и делается везде, они начали один за другим уходить от народа, оставляя его на произвол судьбы. Оторванная от всякой почвы и подхваченная тем временным рационалистическим течением, которое увлекло тогда весь европейский мир, еврейская интеллигенция стала находить успокоение в разных догмах и рационалистических построениях. Желая с помощью абстрактных доктрин решить и вопрос своего народа, она не придумала ничего лучшего, как отрицать вообще его существование. Факты, которые этому противоречили, мало смущали ее. Она была уверена, что стоит решить, чтобы евреи исчезли, стоит только внушить это решение всему народу, чтобы эта мечта стала действительностью. Но жизнь пошла своим чередом. Она отомстила за игнорирование ее. Еврейская интеллигенция до сих пор не может исполнить данного ею обещания вполне ассимилироваться и возможно скорее исчезнуть, обещания, ценой которого она стремилась добиться эмансипации и свободы...

Мудрено ли, что и прогрессивная часть европейского общества, к которой взывала еврейская интеллигенция в своей борьбе за такую, в сущности, чисто формальную эмансипацию, раз и навсегда успокоилась на подобном «решении» еврейского вопроса? Это абстрагирование от нашей национальности, которое еще недавно считалось актом гуманности и великодушия со стороны лучших представителей Европы, обращается при современных условиях для сознательной части еврейства в орудие пытки и унижения. Теперь, когда властно раздаются другие голоса, когда значительная часть еврейского народа, перешагнув через ассимиляторскую интеллигенцию и буржуазию, энергично заявила о своей воле жить, такая точка зрения не только негуманна — она просто непростительна, и особенно со стороны тех людей, которые сами исходят из национально-культурных принципов. Ведь еще недавно мы читали в программной статье № 1 «Освобождения» о «жгучей национальной потребности в свободе», о «достойном существовании личности и нации», о том, «что национальной потребности в свободе должно быть дано удовлетворение»...

Я думаю, что автор этих слов первый бы запротестовал против того, который бы вздумал истолковать их в смысле признания этой «свободы» только за одним русским народом...

И если дело обстоит так, если это — общий принцип, выставленный вами по отношению ко всем людям и национальностям, то меня глубоко удивляет, почему вы не сочли нужным применить его и по отношению к еврейскому народу или, по крайней мере, к тем сотням тысяч «личностей», которые, исходя из разных исторических, культурных и экономических мотивов, сознательно стремятся к созданию или, вернее, восстановлению особой нации со всеми атрибутами, характеризующими ее.

И если сионизм благодаря специфическим национально-историческим условиям (мы не имели счастья, подобно полякам или финляндцам, быть разгромленными вместо Рима цезарей Российской империей) избирает средства, не совпадающие с путями упомянутых народностей, так как не все же «вопросы» могут быть решены по одному общему шаблону, то разве от этого должно измениться принципиальное отношение к данному движению?..

Все это, кажется, так просто, так элементарно. А между тем как только речь заходит о евреях, дело совершенно меняется: в данном случае, как и во многих других, нас ставят в какое-то особое, исключительное положение, к нам применяется другая мерка. Что по отношению к другим является само собой понятным, за нами просто, без всяких разговоров отрицается; что по отношению к другим считается заслугой и всячески поощряется, нам ставится в упрек. Как же иначе понимать следующие слова: «Сионизм, воспитывая идею еврейской национальности и даже государственности (о, Боже, какое преступление!) и тем недомысленно идя навстречу подлему антисемитизму, всячески избегает политической борьбы, борьбы за эмансипацию евреев»? («Освобождение», № 22.) Не проникая глубже в сущность еврейского вопроса и порожденного им сионизма, не разбираясь в том, что является истинной эмансипацией евреев, что дала еврейству как таковому так называемая эмансипация на Западе, может ли вообще народ отказаться от «идеи национальности и даже государственности» из страха пред каким-то «подлым антисемитизмом». Вы этим своим взглядом явно отрицаете нашу личность как нации и естественное наше право на самоопределение. По этой теории еврейство не имеет,

не смеет иметь с в о е й точки зрения, своих собственных соображений, не должно иметь своей национальной индивидуальности, которую оно обязано было бы отстаивать, не оглядываясь по сторонам и не прислушиваясь к тому, что скажут другие. По этой теории евреи как нация должны быть ниже травы, тише воды — авось какой-нибудь голос поднимется против них. Какой злой насмешкой звучал бы брошенный задыхающемуся в темнице невольнику совет — отказаться от жгучей мечты о свободе, о воздухе, о солнце: авось лязг разбиваемых цепей разбудит спящего стражника.

Но с нами не церемонятся. Достаточно декретировать, что евреи лишь «особое религиозное общество», что «идея еврейской национальности есть фантастический и болезненный продукт» — и все кончено: евреев как нации нет. А если возникает сильное народное движение, которое опровергает этот ложный взгляд, выставляя положительный национальный идеал, то, выражаясь словами Гегеля, *desto schlimmer für die Tatsachen*¹.

Где же элементарное уважение, где тот принцип с в о б о д ы личности и нации, который так гордо красуется на вашем знамени? Почему за нами отрицается «жгучая национальная потребность в свободе, которой должно быть дано удовлетворение»? Но вы скажете: «Ведь мы вам не мешаем, ведь мы сами сказали: "Пусть евреи, если они могут и хотят, образуют в Палестине особое еврейское государство — мы не будем им в этом ни мешать, ни содействовать"». Мы в этом не сомневаемся. Мы уверены, что нам мешать не будут, а содействия же мы сами не просим.

Но где по отношению к нам хоть тень того принципиального этического отношения, которого, судя по вашим же взглядам, заслуживает всякое национальное движение? В ваших словах о н а ш е м национальном движении мы прочли лишь обидное равнодушие и желание отделаться от назойливых голосов тех, которые слишком громко заговорили между собой о своих же делах.

Вот что меня больно задело в вашей статье. Вы смотрите на евреев не как на самоцель, на что имеет право всякая личность, единичная и коллективная, а как на средство для достижения тех или других политических целей.

¹ Тем хуже для фактов (нем.).

И в этом отношении вы совершенно несправедливы к еврейской буржуазии. Напрасно вы к ней придираетесь. Оставляя в стороне вопрос о том, как вообще «экономической силой» (деньгами?!) можно добиться эмансипации евреев, которая и на Западе, где еврейство обладает гораздо большей «экономической силой», не была до сих пор достигнута (там же, где это случилось, плодами пользуются только богатые классы еврейства; масса продолжает по-прежнему терпеть от экономического бойкота и социального презрения), — не говоря уже обо всем этом, вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что «состоятельное еврейство — русское и международное — одушевлено сионизмом», что последний «привлекает буржуазию сильнее, чем простая и трезвая идея эмансипации». Предоставьте самой еврейской буржуазии решить, что «трезвее», что выгоднее для нее. Она в этом, бесспорно, окажется опытнее. Если не «идея», а фактическая «эмансипация» принесет кому-нибудь существенную пользу, то это прежде всего еврейской буржуазии, крупной и средней, которая благодаря ей сможет лучше развернуть свои экономические силы и социально подняться за счет других слоев еврейства, так как вражда, еще более усиливаемая благодаря ее богатству, прежде всего обрушивается на голову масс. Так было везде и всегда. Это было обычным явлением в Средние века, это далеко не сюрприз и в новейшей истории Европы. Еврейская буржуазия, «трезво» понимая свои интересы, хорошо знает, какую пользу она может извлечь из ассимиляции и эмансипации, и поэтому менее всего намерена примкнуть к сионизму. Еврейская буржуазия, несмотря на окружающее ее презрение, в общем чувствует себя хорошо в своих теперешних местах жительства, и рискованного путешествия в Сион она, наверное, не предпримет. Если она способна вообще поддерживать какую-нибудь идею, то ей скорее всего придется по духу «идея еврейской эмансипации» и ассимиляции. И в этом отношении совершенно прав был Нордау^{XVII}, когда он заявил на последнем конгрессе сионистов: «Jeder Jude, der Millionär wird, ist ein dem Judentum verlorener Jude»*¹. Итак, нечего опасаться, что еврейская буржуазия, та, которая «обла-

* См.: Протокол 5-го Сионистского конгресса [1901]/ С. 108.

¹ Каждый еврей, ставший миллионером, — это еврей, потерянный для еврейства (нем.).

дает крупной экономической силой», по своей «нетрезвости» примкнет к сионизму и таким образом помешает «экономическому развитию» России. Нет, она к сионизму не пристанет, и мы в ней вовсе не нуждаемся. Сионизм создан для тех несчастных скитальцев, которые обивают пороги всех наций и государств и нигде не находят покоя; для тех, которые до последнего времени находили хоть какой-нибудь приют в цивилизованных странах, как Америка и Англия, и где теперь закрывают двери перед самым их носом. Эти элементы составляют главные кадры нашего движения, во имя этих мучеников нового времени не перестает говорить политический сионизм вот уже восьмой год.

Все это может послужить ответом на часто повторяющийся упрек в мнимой «буржуазности» сионизма, о которой может говорить одна разве злоба или неведение.

Я резюмирую сказанное: весь европейский мир — и юдофобский, и свободомыслящий — несправедлив по отношению к евреям: первый нас хотел бы живьем зарезать и время от времени он действительно совершает эту экзекуцию над нами; второй, в общем, к нам относится гуманно и готов был бы нам дать права, но ценой отказа от нашей национальной личности, так что очень часто нам становится невмозможным от этих уж слишком дружеских объятий. Когда известная часть еврейской интеллигенции и буржуазии во что бы то ни стало хотела ассимилироваться и отречься от своей индивидуальности, европейское общество после непродолжительного порыва великодушия ее грубо оттолкнуло, не хотело принять в свою среду, и когда теперь другая часть интеллигенции, отвечая на насущные потребности без плана и цели кочующих масс еврейства, призывает их к автоэмансипации и к национальному единению, по ее адресу отпускаются разные нелицеприятные эпитеты и чуть ли не смешивают ее с антисемитизмом.

Как бы мы ни поступили, выражаясь словами Лессинга — *der Jude wird verbrannt...XVIII*

Мы вдоволь вкусили от всех этих прелестей; мы наконец поняли свои настоящие задачи; мы стали требовать и за нами, как за всеми другими, права на национальное самоопределение и на устройство своей собственной судьбы. По этому пути мы неуклонно идем, и никакие виды на чечевичную похлебку бумажной эмансипации в будущем нас более не ослепят и не со vrátят с настоящего пути.

Я позволю себе заключить мое и так уже слишком затянувшееся письмо следующими знаменательными словами Нордау:

«Ein Volk ist S e l b s t z w e c k. Es lebt sich, nicht anderen zu Gefallen... Es braucht sein Dasein und seine Daseinsberechtigung nicht dadurch zu erkaufen, dass es anderen Dienste leistet. Nur von uns findet man es selbstverständlich, dass wir unser Recht aufs Dasein durch andere geleistete Dienste erweisen müssen. Nur wir haben nicht das Recht, für uns selbst zu leben. Nur wir sind die natürlichen Hausknechte aller Völker... Erst wir Zionisten suchen wenigstens die Kündigung in dieses schmachvolle Dienstverhältnis einzuführen. Denn der Zionismus ist tatsächlich die Kündigung des jüdischen Hausknechtes an diejenigen Dienstherrn, die ihn allzu nichtswürdig missbrauchen».^{1*}

Выражая вам наперед свою благодарность и вместе с тем уверение в глубоком почтении к вам, остаюсь и проч.

Г.**

Освобождение, №28, 1903, с. 66–68

¹ «Народ самостоятелен. Он живет не для того, чтобы нравиться окружающим... Народ существует и не должен оправдывать свое присутствие тем, что обслуживает других. И только нам приходится доказывать, что мы полезны. Только за нами не признается право жить для самих себя. Только нас воспринимают как естественную прислугу других народов. Мы, сионисты, хотим в первую очередь положить конец такому унижительному положению. Вот почему сионизм стремится отменить еврейское служение властителям, злонамеренно использующим эту повинность» (нем.).

* Протокол 5-го Сионистского конгресса. С. 108.

** От Редакции. Мы дали место этому заявлению еврея-сиониста, хотя не разделяем высказанных в нем взглядов. Нам непонятна идея еврейской национальности, и, высоко ценя Гейне, Антокольского, Левитана за их творческие вклады в культурные сокровищницы немецкого и русского народа, мы затрудняемся поставить с ними рядом какие-нибудь национальные еврейские произведения той же эпохи. Нам думается, что еврейской нации нет с тех пор, как прекратилось духовное творчество, которое можно было бы назвать еврейским национальным. С другой стороны, нам изумительно, как перед лицом ужасного бесправия русских евреев можно пренебрежительно говорить о «формальной» эмансипации евреев в западных странах. Мы уверены, что борьба за «формальную» эмансипацию есть первый долг всех евреев и что, когда такая эмансипация будет достигнута в России, еврейский национализм потеряет *raison d'être* [разумное основание, смысл (фр.)].



Последние известия

Одесса

Пережитые только что дни представляют до такой степени явление небывалое в нашем городе, да и в других крупных городах, что на этом явлении следует остановиться подробнее и внимательнее. Был момент, когда весь город находился во власти рабочей массы, слившейся воедино и беспрепятственно дефилировавшей по городским улицам, увлекая своим потоком всех собратьев, не успевших еще до того выйти из своих мастерских и фабрик. Братские приветствия, возгласы, полные бодрости и восторга, вольные песни, жизнерадостный смех и шутки носились над тысячными толпами, следовавшими через весь город с утра до вечера. Настроение было самое приподнятое, хотелось верить, что водворяется новая, лучшая жизнь на земле. Внушительная и в то же время идиллически трогательная картина... Но надо рассказывать по порядку, выдерживая самую строгую объективность в изложении.

Как у нас уже сообщалось, первой в серии стачек, если не считать устроенной «независимыми» несколько месяцев тому назад стачки на заводе Рестеля, явилась стачка на заводе джутовых изделий Родоконаки, окончившаяся вполне мирно и успешно, так как рабочие (в основном работницы) ничего, собственно, и не требовали, кроме устранения явных нарушений закона об 11 $\frac{1}{2}$ -часовом рабочем дне. Едва затихла эта стачка, как началось брожение в железнодорожных мастерских, вызванное тем, что один мастер ударил рабочего, которого рассчитали за то, что он подал в суд на обидчика. Рабочие потребовали возвращения на службу этого и еще одного несправедливо уволенного рабочего и, наоборот, увольнения трех негодяев-мастеров, в том числе и только что упомянутого. Когда брожение это охватило все цеха обширных мастерских и депо железнодорожного вокзала, то к этим случайным требованиям рабочие присоединили и общие: о девятичасовом рабочем дне, о повышении заработной платы, об отмене карманных обысков при возвращении с работы и разные другие, касающиеся специальных условий их труда. Требования эти нарастали постепенно по мере уклонения местного начальства от удовлетворения их вначале. Но вот приехал из Киева начальник Юго-Зап. жел. дороги, инженер Немешаев^{XIX}, и заявил, что он удовлетворяет

рабочих по всем заявленным ими пунктам, кроме уменьшения рабочего дня и повышения платы, о чем он немедленно также войдет с ходатайством к министру путей сообщения, от которого зависит изменение основных условий работы в мастерских, обещая при этом, что ответ из министерства должен быть недели через две. Рабочие поверили г-ну Немешаеву и возобновили работу. Едва успела прекратиться стачка железнодорожников, как началась забастовка в порту — сперва грузчиков, потом кочегаров и мастеров. Работа по нагрузке и выгрузке угля и других товаров — физически самая тяжелая и совершенно не урегулированная: когда владельцу требуется срочно нагрузить или разгрузить пароход, рабочие выполняют это без всякого счета часов; в день они зарабатывают 70–90 коп., редко 1 руб. — 1 руб. 20 коп. Забастовав, они потребовали регулирования труда и платы — 2 руб. в день; некоторые примирились с суммой 1 руб. 60 коп. и решили возобновить работу. Кочегары и матросы также требовали соответственных прибавок, получая разную плату в разных пароходных компаниях. В это же время начались забастовки на небольших заводах Каца и Берндта. Требования везде выставлялись только экономические, и неизвестно, что на возникновение стачек, особенно в порту, имели влияние наши «независимые». Никаких репрессий со стороны администрации не было, хотя на всякий случай полиция, казаки и солдаты были стянуты и в порт, и в другие пункты. Градоначальник в разговоре с предпринимателями держался нейтральной почвы, давая понять, что договор их с рабочими дело частное — для администрации важно лишь не допустить беспорядков. Впечатление уже и от этих стачек получилось довольно внушительное: на вокзале рабочих около двух тысяч, в порту еще более того, притом порт — место видное, открытое, — вся картина была на глазах у городской публики. Но все это было лишь прелюдией: настоящая яркая картина всеобщего движения развертывается с 15 июля, когда забастовали служащие на конке и трамвае. Коночная служба — самая злосчастная по продолжительности рабочего дня: фабричная нелегкая норма 11½ час. кажется недостижимым идеалом сравнительно с принятой здесь нормой, простирающейся летом до 18 час. Убогое жалованье и штрафы за всякую мелочь дополняют прелесть этой службы. Забастовали кондукторы, кучера, машинисты и другие лица, работающие при этом деле.

В первый день стачки дирекция бельгийского общества конок могла еще кое-как сохранить движение по главной Ришельевской линии и трамвайное в дачные местности, поставив контролеров вместо кондукторов и наняв за хорошие деньги каких-то отставных машинистов железной дороги. Но на другой день стало все по всем линиям: забастовки здесь, как и в других местах, приняли угрожающее положение по отношению к непрошенным их заместителям. 16-го числа стачка распространилась еще на несколько производств, в том числе и на два казенных спиртоочистительных завода; рабочие собирались в разных местах, волновались, обсуждали свое положение; репрессий не было. На утро 17-го после многочисленной, в несколько тысяч человек, сходки за Дюковским садом вся эта толпа хлынула в город, разделившись на три колонны, и совершила то знаменитое и навеки памятное для Одессы шествие, о котором я упомянул в начале корреспонденции. Демонстранты — а это шествие, несомненно, было демонстрацией, демонстрацией рабочей силы, осознавшей самое себя, — смело входили на фабрики и заводы, выпускали пар из машин, выгребали угли, не повреждая, однако, ничего, и забирали с собой товарищей. Большинство последних шли охотно, другие пассивно, но никто не противился. Часто на пороге демонстрантов встречали хозяева предприятий, уверяя, что их рабочие довольны своими условиями, — самозванных посредников устраняли с пути и шли в мастерские, откуда через минуту возвращались с пополненными кадрами. В спокойном сознании своей силы рабочие не допускали никакого насилия против хозяев или мастеров, действуя очень часто с благодушной шутливостью, но решительно и быстро. Только в одном месте произошел кровавый инцидент: на Привозной площади рабочие остановили базарный торг; большинство лавочников сами заперли свои лавки, другие сделали это по требованию стачечников, а один мясник вступил в резкое препирательство с ними, вспылil и врезался в толпу со своим мясницким ножом, смертельно ранив одного рабочего и оцарапав несколько других; кто-то выхватил у него нож и в свою очередь сильно ударил им мясника: и рабочий, и мясник потом умерли от ран. Среди манифестантов, двигавшихся по улицам и площадям, казалось, царило полное единодушие, несмотря на то, что в передних рядах раздавались и возгласы крайнего, чисто политического характера, пелись революционные песни. Встречая офицеров и солдат, осторожно и пассивно

следовавших в стороне, рабочие заговаривали с ними на самые откровенные политические темы и — это интересно отметить — не получали от них никакой резкой отповеди, а большей частью или легкие возражения, или расспросы о целях движения в благодушно недоумевающем тоне. В толпе были, конечно, и женщины-работницы; когда последние присоединялись с какой-нибудь фабрики или мастерской, рабочие встречали своих сестер особенно шумными, радостными приветствиями. В порту картина была наиболее эффектная: как только массы рабочих сошли туда, тотчас же часть их вступила на все бывшие у пристани пароходы, загудели одновременно свистки, выпущен пар, выведена вся пароходная прислуга, и пассажиры должны были, забрав свой багаж, высадиться вновь на берег. Таким образом, в целом городе все стало, воцарилась всеобщая забастовка рабочих, стали и все те фабрики и железнодорожные мастерские, которые перед тем возобновили было работы. Очередь оставалась за поездами железной дороги. В ночь на 18-е рабочие вышли на линию и в ожидании поезда легли на рельсы, остановив сперва товарный поезд. Спустя некоторое время шел пассажирский поезд — остановили и его, сняли машиниста с кочегаром, кто-то стал на их место и, дав задний ход, доставил поезд к перрону пассажирского вокзала. На линию были посланы солдаты стрелкового батальона, они пробовали рассеять толпу, дали даже залп холостыми зарядами, но рабочие, очевидно, предупрежденные о безопасности стрельбы, отнеслись совершенно спокойно к этому и довершили свое дело.

Только поздно ночью массы рабочих, целый день проведенные на ногах и почти без пищи, о которой точно забыли под влиянием необычайного психического подъема и возбуждения, разошлись по домам в полном изнеможении, но в сладостном, я бы сказал утопическом, настроении духа. Рано утром, 18-го, на том же месте, где и накануне, собралась сама собой такая сходка, какой Одесса еще никогда не видела. Я умышленно беру самую скромную точку подсчета, какую слышал от присутствовавших на сходке, — 15 тысяч человек; большинство же говорят о нескольких десятках тысяч до 50 тысяч включительно. Надо было обсудить общее положение дела. С этого момента начинается «великий раскол». Встретились лицом к лицу, с одной стороны, сознательные представители социально-политических партий, с другой — не менее сознательные «независимые» с их чисто экономическими требованиями, и посреди

тех и других — масса без всякой определенной программы, повинующаяся только инстинктивному побуждению улучшить свое материальное положение. Последняя, как того и следовало ожидать, в громадном большинстве оказалась на стороне умеренных, тем более что о политике никаких самостоятельных суждений не имела и была к ней равнодушна. «Независимые», конечно, не упустили случая внушить, что зло — в стремлении замешать политику, что социалисты вредят общему делу и что поэтому надо активно дать им отпор. На сходке говорили много ораторов разных партий. Речи говорились совершенно свободно и мужественно, несмотря на явную опасность: шпионы не только подслушивали и присматривались, но даже фотографировали ораторов. Когда, кроме речей, стали разбрасывать с деревьев в толпу прокламации, власти, до сих пор не решавшиеся сделать на массу натиск со своими солдатами, казаками и полицией, сочли необходимым перейти в активность и стали разгонять рабочих. Большинство последних не оказали никакого сопротивления, направились группами к городу, но многие не хотели расходиться, продолжая обсуждение. Тогда были пущены в ход нагайки и ружейные приклады; в отдельных случаях оказались раны и от штыков или шашек; были тяжелораненые, из которых одна девушка и один мужчина в настоящее время умерли; возможно, что жертв и более, чем мне известно. В городе в этот день тоже на некоторых улицах разгоняли манифестантов, поднимавших в нескольких местах красные флаги и кричавших «долой самодержавие» и проч. Одну группу загнали в частный пустой двор и там сильно избили; у офицера, руководившего этой расправой, китель был в крови — очевидно, не своей, так как он похвалялся, что хорошо «отчистил» пленников, и только не знал, выпустить их теперь или же передать администрации для ареста (действовал, значит, по собственной инициативе). Вообще этот день, будучи так же шумным и наполненным брожением, как и предыдущий, только не был в такой же мере благополучным, как он, ни по воздействию извне, ни, что всего печальнее, по внутреннему единодушию. Были даже случаи избиения политических ораторов «независимыми» или подстрекаемыми ими бессознательными рабочими.

В тот же день к вечеру администрация конок и трамвая захотела во что бы то ни стало возобновить хоть отчасти движение, так как по контракту с городом последний мог бы отобрать все дело от бельгийского общества в собственные руки, раз

движение прекращается на известное число дней. Говорят, что бельгийцы не пожалели 20 000 руб. на подкупы полицмейстера, правителя канцелярии градоначальника и еще кое-кого, дабы склонить их к энергичному воздействию, но за достоверность этого сообщения не ручаюсь. Факты, однако, таковы, что когда масса коночных стачечников хотела воспрепятствовать первому выходу трамвая на Фонтаны, их и вязали, и били нагайками, и стреляли в них, правда, холостыми зарядами. По обе стороны рельсов на значительное расстояние были поставлены солдаты; в вагоны поезда вместо публики посадили также казаков и солдат. Поезд с Божьей помощью отошел — бельгийское общество спасено... хотя, как увидим ниже, со стороны городского управления вовсе не ожидалось никакой экспроприации рельсовой тяги.

Начиная с 19-го, стачка и вообще рабочее движение идет на убыль. Наиболее наглядным, всем бросающимся в глаза показателем этого является все та же конка: отсутствие ее преобразует физиономию города, восстановление ее циркуляции реставрирует *status quo ante bellum*¹. Коночники сдались, не получив никаких определенных обещаний, лишь со слабым упованием на официальную комиссию, сформированную для рассмотрения их требований; комиссия эта под председательством градоначальника состоит из городского головы, двух членов гор. управы, старшего фабричного инспектора и полицмейстера, без представителей бельгийского общества и уж, конечно, — самих служащих на конке. Другим, не бьющим в глаза, но еще более чувствительным для населения показателем развития и сокращения стачки был вопрос о хлебе насущном: когда забастовали пекарни, хлеб вздорожал, и недостаток его давал о себе знать, так как хлебопекарные артели, домашнее приготовление и подвоз из других городов не могли удовлетворить спрос. Мясо тоже вздорожало вследствие заминки работы на бойнях, продолжавшейся, впрочем, недолго. Отсутствие газет, не выходявших два дня благодаря забастовке наборщиков, также для многих было ощутимо. И вот постепенно, в несколько дней, все это стало входить в прежнюю норму — увы, в прежнюю даже не только для публики и потребителей, но и для рабочих, так как практические результаты всеобщей стачки оказались совершенно ничтожными. В разгар самой забастовки многие предприниматели уже были готовы на крупные

¹ Положение, которое было до начала военных действий (*лат.*).

уступки, но потом своевременно подметили рознь между рабочими разных направлений и стали очень сдержанны. Только кое-где достигнуты незначительные облегчения условий труда. Даже уже обещанные льготы рабочим железнодорожных мастерских вряд ли будут даны. С точки зрения непосредственных практических результатов грандиозная всеобщая стачка явилась несомненным пустоцветом, подавая повод всем желающим толковать о суетности и бесплодности подобных движений, тем более о вреде для самих рабочих политического направления стачек. Говорят, что «если бы» рабочие были умереннее, да «кабы» они не выходили из рамок экономики, то стачка была бы наверное выиграна. Возможно. Но надо принимать факты, как они есть. Во-первых, стачка стала всеобщей чисто стихийным образом — никто еще за день, за два не подготавливал ее и не думал о ней; при этом условия трудно ждать какой бы то ни было планомерности действий; во-вторых, между «независимыми», игравшими в стачках некоторых предприятий центральную роль, и «крайними» в настоящий момент едва ли можно перекинуть золотой мост. Судить можно как угодно, но сдерживать волну политического течения в рабочей среде у нас теперь совершенно невозможно, даже если бы это и было благоразумно в тот или другой момент: нельзя заставить человека хотя бы даже молчаливо признавать белым то, что ясно рисуется ему черным — по всякому поводу он будет кричать, что это черное застилает ему глаза и мешает стремиться в лучшее будущее. Что же касается видимой безрезультатности нынешнего одесского движения, то, не навязывая своего взгляда читателю, я позволю себе привести в параллель к этому маленькому делу большую историческую аналогию. Непосредственно после разгрома русского движения 70-х и начала 80-х годов у большинства лучших людей господствовала почти покаянная точка зрения на это движение: результатов никаких, кроме усиления реакции; загублена масса жизней, масса талантов, масса сил; не лучше ли бы было, если бы все эти погибшие кадры вместо крайней деятельности работали и продолжали поныне работать «в духе умеренности» на легальной почве: они подняли бы земство, внесли культуру в общество, были бы хорошими судьями, учителями, врачами; постепенно прогресс взял бы свое. Эта точка зрения представлялась крайне соблазнительной. Но много ли найдется теперь передовых людей, которые пожелали бы, чтобы движение 70-х годов было выскоблено из русской истории без остат-

ка? Люди разных политических партий, признавшие даже не только гибель этого движения от внешних сил, но и внутренние программные ошибки его, все же находят, что тогдашнее течение внесло неоценимый вклад в русскую историю и послужило прологом громадной важности к дальнейшим освободительным течениям. Подобных аналогий не надо забывать и в оценке миниатюрных местных движений, вроде нашего одесского. Удача и неудача не есть единственный критерий суждения. Одесская массовая забастовка важна во многих отношениях: она важна и как смотр своих и чужих сил, выясняющий положение вещей; важна и для самих рабочих, у которых при всей дальнейшей розни в течениях, несомненно, должно сохраниться навсегда воспоминание о моменте солидарности и о том, какую внушительную силу представляли они, являясь настоящими хозяевами положения в городе, — это воспоминание может пригодиться им со временем при других лучших обстоятельствах; важна она и для всех горожан, которые впервые с наивным недоумением увидели, что они, в сущности, живут трудом рабочих и от них кругом зависят! Не захотят рабочие — и можно остаться без конок, без газет, без мяса, без хлеба, даже, пожалуй, без воды, так как и это угрожало при забастовке на водопроводе. Все эти обстоятельства и наконец сами ошибки, которые послужат уроком при повторении чего-либо подобного, достаточно, мне кажется, оправдывают даже такое хаотическое движение рабочих, каким была эта всеобщая стачка в Одессе. Говорят о разочаровании, об унынии среди многих рабочих благодаря недостижению успеха: не нужно и на это закрывать глаза — успех, несомненно, ободрил бы их, но и неуступчивость предпринимателей в конечном счете едва ли выгодна для последних: она не примирит с ними рабочих, а еще более озлобит и при первом же взрыве вдвойне обрушится на их голову. А по нынешним тревожным временам можно ли быть спокойным, что такого взрыва долго не последует? Натянутое положение не разрешилось ничем, загнано внутрь, и кто поручится, что оно так или иначе не прорвется завтра же новой вспышкой?

Мне остается сказать еще несколько о поведении во время забастовки администрации, городского управления, общества и, наконец, местных партийных организаций. Если судить о действиях администрации с обычным российским масштабом, то нельзя не признать их сравнительно осторожными и менее варварскими, чем где-либо. Не было ни одного настоящего

выстрела, и если были отдельные случаи увечья, то, по-видимому, это следует отнести на счет озверелости некоторых военных и полицейских чинов, не сообразовавшихся с приказами. При таком грандиозном движении вряд ли дело могло обойтись без жертв, и нужно еще удивляться, что их оказалось мало. Здесь не сомневаются, что будь дело при прежнем градоначальнике, гр. Шувалове^{XX}, сразу же последовали бы крутые меры, которые могли иметь самые различные последствия в ту и другую сторону. По окончании забастовки объявлено об аресте 71 лица на три месяца, 188 на 1½ месяца и 6 на меньшие сроки за нарушение правил, воспреещающих сходки. Их уже начали выпускать теперь частями на свободу. Взамен того тюрьмы на-селяются новым контингентом взятых уже по жандармским соображениям рабочих и отчасти интеллигентов: так, в одну ночь взяли 14 рабочих с железной дороги; забрана еще одна типография на Малой Арнаутской и т. д. Нельзя не упомянуть о роли администрации в движении «независимых». Тут произошла какая-то путаница, в которой еще трудно свести концы с концами стороннему наблюдателю: известный руководитель рабочих «независимого» толка, г-н Шаевич^{XXI}, внезапно до окончания волнений уехал или убран из Одессы; держится слух, что полицмейстер Головин^{XXII} и его помощник Гесберг^{XXIII} будут удалены, так как они вели какую-то свою политику, сносясь с Петербургом помимо градоначальника; приезжал в Одессу известный организатор зубатовщины^{XXIV} в Западном крае, ротмистр Васильев; наконец, сегодня, 29 июля, прибыл сюда Лопухин^{XXV} с чиновниками Савицким и Наумовым и объявлено о приезде фон Валя^{XXVI}. Между прочим, среди арестованных рабочих есть немало «независимых». Очевидно, заваренная каша вышла настолько несъедобной, что у самих кашеваров она стала комом в глотке.

Городское управление... о нем хотелось бы написать что-нибудь лучшее, чем приходится писать теперь. Его поведение ярче всего сказалось на отношении к коночной стачке. Конка эксплуатируется бельгийской компанией, но, конечно, при известных обязательных отношениях к городу: городское управление по контракту может не только штрафовать дирекцию за манкировку движения — оно может просто взять в опеку все предприятие и нанимать за счет компании служащих, чтобы восстановить правильный ход конок и трамваев, если только он нарушен не по преодолимым стихийным причинам

вроде наводнения, землетрясения и т. п. Когда на экстренном заседании управы наиболее порядочный член ее, г-н Белоусов, указал на этот пункт контракта, требуя восстановления движения путем найма забастовавших кондукторов и кучеров на условиях более человеческих, чем их принимают прижимистые бельгийцы, все его коллеги замахали на него руками и без зазрения совести подвели настоящий случай под непреодолимое стихийное бедствие! В этом последнем смысле высказались и городской голова г-н Зеленый^{XXVII}, и считающийся человеком передовых взглядов член управы г-н Климович. В обществе уверяют, что они просто куплены как люди, запутавшиеся в имущественном отношении. Это, конечно, неверно, но хорошо также и бескорыстное усердие в пользу бельгийских толсто-сумов, выжимающих соки из несчастной коночной прислуги! Кстати, за угнетенных бельгийских капиталистов вступился и бельгийский посланник в Петербурге, сделавший представление нашему правительству о том, что беспорядки, нарушающие мирное высасывание соков, могут повести к переводу вообще бельгийских капиталов из России куда-нибудь в другую страну. Словом, обидели Тита Титыча и нельзя же не постараться для его степенства. Никакого участия вообще к стачечникам и к их голодающим семьям со стороны городского управления не было выражено, а ведь могло быть сделано многое, не сходя даже с легальной почвы. Забастовщики на городских предприятиях (хлебопекарня, прачечная и др.) не добились ничего. По окончании стачки в городе голова пригласил к себе редакторов трех местных газет посоветоваться, не выхлопотать ли им из Петербурга разрешение написать успокоительные статьи о том, что все уже окончилось и что гражданам не угрожает более недостаток в хлебе, мясе и т. д. Редакторы имели достоинство ответить, что они, конечно, были бы очень благодарны, если бы им разрешили вообще касаться в печати пережитых событий, но писать какие-то успокоительные статьи «по особому заказу» они не считают для себя удобным. Вот и все, что сделали наши отцы города. Что касается общества, то трудно вообще суммировать его отношение к событиям, но, по-видимому, большинство понимает, что рабочие не с жиру взбесились, предприняв забастовку. Много оказалось и таких, которые за своими неудобствами ничего не желали видеть: так, например, было, говорят, несколько сот прошений к градоначальнику, чтобы он поскорее прекратил беспорядки, благодаря которым дачные

обыватели остались без трамвая. Сборы денег в пользу стачечников, предпринятые, к сожалению, слишком поздно, когда уже стачка кончалась и оставалось только помогать потерпевшим семействам, дают пока немного. Впрочем, отчасти это можно объяснить и недостатком путей в разные общественные сферы: ведь собирают не открыто.

О роли партийных организаций в движении говорить мне не приходится: настоящее движение не только не было подготовлено партиями, но они не успели или не сумели даже им сколько-нибудь овладеть, когда оно уже началось. Таково общее впечатление. Были и частные ошибки. В прокламациях во время стачки, например, сделан был неудачный аванс рабочим в виде уверения, что они решились держаться спокойно до крайности, — это не оправдалось на деле. Неудобно было выпускать ораторами на сходке исключительно евреев — это вызывало среди толпы иногда крайне нежелательные суждения, тем более несправедливые, что, в сущности, нынешнее-то движение уже никак нельзя отнести на счет пресловутого еврейского социализма: достаточно прочесть списки арестованных за беспорядки — из 71 посаженного на три месяца всего только 6 евреев, из 188 приговоренных к 1½ мес. — около трети всего числа.

Следовало также, мне кажется, чисто политические требования манифестировать отдельно от экономических, не включая в стачечный список; это смешение нелогично уже по тому одному, что стачечные требования относятся к предпринимателю и им удовлетворяются или не удовлетворяются, требования же политические должны искать совсем другого адресата. Таким более логичным разделением возможно было бы, думается, предотвратить и печальное междоусобие между «чистыми экономистами» и «политиканами»: на экономической почве против предпринимателей действовали бы все сообща, в полной солидарности, политическое же недовольство демонстрировалось бы только теми, кто его действительно осознал и прочувствовал, не навязывая его людям темным и робким, сваливающим теперь всю вину неуспеха на товарищей «политиканов».

Обращение к обществу о поддержке стачечников (выпущенное, кстати сказать, слишком поздно, когда стачка уже прекратилась) заканчивалось восклицанием «да здравствует социализм!», что именно в этом воззвании едва ли было уместно: можно быть добрым гражданином и вполне сочувствующим настоящему рабочему движению человеком, но не разделять во-

все социалистической доктрины и не во имя нее жертвовать деньги: следовало найти общую для всех почву для сочувствия, и таковой вряд ли можно было считать идеи социализма, неясные большинству как общества, так и стачечников.

Аноним

Освобождение, №28, 1903, с. 66–68



Беседа господина Лопухина с рабочим

Одесса

Приезжавший на днях в Одессу для «изучения» сущности бывших здесь стачек и волнений директор департамента полиции г-н Лопухин^{XXVIII} вызывал к себе, между прочим, одного рабочего железнодорожных мастерских, г-на Р., с которым имел любопытный разговор. Но прежде всего я должен принести извинение перед г-ном Р. за то, что, не располагая его специальным разрешением, предаю этот разговор гласности. Такое разрешение мне было по некоторым обстоятельствам трудно получить, а между тем, судя по тому, что г-н Р. делился со своими знакомыми содержанием беседы, не предупреждая их, чтобы они держали это в секрете, я заключаю, что он не обязывался и перед г-ном Лопухиным хранить молчание. Во всяком случае, г-н Р. не отвечает ни за одно слово моего настоящего сообщения, так как я пользуюсь не его непосредственным рассказом, а рассказом третьих лиц. Другое маленькое предисловие — относительно общественной репутации самого г-на Р., так как нужно же уяснить, почему именно он, а не кто другой был вызван к директору в качестве истолкователя нашей маленькой революции.

Г-н Р. слывет очень неглупым и культурным рабочим, выдавшим всякие виды и побывавшим даже когда-то, уже давно, в политической ссылке в Шенкурске; теперь он, по-видимому, ни в какой определенной, ни нелегальной, ни полулегальной («независимой») организации не состоит, но влиянием среди железнодорожных рабочих пользуется — большим влиянием, в общем, благородным, но несколько «резвеным»; так, за ним числится, напр., такой эпизод: во время первой забастовки, когда рабочие выставили требование восьмичасового рабочего дня, он сразу убедил их, что при наличных условиях восьмичасовой

день — утопия, что достаточно, если они будут добиваться девятичасового дня — обращение его к товарищам в тот момент имело вообще настолько умиротворяющее действие, что начальник Юго-Западных железных дорог г-н Немешаев^{XXIX} жал руку г-ну Р. и благодарил его за успокоение страстей.

Итак, г-н Лопухин пригласил к себе именно г-на Р. Любезно усадив его и предложив директорскую сигару, он высказал ему, что видит в нем выразителя средних мнений здешних рабочих и как такового просит откровенно выяснить, чего, собственно, хотят рабочие.

— Рабочие хотят прежде всего, чтобы их считали такими же людьми, как всех других, — отозвался г-н Р.

— Так... но ведь это слова — не потрудитесь ли вы высказаться более определенно?

— Для того, чтобы к рабочим относились так же, как к людям других классов, надо, во-первых, поднять их экономическое положение, затем дать им досуг, предоставить право совещаться о своих делах.

— Вы требуете свободы сходов?

— Да, и сходок, наравне с собраниями и съездами капиталистов.

— Чего же еще хотели бы вы?

— Хотели бы свободы печати.

— Свободы печати?! Но для чего же рабочим свобода печати?..

— Как для чего? Фабрикант, напр., позволяет себе всякие несправедливости, прижимки по отношению к своим рабочим — только при существовании вполне свободной печати можно разоблачить его поступки и добиться правды.

— Гм! Свобода печати... Но ведь это — требование социал-демократов?

— Я недостаточно знаком с программами разных партий, а говорю то, что думаю.

— Ну, а самодержавие? Мешает оно осуществлению ваших желаний?

— ...Самодержавие не мешает. Рабочие при забастовке не высказались против самодержавия. Даже тех, кто кричал: «Долой самодержавие!», избили.

— Что вы думаете о партии «независимых»?

— Рабочие не любят их уже потому, что они пользуются привилегиями, какими не пользуются остальные: они свободно собираются, обсуждают свои вопросы, чего нельзя нам.

— Как относитесь вы к вопросу о фабричных старостах?

— Отрицательно. Сначала наши рабочие хотели было выбирать старост, но потом отказались от этого.

— Почему же?! Помилуйте! Я сам лично принимал участие в комиссии по этому делу, и мы много и долго потрудились, чтобы достигнуть должного разрешения этого вопроса! Ведь старосты — это ваши же люди, ваши избранники, — что можете вы иметь против них?

— Наши-то наши, но нам кажется, что им легко стать не нашими и вообще цель не будет этим достигнута.

— Чего еще хотели бы ваши товарищи?

— Мы очень хотели бы, чтобы выпустили наших десятерых товарищей, посаженных в тюрьму после забастовки. Если их не выпустят, рабочие решили снова бастовать, и вообще возможны волнения.

Г-н Лопухин тут же в присутствии г-на Р. звонит по телефону и приказывает полицмейстеру освободить этих десятерых рабочих. Приказ, очевидно, настолько поразил полицмейстера, что тот не решился довериться телефону и сейчас же прискакал лично к его превосходительству убедиться в его действительности. Арестованные выпущены. Затем г-н Лопухин попросил г-на Р. изложить письменно все то, что он говорил, предоставив ему сделать это на дому, и только очень просил его ни с кем не советоваться, а писать так, как он сам думает. Пока г-н Р. писал, к нему каждые полчаса навевывался жандарм, осведомляясь, готово ли уже показание, и, очевидно, подглядывая, нет ли кого у г-на Р.

Такова сущность беседы директора полиции с рабочим в передаче знакомых последнего. Что же сказать об этой беседе, о г-не Лопухине, о г-не Р.?

Прежде всего, существует ли то «среднее мнение» рабочих, какого добивался г-н Лопухин? В массовом движении рабочих в Одессе среднее мнение — это чистая абстракция. Если приложить чисто арифметический метод подсчета, то большинство придется на совсем некультурную массу, представителем которой не мог быть г-н Р. Если же иметь в виду те элементы движения, которые являлись бродилом его, то тут были и независимые, хорошо известные г-ну Лопухину, и люди крайних партий, которые не подписались бы под показанием г-на Р. и не его бы послали своим герольдом, и люди случайных мнений. Если уж г-ну Лопухину хотелось представить своему

патрону г-ну фон Плевел^{XXX} утешительное «среднее мнение», то он мог бы еще менее стесняться и выбрать рабочего из массы, который бы и о свободе печати не заикался, потому что понятия не имеет о роли печати. Вообще допрос одного случайно выхваченного по указанию администрации же рабочего вряд ли мог дать серьезный материал для понимания рабочего движения. И мог ли г-н Лопухин рассчитывать на откровенность допрашиваемого, без церемоний залезая к нему, что называется, под рубашку, с такими вопросами, как о самодержавии? Ведь нужно дать большие и вполне убедительные гарантии, прежде чем приглашать ответить на подобный вопрос.

Я не знаю, конечно, что в действительности думает г-н Р. о самодержавии; возможно, что он был искренен, но возможно также, что у него просто не хватило храбрости ответить так, как ему кажется. Если не играть комедии, то так ли и при таких ли условиях нужно выслушивать действительное мнение рабочих?

Аноним

Освобождение, №29, 1903, с. 83–84



Фрейлейн*

Вот уже два года, как я не имею удовольствия писать в наших политических газетах. В моем детстве были моменты, когда я чувствовал себя слишком большим, чтобы гулять с гувернанткой, и я предпочитал сидеть дома, нежели чинно гулять под ее надзором по тем неизменным скучным дорожкам, по которым она меня водила. В совершенно таком же положении я находился в последнее время по отношению к целому ряду публицистических прогулок, которые мне хотелось предпринять в некоторые достопримечательные учреждения и местности моего отечества — по внутренним губерниям, в Финляндию, в Кишинев. Нельзя без гувернантки — будем сидеть дома и ждать**, пока позволят гулять одним, пока заслужим доверие старших. Будем сидеть в кабинете, учиться и читать умные уче-

* Эта остроумная заметка ходит в рукописи по рукам с именем одного известного ученого профессора. Мы печатаем ее à titre de document [в порядке информации]. *Рег.*

** Зачем же ждать? Пожалуйста в «Освобождение»! *Рег.*

ные книжки. Это как будто можно и без гувернантки. Но вот оказывается, что и в кабинете я могу напроказить или прочесть что-либо лишнее; оказывается, что и в кабинете меня нельзя оставить одного. И я поневоле выхожу из него*, чтобы пожаловаться на мою гувернантку.

За последнее время из научных новостей, возбуждавших общий интерес, можно указать на ученый спор «Bibel und Babel», спор об отношении древнеавилонской культуры к иудейско-библейской, который с легкой руки проф. Делича^{XXXI} и имп. Вильгельма взволновал всю Германию сверху донизу и породил целую обширную литературу. Другая новинка — французская книга Мечникова^{XXXII**}, одного из немногих русских ученых, снискавших всемирную известность.

И вот, заметив, что я заинтересовался этими новинками, моя гувернантка взяла и заперла их от меня в шкаф, куда она уже раньше упрятала от меня столько интересных умных книжек. Я еще слишком молод, глуп и неразвит, чтобы их читать, и все другие русские мальчики, по мнению нашей Фрейлейн, слишком молоды, глупы и неразвиты для этого.

Сколько раз эти русские мальчики жаловались на нее с горькой обидой, доказывая бессельность и вред этого поистине развращающего воспитательного приема. Но Фрейлейн твердо верит в непогрешимость своей методы и стоит на том, что яйца курицу не учат. Ей не хочется на покой в приют для престарелых гувернанток, и она по-прежнему при чужих водит меня за руку, по-прежнему опекает, замыкает, останавливает, наказывает меня, придирается ко мне, изводит и срамит меня, чтобы я не царапался, стрижет волосы, когда находит, что они слишком длинны, отнимает у меня книжки и марает мои тетрадки, словом, не отпускает меня ни на шаг и обращается со мной, как с младенцем, который не умеет сморкаться и которого нельзя оставить одного даже в том кабинете, где он заперт.

Я знаю, что добрая Фрейлейн делает все это исключительно для того, чтобы оградить, уберечь меня и других подобных мне глупых русских детей от вредных, тлетворных влияний. Она отнимает у нас книжки, чтобы мы не научились каким-либо нехорошим словам или чтобы мы не узнали, что дети не под

* Давно пора! Засиделись! *Рег.*

** Книга Мечникова запрещена цензурой. *Рег.*

капустой рождаются и что на свете есть злые люди, нигилисты, социалисты, материалисты, и даже сам граф Толстой, о чем, по мнению Фрейлейн, такие невинные младенцы, как мы, сами никогда не догадываются.

Но, Боже, как заблуждается бедная Фрейлейн, если она верит в успешность этих мер и если она не видит, до какой степени она усугубляет зло, делая популярным все то, что она запрещает, и внушая отвращение ко всему тому, чему она покровительствует, раздражая дурные наклонности своих питомцев и парализуя всякую самостоятельную борьбу против зла. Ни от чего она нас ограждать не может, никаких дурных слов от нас не спрячет — все их мы знаем давно наизусть. Если бы только слышала наша Фрейлейн, какими нехорошими словами русские мальчики между собой ругаются, она всех их спрятала бы в тот самый шкаф, куда она запирает от нас умные книжки! «Kinder, Kinder! Wo haben sie das gehört?»¹ «Где вы таким словам могли научиться?» — На улице, Фрейлейн. Теперь эти самые нехорошие слова всякий прохожий знает, на всяком заборе их прочесть можно, и все наши знакомые мальчики их повторяют. И не то что Мечникова, а самые худшие из тех книжек, которые вы от нас прячете, мальчики под подушками читают! Или и этого вы не замечаете?

О, Фрейлейн, Фрейлейн! Да неужели вы думаете, что если у нас «Bibel und Babel» отнять, мы от этого благочестивее сделаемся или так возьмем и Анну Зонтаг читать начнем? Наша интеллигенция вся поголовно из Церкви ушла и поражает худшим, нежели всякое неверие, мертвенным равнодушием к вопросам веры, а вы, Фрейлейн, от нас «Bibel und Babel» прячете! Наши дети по Марксу читать учатся, как деды по часослову учились, наша молодежь годами твердого знака не видит, потому что читает исключительно подпольные листки, а вы — Мечникова в шкаф!

О, Господи! Когда я буду совсем большим! Когда мне позволят гулять одному, читать и писать одному и когда мне умные книжки в руки дадут.

Фрейлейн... а Фрейлейн... я больше не маленький!.. Дайте мне хоть Мечникова почитать!

Освобождение, №31, 1903, с. 116

¹ Дети, дети! Где вы такое услышали? (нем.)



Новая смена градоначальника. Избиение заключенных

Одесса

Генерал Арсеньев^{XXXIII}, не управлявший Одессой и четырех месяцев, назначен членом совета министра внутренних дел, т. е. получил более или менее приличную отставку. Нельзя сомневаться, что причиной этого был образ действий генерала Арсеньева во время здешних июльских рабочих волнений, но не лишены интереса и подробности его удаления, о которых мне пришлось узнать от чиновника, близко стоящего к управлению градоначальством. Еще когда продолжалась всеобщая забастовка, к градоначальнику летели одна за другой телеграммы из Петербурга резко осуждающего содержания вроде: «Вы бездействуете», «Вы затягиваете дело» и наконец: «Принимайте немедленно самые решительные меры, заранее оправдываю все ваши действия». Как известно, г-н Арсеньев по благоразумию ли, или потому, что не считал достаточным наличное количество вооруженной силы, до резни дело не довел. Затем приехавший в Одессу г-н Лопухин^{XXXIV} также высказал неудовольствие градоначальнику по поводу его недостаточно энергичного поведения. Г-н Арсеньев, как уверяют, прямодушно признался, что он не в состоянии приспособиться к двойственной тактике, заключающейся, с одной стороны, в заигрывании с рабочими, а с другой — в ежовых рукавицах. Само собой разумеется, старый генерал не в этих выражениях высказал эту мысль, но раз она была так или иначе высказана, его карьере градоправителя не мог не наступить конец. Выясняется, кстати, что г-н Арсеньев и не стремился в Одессу, а ему было в свое время предложено занять пост здешнего градоначальника; он же, как верноподданный служака, не счел возможным уклониться от назначения, совершаемого, как известно, от имени императора.

Я далек от того, чтобы умиляться личностью удаляемого градоначальника; такие личности производят скорее жалкое впечатление своим наивным ожиданием, что можно стать истинным отцом управляемого населения при режиме, требующем далеко не отеческих попечений, вроде тех, о которых говорилось в вышеприведенных петербургских телеграммах.

Рассказывают, что г-на Арсеньева как-то в частном круге здешнего высшего общества спросили, как ему нравится Одесса? Генерал задумчиво ответил: «Да не совсем, признаться...» «Почему же? Здесь так красиво море, такой культурный город!» — удивились собеседники, обидевшись за Одессу. «Да, разумеется, и море, и культурность — это все превосходно, но я как-то не могу все привыкнуть к своей новой деятельности». «Что вы хотите этим сказать, Ваше прев-ство?» «А вот видите: ежедневно через мои руки проходит до 200 бумаг — из них, наверное, 100 каких-нибудь мелких жандармских справок, 98 полицейских рапортов и разве только 2 или 3 действительно интересные, серьезные бумаги...»

Если этот рассказ правдив, то он характерен как мнение помпадур о помпадурской деятельности, но режим требует не только подписывания мелочных и часто зловредных бумаг; он требует иногда если не почина в жестоких расправах, то покрывания их, их санкции. Ниже мы приводим письмо из нашей одесской тюрьмы об укрощении протестовавших политических заключенных, из которого видно, что и на долю г-на Арсеньева выпала, может быть, и пассивная, но все же скверная роль, хотя и много уступающая роли юриста — товарища прокурора. Быть может, сам г-н Арсеньев чувствовал себя в этот момент нехорошо, а может быть: «Есть русских множество семей, они как будто добры, но им у крепостных людей считать не стыдно ребра...»^{XXXV} А так как крепостных теперь нет, то их заменяют другие бесправные и беззащитные люди. Хотя нового градоначальника в Одессу еще не назначили, но г-н Арсеньев выезжает отсюда на днях же: очевидно, он так неприятен на этом посту, что не хотят даже подождать, пока избран будет подходящий кандидат.

Новая должность г-на Арсеньева — синекура, конечно, — является как бы иронией над ним: советник при министре внутренних дел — уж не будет ли в самом деле г-н Плевел^{XXXVI} просить совета в своих поступках у забракованного им же помпадур? Для обращения г-на Плевела с помпадурами характерна история увольнения бывшего нашего градоначальника гр. Шувалова^{XXXVII}, рассказанная нам хорошо осведомленным лицом. Граф Шувалов в одну из последних поездок в Петербург, благодаря своим связям и происхождению, получил возможность видеть Николая II как-то экспромтом, вне очереди; он этим вос-

пользовался, чтобы между прочим изложить какой-то проект, касающийся г. Одессы, и заручился даже словесным одобрением царя. С торжествующим видом неумный граф идет затем к г-ну Плеве и наивно докладывает ему о проекте и о том, что он «имел счастье» получить высочайшее одобрение. «Я благоговею перед монаршей волей, — осадил его холодно министр, — но позвольте вам, граф, напомнить о порядке представления докладов: только я, объединяющий все внутренние дела в стране, могу судить о том, что пригодно или непригодно для доклада Государю». Вскоре после этого гр. Шувалов, нашаливший, впрочем, достаточно в Одессе и раньше, был назначен для особых поручений к министру.



Относительно здешних «независимых» получают данные, приводящие в серьезное недоумение. Во-первых, они выпустили прокламацию о том, что даже их скромная, чисто экономическая деятельность не может быть выполняема при нашем правительственном режиме, вследствие чего они объявляют о ликвидации своего комитета; во-вторых, заслуживающие полного доверия случайные очевидцы обыска и ареста г-на Шаевича^{XXXVIII} уверяют, что эти действия отнюдь не носили характер комедии; затем г-н Шаевич, как известно, выслан был в Вологодскую губернию, где едва ли мог бы исполнять какую-нибудь полезную для властей работу. Таковы факты — от объяснения их я пока воздерживаюсь. Г-н Лопухин в Одессе, кроме железнодорожного рабочего г-на Райха (пишу полностью его фамилию потому, что она оглашена уже в специальной прокламации местного комитета социал-демократов, резко его осуждающих), допрашивал еще несколько коночных служащих, но не столь внимательно и навязчиво, как первого. Ответы их малоинтересны, как содержащие чисто местный материал без широких обобщений. Сейчас узнал, что 11 человек политических заключенных выпущены из нашей тюрьмы на свою беду: в этом не было бы ничего особенного, если бы не то обстоятельство, что выпущенными оказались именно наиболее потерпевшие при расправе, описанной в прилагаемом письме, в том числе и тот 17-летний юноша, из-за которого возникла вся эта история. Это уже похоже на взятку, которой хотят замазать происшедшее, но, конечно, жаль будет, если избитые не засвидетельствуют следов своих побоев у врачей и не принесут

жалобы в судебном порядке. Правда, надежды вывести дело на чистую воду и добиться кары рукойойцев немного, раз сам представитель прокуратуры так одобрил расправу, но все же молчать нельзя.

Вот письмо из тюрьмы, о котором говорится выше:

«...18-го августа одного из товарищей, 17-летнего юношу, посадили в карцер за то, что он во время прогулки вынул из кармана красный платок и взмахнул им. Когда все узнали о постигшей его участи, решено было послать кого-либо в контору для переговоров. Один из товарищей отправился к начальнику и от имени всех просил освободить товарища из карцера во избежание неприятностей, нежелательных как для тюремного начальства, так и для заключенных, — все возмущены тем, что из-за таких пустяков сажают в карцер, да еще 17-летнего юношу. Начальник в ответ заявляет, что он не желает считаться с мнением арестованных и ему нет никакого дела до того, возмущаются они или нет. Посланный вернулся в свою камеру и передал всем ответ начальника. Возник вопрос: что делать? Все единодушно решили протестовать, а так как для выражения протеста имеется одна форма — стук, решено было стучать. И вот начинается страшная драма в Одесской тюрьме. Лишь только послышался стук, стая надзирателей в сопровождении начальника и его помощников набросилась на заключенных; им связывали руки и ноги, их били до полусмерти. Били руками, били ногами, канатом; один из помощников, Блонский, бил одного товарища головой об стенку — вообще он в этот день отличался больше всех. Били и связывали всех тех, кого подозревали в стуке; одного русского топтали ногами и кричали ему: «Что, выкрестился, жидам душу продал!» Во время всего происходившего стоял не умолкавший стон. Когда же один из товарищей, услышав в соседней камере сильные стоны, требовал позвать фельдшера, стоявший вблизи старший надзиратель ответил ему руганью: «Я тебе дам фельдшера! Дай-ка канат: мы его сейчас свяжем — вот и будет ему фельдшер!» Один из товарищей начал кричать, ему заткнули рот и начали его душить. Собрав последние силы, он крикнул: «Я задыхаюсь!» — «Ничего, — отвечали ему, — одним будет меньше». Одного связанного били ногами в грудь — и у него пошла кровь горлом. Всех избитых свыше сорока; все это происходило между 8 и 9 часами вечера. В 12 часов ночи в тюрьме появились градоначальник

Арсеньев и товарищ прокурора. Они обходили камеры и расспрашивали потерпевших. Вошли они к одному товарищу, который еще связанным лежал на полу, велели его развязать — он рассказал, как было дело и как его били. Выслушав рассказ, товарищ прокурора замечает: «Этого еще мало — вас не так еще нужно избивать». Другой товарищ, у которого разбит был и страшно распух глаз, рассказывая обо всем происшедшем, показал градоначальнику свой глаз. «За то, что вы сделали, вас можно немножко обидеть», — отвечал ему Арсеньев. Многие лежали в бессознательном состоянии. К утру все были развязаны, но многие не могли подняться, прикованные к постели страшной болью во всех членах, почти у всех имелись следы вчерашнего избиения — у кого лицо распухло, у кого шрам на лице, у кого голова разбита... Через два дня, т. е. 20-го, ко всем потерпевшим явился помощник начальника в сопровождении нескольких надзирателей и произвел обыск, причем письменные принадлежности у них были отняты, все они лишены свиданий и выписки на две недели, а кто и на три».

Аноним

Освобождение, №31, 1903, С.131



Два гастролера. Сердечное попечение о рабочих

Огесса

Наш город одновременно посетили товарищ министра народного просвещения г-н Лукьянов^{XXXIX} и член совета министра внутренних дел генерал Богданович. Первый приезжал на открытие Высших женских курсов и вообще по делам своего министерства, второй — по своей известной специальности миссионера православия, оседланного для своих целей самодержавием.

Случайное совпадение приезда этих двух сановников невольно вызывает их сопоставление, чрезвычайно характерное для наших дней. С одной стороны, представитель казармы и кадила, самый грубый идолопоклонник, сотворивший себе кумира из русского самодержца, просвирня на службе у полиции, человек, по ошибке родившийся в наше время, вместо какого-нибудь XVI столетия, с другой — ученый-экспериментатор,

рационалист*, без сомнения, не верующий ни в просвиры, ни в мощи, ни в акафисты и примыкавший до сих пор к тому течению, которое мощной волной смывает с человечества всю тину предрассудков, религиозных, бытовых и социальных и уносит его на своей зеркальной чистой поверхности в новую жизнь разума, пыгливой самодеятельности, чуждой всяких опеки Исаакиевского собора и «третьего отделения»... И вот два этих антипода заключают между собой союз для поддержания существующего строя на радость и во славу русского правительства, которое, особенно в нынешних затруднительных обстоятельствах, не прочь воздействовать по народной поговорке «крестом и пестом». И уж если кто из этих двух генералов — на красной и на синей подкладке, имеет право посмеяться себе в ус, то, конечно, не г-н Лукьянов, а г-н Богданович. Г-ну Богдановичу нечего кривить совестью, нечего изворачиваться — он со своим кругозором пещерного человека не нуждается в окольных кругах и ни к каким фиговым листочкам для прикрытия своей первобытной наготы не прибегает.

Другое дело — почтенный экспериментатор г-н Лукьянов. Надев на себя синюю ливрею и став одесную г-на Зенгера^{XI} в министерстве просвещения, он не может не чувствовать себя ответственным за такое положение вещей, по которому, напр., в министерских университетах нет места Эрисманам^{XII}, Ковалевским^{XIII}, Милюковым^{XIII}, Чупровым^{XIV} и многим другим, включительно до Мечникова с его гениальными открытиями именно в той области науки, которой служит и он, г-н Лукьянов, вероятно, не малому научившийся от более талантливой коллеги. Недавно на одной из улиц Одессы мне бросилась в глаза табличка над домовыми воротами: «Дом профессора университета действительного статского советника М-ского»; служитель университетской науки, импонирующий даже с таблички благоприобретенного трехэтажного дома чином действительного статского советника, это — увы! — не герой гоголевских дней, а совершенно типичный профессор

* Наш корреспондент, кажется, ошибается в характеристике духовной физиономии г-на Лукьянова, что, впрочем, не меняет существа дела. По нашим сведениям, г-н Лукьянов причисляет себя к последователям Вл. Соловьева. Мирозозрение Соловьева, однако, отнюдь не вяжется с поддержкой полицейского самодержавия, против которого Соловьев боролся в своих публицистических трудах. *Рег.*

под режимом Боголеповых^{XLV}, Зенгеров, Лукьяновых. Но от г-на Лукьянова можно было все-таки ожидать чего-нибудь лучшего, чем от первых двух. Пироговские съезды врачей избирали его председателем, он был директором института экспериментальной медицины, считался человеком чистоплотного направления. Что же завело его в тупой угол системы русского министерства просвещения, которое пятится назад даже после скромных начинаний ген. Ванновского^{XLVI}, которое отстаёт ровно на полвека от современности, напр., хотя бы в ознакомлении юношества с отечественной литературой, и которое предпочитает церковно-приходские школы земским? Г-н Лукьянов побывал здесь во всех гимназиях; пришло ли ему в голову при этом, что нелепо и глупо прятать от юношества в карман не только новейших Чехова, Короленко, Горького, но и Успенского, Салтыкова, Гаршина, не говоря уже о Добролюбове, Писареве и др. И только теперь некоторые либеральные газеты утешились по поводу того, что в программу гимназической литературы допустили — *incredibile auditu!*¹ — Тургенева, Островского и Толстого (конечно, в оскопленном виде), а до сих пор программа эта завершалась только Гоголем. Это ли не просвещение российской интеллигенции?! Пусть лучше она «немножечко дерет» по части знания литературы, «да в рот хмельного не берет» и будет «с прекрасным поведением»^{XLVII}. Жаль только, что никакой ватой нельзя настолько заложить уши, чтобы прожить, не зная о существовании целых плеяд писателей, имевших и имеющих громаднейшее влияние на русскую жизнь. Неужели же гг. Лукьяновым не зазорно трудиться не только «применительно к подлости», но и применительно к явной глупости? Этот вопрос неотступно винтил мою голову, когда мне случайно пришлось стоять в группе лиц, провожавших товарища министра на вокзал. Отделившись довольно сухо от градоначальника Нейдгарта^{XLVIII}, по долгу службы расшаркавшегося с банально любезными фразами о том, что имя гостя связано для Одессы с открытием такого полезного учреждения и что одесситы надеются видеть его у себя еще раз, когда и «мы выстроим великолепное собственное здание для курсов», г-н Лукьянов обратился к окружавшим его профессорам и до 3-го звонка беседовал с проф. Ланге^{XLIX} об античной

¹ Трудно поверить! (лат.)

философии и о Платоне, которого он, Лукьянов, большой поклонник, — беседовал, как простой образованный человек, живущий в мире идей. А на другой день тот же г-н Нейдгарт с видоизмененными любезностями на этом самом вокзале провожал другого сановника и просветителя русского народа, г-на Богдановича, рассуждающего не о гуманитарной греческой философии, а о том, какая свечка более доходна до Бога — пятикопеечная или двухкопеечная и каким способом лучше выкурить из человека всякие идеи — церковным умопомрачением или казацкой нагайкой. Такая комедия в двух действиях была разыграна на перроне одесского вокзала. Эта же душу возмущающая комедия разыгрывается и на общерусской сцене нашим милым правительством, считающим себя не чуждым европейского просвещения и в то же время выкапывающим из земли то черниговских, то саратовских чудотворцев, чтобы подкрепить себя их полуистлевшими костями и кусками их бород. Все средства хороши, лишь бы на месте усидеть.



На днях арестованы здесь около 50 человек служащих на здешней конке кондукторов и кучеров, большей частью из тех, которые непосредственно после июльской забастовки присуждены были за нарушение обязательных постановлений о сходбищах на разные сроки к отсидке в тюрьме, а потом выпущены на свободу. Теперь их снова взяли и затем выслали на родину, а природным одесситам предоставили выбор места жительства где угодно, кроме Одессы. Одновременно взяты также 10 человек рабочих из железнодорожных мастерских — те самые, которых освободил с таким эффектом приезжавший сюда г-н Лопухин^L. Узнав утром в мастерских об аресте товарищей, рабочие тех цехов, где работали арестованные, возмутились и, не зная, чем выразить свой протест, прекратили работу. Вскоре туда явились власти, полиция, войско; изолировали прежде всего протестантов от рабочих других цехов, еще не знавших, в чем дело, затем отпустили их домой из мастерских, вынесли к дверям стол, разложили конторские книги и объявили, что рабочим дается 15 минут на размышление и, если кто не желает работать больше, пусть подходит и получает расчет. Этот новый прием, видимо, сму-

тил забастовщиков, и работа возобновилась в тот же день. Всех заявивших протест было около 600 человек, и едва ли их могли рассчитать без большого ущерба для дела, так как это не чернорабочие, а специалисты своего дела, которых нельзя сразу заменить людьми с улицы.

Новый градоначальник Нейдгарт еще не проявил своей деятельности ничем, кроме мелочей. В железнодорожные мастерские выезжал не он, а его помощник Старков. Генерал Богданович пробыл здесь несколько дней, ездил в казармы к солдатам, был в порту, беседовал и с другими рабочими. В порту, как объявлено в газетах, он снимался с рабочими на одной фотографии; не знаю, вышло ли это само собой или было подстроено известным здесь портовым священником о. Ионой^{LI}, ищущим популярности изгнанием бесов и пр. и уже сплотившим однажды группу босяков для адреса градоначальнику Шувалову^{LII}. В других местах рабочие, среди которых были сознательно мыслящие, издевались над дурацкими речами старого генерала. Вообще одесская публика не из благодарных для проповедников православия, и едва ли генерал с амвона мог оставить здесь после себя заметный след.

Аноним

Освобождение, №33, 1903, с.161



Неосторожные жандармы. Настроение студентов

Одесса

Недавно в здешнем окружном суде рассматривалось дело, хорошо рисующее нравы и понятия о чести среди нашего жандармского офицерства. Обвинялся некто Фельденкрейз в преступлении, именуемом вовлечением в невыгодную сделку, и само по себе дело не представляет никакого общественного интереса; любопытным его моментом является только то, что жандармский полковник Крицкий, зять лица, вовлеченного в эту сделку, будучи заинтересованным в получении векселя на 4000 руб., выданных тестем Фельденкрейзу, вызвал последнего через полицию в жандармское управление якобы по обвинению в государственном преступлении и здесь, угрожая тюрьмой, вынудил его к подписке в свою пользу и даже

(по показанию обвиняемого) продиктовал ему два письма, являющихся прямым подлогом. Происходившее в официальном месте насилие по частному личному делу было благовидно оформлено Крицким на бумаге, и на ней подписались в качестве свидетелей другой жандармский полковник Бурачков и жандармский ротмистр фон Гесберг^{LIII}, занимающий в Одессе должность помощника полицмейстера, причем ни тот, ни другой, как это подтвердилось на суде, на самом деле не присутствовали при объяснении Крицкого с Фельденкрейзом, т. е. свидетелями не были и быть не могли. Подсудимого, конечно, пришлось оправдать, а Крицкий на суде признался, что поступил «неосторожно» — признание, очень точно определяющее гг. Крицких, Гесбергов и Бурачковых к правонарушениям в свою пользу: все можно, лишь бы осторожно. Любопытно, однако, как относится офицерство как корпорация, как сословие к подобным циничным проявлениям шантажа в своей среде? Ведь как бы то ни было, а существует же у офицеров так называемая честь мундира, не позволяющая терпеть на службе лицо скандального поведения? Или жандармское офицерство неприкосновенно и с этой стороны?

В здешнем университете в настоящее время некоторое брожение. Началось с пустяков. Антрепренер Сибиряков, давая первый спектакль в новом собственном театре, предоставил студентам большое число билетов; вмешался градоначальник Нейдгарт и сократил число их наполовину или меньше того; собравшаяся у театрального подъезда толпа студентов встретила приехавшего на спектакль Нейдгарта свистками и шиканьем; он поскорее юркнул в театр и оттуда, очевидно, вызвал по телефону жандармерию и казаков; военной силе, однако, делать было нечего, так как студенты, освистав градоначальника, далее этого и не думали идти. На следующих днях были, вернее сказать, идут и теперь совещания и сходки студентов по разным своим вопросам: по поводу курсовых кураторов, к которым студенчество относится в большинстве отрицательно, по поводу распространившегося слуха о запрещении в этом году студенческого вечера и пр. Движение, кажется, не предвещает чего-либо крупного, но пророком быть нельзя.

В противовес так называемому союзному совету с его радикальными тенденциями в нашем университете образовалась активная антисемитская группа, принявшая претенциозное

наименование «Священной лиги» и девиз «Долой жидов и социалистов». Сначала члены этой лиги раскладывали в аудиториях по скамьям «Знамя», «Новое время»^{LIV} и т. п., но так как газет этих почти никто не брал в руки, то выпущены были специальные листки в крушевановском^{LV} стиле. Где-то университетские стены украсились даже благородным воззванием «Бей жидов!» Говорят, что будет какой-то студенческий суд по поводу инцидентов, вызванных членами «священной» и священнодействующей лиги.

Нейдгарт ничем не ознаменовал здесь первых месяцев своего правления, кроме ряда мелких бестактностей, сделавших непопулярным его не только среди обывателей, но и среди чиновничества; говорят, что правитель его собственной канцелярии и начальник жандармского управления хвалятся уже тем, что скоро спихнут его с градоначальнического трона.

Финал прошлогодней семинарской истории таков. После девяти месяцев перерыва семинария вновь открыта; 25 семинаристов остались навсегда изгнанными, остальные по прошениям и экзаменам приняты обратно в лоно семинарии; побитый учениками ректор Флоровский^{LVI} уволен от духовно-учебного дела и переведен в приход, но, с другой стороны, по его навету уволен и преподаватель семинарии Котович, как тайный подстрекатель бунтовавших семинаристов; на место Флоровского прислан архимандрит Анатолий^{LVII}, бывший долго в Америке, человек с современным лоском; владыка Иустин^{LVIII} получил по письму от Победоносцева^{LIX} и от первоприсутствующего в Синоде Антония^{LX} с подобающим нагоняем опять-таки с двух сторон: с одной стороны, за то, что не обуздал Флоровского, а с другой, что уронил достоинство, приняв депутацию от семинаристов с жалобой на него; карьера Иустина кончена — митрополитом ему не быть.

Одесская тюрьма продолжает быть переполненной политическими заключенными. Между прочим, последнее время привозят из деревень и простых крестьян-малороссов, арестованных по каким-то политическим делам.

Аноним

Освобождение, №35, 1903, с. 195–196



Политический процесс

Огесса

3 ноября в здешней Судебной палате рассматривалось уже известное читателям «Освобождения» дело по обвинению шести лиц в организации тайной типографии в г. Кишиневе, причем, как видно из обвинительного акта, эти шесть лиц по своим взглядам принадлежали к разным партиям и соединены в одном судебном деле искусственно. Состав обвиняемых и их защитников был опубликован в № 33 «Освобождения». Председательствовал старший председатель палаты г-н Джибелли. О судебном заседании присутствовавшие на нем рассказывают следующее. Один из защитников возбуждал ходатайство о том, чтобы дело рассматривалось при открытых дверях, ссылаясь на то, что Высочайшее повеление о слушании при закрытых дверях объявлено через товарища министра, а не через министра, как это требуется по закону. Само собою разумеется, суд это ходатайство оставил без удовлетворения.

Обвиняемые на суде не отрицали своей принадлежности к антиправительственному «сообществу» и вообще держали себя вполне откровенно и с большим достоинством. Речи адвокатов, по словам самих лиц, участвовавших в суде, очень хороши, в особенности речь г-на Муравьева^{LXI}, оставившая большое впечатление у слушателей. В речах высказана была, между прочим, та мысль, что то дело, которое должны бы у нас делать народные представители, делают евреи, а мы их за это судим. Из речей обвиняемых выделялась речь Гольдмана, прилагаемая здесь дословно*. Председательствующий держался чрезвычайно корректно и никого из говоривших не прерывал. Обвинитель также вел себя вполне прилично для своей роли. Вынесенный приговор — ссылка на поселение — считается юристами относительно мягким, да и сами подсудимые, по-видимому, ожидали худшего, а потому по объявлении его тут же, в зале, приветствовали друг друга рукопожатиями и поцелуями.

Вообще, если правда, что весь данный процесс создан с предвзятою целью вызвать ненависть к евреям (все обвинявшиеся — евреи) накануне рассмотрения дела о кишиневском погроме, то эти расчеты должно признать совершенно не оправ-

* Она будет напечатана в след. номере. *Рег.*

давшимися: нет никакого сомнения в том, что из судебной за-
лы 3-го ноября всеми присутствовавшими, независимо от их по-
литических убеждений, вынесено скорее благоприятное, чем
неблагоприятное отношение к тем шести евреям, которые фигу-
рировали на скамье подсудимых, и можно думать, что, если их
не оправдали, то только потому, что оправдать было нельзя,
не выходя из пределов уголовного уложения. Эти последние
строки не есть впечатление корреспондента «нелегального»
издания: они основаны на свидетельстве, полученном из самого
состава суда, хотя, конечно, называть имен мы здесь не станем.

Аноним

Освобождение, №37, 1903, с. 234

I *Лесевич* Владимир Викторович (1837–1905) — философ-неопозитивист.

II *Морген* Рафаэль (Рафаэлло; 1758–1833) — итал. гравер.

III *Бреши* Газтано (1869–1901) — итал. анархист, убивший короля Умбер-
то I.

IV *Америко* (Америго) *Веспуччи* (1454–1512) — флорент. путешествен-
ник, по имени которого названа Америка.

V *Паоло* даль Поццо *Тосканелли* — Паоло Тосканелли (1397–1482) —
извест. флорент. ученый, медик, астроном, географ и математик.

VI *Победоносцев* Константин Петрович (1827–1907) — рос. гос. деят., уч-
ный-правовед, писатель; в 1880–1905 — обер-прокурор Святейшего синода.

VII *Нещеретов* — дядя жены Д. И. Ульянова, проживал в пос. Синельни-
ково Павлоград. уезда Екатеринослав. губ.

VIII *Зенгер* Григорий Эдуардович (1853–1919) — рус. филолог; вице-
министр и министр народн. просвещения (1901–1904).

IX *Бунд* — еврейск. социалистич. партия в России, позднее в Польше
и США; некоторое время входила в РСДРП.

X *Арсеньев* Дмитрий Гаврилович (1840–1912) — одес. градоначальник
(апрель–август 1903).

XI *Маркевич* Алексей Иванович (1847–1903) — историк, проф. Новос-
рос. ун-та, чл. Император. Моск. археолог. об-ва.

XII *Фон Плеве* Вячеслав Константинович (1846–1904) — министр внут-
рен. дел и шеф корпуса жандармов (с 1902). Убит эсером Егором Созоновым.

XIII *Немешаев* Клавдий Семенович (1849–1927) — рус. инженер, гос.
деят.; начальник Юго-Зап. ж. д., министр путей сообщения, чл. Гос. совета.

XIV *Зубатов* Сергей Васильевич (1864–1917) — жандарм. полковник,
начальник Моск. охран. отд-ния (с 1896) и Особ. отд. департамента полиции
(1902–1903). Один из создателей системы полиц. сыска, инициатор полити-
ки «полиц. социализма», которая сводилась к насаждению легальн. рабоч.
орг. под контролем полиции.

XV *Шаевич* Генрих — уполномоченный Зубатова в Одессе.

XVI *Паульсен* Фридрих (1846–1908) — нем. философ. Его «Этическая система» издавалась и на рус. яз. (1900).

XVII *Норгау* Макс (Симха Меер Зюдфельд; 1849–1923) — врач, писатель, политик, соучредитель Всемирн. сионист. орг.

XVIII *Еврей должен гореть* — цитата из драмы Г. Э. Лессинга «Натан Мудрый». Выражение, ставшее разговорным, означает: неважно, насколько хороши дела и намерения еврея, — он виноват уже тем, что он еврей.

XIX *Немешаев* — см. примеч. XIII.

XX *Шувалов* Павел Павлович (1859–1905) — граф, генерал-майор; рус. воен. и гос. деят.; одес. градоначальник (1898–1903).

XXI *Шаевич* — см. примеч. XV.

XXII *Головин* Николай Степанович (1867–?) — жандарм. офицер, прикомандирован. к одес. жандарм. упр. (с 1900); полицмейстер Одессы.

XXIII *Гесберг* Александр Дмитриевич (1861–1915) — помощник начальника одес. жандарм. упр. (с 1898).

XXIV *Зубатовщина* — см. примеч. XIV.

XXV *Лопухин* Алексей Александрович (1864–1928) — директор Департамента полиции (1902–1905).

XXVI *Фон Валь* Виктор Конрад Вильгельм (1840–1915) — губернатор Вильны (с 1901); товарищ министра внутрен. дел и начальник корпуса жандармов (с 1902); чл. Гос. совета (с 1903).

XXVII *Зеленый* Павел Александрович (1839–1912) — одес. город. голова (1897–1905).

XXVIII *Лопухин* — см. прим. XXV.

XXIX *Немешаев* — см. примеч. XIII.

XXX *Плеве* — см. примеч. XII.

XXXI *Делич* Фридрих Конрад Герхард (1850–1922) — нем. историк-востоковед, один из основоположников ассириологич. шк. в Германии. Автор книги «*Vabel und Bibel*» («Вавилон и Библия»).

XXXII *Мечников* Илья Ильич (1845–1916) — рус. биолог, патолог, один из основоположников сравн. патологии, эволюцион. эмбриологии, иммунологии; чл.-кор. (1883), почетный чл. (1902) СПб. АН; работал в Пастер. ин-те (Париж; с 1888). Нобелев. премия (совместно с П. Эрлихом; 1908).

XXXIII *Арсеньев* — см. примеч. X.

XXXIV *Лопухин* — см. примеч. XXV.

XXXV *Есть русских множество семей... Считать не стыдно ребры* — цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Прекрасная партия» (1852).

XXXVI *Плеве* — см. примеч. XII.

XXXVII *Шувалов* — см. примеч. XX.

XXXVIII *Шаевич* — см. примеч. XV.

XXXIX *Лукьянов* Сергей Михайлович (1855–1935) — врач и гос. деят., директор Ин-та экспериментал. медицины (Петербург), товарищ министр-

ра народн. просвещения (1902–1905). Автор книги «О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы».

XL *Зенгер* — см. примеч. VIII.

XLI *Эрисман* Федор Федорович (Гульдрейх Фридрих; 1842–1915) — основоположник науч. гигиены в России; по происхождению швейцарец. Проф. Мос. ун-та (с 1882); был уволен по политич. мотивам (1896).

XLII *Ковалевский* Максим Максимович (1851–1916) — рус. социолог, историк; жил и работал (с 1887) за границей, читал курсы в ун-тах Англии, Бельгии, Швеции и др. Наиболее знач. работы этого периода — «Происхождение соврем. демократии» (1895–1897) и «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства» (1898–1903). Участвовал в основании Выс. рус. шк. обществ. наук в Париже (1901). Преподавал в Петербург. ун-те (с 1905), активно участвовал в рос. обществ.-полит. жизни: в 1906 избирался в I Гос. думу, осн. Партии демократ. реформ.

XLIII *Милюков* Павел Николаевич (1859–1943) — рус. историк начала XX в., автор многотомных «Очерков по истории русской культуры» и др. работ. Был уволен из Мос. ун-та и выслан в Рязань (1895); преподавал в Софии (с 1897). Один из лидеров демократич. крыла рос. либерализма и созд. кадет. партии (1905). Депутат III и IV Думы от Петербурга, бессмен. пред. кадет. фракции.

XLIV *Чупров* Александр Иванович (1842–1908) — рус. ученый-экономист, статистик, обществ. деят.; чл.-кор. СПб. АН. Жил в основном в Мюнхене.

XLV *Боголепов* Николай Павлович (1846–1901) — рус. гос. деят., проф. римского права в Мос. ун-те, ректор ун-та (1883–1887, 1891–1893), министр народного просвещения (с 1898), проводил курс на подавление студенч. волнений. В 1900 г. 183 студента Киевского ун-та были отданы в солдаты, уволена оппозицион. настроен. профессура. Был смерт. ранен исключен. из ун-та студентом П. В. Карповичем.

XLVI *Ванновский* Петр Семенович (1822–19??) — генерал-адъютант, воен. министр. В 1898 по болезни оставил пост воен. министра и назначен чл. Гос. совета; В 1899 ему было поручено расследование причин беспорядков в различных выс. учебн. заведениях Империи. После смерти Н. П. Боголепова был назначен министром народного просвещения.

XLVII *Они немножечко дерут; / Зато уж в рот хмельного не берут, / И все с прекрасным поведением* — отсылка к басне И. А. Крылова «Музыканты» (1808).

XLVIII *Нейгарт* Дмитрий Борисович (1861–1942) — тайный советник, чл. Гос. совета; в 1897 вышел в отставку и назначен калужским вице-губернатором. В 1902 назначен плоцким губернатором, а в 1903 — одес. градоначальником. В 1905 причислен к Мин-ву внутрен. дел с увольнением от должности градоначальника.

XLIX *Ланге* Николай Николаевич (1858–1921) — русский психолог, один из основоположников российской и видный представитель мировой экспериментальной психологии своего времени.

L *Лопухин* — см. примеч. XXV.

LI Протоиерей *Иона* Моисеевич Атаманский [1855(52)–1924] служил в Свято-Николаевском портовом храме (с 1901).

LII *Шувалов* — см. примеч. XX.

LIII *Гесберг* — см. примеч. XXIII.

LIV *Знамя* (СПб.; 1903–1904) — антисемитская газета, впервые опубликованная т. наз. Протоколы сионских мудрецов (Программа завоевания мира евреями; 28 авг.–7 сен. 1903).

Новое время (СПб.; 1868–1917) — ежедневная газета, выходившая под редакцией А. С. Суворина (с 1876); в начале 1900-х превратилась в консервативно-антисемитское издание.

LV *Крушеван* Паволакий Александрович (1860–1909) — писатель, журналист, депутат II Гос. думы, организатор Союза рус. народа в Бессарабии.

LVI *Флоровский* Василий Антонович (1858–1928) — ректор Одес. духовн. семинарии (1900–1903); протоиерей; настоятель кафедр. собора (1905). Отец знаменит. богослова, философа протоиерея Георгия Флоровского.

LVII *Анатолій* (Каменский Алексей Васильевич; архимандрит, епископ; 1863–1925) — ректор Одес. духовн. семинарии с 1903. В Одессе входил в руководящие органы всех монархич. орг. С 1906 член совета одес. Союза рус. народа и Одес. отд. Русского собрания.

LVIII *Иустин* (Охотин, архиепископ; 1828–1907) — его заботами началось строительство нового комплекса зданий Одес. духовн. семинарии (1900).

LIX *Победоносцев* — см. примеч. VI.

LX *Антоний* (Александр Васильевич Вадковский; 1846–1912) — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский с 1898. С 1900 первенствующий член Св. синода. Поставил свою подпись под отлучением от церкви Л. Н. Толстого.

LXI *Муравьев* Николай Константинович (1870–1936) — адвокат, составитель завещания Л.Н. Толстого.



К вопросу о публикациях Жаботинского в журнале «Освобождение»*

(Актолин, Аноним, Г. и другие)

I

Атрибуция псевдонима А. в последних номерах петербургского журнала «Жизнь»¹ (январь—апрель 1901) выявила новый пласт контактов Владимира Жаботинского. После закрытия этого марксистского издания единственной трибуной молодого журналиста остались «Одесские новости»². Здесь он публиковал злободневные фельетоны, очерки, зарисовки, а также рассказы, пьесы, театральные рецензии и поэтические переводы. Выступал в защиту «многообрутанного и несговорчивого “борца за идеализм”»³ Акима Вольнского. Полемизировал с оппонентами нашумевшего сборника «Проблемы идеализма»⁴, обозначившего отход либеральной интеллигенции «от Маркса и материализма в сторону идеализма и религиозно-философского ренессанса»⁵.

* © Леонид Кацис, 2010. Подробное исследование этой темы см.: Русский сборник: Исследования по истории России. Т. 10. М., 2011.

¹ См.: Кацис Л. О псевдонимах раннего Жаботинского // ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 716—722.

Жизнь (СПб., 1897—1901) — литературно-политический журнал марксистского направления; был закрыт цензурой.

² *Одесские новости* (Одесса, 1884—1920) — ежедневная газета; Жаботинский был ее корреспондентом в Риме (1898—1901), затем ведущим фельетонистом, членом редакции.

³ *Altalena*. Вскользь // Одесские новости. 1903. 12 дек. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 2. С. 579).

⁴ Сб. статей 12 авторов, среди которых были недавние социал-демократы Бердяев, Булгаков, Струве, Франк.

⁵ Колеров М. Сборник «Проблемы идеализма» [1902]: История и контекст. М., 2002. 224 с.

Но юноша входил в комитет РСДРП¹, и ему как воздух нужна была свободная, не подцензурная пресса.

Тем временем один из участников сборника «Проблемы идеализма», бывший социал-демократ Петр Струве, стал выпускать в эмиграции журнал «Освобождение»². Задавшись целью организовать широкое либеральное движение, способное объединить все политические группы, классы и национальности России, Струве уделял большое внимание положению на местах.

Первое сообщение из Одессы появилось в «Освобождении» 19 марта 1902 года³. А за два с половиной месяца до этого был напечатан очерк Актолина «На русской границе»⁴. Содержание очерка не связано с Одессой, зато фамилия автора явно перекликается с псевдонимом Жаботинского. Во всяком случае, не меньше, чем псевдоним редактора «Освобождения» с его настоящей фамилией.

Так, П. Струве сменил иноязычное окончание *-e* на русское *-ин*: звучит нормально, только уж очень походит на оригинал. Приставил заглавное *и*, поменял местами *р* и *у*, вместо *в* взял *б* (предыдущую букву алфавита) — и получился П. Истурбин.

По той же схеме был переделан Altalena. Чуждое русскому уху окончание *-ена* заменили русским *-ин*, вместо первого *л* вставили идущее перед ним по алфавиту *к*, а вместо второго *а* — ударное *о*. И получился Актолин, который обстоятельно описал, как по возвращении из Италии его старательно обыскали, изъывая при этом кое-какие вещи, в том числе билеты неаполитанского трамвая: «мы их надлежащим порядком перешлем в охранное отделение...»⁵

Охранка внимательно следила за Жаботинским. Департамент полиции докладывал одесскому градоначальнику:

¹ См.: *Фирин Х (Кельнер В.). Жаботинский Владимир // Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 250. (РСДРП тогда еще не была партией большевиков, всецело отождествляющейся с Лениным.)*

² *Освобождение* (Штуттгарт–Париж, 1902–1905) — либерально-марксистский двухнедельник, нелегально попадавший в Россию.

³ *Аноним. «Одесские дела». От нашего корреспондента // Освобождение. 1903. 19 марта. № 19. С. 337–338 (также: ПССЖ. Т. 3. С. 691–694).*

⁴ *Актолин. На русской границе // Освобождение. 1903. 2 янв. № 14. С. 226–231 (также: ПССЖ. Т. 3. С. 683–691).*

⁵ Там же. С. 688.

Владимир Жаботинский, сотрудничая в 1901 и 1902 годах в римской газете «Patria», в своих корреспонденциях заведомо извращал и представлял в крайне тенденциозном виде все явления политического характера в России...

В 1902 году Жаботинский привлекался при Жандармском управлении города Одессы к дознанию и изобличен был в хранении двух нелегальных брошюр...¹.

Последний эпизод подробно описан Жаботинским в книге воспоминаний:

Однажды посреди ночи — это было в начале 1902 года — сестра разбудила меня и прошептала «полияция». Вошел офицер в голубом жандармском мундире. В течение часа он рылся в моих книгах и бумагах, нашел какую-то «запрещенную» книжку и пачку моих статей, которые напечатали в итальянской газете, издававшейся в Милане, и предложил следовать за ним. <...>

В канцелярии тюрьмы я застал жандармского генерала и помощника гражданского прокурора, молодого человека, которого я несколько раз видел в Литературном клубе. Я спросил: «Запрещенная книга, которую вы нашли у меня, — это памятная записка министра Витте „Самодержавие и земство“. Что в ней преступного?»

Мне ответили, что книга печаталась в Женеве. Это было очень скверно. Но в ней имелось также предисловие на четырех страницах, написанное Плехановым, и это было еще хуже. Помимо того, у меня нашли итальянские статьи, и они-то были подписаны моим именем.

— Разве запрещается печатать статьи в Милане?

— Разрешается, более того — разрешается писать в них что угодно, если они не содержат ложных сведений, порочащих государство. Поэтому-то мы послали ваши статьи, сударь, официальному переводчику, который определит, не опорочили ли вы наше государство...

Семь недель провел я в этой тюрьме... <...>

Я вышел на свободу, потому что официальный переводчик не нашел в моих статьях «посягательств на достоинство государства», но тяжелого преступления — брошюры министра Витте — с меня не сняли и мне запретили выезд из Одессы до суда².

¹ Панасенко Н. Одесские «отсидки» В. Жаботинского // Мигдаль Times. № 41 // Мигдал. 2003. Ноябрь–декабрь. (<http://www.migdal.ru/times/41/3505/?&print=1>).

² Жаботинский В. Повесть моих дней / Пер. с иврита // Жаботинский В. О железной стене. Минск, 2004. С. 484.

Небольшое уточнение. Первый, он же и последний, материал Актолина напечатан в «Освобождении» № 14. А на задней обложке предыдущего номера красуется реклама *второго* издания «запрещенной книги», в хранении которой «изобличен был» Жаботинский:

САМОДЕРЖАВИЕ И ЗЕМСТВО

Конфиденциальная записка министра финансов,
статс-секретаря С. Ю. Витте.

С двумя предисловиями П. Б. Струве.

Откуда же взялось «предисловие на четырех страницах, написанное Плехановым»? Будем считать это оговоркой по Фрейду: на обложке «Освобождения» № 14 рекламируется научно-политический марксистский журнал «Заря», который выходил при участии Плеханова и действительно выпустил *первое* издание «Самодержавия и земства» (1901).

II

В марте 1903 года на заседании Литературно-артистического общества Жаботинский прочел реферат о состоянии русской прессы, полностью напечатанный в «Одесских новостях»¹. Вот, о чем писал 22-летний Владимир:

Современная передовая журналистика не попадает в тон современному передовому поколению, не говорит его душе... <...> Потому, что тон поколения — сегодняшний, а тон журналистики — вчерашний. <...> Для *первых* шагов человека, в какой бы то ни было области, необходимо дать ему самую простую и прямолинейную схему поведения.

Так, малому дитяти говорят:

— Слушайся няни.

Так, впервые севшего на велосипед учат:

— Смотрите прямо перед собой и не снимайте рук с руля.

Но скоро приходит время, когда нет больше смысла ребенку слушаться няни, ибо он подрос, и эта схема послушания стала слишком узка для его расширившейся жизни; и точно так же скоро наступает день, когда велосипедисту смело можно и глядеть по сторонам, и снимать руки с руля без всякого риска, ибо он уже научился.

¹ См. *Жаботинский В.* Перелом журналистики. Изложение реферата, читанного в Литературно-артистическом клубе 20 марта // Одесские новости. 1903. 22 марта (также: ПССЖ. Т. 3. С. 129–132).

Упрощенные схемы нужны и понятны только при первых шагах, в самом начале воспитания. Зрелому человеку они не по плечу. <...> Поколение, стоящее теперь на поприще жизни... жаждет проникнуться всеми разнозвучающими нотами современности, отозваться на каждый звон, потрепетать в ответ каждому веянию — не заботясь о том, вписано ли сие в катехизис «направления» или нет.

Таково поколение. Но не такова журналистика. <...> До сих пор противится она допущению несогласно мыслящего на свою трибуну, и человеку, заговорившему по-своему, стереотипно отвечает:

— Вы не подходите к нашему направлению, и мы не можем дать вам высказаться.

— Где же мне высказаться?

— Это нас не касается. Обратитесь в орган другого направления.

Но «других направлений» есть пять, шесть, десять — а куда же пойти человеку одиннадцатого направления, т. е. самого свежего и молодого? Некуда. У человека одиннадцатого направления нет трибуны. Ему благородно и корректно зажимают рот...¹

А через полгода «Освобождение» напечатало (без подписи) фельетон «Фрейлейн», в котором угадываются отдельные моменты биографии Жаботинского:

Вот уже два года, как я не имею удовольствия писать в наших политических газетах [*два года назад закрылась «Жизнь»*] (текст в квадратных скобках здесь и дальше наш. — Л. К.). В моем детстве были моменты, когда я чувствовал себя слишком большим, чтобы гулять с гувернанткой, и я предпочитал сидеть дома, нежели чинно гулять под ее надзором по тем неизменным скучным дорожкам, по которым она меня водила [*о несостоявшемся сотрудничестве с «Русским богатством» и некоторыми другими либеральными изданиями*]. В совершенно таком же положении я находился в последнее время по отношению к целому ряду публицистических прогулок, которые мне хотелось предпринять в некоторые достопримечательные учреждения и местности моего отечества — по внутренним губерниям, в Финляндию, в Кишинев [*эти местности фигурируют в регулярных обзорах «Освобождения»*]. Нельзя без гувернантки — будем сидеть дома, и ждать, пока позволят гулять одним, пока заслужим доверие старших. Будем сидеть в кабинете, учиться и читать умные ученые

¹ Там же.

книжки. Это как будто можно и без гувернантки [*вспомним «няню» из «Перелом журналистики»*]. Но вот оказывается, что и в кабинете я могу напраковать или прочитать что-либо лишнее; оказывается, что и в кабинете меня нельзя оставить одного. И я поневоле выхожу из него, чтобы пожаловаться на мою гувернантку¹.

Далее следует развитие мыслей, изложенных в мартовском реферате Жаботинского:

Я знаю, что добрая Фрейлейн делает все это исключительно для того, чтобы оградить, уберечь меня и других подобных мне глупых русских детей от вредных, тлетворных влияний. Она отнимает у нас книжки, чтобы мы не научились каким-либо нехорошим словам или чтобы мы не узнали, что дети не под капустой рождаются и что на свете есть злые люди, нигилисты, социалисты, материалисты, и даже сам граф Толстой, о чем, по мнению Фрейлейн, такие невинные младенцы, как мы, сами никогда не догадываются.

Но, Боже, как заблуждается бедная Фрейлейн, если она верит в успешность этих мер и если она не видит, до какой степени она усугубляет зло, делая популярным все то, что она запрещает, и внушая отвращение ко всему тому, чему она покровительствует, раздражая дурные наклонности своих питомцев и парализуя всякую самостоятельную борьбу против зла. Ни от чего она нас оградить не может, никаких дурных слов от нас не спрячет — все их мы знаем давно наизусть².

Одно из двух: либо перед нами плагиат, либо и «Перелом журналистики», и вторая «Фрейлейн» (в «Освобождении») написаны одним человеком — Владимиром Жаботинским.

III

Первая часть корреспонденции «Стачка» подписана Аноним, вторая начинается ремаркой: От другого корреспондента. Вот что пишет этот «другой»:

17-го июля... город, можно сказать, находился в руках рабочих, но, по причине почти полного отсутствия находившихся тогда в лагерьях войск, конфликтов с властями почти

¹ Без подписи. Фрейлейн // Освобождение. 1903. 18 сент. № 31. С. 116 (также: ПССЖ. Т. 3. С. 726–728).

² Там же.

не было (здесь и дальше курсив наш. — Л. К.). <...> На следующий день в разных местах происходили многотысячные сходки, но они уже кончились не добром. Я не буду говорить Вам в письме о некоторых грустном учительных явлениях, имевших место на этих собраниях, скажу лишь о финале: на толпы в разных местах налетали казаки и производили жестокие избиения. *В этот день в Одессу уже прибыло много войск — и картина резко изменилась.* (...) Говорят, есть стремление у заинтересованных в этом лиц разрядить накопившееся в массах электричество в сторону антисемитизма...¹

Фразы, выделенные курсивом, практически совпадают с текстом аналитического обзора «Последние известия», который опубликован в Приложении к тому же 28-му номеру «Освобождения» за подписью Аноним, что является достаточным основанием для того чтобы рассматривать Анонима и Другого корреспондента как одно лицо. Эти два материала различаются не только по жанру, но и по плотности текста. И параллели в них тоже разнятся: то чуть ли не полное совпадение, то смысл нескольких слов, развернутый в целый абзац.

Сравним оценку ситуации, данную в приведенном выше фрагменте «Стачки» и в аналитическом обзоре «Последние известия»:

Пережитые только что дни представляют до такой степени явление небывалое в нашем городе, да и в других крупных городах, что на этом явлении следует остановиться подробнее и внимательнее. *Был момент, когда весь город находился во власти рабочей массы, слившейся воедино и беспрепятственно дефилировавшей по городским улицам, увлекая своим потоком всех собратьев, не успевших еще до того выйти из своих мастерских и фабрик.* Братские приветствия, возгласы, полные бодрости и восторга, вольные песни, жизнерадостный смех и шутки носились над тысячными толпами, следовавшими через весь город с утра до вечера. Настроение было самое приподнятое, хотелось верить, что водворяется новая, лучшая жизнь на земле. Внутренняя и в то же время идиллически трогательная картина...²

¹ От другого корреспондента. Стачка // Освобождение. 1903. 2 авг. № 28. С. 63 (также: ПССЖ. Т. 3. С. 702–703).

² Аноним. Последние известия // Освобождение. 1903. 2 авг. № 28. Прил. С. 1 (также: ПССЖ. Т. 3. С. 712).

А вот Аноним уже более подробно говорит о том, чего не досказал Другой корреспондент, мельком упомянувший «некоторые грустно-мучительные явления, имевшие место» на собраниях рабочих:

О роли партийных организаций в движении говорить мне не приходится: настоящее движение не только не было подготовлено партиями, но они не успели или не сумели даже им сколько-нибудь овладеть, когда оно уже началось. Таково общее впечатление. Были и частные ошибки. В прокламациях во время стачки, например, сделан был неудачный аванс рабочим в виде уверения, что они решились держаться спокойно до крайности, — это не оправдалось на деле. *Неудобно было выпускать ораторами на сходке исключительно евреев — это вызывало среди толпы иногда крайне нежелательные суждения, тем более несправедливые, что, в сущности, нынешнее-то движение уже никак нельзя отнести на счет пресловутого еврейского социализма:* достаточно прочесть списки арестованных за беспорядки — из 71 посаженного на три месяца всего только 6 евреев, из 188 приговоренных к 1¹/₂ месяцам — около трети всего количества¹.

Здесь уже не столько совпадение текстов или сведений, как в первых двух случаях, сколько подробное разъяснение того, чего не было в краткой информации. Однако оба варианта параллелей в текстах Анонима и Другого корреспондента лишь подтверждают тот факт, что мы имеем дело с одним автором — Жаботинским.

И вот он подводит итог:

Тогда были пущены в ход нагайки и ружейные приклады; в отдельных случаях оказались раны и от штыков или шашек; были тяжелораненые, из которых одна девушка и один мужчина в настоящее время умерли; возможно, что жертв и более, чем мне известно.

В городе в этот день тоже на некоторых улицах разгоняли манифестантов, поднимавших в нескольких местах красные флаги и кричавших «долой самодержавие» и проч. Одну группу загнали в частный пустой двор и там сильно избили; у офицера, руководившего этой расправой, китель был в крови — очевидно, не своей, так как он похвалялся, что хорошо «отчистил» пленников, и только не знал, выпустить их теперь или же передать администрации для ареста (действовал, значит, по собственной инициативе). Вообще этот день, будучи так же

¹ Там же. С. 3.

шумным и наполненным брожением, как и предыдущий, только не был в такой же мере благополучным, как он, ни по воздействию извне, ни, что всего печальнее, по внутреннему единодушию. Были даже случаи избияния политических ораторов «независимыми» или подстрекаемыми ими бес-сознательными рабочими¹.

Теперь посмотрим как бы уже не личное, не от первого лица, описание этого события в романе «Пятеро»:

Их было около сотни, все молодежь, и больше еврей; около трети были девушки; одно красное знамя, и знакомый пристав божится, что на нем было вышито «долой самодержавия», в родительном падеже. Двадцати шагов они не прошли, как налетели со всех сторон полчища городских и дворников, понесли женские вопли; свалка и ужас; появились казаки и стали разгонять публику, очищая тротуар копытом и нагайкой. Теперь демонстрантов угнали в соседнюю полицейскую часть; там заперты ворота, перед воротами стража, никто и мимо не проходит, только по всему городу у людей испуганные, придавленные лица, и все шепчутся: «Смертным боем бьют одного за другим...»²

Три года спустя после Одесской стачки, не *Аноним*, а 25-летний, уже отчетливо сионистский *Жаботинский* напишет, вспоминая потемкинские дни в одесском порту:

Толпа была еще в том состоянии неопределенного подъема, когда из нее можно сделать все, что угодно: и мятеж, и погром. Речистый молодец с открытым славянским лицом и широкими плечами мог бы ее повести за собой штурмом на город. И ораторов, действительно, слушали с захватывающим вниманием. Но речистый добрый молодец не появлялся, а выходили больше «знакомые все лица» — с большими круглыми глазами, с большими ушами и нечистым «р». И в толпе всякий раз, со второго слова каждого оратора, слышалось замечание: А он жид? — Именно замечание, а не возглас, не окрик; в этом, сохрани Боже, не чуялось никакой злобы — это просто, так сказать, принималось к сведению. Но ясно в то же время ощущалось, что подъем толпы гаснет. (...) А враги этим пользуются. Из двадцати процентов евреев они делают девятью и кричат народу: берегитесь, это еврейское дело!³

¹ Там же. С. 716.

² *Жаботинский В. (З.). Пятеро.* ПССЖ. Т. 1. С. 340.

³ *Жаботинский В.* Еврейская крамола // Еврейская мысль № 1. Одесса, 5.10.1906. Цит. по сб.: Фельетоны. СПб., 1913. С. 38–39.

Нетрудно догадаться, что Жаботинский ведет свою «бухгалтерию» «еврейской крамолы» не с потемкинских дней (1905), а с одесской стачки (1903). Мы наблюдаем несомненную парность аналитических статей *Анонима* (1903, 1905) и *Altalen'ы* (1906). И там, и тут автор говорит о чрезмерной активности одесских евреев во время беспорядков, что препятствовало агитационной работе с массами и удержанию власти. Жаботинский еще вернется к этой теме (равно как и к истории создания первых отрядов еврейской самообороны) в комедии «Чужбина» (1907).

IV

Рассмотрим отношение одесского корреспондента к проблеме террора. Вот Аноним описывает город в день убийства фон Плеве:

...всюду играла музыка, тысячи нарядно одетых дам вели легкую перестрелку со своими расфранченными кавалерами, солидные папаши восседали за буфетными столиками, стремясь поближе к открытым сценам, — ничто не говорило, что сегодня, несколько часов тому назад, пал фактический правитель всей империи...¹

Но благодушный тон рассказчика постепенно меняется:

...под густо распустившимися пустоцветами есть в почве и здоровые корни: во многих домах, в культурно-обставленных квартирах и в самых бедных конурах рабочего люда весть эта «ударилась по сердцам с неведомою силой». Как крепки были товарищеские рукопожатия, каким огнем светились глаза на сияющих лицах! Отсутствие в первой телеграмме обычного в таких случаях добавления о задержании кого-либо на месте катастрофы и о других жертвах оставляло еще некоторую надежду, что заплатили только один ненавистный министр. Не говоря уже о социалистах-революционерах, да же их непримиримые противники, социал-демократы, не скрывали своего удовольствия. Да и как его скрыть, видя вокруг такие же довольные лица².

Автор отрицает положительное политическое значение террора, и тем не менее приходит к выводу:

¹ Аноним. Отголоски убийства Плеве. Местные нравы и новости // Освобождение. 1904. 2 сент. № 55. С. 93.

² Там же.

...бомба, и именно она, произвела то благотворное сотрясение мыслительного аппарата верховных сфер, которое привело к изменению политики на более разумную¹.

Такого Жаботинского, революционного публициста и политического мыслителя, не уходящего от самых острых вопросов действительности, мы до сих пор еще не знали. Но таков Аноним не подцензурного «Освобождения», и таков же *Vladimiro Giabotinski* социалистической «Avanti!».

V

Мы атрибутировали тексты Актолина, Анонима и не подписанную «Фрейлейн». Но вот перед нами корреспонденция за подписью «470». Вряд ли кто-нибудь, кроме самого автора, мог бы объяснить механизм создания и принадлежность этого (возможно, случайного) цифронима. К счастью, в тексте есть выражение «на Шипке спокойно» (бывшее чуть ли не фирменным знаком Жаботинского²) да еще в сочетании с конструкцией фразы, очень близкой к той, которую мы встречаем в других его произведениях:

Праздники Пасхи прошли, и «на Шипке все спокойно», но это «спокойствие» нельзя приписать естественному течению жизни; оно скорее всего вытекает из «политической тактики» *кишиневской антисемитской банды* (курсив наш. — Л. К.), штаб которой представляет собою редакция пресловутого «Бессарабца»³.

Сравним это со статьей «Вместо аполгии» (1911), вошедшей в знаменитые «Фельетоны»:

Человек менее слабонервный, зато наивный, должен выбежать на улицу, хватать там прохожих за полу или пуговицу и доказывать им, что мы ни в чем подобном (ритуальном питье христианской крови. — Л. К.) не виноваты. Наконец, человек слепорожденный (среди нас таких очень много) поступит иначе. Он себя успокоит обычными успокоительны-

¹ Аноним. Посылки и вывод // Освобождение. 1904. 28 окт. № 59. С. 149.

² См.: *Altalena*. Рим // Одесские новости (веч. вып.). 1901. 11 янв. (также: ПССЖ. Т. 2. Кн. 1. С. 395).

³ 470. Освобождение. 1904. 25 июня. № 50. С. 14. *Бессарабец* — ежедневная газета, орган фанатических антисемитов; изд. П. Крушеван, ред. Д. Мальский. Кишинев, 1897–1901.

ми фразами: что в такую нелепость никто, в сущности не верит; что *это просто политический маневр*; что вся благоразумная часть христианского населения (а таковая, конечно, в подавляющем большинстве) слушать не желает подобной клеветы, даже возмущена ею; что, словом, все обстоит благополучно *и на Шипке спокойно* (курсив наш — Л. К.)¹.

Мы имеем дело с парными текстами, первый из которых привязан к кишиневской ситуации 1904 года, а второй написан через семь лет, на заре киевского ритуального дела. Если допустить, что они принадлежат разным авторам, причем один из них нам известен, то надо признать, что он определенно читал текст «Освобождения» и, будучи не чужд кишиневским проблемам, в аналогичной ситуации 1911 года «вывернул» текст 470.

Таким образом, представленные здесь псевдонимные тексты «Освобождения» находят соответствие в параллельных им текстах Altalen'ы и сборника «Фельетоны», в котором указано настоящее имя автора: Владимир Жаботинский.

VI

Рассмотрим теперь наиболее важный для нас материал: открытое письмо в редакцию, подписанное инициалом Г.² — отклик на статью П. Струве о Кишиневском погроме³. Он утверждал, что евреи сами провоцировали погромщиков своей беспомощностью и трусостью. Письмо Г. целиком укладывается в логику, идеологию, а порой и стилистику сборника «Недругам Сиона»⁴, куда входят полемические ответы Жаботинского Бикерману, Каутскому и другим критикам сионизма. Оно написано для не подцензурного издания, и включить его в легальный сборник с именем автора на обложке было невозможно.

¹ Жаботинский В. Вместо аполгии // Одесские новости. 1911. Жаботинский В. (З.) О железной стене. С. 121.

² Г. Открытое письмо в редакцию «Освобождения» от одного еврея по национальности // «Освобождение». С. 66–68 (также: ПССЖ. Т. 3. С. 730–738). Напомним, что статьи Жаботинского в «Avanti!» подписаны: *Giabotinski*. Не отсюда ли идет это «Г»?

³ Редактор [Струве П.]. Без назв. // Освобождение. 1903. № 22. 8 мая. С. 377–379.

⁴ Жаботинский В. Недругам Сиона. Одесса, 1903. 11 авг.

Вот отдельные выдержки из него:

Мы утомились наконец от нечеловеческих усилий стать во чтобы то ни стало совершенством. Мы спохватились, что это невозможно, недостижимо... И нам захотелось иметь право быть несовершенными, т. е. стать равноправным членом общественной семье народов. (...)

И если дело обстоит так, если это — общий принцип, выставленный вами по отношению ко всем людям и национальностям, то меня глубоко удивляет, почему вы не сочли нужным применить его по отношению к еврейскому народу или, по крайней мере, к тем сотням тысяч «личностей», которые, исходя из разных исторических, культурных и экономических мотивов, сознательно стремятся к созданию или, вернее, восстановлению особой нации со всеми структурами, характеризующими ее. (...)

Вы этим своим взглядом явно отрицаете нашу личность как нации и естественное наше право на самоопределение. (...)

Где тот принцип свободы личности и нации, который так гордо красуется на вашем знамени?¹

Для сравнения приведем цитату из статьи Жаботинского «О национальном воспитании»:

Наша главная болезнь — самопрезрение, наша главная нужда — развить самоуважение: значит, основой нашего народного воспитания должно быть отныне самопознание. Так воспитывается на земле всякий здоровый народ, всякая нормальная личность².

Итак, ход мыслей «еврея-сиониста» Г. не только совпадает с идеологической системой Жаботинского, но и прямо продолжает ее. Мы не претендуем на исчерпывающий анализ темы Кишиневского погрома, еврейской самообороны, а также реакции на эти события П. Струве и читателей «Освобождения», в том числе сиониста Г. — это предмет отдельного исследования. Ограничимся тем, что связано с атрибуцией письма.

На еврейской стороне главным подтверждением «еврейской трусости» во время Кишиневской резни можно считать поэму Хаима Бялика «Бе-ир ха-харега» (Сказание о погроме)³.

¹ Г. Открытое письмо в редакцию... ПССЖ. Т. 3. С. 732, 744, 735.

² Жаботинский В. О национальном воспитании // Одесские новости. 1903. 2 нояб. (также: ПССЖ. Т. 3. С. 560).

³ Жаботинский В. Х. Н. Бялик. Предисловие к русскому переводу поэмы «Сказание о Немирове» // Еврейская жизнь. 1904. Ноябрь. № 11.

Первый вариант русского перевода под названием «Сказание о Немирове» Жаботинский напечатал в 1904 году. Для того чтобы отчетливее выразить его позицию в этом вопросе и дать желающим возможность сравнить ее с позицией Г., приведем цитату из более позднего варианта предисловия:

Смутное чувство. Сложное, непонятное, овладело при вести о Кишиневе всеми еврейскими сердцами в огромной России. Это не было просто чувство горя. В глубине этого чувства таилось еще что-то, жгучее, мучительное, что-то такое, из-за чего почти забывалась самая скорбь — и чего никто все же не мог назвать. Тогда Бялик бросил в лицо своим обещанным братьям «Сказание о погроме» и открыл им, что это за чувство, имени которого они не знают. Это был — позор. Более чем день траура, то был день срама: вот основная мысль этого удара молнии в форме поэмы. Она в художественном смысле далеко не лучшая у Бялика (...) Но это — одно из тех редких литературных произведений, которые кладут печать на свою эпоху. Бялик нашел слово, которого недоставало, и это слово совершило чудеса. Историческая дата Кишинева имеет двойной смысл: это, с одной стороны, полное выражение, полное воплощение всего приниженного и пассивного, что скопилось в еврейской душе, — но в то же время это и отправная точка новой эры. С этого момента идея национальной самодеятельности из кабинетной или, в лучшем случае, подпольной окончательно становится всенародной. Позор Кишинева был последним позором¹.

Как видим, Жаботинский использует материалы развернувшейся на страницах «Освобождения» полемики о «еврейской трусости». И это при жизни активно работающего Струве! Не будь Г. и Жаботинский одним лицом, такое «заимствование» не могло пройти без скандала. Особенно в 1913 году, когда «Фельетоны» громко напомнили о «чириковском инциденте» и национальном вопросе вообще.

Сам уровень разговора исключает неоговоренное использование Жаботинским идей, образов и мыслей, изложенных «евреем-сионистом» Г. в журнале Струве. Отсюда ясно, что никто, кроме Жаботинского, не мог быть этим загадочным Г.

¹ Бялик Х. Н. Песни и поэмы. Авториз. пер. с евр. и введ. Вл. Жаботинского. Изд. 3-е. СПб., 1914. С. 37, 43.

В противном случае, понадобилось бы найти в окружении П. Струве достаточно известного к 1903 году сиониста, который участвовал наравне с Жаботинским в еврейской жизни и деятельности РСДРП и кадетской партии, но до сих пор не ведом историкам сионизма и революционного движения в России.

Леонид Кацис

(Москва)

ПРИМЕЧАНИЯ

ВСКОЛЬЗЬ

С. 15. *Маразли* Григорий Григорьевич (1831–1907) — миллионер, видный меценат, городской голова Одессы (1878–1895).

Ашкинази (Ашкенази) Зигфрид Евгеньевич (1873–?) — одесский банкир, владелец торгового дома «Моисей Ашкенази», меценат.

...*обоим господам Бродским, которые в Киеве* — имеются в виду сахаропромышленники и филантропы братья Бродские, Лазарь Израилевич (1848–1904) и Лев Израилевич.

Кузнецов Николай Дмитриевич (1850–1929) — рус. художник-передвижник, академик живописи (с 1895), один из основателей Товарищества южнорус. художников (см. примеч. к с. 632).

С. 16. ...*свадебный зал Двойриса*... — один из одесских танцзалов, располагавшийся на первом этаже доходного дома Б. Двойрис по адресу: Малая Арнаутская, 62.

Митяй (*Гольдштейн* Марк Михайлович) — рус. драматург.

Писаревский (Шрайбер) Борис Ефимович (ок. 1858–1936) — рус. драматург и журналист.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 19. *Д'Аннунцио* Габриеле (1863–1938) — итал. прозаик, поэт, драматург и полит. деятель.

...*сжег все, чему поклонялся, / Поклонился всему, что сжигал* — стихотворная цитата из романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1859).

AMOUREUSE TRINITE'

Впервые опубликовано в «Одесских новостях» под заголовком «Amogosa trinita» (итал. вариант того же названия). Для сборника «В студенческой богеме» (Одесса, 1903) текст был незначительно сокращен автором.

С. 21. *Борго* — квартал Рима.

Тоска (1900) — опера Дж. Пуччини (1858–1924).

Кардуччи Джозуэ (1835–1907) — итал. поэт и литературовед; лауреат Нобелевской премии по литературе (1906).

Пинчо — холм в Риме.

С. 22. *Ницше* Фридрих (1844–1900) — нем. философ.

Д'Аннунцио — см. примеч. к с. 19.

Стриндберг Юхан Август (1849–1912) — швед. прозаик и драматург.

Гур — Жип (наст. имя Сибиль Габриэль Мари Антуанет де Рикети де Мирабо, графиня де Мартель де Жанвиль; 1849–1932), фр. писательница, автор многочисл. «женских» романов, одна из вдохновительниц антисемитской кампании во время «дела Дрейфуса» (см. примеч. к с. 113).

Цитра — щипковый муз. инструмент.

С. 25. *...деликатесы Робина...* — имеется в виду одесская кондитерская Робина.

«Вий», «Майская ночь» — повести Н. В. Гоголя.

«Мила и Ноли» — сказка рус. детского писателя Н. П. Вагнера (1829–1907) из пользовавшегося значит. популярностью сборника «Сказки Кота-Мурлыки».

ВСКОЛЬЗЬ

С. 28. *Не рыдай так безумно над ним, / Хорошо умереть молодым...* — цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Не рыдай так безумно над ним...» (1868), написанного на смерть Д. И. Писарева.

«Одесский листок» (1873–1920) — ежедн. газета; Жаботинский был ее корреспондентом в Берне и Риме (1898–1900).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 32. *Лойола* Игнатий (ок. 1491–1556) — исп. дворянин, основатель Общества Иисуса (ордена иезуитов).

С. 33. *Лоэнгрин* (Герцо-Виноградский Петр Титович; 1867–1929) — рус. писатель, муз. критик, драматург; сотрудник газеты «Южное обозрение», впоследствии — редактор «Одесских новостей» (1907–1911).

Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910) — рус. лит. критик либерально-народнического направления.

«Дети Ванюшина» (1901) — пьеса С. А. Найденова (см. примеч. к с. 209).

«В тумане» (1902) — рассказ Л. Н. Андреева (1871–1919).

Мазаракый Андрей Валерианович (1853–?) — скрипач, муз. критик, редактор-издатель еженедельной газеты «Сцена и музыка» (Одесса, 1903–1905).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 34. *Шафров* — кронштадтский полицмейстер, подполковник. На судебном процессе, начавшемся в Петербурге в январе 1903 г., обвинялся в крупномасштабной коррупции (поборах с приставов и содержательниц публичных домов, торговле новыми вакансиями, присвоении казенных средств). Был приговорен к двум годам тюрьмы.

ВСКОЛЬЗЬ. О национализме

С. 37. «Отечество» (СПб., 1903–1904) — ежедн. газета.

С. 39. «*Ни звука нового, ни нового лица: такой же толк у дам, такие же наряды...*» — искаженная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

ВСКОЛЬЗЬ

С. 43. *...загача для обществ Святой Магдалины* — речь идет о т. наз. убежищах Святой Магдалины — приютах, действовавших в России с 1860-х годов и занимавшихся социальной реабилитацией проституток.

ВСКОЛЬЗЬ. Пятый акт «Монны Ванны»

С. 44. «*Монна Ванна*» (1902) — историческая драма бельгийского драматурга М. Метерлинка (1862–1949).

С. 46. *Сольнес* — гл. герой пьесы Г. Ибсена «Строитель Сольнес» (1892).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 50. *Антокольский* Марк Матвеевич (1843–1902) — рус. скульптор, академик (с 1871).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 53. *«Южное обозрение»* (Одесса, 1896–1906) — ежедн. газета.

А. И. — псевдоним Александра (Арона) Соломоновича Изгоева (Ланде; 1872–1935), рус. публициста, историка, обществ. деятеля.

Литературно-художественное общество (1897–1919) — одесская обществ. организация, «посвященная искусству и интересам его любителей». Жаботинский был действительным членом этого общества (с 1902).

Чуковский Корней Иванович (1882–1969) — рус. поэт, публицист, критик, литературовед и переводчик.

«Проблемы идеализма» (1902) — сб. статей 12 авторов, выход которого был связан с началом полит. организации рус. либерализма. Особое обществ. значение сборнику придало участие в нем легальных марксистов, недавних социал-демократов Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П. Б. Струве.

С. 57. *Евгений Николаевич Трубецкой* (1863–1920) — рус. религ. философ, правовед, публицист, обществ. деятель. В сб. «Проблемы идеализма» опубликовал статью «К характеристике учения Маркса и Энгельса о значении идей в истории».

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — рус. экономист, философ, теолог. От марксизма перешел к религ. философии, а затем к правосл. богословию. В сб. «Проблемы идеализма» опубликовал статью «Основные проблемы теории прогресса».

П. Г. — псевдоним Петра Бернгардовича Струве (1870–1944), рус. философа, экономиста, публициста, полит. деятеля. В сб. «Проблемы идеализма» опубликовал статью «К характеристике нашего философского развития».

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — рус. религ. философ. От марксизма перешел к философии личности и свободы в духе религ. экзистенциализма и персонализма. В сб. «Проблемы идеализма» опубликовал статью «Этическая проблема в свете философского идеализма».

ВСКОЛЬЗЬ

С. 58. *Изгоев* — см. примеч. к с. 53.

...заметка (где говорилось о «малоосмысленном перебрасывании» всякими «измами»)... — см. об этом в статье «Вскользь» («Одесские новости» 9.02.1903).

С. 59. П. Г. — см. примеч. к с. 57.

С. 60. *Бердяев* — см. примеч. к с. 57.

Булгаков — см. примеч. к с. 57.

С. 61. *Новгородцев* Павел Иванович (1866–1924) — рус. правовед, философ, обществ. деятель, депутат 1-й Гос. думы.

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — рус. публицист, социолог, лит. критик, идеолог народничества.

С. 62. *Московское психологическое общество* (1885–1922) — научная организация, учрежденная при философском факультете Московского университета.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 63. *Берленги* Ливия (1875–?) — итал. оперная певица (сопрано).

С. 64. «*Заза*» (1900) — опера Р. Леонкавалло (1857–1919).

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864–1910) — рус. драм. актриса, играла в Александринском театре в Петербурге, основала собств. театр (1904).

«*Манон Леско*» (1893) — опера Дж. Пуччини (1858–1924) по одноименному роману аббата Прево.

С. 65. *Д'Арнейро* Мари — итал. оперная певица (сопрано).

Пасхалова Анна Александровна (1867–1944) — рус. драм. актриса, играла в Александринском театре в Петербурге, а также в театрах Одессы, Харькова, Киева и др. городов.

С. 66. «*Вольнь*» (Житомир, 1879–1917) — еженд. газета.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 66. *Изгоев* — см. примеч. к с. 53.

С. 67. *Михайловский* — см. примеч. к с. 61.

Бердяев — см. примеч. к с. 57.

Булгаков — см. примеч. к с. 57.

П. Г. — см. примеч. к с. 57.

С. 68. «*Десница и шуйца* Льва Толстого» (1875–1877) — цикл статей Н. К. Михайловского.

Гюйо Жан-Мари (1854–1888) — фр. философ.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 68. *Валле* Эрнест (1845–1920) — фр. адвокат и полит. деятель, министр юстиции Франции (1902–1905).

...несуществующие лица (намек на Крауфоргов)... — речь идет о т. наз. деле Эмберов, одном из крупнейших мошенничеств в истории Франции. Супруги Эмберы в течение 20 лет судились с несуществующими «братьями Крауфорд» по вопросу о завещании их дяди, также несуществующего амер. миллионера, и получали громадные займы под гарантию будущего наследства. Афера вскрылась весной 1902 г.

С. 69. *Мейсонье* Жан-Луи Эрнест (1815–1891) — фр. живописец, график и скульптор.

С. 71. *Андреевский* Сергей Аркадьевич (1847–1919) — рус. поэт, лит. критик, юрист.

Лубковская Мария Мечиславовна (1858–1934) — рус. оперная певица (сопрано), педагог, антрепренер; руководила Итал. оперой в Одессе (1898–1905).

С. 72. *Дюкова* Александра Николаевна — антрепренер, владелица харьковского театра.

Пасхалова — см. примеч. к с. 65.

Соколовский Александр Николаевич — рус. драм. актер, режиссер, антрепренер; в течение нескольких лет — гл. режиссер харьковской драм. труппы.

...супруга Л. Н. Толстого высказалась в том смысле, что произведения Л. Андреева действуют на публику развращающе — речь идет о письме С. А. Толстой (1844–1919) в редакцию газеты «Новое время» (7.02.1903), следствием которого стала бурная дискуссия в рус. печати о творчестве Л. Н. Андреева.

С. 73. *Бодлер Шарль* (1821–1867) — фр. поэт. Его первый сборник «Цветы зла» (1857) шокировал публику и вызвал обвинения в оскорблении морали.

Lex Heinze — закон Гейнце, принятый германским рейхстагом (1900), способствовал усилению адм. произвола в печати и искусстве под предлогом борьбы с аморальными явлениями.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 76. ...по поводу *Л. Ангреева и графини Толстой...* — см. примеч. к с. 72.

«*Одна за многих*» (1902) — книга нем. писательницы и искусствоведа Бетти Крис (псевдоним Вера; в замужестве Курт; 1878–1948).

Поп Сильвестр — рус. полит. и лит. деятель XVI в., священник Благовещенского собора в Москве.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 80. *Бендеры* — уездный город Бессарабской губ.

С. 82. *Голта* — село Ананьевского уезда Херсонской губ.

Змиев — уездный город Харьковской губ.

Теофиполь — местечко Староконстантиновского уезда Волынской губ.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 82. ...об *Ангрееве и гр. Толстой...* — см. примеч. к с. 72.

«*Образование*» (СПб., 1892–1909) — лит. и обществ.-полит. журнал.

С. 83. «*Монна Ванна*» — см. примеч. к с. 44.

Знакомый — псевдоним, под которым вел рубрику «Отклики» в газете «Одесский листок» рус. журналист Абрам Евгеньевич Кауфман (1855–1921).

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921) — рус. прозаик, драматург, журналист.

Чириков Евгений Николаевич (1864–1932) — рус. прозаик, драматург, публицист.

Шапир Ольга Андреевна (1850–1916) — рус. писательница, идеолог феминизма.

С. 84. *Первухин Михаил Константинович* (1870–1929) — рус. прозаик, журналист; редактировал ялтинскую газету «Крымский курьер» (1900–1906).

Дорошевич Влас Михайлович (1865–1922) — рус. журналист, публицист, театральный критик.

ВСКОЛЬЗЬ. Лидочкины софизмы

С. 86. «*Одна за всех*» — должно быть «Одна за многих» (см. примеч. к с. 76).

Иосиф Прекрасный — согласно Библии, Иосиф был заточен в тюрьму по наговору жены своего хозяина, с которой не захотел разделить ложа.

С. 89. *Марсель Прево* (1862–1941) — фр. писатель, автор любовно-психологических романов.

РУССКИЙ ТЕАТР. «Монна Джiovанна» Метерлинка

С. 90. «*Монна Джiovанна*» — пьеса «Монна Ванна» М. Метерлинка в рус. стихотворном переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник.

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874–1952) — рус. писательница и переводчица.

С. 91. *Яворская* Лидия Борисовна (1871–1921) — рус. драм. актриса; играла в моск. театре Корша (1893–1895) и в петербург. Суворинском театре (1895–1900); затем основала в Петербурге собств. Новый театр (1901–1906).

Баратов (Бренер) Павел Григорьевич — рус. драм. актер; после эмиграции (1922) выступал в театре и кино на идише под именем Бен-Цви Баратов.

Семенов-Самарский (Розенберг) Семен Яковлевич (?–1911) — рус. оперный певец (бас-баритон), драм. актер, режиссер, антрепренер.

Романовский Александр Ефимович (?–1911) — рус. драм. актер. «*Магмуазель Фифи*» (1882) — новелла Ги де Мопассана.

ВСКОЛЬЗЬ. Публика о Леониде Андрееве

С. 92. *...о письме графини Толстой...* — см. примеч. к с. 72.

ВСКОЛЬЗЬ. Публика о Леониде Андрееве

С. 98. *...такой защите, с какой выступили гр. Толстая...* — см. примеч. к с. 72.

Буренин Виктор Петрович (1841–1926) — рус. лит. критик, публицист, поэт-сатирик; вел еженедельную рубрику «Критические очерки» в газете «Новое время» (см. примеч. к с. 150). Его грубые нападки на Л. Н. Андреева (31.01.1903) послужили началом бурной полемики в рус. печати вокруг творчества писателя.

С. 100. *Lex Heinze* — см. примеч. к с. 73.

С. 101. *Эграт* Аллан *По* (1809–1849) — амер. прозаик, поэт, лит. критик.

ВСКОЛЬЗЬ. О фальцете

С. 105. *Яворская* — см. примеч. к с. 91.

С. 107. «*Монна Джiovанна*» — см. примеч. к с. 90.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 110. *...насколько можно судить по напечатанному вчера у нас реферату...* — речь идет о статье в «Одесских новостях», освещавшей судебный процесс по иску врача М. К. Кондорского к редактору-издателю херсонской газеты «Юг» В. И. Гошкевичу (Гашкевичу; 1860–1928).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 113. *Дрейфус* Альфред (1859–1935) — офицер фр. генштаба, еврей, герой знаменитого процесса («дело Дрейфуса»). По ложному обвинению в шпионаже был осужден к пожизненному заключению (1894), но позже помилован (1900), а затем и полностью оправдан (1906).

Фигнер Николай Николаевич (1857–1918) — рус. оперный певец (тенор).

С. 114. *Левицкий* (Левитский) Николай Васильевич (1859–?) — присяж. поверенный, обществ. деятель, литератор; получил известность как организатор сельскохозяйственных артелей в селах, а также профессиональных и ремесленных артелей в городах («артельный батка»).

Теофраст Ренодо — псевдоним журналиста И. И. Дмитриева, публиковавшего в «Одесских новостях» корреспонденции из Парижа.

Рахумовский (Рухомовский) Израиль (1860–1934) — одесский ювелир. После признания в авторстве золотой тиары, выставленной в Лувре (1903), переехал в Париж и получил всемирную известность.

Бенвенуто Челлини (1500–1571) — итал. скульптор, ювелир, живописец, музыкант эпохи Возрождения.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 115. *Элеонора Дузе* (1858–1924) — итал. актриса, получившая всемирное признание. Успешно гастролировала в России (1891–1892, 1908).

Яворская — см. примеч. к с. 91.

С. 116. *Литературно-художественное общество* — см. примеч. к с. 53.

Молдаванка — рабочее предместье Одессы, где размещались промышленные предприятия и проживали их работники.

ВСКОЛЬЗЬ. Читатель о «На дне»

С. 118. *Богомолец* Антон Антонович (1873–?) — одесский присяж. поверенный, автор брошюры «К характеристике новых течений в области русской мысли. М. Горький и его "На дне". "Мысль" Л. Андреева» (Одесса, 1903).

Лифшиц Григорий Григорьевич (псевд. Гершон-бен-Гершон; 1854–1921?) — писатель, публицист, сотрудник петербургских русско-еврейских изданий 1880-х годов; позже отошел от лит. деятельности, переехал в Одессу, занимался предпринимательством.

С. 119. *Литературно-художественный клуб* — то же, что Литературно-художественное общество (см. примеч. к с. 53).

Львов — псевдоним, под которым публиковался в «Одесских новостях» литературовед Василий Львович Львов-Рогачевский (1874–1930).

С. 120. *Господа! Если к правде святой... Человечеству сон золотой* — цитата из стихотворения «Безумцы» П. Ж. Беранже (1780–1857) в переводе (1862) В. С. Курочкина (1831–1875).

Бальзак Оноре де (1799–1850) — фр. писатель.

Леопарди Джакомо (1798–1837) — итал. романтический поэт, мыслитель-моралист.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 121. *Федоров* Александр Митрофанович (1868–1949) — рус. поэт, драматург, прозаик.

«Журнал для всех» (СПб., 1895–1906) — ежемес. иллюстрир. лит. журнал.

С. 124. *Ага Негри* (1870–1945) — итал. поэтесса.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 125. *«Южное обозрение»* — см. примеч. к с. 53.

Гудван Абрам Моисеевич (1873–?) — рус. журналист, историк, обществ. деятель; редактировал газету «Приказчик юга России» (Одесса, 1906–1907).

ПЕРЕДОМ ЖУРНАЛИСТИКИ

С. 128. *Литературно-художественный клуб* — то же, что Литературно-художественное общество (см. примеч. к с. 53).

С. 131. *Скабичевский* — см. примеч. к с. 53.

Волынский (Флексер) Аким Львович (1863–1926) — рус. лит. критик и искусствовед.

С. 132. «*Северный вестник*» (СПб., 1885–1898) — ежемес. лит.-науч. и обществ.-полит. журнал; первоначально — либерально-народнического направления; после того как фактич. редактором стал А. Л. Волынский (1891), превратился в орган декадентов.

С. 136. *Боккаччо* Джованни (1313–1375) — итал. писатель, представитель литературы эпохи раннего Возрождения; гл. произведение — «Декамерон» (1350–1353, опубликовано в 1470).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 140. *Навроцкий* Василий Васильевич (1851–1911) — редактор-издатель газеты «Одесский листок». Учредил приют для престарелых и неспособных к труду тружеников печатного слова юга России (1898).

С. 142. *Лоэнгрин* — см. примеч. к с. 33.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 143. *А. М. Фегоров* — см. примеч. к с. 121.

Оболенский Леонид Егорович (1845–1906) — рус. прозаик, поэт, философ, публицист, критик, издатель.

Минский (Виленкин) Николай Максимович (1856–1937) — рус. поэт, теоретик искусства, публицист, переводчик.

Фофанов Константин Михайлович (1862–1911) — рус. поэт.

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) — рус. поэт-символист, переводчик, эссеист.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — рус. прозаик, поэт, критик, историк, религ. философ, обществ. деятель; один из основателей рус. символизма.

С. 144. *Гиппиус* Зинаида Николаевна (1869–1945) — рус. поэтесса, прозаик, драматург и лит. критик; идеолог символизма.

Лохвицкая Мирра (Мария Александровна; 1869–1905) — рус. поэтесса.

Всю неделю толковали об орфографии... — поводом для обсуждения послужили доклады об упрощении орфографии, прочитанные в Историко-филологическом обществе при Новороссийском университете.

С. 145. *Дорошевич* — см. примеч. к с. 84.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 145. *Знакомый* — см. примеч. к с. 83.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 150. «*Русский Туркестан*» (Ташкент, 1899–1911) — ежедн. газета. «*Новое время*» (СПб., 1868–1917) — одна из крупнейших ежедн. рус. газет; первоначально либерального направления; в начале XX в. имела устойчивую репутацию реакционной и антисемитской.

С. 151. «*Фармацевтический вестник*» (М., 1897–1907) — журнал, издававшийся Рос. фармацевтическим обществом взаимного вспоможения.

«*Южное обозрение*» — см. примеч. к с. 53.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 152. *Знакомый* — см. примеч. к с. 83.

С. 154. *Марго* Давид Давидович (1823–1872) — педагог, преподавал фр. язык в Петербурге; автор выдержавшего множество изданий учебника фр. языка.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 157. *Сиг* — псевдоним сотрудника «Одесских новостей» Семена (Самуила) Израилевича Гольдельмана (ок. 1882–1907).

ВСКОЛЬЗЬ. Сплетня по пунктам

С. 162. *Знакомый* — см. примеч. к с. 83.

Лознгрин — см. примеч. к с. 33.

С. 166. *Аристиг* — афинский гос. деятель, прозванный «справедливым».

«*Киевская газета*» (1899–1905) — ежедн. газета.

«*Одесский листок*» — см. примеч. к с. 28.

С. 167. *Финн* (Гермониус Аксель Карлович; 1860–1912) — рус. журналист; редактор «Петербургской газеты» (1888–1893), позже — сотрудник «Одесского листка».

...*о винной лавке Британова...* — речь идет об одесском магазине «Крымские вина собственных садов» на Дерибасовской, 14, принадлежавшем Г. Британову.

Будилин (Веккер Борис Давидович; 1879–?) — рус. журналист, сотрудник «Одесского листка».

...*о съестной лавке Дубинина...* — имеется в виду Торгово-промышленное товарищество «А. К. Дубинин», владевшее несколькими гастрономическими магазинами в Одессе.

...*о ресторане Корони...* — одесский ресторан с летними верандами, открытый купцом Н. Корони в Александровском парке (после революции Центр. парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко), в непосредственной близости от пляжа Ланжерон.

...*Христос... однажды схватил плетью* — намек на евангельский рассказ об изгнании торгующих из храма.

ВСКОЛЬЗЬ. Апокриф

С. 178. *Амалек* — описываемое в Библии племя кочевников, враждовавшее с израильтянами. Слово «Амалек» стало именем нарицательным как обозначение злейших врагов еврейского народа.

ВСКОЛЬЗЬ. Эрмете Новелли

С. 178. *Эрмете Новелли* (1851–1919) — итал. актер.

С. 179. *Томмазо Сальвини* (1829–1915) — выдающ. итал. трагик.

Элеонора Дузе — см. примеч. к с. 115.

...*молодой Сальвини...* — Густаво Сальвини (1859–1930), итал. актер; сын Томмазо Сальвини.

Дзаккони Эрмете (1857–1948) — итал. актер.

Комиссаржевская — см. примеч. к с. 64.

Клерхен — героиня пьесы нем. драматурга Г. Зудермана «Гибель Содомы».

«*Семья преступника*» — название пьесы итал. драматурга П. Джакометти (1816–1882) «*La morte civile*» («Гражданская смерть»; 1861) в рус. переводе (1870) А. Н. Островского.

С. 180. *Jean Aicard* — Жан Экар (1848–1921), фр. поэт и драматург, автор пьесы «*Papa Lebonnard*» («Папа Лебоннар»; 1890).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 182. «Южное обозрение» — см. примеч. к с. 53.

Лоэнгрин — см. примеч. к с. 33.

Знакомый — см. примеч. к с. 83.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 186. *Лоэнгрин* — см. примеч. к с. 33.

С. 187. *Северский* Николай Георгиевич (1870–1941) — артист оперетты, певец (баритон), исполнитель цыганских романсов.

«*Зигзаги*» — постоянная рубрика Лоэнгрин в газете «Южное обозрение».

С. 188. *Знакомый* — см. примеч. к с. 83.

С. 191. *Эрмете Новелли* — см. примеч. к с. 178.

Джианнини Ферруччо (1868–1948) — итал. оперный певец (тенор).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 195. *Новелли* — см. примеч. к с. 178.

С. 196. *Лоэнгрин* — см. примеч. к с. 33.

Знакомый — см. примеч. к с. 83.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 196. *Корней Чуковский* — см. примеч. к с. 53.

С. 198. *Лоэнгрин* — см. примеч. к с. 33.

С. 199. «Южное обозрение» — см. примеч. к с. 53.

ГАСТРОЛИ ЭРМЕТЕ НОВЕЛЛИ. Людовик XI

С. 199. *Эрмете Новелли* — см. примеч. к с. 178.

«*Людовик XI*» (1832) — пьеса фр. поэта и драматурга К. Делавиня (1793–1843).

Томмазо Сальвини — см. примеч. к с. 179.

С. 201. *Старый Театрал* — псевдоним журналиста и театрального критика, многолетнего редактора «Одесских новостей» Израила Моисеевича Хейфеца.

ГАСТРОЛИ ЭРМЕТЕ НОВЕЛЛИ. Папа Лебоннар

С. 202. *Эрмете Новелли* — см. примеч. к с. 178.

«*Папа Лебоннар*» — см. примеч. к с. 180.

С. 203. *Ольга Джаннини* — итал. драм. актриса, жена Э. Новелли.

Саббатини Эрнесто (1881–1954) — итал. драм. актер.

Кьянтони Джаннина (1881–1972) — итал. актриса театра и кино.

Старый Театрал — см. примеч. к с. 201.

Т. Сальвини — см. примеч. к с. 179.

ВСКОЛЬЗЬ. Беседа с Эрмете Новелли

С. 204. *Эрмете Новелли* — см. примеч. к с. 178.

С. 205. *Саракко Джузеппе* (1821–1907) — итал. полит. деятель, сенатор (с 1865), премьер-министр Италии (1900–1901).

Бьянкери Джузеппе (1821–1908) — итал. полит. деятель; неоднократно избирался президентом палаты (парламента) Королевства Италия.

С. 207. *Кин* Эдмунд (1787–1833) — англ. актер, представитель романтической школы; прославился исполнением гл. ролей в трагедиях Шекспира.

«*Семья преступника*» — см. примеч. к с. 179.

С. 208. *Дзаккони* — см. примеч. к с. 179.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 209. [И] *не надейся по-пустому >...<* [Сильнее кошки зверя нет!] — цитата из басни И. А. Крылова «Мышь и Крыса» (1816).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 209. *Слово-Глаголь* — псевдоним Сергея Сергеевича Гусева (1854–1922), писателя-сатирика, журналиста, сотрудника «Одесских новостей».

Найденев Сергей Александрович (1868–1922) — рус. драматург, автор пьес, посвященных мещанскому и купеческому быту.

Дымов Осип (Перельман Иосиф Исидорович; 1878–1959) — драматург и прозаик; сотрудничал в рус. газетах и сатирических журналах (с 1900); после переезда в США (1913) писал преимущественно на идише.

С. 210. *Алеша Ванюшин* — герой пьесы С. А. Найденова «Дети Ванюшина».

ВСКОЛЬЗЬ

С. 212. *Нилус* Петр Александрович (1869–1943) — рус. живописец, худож. критик, писатель, один из основателей Товарищества южно-рус. художников (см. примеч. к с. 632).

Литературно-художественное общество — см. примеч. к с. 53.

С. 214. *Смирнов* Иван Антонович — рус. литератор, председатель одесского Литературно-художественного общества (1900–1903).

С. 215. *Фонтан* — имеются в виду Малый, Средний и Большой Фонтаны, приморские дачные местности к югу от Одессы.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 215. *Вольнский* — см. примеч. к с. 131.

«*Ширшая небес*» — иконографический тип Богоматери, держащей Младенца перед грудью.

С. 216. *Господа Оболенские* — полемическое обозначение критиков и публицистов народнического направления, олицетворением которых выступает для Жаботинского литератор Л. Е. Оболенский (см. примеч. к с. 143).

Как посравнить, да посмотреть век нынешний и век минувший... — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Грингмут Владимир Андреевич (1851–1907) — рус. полит. деятель праворадикального толка, один из основателей и идеологов черносотенного движения.

С. 217. *Свежо предание, [g]a верится с трудом...* — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Артур Шнитцлер (1862–1931) — австр. писатель.

С. 218. *Пасхалова* — см. примеч. к с. 65.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 218. *Яворская* — см. примеч. к с. 91.

«*Кавказ*» (Тифлис, 1846–1917) — ежеднев. газета.

С. 219. «*Орленок*» (1898–1899) — пьеса фр. поэта и драматурга Э. Ростана (1868–1918).

Правдин Осип Андреевич (1849–1921) — рус. драм. актер.

С. 220. *Старый Театрал* — см. примеч. к с. 201.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 220. «Кавказ» — см. примеч. к с. 218.

С. 221. «Листок» — газета «Одесский листок» (см. примеч. к с. 28).

С. 222. *Фанкони* — знаменитое одесское кафе, открытое Я. Д. Фанкони (1872) и ставшее излюбленным местом времяпрепровождения деловых людей города.

«*Neue Freie Presse*» (Вена, 1864–1938) — ежедневная газета.

НОВЫЕ КНИГИ. «История евреев» Греца

С. 223. *Грец* Генрих (1817–1891) — историк, исследователь Библии, автор первого монументального труда по всеобщей истории евреев.

Инбер Осип Абрамович — рус. журналист; публиковался в «Одесских новостях» под псевдонимом Кин.

Гибш Арон Львович — учитель Одесского казенного еврейского училища, литератор, автор-составитель религиозно-назидательных изданий на рус. языке, предназначенных для еврейских детей и юношества.

...если не я за себя, кто же за меня? — начало высказывания законоучителя Гиллея (кон. I в. до н. э. — нач. I в. н. э.): «Если не я за себя — то кто за меня? А если я только за себя — то кто я? И если не сейчас — то когда?»

ВСКОЛЬЗЬ

С. 225. ...недавно приехал один писатель... — речь идет об А. Л. Воыньском (см. примеч. к с. 131).

С. 226. *Черников* Марк Яковлевич (1837–?) — одесский врач, автор сионистских брошюр.

Эразм Роттердамский (1469–1536) — нидерланд. гуманист эпохи Возрождения, писатель, филолог, богослов.

Рейхлин Иоганн (1455–1522) — нем. гуманист, филолог, писатель, христианский гебраист.

БЕЗ ПАТРИОТИЗМА

Впервые опубликовано в журнале «Южные записки» под названием «Тоска о патриотизме». Для сборника «Недругам Сиона» (Одесса, 1903) текст был переработан и дополнен автором.

С. 233. *Стекетти* Лоренцо (1845–1916) — итал. поэт.

С. 234. *Шамиссо* Адельберт фон (1781–1838) — нем. писатель и ученый-натуралист; автор повести «Удивительная история Петера Шлемиля» (1813), краткое содержание которой пересказывает Жаботинский.

Кант Иммануил (1724–1804) — нем. философ, родоначальник нем. классического идеализма.

С. 237. *Аврора* — в греч. мифологии богиня утренней зари.

ВСКОЛЬЗЬ. Не о юбилее Петербурга

С. 238. *Вчера в Петербурге праздновали юбилей...* — речь идет о пышном праздновании 200-летия Санкт-Петербурга, центральные мероприятия которого пришлось на 16 мая 1903 г.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 242. *Ланжерон* — приморская часть Одессы в районе бывшей дачи графа А. Ф. Ланжерона.

С. 243. ...у *Корони...* — см. примеч. к с. 167.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 245. «*Что в имени тебе моем?*» — цитата из стихотворения А. С. Пушкина (1830). Герой очерка ошибочно приписывает его Лермонтову.

С. 246. *Эдисон* Томас Алва (1847–1931) — амер. изобретатель и предприниматель.

Джордано Умберто (1867–1948) — итал. композитор. Речь идет о его опере «Федора» (1898).

С. 248. *Демчинский* Николай Александрович (1851–1915) — рус. инженер, писатель, журналист; издатель журнала «Климат» (СПб., 1900–1904); автор статей о прогнозировании погоды в газете «Новое время» и др. изданиях.

С. 249. *Вахх* — в греч. мифологии одно из имен Диониса, бога растительности, вина и веселья.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 249. *Литературно-художественное общество* — см. примеч. к с. 53.

С. 250. *Баккара* — старинная азартная карточная игра.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 252. *Бикерман* Иосиф Менассиевич (1867–1942) — рус. публицист и обществ. деятель; ярый противник как сионистского движения, так и идишизма.

Гарибальди Джузеппе (1807–1882) — народный герой Италии, полководец, один из лидеров итал. нац.-освобод. движения (Рисорджименто), литератор.

Магзини Джузеппе (1805–1872) — итал. революционер, полит. оратор, публицист и критик; один из лидеров Рисорджименто.

Risorgimento — Рисорджименто (букв.: «возрождение») — движение итал. народа за нац. освобождение и объединение страны; завершилось образованием единого итал. государства (1870).

Камилло Бенсо Кавур (1810–1861) — итал. гос. деятель, один из лидеров Рисорджименто.

С. 253. *...чтобы добиться для евреев Палестины, нужна не воинская сила, а только деньги и согласие султана...* — в течение четырех столетий (1516–1917) Палестина находилась под властью Османской империи.

Герцль Теодор (Биньямин Зеев; 1860–1904) — австр. журналист, основатель полит. сионизма и Сионистской организации.

НАЦИОНАЛИЗМ И ПРОГРЕСС. По поводу одной книги и одной брошюры

С. 257. *Великовский* Семен (Шимон; 1860–1937) — московский купец 1-й гильдии, деятель сионистского движения; отец амер. ученого Иммануэля Великовского.

Сапир Иосиф Борисович (1869–1935) — деятель сионистского движения, литератор; автор многочисл. сионистских брошюр, издатель журналов «Кадима» и «Еврейская мысль» (Одесса, 1906).

С. 258. *IV конгресс сионистов* (13–16 августа 1900 г.) — состоялся в Лондоне под председательством Т. Герцля.

Гёфдинг Харальд (1843–1931) — датский психолог и философ.

С. 259. *Корней Чуковский* — см. примеч. к с. 53.

«Южные записки» (Одесса, 1902–1905) — еженед. обществ.-полит. и лит. журнал.

Бен-Иегуга (Перельман) Элизер (1858–1922) — деятель сионистского движения, филолог, педагог, журналист; пионер возрождения иврита в качестве разговорного языка.

...навеяны известными событиями 1878 года... — речь идет о завершении русско-турецкой войны (1877–1878) и освобождении балкан. народов от османского ига.

Пинскер Леон (Лев Семенович; 1821–1891) — одесский врач, публицист, признанный лидер палестинофил. движения в России. В своей брошюре на нем. языке «Автоэмансипация» (Берлин, 1882) во многом предвосхитил идеи полит. сионизма Т. Герцля.

Лиlienблум Мойше-Лейб (1843–1910) — еврейский писатель и публицист, один из лидеров палестинофил. движения; писал преимущественно на иврите.

Генрих Закс (1863–1928) — нем. врач-невролог.

Sig — см. примеч. к с. 157.

Паволакй (Павел Александрович) *Крушеван* (1860–1909) — рус. публицист праворадикального толка, активный черносотенец. Считалось, что Кишиневский погром (1903) был отчасти спровоцирован статьями в антисемитской газете «Бессарабец», издававшейся Крушеваном.

Вознесенский (Бродский) Александр Сергеевич (1880–1939) — рус. журналист, драматург, переводчик, лит. критик; сотрудник «Одесских новостей» (с 1902); после революции — деятель кино; репрессирован, умер в заключении.

С. 260. *Ульрих фон Гуттен* (1488–1523) — нем. гуманист, писатель и полит. деятель.

Джузеппе Джусти (1809–1850) — итал. поэт-сатирик.

Гарибальди — см. примеч. к с. 252.

Кошут Лайош (1802–1894) — венг. адвокат, полит. деятель; премьер-министр и правитель-президент Венгрии в период революции (1848–1849).

Петёфи Шандор (1823–1849) — венг. поэт; один из руководителей революции в Венгрии (1848–1849).

С. 261. *Делчев* Гоце (1872–1903) — идеолог и организатор нац.-освобод. движения в Македонии; погиб в столкновении с турецким отрядом.

Маккавеи — вожди народного восстания (II в. до н. э.), освободившего Иудею от чужеземного ига.

Агинальдо Эмилио (1869–1964) — филиппинский полит. деятель; участник антииспанского освободит. восстания (1896–1898), первый президент Филиппин (1897–1901).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 263. *Агасфер* (Вечный жид) — персонаж средневековых христианских легенд — еврей, который отказал Иисусу в помощи, за что был осужден на скитания вплоть до второго пришествия и вечное презрение со стороны людей.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 264. *Кондици* (устар.) — временное пребывание где-либо в качестве домашнего учителя, репетитора.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 275. *Уайльг* Оскар (1854–1900) — англ. поэт, прозаик, драматург и критик; свои эстетические взгляды наиболее ярко выразил в эссе «Decay of Lying» («Упадок искусства лжи»; 1889).

Д'Аннунцио — см. примеч. к с. 19.

Мережковский — см. примеч. к с. 143.

Бальмонт — см. примеч. к с. 143.

Гиппиус — см. примеч. к с. 144.

КАДИМАН

Впервые опубликовано в журнале «Южные записки». Окончательная версия текста в сборнике «Недругам Сиона» (Одесса, 1903) включает небольшой фрагмент из статьи «Национализм и прогресс» (см. с. 257–261).

С. 276. *Есть многое на свете, друг Горацио, что [и] не снилось нашим мудрецам...* — цитата из трагедии «Гамлет» У. Шекспира в переводе (1828) М. П. Вронченко.

«Если тебе скажут: я старался, но не достиг цели, — то не верь» — цитата из талмудического трактата «Мегила».

С. 279. *Сефараг* — обозначение Испании в средневековой еврейской литературе.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 281. *...известная картина Филдеса...* — картина «Доктор» (1891) англ. художника Люка Филдеса (1843–1927).

С. 283. *Легантини* Евангелий Иванович — сын крупного одесского хлебного экспортера и домовладельца, утонувший во время гонки яхт.

С. 284. *Молдаванка* — см. примеч. к с. 116.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 284. *Сибиряков* Александр Илиодорович (1868–1937) — оперный певец (тенор), режиссер, антрепренер. На свои средства построил в Одессе театр (театр Сибирякова, открыт 16.10.1903).

Вольнский — см. примеч. к с. 131.

С. 286. *...Познань. Есть такая страна...* — имеется в виду Великое княжество Познаньское (прусская провинция Позен), польское население которого подвергалось насильственной германизации.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 288. *Белла Горская* — чешская драм. актриса; до Первой мировой войны выступала на рус. сцене; впоследствии оставила заметный след в чехословацком кинематографе.

С. 289. *Яворская* — см. примеч. к с. 91.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 296. *Трусоват был Ваня бедный...* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Вурдалак» (1834).

ВСКОЛЬЗЬ. О. ПЕТРОВ И НИЦШЕ

С. 297. *Петров* Григорий Спиридонович (1868–1925) — священник, публицист и проповедник.

Корреджио (1494–1534) — итал. живописец.

С. 298. *Владимир* Сергеевич *Соловьев* (1853–1900) — рус. философ, богослов, поэт, публицист, лит. критик.

С. 300. *Майя и Ульфгейм* — герои пьесы Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1899).

ВСКОЛЬЗЬ. Виктория Павловна

С. 302. *Амфитеатров* Александр Валентинович (1862–1938) — рус. прозаик, драматург, публицист, лит. и театральный критик.

С. 303. *«Власть тьмы»* (1886) — пьеса Л. Н. Толстого.

Мессалина — жена римского императора Клавдия, известная своим распутством.

С. 306. *Субура* — в античности район Рима с большим количеством притонов.

С. 307. *...не через законы Гейнце...* — см. примеч. к с. 73.

ВСКОЛЬЗЬ. Пустая страница

С. 310. *Лев XIII* (до интронизации — Винченцо Джоакино Рафаэль Луиджи Печчи; 1810–1903) — римский папа (1878–1903).

С. 311. *Пий IX* (1792–1878) — римский папа (1846–1878).

С. 313. *Ромоло Мурри* (1870–1944) — итал. полит. деятель, идеолог христианско-демокр. движения.

С. 314. *Индекс запрещенных книг* — официальный перечень сочинений, чтение которых католическая церковь запрещала верующим под угрозой отлучения.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 316. *Средний Фонтан* — см. примеч. к с. 215.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 320 *Аксаков* Александр Петрович (1850–1917) — рус. публицист; разрабатывал теорию исправления преступников.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 326 *Герцо-Виноградский* Семен Титович (псевдоним Барон Икс; 1848–1903) — рус. журналист, сотрудник газеты «Одесский листок».

С. 327. *Эльман* Миша (Михаил Саулович; 1891–1967) — скрипач, выдающийся представитель скрипичного искусства XX в.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 329. *Педель* — здесь: надзиратель за гимназистами.

С. 330. *Ланжерон* — см. примеч. к с. 242.

...теперешний министр народного просвещения установил семь свободных от учения так называемых зенгеровских дней... — в 1902–1904 гг. министром просвещения был Г. Э. Зенгер (1853–1919).

С. 331. *«Жизнь за царя»* (другое название — «Иван Сусанин»; 1836) — опера М. И. Глинки.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 332. *Н. Георгиевич* — псевдоним рус. писателя и журналиста Николая Георгиевича Шебуева (1874–1937), впоследствии получившего известность в качестве издателя иллюстрир. сатирического журнала «Пулемет» (1905–1906).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 342. *Били вас палками, розгами, кнутьями — / Будете биты железными прутьями!* — цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Легодэ (Легоде) Раймон — бельгийский инженер и предприниматель, был директором акционерного общества «Одесская конно-железная дорога»; открыл первую линию электр. трамвая в Одессе (1910).

Камбье Эмиль — бельгийский предприниматель, первый директор акционерного общества «Одесская конно-железная дорога», предшественник Р. Легодэ.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 343. *Любовь* Львовна *Дризо* — педагог; руководила летней колонией для девочек, основанной одесским отделением Общества распространения просвещения между евреями в России (1896).

С. 345. *Коробочный сбор* — налог, взимавшийся в еврейских общинах в основном с продажи кошерного мяса и расходованный на внутриобщинные (содержание синагог и школ, поддержка благотворительных организаций) и общегородские нужды.

Общество распространения просвещения между евреями в России (ОПЕ; 1863–1929) — крупнейшая культурно-просветительская организация российского еврейства.

Маразли — см. примеч. к с. 15.

Кранцфельд Моисей Осипович (Иосифович; 1858–?) — одесский санитарный врач; основал противотуберкулезный и оздоровительный санаторий «для беднейших еврейских детей» (1901).

С. 346. *Фребелевское общество* в Петербурге (1871–1917) — общество содействия первоначальному воспитанию детей; названо по имени нем. педагога Ф. Фребеля.

Молдаванка — см. примеч. к с. 116.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 353. «*Одесский листок*» — см. примеч. к с. 28.

«*Доктор Штокман*» («Враг народа», 1882) — пьеса Г. Ибсена.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 355. «*Fliegende Blätter*» («Летучие листки»; Мюнхен, 1845–1925) — еженед. нем. сатирический журнал.

Демчинский — см. примеч. к с. 248.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 357. ...«*новый фараон, который не знал Иосифа*»... — цитата из библейской книги «Исход».

Таска-Ланца Джузеппе (1849–1917) — итал. полит. деятель, синдик (мэр) Палермо (1901–1903, 1906–1907).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 359. «*Монна Ванна*» — см. примеч. к с. 44.

С. 360. «*Жуазель*» (1903), «*Пеллеас и Мелизанда*» (1893), «*L'intérieur*» («Там внутри»; 1894) — пьесы М. Метерлинка.

С. 361. «*Бедный Генрих*» (1902) — пьеса Г. Гауптмана.

Гауптман Герхард (1862–1946) — нем. драматург; лауреат Нобелевской премии по литературе (1912).

Мир устанет от слез... очи, полные скорбной мольбой! — неточная цитата из стихотворения С. Надсона «Друг мой, брат мой...» (1880).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 363. *Закушняк* Александр Яковлевич (1879–1930) — рус. драм. актер, чтец; положил начало новой форме лит.-эстрадных выступлений («вечера рассказа»).

С. 364. *Боборыкин* — см. примеч. к с. 83.

Шпажинский Ипполит Васильевич (1844–1917) — рус. драматург.

С. 366. *Алексей Константинович Толстой* (1817–1875) — рус. поэт и драматург.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 366. «*Южное обозрение*» — см. примеч. к с. 53.

Лознгрин — см. примеч. к с. 33.

С. 367. *Пекаторос* Георгий Михайлович (1864–?) — одесский издатель, публицист, драматург.

Изгоев — см. примеч. к с. 53.

Богомолец — см. примеч. к с. 118.

Сиг — см. примеч. к с. 157.

Знакомый — см. примеч. к с. 83.

С. 368. «*Одесский листок*» — см. примеч. к с. 28.

НАКАНУНЕ КОНГРЕССА. Базель

С. 370. «*Мизрахи*» — сионистское религ. движение; на учредительной конференции в Вильне (1902) объявило себя религ. фракцией Сионистской организации.

С. 371. «*Ibria*» — точнее «Иврия», под таким названием в начале XX в. начали возникать общества по распространению языка иврит. Впоследствии на конференции в Гааге (1907) была создана международная федерация «Иврия».

Мосензон Бенцион (1878–1942) — педагог и сионистский деятель, первый директор тель-авивской гимназии «Герцлия» (1912–1941).

С. 372. «*Hazorpe*» («Наблюдатель»; Варшава, 1903–1905) — еженед. газета на иврите; придерживалась сионистской направленности.

Бялик Хайм Нахман (1873–1934) — еврейский поэт, прозаик, публицист; писал преимущественно на иврите, а также на идише.

Ахад-Гаам (Гинцберг Ашер; 1856–1927) — еврейский философ, публицист и обществ. деятель, основоположник «духовного сионизма»; писал преимущественно на иврите.

С. 375. *Эпштейн* Ицхак (1862–1943) — педагог, языковед, один из основоположников преподавания на возрожденном иврите.

БАЗЕЛЬСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. I. Шестой конгресс сионистов

С. 376. «*Мизрахи*» — см. примеч. к с. 370.

Зангвиль Израэль (1864–1926) — еврейский писатель, публицист и обществ. деятель; писал на англ. языке. Первоначально примыкал к сионистскому движению, но затем вышел из него и основал независимую Еврейскую территориалистскую организацию (1905–1925).

Мандельштам Макс Эммануилович (1839–1912) — киевский врач-офтальмолог, один из лидеров палестинофильского, а затем и сионистского движения в России.

Герцль — см. примеч. к с. 253.

С. 377. *Норгау* Макс (1849–1923) — философ, публицист, обществ. деятель, один из основателей Сионистской организации; врач-психиатр по специальности.

...о жертвах последнего погрома... — имеется в виду Кишиневский погром (6–7 апреля 1903 г.), ужасы которого (49 убитых, 586 раненых, разгромлено более 1500 еврейских домов и лавок) взволновали обществ. мнение во всем мире.

Со времени пятого конгресса... — т. е. 5-го Сионистского конгресса (26–30 декабря 1901 г.), прошедшего в Базеле под председательством Т. Герцля.

...призван к его величеству султану... — речь идет о турецком султанине Абдул-Хамиде II (1842–1918), с которым Т. Герцль вел безрезультатные переговоры о еврейском заселении Палестины, находившейся под властью Османской империи.

Базельская программа — первая официальная программа Сионистской организации, принятая на 1-м Сионистском конгрессе в Базеле (29–31 августа 1897 г.) и сформулировавшая цель сионистского движения — «создать для еврейского народа обеспеченное публичным правом убежище в Палестине».

С. 378. *Кесслер* Леопольд (1864–1944) — деятель сионистского движения, в начале XX в. — лидер сионистов Южной Африки; инженер по профессии.

Марморек Оскар (1863–1909) — венский архитектор, деятель сионистского движения; близкий друг Т. Герцля.

Гольдсмиг Альберт Эдвард (1846–1904) — полковник британской армии, один из лидеров сионистского движения в Великобритании.

Стивенс Джордж Генри — англ. инженер.

Лоран Эмиль (1861–1904) — бельгийский ботаник, один из первых исследователей флоры Центральной Африки.

Соскин Зелиг Евгений (1873–1959) — агроном, деятель сионистского движения.

Гиллель Иоффе (1864–1936) — врач-маляриолог, деятель сионистского движения; был одним из первых маляриологов, поселившихся в Палестине (1891).

Гемфрис (Хамфриз) Томас Генри — генеральный инспектор департамента геологии и геодезии Египта.

В самое последнее время ввиду известных распоряжений русского правительства я счел своей обязанностью посетить Петербург... — поводом для визита Т. Герцля в Петербург и его встречи с министром внутренних дел России В. К. Плеве послужил изданный последним секретный циркуляр, который практически запрещал всякую сионистскую деятельность в России, не направленную непосредственно на организацию выезда евреев из страны.

С. 379. *Барон* Морис де *Гирш* (1831–1896) — финансист и филантроп, основатель Еврейского колонизационного общества.

Jüdische Coloniale Association — правильно: Jewish Colonization Association (JCA), Еврейское колонизационное общество — филантропическая организация, основанная бароном М. де Гиршем в Лондоне (1891) для содействия колонизации Аргентины евреями-эмигрантами из Восточной Европы.

С. 380. *Дэвис Тритуш* (1870–1935) — деятель сионистского движения и публицист; писал на нем. языке.

Третий конгресс — т. е. 3-й Сионистский конгресс (15–18 августа 1899 г.), состоявшийся в Базеле под председательством Т. Герцля.

Клее Альфред (1875–1943) — берлинский адвокат, деятель сионистского движения в Германии.

С. 382. *Альфред Носсир* (1864–1943) — польск. публицист, поэт и скульптор, деятель сионистского движения, автор трудов по еврейской демографии и статистике; казнен еврейской подпольной организацией Варшавского гетто за сотрудничество с нацистами.

БАЗЕЛЬСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. II. «Мизрахи»

С. 385. *«Мизрахи»* — см. примеч. к с. 370.

«Ibria» — см. примеч. к с. 371.

Райнес (Рейнес) Ицхак Яаков (1839–1915) — раввин, основатель движения «Мизрахи»; занимал пост раввина в уездном городе Лида Виленской губ. (1885–1915).

Пасманик Даниил Самойлович (1869–1930) — русско-еврейский публицист, деятель сионистского движения; врач по профессии; впоследствии — участник Белого движения; после отъезда из России (1919) сблизился с правыми кругами рус. эмиграции и отошел от сионизма.

Базельская программа — см. примеч. к с. 377.

С. 386. *Авиновицкий* Файвуш (1870–1919) — деятель сионистского религ. движения; казенный раввин Одессы (1905–1909).

Герцль — см. примеч. к с. 253.

Норгау — см. примеч. к с. 377.

Марморек Александр (1865–1923) — фр. врач-бактериолог, один из сионистских лидеров Франции.

С. 389. *«Welt»* («Мир»; 1897–1914) — сионистский еженедельник на нем. языке, основанный Т. Герцлем в Вене; официальный орган Сионистской организации (с 1903).

С. 390. *Университет в Палестине* — речь идет об идее создания еврейского университета, выдвинутой в палестинофильских кругах в 1880-е годы и неоднократно обсуждавшейся на первых сионистских конгрессах. Еврейский университет будет заложен на горе Скопус, к северу от Старого города Иерусалима, лишь в 1918 г.

Вейцман Хаим (1874–1952) — ученый-химик, деятель сионистского движения; президент Сионистской организации (1920–1931, 1935–1946); первый президент Государства Израиль.

БАЗЕЛЬСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. III. Герцль и Neinsager'ы

С. 391. *Норгау* — см. примеч. к с. 377.

Ахад-Гаам — см. примеч. к с. 372.

Герцль — см. примеч. к с. 253.

Базельская программа — см. примеч. к с. 377.

С. 392. *...о новом когановском здании дешевых квартир...* — речь идет о домах, которые строились в Одессе Когановским учреждением дешевых квартир, основанным филантропом А. О. Коганом.

С. 393. *Шекельный сбор* — ежегодный членский взнос в кассу сионистского движения.

Членов Иехизль (Ефим Владимирович; 1863–1918) — московский врач, один из лидеров палестинофильского, а затем и сионистского движения в России, публицист.

С. 394. *Зангвиль* — см. примеч. к с. 376.

Темкин Зеэв (Владимир Ионович; 1861–1927) — деятель сионистского движения; казенный раввин Елисаветграда (1893–1917); впоследствии примкнул к ревизионистскому движению в сионизме, основанному Жаботинским; первый президент Всемирного союза сионистов-ревизионистов (1925–1927).

Коган-Бернштейн — точнее Бернштейн-Коган Яков Матвеевич (1859–1929) — кишиневский врач, один из основателей и лидеров сионистского движения в России; впоследствии — первый окружной врач еврейских колоний в Палестине (1907).

Якобсон Виктор (Авидгор; 1867–1935) — деятель сионистского движения и дипломат.

С. 395. *Дизенгоф* Меир (1861–1936) — деятель сионистского движения, один из основателей и первый мэр Тель-Авива.

С. 396. *Розенбаум* Шимшон (Семен Яковлевич; 1860–1934) — минский адвокат, деятель сионистского движения; депутат 1-й Гос. Думы (1906); впоследствии — министр по делам евреев независимой Литвы (1923–1924).

С. 397. *Ильдыз-Киоск* — константинопольская резиденция султана Абдул-Хамида II (см. примеч. к с. 377).

С. 401. «не силой, не воином, а духом» — несколько измененная цитата из Книги пророка Захарии (6, 4).

С. 403. *Барон Гириш* — см. примеч. к с. 379.

ВСКОЛЬЗЬ. Из Берна

С. 409. «*На распутье*» (1880) — драма В. С. Баскина (1855–1919).

ВСКОЛЬЗЬ. Из Рима

С. 409. *Иловайский* Дмитрий Иванович (1832–1920) — рус. историк и публицист, автор многотомной «Истории России» и гимназических учебников.

Берислав — заштатный город Херсонской губ.

С. 410. «*Avanti!*» («Вперед!») — еженд. газета итал. социалистической партии. Осн.: 1896; место изд.: Рим, Милан.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 414. «*Avanti*» — см. примеч. к с. 410.

Энрико Ферри (1856–1929) — итал. ученый-криминолог и полит. деятель; депутат парламента (1886–1921), один из лидеров Социалистической партии.

Филиппо Турати (1857–1932) — итал. полит. деятель, публицист; депутат парламента (1896–1926), лидер парламентской группы Социалистической партии.

Дзанарделли Джузеппе (1826–1903) — итал. полит. деятель, премьер-министр Италии (1901–1903).

С. 415. *Биссолати*-Бергамаски Леонида (1857–1920) — итал. полит. деятель, один из лидеров Социалистической партии; гл. редактор газеты «*Avanti!*» (1896–1903, 1908–1912).

С. 416. *Норгау* — см. примеч. к с. 377.

Ломброзо Чезаре (1835–1909) — итал. врач-психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве, осн. мыслью которого стала идея о прирожденном преступнике.

Гарофало Рафаэле (1851–1934) — итал. ученый-криминалист, ученик и последователь Ч. Ломброзо, автор теории «естественного преступления».

Антонио Лабриола (1843–1904) — итал. философ и социолог, ортодоксальный марксист.

С. 417. *Беттоло* Джованни (1846–1916) — итал. полит. деятель, адмирал; морской министр в нескольких кабинетах (1899–1900, 1903, 1909–1910).

Умберто Каны (1863–1932) — итал. моряк, участник полярной экспедиции герцога Аbruццкого; впоследствии адмирал.

Герцог Абрुццкий (принц Луиджи Амадей Савойский; 1873–1933) — итал. путешественник; организатор полярной экспедиции (1899–1900); впоследствии адмирал.

С. 418. *Карло Альтобелли* (1857–1917) — итал. полит. деятель, адвокат, депутат парламента.

Рейнауи Карло Леоне (1845–1926) — итал. полит. деятель, вице-адмирал, сенатор (с 1908).

ВСКОЛЬЗЬ. Толстый Пеппино

С. 423. *Просперо Колонна* (1858–1937) — итал. полит. деятель, синдик (мэр) Рима (1899–1904, 1914–1919).

С. 425. *Констанцо Джузеппе Аурелио* (1843–1913) — итал. писатель.

С. 427. *Нази Нунцио* (1850–1935) — итал. полит. деятель, министр прощения (1901–1903).

ВСКОЛЬЗЬ. С точки зрения профана

С. 427. *Бёклин* Арнольд (1827–1901) — швейц. живописец, график, скульптор.

Штук Франц (1863–1928) — нем. живописец и скульптор.

ВСКОЛЬЗЬ. Об учительницах

С. 436. *Есть у Крылова басня... но «овец-то и забыли»* — речь идет о басне И. А. Крылова «Мирская сходка» (1816).

ВСКОЛЬЗЬ. О безденежье

С. 440. «*Трибуна*» («La Tribuna»; Рим, 1883–1944) — одна из крупнейших ежедн. газет Италии.

«*Avanti*» — см. примеч. к с. 410.

ВСКОЛЬЗЬ. О кафешантане

С. 448. *Лев XIII* — см. примеч. к с. 310.

С. 451. *Посткарта* — здесь: почтовая открытка.

«*Бурлаки на Волге*» (1870–1873) — картина И. Е. Репина.

Мурильо Бартоломе Эстебан (1617–1682) — исп. живописец.

С. 452. *Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776–1822) — нем. писатель-романтик, композитор, художник.

Эдгар По — см. примеч. к с. 101.

Байрейт — город в Баварии, где расположен оперный театр, созданный по замыслу Р. Вагнера специально для исполнения его произведений.

Трубецкой Павел Петрович (1866–1938) — рус. скульптор.

...можно было различить большого матерого Ворона на бюсте *Паллады* — аллюзия на стихотворение Э. А. По «Ворон» (1845).

С. 453. ...не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Тетмайер Казимеж (1865–1940) — польск. писатель.

«*Лючия ди Ламмермур*» (1835) — опера Г. Доницетти по мотивам романа Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста».

ВСКОЛЬЗЬ. По поводу «украинской мовы»

С. 454. *Котляревский* Иван Петрович (1769–1838) — укр. писатель, первый классик новой укр. литературы.

Гольдони Карло (1707–1793) — итал. драматург.

Ферруччо Бенини (1854–1916) — итал. драм. актер.

С. 455. *Тассони* Алессандро (1565–1635) — итал. писатель; наиболее известное сочинение — героико-комическая поэма «Украденное ведро» (1615).

Грассо Джованни (1873–1930) — итал. драм. актер; его образ нашел отражение в рассказе И. Бабеля «Ди Грассо».

Никола Мальгаче́а (1870–1945) — итал. драм. актер.

Скарпетта Эдуардо (1853–1925) — итал. комедийный актер, театральный режиссер, драматург; автор многочисл. комедий на неаполитанском диалекте; отец итал. драматурга Эдуардо де Филиппо.

Белли Джузеппе Джоаккино (1791–1863) — итал. поэт; автор сонетов, написанных на рим. диалекте.

Квириты (от лат. *quirites*) — древнее название рим. граждан.

С. 456. *Паскарелла* Чезаре (1858–1940) — итал. поэт; автор сонетов, написанных на рим. диалекте.

Трилуцца (Салустри Карло Альберто; 1871–1950) — итал. поэт; автор сонетов, поэм, басен и сказок, написанных на римском диалекте.

С. 457. *Лина Кавальери* (1874–1944) — итал. оперная певица (сопрано).

ВСКОЛЬЗЬ. Des Märchens Ende. I

С. 458. «*Листок*» — «Одесский листок» (см. примеч. к с. 28).

С. 462. *Гауптман* — см. примеч. к с. 361.

...как подстреленная птица, / Подняться хочет и не может — цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «О, этот Юг! О, эта Ницца!...» (1864).

ВСКОЛЬЗЬ. Что где прилично

С. 467. *Эрмете Новелли* — см. примеч. к с. 178.

С. 468. «*Папа Лебоннар*» — см. примеч. к с. 180.

ВСКОЛЬЗЬ. На клерикальные темы

С. 473. *Пий X* (до интронизации — Джузеппе Мелькиоре Сартто; 1835–1914) — папа римский (1903–1914).

Пий IX — см. примеч. к с. 311.

Лев XIII — см. примеч. к с. 310.

С. 474. *Дзанаргелли* — см. примеч. к с. 414.

«*Tribuna*» — см. примеч. к с. 440.

Новиков Яков Александрович (1849–1912) — рус. социолог и публицист; писал преимущественно по-французски; в публицистических работах развивал идеи пацифизма.

С. 475. *Гарибальди* — см. примеч. к с. 252.

С. 477. *Рамполла* дель Тиндаро Мариано (1843–1913) — кардинал рим.-катол. церкви (с 1887), гос. секретарь Святого престола (1887–1903).

С. 478. ...какой Виктор Эммануил королем в Риме — «тот самый» или уже новый — речь идет о королях из Савойской династии Виктор Эммануиле II (1820–1878), первом короле объединенной Италии (1861–1878), и Викторе Эммануиле III (1869–1947), третьем короле Италии (1900–1946).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 480. *Фонтаны* — см. примеч. к с. 215.

Люстгорф — курортный поселок к югу от Одессы.

Араньо — кафе в Риме, место встреч интеллектуальной и артистической элиты.

ВСКОЛЬЗЬ. Международный язык

С. 482. *British Association* (полное название *British Association for the Advancement of Science*) — Британская ассоциация по развитию науки (с 1831).

Фрегерик Брамуэль (1818–1903) — англ. инженер.

Общество Dante Alighieri (Общество «Данте Алигьери») — организация по распространению итал. языка и культуры в разных странах мира (с 1889).

Натан Эрнесто (1845–1921) — итал. полит. деятель; синдик (мэр) Рима (1907–1913); глава масонской ложи Италии (1899–1905, 1917–1919).

С. 484. *Заменгоф* Людвик Лазарь (1859–1917) — варшавский врач-окулист, лингвист, создатель языка эсперанто.

С. 485. *Волапюк* — первый в истории международный искусственный язык; создан (1879) нем. катол. священником И. М. Шлейером.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 487. *Шпажинский* — см. примеч. к с. 364.

Потехин Алексей Антипович (1829–1908) — рус. прозаик и драматург.

«Уриэль Акоста» (1847) — трагедия нем. драматурга К. Гуцкова (1811–1878).

ВСКОЛЬЗЬ. О любви

С. 491. *Дорошевич* — см. примеч. к с. 84.

Мачтет Григорий Александрович (1852–1901) — рус. писатель, революционер-народник.

ВСКОЛЬЗЬ. Альфиери

С. 496. *Витторио Альфиери* (1749–1803) — итал. поэт и драматург. *...старший Сальвини...* — Томмазо Сальвини (см. примеч. к с. 179).

«Саул» (1782) — трагедия В. Альфиери.

С. 497. *Магзини* — см. примеч. к с. 252.

Джустини — см. примеч. к с. 260.

Фосколо Уго (1778–1827) — итал. поэт и филолог.

Леопарди — см. примеч. к с. 120.

Парини Джузеппе (1729–1799) — итал. поэт-сатирик.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 500. *Вирджиния Рейтер* (1862–1937) — итал. драм. актриса.

Мариани-Зампиери Тереза — итал. драм. актриса.

...примкнуть к новой программе Чемберлена — имеется в виду план введения протекционистских таможенных тарифов, предложенный британским министром колоний Дж. Чемберленом (1836–1914).

«Заза» — см. примеч. к с. 64.

«Дама от Максима» (1899) — пьеса фр. комедиографа Ж. Фейдо (1862–1921).

С. 501. *Бутти* Энрико Аннибале (1868–1912) — итал. прозаик и драматург.

С. 502. *Альфредо Ориани* (1852–1909) — итал. прозаик, драматург, публицист.

С. 503. *Тестони* Альфредо (1856–1931) — итал. поэт и комедиограф.

Морис Доннэ (1860–1945) — фр. драматург.

ВСКОЛЬЗЬ. Не страшное

С. 509. «*Не страшное*» (1903) — рассказ В. Г. Короленко.

ВСКОЛЬЗЬ. О Литературно-артистическом обществе

С. 510. *Литературно-артистическое общество* — см. примеч. к с. 53.

С. 514. «*Монна Ванна*» — см. примеч. к с. 44.

ВСКОЛЬЗЬ. Очерки одного «счастливого» гетто

Впервые опубликовано в «Одесских новостях» в рубрике «Вскользь» в виде трех очерков под заголовками «Гетто» и «Еще о гетто» (дважды). Для отдельного издания Жаботинский существенно переработал текст и снабдил его предисловием «От автора».

С. 516. *Беатриче Ченчи* (1577–1599) — дочь рим. аристократа, убившая своего отца и казненная за это преступление. История ее жизни послужила основой многих лит. произведений.

Калиостро Алессандро (1743–1795) — итал. алхимик и авантюрист.

Джордано Бруно (1548–1600) — итал. монах-доминиканец, философ, математик, астроном и поэт; за свободомыслие был осужден и сожжен.

С. 517. *Шаммаш* (иврит) — здесь: служитель синагоги, заведующий административно-хозяйственными делами.

С. 519. *Корсо* — гл. улица Рима.

Дель Грилло Онофрио (1714–1787) — итал. дворянин.

Оттоленги Джузеппе (1838–1904) — итал. полит. деятель, генерал, сенатор, военный министр (1902–1903).

Воллемборг Леоне (1859–1932) — итал. экономист и полит. деятель; министр финансов (1901–1903).

Соннино Сидней (1847–1922) — итал. полит. деятель, дипломат, журналист; премьер-министр Италии (1906, 1909–1910).

Луиджи Луццатти (1841–1927) — итал. экономист и полит. деятель; премьер-министр Италии (1910–1911).

Мальвано Джакомо (1841–1922) — итал. дипломат.

Натан — см. примеч. к с. 482.

С. 520. *Барцилаи* Сальваторе (1860–1939) — итал. полит. деятель и журналист.

Ирредентист — сторонник ирреденты, полит. и обществ. движения за присоединение к Италии смежных земель, частично населенных итальянцами (XIX – нач. XX в.).

Примо Леви (1853–1917) — итал. журналист.

С. 521. *Валерий Флакк* Луций — древнерим. полит. деятель; обвинялся в вымогательстве денег из азиатских городов, но был оправдан судом (59 до н. э.).

С. 522. *Цицерон* Марк Туллий (106 до н. э. – 43 до н. э.) — древнерим. полит. деятель, оратор, философ.

Лелий Децим — обвинитель на процессе Флакка (59 до н. э.).

С. 523. *Шекелегатель* — член Сионистской организации, плавивший ежегодный членский взнос в кассу движения (шекель). На пер-

вых шести сионистских конгрессах действовала норма представительства — один делегат от 100 шекеледателей.

...убийца Катилины... — имеется в виду Цицерон, который своими сенатскими речами, считающимися образцами ораторского искусства, вынудил заговорщика Катилину бежать из Рима.

Самуэле Алатри (1805–1889) — итал. полит. деятель, депутат парламента, глава еврейской общины Рима.

С. 525. *Ниже тоненькой былиночки / Наго голову клонить...* [Чтоб на свете сиротиночке / Беспечально век прожить] — цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Песня Еремушке» (1859).

С. 528. *Франческо Криспи* (1819–1901) — итал. полит. деятель, адвокат; премьер-министр Италии (1887–1891, 1893–1896).

ВСКОЛЬЗЬ. Автор пьесы Горького

С. 530. *Соловцов* (Федоров) Николай Николаевич (1857–1902) — рус. актер, режиссер, антрепренер; основал Соловцовский театр в Киеве и Городской театр в Одессе.

«*Кровь*» (другое название — «Министр Гамм») — пьеса В. Жаботинского (преьера в Городском театре Одессы — 29.09.1901).

С. 533. «*Rivista d'Italia*» (Рим, 1898–1928) — ежемес. лит. журнал.

С. 536. *Шнитцлер* — см. примеч. к с. 217.

ВСКОЛЬЗЬ. У собора Святого Петра

С. 538. *Пуй X* — см. примеч. к с. 473.

Борго — см. примеч. к с. 21.

С. 540. *Лоренцо Стеккетти* — см. примеч. к с. 233.

С. 542. *Лев XIII* — см. примеч. к с. 310.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 544. *Мечников* Илья Ильич (1845–1916) — рус. эмбриолог, бактериолог и иммунолог; лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (1908).

С. 545. *Джером*, Джером Клапка (1859–1927) — англ. писатель-юморист.

С. 552. *Посткарта* — см. примеч. к с. 451.

...рада бегству кронпринцессы Луизы... — речь идет о жене кронпринца Саксонского Фридриха Августа, которая бежала от мужа с учителем своих детей.

О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ. I. Речь к учителям

Впервые напечатано в «Одесских новостях» под названием «О чем спор» с подзаголовком «К собранию Общества распространения просвещения между евреями». Имелось в виду общее собрание Одесского отделения ОПЕ (26.10.1903), ставшее одним из этапов острой идейно-политической борьбы между консервативным комитетом отделения, в котором преобладали ассимиляторы и умеренные националисты, и оппозицией к нему, значительную часть которой составляли сионисты (Ахад-Гаам, М. Дизенгоф и др.). Оппозиция настаивала на коренной реформе субсидируемых обществом училищ, прежде всего — увеличении количества учебных часов по еврейскому языку (ивриту) и еврейской истории за счет общеобразовательных предметов.

Впоследствии для сборника «Фельетоны» (СПб., 1913) текст статьи был существенно переработан и дополнен Жаботинским. При этом

в окончательный вариант не вошли следующие фрагменты, непосредственно связанные с противостоением в Одесском отделении ОПЕ:

В отчете комитета говорится, будто сторонники национализации воспитания требуют чуть ли не введения преподавания всех предметов на еврейском языке. Составителям отчета это требование кажется, очевидно, в высшей степени нелепым; и я тоже не стал бы защищать такую реформу, если бы кому-нибудь пришло в голову серьезно настаивать на ней. Но, как известно, спор идет не об этом требовании, а о другом, которое не так радикально по внешности, но на деле поведет к гораздо более глубокой перемене. Ибо и на древнееврейском языке, в конце концов, можно обучать юное поколение не тому, чему следует, и не обучать тому, чему следует. Не в языке главное дело, а в духе воспитания, в той основе, на которой поставлена вся постройка преподавания.

Люди часто боятся критиковать взгляды данной личности потому, что находят ее достойной уважения. Это — очень вредная боязнь, и она была бы особенно вредна в данном случае. Действительно, в нынешнем комитете есть личности, которым еврейство в России немалым обязано, — личности, зарекомендовавшие себя, может быть, стойкими и верными евреями; и, указывая на них, многие рассуждают так:

— Ведь этот человек всю жизнь был добрым ратником еврейства; мы еще не знаем, будут ли равны ему по твердости и по силе те, которые теперь говорят против него. Неужели он стал бы бороться против такой системы воспитания, которая может сделать из еврейской молодежи добрых евреев? Неужели та система, которую он защищает, не годна для этой цели? Кто лучше его может знать, что нужно для того, чтобы чувствовать себя верным сыном своего племени?

Старая и вечная ошибка, мешающая понять разницу между эпохой и эпохой.

<...>

Вот почему я говорю, что реформа, необходимая ныне, — гораздо глубже перемены языка преподавания, о чем, впрочем, никто пока не мечтает: язык есть нечто внешнее, а здесь надо перевернуть душу преподавания, расформировать самый принцип системы. И возникает вопрос: годны ли для этой реформы прежние деятели? В лучшую свою пору служившие одному принципу, способны ли они теперь посвятить свои труды другому, совершенно обратному?

Это вопрос скользкий. Я бы сказал, что да. Ведь и старый принцип, и новый ведут к одной цели: первый сделал одну половину работы, второй должен довершить другую половину, чтобы получился идеал еврея-гуманиста. И я думаю, что людям пожилым, которые столько раз уже в своей жизни наблюдали борьбу отцов и детей, и не могли не заметить, что новизна «детей» никогда не ниспровергает, а всегда, напротив, дополняет старину «отцов» — этим людям, я думаю, пора бы уже теперь, в XX веке, начать новую эру, показать новый тип «отцов», понимающих требования времени и обусловленные ими перемены в тактике. Неужели всегда должно быть так, что идеалист 40-х годов считает дьяволом своего сына-шестидесятника, а народник видит крушение своих идеалов в своем сыне-марксисте? Ведь мы наконец уже поняли, что вовсе они не враги, а все делают одно и то же святое дело,

но каждое поколение делает его именно так, как подсказывает его верное чутье. Но если понимаем это мы, младшие, то немислимо, чтобы не понимали этого старшие, больше видевшие, меньше ослепленные. Я верю в возможность сотрудничества со старыми деятелями (конечно, я говорю о хороших старых деятелях, о людях заслуженных и всеми нами любимых); я верю, что не всегда будет повторяться, с утомительным однообразием, старое «своя своих не познаша», когда вчерашние деятели провозглашают анафему завтрашним, вместо того чтобы понять их и помочь им своим опытом и влиянием; и мы все были бы очень рады, если бы первый пример нового отношения «отцов» к «детям» проявился именно здесь, именно в этом случае...

Но если это невозможно и если вновь суждено и здесь повториться старому предрассудку неуступчивости, то я хотел бы верить, что мы все сумеем оценить, насколько общее дело важнее и дороже отдельных личностей, даже самых почитаемых, — и не остановимся ни перед какой жертвою для того, чтобы вернуть, насколько от нас зависит, нашей молодежи то самоуважение и самосознание, без которого так больно и обидно жить на свете; ни перед какою жертвою, ибо давно уже пора нам, евреям, понять, что пришло время, когда нам остается или махнуть на все рукой, или написать себе новую заповедь: *во что бы то ни стало*.

С. 555. *Пружаны* — уездный город Гродненской губ.

Голта — см. примеч. к с. 82.

С. 557. *Мы в одном городе Юга ждали как-то погрома...* — возможно, речь идет об участии Жаботинского в отряде еврейской самообороны в Одессе весной 1903 г. (в первой редакции статьи, опубликованной в подцензурных «Одесских новостях», упоминания о погроме отсутствовали).

С. 561. *Лютостанский* Ипполит Иосифович (1835–1915) — бывший ксендз, перешедший в православие; автор невежественных антисемитских сочинений «Об употреблении евреями талмудистами-сектаторами христианской крови» (М., 1876), «Талмуд и евреи» (М., 1879–1880) и др.

ВСКОЛЬЗЬ. Антисоциальное учреждение

С. 561. *Процесс об убийстве графа Бонмартини...* — скандальный судебный процесс, проходивший в Турине в течение нескольких лет (1903–1906); все обвиняемые, включая Линду Бонмартини, были признаны виновными и приговорены к различным срокам тюремного заключения.

ВСКОЛЬЗЬ. Антисоциальное учреждение

С. 568. «*Tribuna*» — см. примеч. к с. 440.

С. 569. «*Giornale d'Italia*» (Рим, 1901–1976) — ежедн. газета.

ДЛЯ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ

С. 574. *Формиджани* Анджело Фортунатто (1878–1938) — итал. издатель еврейского происхождения; покончил жизнь самоубийством в знак протеста против антисемитских законов, введенных фашистским режимом в Италии.

С. 576. *Иррегентизм* — см. примеч. к с. 520.

Луиджи Рава (1860–1938) — итал. полит. деятель; министр земледелия, промышленности и торговли (1903–1905), министр просвещения (1906–1909), министр финансов (1914).

Маркотти Джузеппе (1850–1922) — итал. журналист.

Сперангео Иван Федорович (1872–?) — профессор Новороссийского университета, автор «Руководства итальянского языка» (Одесса, 1896).

Новиков — см. примеч. к с. 474.

С. 577. *«Neue Freie Presse»* — см. примеч. к с. 222.

С. 579. *Орланго* Витторио Эммануэле (1860–1952) — итал. полит. деятель, юрист; министр просвещения (1903–1905), министр юстиции (1907–1909, 1914–1916).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 580. *Оболенский* — см. примеч. к с. 143.

Слово-Глаголь — см. примеч. к с. 209.

Чуковский — см. примеч. к с. 53.

С. 581. *Кармен* (Корнман) Лазарь Осипович (1876–1920) — рус. писатель, журналист; отец советского кинорежиссера Р. А. Кармена.

С. 583. *Литературно-художественное общество* — см. примеч. к с. 53.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 585. *Литературно-художественный клуб* — то же, что Литературно-художественное общество (см. примеч. к с. 53).

Водозов Василий Васильевич (1864–1933) — рус. публицист, юрист и экономист.

С. 589. *Рубинрот* Доротея Арнольдовна (в замужестве Галюзман; 1877–1967) — педагог, преподавала в частных еврейских училищах Одессы.

Молдаванка — см. примеч. к с. 116.

ВСКОЛЬЗЬ. Еще об итальянских университетах

С. 590. *Куно Фишер* (1824–1907) — нем. историк философии.

Виндельбанг Вильгельм (1848–1915) — нем. философ-идеалист, глава баденской школы неокантианства.

С. 591. *Вундт Вильгельм Максимилиан* (1832–1920) — нем. физиолог и психолог.

Шмидт Адольф (1815–1903) — нем. правовед.

Бюхнер Карл Вильгельм (1847–1930) — нем. экономист.

Кохер Эмиль Теодор (1841–1917) — швейц. хирург; лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1909).

Салли Герман (1856–1933) — швейц. терапевт, невролог и гематолог.

Верга Джованни (1840–1922) — итал. писатель-реалист, автор романов о жизни на Сицилии.

Капуана Луиджи (1839–1915) — итал. критик и писатель.

Грация Делегга (1871–1936) — итал. писательница; лауреат Нобелевской премии по литературе (1926).

Матильда Серао (1856–1927) — итал. писательница и журналистка.

Фогаццаро Антонио (1842–1911) — итал. поэт и романист.

С. 592. *Ломброзо* — см. примеч. к с. 416.

Ферри — см. примеч. к с. 414.

Лабриола — см. примеч. к с. 416.

Баччели Гвидо (1832–1916) — итал. врач и полит. деятель, министр просвещения в нескольких кабинетах.

Лориа Акилле (1857–1943) — итал. экономист и социолог.

С. 593. *Людвиг Штейн* (1859–1930) — нем. философ и социолог.

С. 595. *Гульельмо Ферреро* (1871–1942) — итал. социолог, историк, журналист и прозаик.

Сергеенко Петр Алексеевич (1854–1930) — рус. писатель и лит. критик, автор книг и статей о Л. Н. Толстом.

С. 596. *Сперандео* — см. примеч. к с. 576.

Де Виво Доменико Севастьянович (1840–1897) — преподаватель Новороссийского университета, составитель пособий и словарей для изучающих итал. язык.

ВСКОЛЬЗЬ. Дон Альцехан

С. 597. *Риего-и-Нуньес* Рафаэль (1785–1823) — исп. генерал и об-ществ. деятель, герой исп. революции (1820–1823).

Знакомый — см. примеч. к с. 83.

ВСКОЛЬЗЬ. О наблюдательности

С. 606. *Кошут* — см. примеч. к с. 260.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 609. *Гоппенфельд* — одесский ресторан на Николаевском бульваре, принадлежавший А. Гоппенфельду.

С. 610. *Бурш* (от нем. *Bursche* — парень) — участник одной из нем. студенческих корпораций, которые славились кутежами, дуэлями и т. п.

ВСКОЛЬЗЬ. Спенсер

С. 613. *Спенсер* Герберт (1820–1903) — англ. философ и социолог, один из родоначальников позитивизма, основатель органической школы в социологии, идеолог либерализма; основное сочинение — «Система синтетической философии» (1862–1896).

Почил безмятежно, зане совершил / В пределе земном все земное — цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гете» (1832).

С. 615. *Маринони* Ипполит Огюст (1823–1904) — фр. изобретатель и издатель; создатель скоропечатных типографских машин.

ПАЛЕСТИНА

С. 621. *Предложение заселить Уганду* — речь идет о т. наз. плане Уганды (1903), предложенном британским правительством сионистскому движению и предусматривавшим создание автономного еврейского поселения в Восточной Африке.

С. 623. *Лассаль* Фердинанд (1825–1864) — нем. философ, юрист, экономист и полит. деятель.

Бёрне Людвиг (1786–1837) — нем. публицист и писатель, поборник эмансипации евреев.

Югт Игнаций Мауриций — польск. антрополог, автор книги «Евреи как физическая раса» (на польск. языке; Варшава, 1902).

«*Jüdische Statistik*» (Берлин, 1903) — сборник статей и статистических материалов, изданный на нем. языке Союзом еврейской статистики (*Verein für jüdische Statistik*) под редакцией А. Носсига (см. примеч. к с. 382).

Макс Норгау — см. примеч. к с. 377.

- С. 624. *JCA* — Jewish Colonization Association (см. примеч. к с. 379).
С. 625. *Герцль* — см. примеч. к с. 253.

ВСКОЛЬЗЬ

Литературно-художественное общество — см. примеч. к с. 53.

К ПОКУШЕНИЮ НА МАКСА НОРДАУ

С. 628. *Макс Нордау* — см. примеч. к с. 377.

С. 629. *Герцль* — см. примеч. к с. 253.

Хаим Лубин — парижский студент из России, покушавшийся на жизнь М. Нордау в знак протеста против «угандийского проекта».

ВСКОЛЬЗЬ. К ВЫБОРАМ

С. 630. *Общество изящных искусств* (1864–1918) — организация, основанная в Одессе школу рисования и черчения (1865) и Городской музей изящных искусств (1899).

С. 632. *Товарищество южнорусских художников* (1890–1922) — независимое творческое объединение одесских художников.

С. 633. *Эдуардс* Борис Васильевич (1860–1924) — рус. скульптор.

Розенберг Семен Маркович — многолетний член совета одесского Общества изящных искусств.

Тодоров Аркадий Дмитриевич (1852–?) — одесский архитектор.

С. 634. *Нилус* — см. примеч. к с. 212.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 634. *Общество изящных искусств* — см. примеч. к с. 630.

С. 635. *Молдавanka* — см. примеч. к с. 116.

С. 636. *Сирах* — имеет в виду «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова» (II в. до н. э.), одна из неканонических книг Ветхого Завета.

С. 637. *...поглощен картиной под заглавием «Немировское дело» на захватывающий, очень современный сюжет* — намек на Кишиневский погром (1903). Местечко Немиров получило трагическую известность в еврейской истории после резни, устроенной казаками Б. Хмельницкого (1648).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 638. *«Южные записки»* — см. примеч. к с. 259.

Федоров — см. примеч. к с. 121.

Яблочков Георгий Алексеевич — рус. прозаик, врач по профессии, бывший полит. ссыльный.

С. 641. *«Раззудись, рука, / Размахнись, плечо!»* — неточная цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Косарь» (1836); у автора: «Раззудись, плечо! / Размахнись, рука!»

ВСКОЛЬЗЬ

С. 642. *«Заза»* — см. примеч. к с. 64.

С. 643. *Урсино Скудери* Сальваторе — итал. адвокат, автор брошюр об изобретенном им «музыкаметре» (Рим, 1894–1897).

...профессор римской авторитетной академии S. Cesilia... — имеет в виду Национальная академия «Санта Чечилия», одно из старейших муз. учебных заведений мира (с 1566).

С. 644. *Палестрина* Джованни Пьерлуиджи (1514–1594) — итал. композитор церковной музыки.

С. 645. *Товарищество передвижников* (Товарищество передвижных художественных выставок; 1870–1922) — творческое объедине-

ние рус. художников, противопоставлявших себя официальному академизму.

С. 646. *Общество изящных искусств* — см. примеч. к с. 630.

ОТВЕТ Г-НУ Т. РЕНОДО

С. 649. *Теофраст Ренодо* — см. примеч. к с. 114.

Норгау — см. примеч. к с. 377.

Дрюмон Эдуард Адольф (1844–1917) — фр. полит. деятель и публицист; автор антисемитской книги «*La France juive*» («Еврейская Франция»; 1886).

Герцль — см. примеч. к с. 253.

ФРЕЙЛЕЙН

С. 650. «*Монна Ванна*» — см. примеч. к с. 44.

Леблан-Метерлинк Жоржетта (1875–1941) — фр. оперная певица (сопрано) и драм. актриса; многолетняя спутница жизни драматурга М. Метерлинка.

С. 653. «*Die Woche*» («Неделя»; Берлин, 1890–1944) — иллюстрир. еженедельник.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 655. *Литературно-художественное общество* — см. примеч. к с. 53.

Пшибышевский Станислав (1868–1927) — польск. писатель; писал на польск. и нем. языках.

Д'Аннунцио — см. примеч. к с. 19.

С. 656. «*Ното сариенс*» (1895–1898) — роман С. Пшибышевского.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 662. *Вознесенский* — см. примеч. к с. 259.

Пшибышевский — см. примеч. к с. 655.

С. 663. «*Ното сариенс*» — см. примеч. к с. 656.

С. 664. «*Маскотта*» (1880), «*Игрушечка*» (1896) — оперетты фр. композитора Э. Одрана (1842–1901).

С. 664. *Зильберберг* Яков Владимирович (1857–1934) — одесский хирург, ученый, обществ. деятель; организовал и содержал частное еврейское мужское училище.

ЛЕДА

С. 666. *Вертеп* — кукольная композиция, изображающая рождение Иисуса. Сооружение таких композиций — распространенная в Италии рождественская традиция.

Я купила на рынке рыбу caritone, и мы ее съели — вот и все, что нам напомнит о том, как у порядочных людей празднуют Рождество... — гл. блюдом рождественского стола в Италии считается жареный морской угорь (caritone).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 675. *Сибиряков* — см. примеч. к с. 284.

«*Данте*» (1903) — пьеса фр. драматурга В. Сарду (1831–1908).

ВСКОЛЬЗЬ

С. 678. «*Потонувший колокол*» (1896), «*Михаэль Крамер*» (1900), «*Коллега Крамpton*» (1892) — пьесы Г. Гаутгмана (см. примеч. к с. 361).

Ларвы (от лат. larvae) — злые духи, души умерших злых людей.

С. 679. *Гофман* — см. примеч. к с. 452.

Виланд Кристоф Мартин (1733–1813) — крупнейший поэт и идеолог нем. рококо; автор сказочной эпопеи в стихах «Оберон» (1780).

С. 680. *...его отвезли к Дрознесу...* — имеется в виду «Лечебница для нервных и душевных больных», учрежденная одесским психиатром М. Я. Дрознесом.

ВСКОЛЬЗЬ

С. 681. *Горелов* Сергей Иванович (1877–1916) — рус. драм. актер.

С. 682. *Дзаккони* — см. примеч. к с. 179.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ¹

- Абруццкий, герцог 417, 781
Авиновицкий Ф. 386, 779
Агинальдо, вождь нар. восстания 261, 773
Аксаков А. П. 320, 775
Алатри М. 523
Алатри С. 523–524, 785
Альгобелли К. 418, 781
Альфиери В. 496–499, 783
Амфитеатров А. В. 302, 305, 775
Анатолий (Каменский А. В.), архимандрит 739, 744
Андреев Л. Н. 33, 72–73, 76, 82, 90, 92–103, 149, 209, 218, 458, 655, 763–765
Андреевский С. А. 71, 763
Антокольский М. М. 50, 711, 762
Антоний (Вадковский А. В.), митрополит 739, 744
Анчилотти, артисты цирка 504–505, 508
Аренков, врач 147, 153, 162–166, 183
Аристид, гос. деятель 166, 768
Аристотель 76
Арсеньев Д. Г. 698, 729–730, 733, 741–742
Ахад-Гаам 372, 392, 399–402, 777, 779
Ашкинази З. Е. 15, 760
Байрон Дж. Н. Г. 134, 466, 686
Бальзак О. де 120, 766
Бальмонт К. Д. 143–144, 275, 767, 774
Барановский А. 189
Баратов П. Г. 91, 765
Барцилаи С. 520, 525, 784
Батталья, мельник 357
Баччелли Г. 592, 789
Беклин А. 427–430, 781
Белли Дж. Дж. 455–456, 782
Белоусов, чл. управы 721
Бен-Иегуда Э. 259, 773
Бенини Ф. 454, 781
Бенничи, секретарь албан. ком. 528
Бердяев Н. А. 57, 60–61, 67, 762–763
Берленди Л. 63–65, 763
Берндт, заводчик 713
Берне Л. 623, 789
Бетголо Дж. 417, 780
Бикерман И. М. 252–253, 772
Биссолати Л. 415, 780
Блонский, надзиратель 732
Боборькин П. Д. 83, 364, 764, 777
Богданович, генерал 733–734, 736–737
Боголепов Н. П. 735, 743
Богомолец А. А. 118, 367, 766, 777
Бодлер Ш. 73, 764
Боккаччо Дж. 136, 767
Бонмартини Ф. 561–564, 566–567, 569, 787
Боткин С. П. 683
Брамуэль Ф. 482–483, 485, 783
Брахман В. 189
Бреши Г. 686, 741
Британов Г. 167, 768
Бродские, промышленники 15, 760
Бруно Дж. 516, 784
Будилин (Веккер Б. Д.), журналист 167, 768
Булгаков С. Н. 57, 60, 67–68, 762–763
Бунин И. А. 143
Бурачков, полковник 738
Буренин В. П. 98, 765
Бутти Э. А. 501, 504, 783
Бьянкери Дж. 205, 769
Бюхнер К. В. 591, 788
Бялик Х. Н. 372, 777
Ваккари, депутат 422
Валле Э. 68–69, 71, 763
Валь фон В. К. В. 720, 742

¹ Включает лиц, упоминаемых в текстах В. Жаботинского. Страницы примечаний обозначены курсивом.

- Ванновский П. С. 735, 743
 Васильев, ротмистр 720
 Вейцман Х. 390, 779
 Великовский С. 257, 772
 Верга Дж. 591, 788
 Веспуччи А. 686–687, 689, 741
 Виво де Д. С. 596, 789
 Виланд К. М. 679, 792
 Вильгельм, император 727
 Вильдерман Л. А. 152–153
 Виндельбанд В. 590, 593–594, 788
 Вион В. 343
 Виренец Г. 138
 Воदовозов В. В. 585, 788
 Вознесенский А. С. 259–261, 662, 664, 773, 791
 Воллемборг Л. 519, 784
 Вольтинский (Флексер) А. Л. 131–132, 215–217, 285, 767, 770, 774
 Вундт В. М. 591, 788
 Выхрестов, ученик коммерч. училища 697
 Гарибальди Дж. 252–253, 260, 475, 656, 658, 772–773, 782
 Гарофало Р. 416, 780
 Гаршин В. М. 735
 Гауптман Г. 361, 462, 678, 776, 782
 Гегель Г. В. Ф. 466, 708
 Гейне Г. 207, 236, 242, 711
 Гемфрис Т. Г. 378, 778
 Георгиевич Н. (Шебуев Н. Г.) 332–333, 775
 Гербель, вице-губернатор 694
 Герцль Т. 253, 376–377, 379–386, 390–396, 399–403, 625, 629, 649, 772, 777, 779, 790–791
 Герцо-Виноградский С. Г. 326, 775
 Гесберг А. Д. 738, 742, 744
 Гете И. Ф. 297, 497
 Гефдинг Х. 258, 772
 Гибш А. Л. 223, 771
 Гипшиус З. Н. 144, 275, 767, 774
 Гирш М. де 379, 383, 403, 778, 780
 Гиршберг, профессор 159
 Глюк К. В. 644
 Гоголь Н. В. 318, 366, 735
 Головин Н. С. 720, 742
 Гольдман, обвиняемый 740
 Гольдони К. 181, 204, 454, 781
 Гольдсמיד А. Э. 378, 778
 Гольдштейн (Митяй) М. М. 16, 760
 Гомер 297
 Гоппенфельд А. 609, 789
 Горелов С. И. 681, 792
 Горская Б. 288–289, 774
 Горький М. (Пешков А. М.) 46–47, 49–51, 72, 118–121, 129, 152, 197–198, 298, 332–333, 533, 655–656, 735
 Гофман Э. Т. А. 452, 679, 781, 792
 Гранкио А. 597–598, 604
 Грассо Дж. 455, 782
 Грец Г. 223–224, 771
 Грилло дель О. 519, 784
 Грингмут В. А. 216, 770
 Гудван А. М. 125, 766
 Гуно Ш. 644
 Гуттен У. фон 260, 773
 Гюго В. М. 497
 Гюйо Ж. М. 68, 763
 Д'Аннунцио Г. 19, 22, 275, 655–656, 760, 774, 791
 Д'Арнейро М. 65, 763
 Данте А. 478, 617, 658, 660–661
 Дарвин Ч. Р. 314
 Двойрис Б. 16, 760
 Деледда Г. 591, 788
 Делич Ф. К. Г. 727, 742
 Делчев Г. 261, 773
 Демчинский Н. А. 248, 355, 772, 776
 Джаннини О. 203, 769
 Джером Дж. К. 545, 785
 Джианнини Ф. 191, 769
 Джибелли, ст. пред. судеб. палаты 740
 Джордано У. 246, 772
 Джусти Дж. 260, 497, 773, 783
 Дзаккони Э. 179, 208, 682, 768–769, 792
 Дзанарделли Дж. 414, 421, 474, 780, 782
 Дизенгоф М. 395–396, 399, 780
 Добролюбов Н. А. 216, 735
 Доннэ М. 503–504, 784
 Дорошевич В. М. 84–85, 145, 491, 764, 767, 783
 Достоевский Ф. М. 679
 Дрейфус А. 113, 765
 Дризо Л. Л. 343–344, 346, 776
 Дрознес М. Я. 680, 792
 Дрюмон Э. А. 649, 791
 Дубинин А. К. 167, 768

- Дузе Э. 115–116, 179, 766, 768
Дымов О. (Перельман И. И.) 209, 770
Дюкова А. Н. 72, 763
Елагин, богач 71
Закс Г. 259, 773
Закушняк А. Я. 363–366, 776
Заменгоф Л. Л. 484–485, 783
Зангвиль И. 376, 394, 777, 779
Зеленый П. А. 721, 742
Зенгер Г. Э. 692, 734–735, 741, 743
Зильберберг Я. В. 664, 791
Знакомый (Кауфман А. Е.), журнал-лист, 83–84, 145–149, 152–154, 162–167, 183–185, 188–190, 192, 196, 367–370, 597, 764, 767–769, 777, 789
Золя Э. 679
Зонтаг А. 728
Зубатов С. В. 741
Ибсен Г. 535, 681–682
Изацко С. 523–524, 527
Изгоев А. С. 58–63, 66–67, 367, 762–763, 777
Иловайский Д. И. 409, 780
Инбер О. А. 223, 771
Иона (Атаманский И. М.), протоиерей 737, 744
Иоффе Г. 378, 778
Иустин (Охотин) 739, 744
Кавальери Л. 457, 782
Кавилли, депутат 427
Кавур К. Б. 252, 772
Калиостро А. 516, 784
Камбье Э. 342, 776
Кант И. 234, 771
Каньи У. 417, 780
Капуана Л. 591, 788
Кардуччи Дж. 21, 760
Кармен Л. О. 47, 581, 788
Кац, заводчик 713
Кесслер Л. 378, 778
Кин Э. 207, 769
Клее А. 380–381, 778
Клейгельс, генерал 690
Климович, чл. управы 721
Ковалевский М. М. 734, 743
Коган, обвиняемый 228–229
Коган-Бернштейн Я. М. 394, 400, 779
Колини Э. 412
Колонна П. 423, 781
Колонна, княжеский род 522
Комиссаржевская В. Ф. 64, 179, 763, 768
Кондорский М. К. 110
Констанцо Дж. А. 425, 781
Короленко В. Г. 218, 509, 735
Корони Н. 167, 243, 768, 771
Корреджио, живописец 297, 300–301, 774
Котляревский И. П. 454, 781
Котович, преподаватель семинарии 739
Кохер Э. Т. 591, 593, 788
Кошут Л. 260, 606–608, 773, 789
Кранцфельд М. О. 345, 776
Криспи Ф. 528, 785
Крицкий, полковник 737–738
Крушеван П. А. 259, 261, 744, 773
Крылов И. А. 352, 436
Кузнецов Н. Д. 15, 760
Кьяннетти, депутат 422
Кьянтони Дж. 203, 769
Лабриола А. 416, 592, 780, 789
Ланге Н. Н. 735, 743
Лассаль Ф. 623, 789
Леблан-Метерлинк Ж. 650, 791
Лев XIII 310–315, 448, 473, 475, 477, 542, 775, 781–782, 785
Леви П. 520, 784
Левитан И. И. 711
Левицкий Н. В. 114, 765
Легантини Е. И. 283, 774
Легодэ Р. 342, 776
Лелий Д. 522, 784
Леонкавалло Р. 644
Леопарди Дж. 120, 497, 766, 783
Лермонтов М. Ю. 246, 496
Лесевич В. В. 684, 741
Лессинг Г. Э. 704, 710
Лиленблум М. Л. 259, 773
Линецкий, автор письма 125–127, 150–152
Лифшиц Г. Г. 118–119, 766
Лойола И. 32, 761
Ломбардо Р. 530–536
Ломброзо Ч. 416, 592–593, 780, 788
Лопухин А. А. 720, 723–726, 729, 731, 736, 742–743
Лоран Э. 378, 381, 778
Лориа А. 592, 789
Лорιο, священник 344
Лохвицкая М. 144, 767

- Лоэнгрин (Герцо-Виноградский С. Т.) писатель, журналист 33, 142, 162–165, 181–182, 184–187, 190, 192, 196, 198–199, 366–367, 761, 767–769, 777
 Лубин Х. 629, 790
 Лубковская М. М. 71–72, 763
 Лукьянов С. М. 733–736, 742
 Луццатти Л. 519, 784
 Львов (Львов-Рогачевский) В. Л. 119, 766
 Любомудров, врач 267–269
 Лютостанский И. И. 561, 787
 Мадзини Дж. 252, 497, 772, 783
 Мазаракий А. В. 33, 761
 Маккавеи 261, 773
 Мальвано Дж. 519, 784
 Мальдачеа Н. 455, 782
 Мандельштам М. Э. 376, 777
 Маразли Г. Г. 15, 345, 760, 776
 Марго Д. Д. 154, 768
 Мариани Т. 500, 503, 783
 Маринони И. О. 615, 789
 Маркевич А. И. 698–699, 741
 Маркевич Б. М. 47
 Маркотти Дж. 576–577, 788
 Маркс К. 728
 Марморек А. 386, 779
 Марморек О. 378, 778
 Мачтет Г. А. 491, 783
 Мейсонье Ж.-Л. Э. 69, 763
 Мережковский Д. С. 143–144, 275, 767, 774
 Метерлинк М. 44, 83, 359, 361, 363, 458, 655
 Мечников И. И. 544, 727–728, 734, 742, 785
 Микеланджело Б. 686
 Милоков П. Н. 734, 743
 Минский Н. М. 143–144, 767
 Михайловский Н. К. 61, 67, 762–763
 Мопассан Г. де 215, 453, 547
 Морген Р. 686, 741
 Мосензон Б. 371–372, 777
 Моцарт В. А. 644
 Муравьев Н. К. 740, 744
 Мурильо Б. Э. 451, 781
 Мурри Л. 562
 Мурри Р. 313, 775
 Мурри Т. 561–562, 566
 Навроцкий В. В. 140–141, 767
 Надсон С. Я. 17, 361
 Нази Н. 427, 781
 Найденов С. А. 209, 770
 Наполеон И. 686
 Натан Э. 482, 519, 783–784
 Наумов, чиновник 720
 Негри А. 124, 766
 Нейдгарт Д. Б. 735–738, 743
 Немешаев К. С. 701, 712–713, 724, 741–742
 Нещеретов, врач 691–692, 741
 Никифоров И. 274
 Николай II 692, 730
 Нилус П. А. 212–213, 634, 770, 790
 Ницше Ф. 22, 297–298, 302, 760
 Новгородцев П. И. 61, 762
 Новелли Э. 178–181, 191–192, 195, 199–207, 467, 768–769, 782
 Новиков Я. А. 474–475, 576, 782, 788
 Новицкий, генерал 703
 Нордау М. 377, 381–383, 386, 390–391, 416, 623, 628, 630, 649, 709, 711, 742, 777, 779–780, 789–790, 791
 Носсиг А. 382–384, 778
 Оболенский И. 694
 Оболенский Л. Е. 143, 580–584, 767, 770, 788
 Ориани А. 502–503, 783
 Орlando В. Э. 579, 788
 Орсини, княжеский род 522
 Островский А. Н. 735
 Оттоленги Дж. 519, 784
 Оффенбах Ж. 644
 Павлов С. 138
 Палестрина Дж. П. 644, 790
 Панфилов, полицмейстер 42
 Парини Дж. 497, 783
 Паскарелла Ч. 456, 782
 Пасманик Д. С. 385, 388–389, 779
 Пасхали, кондитер 609–610
 Пасхалова А. А. 65, 72, 218, 695, 763, 770
 Паульсен Ф. 704, 742
 Пекаторос Г. М. 367, 777
 Пекораино, мукомол 356–359
 Первухин М. К. 84–85, 764
 Петефи Ш. 260, 773
 Петров Г. С. 297–302, 774
 Пешков см. Горький
 Пий IX 311–313, 473, 475, 775, 782
 Пий X 473–476, 538, 542–543, 782, 785

- Пинкья, товарищ министра 578
Пинскер Л. 259, 773
Писарев Д. И. 216, 259, 436, 735
Писаревский Б. Е. 16, 760
Пифагор 76
Платон 736
Плеве В. К. фон 700, 726, 730–731, 741–742
По Э. А. 101, 452, 765, 781
Победоносцев К. П. 687, 739, 741, 744
Подкапаев С. 138
Поляков М. 252–254
Попов, ст. фабрич. инспектор 698
Потехин А. А. 487, 783
Правдин О. А. 219, 770
Прево М. 89, 764
Примо Л. 520
Пуччини Дж. 64
Пушкин А. С. 18
Пшибышевский С. 655–656, 662–663, 791
Р. см. Райх
Рабин С. 138
Рава Л. 576–577, 788
Райнес И. Я. 385, 387–389, 779
Райх, рабочий 723–726, 731
Рампола дель Т. М. 477, 782
Рафаэль С. 408, 539
Рахумовский И. 114–115, 766
Рейнауди К. Л. 418, 781
Рейтер В. 500, 783
Рейхлин И. 226, 771
Ренодо Т. (Дмитриев И. И.) 114, 649, 765, 791
Рестель, заводчик 696, 712
Рехтман М. 229
Риего Р. 597, 789
Робин, кондитер 25, 761
Родоконаки, владелец завода 712
Розада А. 567, 569
Розада Дж. 567–568
Розанов М. 138, 140
Розенбаум Ш. 396, 780
Розенберг С. М. 633, 790
Романовский А. Е. 91–92, 765
Росси Г. 412–413
Ростов, актер 91
Роттердамский Э. 226, 771
Рубинрот Д. А. 589, 788
Саббатини Э. 203, 769
Савельев, автор письма 267–268
Савицкий, чиновник 720
Салли Г. 591–592, 788
Салтыков-Щедрин М. Е. 69, 257, 277, 735
Сальвини Т. 179, 199–201, 203, 496, 768–769, 783
Салюстри, сотрудник редакции «Аванти» 417
Сапир И. Б. 257–259, 772
Саракко Дж. 205, 769
Сарду В. 675
Сарто Дж. 475–476
Северский Н. Г. 187, 769
Секки, подсудимый 561–563
Семенов-Самарский С. Я. 91–92, 765
Сенеку Л. А. 297
Серао М. 591, 788
Сергеенко П. А. 595, 789
Сибирияков А. И. 284–286, 675–676, 738, 774, 791
Сиг (Гольдельман С. И.), журналист 157, 259, 367, 768, 773, 777
Сильвестр, священник 76, 764
Синезерский, преподаватель коммерч. училища 697
Скабичевский А. М. 33, 131, 761, 766
Скарпетта Э. 455, 782
Скудери У. С. 643–644, 790
Славский Я. Г. 138, 140
Слово-Глаголь (Гусев С. С.), журналист 209, 580, 770, 788
Смирнов И. А. 214, 770
Соколовский А. Н. 72, 763
Сократ 92–93
Соловцов Н. Н. 530, 785
Соловьев В. С. 298, 734, 774
Соннино С. 519, 784
Соскин З. Е. 378, 778
Спенсер Г. 613–614, 616–617, 789
Сперандео И. Ф. 576, 596, 788–789
Станиславский К. С. 179, 206
Старков, помощник градоначальника 698
Стеккетти Л. 233, 540, 771, 785
Стенбок-Фермор, пред. зем. управы 694
Стивенс Дж. Г. 378, 381, 778
Стриндберг Ю. А. 22, 760
Таска-Ланца Дж. 357–358, 776
Тассони А. 455, 782

- Темкин З. 394, 779
Теста-ди-Леньо, адвокат 600, 603
Тестони А. 503, 784
Тетмайер К. 453, 781
Тодоров А. Д. 633–634, 790
Толстая С. А. 72–73, 76, 82, 92–93, 95, 97–102, 764–765
Толстой А. К. 366, 777
Толстой Л. Н. 68, 72, 92, 143, 265–266, 297, 366, 546–547, 549, 595, 728, 735, 763
Торлония, княжеский род 522
Тосканелли П. 686–687, 689, 741
Тривут, подписавший письма 138
Трилусса, поэт 456, 782
Тритш Д. 380–384, 778
Трубецкой Е. Н. 57, 762
Трубецкой П. П. 452, 781
Турати Ф. 414, 780
Тургенев И. С. 135, 491, 679, 735
Уайльд О. 275, 774
Убальделли Б. 410–414
Убальделли Дж. 412
Успенский Г. И. 735
Уччели, депутат 422
Фанкони Я. Д. 222, 771
Федоров А. М. 121, 143–144, 638, 766–767, 790
Феличе де Дж. 536–537
Фельденкрейз, обвиняемый 737–738
Фельдштейн С. 189
Ферреро Г. 595, 789
Ферри Э. 414–418, 592, 780, 788
Фигнер Н. Н. 113, 765
Филдес Л. 281
Финн (Гермониус А. К.), журналист 167, 768
Фишер Г. 592
Фишер К. 590, 788
Флакк В. 521–522, 784
Флоровский В. А. 739, 744
Фогаццаро А. 591, 788
Формидджини А. Ф. 574–575, 579, 787
Фосколо У. 497, 783
Фофанов К. М. 143–144, 767
Фрумкина, террористка 703
Цицерон М. Т. 47, 522, 784
Челлини Б. 114, 766
Чемберлен Дж. 500, 783
Ченчи Б. 516, 784
Чернихов М. Я. 226–228, 771
Чернышевский Н. Г. 216
Чехов А. П. 129, 218, 359, 364, 453, 491, 531, 546–547, 735
Чириков Е. Н. 83, 764
Членов И. 393, 400, 779
Чуковский К. И. 53–54, 57, 196–198, 259, 580–583, 762, 769, 772, 788
Чупров А. И. 734, 743
Шаевич Г. 701–702, 720, 731, 742
Шамиссо А. фон 234, 771
Шанц Ф. 161
Шапир О. А. 83, 764
Шафров, полицмейстер 34, 761
Швенднер А. 189
Шекспир У. 206
Шелер, профессор 159
Шерман, издатель 223
Шиллер И. Ф. 466, 491, 497
Шмидт А. 591, 788
Шнитцлер А. 217–218, 536, 770, 785
Шпажинский И. В. 364, 487, 777, 783
Штейн Л. 593, 789
Штук Ф. 427–430, 781
Шувалов П. П. 720, 730–731, 737, 742, 744
Щедрин см. Салтыков-Щедрин
Щепкина-Куперник Т. Л. 90, 319, 765
Эдисон Т. А. 246, 772
Эдуардс Б. В. 633–634, 790
Эльман М. С. 327–328, 775
Эпштейн И. 375, 777
Эрисман Ф. Ф. 734, 743
Юдт И. М. 623, 789
Яблочков Г. А. 638, 790
Яворская Л. Б. 91, 105–107, 115, 218–219, 289, 765–766, 770, 774
Якобсон В. 394, 780
Яскульский, заводчик 701
Aicard J. 180, 768
Cecilia S. 643, 790
Dante A. 482, 783
Flacco 522
Formigginì A. 575
Гур (де Мартель де Жангвиль) 22, 760
Lombardo R. 530
Schanz F. 159
Scuderi U. S. 643

СОЧИНЕНИЯ ВЛАДИМИРА (ЗЕЭВА) ЖАБОТИНСКОГО 1903

Библиографический указатель¹

- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 1 янв. — ПССЖ. Т. 3. С. 9–11.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 3 янв. — ПССЖ. Т. 3. С. 11–15.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 4 янв. — ПССЖ. Т. 3. С. 15–18.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 5 янв. — ПССЖ. Т. 3. С. 18–21.
- AMOUREUSE TRINITÉ / Altalena // Одесские новости. 1903. 6 янв. — ПССЖ. Т. 3. С. 21–26.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 11 янв. — ПССЖ. Т. 3. С. 26–28.
- ВСКОЛЬЗЬ. Вечер курсисток / Altalena // Одесские новости. 1903. 12 янв. — ПССЖ. Т. 3. С. 29–31.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 15 янв. — ПССЖ. Т. 3. С. 31–34.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 28 янв. — ПССЖ. Т. 3. С. 34–37.
- ВСКОЛЬЗЬ. О национализме / Altalena // Одесские новости. 1903. 30 янв. — ПССЖ. Т. 3. С. 37–41.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 2 фев. — ПССЖ. Т. 3. С. 42–44.
- ВСКОЛЬЗЬ. Пятый акт «Монны Ванны» / Altalena // Одесские новости. 1903. 4 фев. — ПССЖ. Т. 3. С. 44–46.
- «НА ДНЕ» / Altalena // Одесские новости. 1903. 6 фев. — ПССЖ. Т. 3. С. 46–50.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 8 фев. — ПССЖ. Т. 3. С. 50–53.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 9 фев. — ПССЖ. Т. 3. С. 53–58.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 11 фев. — ПССЖ. Т. 3. С. 58–63.
- Вскользь / Altalena // Одесские новости. 1903. 13 фев. — ПССЖ. Т. 3. С. 63–66.
- Вскользь / Altalena // Одесские новости. 1903. 14 фев. — ПССЖ. Т. 3. С. 66–68.

¹ Сюда не входят пьесы, стихи и переводы. Даты указаны по старому стилю.

- Вскользь / Altalena // Одесские новости. 1903. 16 фев. — *ПССЖ. Т. 3. С. 68–73.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 20 фев. — *ПССЖ. Т. 3. С. 73–75.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 22 фев. — *ПССЖ. Т. 3. С. 76–80.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 24 фев. — *ПССЖ. Т. 3. С. 80–82.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 25 фев. — *ПССЖ. Т. 3. С. 82–85.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Лидочкины софизмы / Altalena // Одесские новости. 1903. 27 фев. — *ПССЖ. Т. 3. С. 86–90.*
- РУССКИЙ ТЕАТР. «Монна Дживанна» Метерлинка / Altalena // Одесские новости. 1903. 28 фев. — *ПССЖ. Т. 3. С. 90–92.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Публика о Леониде Андрееве / Altalena // Одесские новости. 1903. 2 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 92–97.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Публика о Леониде Андрееве / Altalena // Одесские новости. 1903. 3 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 97–103.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Старые истины / Altalena // Одесские новости. 1903. 5 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 103–105.*
- ВСКОЛЬЗЬ. О фальцете / Altalena // Одесские новости. 1903. 6 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 105–107.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Неинтересно / Altalena // Одесские новости. 1903. 8 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 107–110.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 10 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 110–112.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 13 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 113–115.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 15 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 115–118.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Читатель о «На дне» / Altalena // Одесские новости. 1903. 16 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 118–121.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 19 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 121–124.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 20 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 125–128.*
- ПЕРЕЛОМ ЖУРНАЛИСТИКИ: Изложение реферата, читанного в Литературно-артистическом клубе 20 марта / Владимир Жаботинский // Одесские новости. 1903. 22 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 128–137.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 23 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 137–140.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 24 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 140–142.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 25 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 143–145.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 27 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 145–149.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 29 марта. — *ПССЖ. Т. 3. С. 149–152.*

- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 30 марта. — ПССЖ. Т. 3. С. 152–154.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 1 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 154–156.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 2 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 157–159.
- ВСКОЛЬЗЬ. На пороге темноты / Altalena // Одесские новости. 1903. 3 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 159–161.
- ВСКОЛЬЗЬ. Сплетня по пунктам / Altalena // Одесские новости. 1903. 5 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 162–167.
- ЛЕТУЧИЙ. Из воспоминаний / Altalena // Одесские новости. 1903. 6 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 167–176.
- ВСКОЛЬЗЬ. Апокриф / Altalena // Одесские новости. 1903. 6 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 176–178.
- ВСКОЛЬЗЬ. Эрмете Новелли / Altalena // Одесские новости. 1903. 9 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 178–181.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 10 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 182–186.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 12 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 186–192.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 13 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 192–195.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 14 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 195–196.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 16 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 196–199.
- ГАСТРОЛИ ЭРМЕТЕ НОВЕЛЛИ. Людовик XI / Altalena // Одесские новости. 1903. 16 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 199–202.
- ГАСТРОЛИ ЭРМЕТЕ НОВЕЛЛИ. Папа Лебоннар / Altalena // Одесские новости. 1903. 17 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 202–203.
- ВСКОЛЬЗЬ. Беседа с Эрмете Новелли / Altalena // Одесские новости. 1903. 17 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 204–208.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 19 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 208–209.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 20 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 209–212.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 29 апр. — ПССЖ. Т. 3. С. 212–215.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 2 мая. — ПССЖ. Т. 3. С. 215–218.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 3 мая. — ПССЖ. Т. 3. С. 218–220.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 4 мая. — ПССЖ. Т. 3. С. 220–223.
- НОВЫЕ КНИГИ. «История евреев» Греца / Altalena // Одесские новости. 1903. 5 мая. — ПССЖ. Т. 3. С. 223–224.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 6 мая. — ПССЖ. Т. 3. С. 224–228.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 9 мая. — ПССЖ. Т. 3. С. 228–229.

- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 10 мая. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 230–232.
- БЕЗ ПАТРИОТИЗМА / Владимир Жаботинский // Южные записки. 1903. 16 мая. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 233–237.
- ВСКОЛЬЗЬ. Не о юбилее Петербурга / Altalena // Одесские новости. 1903. 17 мая. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 238–242.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 18 мая. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 242–244.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 20 мая. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 245–249.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 22 мая. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 249–251.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 23 мая. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 252–254.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 24 мая. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 255–256.
- НАЦИОНАЛИЗМ И ПРОГРЕСС. По поводу одной книги и одной брошюры / Владимир Жаботинский // Южные записки. 1903. 24 мая. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 257–261.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 25 мая. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 262–264.
- ВСКОЛЬЗЬ: Открытое письмо / Altalena // Одесские новости. 1903. 28 мая. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 264–267.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 3 июня. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 267–269.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 5 июня. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 269–271.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 7 июня. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 272–276.
- KADIMAN / Владимир Жаботинский // Южные записки. 1903. 7 июня. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 276–281.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 10 июня. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 281–284.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 13 июня. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 284–287.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 14 июня. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 287–289.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 15 июня. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 290–292.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 19 июня. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 293–296.
- ВСКОЛЬЗЬ. О. Петров и Ницше / Altalena // Одесские новости. 1903. 21 июня. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 297–302.
- ВСКОЛЬЗЬ. Виктория Павловна / Altalena // Одесские новости. 1903. 22 июня. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 302–308.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 24 июня. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 308–310.
- ВСКОЛЬЗЬ. Пустая страница / Altalena // Одесские новости. 1903. 25 июня. — *ПССЖ*. Т. 3. С. 310–315.

- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 26 июня. — ПССЖ. Т. 3. С. 316–319.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 28 июня. — ПССЖ. Т. 3. С. 320–322.
- ВСКОЛЬЗЬ. Дешево и сердито / Altalena // Одесские новости. 1903. 2 июля. — ПССЖ. Т. 3. С. 322–326.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 3 июля. — ПССЖ. Т. 3. С. 326–328.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 5 июля. — ПССЖ. Т. 3. С. 328–332.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 7 июля. — ПССЖ. Т. 7. Кн. 1. С. 332–334.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 9 июля. — ПССЖ. Т. 3. С. 335–338.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 12 июля. — ПССЖ. Т. 3. С. 338–342.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 13 июля. — ПССЖ. Т. 3. С. 343–348.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 16 июля. — ПССЖ. Т. 3. С. 348–352.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 17 июля. — ПССЖ. Т. 3. С. 352–354.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 22 июля. — ПССЖ. Т. 3. С. 354–356.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 24 июля. — ПССЖ. Т. 3. С. 356–359.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 26 июля. — ПССЖ. Т. 3. С. 359–363.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 27 июля. — ПССЖ. Т. 3. С. 363–366.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 29 июля. — ПССЖ. Т. 3. С. 366–370.
- НАКАНУНЕ КОНГРЕССА. Базель / Владимир Жаботинский // Одесские новости. 1903. 15 авг. — ПССЖ. Т. 3. С. 370–375.
- БАЗЕЛЬСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. I. Шестой конгресс сионистов / Владимир Жаботинский // Одесские новости. 1903. 19 авг. — ПССЖ. Т. 3. С. 376–385.
- БАЗЕЛЬСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. II. «Мизрахи» / Владимир Жаботинский // Одесские новости. 1903. 20 августа. — ПССЖ. Т. 3. С. 385–391.
- БАЗЕЛЬСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. III. Герцль и Neinsager'ы / Владимир Жаботинский // Одесские новости. 1903. 23 авг. — ПССЖ. Т. 3. С. 391–403.
- ВСКОЛЬЗЬ. Из Берна / Altalena // Одесские новости. 1903. 26 авг. — ПССЖ. Т. 3. С. 403–408.
- ВСКОЛЬЗЬ. Из Рима / Altalena // Одесские новости. 1903. 29 авг. — ПССЖ. Т. 3. С. 408–414.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 2 сент. — ПССЖ. Т. 3. С. 414–421.
- ВСКОЛЬЗЬ. Толстый Пеппино / Altalena // Одесские новости. 1903. 3 сент. — ПССЖ. Т. 3. С. 421–427.

- ВСКОЛЬЗЬ. С точки зрения профана / Altalena // Одесские новости. 1903. 5 сент. — *ПССЖ. Т. 3. С. 427–432.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Об учительницах / Altalena // Одесские новости. 1903. 6 сент. — *ПССЖ. Т. 3. С. 432–439.*
- ВСКОЛЬЗЬ. О безденежье / Altalena // Одесские новости. 1903. 7 сент. — *ПССЖ. Т. 3. С. 440–443.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Оттого и скучно / Altalena // Одесские новости. 1903. 10 сент. — *ПССЖ. Т. 3. С. 444–448.*
- ВСКОЛЬЗЬ. О кафешантане / Altalena // Одесские новости. 1903. 11 сент. — *ПССЖ. Т. 3. С. 448–454.*
- ВСКОЛЬЗЬ. По поводу «украинской мовы» / Altalena // Одесские новости. 1903. 16 сент. — *ПССЖ. Т. 3. С. 454–457.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Des Märchens Ende. I / Altalena // Одесские новости. 1903. 18 сент. — *ПССЖ. Т. 3. С. 457–463.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Des Märchens Ende. II / Altalena // Одесские новости. 1903. 19 сент. — *ПССЖ. Т. 3. С. 463–466.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Что где прилично / Altalena // Одесские новости. 1903. 20 сент. — *ПССЖ. Т. 3. С. 466–473.*
- ВСКОЛЬЗЬ. На клерикальные темы / Altalena // Одесские новости. 1903. 22 сент. — *ПССЖ. Т. 3. С. 473–479.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 23 сент. — *ПССЖ. Т. 3. С. 480–481.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Международный язык / Altalena // Одесские новости. 1903. 26 сент. — *ПССЖ. Т. 3. С. 482–486.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 28 сент. — *ПССЖ. Т. 3. С. 487–489.*
- ВСКОЛЬЗЬ. О любви / Altalena // Одесские новости. 1903. 29 сент. — *ПССЖ. Т. 3. С. 490–496.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Альфиери / Altalena // Одесские новости. 1903. 5 окт. — *ПССЖ. Т. 3. С. 496–499.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 6 окт. — *ПССЖ. Т. 3. С. 500–504.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Не страшное / Altalena // Одесские новости. 1903. 7 окт. — *ПССЖ. Т. 3. С. 504–509.*
- ВСКОЛЬЗЬ. О Литературно-артистическом обществе / Altalena // Одесские новости. 1903. 10 окт. — *ПССЖ. Т. 3. С. 510–515.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Очерки одного «счастливого» гетто: От автора; Очерк I; Очерк II / Altalena // Одесские новости. 1903. 12 окт.; 18 окт.; 29 окт. — *ПССЖ. Т. 3. С. 515–530.*
- ВСКОЛЬЗЬ. Автор пьесы Горького / Altalena // Одесские новости. 1903. 13 окт. — *ПССЖ. Т. 3. С. 530–536.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 19 окт. — *ПССЖ. Т. 3. С. 536–538.*
- ВСКОЛЬЗЬ. У собора Святого Петра / Altalena // Одесские новости. 1903. 23 окт. — *ПССЖ. Т. 3. С. 538–543.*
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 26 окт. — *ПССЖ. Т. 3. С. 544–552.*
- О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ. I. Речь к учителям / Владимир Жаботинский // Одесские новости. 1903. 2 нояб. — *ПССЖ. Т. 3. С. 553–561.*

ВСКОЛЬЗЬ. Антисоциальное учреждение / Altalena // Одесские новости. 1903. 2 нояб. — ПССЖ. Т. 3. С. 561–567.

ВСКОЛЬЗЬ. Антисоциальное учреждение / Altalena // Одесские новости. 1903. 3 нояб. — ПССЖ. Т. 3. С. 567–572.

ДЛЯ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ. У председателя «Corda Fratres»; У секретаря и у президента общества «Данте Алигьери»; У товарища министра народного просвещения; У министра народного просвещения / Altalena // Одесские новости. 1903. 11 нояб. — ПССЖ. Т. 3. С. 572–580.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 13 нояб. — ПССЖ. Т. 3. С. 580–585.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 16 нояб. — ПССЖ. Т. 3. С. 585–590.

ВСКОЛЬЗЬ. Еще об итальянских университетах / Altalena // Одесские новости. 1903. 19 нояб. — ПССЖ. Т. 3. С. 590–596.

ВСКОЛЬЗЬ. Дон Альцехан / Altalena // Одесские новости. 1903. 21 нояб. — ПССЖ. Т. 3. С. 596–604.

ВСКОЛЬЗЬ. О наблюдательности / Altalena // Одесские новости. 1903. 23 нояб. — ПССЖ. Т. 3. С. 604–608.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 26 нояб. — ПССЖ. Т. 3. С. 609–613.

ВСКОЛЬЗЬ. Спенсер / Altalena // Одесские новости. 1903. 27 нояб. — ПССЖ. Т. 3. С. 613–617.

ВСКОЛЬЗЬ. Tempora mutantur / Altalena // Одесские новости. 1903. 4 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 617–620.

ПАЛЕСТИНА / Владимир Жаботинский // Одесские новости. 1903. 5 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 621–626.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 6 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 626–628.

К ПОКУШЕНИЮ НА МАКСА НОРДАУ / Вл. Ж. // Одесские новости. 1903. 9 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 628–630.

ВСКОЛЬЗЬ. К выборам / Altalena // Одесские новости 1903. 9 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 630–634.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 12 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 634–637.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 14 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 638–642.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 16 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 642–646.

ВТОРАЯ УСЛУГА: Голос сиониста / Владимир Жаботинский // Одесские новости. 1903. 16 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 646–648.

ОТВЕТ Г-НУ Т. РЕНОДО: Голос сиониста / Вл. Ж. // Одесские новости. 1903. 17 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 649.

ФРЕЙЛЕЙН / Altalena // Одесские новости. 1903. 18 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 650–655.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 20 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 655–658.

ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 21 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 658–662.

- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 23 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 662–664.
- ЛЕДА: Рассказ приятеля / Altalena // Одесские новости. 1903. 25 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 665–672.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 25 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 673–677.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 28 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 678–680.
- ВСКОЛЬЗЬ / Altalena // Одесские новости. 1903. 30 дек. — ПССЖ. Т. 3. С. 681–682.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- НА РУССКОЙ ГРАНИЦЕ / Актолин // Освобождение. Штутгарт, 1903. № 14 (2 янв.). С. 226–231. — ПССЖ. Т. 3. С. 681–691.
- ОДЕССКИЕ ДЕЛА. От нашего корреспондента / Аноним // Освобождение. Штутгарт, 1903. № 19 (19 марта). С. 337. — ПССЖ. Т. 3. С. 691–694.
- ПОСЛЕ КИШИНЕВСКОГО ПОГРОМА. ТАЙНЫЕ ТИПОГРАФИИ. «НЕЗАВИСИМЫЕ РАБОЧИЕ». БЕСПОРЯДКИ В КОММЕРЧЕСКОМ УЧИЛИЩЕ / Аноним // Освобождение. Штутгарт, 1903. № 24 (2 июня). С. 442. — ПССЖ. Т. 3. С. 694–697.
- НОВЫЙ ГРАДОначальник. ПОХОРОНЫ А. И. МАРКЕВИЧА / Аноним // Освобождение. Штутгарт, 1903. № 26 (2 июля). С. 28–29. — ПССЖ. Т. 3. С. 698–700.
- СТАЧКА / Аноним; Другой корреспондент // Освобождение. Штутгарт, 1903. № 28 (2 авг.). С. 62–63. — ПССЖ. Т. 3. С. 700–703.
- ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «ОСВОБОЖДЕНИЯ» ОТ ОДНОГО ЕВРЕЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ / Г. // Освобождение. Штутгарт, 1903. № 28 (2 авг.). С. 66–68. — ПССЖ. Т. 3. С. 703–711.
- ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ / Аноним // Освобождение. Штутгарт, 1903. № 28 (2 авг.). С. 66–68. — ПССЖ. Т. 3. С. 712–723.
- БЕСЕДА ГОСПОДИНА ЛОПУХИНА С РАБОЧИМ / Аноним // Освобождение. Штутгарт, 1903. № 29 (19 авг.). С. 83–84. — ПССЖ. Т. 3. С. 723–726.
- ФРЕЙЛЕЙН / Без подписи // Освобождение. Штутгарт, 1903. № 31 (18 сент.). С. 116. — ПССЖ. Т. 3. С. 726–728.
- НОВАЯ СМЕНА ГРАДОначальника. ИЗБИЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ / Аноним // Освобождение. Штутгарт, 1903. № 31 (18 сент.). С. 131. — ПССЖ. Т. 3. С. 729–733.
- ДВА ГАСТРОЛЕРА. СЕРДЕЧНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ О РАБОЧИХ / Аноним // Освобождение. Штутгарт, 1903. № 33 (19 окт.). С. 161. — ПССЖ. Т. 3. С. 733–737.
- НЕОСТОРОЖНЫЕ ЖАНДАРМЫ. НАСТРОЕНИЕ СТУДЕНТОВ / Аноним // Освобождение. Штутгарт, 1903. № 35 (12 нояб.). С. 195–196. — ПССЖ. Т. 3. С. 737–739.
- ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС / Аноним // Освобождение. Штутгарт, 1903. № 37 (2 дек.). С. 234. — ПССЖ. Т. 3. С. 740–741.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	5
ПРОЗА. ПУБЛИЦИСТИКА. КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. 1903	9
ПРИЛОЖЕНИЕ	683
Л. Кацис. К вопросу о публикациях Жаботинского в журнале «Освобождение» (Актолин, Аноним, Г. и другие)	745
Примечания	760
Именной указатель	793
Сочинения В. Жаботинского, 1903. Библиографический указатель	799

Художественное издание

Жаботинский Владимир (Зеэв)
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ ТОМАХ
ТОМ ТРЕТИЙ

Художник обложки	<i>М. Драко</i>
Художественный и технический редактор	<i>Г. Емел</i>
Корректор	<i>М. Ходыко</i>
Компьютерная верстка	<i>Т. Пришепова</i>

Подписано в печать с готовых диапозитивов 27.09.2010.
Формат 60×90^{1/16}. Гарнитура Балтика. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 50,5. Тираж 2000 экз. (1-й завод 1000 экз.) Зак.

ООО «МЕТ». ЛИ № 02330/0494383 от 16.03.2009 г.
Ул. Киселева, 20, 220029, г. Минск.
Отпечатано в ПРУП «Минская фабрика цветной печати».
ЛП 02330/0494156 от 3.04.2009 г.
Ул. Корженевского, 20, 220024, г. Минск.

ISBN 978-985-436-584-8



9 789854 365848